М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В двадцати томах

Издание осуществляется
совместно с Институтом русской литературы
(Пушкинский дом) Академии наук СССР

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1966

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том четвертый

*

РАССКАЗЫ

ПОВЕСТИ

ОЧЕРКИ

ПЬЕСЫ

1857—1865

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

МОСКВА 1966

Р1
С16

Подготовка текста и примечания

Г. Н. Антоновой, В. Н. Баскакова, Л. Я. Лившица, Д. Н. Мишневой, Е. И. Покусаева, Н. Е. Прийма, И. В. Пороха, Г. Ф. Самосюк, П. А. Супоницкой, Т. И. Усакиной

Оформление художника

И. ЖИХАРЕВА

7—3—1

Подп. изд.

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

Фотография 50-х гг.

ЖЕНИХ

Картина провинциальных нравов

(Посвящается И. В. Павлову)

I

Иван Павлыч въезжает в Крутогорск

В 18** году, летом, в девятом часу вечера, к гостинице губернского города Крутогорска подъехал запряженный тройкой тарантас, из которого, кряхтя и ругаясь, вылез коротенький и не старый еще человечек в дорожном пальто, запыленном и вывалявшемся в пуху до крайности. Человечек постоял с минуту на тротуаре, как будто не сознавая, что с ним делается, посмотрел воспаленными от пыли и ветра глазами вдаль, наконец пришел в себя и, пробормотав: «Ах! да ведь мы, кажется, приехали!» — взбежал бегом по лестнице.

Господин этот был не кто иной, как коллежский асессор Иван Павлыч Вологжанин, приехавший в Крутогорск для снискания себе пропитания посредством служебной деятельности, к которой имел несомненное призвание. Расположившись в отведенном ему нумере и спросив самовар и рюмку очищенной, с маленьким кусочком черного хлеба, он немедленно принялся приводить в порядок свои мысли, доведенные до крайнего расстройства многодневною тряскою по испорченной дороге. С этою целью он набил себе трубку, закурил ее и начал ходить мерными шагами по комнате.

«Черт возьми! обстоятельства-то мои тово... порасстроились! именьишко костромское — что в нем? этот город Кострома — только веселая сторона, а путного в нем мало!.. Надо, надо поправить свои обстоятельства!

Хорошо бы теперича схватить прямо место исправника! очень бы недурно! жалованья, за вычетами, около полуторы; ну, откупщик — положим, хоть две, земские лошади — положим, хоть тысячу; ну, с становых там — положим, хоть... а впрочем, чего их жалеть, могут и совсем, канальи, жало-

ванья не брать... следовательно, тоже хоть по тысяче... Ведь этак одних безгрешных доходов больше семи тысяч наберется... Надо, да, надо поправить свои обстоятельства...

И отчего это оно ничего не дает, это костромское именьишко! земля, говорят, глина... важность большая! из глины тоже кирпичи и даже горшки делать можно!.. А не дает! уж пытал я и сам, и усовещивал, ну и другие тоже меры употреблял — один ответ: земля — глина... А надо, надо поправить свои обстоятельства!

Несчастлив я насчет женитьбы! Вот уж второй раз вдовею, а все толку никакого нет... И хоть бы седьмые части порядочные достались — и того нет! После одной пришелся, по расчету, салоп беличий да кисет, а после другой и всего-то навсё табакерка с музыкой... Разве здесь попробовать счастья? только надо сделать это осмотрительно, потому что в четвертый-то раз, пожалуй, и баста скажут — это штука будет плохая... Надо, надо как-нибудь поправить свои обстоятельства!

А попробовать счастья именно не мешает! Здесь, сказывали мне, водятся такие почетные граждане, которых хлебом не корми, а подавай дворянина! А дочки у них, говорят, такие толстушечки, что и старого человека немощного на ноги подымут! Что ж, это хорошо! во-первых, оно как-то слаще, как около тебя этакая бархатная кубышечка... под мышками у тебя пощекотит, или вот сядет на коленки, или ущипнуть себя даст... а во-вторых, и начальство как-то снисходительнее смотрит на подчиненного, у которого жена не тощà: «А, скажет, этот, сейчас видно, что солидный человек!» Может быть, оттого мне и счастья до сих пор не было, что и Дарья Сергевна и Варвара Алексевна — обе были как-то сухопароваты!.. Да, надо, надо поправить свои обстоятельства!»

Иван Павлыч должен был прервать нить своих размышлений, потому что в это время нумерной подал ему требуемую рюмку очищенной с кусочком черного хлеба.

— А что, велик у вас город? — спросил Иван Павлыч нумерного, выпив одним духом водку, крякнув и закусив.

— Какой, сударь, у нас город; только слава что город!

— Что ж ты врешь! мне именно сказывали, что тут живут богатые купцы...

— Купцов как не быть — есть купцы-с!

— Ну, и богатые купцы — это я знаю наверное.

— Не слыхать-с; есть купцы, только самые неосновательные... больше, как бы сказать, закусывать любят, нежели своим предметом занимаются...

— Это, брат, скверно! надобно им внушить, что, конечно,

отчего же и не выпить в меру, но зачем же опять из-за этого делом своим неглижировать...

— Не знаю-с; на то есть у них начальники.

— А кто, например, первый купец у вас по городу?

— Есть один-с, Пазухин прозывается; этот точно, что после покойного родителя большие капиталы получил.

— И семейный?

— Женат-с.

— Ну, и есть этак... дочки?

— Сын один есть от первой жены-с, а от второй-то дочка, так ту еще грудью кормят.

— Гм... а других купцов нет?

— Есть, да всё больше веревочками, да шнурочками, да ситчиками торгуют... самый, то есть, народ внимания не стоющий!

— Гм... подай еще рюмку очищенной!

«Однако это скверно! впрочем, может быть, он и врет! Эти хлапы иногда бывают прежелчный народ: съездит его там кто-нибудь по морде, или так просто нападет на него меланхолия, он и видит все в черном цвете! А того, скотина, и не размыслит, что иногда человеку нужен не взгляд его поганый, а настоящие, истинные факты... А крепко, однако, он меня озадачил! ведь этак, пожалуй, и не поправишь обстоятельств! Да нет, не может быть! Иван Васильич сам в здешних краях женился, и он мне именно сказывал, что здесь в каждом доме по невесте, и за каждой невестой не меньше ста бумажками дают! Я и теперь еще позабыть не могу, как он мне показывал белье, которое получил за женой... ведь не во сне же я это видел! А белье было именно такое, какого нельзя дать меньше как при ста тысячах!»

— Ну, хоть в уездных городах, может быть, богатые купцы есть? — спросил он у того же нумерного.

— В уездах как не быть, есть... В Полорецке есть, в Черноборске тоже, в Окове...

— Семейные?

— Известно, купцы народ плодущий-с...

— Это, брат, хорошо... принеси-ко еще очищенной!

— Да не прикажете ли уж графинчик поставить?

— А и то дело.

«Ну, вот оно и выходит на мое! Теперь, стало быть, только осторожнее действовать надо, и дело в шляпе... Посмотрим, посмотрим, Анны Пафнутьевны, Василисы Карповны, Перпетуи Прокофьевны, как-то вы от меня отвертитесь! Хорошо, что я стихов много знаю — это самое действительное средство! там в альбомчик пропишешь, там пропоешь, там этак в упор

продекламируешь — ни одно купеческое естество не устоит!.. А впрочем, поглядим-ка на свои мордасы; я уж дней шесть и зеркала-то не видал!.. Ничего, недурно! Глаза красны и нос как будто лупится, да это пройдет... надо бы водку совсем оставить... ну, да это с завтрашнего дня, а нынче дело дорожное...»

— Мишка! — крикнул он своему лакею, который возился в передней с чемоданами,— на ночь чтоб огуречная вода была — знаешь, что тетенька Лизавета Егоровна от загару дала... Ну, а чиновники у вас каковы? — спросил он, обращаясь к нумерному, принесшему графин с водкой.

— Есть господа хорошие-с... Фурначев генерал, Порфирьев Порфирий Петрович, Размановский-господин...

— И богатые?

— Капиталы большие имеют-с. Генерал Фурначев с Пазухиным-то свояки, так и торговля-то у них пожалуй что вообще происходит... Порфирьев Порфирий Петрович тоже при капиталах — помаленьку довольно-таки насбирали... Ну, Размановский-господин — этот будет против них потощее...

— И есть у них... дочки?

— У Порфирьева да у Размановского, только уж очень словно каверзны — глядеть не на что̀-с...

— Это, брат, нехорошо. Жена надо, чтоб была такая... сдобнушка... можешь идти!

Иван Павлыч был доволен полученными сведениями. Действительно, шансов оказывалось множество; жаль только, что генерал Фурначев в племя́ не пошел, а у него уж наверное дочки не вышли бы каверзные.

«Только нужно бы, черт возьми, денег, чтоб не ударить лицом в грязь!.. А с костромского именьишка, хоть ты лопни, больше тысячи в год не получишь!.. дда! на это, брат, не разъедешься!»

— Мишка! взял розовый галстух?

— Взял-с.

— То-то же!

«Нынче время летнее — без розового галстуха нельзя! Все, именно все, зависит от того, как за дело приняться... Хорошо, что у меня фрак новый есть...»

— Мишка! а фрак новый взят?

— Взят-с.

— То-то же! ты у меня смотри, вывеси его на ночь на вешалку, чтоб складки отошли, да приутюжить вели!

«Как надену я новый фрак с иголочки, да подтянусь хорошенечко снизу, да жилет с золотыми пуговицами, да галстух розовый, да подъеду этаким чертом: сударыня! желал бы

я знать, свободно ли ваше сердце? — А ведь недурно будет!»

Иван Павлыч раскланялся перед зеркалом и сделал приятный жест правой рукой.

«Хорошо, что я воспитание порядочное получил! Кто что там ни говори, а воспитание важная вещь! Возьмем теперича хоть меня... я, могу сказать, обо всяком предмете разговаривать в состоянии; стало быть, каждому образованному человеку приятно иметь меня в своем доме... Ну, опять и манеры! манера должна быть у порядочного человека приятная, круглая; иной, может быть, и хороший человек, да сопит, или жует, или головой вертит — ну, и вон пошел! а у меня все это в порядке: жест самый благородный, улыбка ласковая...»

Иван Павлыч подошел к зеркалу и улыбнулся.

— Мишка! рубашки хорошие все взял?

— Все взял-с.

— Ну, то-то же!.. да бишь!.. гм... об чем бишь я еще хотел тебя спросить?

— Не могу знать-с.

— Вечно ты ничего не знаешь!.. да! не забыл ли ты еще чего?

— Все, кажется, взяли...

— То-то «кажется»! я ведь, брат, тебя в Кострому пешком сбегать заставлю, если забыл... чаю! и стели постель!

Через час в нумере уже тихо. Иван Павлыч видит во сне, что он сидит у полорецкого купца Кондратья Кирдяпникова и получает от него билеты Московской сохранной казны... «Уж вы сделайте ваше одолжение, Иван Павлыч,— говорит растроганная Афимья Семеновна,— не больно Аксюту-то забижайте!» — «Ну, Оксюха,— прибавляет от себя Кондратий Сидорыч,— смотри у меня, мужа слушайся, да не балуй!» Иван Павлыч, не без сердечного участия, замечает при этом, что у Кондратья Сидорыча лицо красное, глаза налитые, а шея короткая и толстая... «Может быть, от того-то и называется он Кондратьем Сидорычем!» — говорит он мысленно и... улыбается.

Мишка с своей стороны видит тоже сон. Ему снится, что он никак не может растопить печку: дрова, что ли, сырые или уж день такой задался... Он поминутно бегает на кухню за растопкой — и все тщетно! «Что за чудо!» — кричит он во сне тем тоскливо отчаянным голосом, каким обыкновенно кричат «караул!» люди, огорченные встречею, в глухом и безлюдном месте, с суровыми незнакомцами, изъявляющими желание лишить их жизни.

II

Первые впечатления

*«Крутогорск. 29 мая 18**.*

Не сердись, душа Сыромятников, на мое молчание. Знаю и очень помню, что долг дружбы прежде всего, но молчанию моему были, как здесь говорят, законные причины. Во-первых, я только вчера довел свои дела до той точки, с которой могу уже смотреть на будущее глазами ясными и не отуманенными ложным блеском несбыточных надежд и т. д., а во-вторых, все это время я именно бегал как собака, ибо ты и сам, я думаю, знаешь, как грустно находиться в коже просителя.

Победа, дружище, победа! Помнишь ли ты, как наш латинский учитель рассказывал о каком-то чудаке, который имел привычку говорить: veni, vidi, vici [1] (так, кажется? я признаюсь тебе, всю эту гнусную латынь позабыл, и даже mensa [2] просклонять не сумею); в то время мне даже не верилось, чтоб мог найтись такой чудак, и теперь пришлось на себе эту поговорку испытать!.. именно, братец, veni, vidi, vici! Но буду рассказывать по порядку.

Первым долгом, по выезде из Северной Пальмиры, я счел отправиться к себе в костромскую деревню и распечь там старосту. Прибавил, разумеется, при этом оброку. Но, признаюсь тебе откровенно, едва ли моя заботливость принесет какую-нибудь пользу, а староста даже прямо объявил мне (представь себе, какой грубиян), что хошь прибавляйте, хошь не прибавляйте, все-таки больше не получите! Однако ж я настоял на своем и прибавил. Но и за всем тем едва ли больше тысячи рублей в год получить придется! Я даже удивляюсь, право, как это у этих скверных мужиков денег нет! ну как, кажется, не найти каких-нибудь ста рублей с тягла (ведь с тягла, mon cher [3]) и не заплатить! И между тем нет, да и нет!

А впрочем, entre nous soit dit [4], с другой стороны, если взвесить хорошенько все обстоятельства, так ведь немножко свиньи и мы! Ну, на что мы, например, годны? Всякий хоть что-нибудь да умеет делать, только мы, что называется, ничевым ничего... Ты скажешь, что надо же кому-нибудь и ничего

---

[1] пришел, увидел, победил.
[2] стол.
[3] мой дорогой.
[4] между нами будь сказано.

не делать, потому что это поощряет промышленность... может быть, ты и прав! А впрочем, я, кажется, зафилософствовался...

Во всяком случае, ты из всего сказанного выше можешь заключить, что родовые мои обстоятельства вовсе не блистательны. Ты сам знаешь, друг, какие я употреблял старания, чтоб улучшить свое положение! Два раза женился и всякий раз имел в виду что-нибудь получить, но богу не угодно было услышать мои молитвы. Оба раза за женами моими (ты знаешь, как я сердечно любил их!) имелось в виду вознаграждение только в отдаленном будущем, то есть по смерти престарелых родителей, и всякий раз, как нарочно, подруги мои переселялись в вечность гораздо прежде своих родителей, которые, вследствие этого, не только мне ничего не дали, но даже и три четверти оставшейся движимости захватили... Если б не это, то, конечно, я мог бы иметь теперь очень порядочное состояние.

Не стану описывать тебе дальнейшую мою дорогу из деревни до Крутогорска. Обо всем этом ты можешь прочесть обстоятельное описание в любом русском романе. Притом же, сознаюсь откровенно, я большею частью спал и просыпался только для того, чтоб закусить и выпить рюмку водки (кстати, поздравь меня, я больше не пью водки, да и тебе советую бросить, потому что это ужасно сокращает жизнь, а главное, портит цвет лица). Видел я, что по сторонам торчат какие-то березы, что иную станцию едешь по песку, другую станцию по глине, или, как здесь выражаются, по суглинку (язык здесь, mon cher, преуморительный), что через речки и овраги построены мосты и тому подобная дребедень. Представь себе, даже ни одного игривого происшествия! У одного смотрителя, правда, нашлась-таки женочка — преинтересная бабенка! однако пожуировать не удалось, потому что смотритель так и стоит над ней, точно селезень над уткою.

А знаешь ли, это именно чудная у тебя блеснула в уме идея, попросить у Каролины Карловны для меня письмо к Голубовицкому! Кто что ни говори, а женщины — это, братец, la puissance du jour![1] На Каролину Карловну хоть и указывают пальцами разные господа с огорченными физиономиями, а все-таки она сильная женщина и может сделать многое. Итак, ясно, что человек, желающий сделать в этом мире карьеру, должен устраивать ее через прекрасный пол. И согласись со мной (впрочем, ты уже давно в этом отношении со мной согласен, и я могу только назваться твоим благодарным учеником), что эта манера устраивать свои делишки не

---

[1] сила нашего времени.

только не тяжела, но даже чрезвычайно приятна. Ибо само собою разумеется, что гораздо приятнее льстить и говорить комплименты хорошенькой женщине (которая за это еще и ручку даст поцеловать), нежели какому-нибудь плюгавому старикашке, у которого из носу табачные ручьи текут! Следовательно, что ж в этом есть, кроме естественного и всякому понятного желания устроить дела свои как можно приятнее? И с чего же, с чего некоторые беспокойные личности проповедуют, что такое устройство карьеры низко и подло?.. Но я опять зафилософствовался!

Разлетелся к Голубовицкому, как ты можешь себе представить, совершенным чертом. Новый петербургский фрак с принадлежностями, белый жилет с золотыми пуговицами, розовый галстух, воротнички à l'enfant...[1] одним словом, покуда я ехал от гостиницы, передо мною все эти мещанишки и купчишки и даже чиновники картузы снимали! Жаль только, что при гражданском платье нельзя аксельбантов привесить, а то я уверен, что меня приняли бы за флигель-адъютанта.

Когда я вошел в приемный зал, Степан Степаныч принимал просителей. Наружность у него именно такая, какую следует иметь начальнику. Он высок ростом и прям, руки держит сложенными назад, и надо, mon cher, видеть (ты расскажи это Каролине Карловне), как он распекает этих несчастных чиновников! Один из них до того даже сконфузился, что попросился выйти. Признаюсь, и я немножко обробел, когда он обратился ко мне с вопросом: «Вы кто такой?» Я, как и водится, объяснил ему, что я дворянин, не служить не могу, что наслышан много об его начальнической справедливости и т. д. Но все это было, кажется, напрасно, потому что дело объяснилось гораздо проще, как только я подал ему письмо Каролины Карловны. «А! это совсем другая речь!» — сказал он, улыбаясь, и начал читать тут же. Мне показалось, что он даже как-то особенно сделался весел, когда дошел до того места, которое, если ты не забыл, начинается словами: pendant deux ans monsieur de Wologchanine a fait son possible pour me distraire[2] и т. д. Он, кажется, воображает, что я и бог знает в каких коротких был отношениях с Каролиной Карловной... впрочем, мне что за дело — пусть думает! И конечно, я не спешил разубедить его!

— К сожалению,— сказал он мне, прочитавши письмо,— в настоящее время я не могу доставить вам то место, какое

[1] детского фасона.

[2] в течение двух лет господин Вологжанин делал все, что мог, чтобы развлечь меня.

вы ищете, но я вам дам другое назначение... я надеюсь, что Каролина Карловна останется мною довольна...

И он назвал мне такое место, об котором я даже и мечтать не мог!.. Место благороднейшее, mon cher, на котором даже работать самому ничего не нужно, а только выслушивать да «полагать»: я, дескать, полагаю вот так-то, а вы там как знаете. А принадлежности этого места самые великолепные: кроме жалованья, тысяч десять рублей, et comme de raison[1] на первом плане откупщик. Нет, да ты представь себе мою радость! Едучи сюда, я решался даже на взятки для поправления обстоятельств, и вдруг мне предлагают такое место, на котором я самым благородным образом буду получать (с жалованьем) никак не менее пятнадцати тысяч рублей!..

Разумеется, я рассыпался в благодарностях. Только Степан Степаныч сказал мне тут же, что окончательное утверждение меня в предполагаемой должности зависит не от него, а следовательно, пусть уж Каролина Карловна довершит свое благодеянье и попросит кого следует... Представление об этом пошло вчерашнего числа за № 28793 (по этому числу нумеров уже можешь судить, какова неутомимая деятельность Степана Степаныча: к концу года, говорят, доходит до семидесяти пяти тысяч!)... Ах да, скажи, скажи же ты Каролине Карловне, что, при одном воспоминании об ней, все внутренности мои поднимаются вверх от благодарности! что я готов последнюю каплю крови пролить за нее! что ей сто̀ит только сказать: «Умри, Jean!» — и я умру без малейшего ропота! что есть здесь рыба белорыбица и рыба осетрина, которую самые большие аристократы в Петербурге только по праздникам кушают, и я эту рыбу ей непременно пришлю, на почтовых пришлю, чтоб она могла сказать всем и каждому, что вот и в Крутогорске есть сердце, которое пламенеет к ней признательностью! Скажи же ей все это.

Разумеется, я познакомился и с Дарьей Михайловной (супругой Степана Степаныча). Эта женщина, скажу я тебе, такого рода, что даже и в Петербурге играла бы важную роль. Какой бюст, какие плечи — пальчики оближешь! Признаюсь тебе, мне стало как-то неловко за обедом, когда я сидел подле нее. Воображаю себе, что̀ сделалось бы с тобою, который, по природе своей, сладострастнее всякой жабы! И знаешь, при этой красоте, есть еще у нее эта manière d'être[2], которая еще более голову отуманивает! Здешняя молодежь от нее без ума; особливо есть тут один помещик Загржембович — кругленький, как булочка, и так же с боков подрумяненный,— так он

[1] и разумеется.
[2] манера держаться.

даже до смешного доходит. Станет перед ней на колени (разумеется, в то время, когда Степан Степаныч отсутствует)... Преприятный человек!

О других сделанных мною здесь знакомствах я тебе еще не пишу, потому что не мог до сих пор порядочно осмотреться. Могу только сказать, что петербургский фрак мой произвел на всех самое приятное впечатление... вот что значит быть прилично одетым! явись я в какой-нибудь мочалке, кто же бы захотел обратить на меня внимание!

Затем остается мне сказать несколько слов о главном предмете. Я, как ты знаешь, имею непременное желание опять попытать супружеского счастия. Только так как уж я в этом отношении старый воробей, то и не желаю, чтобы меня на мякине надули. Больше всего меня страшит то обстоятельство, что если и этот третий опыт будет неудачен, то четвертого уж сделать не позволят, и, следовательно, тогда хоть совсем запирай лавочку. Поэтому я решился действовать осторожно, и собранные мною до сих пор сведения довольно благоприятны. В Крутогорске, собственно, купеческих дочерей богатых нет, а есть чиновнические, которые, в отношении к капиталам, не уступают купеческим. Только надо сказать правду, все они, кроме одной, немного тово... (милый Гоголь!) — и главное, худощавы очень. А я, как ты знаешь, во всем люблю сочность и даже некоторую распространяемость в ширину... впрочем, мне сказывали, что в уездных городах водятся купеческие дочери именно такие, как я желаю, и, следовательно, дело это еще впереди. Обещанное место должно чрезвычайно облегчить мои искания, потому что, получив его, я буду именно, что называется, un homme solide[1]. А потому я вновь прошу тебя, а через тебя и эфирнейшую Каролину Карловну, как можно похлопотать об утверждении меня.

Прощай; письмо мое и без того вышло длинно. Не забывай того, который до гроба будет называться твоим

Иваном Вологжаниным».

III

Продолжение

Действительно, Иван Павлыч проводил время очень недурно. Во-первых, генерал Голубовицкий, благодаря рекомендательному письму, принял его весьма благосклонно, а во-

[1] солидный человек.

вторых, и сама генеральша Дарья Михайловна не осталась равнодушною ни к петербургскому фраку, ни к воротничкам à l'enfant нашего героя. Дарья Михайловна была очень милая и очень красивая женщина, которая чувствовала себя совершенно не на месте в крутогорском мире, куда закинула ее судьба. Она все ждала, что придет откуда-нибудь Leone Leoni и наводнит ее существо всеми жгучими наслаждениями бурной, сокрушительной страсти, но Leone Leoni не приходил, и Дарья Михайловна, в ожидании благоприятного случая, проводила время, как могла, в кругу Разбитных, Загржембовичей и Корепановых. Узнавши, что Иван Павлыч из всех искусств наиболее упражнялся в хореографии, она нашла, что он может быть очень полезным членом общества, и потому немедленно посвятила его в тайны губернской жизни и посоветовала отправиться, не теряя времени, с визитами ко всем городским обывателям, у которых встречалась возможность провести время с пользою и удовольствием.

— Из купцов,— прибавила она,— можете съездить только к откупщику Пазухину, который, по приказанию моего мужа, дает очень милые балы.

В одно прекрасное утро, часов этак около одиннадцати, Иван Павлыч был в больших попыхах. У подъезда его ждала пара лошадей, а он, совершенно одетый, то отходил от зеркала, то подходил к нему, все стараясь отыскать то самое выражение лица и ту самую позу à la militaire[1], которые ему так удались, когда он имел честь быть представленным Каролине Карловне.

— Madame,— говорил он, подлетая к зеркалу,— j'ai l'honneur de me présenter... Jean de Wologchanine[2].

— Charmée, monsieur[3],— отвечала дама,— je vous prie de prendre place[4] (Иван Павлыч говорил за даму тоненьким голосом и грациозным движением указывал самому себе на стул).

— Нет, черт возьми, все не то! Ужасно трудно самого себя рекомендовать!

И он снова разлетался, повторяя ту же фразу, покуда окончательно не убедился, что самого себя представлять действительно трудно.

— А ну, как она вдруг ответит: а мне что за дело, что вы Jean Wologchanine?.. И как вы, скажет, смели являться туда, куда вас не просят?.. Это, черт возьми, прескверная будет

[1] на военный лад.
[2] Сударыня, честь имею представиться... Жан Вологжанин.
[3] Очень приятно, милостивый государь!
[4] садитесь, пожалуйста.

штука!.. Да нет, не может это быть!.. На всякий случай надобно, однако ж, и еще две-три фразы придумать...

Вероятно, эти фразы были им без труда придуманы, потому что через полчаса он уже летал по крутогорским улицам. Впрочем, и опасения его насчет приема были напрасны, потому что крутогорские дамы, заслышавши верхним чутьем запах приезжего, уже не один день с нетерпением ожидали его посещения и начинали даже роптать на Дарью Михайловну за желание ее всецело им завладеть.

Первый дом, в который ему пришлось заехать, был дом Петра Сергеича Мугришникова. Петр Сергеич уж отбыл в это время в палату, но супруга его Анна Казимировна была дома.

В зале около фортепьян возилась девица лет семнадцати, в коротеньком платьице и в панталонцах, что, как известно, составляет несомненный признак невинности. При входе Вологжанина она поспешно встала, сделала ему книксен и убежала.

«Ну, пойдут теперь одеваться!» — подумал Иван Павлыч, но подумал несправедливо, потому что не больше как через пять минут, шумя множеством накрахмаленных юбок, вошла в гостиную величественная и еще не старая дама. Вологжанин, заслышав шорох платья, бросился в гостиную.

— Madame,— сказал он, грациозно округлив руки и делая шляпой очень приятное движение,— j'ai l'honneur de me présenter... Jean de Wologchanine [1].

— Садитесь, пожалуйста,— отвечала Анна Казимировна, которая хотя и знала французский язык, но не любила на нем изъясняться.

— Vous devez vous ennuyer ici, madame? [2] — начал опять Вологжанин, играя шляпой и вытянув ноги, обутые в лаковые сапоги, в которых, как в зеркале, отражалась вся его фигура.

— О, конечно, вот прежде мой муж служил в Казани... божественная Казань!

— Mais j'espère que vous vous promenez, madame? [3]

— Иногда... да, вот в Казани мы каждый день, каждый день прогуливались! Представьте себе, там есть русская Швейцария — это восхитительно! Там есть тоже и немецкая Швейцария — ну, там, конечно, никто из порядочных не бывает...

— J'imagine comme cela doit être ravissant!.. [4] — вдруг вы-

---

[1] честь имею представиться... Жан Вологжанин.

[2] Вы, конечно, скучаете здесь, сударыня?

[3] Надеюсь, вы совершаете прогулки, сударыня?

[4] Воображаю, как это прелестно!..

думал Иван Павлыч (фраза эта была сверхштатная, и он не без удовольствия повернулся в кресле, проговорив ее).

— Необыкновенно! божественно!

В это время в комнату вошла девица в панталонцах.

— Моя сестра... Dorothée [1],— сказала Анна Казимировна.

Вологжанин расшаркался.

— Мы здесь ужасно скучаем,— продолжала Анна Казимировна,— ни балов, ни собраний, ничего, ничего... Вы, конечно, танцуете?

— Mais... comment donc, madame! [2]

— Здесь, представьте себе, молодые люди даже не танцуют... Вот в Казани... там совсем напротив... там столько молодых людей, что дамы на балах ходят решительно все запыхавшись...

На этот раз Вологжанин не нашелся ничего сказать и только процедил сквозь зубы по-русски «сс» и покачал головой. Наступила минута общего молчания, одна из тех минут, во время которых, как уверяют в Крутогорске, непременно где-нибудь дурак рождается.

— J'espère, madame [3],— сказал Иван Павлыч, вставая и раскланиваясь, причем не преминул грациозно помахать шляпой,— j'espère que vous voudrez bien m'accorder votre bienveillance... [4]

— Очень рада, приходите к нам сегодня обедать...

Первый визит кончился.

— К Размановским! — крикнул Иван Павлыч, садясь на дрожки, и подумал: — А недурна, черт возьми, эта... в панталонцах! только в карманах, должно быть, свист ужаснейший!.. нет, не нашего это поля ягода!

Алексея Дмитрича Размановского нет дома: подобно Мугришникову, он проводит утро на каторге; но Марья Ивановна не только не тяготится этим отсутствием, но даже отчасти ему рада, потому что Алексей Дмитрич может иногда сказать глупость и испортить все дело. Она еще накануне проведала о намерении Ивана Павлыча делать визиты и, облачившись в шелковое глясè, поднесенное ей, в презент, с заднего крыльца, строителем богоугодных заведений, с утра уселась в гостиной на диван, окруженная своими цыпочками: Agrippine, Aglaé и Cléopâtre [5]. На столе разложено несколько фарфоровых ку-

---

[1] Доротея.
[2] Но... само собой разумеется, сударыня!
[3] Надеюсь, сударыня.
[4] надеюсь, что вы не откажете мне в вашей благосклонности...
[5] Агриппиной, Аглаей и Клеопатрой.

колок, потому что цыпочки, по малолетствию своему, еще любят от времени до времени предаваться невинным удовольствиям; сверх того, у каждой цыпочки на руках работа: у Agrippine английское шитье, у Aglaé начатая подушка, Cléopâtre предпочитает работать крючком. Но вот Марья Ивановна уже различила ястребиным своим оком показывающуюся вдали извозчичью пару, и через несколько секунд ясно послышалось в передней: «Дома-с, пожалуйте!» Cléopâtre и Aglaé в одно мгновение бросили работу в сторону и взялись за куколки, а Agrippine, как старшая, продолжала работать.

— Как же мы его назовем, Aglaé? — спросила Клеопатра, вертя в руках фарфорового пастушка.

— Я думаю назвать его Anténor,— отвечала Aglaé.

— Ах нет! лучше назвать его Jean! Jean — c'est si joli![1] Ты, Jean, будешь у меня жолишка!

— Ну, полноте же, цыпочки! — прерывает Марья Ивановна,— будет вам играть!

— Ах, maman! когда же нам и поиграть, как не теперь! — отвечает Aglaé.

— Мамасецка! цудная! бозественная! позволь нам поиграть! мы еще дети! — пищит Клеопатра.

В это время Иван Павлыч, соскучив ожидать в зале, кашляет.

— Ах, кажется, тут кто-то есть! Мамаша! это разбойники! — кричит Клеопатра,— мамасецка! голубушка! защити меня!

— Agrippine, посмотри, кто там?

Является Вологжанин и, грациозно округлив руки, подлетает к Марье Ивановне.

— Madame,— говорит он, делая приятный жест шляпой,— j'ai l'honneur de me présenter... Jean de Wologchanine[2].

— Ах, очень приятно! — отвечает Марья Ивановна, улыбаясь своими тонкими губами и прискакивая на диване,— а вы нас застали по-семейному...

— Mais... comment donc, madame[3],— бормочет Иван Павлыч, несколько смутившись, потому что Марья Ивановна пронизывает насквозь своим взором.

— Прошу покорно садиться! это мои дочери... Agrippine, finnissez donc de travailler...[4] право, мне так совестно, вы застали нас по-семейному...

---

[1] Жан! Жан — это так красиво!
[2] Честь имею представиться... Жан Вологжанин.
[3] Но... что вы, сударыня!
[4] Агриппина, перестань же работать.

— Vous devez vous ennuyer ici, mademoiselle[1],— говорит Иван Павлыч, играя шляпой и вытянув ноги.

— Mais non![2] — отвечает Агриппина чуть слышно.

— Répondez-donc, ma chère![3] — вступается Марья Ивановна.— Она, мсьё Вологжанин, у меня такая робкая... я истинно счастливая мать, мсьё Вологжанин!

У Марьи Ивановны показываются в глазах слезы, а нос наливается кровью; Иван Павлыч не знает, что сказать, потому что подобной сцены он не предвидел.

— Mais... comment donc,— бормочет он неявственно.

— А вы будете, мсьё, с нами в куколки играть? — спрашивает Клеопатра.

— Ах, ma chère! — восклицает Марья Ивановна и смеется тем попечительным материнским смехом, от которого пробегает мороз по коже у холостых людей,— вы ее извините, мсьё, она у меня институтка!

Следует несколько минут молчания.

— Mais j'espère que vous vous promenez, mademoiselle?[4] — обращается наконец Иван Павлыч к Агриппине.

— Mais oui![5] — отвечает Агриппина.

— У нас есть восхитительные виды! — говорит Марья Ивановна,— настоящая Саксония!

— J'imagine comme cela doit être ravissant![6]

— Необыкновенно! мы часто ездим кататься — j'espère que vous serez des nôtres?[7]

— Здешние кавалеры такие все противные! — снова пищит Клеопатра.

— Ах, ma chère, можно ли так говорить! она у меня такая наивная!

— Вы к нам приезжайте! нам без вас будет скучно! — продолжает Клеопатра.

— Ах, Клеопатренька! можно ли быть такой откровенной! — строго замечает Марья Ивановна.

Но Иван Павлыч очень доволен; он даже потихоньку хихикает при каждой новой выходке Клеопатры. Марья Ивановна замечает это и хочет сразу завладеть женихом.

---

[1] Вы, конечно, скучаете здесь, мадемуазель.
[2] Нет!
[3] Отвечай же, моя милая!
[4] Надеюсь, вы совершаете прогулки, мадемуазель?
[5] Да!
[6] Воображаю, как это прелестно!
[7] надеюсь, вы составите нам компанию?

— Vous n'avez pas l'idée comme les messieurs d'ici sont mal élevés [1],— говорит она, обращаясь к Вологжанину.

— Vraiment? [2]

— О, ужасно!

— Представьте себе, мсьё Разбитной свищет, когда танцует! — восклицает Aglaé.

— Dites moi, je vous prie! [3]

— А мсьё Семионович танцует-танцует — и вдруг посреди зала бросит даму и так-таки прямо ей и говорит: надоела!

— Mais... c'est incroyable! [4]

— Et pourtant c'est vrai! [5] — задумчиво и серьезно отвечает Марья Ивановна,— pauvres enfants! [6]

— J'espère, madame,— говорит Иван Павлыч, раскланиваясь и помахивая шляпой,— j'espère que vous voudrez bien m'accorder votre bienveillance... [7]

— Очень рада... у нас понедельники... on danse chez nous!.. [8] а впрочем, мы почти всякий вечер дома.

— Приезжайте к нам! нам без вас будет скучно! — пристает Клеопатра.

Второй визит кончился.

— К Порфирьевым! — кричит Вологжанин, усаживаясь на дрожки.

«А Клеопатра милая! — думает он дорогой,— и если старуха не поскупится, можно будет у этой пристани и якорь кинуть! Да и мать, кажется, тово... препопечительная... славное будет житье! будут тебя тут и кормить, и чесать, и умывать — просто как сыр в масле!»

— Ах, мамаша, какой он душка! — сочувственно восклицает Клеопатра, немедленно по удалении Ивана Павлыча.

Порфирий Петрович был дома, когда приехал к нему Вологжании. Он в это время заперся в своем кабинете и считал деньги, что с малолетства составляло его любимое развлечение. Однако ж стук подъехавшего экипажа вывел его из временного оцепенения. Порфирий Петрович поспешил спрятать деньги, причем покраснел как рак, два раза крякнул и собственноручно отворил Ивану Павлычу дверь.

---

[1] Вы не можете себе представить, как дурно воспитаны здешние мужчины.

[2] В самом деле?

[3] Скажите пожалуйста!

[4] Но... это невероятно!

[5] И тем не менее это так!

[6] бедные дети!

[7] Надеюсь, сударыня, что вы не откажете мне в вашей благосклонности.

[8] у нас танцуют!

— Имею честь рекомендоваться — Вологжанин! — сказал Иван Павлыч, расшаркиваясь еще в передней.

— Слышал-с, слышал-с! очень рад! — проговорил Порфирий Петрович, приятно улыбаясь,— на службу к нам?

— Да-с; то есть, желал бы...

— Что ж, очень приятно! милости просим в гостиную.

В гостиную ход был через зал, а в зале репетировала на фортепьянах урок Феоктиста Порфирьевна, девица лет восьмнадцати, старшая дочь хозяина, и вместе с тем весьма интересная толстушечка. У Ивана Павлыча, как у человека с побуждениями в высшей степени матримониальными, подкосились ноги от одного лишь взгляда на существо различного с ним пола.

«Что ж этот скверный хлап меня уверял, что она каверзная,— подумал он про себя,— напротив того, она скорее кубышечка!»

— Моя старшая дочь, Феоктиста! — сказал между тем Порфирьев.

Феоктиста Порфирьевна встала, присела и хотела куда-то бежать.

— Позови мамашу,— сказал Порфирий Петрович,— прошу покорно в гостиную,— прибавил он, обращаясь к Ивану Павлычу.

Пришли в гостиную и сели, но так как Вологжанин не предвидел такого случая и не приготовился к нему, то весьма естественно, что находился в затруднительном положении относительно приискания сюжета для разговора.

— Так вы к нам? — сказал опять Порфирий Петрович,— что ж, это приятно!

— Мне будет очень лестно... если я удостоюсь,— проговорил кое-как Вологжанин.

— Очень рад! очень рад! у нас просто! люди мы не светские, а с приятными знакомыми провести время готовы.

— Светскость... конечно,— отвечал Вологжанин,— но, с другой стороны, природа имеет неоспоримые преимущества даже перед светскостью...

— Да, нынче многие так говорят... оно и основательно, потому что, коли хотите, что ж такое светскость? один пустой звук, да и тот, можно сказать, не всегда для слуха приятен!

— Это совершенно справедливо,— отвечал Иван Павлыч,— это так справедливо, что даже вот я... кажется, и не стар, и воспитание получил хорошее, и в лучших домах был принят — а надоело, ужасно надоело! Все, знаете, и во сне-то видишь, как бы уединиться!

— И поверьте, что оно к тому идет! — сказал, с своей сто-

роны, Порфирий Петрович,— сначала человек, по легкомыслию своему, от природы постепенно удаляется, а потом и опять к ней же постепенно приближается.

Вошла Софья Григорьевна, супруга Порфирия Петровича, дама довольно приятной наружности и, по-видимому, очень смирная и даже робкая.

— Вот, Софья Григорьевна, новый приятный знакомый,— рекомендовал Порфирьев.

— Очень приятно! вы надолго к нам?

— Не знаю-с, сколько поживется...

— Вот мы, душечка, сейчас с Иваном Павлычем о природе беседовали.

— Ах, мой Порфирий Петрович без ума от природы!

— Если вы сделаете нам честь своим знакомством, то мы иногда ездим всем семейством за̀ город, и тогда...

— Помилуйте, я, с своей стороны, за особую честь почту,— отозвался Вологжанин.

— Иногда у нас по вечерам приятные знакомые в карточки поиграть собираются... вы ведь играете?

— О, как же!

— Ну, очень приятно! мы, знаете, не по большой, а для препровождения времени.

— Это всего лучше... большая игра кровь портит! Вот я про себя скажу: у меня есть в Костромской губернии имение, и имение весьма достаточное, но и тут в большую игру никогда не сажусь.

— Вы, вероятно, уж познакомились с здешним обществом? — спросила Софья Григорьевна.

— Как же-с... генерал Голубовицкий...

— Не правда ли, какой милый человек?

— Преприятный... ну, и Дарья Михайловна...

— Ах, какая приятная женщина! — сказал Порфирий Петрович.

— Я вообще надеюсь с удовольствием проводить в Крутогорске время.

— Как приятно слышать это от образованного молодого человека!

Наконец разговор начал потухать; Порфирий Петрович уже несколько раз сказал: «тэ-эк-с», а Софья Григорьевна с чрезвычайною любознательностью взглядывала в окошко всякий раз, когда пролетала мимо ворона или пробегала по улице кошка.

— J'espère, madame,— сказал Вологжанин, раскланиваясь и грациозно прижимая шляпу к сердцу,— j'espère que vous voudrez bien m'accorder vorte bienveillance...

— Очень приятно! милости просим когда-нибудь вечерком!

— Домой! — сказал Иван Павлыч, садясь на дрожки и чувствуя себя несколько утомленным.

Он был очень доволен проведенным утром. Скинувши с себя парадную одежду и облачившись в халат, он долго потирал от удовольствия руки и, несмотря на твердую решимость никогда не пить водки, на этот раз позволил себе отступление от принятого правила.

— Мишка! — сказал он, выпив рюмку водки,— узнай ты, братец мой, как можно скорее, что̀ дают за порфирьевскою дочерью; да ты, дурак, это умненько сделай... стороной, а на пролом-то не иди!

— Зачем же на пролом идтить? разве в первый раз эти дела делать! — отвечал Мишка.

— То-то же! ты сначала с кухаркой познакомься.

IV

Что думала Тисочка?

В продолжение нескольких недель в крутогорских салонах только и было разговору, что о новоприезжем прелестном костромском помещике. На одном из танцевальных вечеров в загородном воксале девицы, ходя вереницами по зале (что, как известно, составляет несомненный признак suprême bon genre[1]), держали между собой продолжительное и весьма серьезное совещание, предметом которого был не кто иной, как Иван Павлыч. Сравнивали было его с Разбитным, но оказалось, что Леонид Сергеич стал, в последнее время, чересчур много позволять себе, садился публично на стул верхом, а Аглиньку Размановскую однажды назвал при всех скверной девчонкой. Сравнивали и с мсьё Семионовичем, но последний приводил в отчаянье своею медвежьею неуклюжестью, имел привычку начинать всякий танец не иначе как от печки, причем как-то несносно пыхтел и без милосердия наступал на ноги дамам. Сравнивали даже с Корепановым, но при одном имени Корепанова девицам делалось холодно, потому что этот достойный молодой человек, дав, вероятно, обет целомудрия, откровенно высказывал глубочайшее презрение к девицам. Решено было, что и Разбитной, и Семионович, и Корепанов — мовешки, а Иван Павлыч — душка и жолишка.

---

[1] наилучшего тона.

— Тисочка! ах, посмотри, ma chère, как он глядит на тебя! — сказала Клеопатренька Размановская Феоктисте Порфирьевне Порфирьевой.

— Ах, ma chère, он умоляет! — прервала, в свою очередь, Аглинька.

Но Тисочка, слушая эти слова, не поднимала даже своей румяной и кругленькой головки, а только улыбалась. Вообще это была девочка совершенно кругленькая и чрезвычайно своеобразная; никогда ни перед кем не высказывала она своих чувств, ходила, как уточка, с перевальцем, глаза опускала вниз и руками болтала во все стороны, как попало. Подруги называли ее иногда «скрытницей», иногда «кубариком», а чаще всего «добрым малым», потому что, какая бы ни была задумана девицами затея, Тисочка беспрекословно шла за общим движением, и хотя не принимала ни в чем живого участия, но ни от чего и не отказывалась. По-видимому, она была совершенно равнодушна ко всему происходившему вокруг нее; даже в танцах, которым провинциальные девицы предаются с самозабвением, вела себя как-то неуклюже и вяло, и на все смешные и острые замечания любезнейших крутогорских кавалеров отвечала однообразною и бесцветною улыбкою. Но об чем же задумывалась она, об чем мечтала в то время, когда руки ее болтались во все стороны?

Может быть, прочитав поутру в газетах прейскурант разным comestibles [1], продающимся в лавке придворного поставщика Ботвиньина, она думала о том, какое бы сделала пирожное, если бы могла совершенно свободно располагать собой: наложила бы сперва ананасного варенья и посыпала бы имбирем, потом положила бы какой-то невиданной ягоды, которую вмиг создавало ее воображение, ягоды, покрытой колючками, но душистой и вкусной необыкновенно, одним словом, такой ягоды, которую умеет есть только она одна в целом мире.

Может быть (утром был у ней учитель географии), думала она о том, что она совсем не Тисочка Порфирьева, а Машенька Холщевникова (в рядах есть лавка, принадлежащая купцу Холщевникову), и у нее есть подруга Эрнестина Б. Она, Машенька, живет с родителями в Задонске (Воронежской губ.), а Эрнестина Б., дочь учителя Самаркандской гимназии, в Самарканде. Они пишут друг другу письма, начинающиеся словами: «Представь себе, ma chère, я сегодня видела сон», пишут их каждый день, каждый день... и, наконец, с позволения папà Холщевникова, Маша едет в Самарканд к Эрне-

[1] съестным припасам.

стине. Останавливаются, разумеется, на станциях; на первой станции кушают много, много сладких пирожков, на второй станции пьют чай, и, наконец, через неделю, приезжают благополучно в Самарканд. «Ах, ma chère! как нам будет весело! — говорит Эрнестина,— мы будем каждый день ходить в лес, собирать грибы, а потом будем вместе варить варенье!..»

А может быть, думала она и о том, что заблудилась в темном и густом лесу, что уж два дня она ничего не ела и от этого сделалась еще интереснее, что, наконец, в самой чаще встречается ей старичок, который соглашается не только вывести ее из леса, но и перевезти через огромное озеро. И вот плывут они через озеро, плывут день, плывут другой; Машеньке уж делается жутко и холодно: она уж начинает бояться, что недобрый старик воспользовался ее неопытностью, чтоб отдать ее разбойникам, но, к счастию, опасения эти оказываются неосновательными, потому что на другом берегу показывается прелестнейший дворец и ожидает их толпа людей, которая с восторгом провозглашает ее царицей... Она бросается на шею старику, своему избавителю, и в качестве царицы спрашивает его, чего бы он для себя желал. «Сделай меня, матушка царица,— отвечает простодушный старец,— хоть на один год председателем казенной палаты, и буду я навек счастлив»...

Но то ли, другое ли, третье ли создавало себе воображение Тисочки, крутогорские женихи не могли угадать, и решили наконец, что Тисочкина душа — море, на поверхности которого ничего не видно, а на дне лежат светленькие порфирьевские полуимпериальчики.

V

Что думал Иван Павлыч?

Иван Павлыч, с своей стороны, видя Тисочку в постоянно интимной беседе с самой собою, не осмеливался разрушать нескромным словом ее счастливую безмятежность, но, стоя где-нибудь в стороне, врезывался в нее и вещественным и умственным оком с такою силою, что если в ней была хоть капля восприимчивости, то она должна была содрогаться и трепетать под влиянием электрического тока, исходящего от ее обожателя. Но она не только не содрогалась и не трепетала, но, напротив того, продолжала беззаботно перекатывать из угла в угол свое кругленькое тельце, беспощадно задевая руками за столы, за колонны и даже за живых людей. Иван Павлыч не огорчается этим; он справедливо находит, что, с одной сто-

роны, это хорошо, потому что бабенка, стало быть, выйдет смирная, а с смирною «не только можно, но даже и очень можно поправить свои обстоятельства». При этом и его воображение, в свою очередь, разыгрывается. Представляется ему, будто сидит он дома, совершенно одетый и готовый к венцу, и вдруг приезжает невестин шафер и возвещает, что Тисочка не только готова, но даже, изменив природной меланхолии, нетерпеливо ждет той минуты, которая соединит ее с возлюбленным женихом.

— А как же, у нас было условие...— робко заговаривает Иван Павлыч.

— Порфирий Петрович предвидел ваш вопрос,— возражает шафер и, сделав благородный жест рукой, выкидывает на стол пачку билетов с награвированными на них птицами, кормящими детей своими собственными внутренностями.

Свадебный поезд трогается...

Потом представляется ему, как он живет с молодой женой в доме ее добрых и простодушных родителей, какой он почтительный сын, как он, вставши поутру, спешит пожелать доброго дня papa и maman, причем целует у них ручки, а Порфирий Петрович, глядя на него умиленными глазами, думает в это время: «Да, в этом зяте я не ошибся; надобно, за его почтительность, упомянуть об нем в завещании!»

Потом представляется ему, что он в прелестнейшем иохимовском тарантасе... тьфу бишь... дормезе, приезжает с молодой женой в свою костромскую деревню, рекомендует Тисочку своим добрым мужичкам, просит ее полюбить, а мужички, придя в восторг от молодой барыни (которая и барина, в минуты гнева и запальчивости, кроткими словами смиряет), делают между собою складку и подносят: ему ильковую шубу, а ей — превосходнейший соболий салоп!!

Потом он едет с молодой женой по соседям, которые, с одной стороны, не могут нарадоваться, глядя на молодых, а с другой стороны, не могут и не позавидовать слегка их счастью.

— Да, брат, славную штучку поддел! — говорит лихой штабс-ротмистр Голеницын, трепля Ивана Павлыча по плечу,— с этакой, брат, кругляшечкой можно... и даже очень можно... тово...

Штабс-ротмистр подносит к губам три сложенных пальца и чмокает, подмигивая одним глазом, а Иван Павлыч хотя и стоит в это время в зале крутогорского воксала, но, живо представляя себе эту картину, чувствует себя совершенно счастливым и потихоньку хихикает.

Потом Иван Павлыч, в той же иохимовской карете, отправляется за границу; едет он довольно тихо и смотрит из око-

шек по сторонам, удовлетворяя через это требованиям своей любознательности. В Дюссельдорфе он обедает и останавливается в Кёльне для того только, чтоб сделать запас одеколоня и поскорее переменить лошадей, потому что очень спешит в Париж. Но увы! заграничная жизнь не удовлетворяет его: он чувствует, что к сердцу его подступает тоска, перед глазами его беспрестанно рисуется милый Крутогорск, в котором — бог знает! — может быть, теперь, в эту самую минуту, бесценный папаша, Порфирий Петрович, объявляет десять без козырей! И вот он валяет во все лопатки через Германию, накупивши наскоро подарков для милых сердцу и добрых знакомых: для maman собачку испанской породы, для papa шкатулку с особенными секретными замками, для сестриц шляпок итальянской соломы, а для добрых приятелей карт с непристойными изображениями... Для себя собственно он вывозит из-за границы только усы и бороду, которые и останутся навсегда неопровержимым доказательством его пребывания за границей.

Такого рода помыслы обуревают юную голову Вологжанина, но надо отдать ему справедливость, он не высказывает их, и если мыслит, то мыслит про себя. В наружном отношении последовала в нем только одна перемена: он несколько побледнел и сделался интереснее, но и то потому, что каждое утро тщательно вытирает свое лицо огуречною водою, которая, как известно, имеет свойство сообщать коже матовую белизну и лицу задумчивое и грустное выражение. В обращении Ивана Павлыча к предмету его нежных поисков замечается изысканная предупредительность, но не больше. Таким образом, когда наступает час разъезда с какого-нибудь вечера или раута, Вологжанин необходимо вырастает из земли, держа на руке Тисочкин бурнус и испрашивая разрешения накинуть его на плеча незабвенной. С другой стороны, за обедом или ужином, стараясь сесть сколь можно ближе к Тисочке, Иван Павлыч как бы угадывает все ее мысли и желания и наливает воду в ее стакан именно в то самое время, когда она ощущает жажду. Но, щадя ее застенчивость, он редко позволяет себе вступать в разговор с ней и даже во время танцев ограничивается только весьма небольшим числом избранных фраз: «Вам начинать, Феоктиста Порфирьевна!» или: «Ваш папаша, кажется, сегодня выигрывает». Однажды он решился, однако ж, пожать ей в кадрили руку, и даже действительно пожал, но Тисочка, в своей безмятежности, не обратила на это никакого внимания, потому что после пожатия, как и до него, продолжала болтать руками и смотреть в землю с прежнею непреклонностью. Взамен того,

он очень разговорчив с ее родителями. Когда Порфирий Петрович сидит за картами, то Вологжанин по нескольку раз в вечер подбегает к нему с вопросом:

— Ну что, Порфирий Петрович, как дела?

Порфирий Петрович смотрит на него признательно и с чувством пожимает руку.

— Очень приятно! — говорит он,— благодарю вас; сейчас семь в пиках выиграл и Александра Семеныча обремизил!

— Не выиграли бы вы,— вступается Александр Семеныч, записывая ремиз и ломая в ожесточении мелок,— не выиграли бы вы, кабы Петр Борисыч лаптей не плел... эх вы! а еще играть садитесь!

— Уж там лапти или не лапти,— говорит Порфирий Петрович благодушно,— а выиграл!

Иван Павлыч чуть-чуть хихикает и, взглянув на будущего папашу с нежностью, удаляется.

— Приятный молодой человек! — отзывается Порфирий Петрович по уходе его.

— Основательный! — подтверждает Александр Семеныч,— этаких людей бы побольше, так дела-то в губернии совсем другим бы порядком пошли.

Иван Павлыч между тем садится около Софьи Григорьевны и заводит с нею интересный разговор.

— А Порфирий Петрович сейчас Александра Семеныча без одной семь в пиках оставил,— говорит он,— и надо видеть, какой выговор сделал за это Александр Семеныч Петру Борисычу... отлично играет Порфирий Петрович!

— Вы думаете? — отвечает Софья Григорьевна,— а я на месте Петра Борисыча никогда бы не села в карты играть... ни одной ведь игры не проходит, чтоб его не бранили!

В это время Тисочка, шатаясь из стороны в сторону, проходит мимо Софьи Григорьевны.

— Как мила Феоктиста Порфирьевна! — восклицает Иван Павлыч,— и как скромна! знаете ли, Софья Григорьевна, что если сравнить ее с другими крутогорскими барышнями, то... но, право, даже и сравненья никакого нет!

— Очень приятно,— отвечает Софья Григорьевна,— мне кажется, однако ж, что и другие барышни очень милые...

— Да, коли хотите... но всё не то, что Феоктиста Порфирьевна! Возьмите, какая у нее невинность в глазах!

— Очень приятно...

Из всего вышеизложенного явствует, что тактика Ивана Павлыча весьма остроумна и дальновидна. Он действует прежде всего на родителей и направляет все усилия к тому, чтобы глаза их привыкли к нему. С этою целью он частенько

навещает их то утром, то вечером, а иногда и утром и вечером, ездит с ними гулять за город и наконец даже получил однажды приглашение запросто у них отобедать. Одним словом, он хочет сделаться неотразимым, вкрасться в доверенность Порфирия Петровича до такой степени, чтоб последний и не пикнул в ту минуту, когда предложение будет сделано во всей форме, а только бы отвечал: «очень приятно!» и расставил бы вместе с тем руки от изумления, что вот, дескать, как оно случилось: и не ждали и не гадали, а влез подлец в душу, без мыла влез!

Одно только обстоятельство несколько смутило Вологжанина. В одну теплую и лунную ночь, когда он, провожая Порфирьевых из загородного сада, по обыкновению суетился около их экипажа, подсаживая Софью Григорьевну и Феоктисту Порфирьевну, из-за угла внезапно появился огромный мужчина, который, при лунном освещении, показался Вологжанину саженей шести ростом, и сильным голосом сказал:

— Не опасайся, божественная Феоктиста! друг твой бодрствует над тобой!

И вслед за тем звучным голосом запел:

Спи, ангел мой, спи, бог с тобой!

Иван Павлыч в ту же минуту кинулся, чтобы наказать дерзкого, но он уже исчез.

— Кто такой? кто такой? — спросил Вологжанин у полицейского, стоявшего у ворот сада, и получил ответ, что незнакомец не кто другой, как ужасный форштмейстер Махоркин, о котором в городе ходили самые загадочные и разноречащие слухи.

VI

Ужасный капитан Махоркин

История наша относится к тем блаженным временам, когда лесничие назывались еще форштмейстерами. Тогда было очень просто. Лесничие не представляли собою сонмища элегантных молодых людей, щеголяющих друг перед другом красотою манер, но набирались большею частью из людей всякого звания и имели познания по своей части весьма ограниченные, а именно, были убеждены, что сосна, например, никакого иного плода, кроме шишки, не производит, да и эту шишку, по большей части, смешивали с еловою, потому что сведение свое почерпали исключительно из пословицы: «Не хочешь ли шишки еловой?» Повторяю, что в то время было

очень просто. Лесничий не говорил имеющему до него касательство: «Mon cher[1], приготовь мне к завтрашнему числу триста рублей, потому что, в противном случае, я тебя, mon ami[2], под суд упеку», а обращался к нему с следующею речью: «Если ты, такой-сякой, завтра чем свет мне три целковых не принесешь, то я тебя как сидорову козу издеру». И ежели на стороне нынешнего времени стоит просвещение и женоподобная утонченность манер, то нельзя не согласиться, что старые времена имели за себя энергию и какую-то чрезвычайно приятную простоту форм.

Павел Семеныч Махоркин, по необыкновенной цельности и непосредственности своей природы, не может быть сравнен ни с кем, кроме Теверино. Разница между им и знаменитым героем романа того же имени заключалась, собственно, в том, что Павел Семеныч происходил от родителей русских и, по формулярному списку, значился в числе приказнослужительских детей. Никто не знал, каким образом достиг он звания форштмейстера; известно только, что однажды встретили его гуляющим по улице в форштмейстерской амуниции, а откуда он явился и по какому случаю попал в Крутогорск — этой тайны не могла проникнуть даже закаленная в горниле опыта любознательность крутогорцев. По этой причине существовали про него самые разнообразные толки. Одни уверяли, что у него не только нет, но никогда не было ни отца, ни матери. Другие шли далее и рассказывали, что в ночь, предшествовавшую тому дню, в который в первый раз был замечен Махоркин на улице, вдруг разразилась над Крутогорском буря, и небо, осветившись на мгновение багровым светом, изрыгнуло из себя огненного змия, который и упал в трубу дома вдовы коллежской секретарши Шумиловой, а поутру оказался там Махоркин. Третьи шли еще дальше и утверждали, что со времени необъяснимого появления Махоркина в Крутогорске весь крутогорский край, до того времени благодатный, несколько лет сряду был поражаем бездождием, причем в воздухе пахло гарью и тлением и летали неизвестной породы хищные птицы, из которых одну, впоследствии времени, к всеобщему удивлению, опознали в лице окружного начальника Виловатого.

Махоркин, как нарочно, всем своим поведением как бы подтверждал эти догадки; он не только не старался рассеять окружавшее его облако таинственности, но, напротив того, все более и более сгущал его. Имея в вышину два аршина и четырнадцать вершков и в отрубе полтора аршина, он гордо

[1] Мой милый.
[2] мой друг.

прохаживался по улицам города Крутогорска в демикотоновом сюртуке, в медвежьей шапке на голове и с толстою суковатою палкой в руке и однажды на замечание батальонного командира о том, что строевая служба не терпит такого разврата, молча показал ему такого сокрушающего размера кулак, каким, всеконечно, не пользуется ни один в мире фельдфебель. Не было в Крутогорске ни зверя, ни человека, который бы не сворачивал с дороги или не жался бы к стене, завидев Махоркина, шагающего с своим неизменным товарищем — суковатою палкою. Он же проходил мимо мерным и медленным шагом, не моргнув и не улыбнувшись и нисколько, по-видимому, не замечая оказываемых ему знаков истинного уважения и преданности. Как проводил он время в квартире своей — это была тайна между ним и небом, потому что, хотя и был один человек, который пользовался его доверенностью, но и тот и краснел, и бледнел, и дрожал, когда кто-нибудь, хотя стороной, заводил при нем речь о Махоркине. Человек этот был не кто другой, как известный нам Петр Васильич Рогожкин[1], знаменитый собеседник Горехвастова. Он один имел завидное право услаждать одиночество Махоркина, ему было однажды навсегда сказано, что если он хоть невзначай, хотя во сне выскажет кому-нибудь о том, что делается в четырех стенах дома Шумиловой, то в двадцать четыре часа должен будет выехать за пределы Крутогорской губернии.

Между тем, в действительности, в доме Шумиловой не происходило ничего сверхъестественного. Обыкновенно Махоркин, восстав поутру от сна, немедленно посылал за Рогожкиным и, по приходе последнего, запирал наглухо все окна и двери. И тогда начиналась у них молчаливая, сердечная беседа, которая наводняла сердце Махоркина целыми потоками жгучих радостей. Молча подавал он Рогожкину гитару и молча же садился против него, упираясь в колена локтями и поддерживая ладонями свою голову. Рогожкин был мастер играть на гитаре и охотно пел русские песни под звуки ее. Голос у него был немудрый, сиповатый и жиденький, а пел он все-таки хорошо; казалось, вся его маленькая душа поселялась исключительно в русскую песню, и от этого самого он сделался неспособным ни на что другое. Маленькие глаза его, которые я однажды уже уподобил глазам пшеничного жаворонка, изображаемым можжевеловыми ягодами, теряли свой ребяческий глянец и принимали благодушно-грустное выражение. Начинал он обыкновенно с «Дороженьки», потом пере-

---

[1] См. в «Русском вестнике» 1857 г. рассказ «Талантливая натура». (*Прим. М. Е. Салтыкова.*)

ходил к «Исполать тебе, зеленому кувшину», потом запевал «Веселая беседушка, где батюшки нет», потом «Уж как пал туман», и так далее, пока не истощался весь репертуар. По окончании Рогожкин клал гитару на стол и, в одну минуту превращаясь в пшеничного жаворонка, молча ожидал последствий, потому что говорить ему было раз навсегда строго запрещено. Махоркин, в свою очередь, вставал, молча крутил усы, молча проводил рукою по волосам и молча же переходил несколько раз комнату из одного угла в другой. Что̀ происходило в душе его в это время — неизвестно, но, вероятно, нечто не совсем обыкновенное, потому что лицо его бывало бледно и покрыто испариной. Наконец, как бы очнувшись, он замечал покорную, но все-таки плотоядную фигуру Рогожкина и отправлялся к шкапу, откуда вынимал графин с водкой и кусок колбасы, и ставил все это на стол. По утолении голода и жажды Рогожкин садился на прежнее место, а Махоркин вынимал из футляра чекан (род кларнета) и начинал насвистывать на нем те же русские песни.

Таким образом проводилось время до обеда, если не встречалось препятствий со стороны службы. Перед обедом Махоркин выходил в своем оригинальном костюме совершать обычное путешествие по улицам, а Рогожкина отпускал на несколько часов домой, потому что в публике не желал быть видим даже в его обществе. После обеда опять являлся Рогожкин, и домик снова оглашался песнями до позднего вечера, после чего Павел Семеныч опять уходил путешествовать, и затем, возвратясь домой, прочитывал одно место из Брюсова календаря, и именно то, где сказано: «Рожденные под сею планетою бывают нрава кроткого, но угрюмого, наружности неприятной, а потому в любовных делах удачи не имеют...» Перечитав неоднократно эти строки, Махоркин задумывался, несколько раз вздыхал и окончательно ложился спать.

Казалось бы, в этом образе жизни не было ничего предосудительного, однако ж Махоркин скрывал его. Какая была причина этой скрытности? была ли она следствием особенного рода самолюбивой застенчивости, столь часто составляющей удел людей, сильно развитых физически? Была ли она результатом долговременного служения в пехотной службе, сопряженного с ней квартирования по деревням и приобретенной, вследствие того, дикости нрава, которая заставляет чуждаться людей потому только, что они люди, а не звери? Не было ли, наконец, на совести этого человека какого-нибудь происшествия, которое раз навсегда наложило железную свою руку на все его пожелания и помыслы? По неимению дара тонкого

анализа, я не берусь решать эти вопросы, но могу удостоверить, что в настоящем Махоркина не имелось ничего другого, кроме описанного выше.

Понятно, однако ж, что человек с такими мрачными привычками должен был производить потрясающее влияние на окружающих его людей. Понятен делается также ужас Порфирия Петровича и Софьи Григорьевны, когда они узнали, что любимое их детище имело несчастие обратить на себя благосклонное внимание ужасного человека, который в целом городе известен был не иначе, как под названием «феномена».

Случилось это несчастие следующим образом. Однажды Софья Григорьевна ехала с Тисочкой в дрожках в ряды. Следуя обычному ходу всякого романа, лошади внезапно закусили удила и понесли.

Софья Григорьевна уже предавала мысленно дух свой богу, как вдруг из-за угла показался Махоркин и одним сильным движением руки остановил яростных животных. Этот случай решил его участь; здесь он впервые увидел Тисочку, и в сердце его внезапно загорелась та дикая и упорная страсть, которая не хочет знать никаких препятствий и, в случае неудачи, охотно прибегает к посредничеству ножей, топоров и других губительных инструментов. В сердце его загорелся пожар, который, подобно лесному, мог быть потушен только подобным же встречным пожаром. Трудно определить, что̀ именно понравилось ему в Тисочке. Всего вероятнее, что глаза его были преимущественно поражены прелестною округлостью форм молодого кубарика и что с тех пор всякое другое представление застилалось немедленно в его воображении все тою же кривою линией, которая так и мелькала перед его умственным и физическим оком. В этот день, возвратившись домой, он почувствовал припадок необузданной ярости и без всякой видимой причины вышиб кулаком четыре оконных стекла и расщепал два стула. В этот же день, когда Рогожкин, возвратившись из двухчасового отпуска, начал петь «Не березонька с березкой свивалася», Махоркин бросился на него как исступленный и зажал ему рот, но потом как будто очнулся, отошел от него и, сказав: «Пой!», начал слушать стоя. Но когда дошло до стиха: «Ты прощай, прощай, моя любушка», то Махоркин вдруг повалился всей тушей на кровать, и захватывающие душу рыдания огласили в первый раз домик Шумиловой.

Через несколько времени после этого Софье Григорьевне опять случилось ехать с Тисочкой по улице в то время, когда Махоркин совершал обычное свое путешествие. Павел Семеныч, издали завидев усмиренных им лошадей, хотел было

скрыться за ворота, чтоб не растравлять сердечной раны, но не выдержал. Всемогущая сила страсти неотразимо влекла его в ту сторону, где благоухала прелестная звезда Крутогорска; и потому, не имея возможности противиться ей, он стал в позицию и, сказав громким голосом: «Люблю!», скрылся скорыми шагами в мраке соседнего переулка.

После этого страсть Махоркина ни для кого уже не составляла тайны. Подруги Тисочки начали звать ее шутя madame Makhorkine, и рассказывали, что Павел Семеныч каждую ночь по целым часам ходит около дома Порфирьевых с обнаженною саблей и сторожит Тисочку от колдунов. Носились также слухи, что Махоркин подговаривал порфирьевскую кухарку подсыпать в Тисочкин кофе какого-то зелья, но кухарка отдала это зелье Софье Григорьевне и за верность свою получила от нее полтинник. Однажды и сам Порфирий Петрович, пересчитывая ночью деньги, слышал, как некто ходил по тротуару около его дома и пел:

Во поле березонька стоя-а-а-ла,
Во поле кудрявая стоя-а-а-ла.

И так как в это время к Тисочке сватался шестидесятилетний асессор казенной палаты Чигунов, то Порфирий Петрович не без основания заключил, что слова песни

Встань ты, старый черт, проснися!
Борода седая, пробудися! —

относятся не к чему иному, как к оскорблению чести вышереченного Чигунова.

В другой раз Порфирий Петрович, собравшись поутру на службу, нашел на полу, в сенях, записку, на которой было написано: «Твой навек, Павел Махоркин».

В третий раз, накануне самого сговора Тисочки с Чигуновым, вся крутогорская публика могла прочитать на воротах порфирьевского дома приклеенную к ним записку следующего содержания: «Почивай, кроткая Феоктиста! друг твой не дремлет! Люблю!»

Узнав об этом, престарелый жених, сообразив рост и необыкновенную крепость мышц Махоркина, нашел, что было бы дерзко и неудобно сопротивляться персту указующему, и счел долгом отказаться от руки Тисочки. Крутогорские жители уверяли, что при этом слышен был под землею хохот врага человеческого.

Порфирий Петрович, до сих пор с терпением несший крест, ниспосланный ему судьбою, не выдержал. Положение его сделалось столь же невыносимым, как положение того жильца,

который, вопреки советам друзей и родственников, поселился в заколдованной квартире и в которого аккуратно, в известный час, нечистая сила бросает из-за печки посудою, горшками, черепками и всем, чем попало. Получив отказ Чигунова, он, не медля нимало, отправился к генералу Голубовицкому и перед ним, как перед отцом, поведал свое горе.

— Ваше превосходительство,— сказал он,— не снисхождения, а справедливости вашей прошу! Шестьдесят лет жил я спокойно, наслаждаясь плодами рук своих, и вот теперь, видя, так сказать, вечернюю зарю перед собою, должен погибнуть насильственно от руки капитана Махоркина!

Генерал был в затруднительном положении. С одной стороны, он уважал и любил Порфирия Петровича,— потому что как его не любить? — но с другой стороны, он не усматривал в законах ничего, что могло бы быть приложено к настоящему случаю.

— Вы подайте просьбу о личном оскорблении,— сказал он по некотором размышлении.

— Помилуйте, ваше превосходительство! вам, стало быть, угодно, чтоб я, так сказать, сам перед всеми раскрыл свой собственный позор? Пожалейте отца семейства, ваше превосходительство!

— Хорошо, я попробую усовестить его,— сказал генерал.

Но когда Махоркин вошел, по приглашению, в кабинет генерала, то последний, измерив его оком, сам внезапно почувствовал некоторое расслабление во всем своем организме.

— Я призвал вас, капитан,— сказал он, по временам переводя дух от волнения,— чтобы представить вам, каким неприятностям вы подвергаете девицу, по-видимому, вам дорогую...

Махоркин покраснел до ушей, но молчал.

— Если вы ее любите...

— Любил и люблю! — прервал Махоркин, отставив несколько правую руку и ударив ею себя в грудь.

— Я вам верю, капитан, но согласитесь сами: право, в наш просвещенный век несколько странно...

Генерал в смущении начал ходить по кабинету и, не зная, как продолжать речь, загонял ногою в угол валявшуюся на полу бумажку.

— Я надеюсь, что вы не будете больше смущать спокойствие мирных граждан,— сказал он наконец.

Махоркин почтительно приложил руку ко лбу, сделал направо кругом и удалился. Но на другой день Порфирий Петрович опять нашел в сенях раздушенный листок почтовой бумаги, на котором было начертано: «Или моя, или ничья!»

Что ж делала в это время Тисочка? Может быть, она ва-

рила колючую ягоду, может быть, переписывалась с Эрнестиною Б., но во всяком случае не обращала ни малейшего внимания на своего пламенного обожателя, который для нее изменил своим привычкам, покинул демикотоновый сюртук и суковатую палку и стал являться на всех гуляньях, где надеялся встретить предмет своих вздохов. Когда подруги шутя называли Тисочку madame Махоркиной, то она улыбалась, но как-то бесцветно, не поднимая глаз и не обнаруживая ни малейшего желания удостовериться, действительно ли Махоркин бросает на нее молящие взоры, как удостоверяла ее Аглинька Размановская.

— Признайся, ведь ты его любишь? — приставала Аглинька.

Но Тисочка снова улыбалась и даже не старалась отделаться от докучных вопросов, а по-прежнему продолжала, пошатываясь, ходить из угла в угол, доканчивая сто раз начатой и сто раз уже конченный роман о блуждании в лесу и переезде чрез огромное озеро.

В таком положении были дела, когда на крутогорском небосклоне явилась новая яркая звезда в лице Ивана Павлыча Вологжанина.

VII

Разговор

— Ну, что ж, говорил? — спросил однажды Иван Павлыч Мишку, которому, как читателю известно, было поручено подойти к Порфирьевым с заднего крыльца.

— Говорил-с.

— Ну, что ж?

— Не дело они, сударь, болтают. Надо, говорят, еще посмотреть, получит ли барин место, да какое еще, мол, у него состояние.

— Кто ж это говорил?

— Сама барыня в кухню выбегала... Ну, я говорю: состояние, говорю, хорошее, в Костромской губернии полтораста душ, земля больше чернозем и леса, говорю, большие...

— Что ж она?

— Надо, говорит, подумать; пущай, говорит, барин покамест так ездит.

— Ну, а насчет приданого узнал?

— А приданое, говорит: тридцать тысяч в руки, а потом, коли будет зять ласков, так смотря по силе возможности.

— Гм... ласков!.. Ступай!

«А это, черт возьми, скверно!.. Ласков!.. Что ж это, наконец, такое будет?.. Гм... ласков! не на коленях же, черта с два, перед тобою стоять!.. А ведь этак, пожалуй, и не поправишь обстоятельств!

Уж не отретироваться ли заблаговременно?.. Гм... да приударить этак по купеческой части?.. Тридцать тысяч!.. да нет, врешь ты, подлец! ты вот заиндевел здесь в мурье, да и думаешь, что на твои тридцать тысяч так сейчас и полезут!.. Ведь это, брат, не с Махоркиным дело иметь... Махоркин-то вот в медвежьей шапке даже летом ходит, ну, а я... я, брат, сам с усам — вот!

Что бы это, однако ж, за штука этот Махоркин? Неужели соперник?.. да нет, не может этого быть! Ну, а если? ну, если да она, под видом скромности, уж имеет с ним тайные отношения?.. то есть, не то чтобы тово, а так *коман ву порте ву*[1], «Я вечор в саду, младешенька, гуляла»... А не дурна она, черт возьми! этакую женку, я вам скажу, всякий возьмет за себя с удовольствием! Кругленькая, сочненькая, рассыпчатая, с перевальцем, так и катится, так и катится... нет, черт побери, не надо упускать такой случай... или пан, или пропал, нынче или никогда — вот я как скажу!

И что делает этот скотина Сыромятников? нет, да и нет на письмо ответа! Из-за его подлейшей лености, может быть, люди тут погибают, а ему ничего: спит, чай, задравши ноги, или расчесывает собачку Каролины Карловны! И ведь нет же стрелы небесной для такого лентяя!

Однако она сказала: пускай ездит; стало быть, не все еще погибло! Кто знает, может быть, с божьею помощью, мне и удастся этот куш сорвать... может быть, я вот теперь и опасаюсь и беспокоюсь, а она в эту самую минуту мечтает обо мне и говорит своей maman: «Jean или никто!..» О, моя радость!

Может быть, в эту самую минуту, все уж у них решено, и мне остается только сделать формальное признание... Следовательно, все это еще очень недурно, и, следовательно, горевать и беспокоиться тут не о чем... эй, Мишка! водки!.. buvons, chantons et... aimons!»[2]

Кончивши этот монолог, Иван Павлыч действительно стал в позицию и проканканировал несколько туров по комнате.

Надо сказать, что Вологжанин уже переехал из гостиницы и обитал в наемной квартире, состоявшей из четырех небольших комнат. Квартиру эту он немедленно украсил прекрас-

---

[1] как поживаете.
[2] будем пить, петь и... любить!

ною мебелью и разными изящными безделками, как-то: настоящей бронзовою лампой, несколькими подсвечниками под бронзу, пресс-папье, на котором грациозно раскинулась борзая собака, и чернильницей, состоявшей из легавой собаки с коромыслом в пасти, на котором с одной стороны была повешена чернильница, а с другой — песочница. Все это было очень мило. К счастью его, в это время приехал в Крутогорск жид с картинами, и Иван Павлыч, как человек с развитым вкусом, поспешил удовлетворить врожденной ему потребности изящного. Он купил с десяток картин, изображающих исключительно дам в различных обстоятельствах жизни. У одной, например, была спущена с плеча рубашка, и внизу подписано: «Naïveté»[1], другая раскинулась на диване, тоже весьма мало одетая, и внизу было подписано: «Viens»[2], третья была изображена спящею в самой грациозной и непринужденной позе, и внизу было подписано: «La belle endormie»[3] и т. д. Но сверх этих картин, которыми он украсил стены своей квартиры, было куплено им и еще несколько других, которые он показывал только самым коротким приятелям, а так как я, пишущий эти строки, не имел удовольствия пользоваться его доверенностью, то, к величайшему огорчению моему, не могу сообщить читателю никаких сведений по этой части. Итак, повторяю, все было очень мило, и Порфирий Петрович, приглашенный Вологжаниным на новоселье, осмотрел всё очень внимательно, крепко пожал хозяину руку и сказал:

— Очень приятно! я думаю, вам не дешево стало?

— Помилуйте, что ж это может стоить? Конечно, оно не дешево, но я могу... Нет, если б вы были у меня в костромской деревне! я туда перевез всю мебель, все вещи из петербургской своей квартиры.

— Очень приятно! — сказал снова Порфирий Петрович и при этом крякнул и искоса посмотрел на ломберный стол, что означало, что не мешало бы, дескать, теперь отдохнуть за вистиком.

Но возвращаюсь к прерванному рассказу.

Едва успел выпить Вологжанин поданную ему рюмку водки и проканканировать в последний раз, как в дверях комнаты показался Махоркин. Павел Семеныч остановился, скрестил руки на груди и, не снимая с головы фуражки, обвел грустным взглядом комнату.

— С кем я имею честь говорить? — спросил Вологжанин, несколько струсив и притворяясь, что не знает Махоркина.

---

[1] «Наивность».
[2] «Приди».
[3] «Спящая красавица».

В это же самое время он мысленно восклицал:

«Где же этот скотина Мишка! хоть бы он тут на всякий случай стоял!»

— Махоркин,— отвечал капитан, грустно покручивая усы.

— Очень рад-с... сделайте одолжение... не прикажете ли водки? эй, Мишка!

Махоркин, однако ж, молчал. Он все продолжал осматривать комнату; потом, не говоря ни слова, отправился в другую, которую тоже осмотрел, потом в третью и, наконец, в четвертую, где была спальня Вологжанина. В каждой комнате он на несколько времени останавливался, как будто соображая что-то, и наконец воротился тем же путем в первую комнату и сел на стул.

— Я люблю ее! — сказал он после нескольких минут размышления.

— Про кого вы изволите говорить? — спросил Вологжанин.

— И никому овладеть ее сердцем не позволю! — отвечал капитан.

— Мишка! подай водки!

— Благодарю! стакан квасу — и ничего больше! — возразил капитан.

Последовало несколько минут молчания.

— И она меня любит! скрывает, но любит... это верно! — продолжал капитан.

— Какая сегодня прекрасная погода! — прервал Иван Павлыч,— представьте, я был у генерала и...

Но тут Вологжанин заикнулся, потому что никак не мог вдруг изобрести, кого встретил или что̀ делал у генерала.

«Проклятый язык! — подумал он с досадою,— вот, как не нужно, всякую дичь порет, а где нужно, тут его и нет!»

— И если вы задумали отнять у меня мое сокровище,— сказал Махоркин,— то я — лев!

Он встал и, скрестивши на груди руки, начал ходить по комнате. Потом стал к притолоке, вынул из кармана карандаш и заметил им рост свой; исполнивши это, взял за плечи Вологжанина и подвел его под мерку: не оказывалось восьми вершков. Результат этот, казалось, удовлетворил его, потому что он одну руку заложил за спину, а другою молча, но презрительно помахал пред самым носом Вологжанина, как бы желая сказать ему: «Ну, куда ж ты, жалкий человек, лезешь!»

Иван Павлыч ужасно покраснел и тогда же дал в душе своей обет, если испытание кончится благополучно, испороть Мишку беспримерным в истории образом за то, что смел пустить Махоркина в квартиру.

— Вы, конечно, сегодня гуляли, капитан? — спросил он, стараясь улыбнуться.

— Нет еще,— отвечал Махоркин,— но повторяю, что если будет продолжение замыслов, то я сотру того человека в табак и вынюхаю!.. дда, вынюхаю!

«Господи! да что ж это такое будет? Мишка, где же ты, ракальон ты этакой?» — вопиял мысленно Вологжанин.

— Да, и вынюхаю! и никто не узнает!

С этим словом Махоркин подошел к Ивану Павлычу, расстегнул сюртук свой и обнажил грудь, на которой рос дремучий бор волос.

— Ты это видишь? — сказал он,— это сила! это Самсон! Следственно, ты предуведомлен!

Павел Семеныч повернулся и медленными шагами вышел из комнаты.

— Уф! — крикнул во всю мочь Вологжанин, как только получил возможность овладеть своими чувствами.

VIII

Первый шаг сделан

*«С.-Петербург, 15 августа 18 **.*

Наша взяла, любезный друг Ваня, и я могу поздравить тебя с успехом. Каролина Карловна была в восторге от твоего письма, но велела тебе сказать, чтоб ты не посылал ни белорыбицы, ни осетрины, а прислал бы лучше денег, потому что ей кто-то сказал, что Крутогорская губерния — золотое дно. Между нами, ее барон стал к ней немножко холоден, и это заставляет ее несколько позаботиться насчет своего будущего. Описание твоего путешествия прелестно, и я жалею, что не могу напечатать письмо твое целиком в «С.-Петербургских ведомостях». Как-то идут твои дела насчет предполагаемого супружества? Зная мою давнюю дружбу к тебе, я не сомневаюсь, что ты не откажешь принять от меня совет, как поступать в этом деле. Главное, любезный друг, тут смелость и натиск. Иди вперед и все вперед, несмотря ни на какие резоны, и будь уверен, что достигнешь желаемого. Женщины, mon cher, любят, чтобы их ставили au pied du mur [1], и отговариваются только для соблюдения формальностей. Для женщины не может быть ничего отвратительнее так называемого

---

[1] в невозможность отступить.

«размазни». Говорю это положа руку на сердце, потому что изучил женщин и знаю, что в отношении к ним одно только правило хорошо: вперед, вперед и вперед!.. А на твоем месте я все-таки до матримонии-то приударил бы и за Дарьей Михайловной. Судя по твоему письму, она должна быть аппетитная, да и в Петербурге имеются насчет ее кой-какие сведения, из которых можно заключить, что она дама чувствительная. Право, приударь, дружище! милее жизнь будет казаться!

А мы здесь проводим время очень приятно. Я, как ты знаешь, в качестве ami de cœur[1], бываю везде, где блистает Каролина Карловна. На днях была у нас partie de plaisir[2], и Каролинхен за обедом, будучи веселее обыкновенного, пустила в своего барона бокалом и в нескольких местах разрезала ему лоб. Это-то, быть может, и причина, что в отношениях их поселилась некоторая холодность, потому что в первую минуту барон, как кажется, очень обиделся. А впрочем, что же писать тебе об этом! все это теперь чуждо для тебя, которого занимает теперь иной мир и иные интересы. Господи! как подумаешь, что я теперь один, без утешений дружбы, и что ты далеко, далеко, в каком-то тридевятом Крутогорске, поневоле делается грустно!

Каролинхен велела тебе сказать, что ты можешь поддерживать в Голубовицком мнение о ее близких отношениях к тебе. Она очень хорошо понимает, что для тебя это может составить существенную пользу, а для нее решительно никакого ущерба. Чтó за женщина, чтò за прелесть эта Каролинхен! Веришь ли, mon cher, я вот почти десять лет с ней дружен, и каждый день открываю в ней все новые совершенства! Ты представь себе, что она даже не стареет, эта женщина, что ей сорок лет, а она кажется девочкой лет восемнадцати! Я счастлив, счастлив и счастлив!

Прощай, благословляю тебя на новые подвиги. Твой

Nicolas Сыромятников».

IX

Тягостное признание

На другой день по получении этого письма Вологжанин решился сделать предложение, рискуя быть раздавленным, как яйцо, от руки капитана Махоркина. Хотя он обладал

[1] друга сердца.
[2] прогулка.

документом, который давал ему законное основание надеяться на успех, однако же в душе его было как-то смутно и трепетно в ту минуту, когда экипаж его подъезжал к дому Порфирия Петровича. По-видимому, в доме этом ничего не изменилось; в зале стояли по-прежнему стулья по стенам; в гостиной у поперечной стены красовался знакомый диван с круглым столом спереди и креслами по бокам; Порфирий Петрович, по обыкновению, крякнул, встретивши его; Софья Григорьевна обязательно улыбнулась, а Тисочка сейчас же скрылась из комнаты. Но ему казалось, что все смотрело иначе, как будто не просто, а с умыслом. Краска на доме показалась ему не желтою, а оранжевою, свет в комнатах не белым, а радужным, столы, диваны и стулья расставленными слишком симметрически, будто в ожидании какого-то происшествия; Порфирий Петрович крякнул значительнее обыкновенного, Софья Григорьевна, улыбаясь, как-то пошевелила ноздрями, а Тисочка как будто закрыла руками лицо, когда убегала из комнаты.

— Очень приятно,— сказал Порфирий Петрович, усаживая гостя на диван.

— Я получил место-с,— пролепетал Вологжанин.

— Слышал, слышал... и поздравляю! вчера об этом говорили в клубе... очень приятно!

— Теперь вы, стало быть, наш? — любезно присовокупила Софья Григорьевна.

— Желал бы-с...— отвечал Вологжанин, едва дыша.

— Что ж, очень приятно,— заметила Софья Григорьевна.

Но Вологжанин решительно не знал, как ему приступить к главному предмету. Он мялся и ворочался на диване, неоднократно даже разевал рот и откашливался, но когда приходилось пустить в ход язык, последний решительно не мог сделать ни шагу. Хозяева, с своей стороны, вероятно также по сочувствию, были как-то особенно неразговорчивы, и вследствие того между собеседниками длилось томительное молчание, в продолжение которого Порфирий Петрович в десятый раз отбарабанил пальцами по ручке дивана любимую свою песню о чижике.

— Порфирий Петрович! мне необходимо с вами переговорить! — сказал наконец Иван Павлыч, вставая с кресла.

— Очень приятно! — отвечал Порфирий Петрович,— не угодно ли пожаловать в кабинет!

Пришли в кабинет и уселись; но Иван Павлыч не почувствовал от того себя легче. Он уперся глазами в землю и бесплодно бил такт шляпою о колени.

— Так вы наконец получили желаемое место? — ласково спросил Порфирий Петрович.

— Точно так-с... я, признаюсь вам, потому особенно этому рад, что есть одно обстоятельство...

— Да, это место очень хорошее... Надо только распорядиться умеючи, и тогда даже семейному человеку можно прожить на этом месте безгорестно... У вас есть еще, кажется, именьице в Костромской губернии?

— Как же-с, и прекраснейшее! усадьба стоит на самой реке, впереди луга расстилаются, сзади лес синеет... словом, со всех сторон вид самый веселый!

— Это очень приятно! Ведь вот, казалось бы, какая от того прибыль, что, например, вид веселый? доходу от этого не прибывает, и вообще существенных выгод никаких, а для души все-таки очень полезно!.. Ну, и кажется, у вас этак душ с полтораста там есть?

— Нет-с, сто; в последние холерные годы...

— Скажите пожалуйста! стало быть, она сильно свирепствовала в ваших местах?

— И преимущественно в моем именье-с... Вы представить себе не можете, до какой степени легко умирал народ! Зато земля у меня отличнейшая, Порфирий Петрович, и урожай поистине необыкновенный! Зерно, можно сказать, почти никакой обработки не требует: бросят его просто на землю, а оно уж и даст урожай!

— Это приятно: но ведь там у вас сторона, по преимуществу, лесная, так и доход, я полагаю, главнейшим образом от этой статьи поступать должен?

— Как же-с; у меня тысячу десятин отличнейшего леса, и смело могу сказать, что ни одного дурного бревна не найдете: все один к одному!

— Это очень приятно; ну, так стало быть...

— Порфирий Петрович! — сказал Вологжанин, внезапно вставая,— я осмеливаюсь просить вас сделать счастие всей моей жизни! покуда я не был уверен в себе, покуда не получил известия о месте, я не смел...

— Что ж, нам очень приятно,— отвечал Порфирий Петрович, вставая в свою очередь и сжимая руку Ивана Павлыча,— сколько я мог заключить...

Порфирий Петрович направился к двери, вероятно, с целию кликнуть Софью Григорьевну, но внезапно остановился, как будто припомнив нечто. Он воротился на прежнее место и несколько времени молча переминался с ноги на ногу.

— Вам, конечно, известен капитан Махоркин? — спросил он наконец.

Вологжанин кивнул головой в знак согласия.

— Этот ужасный человек,— продолжал Порфирий Петрович,— причиною многих зол в моем семействе. То есть вы не подумайте, чтобы дочь моя... нет! в этом отношении я совершенно счастлив и убежден, что она и до сих пор в том же виде, в каком вышла из рук творца... но он смутил мое семейное счастие! верите ли, что я ни одной ночи не могу уснуть спокойно, с тех пор как узнал его. Странно сказать, а между тем это действительная правда, что он каждую ночь шатается под окнами моего дома и распевает песни, по-видимому неблагопристойного содержания!

— Это, мне кажется, от того происходит, Порфирий Петрович, что вы снисходительно обращаетесь с ним! — заметил Вологжанин,— на вашем месте я просто велел бы вашим людям поймать его ночью и... поступить с ним, как с человеком неблагонамеренным.

— Но вы, стало быть, не имеете никакого понятия о сверхъестественной его силе? Притом же он ходит всегда с железною палкой в руках, и нет повода думать, чтобы при нем не было даже огнестрельного оружия... нет, вы еще не знаете, что́ это за ужасный человек!

— Но если, с одной стороны, действия Махоркина так настоятельны, а с другой, нет средств ввести его в пределы законности, то я, право, не могу придумать... это ужасно прискорбно, Порфирий Петрович!

— Одно только средство я могу предложить, но теперь я не решусь без вашего согласия... Средство это заключается в том, чтобы дочь моя сама... да, сама усовестила его и высказала ему несообразность его поведения...

— Но, согласитесь сами, Порфирий Петрович, если взять, с одной стороны, необузданность Махоркина, с другой, невинность Феоктисты Порфирьевны...

— Дурных последствий не будет! я с Софьей Григорьевной будем стоять за дверьми...

— Если так, то конечно... Но ежели он не внемлет?

Порфирий Петрович стал в тупик. Что́, в самом деле, ежели он не внемлет? Воображению его представлялись картины горестного свойства, между которыми самая утешительная изображала Махоркина, пожирающего Тисочку одним глотком.

— Однако ж попробуем,— сказал Вологжанин.

Порфирий Петрович вздохнул свободнее. Он был в таком безнадежном положении, что малейшее поощрение постороннего лица уже представлялось ему как признак несомненного избавления от ниспосланной ему напасти.

— Стало быть... по рукам! — сказал он, повеселев.

Затем оба вошли в гостиную, где ожидала их Софья Григорьевна все в том же положении, в каком они оставили ее перед уходом в кабинет.

— Иван Павлыч сделал нам честь,— сказал Порфирий Петрович, подводя Вологжанина за руку.

— Очень приятно,— отвечала Софья Григорьевна.— Тисочка! ты можешь войти, душечка.

Иван Павлыч, как и следовало, поцеловал руку у будущей maman. В это время Тисочка, по обыкновению, кубариком подкатилась к родителям.

— Иван Павлыч делает тебе честь,— сказала ей Софья Григорьевна, любезно улыбаясь.

— Очень приятно,— отвечала, приседая, Тисочка, нисколько не изменившись в лице и не шевельнув ни одним мускулом.

Иван Павлыч поцеловал руку и у нее.

— Ну, стало быть, можно вас поздравить... очень приятно! — произнес Порфирий Петрович,— поздравляю!

Последовали взаимные поздравления и лобызания, после чего начался совершенно родственный и интимный разговор.

— Надо, Порфирий Петрович, представить Ивана Павлыча папеньке Григорию Семенычу,— сказала Софья Григорьевна,— и познакомить с дяденькой Семеном Семенычем и сестрицей Людмилой Григорьевной.

— Это необходимо,— отвечал Порфирий Петрович,— милости просим завтра вечерком вместе с нами.

Иван Павлыч сел подле невесты на диване, Порфирий Петрович расположился на кресле подле Ивана Павлыча, а Софья Григорьевна на диване же по другую сторону Тисочки. Таким образом, они представили из себя прелестнейшую семейную картину в фламандском вкусе. Иван Павлыч, по-видимому, очень желал сказать невесте что-нибудь приятное, но не находил слов, и потому ограничился лишь пристальным и маслянистым взглядом, в котором окунул всю маленькую особу Тисочки. Софья Григорьевна не могла достаточно налюбоваться на милую парочку и выражала свою душевную радость лишь движением губ и ноздрей. Порфирий Петрович, с своей стороны, тоже не желая нарушить картину безмятежного счастья, только притопывал ножкой и барабанил пальцами по коленке песню о чижике.

— Так вот, стало быть... мы и родственники! — сказал Порфирий Петрович, когда все уж достаточно насладились.

— Если бы вы знали, как я счастлив! — произнес Иван Павлыч, целуя у Тисочки руку.

— Очень приятно! — отвечал Порфирий Петрович,— милости просим к нам обедать...

— Надо, чтоб Тисочка привыкла к вам,— добавила от себя Софья Григорьевна.

— Да-с; вот вы, в один, можно сказать, день, и место получили, и судьбу свою ограничили,— сказал Порфирий Петрович,— не всякому удается так приятно устроить свои дела...

— Я очень счастлив,— отвечал Вологжанин,— поверьте, что я буду для вас именно почтительным сыном... тем более что и по службе... мне так приятно, что я буду иметь возможность пользоваться вашими советами...

— Да; я опытен. Но лучше всего, я вам советую обратиться за наставлениями к двоюродному моему брату по жене, отставному коллежскому асессору Зиновию Захарычу Гегемониеву. Он вашу часть знает во всей подробности.

— Если позволите просить вашего посредничества...

— С удовольствием; мы, кроме родства, старинные приятели с Зиновием Захарычем... это именно, можно сказать, отличнейший и добродетельнейший человек!

Однако Иван Павлыч, почувствовав усталость вследствие понесенных утром трудов, решился откланяться, обещая непременно прибыть к обеду.

— Ну, кажется, это дело устроилось! — сказал он, совершенно счастливый садясь на дрожки.

Только будучи уже на половине дороги, он внезапно о чем-то вспомнил, весь побледнел и, вскочив на дрожках, с чрезвычайною силою ударил себя ладонью по лбу.

— Господи! а приданое! — вскричал он почти неестественным голосом,— да что ж это такое! главное-то, главное-то и забыл! что ж это такое! этот канальский Махоркин совсем, наконец, у меня память отшибет!

С своей стороны, Порфирий Петрович, прохаживаясь по гостиной, держал следующую речь:

— Ну, Софья Григорьевна, благодарение богу, мы с вами, кажется, прекрасно устроили Тисочку... даже о приданом ничего не спросил! Стало быть, любит и не интересан... а сверх того, и не пьяница!

X

Папенька Григорий Семеныч, дяденька Семен Семеныч и сестрица Людмила Григорьевна

Папенька Григорий Семеныч Плегунов жил в маленьком желтеньком домике, выходившем тремя своими окнами в Федоскин переулок, неподалеку от Проезжей улицы. Жил он

вместе с братцем Семеном Семенычем и дочерью, из дворян девицей Людмилой Григорьевной. Папеньке было восемьдесят лет, дяденьке семьдесят девять, сестрице Людмиле Григорьевне пятьдесят семь. Существовали они пенсией, получаемой обоими братьями, и вели жизнь чрезвычайно своеобразную. Григорий Семеныч, как старший, был в доме главным лицом; но, сверх старшинства, он имел неоспоримое право на главенство еще потому, что некогда обучался в духовной академии, а впоследствии своим умом дошел до мартинизма. Все это давало ему особый вес между семейными, которые ничего не находили лучшего, как безусловно покоряться всем его распоряжениям.

День в желтеньком доме начинался с пяти часов утра; кухарки, в это время проходившие на рынок за провизией, были уверены, что увидят через окно Семена Семеныча, маленького, но еще бодрого и румяного старичка, прохаживающегося по парадным комнатам в ожидании братца Григорья Семеныча, который, как умный, позволял себе несколько времени понежиться в постели. В шесть часов старики уже были в столовой за чаем, который разливала Людмила Григорьевна. Григорий Семеныч выходил обыкновенно в халате и покойно располагался в креслах, а Семен Семеныч, в застегнутом на все пуговицы сюртуке, садился на стул, даже не упираясь на спинку его. Если время было летнее и день стоял хороший, то открывалось окно, и утренний воздух мгновенно освежал старческую атмосферу, наполнявшую комнату. Григорий Семеныч медленно выпивал две чашки жиденького, но чрезвычайно сладкого чаю и после того принимался за распоряжения по дому: призывал кухарку и спрашивал о ценах на припасы, потом призывал кучера и спрашивал его о ценах на овес и сено. Иногда по этому поводу пускался в сравнения прошедшего с настоящим, которые всегда оказывались не в пользу настоящего. Затем он брал в руку кожаную хлопушку и до семи часов безустанно колотил ею направо и налево, что делал одинаково и летом и зимой, хотя нельзя было не заметить, что летом это занятие приобретало для него существенный интерес, потому что имело разумную цель: истребление мух. После восьми часов он запасался «Московскими ведомостями» и удалялся в спальную, где посвящал два часа мысленной беседе с отсутствующими, а другие два часа сочинению под названием: «Защита Сент-Мартена», которое он начал писать еще на сороковом году жизни и к которому ежедневно прибавлял несколько строк. В течение всего этого времени Семен Семеныч, все так же застегнутый, прохаживался по парадным комнатам, а иногда позволял себе раз-

влечься и хлопушкой, но действовал ею осторожно, чтобы не обеспокоить братца; Людмила же Григорьевна садилась за вышивание или уходила к сестрице Софье Григорьевне, которая считалась в доме красавицей и вельможей, потому что была замужем за статским советником.

Таким образом проходило утро.

В двенадцать часов старики садились обедать и, совершивши этот обряд молча, расходились по своим комнатам для отдохновения, причем дяденька Семен Семеныч с наслаждением скидал с себя сюртук и облекался в халат. Однако ж к четырем часам все были снова у чайного стола, причем повторялась прежняя история с хлопушкой, длившаяся до пяти часов, а после того требовались купленные в клубе старые и засалившиеся от давнего употребления карты, и начиналась игра в дураки, в которой принимал участие (впрочем, стоя) и лакей Спиридон, такой же старик, как и его господа. Но и здесь главенство Григорья Семеныча высказывалось во всей его силе. Все взоры, все сердца были устремлены к нему. Семен Семеныч робко заглядывал к нему в карты с исключительною целью, чтобы братец Григорий Семеныч никак не остался в дураках; сообразно с полученными этим путем сведениями, располагал он своею игрою, без нужды принимал, когда замечал, что у братца есть паршивая тройка, которую необходимо сбыть с рук, ходил с одной, имея на руках пятерню самого убийственного свойства, и т. д.; но если и за всем тем убеждался, что братцу грозит неминуемая беда, то прибегал к последнему средству: поспешно бросал свои карты, в которых нередко скрывались туз и король козырей, смешивал их с теми, которые уже вышли из колоды, и говорил:

— Нечего и доигрывать: остался я!

Людмила Григорьевна равномерно старалась всеми средствами выгородить из беды своего отца, но так как женский ум ни в каком случае не может сравниться с мужским, относительно изобретательности, то ее полезные усилия на этом поприще ограничивались лишь тем, что она выходила всегда с такой масти, которую Григорий Семеныч мог перекрыть. Один Спиридон оставался непричастным к этим семейным маневрам и нередко, вытащив брошенных Семеном Семенычем короля и туза козырей, горько изобличал его в потачке.

— Ну, что̀ ж, что туз, король,— оправдывался Семен Семеныч,— а третья-то была шестерка пик! ну, пойди ты под меня теперича с тройки, чем же я третью-то покрою?

— Не егози, сударь,— отвечал Спиридон,— не было у тебя никакой шестерки пик!

И, о верх неблагодарности! Сам же Григорий Семеныч,

в пользу которого все это делалось, предательски подшучивал над братом и, благосклонно улыбаясь, говорил:

— Да, брат Семен! дал ты маху!

Игра продолжалась обыкновенно до ужина, то есть до восьми часов, если никто в это время не приезжал. Если же приезжал посторонний (что, впрочем, случалось весьма редко), то перебирались в гостиную, и там на круглом столе, перед диваном, неизменно являлись: моченые яблоки, пастила и сушеные плоды, и вторично подавался чай. Но в восемь часов семейство уже неизменно сидело за ужином, и около этого же времени заезжал, по дороге в клуб, Порфирий Петрович и завозил Софью Григорьевну с кем-нибудь из детей. Тут обсуждались обыкновенно разные политические новости, вычитанные утром в газетах, и поверялись городские слухи, почерпнутые Плегуновыми на базаре, а Порфирьевыми в высших аристократических салонах Крутогорска. В девять часов Софья Григорьевна удалялась, и старики ложились спать.

Неизвестно почему, Порфирий Петрович если не совершенно стыдился, то как будто конфузился семейства своей жены. Когда заходила об нем невзначай речь, то он ограничивался словом «благодарю», но и это слово выговаривал не прямо, а как-то боком, причем краснел и, отставив одну ножку вперед, на другой делал полуоборот. Вероятно, его смущал слишком простой образ жизни стариков, не сообразовавшийся с его собственными понятиями и привычками. Достоверно то, что в те редкие семейные торжества, когда Порфирью Петровичу нельзя было обходиться без того, чтобы не пригласить папеньку Григорья Семеныча, дверь его запиралась для всех посторонних, и когда Разбитной, в один из таких торжественных дней, презрев все приличия, каким-то образом прорвался прямо в гостиную и, так сказать, застал Порфирия Петровича на месте преступления, то последний, в течение целой недели после этого происшествия, был несчастен и краснел при встрече с каждым знакомым.

В такой-то дом должен был приехать нареченный жених Феоктисты Порфирьевны. В четыре часа пополудни он был уже на месте с невестой и ее papa и maman. При самом входе в зал его обдало смешанным запахом пастилы, моченых яблок и изюма. Запах этот, впрочем, составляет общую принадлежность всех домов, обитаемых стариками и в особенности старыми девами, которые имеют страсть хранить в шкафах огромные запасы такого рода сластей. В зале встретили их Людмила Григорьевна и дяденька Семен Семеныч; Людмила Григорьевна, сказавши: «Очень приятно!» — объявила, что папенька Григорий Семеныч сейчас выйдет; Семен Семеныч,

с своей стороны, пожал руку Ивана Павлыча и шаркнул при этом одной ножкой. В ожидании все уселись в гостиной.

— Изволили в Петербурге служить? — спросил Семен Семеныч Вологжанина.

— Да-с, и в Петербурге служил.

— Приятный город-с! Я также там смолоду служил... очень приятные бывали минуты!

— О, вы бы теперь не узнали Петербурга!

— Да-с... вот в мое время славились там Милютины лавки... нынче что-то уже не слыхать об них...

— Помилуйте! они и теперь еще продолжают пользоваться прежнею славой...

— Приятные лавки-с!

— Вы, вероятно, смолоду были тоже гастрономом?

— Нет-с, я около окошек-с... Идешь, бывало, со службы, и все как-то завернешь в эту сторону... Вид, знаете, этакий приятный, и хоть купить не купишь, а посмотреть весьма любопытно!

— Да; я сам любил эти лавки; мы там с одним приятелем, Коко Сыромятниковым, частенько-таки угощались... Только дорого ужасно!

Семен Семеныч взглянул на Вологжанина с уважением. В это время дверь отворилась, и в комнату важно и величественно вошел тучный и высокий старик в длинном сюртуке и с белым галстухом на шее. Старик этот был сам Григорий Семеныч, вследствие чего немедленно последовало представление жениха.

— Много наслышан, государь мой! — сказал Григорий Семеныч, усаживаясь на диван,— вероятно, на службу к нам приехать изволили?

— Точно так-с, и получил уже место...

— Иван Павлыч получил место прекраснейшее, папенька,— вступился Порфирий Петрович,— в шестом классе и при безобидном содержании.

— Это хорошо,— сказал Григорий Семеныч,— теперь, стало быть, остается вам, государь мой, оправдать доверие, которым удостоило вас начальство!

— Я, с своей стороны, употреблю все усилия...

— Иван Павлыч сделал нам, папенька, честь, испросив нашего согласия на руку дочери нашей Феоктисты,— прервал Порфирий Петрович,— смею, папенька, надеяться, что и с вашей стороны не будет препятствий...

— Я препятствия делать не могу... партия эта весьма приличная! Итак, государь мой, вы не только в наш город, но и именно в наше семейство?

— Точно так-с; осмеливаюсь просить вас, милый дедушка, о расположении.

— Весьма приятно! Но позвольте вас при этом спросить, в каком смысле вы принимаете новую обязанность, которая ныне на вас налагается? То есть я разумею не брачную, а служебную обязанность, государь мой.

— Я, конечно... я употреблю все усилия...

— Я, папенька, завтра же познакомлю Ивана Павлыча с братцем Зиновием Захарычем, который, конечно, по родственному расположению, не откажется понапутствовать молодого человека.

— Это благоразумно. Но я потому сделал вам этот вопрос, государь мой, что сам в свое время служил и, могу сказать, служил не праздно.

— Папенька был советник здешней казенной палаты,— сказал Порфирий Петрович.

— Да, и был советником именно в ту самую эпоху, когда казенные палаты, так сказать, служили рассадниками истинного просвещения... вы, может быть, изволили слышать о Семене Никифорыче Веницееве? [1]

Последние слова Григорий Семеныч произнес таинственно, но вместе с тем и самодовольно.

— Так вот-с,— продолжал он,— мы с покойником Семеном Никифорычем несколько разошлись в мнениях... Умный был он человек, а заблуждался! Вот я, например, доказывал, что все вещи телесные имеют начала бестелесные и что, например, минерал во времени и пространстве существует без телесных своих покровов, а он это отрицал... очень приятно проводили тогда время в умственных упражнениях!

Вологжанин разинул рот перед этою бездною премудрости, но выразить мнение свое не осмелился, а только подумал: «О, да он, кажется, либерал, почтеннейший grand-papa!» Григорий Семеныч, однако ж, не только не принял этого молчания в худую сторону, но остался, по-видимому, доволен произведенным впечатлением, потому что с удвоенною благосклонностью продолжал:

— Да-с, государь мой, проводя время в умственных упражнениях, необходимо изощряли мы и остроту ума и делались, вследствие того, истинно полезными деятелями для отечества. Да-с, недаром прежние казенные палаты слыли рассадниками

---

[1] Семен Никифорыч Веницеев, советник Тульской казенной палаты, один из авторов сочинения «Исследование книги о заблуждениях и истине», направленной против мартинистов. См. «Библиографические записки» М. Н. Лонгинова. «Современник» 1857 г., № IV. *(Прим. М. Е. Салтыкова.)*

просвещения! Нынче, конечно, тоже встречаются изредка просвещенные люди, но все-таки не то, что прежде... Вот хоть бы теперь, например: пишут в газетах о комете, а подумал ли кто-нибудь о том, что̀ означает это явление? какое влияние производит оно на судьбы народов? будет ли голод, мор или кровопролитие? А в мое время мы бы все эти вопросы непременно разрешили!

Голос старого Плегунова дрожал при этом воспоминании старого времени.

— Да, это общее мнение, что в старые годы люди как-то основательнее были,— подольстился Вологжанин.

Но Григорий Семеныч так был растроган, что даже не отвечал, а только указал рукою на поставленные на столе моченые яблоки и другие сласти.

Вообще, Иван Павлыч произвел благоприятное впечатление в семействе Плегуновых, которое преимущественно любило скромных молодых людей. Григорий Семеныч, против обыкновения, просидел до десяти часов и приказал подать на стол закуску и сладкой водки. Он беседовал с Иваном Павлычем и о других предметах человеческого ведения и во всем оказал изумительное разнообразие познаний, так что Вологжанин, несмотря на то что получил в юношестве приятное образование, не находил слов, чтоб поддерживать столь философическую беседу, и ограничивался только непритворным изумлением.

— А ведь дедушка-то преначитанный! — сказал он Порфирию Петровичу, когда они возвращались домой.

— Как же, ведь он мартинистом был! — отвечал Порфирий Петрович.

— И знаете, я вам скажу, что в наше время его, пожалуй, признали бы за либерала!

— Да ведь, коли хотите, оно и точно есть немножко,— сказал Порфирий Петрович, подмигивая глазом.

Возвратившись домой, Иван Павлыч чувствовал себя совершенно довольным. У него было как-то легко и прозрачно на душе; ноги ходили как будто сами собою, а руки тоже сами собою потирались от удовольствия.

— Умнейшая голова! — сказал он, подходя к окну и всматриваясь, сквозь темноту ночи, в противоположную сторону улицы.

Там стоял низенький серенький домик, в котором, незадолго перед тем, поселились какие-то новобрачные. Новобрачные эти, должно полагать, очень любили друг друга, потому что окна маленького домика запирались ставнями с восьми часов вечера и не отпирались до утра и потом снова запирались

в три часа пополудни и отпирались в шесть. Иван Павлыч любил наблюдать за этим запираньем и отпираньем ставней, и хотя не мог проникнуть нескромным оком внутрь комнаты, но все-таки чувствовал себя как-то спокойнее после такой операции.

— Счастливчики! — сказал он, весело вздохнувши, кликнул Мишку и спросил на сон грядущий рюмку водки.

XI

Объясняется недоразумение читателя

Как! скажет мне читатель,— вы изображаете Вологжанина веселым и беззаботным, тогда как главная задача его сватовства — вопрос о приданом — оставлен неразрешенным?

Признаюсь, недоразумение это и меня долгое время смущало, а потому считаю долгом оговориться здесь перед читателем. Настоящая история составлена мной не из головы и не по рассказам каких-нибудь зубоскалов или вертопрахов, а частью по письменным документам, частью же по совершенно достоверным устным преданиям, потому что история эта не современная, как это явствует и из счета денег на ассигнации; и не только Иван Павлыч, но и прочие члены этого достойного семейства, действующие в настоящей повести, волею божией уже скончались и почиют под великолепным мавзолеем на крутогорском кладбище. А потому всякому сделается понятным, сколь важный пропуск заключался для меня в недостатке документа, который мог бы естественным образом объяснить примирение Вологжанина с судьбою. Но документа этого не оказывалось, и я уже решался изобразить Ивана Павлыча как поучительный пример трогательного бескорыстия, как вдруг выведен был из недоумения следующими двумя письмами, найденными в бумагах покойного нежнолюбимым его сыном, Порфирием Иванычем. Вот эти письма:

«Милостивый Государь!

Порфирий Петрович!

Сегодня утром, находясь в волнении чувств, я забыл (да и мог ли не забыть?) условиться насчет приданого. Хотя, уповая на милость божию, я всего больше ценю в моей невесте ее прекрасное сердце и просвещенный ум, тем не менее, усматри-

вая в вас отца попечительного, я не могу не волноваться сим вопросом, составляющим существенную основу будущей нашей супружеской жизни и последующего за тем семейного счастия. Итак, смею думать, что вы выведете меня из несносного недоумения, которое столь сильно, что препятствует мне участвовать сегодня, по обещанию, в вашем семейном обеде.

С истинным почтением и т. д.

Иван Вологжанин».

Ответ.

«Милостивый Государь мой!

Иван Павлыч!

Письмо ваше глубоко меня тронуло. Уверенность ваша в попечительных свойствах моего характера весьма меня утешила. Вы совершенно правы, государь мой, что вопрос о приданом составляет существенную часть занимающего нас дела. Итак, платя за откровенность откровенностью, я считаю долгом объяснить вам, что даю за дочерью пятьдесят тысяч рублей государственными ассигнациями (а не тридцать, как облыжно довел до вашего сведения крепостной ваш служитель), которые, во избежание всяких сомнений, вы и получите в ломбардных билетах, на имя вашей будущей жены, перед отъездом вашим в божий храм для бракосочетания. Прочее же приданое вы можете видеть во всякое время, ибо, по откровенному моему характеру, я не только ничтожных женских тряпок, но и более важных вещей утаивать не имею никакой надобности. Хотя я и смею думать, что душевные свойства моей дочери таковы, что она и без столь достаточного приданого, по силе одной своей невинности, не останется долгое время в девках, однако ж не лишним считаю, государь мой! здесь присовокупить, что на руку ее имел, в недавнее весьма время, положительные виды действительный статский советник и малороссийский старинный дворянин Стрекоза, и лишь некоторая, вовремя замеченная в нравах его гнусная привычка воспрепятствовала совершению столь приятного союза.

За сим, ожидая вас к обеду, с совершенным уважением имею честь быть и т. д.

Порфирий Порфирьев».

— Вот как при стариках-то наших все просто и откровенно делалось! — с умилением сказал мне Порфирий Иваныч, вручая эти два письма.

XII

Опять капитан Махоркин

Что̀ делалось в четырех стенах дома Порфирьева в то время, когда явился туда, по приглашению, Павел Семеныч, кто и каким образом усовещивал его оставить злобное преследование Феоктисты Порфирьевны — все это осталось навсегда погребенным под спудом строжайшей тайны. Известно только, что Махоркин выбежал от Порфирьевых опрометью, без шапки и без шинели, в беспорядочном самом виде, в каком добродетельные пустынники спасаются от преследования злых духов, нередко являющихся им в образе малоодетых женщин. Как нарочно, день стоял ненастный; порывистый и пронзительно-холодный ветер свистал ему в уши; дождь проливал целые потоки на его голову и одежду; но он не чувствовал оскорбления стихий. Выдавшись грудью вперед и заложив руки за спину, он бежал или, скорее, летел по улицам, не разбирая, что у него под ногами, лужа или твердое место, причем машинально шевелил губами, размахивал изредка одной рукой и, как уверяли впоследствии очевидцы, ни разу, в продолжение всего перехода, не моргнул глазом.

Пришедши домой, он остановился среди комнаты, как бы не сознавая еще, что̀ с ним делается и почему он остановился именно тут, а не посреди лужи или в другом месте. Он бессмысленно посмотрел на Рогожкина, который уже настроил гитару и, казалось, ждал только возвращения Махоркина, чтобы предаться любимому занятию. Петр Васильич несколько струсил, увидев благодетеля своего в таком восторженном состоянии, и вознамерился было улепетнуть, но принятая Махоркиным, посреди комнаты, позиция воспрепятствовала исполнению этого поползновения.

В таком положении простоял Павел Семеныч с четверть часа. Чувствовал ли он что-нибудь в это время или просто жил лишь общею жизнью природы — Рогожкин не мог объяснить этого, потому что сам от страха как бы замер и утратил всякое сознание. Однако ж, так как все в мире должно иметь свой конец, то и Павел Семеныч мало-помалу пришел в себя, взял стул и уселся на нем в обычной своей позе.

— Пой! — сказал он сиплым голосом.

Рогожкин начал петь и пел в этот раз действительно удачнее обыкновенного. Он чувствовал, что в эту минуту он *обязан* употребить нечеловеческие усилия, чтоб удовлетворить своего

господина. Пел он песни всё грустного содержания: про старого мужа-негодяя, который «к устам припадает, словно смолой поливает», про доброго молодца, приезжающего, с чужой дальней сторонушки, на могилу своей красной девицы, своей верной полюбовницы.

Расступись ты, мать сыра-земля!
Ты раскройся, гробова доска!
Пробудись ты, душа-девица!
Ты простися с добрым мóлодцом,
С добрым молодцом, другом милыим,
С твоим верным полюбовником.

— Вина! — закричал Махоркин неестественным голосом, вскочив со стула и начиная в исступлении бегать по комнате,— вина!

Рогожкин засуетился, вынул из шкапа полуштоф и рюмку и поставил на стол. Павел Семеныч начал мрачно осушать рюмку за рюмкою.

— Хорошо! — сказал он наконец, проводя рукой по груди.

— Вы бы лучше сняли с себя мокрое-то платье! — осмелился выговорить Рогожкин.

— Вздор! издохну — тем лучше!

Он остановился перед Рогожкиным, скрестивши на груди руки.

— А знаешь ли ты, что сегодня произошло? — произнес он с расстановкой,— сегодня, брат, были махоркинские похороны... да! убили они, брат, меня!

— Помилуйте, Павел Семеныч, на что же-с? даст бог, и еще сто лет проживете!

— Нет, брат, не жилец я! не утешай ты меня! а ты скажи лучше, лев ли я?

Рогожкин замялся, не зная, чтò ответить.

— Нет, ты скажи, лев ли я? — допрашивал Махоркин, выпрямляясь, вытягивая свои члены и сжимая кулаки,— и вот, братец ты мой, этот лев, этот волк матерый перед ягненком смирился... слова даже не выговорил!

Рогожкин покачал головой, а Павел Семеныч снова выпил водки.

— Да и что бы я мог сказать! — продолжал он,— сказать, что я ее люблю,— она это знает! сказать, что я ее, мою голубушку, на ручках буду носить,— она это знает! сказать, что я жизнь за нее пролить готов,— да ведь она и это знает! — что ж я мог сказать ей?

Махоркин задумался. Он усиливался представить себе, чтò бы в самом деле он мог высказать Тисочке, если бы мог, но

лучше, красноречивее изложенного выше, ничего не был в состоянии придумать. Все ему представлялась его собственная фигура, гладящая Тисочку по головке, носящая на руках и убаюкивающая это прелестное дитя. Выше этого наслаждения он не понимал.

— Отчего же вы не сказали им всего этого? — робко заметил Рогожкин.

— Отчего не сказал? ну, не сказал — да и все тут! Эх, Петя, налей, брат! пропал я, Петя! Еще маменька-покойница говаривала: не пей водки, Павлуша! капля в рот попадет — пропащий будешь человек!.. вот оно так и выходит!

На другой день Павел Семеныч проснулся очень поздно и с невыразимой тоской окинул взором голые стены своей одинокой квартиры. Рогожкин, который провел у него всю ночь, с заботливою нежностью следил за каждым движением своего друга. Сам он не смыкал глаз почти всю ночь; отчаянье Махоркина взволновало его; он до такой степени привык смотреть на него, как на лицо всемогущее и всегда торжествующее, что мысль о постигшей его неудаче материально не лезла в его голову и производила бессонницу. Но так как Махоркин самолично объявил, что дело его пропало, то поневоле пришлось поверить ему, и оставалось только придумать средства, каким бы образом смягчить эту неудачу и сделать ее не столь жестокою. И разные полудетские, полуфантастические проекты волновали его крохотное воображение. То думалось ему: вот завтра утром, как только встанет Павел Семеныч, я полегоньку подойду и скажу ему: «А Феоктиста Порфирьевна прислали узнать о вашем здоровье,— что̀ прикажете отвечать?» И все лицо его улыбалось от одной мысли о том, какой эффект произведет этот вопрос на Махоркина... Но через несколько минут мысли его принимали другое направление. «Нет,— говорил он сам с собою,— лучше будет, если они завтра проснутся, а я им письмо вдруг подам... От кого, скажут, это письмо? а письмо-то от ихнего начальника, и начальник благодарит Павла Семеныча за их рвение по службе и усердие к сохранению казенного интереса...» Одним словом, не было той несбыточной фантазии, которою бы с жадностью не овладела мысль Рогожкина, и всё с одною целью: утешить и успокоить бесценного Павла Семеныча.

Но поутру, когда Махоркин действительно проснулся, все эти проекты внезапно улетучились. Рогожкин подошел, однако ж, к его кровати и пожелал ему доброго утра.

— Вина! — сиплым голосом отвечал Махоркин на приветствие своего друга.

— Не будет ли-с? — осмелился заметить Рогожкин.

— Вина! — снова закричал Махоркин, и так настоятельно, что Рогожкин не осмелился ослушаться, схватил опрометью шапку и побежал в питейный.

— Ты, Петя, не знаешь, что это была за девушка! — сказал Махоркин, когда было уже достаточно выпито,— да, только время может открыть, что это была за девушка!

— Бог не без милости, Павел Семеныч! Может, еще и наша будет!

— Нет, брат, не будет! сама сказала! Кабы не сама... ах, кабы не сама!

— Да, может, они против своей воли так говорят, Павел Семеныч?

— Нет, брат! Вы, говорит, для меня отвратительны, я, говорит, найдусь вынужденною в уездный суд просьбу подать, искаться на вас в бесчестии!

— Да помилуйте, Павел Семеныч, ведь это они с чужих слов повторяют! Всё это Порфирия Петровича слова: даже и слог ихний-с!

— Нет, Петя, убит я! А как было бы хорошо-то! нанял бы я квартирку побольше, купил бы вещиц хорошеньких... ведь я, брат, коли захочу, могу добыть денег!

— Кому же и добыть, как не вам, Павел Семеныч!

— Да!.. там была бы ее комнатка, здесь бы моя... назади бы спаленка... славно!

— Что и говорить, Павел Семеныч!

— Ты пойми, как тебе-то было бы хорошо! Вот ты теперь один-одинехонек по белу свету шатаешься, а тогда и у тебя бы почти что свое семейство было! Не слонялся бы ты из угла в угол, а с утра пришел бы в семейный дом... спокойствием бы насладился!

— Деточек бы ваших нянчил, Павел Семеныч!

— Выпьем! выпьем, брат, потому что уж такая мне вышла линия! Нет, Петя, мне счастья! счастье-то мое, видно, еще в ту пору, как я младенцем был, собаки съели!

Такого рода разговор длился целый день. Гитара и чекан отложены были в сторону; песни не оглашали больше скромной квартиры Махоркина; но зато водка беспереводно стояла на столе, перед которым сидели собеседники. На другой и на третий день повторилось то же самое. Махоркин не делал ни шагу из своей квартиры, опасаясь встретить ту, которая столь жестоко нарушила спокойствие всей его жизни. Врожденная ему дикость нрава развивалась все более и более; казалось, он потерял всякое сознание окружающей его вещественной природы и не имел никакой иной мысли, кроме мысли о Тисочке, но и то представлявшейся ему не в ясном и лучезарном

свете, а среди облака, образуемого винными парами. И длилась бы эта история, быть может, и до сего дня, если бы не случилось странное происшествие, которое внезапно пресекло ее.

XIII

Свадьба

В семь часов вечера, 10 сентября 18** года, квартира Ивана Павлыча блистала огнями, и сам он, в новеньком мундире и белом галстухе, занимал почетных гостей. Посаженым отцом был у него сам генерал Голубовицкий, а посаженою матерью Настасья Ивановна Фурначева; шаферà были тоже хоть куда: Разбитной и Семионович. Было и еще несколько милых гостей, которые охотно приехали пожелать счастья своему сослуживцу. Иван Павлыч ходил от одного к другому, перед некоторыми на секундочку останавливался, дарил улыбкой, трепал по плечу или по спине и отправлялся далее.

— Скажите, пожалуйста,— обращается Настасья Ивановна к его превосходительству,— как все это удивительно устраивается! давно ли, кажется, Ив̀ан Павлыч у нас поселился, а вот уж и место получил, и супругой обзавелся!

— Еще не завелся! — любезно отзывается генерал.

— Всё от воли божией, ваше превосходительство,— вступается Семен Семеныч Фурначев,— без него, царя небесного, и волос с головы нашей не упадет.

— Это правда,— отвечает генерал.

— Вы, mon cher Wologchanine, прекрасно обделали свои дела,— говорит Разбитной жениху,— только я вас предупреждаю: en ma qualité de garçon de noce [1], я за себя не ручаюсь... les femmes, voyez vous, c'est mon faible... [2] без этого я существовать не могу!

Иван Павлыч очень хорошо понимает, что это шутка, и улыбается.

— А вы недурно устроились, Вологжанин! — говорит генерал, гордо озираясь.

Иван Павлыч, вместо ответа, опять улыбается: в этот вечер он счастлив и находит, что дар слова — способность, совершенно излишняя.

— Как приятно видеть молодую и счастливую парочку в хорошеньком гнездышке! — замечает Настасья Ивановна.

---

[1] в качестве шафера.

[2] женщины, видите ли, это моя слабость...

— Это правда,— отзывается генерал.

— Особливо для человека опытного, ознакомившегося, так сказать, со всеми бурями жизни, отрадно успокоиться умственным взглядом...— присовокупляет Фурначев.

— А что вы думаете? ведь это правда! — прерывает генерал.

— Адаму, после грехопадения, по всем вероятностям, куда было горько вспомнить о временах своей невинности! — продолжает Фурначев.

— Господа! невеста готова! — восклицает Разбитной, завидев из окна подъезжающего шафера невесты.

Генерал и прочие знатные обоего пола особы встают с мест и начинают суетиться.

— Mesdames! ваше превосходительство! позвольте... одну минуточку! — умоляет жених, внезапно возвращая утраченный дар слова.

В воображении его беспокойно мечется цифра 50.

— Ну что, если он надует?! — мысленно твердил он себе в эту решительную минуту.— Господи! да что уж это будет?!

И он, с мучительною тревогою в сердце, летит навстречу шаферу невесты.

— Невеста одета! — провозглашает, в свою очередь, шафер Спермацетов, который, с незапамятных времен, на всех губернских свадьбах, исполняет эту должность, и не только не стареет, но с каждым годом делается все более и более способным к шаферской обязанности.

— Позвольте, Иван Иваныч! — говорит Вологжанин, догоняя Спермацетова в передней,— вы не имеете никакого более поручения... *ко мне* собственно?

— Никакого-с... впрочем. да! Порфирий Петрович хотел, кажется, что-то сказать мне перед отъездом, но только помолчал и пожал мне руку.

— И больше ничего?

— Больше... ничего...

— Да, помилуйте, Иван Иваныч! вы говорите всё как-то с расстановкой, как будто что-то забыли! вы поймите, что это вещь очень важная, что тут забывчивость совершенно не у места!

— Поручения я никакого не имею! — скороговоркою и решительно отвечает Спермацетов.

— Господи! да что ж это такое! — восклицает Вологжанин в отчаянье,— господа! нет, воля ваша, я не поеду! вы поезжайте, Иван Иваныч! вы скажите этому старому подлецу, что честные люди не поступают таким образом! он мне пятьдесят тысяч обещал!

Между тем в гостиной генерал ужасно беспокоится. Его оторвали от весьма важных занятий... он пожертвовал немногими минутами свободного времени... эти минуты необходимы, чтобы дать отдых утомленной голове... наконец, он не видит, что такое, что такое... С другой стороны, это и оскорбление... зачем же звать, если там у них не все готово? Одним словом, генерал кипятится и ломается что есть мочи, так что все эти мелкие пташки, как Фурначев, Семионович и проч., невольно умолкают и опускают глаза в землю.

— Нет, как вы хотите, Вологжанин,— говорит Разбитной, выходя в переднюю,— как вы хотите, а вы должны ехать... Вы поймите, mon cher, что нельзя же его превосходительству ждать конца ваших переговоров...

— Да помилуйте, Леонид Сергеич, он еще вчера вечером уверял меня, что пришлет всё сполна с шафером! — умоляет Вологжанин.

— Но ведь это, наконец, ваше дело, mon cher! Ваше дело было наблюсти, чтобы условия были исполнены! Согласитесь сами, за что же вы хотите нанести оскорбление его превосходительству?.. нет, вы должны, вы не можете не ехать! Иван Иваныч! отправляйтесь к невесте и скажите, что мы в церкви!

Спермацетов уезжает, а Разбитной входит в гостиную и объявляет, что недоразумение улажено. Ошеломленного Вологжанина сажают в карету и привозят в церковь.

Обряд совершился благополучно. Невеста была просто «голубушка», как выражались впоследствии крутогорские дамы, но жених неоднократно озирался по сторонам, как бы отыскивая чего-то глазами, и по временам вздрагивал и горько улыбался. Полицейским было наистрожайше приказано ни под каким видом не впускать в церковь Махоркина, от которого могли ожидать всякого невежества, и он действительно не был впущен, но в ту минуту, когда молодая садилась вместе с молодым в карету, чтобы отправиться в благородное собрание, где ожидал их свадебный бал и ужин, то в толпе раздался знакомый Вологжанину голос: «Блаженствуй, несравненная! я согласен!»

Впрочем, Настасья Ивановна рассказывала впоследствии, что когда Вологжанина поздравляли в церкви с благополучным исполнением желания, то он, вместо того чтобы улыбнуться, как водится, и отвечать какою-нибудь любезною фразою, неприлично рассмеялся и сказал: «Д-да! поправил-таки я свои обстоятельства!»

Госпожа Луковицына, слыша этот рассказ, сначала как будто задумалась, но потом, как бы осененная внезапным блеском свыше, воскликнула, что и она, с своей стороны, кое-что

заметила, но сначала не поняла, а теперь все делается для нее ясно. А именно, когда Вологжанин вошел в залу благородного собрания и встречен был, как водится, на пороге родителями невесты, то, исполнив должную формальность, подошел к Порфирию Петровичу, поцеловал его три раза и сказал при этом: «Подлец!» Но Порфирий Петрович только крякнул и отправился навстречу к другим гостям.

— Мне показалось в то время это так странным,— прибавила госпожа Луковицына,— что я до сей минуты не решилась доверить своему воображению...

В ту же ночь, несмотря на начинающуюся осень, разразилась над Крутогорском страшная буря с проливным дождем. Гости, спокойно веселившиеся на свадебном бале, предсказывали молодым счастье и богатство. Но я, с своей стороны, поступил бы весьма опрометчиво, если б не украсил настоящей повести статьею, написанною, по этому поводу, в местных губернских ведомостях. Вот эта статья.

«В ночи с 10 на 11 сентября,— писал к редактору постоянный корреспондент газеты, Семен Песнопевцев,— мирные обитатели города Крутогорска были свидетелями чрезвычайного явления природы. Природа, казалось, сделала последнее усилие, чтобы показать смертным все свое могущество. После ясных и тихих дней, ознаменовавших собою прошлое лето, она решилась — и когда же! — изумить нас своим грозным величием. Мы, беззаботно веселившиеся в этот вечер на бале, данном по случаю благополучного бракосочетания одного из полезнейших наших молодых деятелей на поприще общественного служения с прелестною дочерью одного из старейших и уважаемейших членов нашего благородного общества; мы, говорю я, предававшиеся безотчетной радости в великолепно освещенных залах нашего благородного собрания, не видали и не могли видеть действий природы, ужасной в гневе и умилительной в кротости. Мы ограничивались лишь предсказаниями продолжительного счастия юной чете, у которой и без того сияло в глазах счастие. Но на улице зрелище было ужасное. На колокольне Троицкой церкви, в которой, за несколько часов перед тем, раздавались тихие гимны к богу, сорвало крест; на городском остроге вырвало несколько листов из железной крыши, а на десяти обывательских домах снесло таковую совершенно. Небо изрыгало потоки пламени, однако пожарного случая, благодарение богу, не было. Но воображение смущается и рассудок отказывается служить при одном предположении о том, что было бы, если бы, при таком общем настроении природы, возник еще пожарный случай! Старожилы не запомнят ничего подобного в Крутогорске; говорят, что еще

за несколько дней до этого случая в воздухе чувствовалась особенная тяжесть, а домохозяева, имеющие домашний скот, удостоверяют, что последний целую неделю перед тем пребывал в неизъяснимой тоске, метался и отказывался от еды... странно! не есть ли это осязательное доказательство, что природа, в благости своей, как бы заранее предуведомляет нас о грозящем нам несчастии... А мы не верим!

И вот теперь пишу к вам, милостивый государь, это письмо и смотрю в окошко. Солнце блестит во всей ослепительной своей красоте; Крутогорск обмылся и как бы помолодел; на обширной соборной площади пасутся мирные стада коз, не чувствуя ни тоски, ни недостатка в аппетите... Иду гулять, чтоб рассеять грустное впечатление, произведенное вчерашнею бурей.

С. Песнопевцев.

P. S. Забыл. Один из домов, наиболее пострадавших от бури, принадлежит вдове коллежской секретарше Шумиловой, и в нем жил наш уважаемый форштмейстер Павел Семеныч Махоркин. Сегодня утром хозяйка дома объявила, что жилец ее, бывший во время бури в своей квартире запертым, неизвестно куда и каким образом из нее скрылся. Обстоятельство это тем более странно, что в квартире господина Махоркина были вставлены в окнах зимние рамы, которые найдены неприкосновенными, и что дверь, ведущая в комнату жильца, найдена запертою изнутри, вследствие чего необходимо было прибегнуть к взлому, чтобы проникнуть в жилище. Разумеется, по этому поводу тотчас же разнеслось множество суеверных слухов; однако ж, несмотря на странность происшествия, мы, с своей стороны, совершенно убеждены, что уважаемый Павел Семеныч находится в настоящую минуту где-нибудь в уезде, с любовию предаваясь мирным занятиям службы, которая считает в нем одного из ревностнейших и просвещеннейших своих деятелей».

СМЕРТЬ ПАЗУХИНА

Комедия в 4-х действиях

(Посвящается В. П. Безобразову)

ДЕЙСТВИЕ I

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Прокофий Иваныч Пазухин, купеческий сын, 55 лет.
Мавра Григорьевна, второбрачная его жена, 20 лет.
Василиса Парфентьевна, мать ее, 50 лет; придерживается старых обычаев.
Отставной генерал Андрей Николаич Лобастов, 60 лет, друг старого Пазухина, отца Прокофия Иваныча; происхождением из сдаточных.
Отставной подпоручик Живновский, 50 лет.
Никола Велегласный, мещанин; пожилой.
Финагей Прохоров Баев, пестун старого Пазухина.

СЦЕНА I

Небогатая комната в доме Прокофья Пазухина. С боков и посреди сцены двери. У стены диван и несколько стульев базарной работы; перед диваном стол, накрытый ярославскою скатертью; на столе закуска и вино в бутылке. Василиса Парфентьевна, Мавра Григорьевна и Велегласный. Василиса Парфентьевна одета в темно-синий сарафан, сверху которого накинут кафтан такого же цвета; на голове у ней черный миткалевый платок, заколотый булавкой у подбородка; Мавра Григорьевна в цветном сарафане и в черной плисовой душегрейке; на голове у ней так называемая «головка»; Велегласный одет в черную суконную сибирку старинного покроя с вырезкой на груди и с медными дутыми пуговицами по одной стороне вырезки и петлями по другой, сапоги большие.

Велегласный *(держит в руках замасленную рукопись и читает)*. «Мужие имут носити одеяние коротко, выше колену, и штаны натянуты, жены же будут иметь образ бесовский, главы непокровенны имущи, и на главах имут носити рога скотские и змиины, уподобяся бесу... И тогда будет пришествие антихристово...»

Мавра Григорьевна. Господи! страсти какие!

Василиса Парфентьевна. Да никак уж это и сбывается, Никола Осипыч?

Велегласный. Сбывается, сударыня, сбывается... *(Продолжая чтение.)* «И возлюбят людие несытое лакомство, безмерное питие от травы листвия идоложертвенного, кропленного змеиным жиром; от Китян сие будет покупаемо обменою на товары, на осквернение християнских душ... и тогда будет пришествие антихристово...»

Василиса Парфентьевна. Господи! да неужто уж и чайку-то попить нельзя?

Велегласный. Не надлéжит, сударыня, не надлéжит. Идоложертвенное зелие... черви в утробе заведутся... И в книжках писано: «Китайская стрела в Россию вошла; кто пьет чай, тот спа́сенья не чай...» Вот от лозы виноградныя — это не претит, потому что плод этот красен и преестествен на утеху человекам произрастает... *(Наливает рюмку и пьет.)*

Василиса Парфентьевна. Уж от чаю-то Прокофий Иваныч, кажется, ни в свете не отстанет!

Велегласный. Ну, и унаследит преисподнюю...

Василиса Парфентьевна. Видно, уж тебе, Мавруша, его усовещивать придется...

Мавра Григорьевна. Да нешто он меня послушается, мамонька! Так только, на озорство он меня за себя взял! Как сватался-то, так и бог знает чего насулил, а женился, так в ситцевых сарафанах ходить заставил...

Велегласный. А ты, сударыня, его маленько повымучь, от супружества на время отставь или иную меру одумай... Вот он и восчувствует...

Мавра Григорьевна. На него эти меры-то не действуют, Никола Осипыч! *(Вздыхает.)*

СЦЕНА II

Те же и Баев (старик, не помнящий своих лет, поросший мохом и согнутый, одет в синий кафтан, в руках держит толстый березовый сук, на который и опирается).

Баев *(сиплым голосом)*. Здравствуй, матушка Василиса Парфентьевна! как можется?

Василиса Парфентьевна. Слава богу, старина; ты как?

Баев. А мне чего сделается? я еще старик здоровенный... живу, сударыня, живу... Только уж словно и жить-то надоело... *(Садится на стул и кашляет.)*

Мавра Григорьевна. Водочки, что ли, поднести?

Баев. Не действует, красавица, не действует! ни пойла, ни

ества, ничего нутро не принимает... Ох, да уж и стар ведь я, словно даже мохом порос.

Василиса Парфентьевна. Ну что, как у вас? Иван Прокофьич здоров ли?

Баев. Рычит, сударыня, с места встать не может, а рычит...

Велегласный. Аки лев рыкаяй ходит, иский кого поглотити...

Баев. Ноги-то у него, знаешь, отнялись, так он лежмя рычит!

Василиса Парфентьевна. Да хоть бы ты, что ли, Прохорыч, его с простого-то ума вразумил... с чего он рычит-то?

Баев. Вразумлял я, пытал вразумлять, только он все рычит... словно он и бог знает какой енарал! *(Встает и декламирует, подражая Ивану Прокофьичу.)* «И не смей, говорит, мне про подлеца Прокопку поминать! он, говорит, меня антихристом назвал, он желает жить, как дедушки жили, так пущай же, говорит, вместе с дедушками за пестрою свиньей в поросятках ходит! Фу-фу-фу!» Вот как осерчал! *(Садится.)*

Василиса Парфентьевна. Ишь ты!

Баев. Да еще говорит: «Он, говорит, супротив моей воли на поганке женился, чтобы, то есть, сына своего, Гаврюшу, имением решить, так я, говорит, его самого имением решу, Гаврюшку-то ему заместо отца сделаю!» Даже и не поймешь, что̀ он говорит!

Василиса Парфентьевна. Смотри-ка, уж и жениться нельзя! Не с него ли пример брать, как он гнусным манером весь век изжил!

Баев. И я ему то же говорил: Иван, мол, Прокофьич! разве человеческую плоть легко рассудить! вот я, мол, уж на что стар, а бывает, что сам только дивишься, как защемит! Ну, и в Писании тоже сказано: не хорошо, то есть, человеку одному быть, а подобает ему жить с супружницей...

Велегласный. Это справедливо.

Василиса Парфентьевна. И с чего только он остервенился так? давно ли сам-от, не скобля рыла, без стыда в народе ходил... только чудо, право!

Баев. Давно ли, сударыня! сам я своими глазами видал, как в Черноборске исправник пытал его за браду трясти: «Не мошенничай, говорит, не мошенничай!», а теперича легко ли дело: и браду свою антихристу пожертвовал, да и сына-то обездолил...

Велегласный. «Постризало да не взыдет на браду твою...» И в Стоглаве так сказано!

Василиса Парфентьевна *(иронически)*. Оттого, видно, и стал он к бесовскому-то житию очень способен, что исправники его за бороду часто таскали...

Баев. Таскали, это я сам видел, что таскали. То были, сударыня, времена грозные, такие времена, что даже заверить трудно. Ивана-то Прокофьича папынька волостным писарем был, так нынче, кажется, и цари-то так не живут, как он жил! Бывало, по неделе и по две звериного образа не покинет, целые сутки пьян под лавкой лежит! Тутотка они и капиталу своему первоначало сделали, потому как и волость-то у них все равно как свои крепостные люди были. А Иван-от Прокофьич подрос, так куда тоже ворист паренек стал; ну, папынька-то ихний, видемши такую их амбицию, что как они из-за денег готовы и живого и мертвого оборвать, и благословили их по питейной части идти... Так вот каки времена, сударыня, были!

Василиса Парфентьевна. Ну, а теперь, чай, и вспомнить-то ему про эти времена стыдно: во сне, дескать, все это видел!

Баев. Теперь, сударыня, он в благородные, чу, скоро попадет! Губернатор-от его уж в надворные советники за общеполезное устройство представил! Только я вот ему намеднись и говорю: Иван Прокофьич! не все ли тебе равно в гробу-то лежать, что купцом, что надворным... только грех, мол, один!

Велегласный. Поменьше-то еще лучше, потому как там маленького-то да смиренного на первое место посадят!

Василиса Парфентьевна. Только чудо, право! Ну, а про духовную разговору у вас не было?

Баев. Поминала было Живоедиха, так куда тебе! еще пуще зарычал! Я, говорит, еще годков пять поживу, да чего, чу! и глупости-то своей до сих пор не оставляет, даже ни на шаг от себя Живоедиху-то не отпущает!

Василиса Парфентьевна. Она, видно, и сплётки-то ему на Прокофья Иваныча плетет!

Баев. Она, сударыня, это именно, что она.

СЦЕНА III

Те же и Прокофий Иваныч (среднего роста, совершенно седой, одет в синий кафтан, носит бороду и острижен по-русски. Входит взволнованный и молча опускается на стул).

Прокофий Иваныч. Что ж это будет? что ж это будет? Господи! Родитель на глаза к себе не пущает, сын при всем народе обзывает непристойно... куда ж бежать-то!

Василиса Парфентьевна. Разве случилось что, Прокофий Иваныч?

Прокофий Иваныч *(не слушая ее)*. Кабы не деньги! Господи, кабы не деньги!.. «Ты, говорит, долго ли нас срамить-то будешь?» И это ведь сын родной говорит!.. а как от денег отступишься?

Баев. А ты бы его, сударь, жезлом маленько поучил!

Прокофий Иваныч. Уж где мне, Прохорыч! и жезла-то у меня нет! Родитель меня от себя отшатнул, и оттого, можно сказать, всякий человек меня в родительском доме обругать в силах... От сестрицы Настасьи Ивановны, кроме как «сиволап», и слова другого не услышишь, супруг ихний, Семен Семеныч, тоже... Даже Живоедиха, и та тебе в глаза наплевать норовит... Уж где мне, Прохорыч! Разумеется, кабы капитал! *(Оживляется и встает.)* Д-да! ладно бы, кабы капитал... а без капиталу какой же я человек!

Баев. Все же, чай, человек, а не скотина...

Прокофий Иваныч. Хуже!.. Ты пойми, старик, что ведь ждать-то ему от меня нечего, стало быть, и уважать меня не из-за чего... Ну, за что он меня почитать будет? Разве я ему припас что-нибудь? Да и связаться-то ему со мной стыдно, потому как он с большими господами компанию водит, а я, слышь, в сермяге хожу!

Василиса Парфентьевна *(Велегласному)*. Хоть бы ты, что ли, отец, утешил Прокофья-то Иваныча!

Велегласный. Что ж, я утешать готов, сударыня... *(Подходит к Пазухину.)* Вспомни, Прокофий Иваныч, как отцы соловецкие за древнее благочестие пострадали: плечи на ударение, хребты на раны, уды на раздробление, телеса на муки предавали.

Василиса Парфентьевна. Эх, отец! да ты дело говори! ты говори, как нам деньги-то достать стариковы?

Велегласный. А и деньги добыть можно, надлежит только умудриться яко змию — и деньги будут!

Баев. Умудрись, сударь, Прокофий Иваныч!

Василиса Парфентьевна *(толкая Мавру Григорьевну)*. Да говори что-нибудь, Мавруша! утешай мужа-то!

Мавра Григорьевна. Вот, Прокофий Иваныч, Никола Осипыч говорит, что чай пить грешно.

Прокофий Иваныч *(становится в раздумье против Велегласного)*. Д-да... так ты говоришь, что чай пить не следует?..

Велегласный. Не надле́жит, Прокофий Иваныч! черви в утробе развестись могут.

Василиса Парфентьевна. Оттого-то, может, и мудрости тебе, Прокофий Иваныч, бог не дает, что ты законов отеческих не слушаешь!

Прокофий Иваныч *(задумчиво)*. Господи! хоть бы поглядел на деньги-то!

Баев. А поди, чай, сколько добра у него в сундуках-то напасено!

Прокофий Иваныч. Да, напасено... И напасал-то кто? всё я же! я и делами-то всеми управлял, и машину-то всю в ход пустил... *(Бьет себя в грудь.)* Могу сказать, ни труда, ни поту не жалел... всю душу там положил!.. А обнесут... обнесут меня чарочкой! Теперича все одно, сделает ли или не сделает завещанье... Коли сделает, стало быть, обо мне в нем ни гугу, а не сделает, так при последнем часе проходимцы всё растащат!.. Оно конечно, в ту пору и обыскать будет можно... А молодец Гаврилка! как он давеча перед самым моим носом руками размахивал! «Что ж, говорит, ты думаешь, что отец называешься, так я и на пакости-то твои смотреть спустя рукава должен!..» Право, так!

Василиса Парфентьевна. Господи! вот как нынче! сын на отца лезет!

Велегласный. «И тогда будет пришествие антихристово».

Прокофий Иваныч. Да еще что говорит! «Я, говорит, и жену-то у тебя отниму, потому что ты старик, и жить-то с ней не можешь как следственно!» Мавра Григорьевна! слышишь?

Мавра Григорьевна *(потупляя глаза)*. Так неужто ж вы против таких его гнусных слов смолчали, Прокофий Иваныч?

Прокофий Иваныч. Как смолчать? зачем молчать? тоже поговорил! У меня, говорю, и без тебя в дому приказчик молодой найдется! *(Смеется насильственно, обращаясь к теще, жене и Велегласному.)* Анафемы, ч-черти вы этакие! Вы меня на эту линию-то поставили!

Мавра Григорьевна *(обижаясь)*. Вы, стало быть, обидеть меня хотите, Прокофий Иваныч?

Василиса Парфентьевна. Что ж, на ругательство, что ли, тебе Мавруша-то досталась?

Велегласный. Вспомни, Прокофий Иваныч, что в Писании о праздном-то слове сказано!

Прокофий Иваныч *(присмирев и махнув рукой)*. Какой уж я ругатель! нешто такие бывают ругатели! Ты меня прости, Мавра Григорьевна: я уж и от бога-то словно забыт! Господи! в родительском доме на золоте едят, а у меня

и товару-то всего в лавке на тысячу целковых не наберется! Запил бы вот, да грех, говорят!

Велегласный. Грех, сударь... Вот от гроздия виноградного можно! *(Пьет.)*

Василиса Парфентьевна. Да удумай ты что-нибудь насчет денег-то, Никола Осипыч!

Велегласный. Хитрое это, сударыня, дело! Надобно об нем на досуге поразмыслить.

Баев. А я вот как скажу: пожертвуй ты, Прокофий Иваныч, папыньке браду свою! исполни ты прихоть его! пади ты к нему в ножки... простит, простит он тебя!

Василиса Парфентьевна. Что ты, что ты, Прохорыч! да ты разве не знаешь, что на том свете и в рай-то не попадешь, покуда до последнего волоска не отыщешь? Ты и подумать об этом, Прокофий Иваныч, не моги! Издохнуть мне на сем месте, если я в ту пору в глаза тебе при всем народе не наплюю!

Баев. Утрешься, батюшка!

Велегласный. Оно, конечно, зазорно, сударыня, зазорно браду свою на потеху князю власти воздушныя отдавать, однако ведь и закону, по нужде, премена бывает! На пользу древнему благочестию не токма временное брады стрижение, но и самая погибель души допущается...

Слышен стук подъехавшего экипажа.

Василиса Парфентьевна. Батюшка, да никак к нам кто-то подъехал!

Велегласный. Мне, видно, уйти, сударыня. *(Уходит.)*

СЦЕНА IV

Те же и Лобастов. Лобастов небольшой человек, очень плотный и склонный к параличу; лицо красное, точно с морозу; пьет и закусывает наскоро, но прежде нежели положит кусок в рот, дует на него. Он очень жив в своих движениях и редко стоит на месте. В поношенном фраке. При входе его все встают.

Лобастов. Хлеб да соль, Прокофий Иваныч! Ехал вот мимо: думаю, нельзя же милого дружка не проведать!.. Поцелуемся, брат!

Целуются.

Прокофий Иваныч. Милости просим, ваше превосходительство!

Лобастов *(подходит к закуске)*. А! и закуска на столе! Что ж, это дело подходящее! Да уж для меня-то, брат, ты водочки вели принести; я, брат, ведь не ученый, меня виноградные эти вина только с толку сбивают! Вот и Прохорыч заодно выпьет!

Баев. Выпью, Андрей Николаич, выпью, сударь! Я ведь тоже не больно учен... всё пью!

Василиса Парфентьевна. Мавруша!

Мавра Григорьевна уходит.

Сейчас принесут, батюшка Андрей Николаич: мы хоша сами и не потребляем, а про мирских держим... как же! Как вы в своем здоровье, сударь?

Лобастов. Да что, плохо, сударыня! того и гляди, Кондратий Сидорыч хватит... Потудова только и жив, покудова тарелки две красной жидкости из себя выпустишь!.. От одной, можно сказать, водки и поддержку для себя в жизни имею!..

Василиса Парфентьевна. Что ж, сударь, коли на благо и крепость... это ничего! Я и сама, сударь, слыхивала, что от водки человек тучен бывает, а тучный человек, известно, против тощего в красоте превосходнее... Как ваша Елена Андреевна в ихнем здоровье?

Лобастов. Сохнет, сударыня, сохнет...

Василиса Парфентьевна. Чтой-то уж и сохнет! да вы бы, Андрей Николаич, ей мужа, что ли, сыскали: она, сердечная, чай, этим предметом больше и сокрушается!

Лобастов. Знаю, сударыня, знаю! Известно, девическая жизнь; как ее ни хлебай, все ни солоно, ни пресно.

Баев. Это ты, сударь, сущую истину сказал!

Лобастов. Да где его, жениха-то, найдешь! Вот и наклевывался было один соколик, да крылья, вишь, велики подросли, улетел! *(Треплет Прокофья Иваныча по плечу.)* Да, были бы мы с тобой, брат, роденька теперь!

Прокофий Иваныч. Богу, видно, не угодно, ваше превосходительство!

Лобастов. Вот вы и рассудите, каково моему родительскому сердцу смотреть, как детище-то мое сохнет! Ведь я, можно сказать, не сегодня, так завтра в будущую жизнь переселиться должен, у меня, что называется, и чувств-то в естестве, кроме как чадолюбия, никаких не осталось.. а она вот сохнет!.. *(Начинает ходить по комнате с усиленною поспешностию.)* Вы, Василиса Парфентьевна, не смотрите, что я водкой заимствуюсь... я хошь и пью, а родительские-то мои чувства пуще оттого изнывают... Вот у меня на ломбартном билете птица есть нарисована, так, поверите ли, сама даже своим

собственным естеством младенцев-то своих кормит... Вот оно что значит родительское-то сердце!

Василиса Парфентьевна. Что и говорить, Андрей Николаич! Про родительское сердце еще царь Соломон в притчах писал!

Мавра Григорьевна ставит на стол водку.

Лобастов (*наливая*). То-то же-с! За ваше здоровье, Василиса Парфентьевна! Сто лет с годом здравствовать! Будьте здоровы хозяин с молодою хозяйкой! (*Выпивает.*)

Василиса Парфентьевна. На здоровье, батюшка!

Прокофий Иваныч и Мавра Григорьевна молча кланяются.

Лобастов (*Баеву*). Ну, и ты, старина, выпей! (*Подает ему рюмку.*) Видел, что ли, Ивана-то Прокофьича сегодня?

Баев. Не видал, сударь, не видал сегодня, да и смотреть-то уж словно неохота!

Лобастов. Что так?

Баев. Да чего хорошего-то увидишь? Чай, сидит да ругается...

Лобастов. Плох уж он стал, куда как плох!

Баев. Плох-то плох, да кто его разберет? Вот он уж четвертый годок так-то все умирает!

Лобастов. Да, умирать-то ему, видно, неохота!

Баев. А отчего бы, сударь, неохота? По мне, хоть сейчас перед владыку небесного... боюсь, что ли, я смерти! Ни у кого я ничего не украл, не убил, не прелюбы сотворил... да хоть сейчас приди, курносая.

Прокофий Иваныч. Это, ваше превосходительство, точно-с.

Лобастов. Нет, Прокофий Иваныч! не говори, брат, этого! Уж кто другой, а я знаю, что значит умирать! Такие, знаешь, старики перед глазами являются, каких и отроду не видал!

Прокофий Иваныч (*махая головой*). Ссс...

Василиса Парфентьевна. Скажите на милость! какие же это старики, Андрей Николаич? настоящие, что ли, или так только воображение одно?

Лобастов. Д-да... я таки два раза обмирал... совсем даже думал, что в будущую жизнь переселился... И вот какой, доложу вам, тут случай со мной был. Звание мое, как вам известно, *из простых,* так в двенадцатом году я еще лет осьмнадцати мальчишка был... Проходили мимо нашей деревни французы, мародеры по-ихному прозываются, и как были мы тогда вне себя, изымал я одного французишку, да

тоже и свою лепту-с... Так поверите ли? как обмирал-то я, этот прожженный французик... так, сударь, языком и дразнит! так и дразнит!.. Так вот она что значит, смерть-то!

Прокофий Иваныч. Уж кому же, ваше превосходительство, умирать не тошно! Уж на что скотина бесчувственная, а и та перед смертью тоскует!

Лобастов. Да; а Ивану-то Прокофьичу и вдвое против того умирать тошнее... Поди-ка, чай, у него в шкатулке-то благ земных сколько! *(Треплет Прокофья Иваныча по плечу.)* Ты как насчет этого думаешь, приятель?

Прокофий Иваныч *(кланяясь)*. Не могим знать, ваше превосходительство! *(Тяжело вздыхая.)* Коли и есть деньги, так они папенькины, а не наши!

Баев. Да не можно ли тебе будет, Андрей Николаич, Прокофья Иваныча с папынькой-то свести? Денег-то ему, вишь, больно уж жалко! Ведь и невесть кому они в руки попадут!

Прокофий Иваныч *(кланяясь)*. Кабы сделали вы, ваше превосходительство, такую милость... Конечно, против папеньки вина наша очень большая, однако мы всякое раскаянье с своей стороны принести готовы...

Лобастов. Гм... да я, признаться, насчет этого предмета и приехал к тебе...

Прокофий Иваныч *(кланяясь)*. Побеседуемте, ваше превосходительство!

Лобастов. Только, брат, это такое дело, что мне с тобой с глазу на глаз побеседовать нужно.

Василиса Парфентьевна. Что ж, мы и уйдем, сударь! беседуйте тутотка на прохладе... Прохорыч! пойдем-ка в стряпущую; там и еще рюмочку поднесу.

Все уходят.

СЦЕНА V

Прокофий Иваныч и Лобастов.

Лобастов *(вполголоса)*. А старик-то, брат, очень ведь плох... не сегодня, так завтра богу душу отдаст... ты это знаешь?

Прокофий Иваныч. Где ж нам, ваше превосходительство, знать? меня ведь, опричь передней или кухни, в горницы-то и не пускают.

Лобастов. Жаль, брат, мне тебя, куда как жаль!.. Я, брат, хоть и генерал, а добрый... я вот тобой не гнушаюсь, сам к тебе приехал... ты это пойми!

Прокофий Иваныч. Мы, ваше превосходительство,

завсегда понимать готовы, не знаем, как уж и чувствовать все ваши милости!

Лобастов. Сегодня поутру даже за мной посылали, духовную писать удумал... так уж был плох!

Прокофий Иваныч (*взволнованный*). Так, стало быть, написали духовную-то?

Лобастов. А ты слушай, голова! Приезжаю я к нему, а там уж и Семен сидит, да такой, знаешь, ласковый, хвостом махает, а глазами-то так в него и врезался... Ну, и Гаврило Прокофьич, сынок-то твой, тоже... этот, однако ж, больше по питейной части распоряжается. А он только лежит да стонет: прискорбно, видишь, ему, что не привел бог в благородном звании скончаться! Ну, постояли мы этак около него с полчасика: дали ему выговориться-то... Только Семен и лезет к нему: «Папенька, говорит, не угодно ли будет вам християнский долг исполнить?» — да духовную-то в руки и сует. Хорошо. Только, что бы ты думал, он на это ответил? Как швырнет, сударь, ему в самую рожу духовную-то, так куда и болезнь девалась! «Вы, говорит, видно, смерти моей хотите! так я, говорит, еще вас всех переживу!» И с той самой минуты даже как ни в чем не бывал! Так Семен-то, поджавши хвост, такого стречка дал, что я только подивился! А Анна Петровна так разинувши рот и осталась!

Прокофий Иваныч (*отдохнув*). Стало быть, еще, слава богу... наша правда не потеряна, ваше превосходительство!

Лобастов. Оно конечно, брат, правда дело хорошее, однако ты не больно на нее полагайся! Другой раз, пожалуй, и подмахнет духовную, особливо если без памяти будет!

Прокофий Иваныч (*кланяясь*). Уж сделайте ваше одолжение, посоветуйте мне что-нибудь, ваше превосходительство!

Лобастов. А у меня, брат, с тобой не совет, а уговор будет. Я, брат, человек русский, люблю чай с калачами пить, а пустяки городить не люблю... да и не поверишь ты мне, как я в любви перед тобой рассыпаться стану...

Прокофий Иваныч. Это точно, что не поверю, ваше превосходительство!

Лобастов. Ну то-то же! Так уговор у меня будет такой: чтобы *первое,* коли все, с божьей помощью, у нас устроится, так быть Леночке беспременно замужем за Гаврилом Прокофьичем, а не захочет волею, так ты его в ту пору можешь и постращать по-родительски...

Прокофий Иваныч. Это будет в нашей власти, ваше превосходительство.

Лобастов. А *второе,* чтобы Гавриле Прокофьичу, как он женится, третья часть всего капиталу была отдана...

Прокофий Иваныч *(кланяясь).* Не много ли будет, ваше превосходительство? Ведь тятенькин капитал не маленький-с, так предостаточно бы и четвертой части...

Лобастов. Ведь этакой ты зверь, Прокофий Иваныч! ничего еще в руках-то у тебя нет, а уж торгуешься!

Прокофий Иваныч. Да больно уж будто обидно будет, ваше превосходительство!

Лобастов. Да ведь он сын тебе, пойми ты это! Ведь ему, пожалуй, и весь капитал-то достанется, если я участия своего тут не покажу.

Прокофий Иваныч. Помилуйте, ваше превосходительство, мы это очень понимать можем. *(Кланяется.)* Нельзя ли уж на четвертой-то части, ваше превосходительство?

Лобастов. Ну, черт с тобой! четверть так четверть; я человек добрый! Только ты смотри, не надуй же меня.

Прокофий Иваныч. Как же это возможно, ваше превосходительство!

Лобастов. То-то! а то вы, ерихоны, только и видел вас, покуда деньги в карман положить не успели! Теперь-то вот ты кланяешься, а в ту пору, как получишь свое, так и спину, пожалуй, покажешь.

Прокофий Иваныч. Мы, кажется, еще в эвтом малодушестве не замечены, ваше превосходительство!

Лобастов. То-то же! а не то ведь со мной расправа короткая: я жаловаться не буду, а собственными своими руками рыло твое в один момент в решето превращу... я, брат, не побрезгаю!

Прокофий Иваныч. Допустим ли мы себя до того, чтоб ваше превосходительство ручки свои беспокоили! *(Кланяется.)*

Лобастов. Ну, ладно. Теперича, стало быть, я ручаюсь, что духовной не будет, а в случае если дойдет до того, чтоб ему ноги кверху, так и весть тебе будет подана. *(Смотрит на часы.)* Однако прощай, брат!

Прокофий Иваныч. Что ж скоро нас оставляете? Откушайте еще хоть рюмочку, ваше превосходительство!

Лобастов. Разве уж на дорожку. *(Пьет.)* А все-таки, брат, не мешало бы и тебе в нашем деле мне посодействовать... Брось, любезный, мочалку-то свою!

Прокофий Иваныч. То есть вы это о бороде говорить, ваше превосходительство, изволите?

Лобастов. Ну, разумеется.

Прокофий Иваныч *(подумав немного, решительно)*. Это можно, ваше превосходительство!

Лобастов *(несколько озадаченный)*. Ай да молодец, Прокофий Иваныч! вот подарил-то, дружище! Поцелуемся, брат!

Целуются

Прокофий Иваныч. Потому нам, ваше превосходительство, это можно, что мне теперича самому этот сюжет оченно поперек стал! Я так даже удумал, что если мне бог поможет папеньку на милость склонить, так я и тещу Василису Парфентьевну, и всю эту шаверу из дому метлой... потому как я своим лицом никаких против просвещенья резонов не имею, а только Василиса Парфентьевна через Мавру Григорьевну на мою плоть действуют... так я теперича и Мавру Григорьевну из своих рук поучить могу, если шибко мне прекословить будет!

Лобастов. Ну, и славно! Только смотри же ты, не надуй меня... видит бог, живого тогда не оставлю!.. Поцелуемся, брат!

Целуются.

Прокофий Иваныч. Прощенья просим, ваше превосходительство.

Уходят.
Сцена несколько времени остается пустою.

СЦЕНА VI

Прокофий Иваныч *(возвращается)*. Четвертую часть!.. не жирно ли будет? Эк ведь отвалил! Я и сам тоже жить хочу; ты не смотри на меня, что я смирный да в сермяге хожу — мне эти глупости-то уж вот как надоели! Довольно того, что жениться Гаврилку на твоем выродке заставлю... А ведь довольно будет забавно, Гаврилка, как ты с этакой-то сорокалетней девчищей под венец пойдешь! А пойдешь, брат, хоть и будет у тебя сердце воротить, пойдешь... Я свой долг благодарности перед его превосходительством исполнить должен — это так! Ну, и старость мою тоже утешать будешь... *(Задумывается.)* А что, если да он меня обманет, или хоть просто ничего в мою пользу сделать не успеет? Господи! да что ж это такое будет? И из-за чего я весь этот раздор затеял? так вот дурость напала! А ведь и нравом-то я весь в папеньку вышел; оттого-то, может, и разговор у нас завязался! он го-

ворит «да», а я говорю «нет», да тут еще и сарафанницы подоспели... так-то-с!.. *(Вздыхает.)* Теперь вот и оскобли, пожалуй, рожу, так и то еще не подействует... Первое дело, он хоть и любит, чтоб ему покорялись, а тоже ведь понимает, об чем естество-то человеческое тоскует! А второе дело, и не подпустят меня к нему... особливо этот Семен! Вот, я вам доложу, смрадная-то скотина, даром что статский советник!.. Ну, а если да этому Семену отступного подсунуть?.. А ведь недурно я это загадал! Конечно, генерал обещал, да ведь кто его знает, как он там успеет, а как сам со всех сторон дело обделаешь, так и совесть-то будет словно покойнее...

СЦЕНА VII

Прокофий Иваныч и Живновский.

Живновский *(высовывая голову из средних дверей)*. Почтеннейшему благодетелю Прокофию Иванычу нижайше кланяюсь.

Прокофий Иваныч *(вздрогнув)*. Тьфу ты пропасть! Ты, что ли, Федор Федорыч?

Живновский. Я, Прокофий Иваныч, все я-с; отдохнуть к вам от трудов пришел, ну, и водочки, может, поднесете... Не мало-таки мы сегодня с вашим родителем маялись!

Прокофий Иваныч. А что?

Живновский. А как же, сударь! и в аптеку сбегать, и за лекарем, все я-с! Ведь уж и духовную сегодня Иван-то Прокофьич написали...

Прокофий Иваныч *(в испуге)*. Что ты! что ты! да ты не ври!

Живновский. Вот умереть хоть сейчас, если не написали! Сам своими глазами, сударь, видел! Семен Семеныч и писал-то!

Прокофий Иваныч *(растерянный)*. Что ж это Андрей-то Николаич! Господи! Да ты врешь, проходимец ты этакой?

Живновский. Зачем врать, Прокофий Иваныч? Сам, сударь, своими ушами слышал, как читали; шесть недель нищих кормить приказал, чтобы за душу-то его, значит, богу молили.

Прокофий Иваныч. Именье-то, именье-то кому?

Живновский. А имения, говорит, внуку моему Гавриле часть, дочери моей любезной Настасье Ивановне часть, да на построение храмов божиих часть, а сыну моему любезнейшему Прокофию Иванычу родительское мое благословение...

Прокофий Иваныч. Да что ж это такое будет? грабить, что ли, они меня хотят? резать, что ли, хотят? *(Не помня себя, бросается на Живновского.)* Нет, ты скажи, зарезать, что ли, меня пришел?.. Батюшки! православные! грабят!

СЦЕНА VIII

Те же и Василиса Парфентьевна и Мавра Григорьевна (вбегают испуганные).

Василиса Парфентьевна. Что такое? что еще случилось?

Прокофий Иваныч *(бросив Живновского, мечется по комнате)*. Портного! цирульника! *(Рвет себя за бороду.)* Да возьмите вы ее, ешьте вы ее... Лошадь скорее! шапку! где моя шапка?

Василиса Парфентьевна. Да образумься: куда ты бежать-то хочешь?

Прокофий Иваныч *(останавливаясь)*. Куда бежать?.. Господи! и бежать-то некуда! зарезали меня! погубили!

Занавес опускается.

ДЕЙСТВИЕ II

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Фурначев, статский советник, 55 лет.
Настасья Ивановна, жена его, 30 лет.
Прокофий Иваныч.
Лобастов.
Анна Петровна Живоедова, 40 лет, сирота, из благородных, живущая в доме старика Пазухина в качестве экономки.
Лакей.

СЦЕНА I

Театр представляет кабинет статского советника Фурначева. Посреди сцены большой письменный стол, на котором во множестве лежат дела и бумаги. По стенам несколько кресел, а налево от зрителей диван; мебель обита драдедамом; в одном углу шкаф, в котором расставлены: Свод законов и несколько других книг. В средине комнаты дверь. Семен Семеныч, одетый в халат, сидит за письменным столом, углубившись в чтение «Мос-

ковских ведомостей». Фурначев принадлежит к разряду тех людей, которых называют солидными; он большого роста, с приличным чину брюшком, ходит прямо, говорит медленно и с достоинством; манеры и движения имеет начальственные.

Фурначев (*прерывая чтение*). Итак, в настоящем году следует ожидать кометы! Любопытно бы, однако ж, знать, что предвещает это знамение природы? Гм... Комета, сказывают, будет необыкновенная, с чрезвычайным хвостом... Стало быть, хвостом этим и землю задеть может... странно! что ж тогда предположения человеческие? Иной копит богатства вещественные, другой богатства душевные, один плачет, другой смеется... бьются, режутся, проливают кровь, разрушают города и вновь созидают... и вот! Иной филосо́ф утверждает, что мир — вода, другой, что мир — огонь, и что же из всего этого вышло? Только та одна истина, что человеческому мышлению предел положен! Однако эта комета неспросту... что-то будет? Если война будет, то, должно быть, кровопролитная, потому что и комета необыкновенная... Во всяком случае, рекрутский набор будет... (*Вздыхает.*) Мудры дела твоя, господи! так-то вот все дела человеческие на практике к одному концу приводятся: там, в небесных сферах комета совершает течение, на концах земли кровь проливается, а в Крутогорске это просто-напросто рекрутский набор означает!

Слышен стук в дверь.

Кто там?

Голос за дверью. Это я, душенька.

Фурначев. Можешь войти, Настасья Ивановна.

СЦЕНА II

Фурначев и Фурначева (дама еще не старая и очень полная; одета по-домашнему в распашной капот).

Настасья Ивановна. Я, душечка, к тебе.

Фурначев. Что ж, милости просим, сударыня.

Настасья Ивановна. Я, душечка, думала, что ты заперся и деньги считаешь.

Фурначев (*с скрытою досадой*). Рассудительный человек никогда таким вздором не занимается, потому что во всякое время положение своих дел знает... Рассудительный человек досуги свои посвящает умственной беседе с отсутствующими. (*Указывает на «Московские ведомости».*)

Настасья Ивановна. Будто ты уж никогда и не считаешь деньги?

Ф у р н а ч е в. Что ж тебе угодно, сударыня?

Н а с т а с ь я И в а н о в н а. А я, душечка, на тебя поглядеть пришла. Сидишь все одна-одинешенька, никакого для души развлеченья нет.

Ф у р н а ч е в. Скоро вот комета будет.

Н а с т а с ь я И в а н о в н а. Что ж такое это за комета?

Ф у р н а ч е в. Звезда небесная, сударыня. Является она в годины скорбей и испытания. В двенадцатом году была видима... тоже при царе Иване Васильиче в Москве явление было... звезда и хвост при ней...

Н а с т а с ь я И в а н о в н а. Да уж хоть бы комета, что ли,— скука какая!

Ф у р н а ч е в. Вот вы, сударыня, женщины, все так: вам бы только поегозить около чего-нибудь, а там что из этого выйдет, хоть даже народное бедствие,— вам до этого дела нет. Правду говаривали старики, что женщина — гостиница жидовская.

Н а с т а с ь я И в а н о в н а. За что ж ты ругаешься-то, Семен Семеныч? Конечно, лучше на комету посмотреть, нежели одной в четырех стенах сидеть... Ты лучше скажи, был ты у папеньки?

Ф у р н а ч е в. Был, сударыня.

Н а с т а с ь я И в а н о в н а. Ну, что ж, умирает?

Ф у р н а ч е в. Умирал было, да вдруг опять жив и здоров сделался.

Н а с т а с ь я И в а н о в н а *(зевая)*. Господи! скука какая! целый вот век умирает, и все не умрет! Как это ему еще жить-то не надоело!

Ф у р н а ч е в. А я все-таки тебе скажу, что у тебя язык только по-пустому мелет. Конечно, если б Иван Прокофьич духовную в нашу пользу оставил... *(спохватясь)* то и тогда бы не следовало желать смерти родителя.

Н а с т а с ь я И в а н о в н а. Будто ты уж и не желаешь папенькиной смерти! Хошь бы при мне-то ты об добродетели не говорил!

Ф у р н а ч е в. Добродетель, сударыня, украшает жизнь человеческую; человек, не имеющий добродетели, зверь, а не человек!.. Разумеется, если б почтеннейший Иван Прокофьич этак *вдруг* богу душу отдал, то есть без размышления, как птицы, например, небесные, ну, тогда, конечно, Христос бы с ним: пожил человек, свое дело исполнил!

Н а с т а с ь я И в а н о в н а. А все-таки ты, стало быть, папенькиной смерти желаешь!.. *(Зевает.)* А на что тебе деньги? только согрешенье с ними одно!

Ф у р н а ч е в. Деньги, сударыня, всякому человеку на-

добны... Даже нищий на улице стоит, и тому деньги надобны: потому он и руку Христовым именем протягивает!

Настасья Ивановна. Дети, что ли, у тебя есть? Так вот, только бы нахапать побольше, а зачем и сам, чай, не знаешь.

Фурначев углубляется в чтение газеты.

Даже противно смотреть на тебя, какую ты из-за денег личину перед папенькой разыгрываешь! Если б еще своих не было! Кому-то ты их оставишь, как умрешь?

Входит лакей.

Лакей. Анна Петровна приехала.

Фурначев. Проси.

Лакей выходит.

Ты хоть при ней-то, сударыня, глупостей своих не говори.

Настасья Ивановна. Вот бы вас вместе женить; по крайней мере, была бы парочка.

СЦЕНА III

Те же и Живоедова (одета в распашной капот, набелена и нарумянена; роста видного и корпусом плотная).

Живоедова. А я, Настасья Ивановна, к вам. Давеча супруг-то сказал, что неможется вам...

Целуются.

Настасья Ивановна. Под ложечкой что-то...

Фурначев. Уж чего под ложечкой! *(Живоедовой.)* Вчера, сударыня, так накушалась, что даже дыханье ночью-то остановилось!

Живоедова. Да вы бы, сударь, не давали бы им этак-то кушать!

Фурначев. Нельзя, Анна Петровна, нельзя-с. Пробовал уж я, да только время понапрасну потратил, а время, известно вам, такой капитал, которого не воротишь. Всякий капитал воротить можно, а время воротить невозможно...

Настасья Ивановна. Ну, как дома, Анна Петровна?

Живоедова. Да что дома? Не знаю уж, как и сказать-то: иной раз видится, будто умереть ему надо, а иной раз будто жить хочет... Измучилась я с ним совсем.

Фурначев. Для вас, почтеннейшая Анна Петровна, уж одно то как должно быть прискорбно, что в глазах ваших

страдает особа, которою вы, можно сказать, с детства облагодетельствованы.

Живоедова. Что и говорить, Семен Семеныч! Конечно, кому другому ничего...

Фурначев. Нет, моя почтеннейшая, не говорите этого... всякому, даже бесчувственному человеку, и тому прискорбно!

Живоедова. Всё не супротив моего! Ведь я, сударь, с пятнадцати лет с ним в грехе: еще малехонькую меня родители-то ему продали!.. Разумеется, кабы духовная... слова нет, хорошо кабы духовная! А то, сударь, и ни с чем пойдешь, только слава, что дворянского рода!

Фурначев. А вы бы вразумили папеньку-то, Анна Петровна!

Живоедова. А как ты его вразумишь! вот он лежит, как чурбан, да привередничает... Я уж и то ему грозила: «Придется, мол, тебе, Иван Прокофьич, перед царя небесного предстать! спросит он тогда тебя, на кого, мол, ты Аннушку оставил?» Так он, сударь, только засмеялся на это: «Я, говорит, еще годков с пять проживу!» Да намеднись что еще выдумал: поди, говорит, Аннушка, сюда: я хошь погляжу... Ах, тяготы-то наши только никому неизвестные!.. А вот Андрей Николаич еще говорит, что меня бог милостью сыскал!

Фурначев. Что и говорить, моя почтенная! Уж ваша жизнь какая! вы дама в самой поре, вам бы жениха да и жениха еще надобно... Вот и я часто Настасье Ивановне говорю: что-то поделывает наша почтенная Анна Петровна? вот истинная-то страдалица!

Настасья Ивановна. Уж что правда, то правда, Анна Петровна; я вот хоть и дочерью папеньке прихожусь, а, кажется, ни за что бы на свете этакой муки не вытерпела.

Фурначев. Ничего, бог милостив, не останетесь без возмездия... Вспомните, сударыня, что бог на небеси призирает труждающихся!

Живоедова. Так-то так... хорошо, кабы ваша правда была, Семен Семеныч. А то вот как придется на старости-то лет опять в чужие люди идти!

Фурначев. Не говорите этого, сударыня. Бог именно видит, кто чего заслуживает, а добродетельные люди всегда и на сем и на том свете мзду для себя получали. Это уж я по себе заключать могу.

Живоедова. Хорошо, кабы на сем-то, Семен Семеныч, а то вот Прокофий-то Иваныч думает, что и раздор-то весь промеж них через меня вышел, так он с меня и рубашку-то последнюю, пожалуй, в ту пору сымет... А разве я виновата тут? Разве виновата я, что он не захотел сермяжником

остаться, да и сына обнатуриться нудить стал? Разве не говорила я в ту пору Прокофию-то: подари ты ему мочалку-то свою! да не женись на Маврушке! Так он не то чтобы доброго слова послушаться, еще выдумал на другой день в баню с супругой-то пойти: это, говорит, по старому русскому обычаю. Только смех, право!

Фурначев. Да, крепонек-таки любезнейший братец.

Живоедова. Вы одно то возьмите, что у него сын ведь есть, тоже чин имеет, у губернатора по поручениям служит!.. А ну, как он, губернатор-от, проведамши про такой-то страм, да спросит Гаврюшеньку-то: «А чей, мол, это отец, без стыда безо всякого, гнусным манером в баню ходит?» Ведь тогда молодцу-то от одного от страму хоть в тартарары провалиться!

Настасья Ивановна. Просто даже скверно смотреть на этого Прокофья, голубушка Анна Петровна. Наметнись вот в церкви, так при всех и лезет целоваться — я даже сгорела от стыда... Вы возьмите, Анна Петровна, я ведь статская советница, в лучших домах бываю, и вдруг такой афронт!

Живоедова. А ведь это он, сударыня, с озорством сделал. Он даром что смирно смотрит, а ведь тоже куда озороват!

Настасья Ивановна. И я то же говорю, да вот Семен Семеныч все не верит... кабы не Семен Семеныч, так я бы, кажется, давно ему в бороду наплевала.

Фурначев. Излишняя чувствительность, Настасья Ивановна, ведет лишь к погибели. Кто может предвидеть, какими тайными путями ведет провидение человека? По моему мнению, почтеннейшая Анна Петровна, человек самое несчастное в мире создание. Родится — плачет, умирает — плачет. Следовательно, Настасья Ивановна, нам нужно с кротостью нести тяготы наши. Так ли?

Живоедова. Это правда, Семен Семеныч.

Фурначев. Ты бы вот, Настасья Ивановна, в горячности чувств своих, плюнула Прокофью Иванычу в бороду, а кто знает? может быть, еще и пригодится тебе эта борода? Человек, в своей кичливости, предпринимает иногда вещи, в которых впоследствии горько раскаивается, но недаром гласит народная мудрость: *не плюй в колодец — испить пригодится...* Может быть, почтеннейший Прокофий Иваныч и есть тот самый колодец, о котором гласит пословица? Каково же тебе, сударыня, будет, если после испить-то из него придется?

Настасья Ивановна. Чтой-то ты, душечка, как говоришь скучно! Даже спать хочется.

Фурначев. Полезные истины всегда скучно выслушивать, сударыня. Только зубоскальство модных вертопрахов приятно ласкает слух женщины. Но истина, хотя и не столь

привлекательна, зато спасительна. Так ли, почтеннейшая Анна Петровна?

Живоедова. Мудрено чтой-то вы говорите, Семен Семеныч.

Фурначев (*снисходительно улыбаясь*). Ну-с, будем говорить попроще... Что касается до духовной, то и я сам, моя любезнейшая, того мнения, что Иван Прокофьич ее не сделает, и Прокофий Иваныч, стало быть, естественным образом достигнет желаемого.

Живоедова. Ведь он с меня рубашку снимет, Семен Семеныч!

Фурначев. Это дело возможное, сударыня.

Живоедова. Хотя бы вы научили, как помочь-то этому?

Фурначев. Я об этом предмете желал бы иметь с вами откровенный разговор, Анна Петровна.

Настасья Ивановна. Мне уйти, что ли?

Фурначев. Можешь уйти, Настасья Ивановна,— мы не долго...

Настасья Ивановна уходит.

СЦЕНА IV

Те же, кроме Настасьи Ивановны.

Фурначев (*притворяя плотно дверь*). Мне с вами, Анна Петровна, по душе побеседовать надо.

Живоедова. Что ж, Семен Семеныч, извольте беседовать.

Фурначев (*вполголоса*). Я, сударыня, думаю, нельзя ли тово... (*Идет снова к двери и, посмотрев, нет ли кого за нею, возвращается.*) Насчет этого мы, кажется, оба согласны, что на духовную надежды мало; ведь в его мнении что̀ духовную написать, что̀ умереть, все один сюжет-с; стало быть, того не миновать, что не нынче, так завтра все Прокофью Иванычу достанется...

Живоедова. Это, сударь, по всему видимо, что к тому дело клонит.

Фурначев. Стало быть, вы размыслите только, любезная Анна Петровна, какие последствия выдут для вас из этого обстоятельства. *Во-первых,* он вас в ту же минуту из дому выгонит...

Живоедова. Ох, батюшка, лучше и не говори!

Фурначев. Нет, сударыня, истину всегда выслушать полезно. Стало быть, он вас выгонит — это первое. Вы возьмите,

моя почтенная, как вам тогда жить-то будет! Вы человек неженный, привыкли и кусок сладкий съесть, и на кроватке понежиться, и то, и другое, и третье... Каково же, сударыня, как вам вдруг голову приклонить негде будет? Как вам, может быть, в глухую темную ночь, или в зимний морозный день, придется в одном, с позволенья сказать, платье Христовым именем убежище для себя выпрашивать?

Живоедова. Ох, батюшки, чтой-то уж ты больно страшно говоришь! Неужто это и может статься?

Фурначев. Станется, сударыня, непременно станется... Но будем продолжать. *Во-вторых,* я полагаю, что вы и об законном супружестве иногда помышляете?

Живоедова *(задумчиво).* Хорошо бы, Семен Семеныч, уж куда бы как хорошо! Хошь бы вы обо мне, сироте, подумали, да из палатских за кого-нибудь высватали...

Фурначев. Это можно, сударыня. Сам я ведь знаю, что в супружеском состоянии великие сладости обретаются... Только ведь вы за какого-нибудь не пойдете, вам надобен человек солидный-с... Ну, а солидному человеку и супругу надобно такую, чтобы могла за себя отвечать. Красота телесная — тлен, Анна Петровна; умрем мы — что же от нее, от этой красоты, останется? Страшно сказать — один прах! Красота душевная, бесспорно, тоже вещь капитальная, но развращение века уж таково, что нравственные красы пред коловратностью судеб тоже в онемение приходят... Стало быть, солидному-то человеку капитал нужен настоящий-с.

Живоедова. Понимаю я это, Семен Семеныч, очень понимаю.

Фурначев. А если понимаете, так дело, значит, в том состоит, каким образом добыть приличный капитал, и об этом-то намерен я с вами теперь беседовать. *(Снова подходит к двери, заглядывает в следующую комнату и возвращается. Вполголоса.)* В каком месте, сударыня, у Ивана Прокофьича сундук с капиталами находится?

Живоедова. Сами, чай, знаете, Семен Семеныч, что в опочивальной под кроватью сундук.

Фурначев. Это, сударыня, не хорошо. *(Задумывается.)* А часто ли Иван Прокофьич себя поверяет?

Живоедова. Каждый день, сударь. У него, у голубчика, только ведь и радости, что деньги считать! Утром встанет, еще не умоется, уж кричит: Аннушка! сундук подай! ну, и на сон грядущий тоже.

Фурначев. И это не хорошо, сударыня. Позвольте, однако ж. Так как Иван Прокофьич находится в немощи и, следовательно, нагибаться сам под постель не в силах, из этого

явствует, что обязанность эту должен исполнять кто-нибудь другой...

Живоедова. Я, сударь, лазию.

Фурначев. А так как, вследствие той же немощи почтеннейшего Ивана Прокофьича, вы не можете не присутствовать при действиях, которыми сопровождается поверка...

Живоедова. Присутствую, Семен Семеныч, это правда, что присутствую. Только он нынче стал что-то очень уж сумнителен; прогнать-то меня не может, так все говорит: отвернись, говорит, Аннушка, или глаза зажмурь...

Фурначев. Стало быть, вы не видите, что он делает?

Живоедова *(вздыхая)*. Уж как же не видеть, Семен Семеныч!..

Фурначев. Стало быть, вы можете сообщить и нужные по делу сведения... Например, как велик капитал почтеннейшего Ивана Прокофьича?

Живоедова. Велик, сударь, велик... даже и не сообразишь — вот как велик... Так я полагаю, что миллиона за два будет...

Фурначев. Это следовало предполагать, сударыня. Иван Прокофьич — муж почтенный; он, можно сказать, в поте лица хлеб свой снискивал; он человеческое высокоумие в себе смирил и уподобился трудолюбивому муравью... Не всякий может над собой такую власть показать, Анна Петровна, потому что тут именно дух над плотью торжество свое проявил. Во всяком случае, моя дорогая, вы, я полагаю, были достаточно любознательны, чтоб осведомиться, в каких больше документах находится капитал Ивана Прокофьича? то есть в деньгах или в билетах? и если в билетах, то в «именных» или «неизвестных»?

Живоедова. Больше на неизвестного, Семен Семеныч! а есть малость и именных.

Фурначев. Это, сударыня, хорошо... *(Шутливым тоном.)* Так, по моему мнению, почтеннейшая наша Анна Петровна, *смысл басни сей таков,* что вы на первый случай одолжите нам слепочка с ключа или замка, которым «тяжелый сей сундук» замыкается.

Живоедова. Как же это, Семен Семеныч, слепочек? я что-то уж и не понимаю.

Фурначев. А вы возьмите, сударыня, вощечку помягче, да и тово-с... *(Показывает рукой.)*

Живоедова *(задумчиво)*. А ну как он увидит?

Фурначев. Вы это, сударыня, уж под кроваткой сделайте: это вещь не мудрая — можно и в потемочках сделать.

Живоедова. Да мне чтой-то все боязно, Семен Семеныч;

мое дело женское, непривычное... ну, как увидит-то он? куда я тогда с слепочком-то поспела?

Фурначев. Увидеть он не может-с; надо не знать вещей естества, чтобы думать, что он, находясь на кровати, может видеть, что под кроватью делается... Человеческому зрению, сударыня, пределы положены; оно не может сквозь непрозрачные тела проникать.

Живоедова. Да ведь я, Семен Семеныч, женскую свою слабость произойти не могу... я вот, кажется, так и издрожусь вся, как этакое дело сделаю. А ну как он в ту пору спросит: «Ты чего, мол, дрожишь, Аннушка? ты, мол, верно, меня обокрала?» Куда я тогда поспела! Я рада бы радостью, Семен Семеныч, да дело-то мое женское — вот что!

Фурначев *(в сторону)*. Глупая баба! *(Громко.)* Если он и сделает вам такой вопрос, так вы можете сказать, что от натуги сконфузились... такой ответ только развеселить его может, сударыня.

Живоедова *(робко)*. Ну, а потом-то что, Семен Семеныч?

Фурначев. А потом, сударыня, мы закажем себе подобный же ключ, и как начнет он умирать... Впрочем, сударыня, подробности зараньше определить нельзя; тут все зависит от одной минуты.

Живоедова. Да зачем же ключ-то фальшивый! Как он помрет, можно будет и настоящий с него снять...

Фурначев. Первое дело, грех мертвого человека тревожить... интересы свои соблюдать можно, а грешить зачем же-с? А второе дело, может быть, не ровен случай, и при жизни его придется эту штуку соорудить, при последних, то есть, его минутах... поняли вы меня?

Живоедова *(робко)*. А как же насчет денег-то?

Фурначев. В этом отношении вы можете положиться на мою совесть, сударыня. Труды наши общие, следовательно, и плоды этих трудов должны быть общие.

Живоедова. То-то, Семен Семеныч.... Да мне как-то боязно все... как это слепочек... и все такое.

Фурначев. Однако нет, Анна Петровна... это уж вы, значит, своего счастья не понимаете?..

Слышен стук в дверь.

Кто там еще?

Голос Настасьи Ивановны. Кончили вы, душечка? можно войти?

Фурначев *(Живоедовой)*. Вы это сделаете, почтеннейшая Анна Петровна!.. Можешь войти, Настасья Ивановна, мы кончили!

СЦЕНА V

Те же и Настасья Ивановна.

Настасья Ивановна. Наговорились, что ли? Ну, теперь, голубушка Анна Петровна, и закусить не мешает.

Фурначев. Помилуй, сударыня, давно ли, кажется, обедали — и опять за еду! ведь ты не шутя таким манером объесться можешь.

Живоедова. И, батюшка, это на пользу.

Настасья Ивановна. Я вот то же ему говорю... Да ведь и скука-то опять какая, Анна Петровна! Книжку возьмешь — сон клонит: что-то уж скучно нынче писать начали; у окна поглядеть сядешь — кроме своей же трезорки, живого человека не увидишь... Хоть бы полк, что ли, к нам поставили! А то только и поразвлечешься маненько, как поешь.

Живоедова. У вас же поди еда-то не купленная!

Настасья Ивановна. Нет, голубушка, вот нынче Антип Петрович завод закрыл, так муку тоже покупаем... *(Вздыхает.)* А конечно, в ту пору, при Антип Петровичевом заводе, жить лучше было: первое, что и мука и весь провиянт непокупной, а второе, что̀ свиней одних у него там бардой откармливали!

Живоедова. Да что, мать моя, правду ли говорят, что от барды-то у свиней мясо словно жесткое бывает?

Настасья Ивановна *(вздыхая)*. Конечно, не смею солгать, голубушка Анна Петровна, барденная скотина все не придет противу хлебной... *(Вздыхает.)* Ну, да на наши зубы и то хорошо!

Живоедова. Разумеется, даровому коню что в зубы смотреть... Так пойдем, что ли, закусить, матушка? По мне, поди старик-то давно стосковался.

Фурначев. Пожалуйте, сударыня.

Уходят.

СЦЕНА VI

Фурначев (один).

Фурначев. Ну, кажется, с божиею помощью, это дело уладится... Вот Настасья Ивановна говорит: куда деньги копишь? Глупая баба! деньги всякому нужны: с деньгами всякая тварь человеком делается, без них и человек тварью станет. Господи! давно ли, кажется, давно ли! давно ли я боси-

ком, в одной рубашонке, к отческому дому гусей загонял! давно ли в земском суде, в качестве писца, для старших в кабак за водкой бегал, и за все сии труды не благодарность, а единственно колотушки в награду получал! И как еще колотили-то! Еще хоть бы с рассуждением, туда, где помягче, а то просто куда рука упадет — как еще жив остался! И вот теперь даже подумать об этом как-то странно! Кожа на ногах сделалась тонкая, тело белое, мягкое, неженное... и говорят еще, зачем тебе деньги? Как зачем? Вот я еще немножко здесь позаимствуюсь, потом перееду в Петербург, пущусь в откупа, а там кто знает, какую ролю провиденье назначило мне играть? Вот намеднись Василий Иваныч из Петербурга пишет, что у них на днях чуть-чуть откупщика министром не сделали... что ж, это правильно! потому что откупщик — он всю эту подноготную как «помилуй мя, боже» заучил! Ну а что, если и я?.. Нет, лучше бросить эту мысль!.. Ну, а если?.. ведь бывали же такие примеры! *(Повергается в мечтательность.)* Или вот суету мирскую брошу, от дел удалюсь, да и стану в правительствующем сенате на крылечке, с залогами в руках, отступного поджидать... я, дескать, в дела входить не желаю, я, по милости божией, много доволен, а вот отступным не побрезгуем-с... хе-хе-хе!.. Ведь достиг же я статского советника, происходя черт знает из какого звания... даже сказать постыдно! А всё деньги! Анна Петровна сказывала, что у старика до двух миллионов — ну, положим, хоть полтора... Если из них двести... нет, сто девяносто тысяч «именных» Прокофью... Что ж, ему это достаточно! платками да ситцами торговать можно и на сто рублей! Да в делах, да в залогах, да в недвижимости еще сколько! И все это Прокофью... предостаточно! Ну, десять тысяч Живоедовой за труды... остальные...

Входит лакей.

Ну, что там еще?

Лакей *(конфиденциально)*. Прокофий Иваныч пришли.

Фурначев. Ах, а Анна Петровна еще здесь?

Лакей. Здесь-с.

Фурначев. Ах ты, господи! Уведи, уведи, братец, ты этого Прокофья; скажи, чтобы на кухне обождал, покуда эта ведьма тут.

Лакей уходит.

Что бы ему, однако ж, за надобность до меня?

Живоедова *(появляясь в дверях)*. Прощайте, Семен Семеныч, мне уж и до дому пора.

Фурначев. Прощайте, сударыня; Иван Прокофьичу

наше почтение... скажите, что мы за него денно и нощно к престолу всевышнего молитвы воссылаем!

Живоедова уходит.

Что ж бы, однако, ему за надобность?

СЦЕНА VII

Фурначев и Прокофий Иваныч. Прокофий Иваныч, не говоря ни слова, несколько раз кланяется.

Фурначев. Здравствуй, любезный друг! ты не посетуй, что дожидаться заставил, тут Анна Петровна была. Да у меня и на кухне хорошо.

Прокофий Иваныч. Помилуйте, ваше высокородие!

Фурначев. Ну, что новенького?

Прокофий Иваныч. Мы люди темные, ваше высокородие: целый день все в лавке сидишь... хошь и бывают новости, так самые, можно сказать, несообразные...

Фурначев. Можешь присесть, любезный.

Прокофий Иваныч. Нет, уж позвольте постоять, ваше высокородие...

Фурначев *(в сторону)*. Стало быть, нужду до меня имеет! *(Громко.)* Как хочешь, любезный, я не неволю... а слышал, комета новая проявилась?

Прокофий Иваныч. Как же-с, вот Дементий Петрович из Москвы пишет, что надо звезде быть... там, слышь, много об этом в простонародье толков идет.

Фурначев. Какой это Дементий Петров? тот, что ли, что наемщиками торгует?

Прокофий Иваныч. Тот самый-с.

Фурначев. Знаю, имел дела по рекрутскому присутствию.... Человек основательный!

Прокофий Иваныч. Он теперь уж большими делами занимается... Нынче, сказывают, с наемщиками-то хлопот да строгостей...

Фурначев. Нет, отчего же? можно и нынче! Это всё одни наругатели слух пущают, что нынче будто бы свет наизворот пошел, а он все тот же, как и прежде был! Да разве Дементий-то в «разврате» состоит?

Прокофий Иваныч *(мнется)*. Да-с, ваше высокородие... он... точно... старинных обычаев держится...

Фурначев. Похвального мало. Умрет, как собака, без покаяния. Что ж он еще пишет?

Прокофий Иваныч. Да что пишет-с? Пишет, что великому надо быть перевороту, примерно так даже думать должно, что и кончина мира вскорости наступить имеет.

Фурначев. Ну, а ты как?

Прокофий Иваныч. Мы что, ваше высокородие! Мы, можно сказать, на земле, каков есть червь, и тот не в пример превосходнее нашего будет... Мы даже у родителя под гневом состоим.

Фурначев. Поди сюда.

Прокофий Иваныч подходит.

Видишь ты этот стол.

Прокофий Иваныч. Вижу, ваше высокородие.

Фурначев. Ну, если я этот стол отсюда велю переставить к стене, будет ли от этого светопреставление? Как потвоему?

Прокофий Иваныч. Отчего, кажется, тут светопреставлению быть!

Фурначев. Ну... теперь возьми ты, вместо стола, звезду и переставь ее с востока к западу — следует ли из этого, чтоб кончина мира была?

Прокофий Иваныч. А Христос их знает, ваше высокородие! Мы тоже не свое болтаем... нам пишут так.

Фурначев. Я тебе вот как на это скажу, что за такие безобразные толки надо в Сибирь ссылать... А ты коли понимаешь, что они вздор, так презри их, а не то чтоб в народ пущать! Тебе больше ничего не надобно?

Прокофий Иваныч *(с расстановкой)*. Я к вашему высокородию за советом пришел.

Фурначев. Ну?

Прокофий Иваныч. Мы так уж удумали... чтоб нам тятенькиной воле... покориться надоть...

Фурначев *(с невольным испугом)*. То есть как? что ты там, любезный, городишь?

Прокофий Иваныч. Точно так-с; нам без родительского благословения жить невозможно.

Фурначев. Что ж, и с украшением своим, чай, расстанешься? *(Указывает на бороду.)*

Прокофий Иваныч. Помилуйте, ваше высокородие!

Фурначев. Фрак наденешь, голову à la черт побери уберешь... ты, брат, уж прежде показаться приди.

Прокофий Иваныч. Помилуйте, ваше высокородие, кабы не нужда наша...

Фурначев. Что ж, любезный друг, это дело хорошее. Родительскую волю уважать надо. Только если ты насчет

наследства хлопочешь, так это напрасно: папенька вчерашний день и духовную уж совершил. *(В сторону.)* Припугнуть его!

Прокофий Иваныч *(таинственно)*. Мне на этот-то счет и желательно бы с вашим высокородием разговор иметь.

Фурначев. Разговаривай, братец, разговаривай.

Прокофий Иваныч. Я так скажу, ваше высокородие, что если бы да этой духовной не было, так я тому человеку, который мне эту спекуляцию устроит, хорошую бы от себя пользу предоставил.

Фурначев. Это резон... а как, например?

Прокофий Иваныч. Да если бы, например, миллион, так сто бы тысячек...

Фурначев *(в сторону)*. А не дурно придумал, бестия!.. Кабы на жадного человека, так и успел бы, пожалуй! Посмеяться разве над ним? *(Громко.)* Нет, уж прибавь еще полсотенки.

Прокофий Иваныч. Ну, и полсотенки прибавить можно.

Фурначев. А чем же ты меня заверишь, что обещание твое не на воде писано?

Прокофий Иваныч. Неужто уж, ваше высокородие, мне не верите?.. Я готов хошь какой угодно образ со стены снять...

Фурначев. Да-да... Так ты непременно хочешь бороду-то себе обрить?

Прокофий Иваныч. Да-с, это наше беспременное намеренье.

Фурначев *(пристально глядит ему в глаза)*. Ты за кого же меня принимаешь?

Прокофий Иваныч *(оторопев)*. Помилуйте, ваше высокородие...

Фурначев. Нет, ты скажи, за кого ты меня принимаешь? Если ты пришел предложить мне продать почтенного старика, которым я, можно сказать, от головы до пяток облагодетельствован, стало быть, ты за кого-нибудь да принимаешь меня? Если ты пришел мне рассказывать, как ты веру переменять хочешь, стало быть, ты надеешься встретить мое одобрение? За кого же ты меня принимаешь? *(Наступая на него.)* Нет, ты сказывай!

Прокофий Иваныч. Помилуйте, ваше высокородие...

Фурначев. Нет, ты ведь по городу пойдешь славить, что я с тобой заодно! ты вот завтра бороду себе оголишь да пойдешь своим безобразным родственникам сказывать, что статский советник Фурначев тебя к такому поступку поощрил!.. *(Скрещивая на груди руки и сильнее наступая на него.)*

Так ты, стало быть, ограбить семью-то хочешь? Ты, стало быть, хочешь ограбить своего единственного сына и отдать отцовское достояние, нажитое пòтом и кровью... да, сударь, пòтом и кровью! — на поругание встречной девке, которую тебе вздумалось назвать своею женой? И ты хочешь, чтоб я был участником в таком деле? Ты хочешь, чтоб я в пользу твою продал и честь и совесть, которым я пятьдесят лет безвозмездно служу!.. *(С достоинством.)* Так у меня, сударь, беспорочная пряжка есть, которая ограждает меня от подобных подозрений!.. Вон!

Прокофий Иваныч хочет удалиться, но в это время дверь отворяется, и входит Лобастов.

СЦЕНА VIII

Те же и Лобастов.

Лобастов. Семену Семенычу наше наиглубочайшее! А! и ты, брат Прокофий Иваныч, здесь?

Фурначев. Очень рад, очень рад, ваше превосходительство! милости просим! у меня же тут кстати анекдот забавный случился...

Прокофий Иваныч хочет уйти.

Нет, любезный друг, теперь стой! Я хочу, чтобы целый свет узнал, каковы твои нравственные правила!

Прокофий Иваныч *(жалобно)*. Помилуйте, ваше высокородие... ведь старик уж я!

Фурначев. Тем более, сударь, стыда для тебя: молодой человек может отговариваться неопытностию...

Лобастов *(с расстановкой)*. Д-да?.. стало быть, случилось что-нибудь?..

Фурначев. Представьте себе, что почтеннейший благоприятель явился ко мне с предложением насчет смерти нашего уважаемого Ивана Прокофьича! Как вы думаете, хорош поступок со стороны почтительного сына?

Прокофий Иваныч поникает головой.

Лобастов *(пристально смотря в лицо Прокофью Иванычу)*. Д-да? так вот ты, брат, как?

Прокофий Иваныч отворачивается.

Нет, ты посмотри мне в лицо-то!

Фурначев. И представьте себе, что он мне за эту механику полтораста тысяч предлагает... Шутка сказать, полтора-

ста тысяч! *(Прокофью Иванычу с чувством собственного достоинства.)* За кого же вы меня, сударь, считали, спрашиваю я вас?

Лобастов *(Прокофью Иванычу)*. А это, брат, ты не дурно придумал!.. Гм... свинья, брат, ты!

Фурначев. Так как же вам, ваше превосходительство, кажется поступок этого почтительного сына? Да главное-то, впрочем, я и забыл вам сказать: ведь почтеннейший Прокофий Иваныч с завтрашнего дня бороду бреет и одевается в пиджак!..

Прокофий Иваныч *(в сторону)*. Господи!

Фурначев *(обращается к Прокофью Иванычу)*. Государь мой! безнравственность вашего поступка так велика, что я за омерзение для себя считаю называться вашим родственником... Идите, государь мой, и помните, что сколько почтенна и достохвальна добродетель, столько же гнусен и непотребен порок!

Занавес опускается.

ДЕЙСТВИЕ III

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Иван Прокофьич Пазухин, 75 лет, купец первой гильдии и потомственный почетный гражданин, занимающийся откупами и подрядами.
Прокофий Иваныч.
Фурначев.
Лобастов.
Живновский.
Настасья Ивановна Фурначева.
Леночка Лобастова, 30 лет, девица.
Живоедова.
Баев.

СЦЕНА I

Довольно обширная гостиная в доме старого Пазухина. В средине комнаты и направо от зрителя двери; налево три окна. В глубине сцены, по обеим сторонам дверей, диваны с стоящими перед ними круглыми столами; по стенам и по бокам диванов расставлены кресла и стулья, обитые малиновым штофом; вообще убранство комнаты свидетельствует, что хозяин дома человек богатый. Утро. На одном из столов поставлена закуска.

Живоедова и Лобастов.

Лобастов *(закусывая)*. Какой же это, сударыня, слепочек?

Живоедова. Да вот с ключика или с замка, который у сундука-то... Так я, говорит, по образу и по подобию другой ключик такой закажу, а как начнет старик-то кончаться, так вы, мол, мне тихим манером весть дайте...

Лобастов. А я, дескать, приду, ключиком сундучок отопру да что следует оттуда и повыну...

Живоедова. Ну, так, сударь, так!

Лобастов. А деньги поровну?

Живоедова. По-моему, надо бы поровну, а там ведь господь его знает, что у него на душе... Этого-то я и боюсь.

Лобастов. Это вы правду, сударыня, сказали, что чужая душа потемки. А я так думаю, что тут и сомненья держать не в чем.

Живоедова. Ты, стало быть, думаешь, что он обидит?

Лобастов. А то как же? Сами вы, голубушка, рассудите, из каких ему расчетов с вами делиться? Если б еще вы были человек чистый, если б сами не были в это дело со всех сторон запутаны, ну тогда, конечно, можно бы с ним поговорить. А то вообразите вы себе то: ну, приступите вы к нему, скажете: «Отдай половину», а он вам на это: «Нет, мол, половины много, а вот, дескать, тебе на чай синенькую...»

Живоедова. Чтой-то, уж и синенькую!

Лобастов. Положим, вы так ему и скажете, а он вам на это: «Довольно, мол, с тебя и этого будет!»

Живоедова. Да ведь я, сударь, горло ему перегрызу, я, сударь, наследникам все открою; у меня язык-то тоже не купленный.

Лобастов. Положим, что и это вы ему объясните. Так ведь он, сударыня, знаете ли, что вам ответит: «У тебя, скажет, у самой хвост-от в грязи; я, скажет, только деньги взял, а ты, мол, и ключ фальшивый составила, так разве хочешь идти вместе на каторгу?» Ну, может, и еще тут рубликов с пяток набавит. Так на каторгу-то, чай, вы не пожелаете?

Живоедова. Кому охота! Да чтой-то ты, сударь, все пять да пять рубликов заладил, а ты говори дело!

Лобастов. А дело, сударыня, тут в том состоит, что Семен Семеныч обширного ума человек!

Живоедова *(тоскливо)*. Да ты хоть бы присоветовал что-нибудь, Андрей Николаич; право, точно уж ты чужой человек.

Лобастов. Тут надо, сударыня, чтобы с чистою душой человек был, чтоб ухищрениям Семена Семеныча свой оплот поперек поставить.

Живоедова. Да ведь я еще слепочка-то ему не давала... *(Вздыхая.)* Уж, видно, ин бросить эту затею!

Лобастов. Зачем же-с? Затея эта хорошая, только надо ее обеспечить. Это вы хорошо, Анна Петровна, сделали, что мне сказали, потому что я тут могу многое... Да вы, пожалуй, и еще кому, по женской своей слабости, передали?

Живоедова. Оборони бог!

Лобастов. То-то же-с. Так мы вот что на первый раз с вами положим: как начнет Иван Прокофьич кончаться, так вы заодно с Семен Семенычем и мне потихоньку шепнуть пришлите... да мне-то бы даже немножко попрежде-с.

Живоедова. А я знаешь что удумала: нечем к Семену Семенычу посылать, так мы бы вдвоем это дело сделали?

Лобастов. То есть обобрать-то-с?

Живоедова. Да не обобрать — что ты, сударь, в самделе, как говоришь! Обобрать да обобрать, только и слов у тебя! Не обобрать, а попользоваться.

Лобастов. Не могу-с, грех-с.

Живоедова. Да что ж за грех?

Лобастов (*прерывая ее*). Грех, сударыня.

Живоедова. Ну, ин ладно, пусть Семен Семеныч старается. Только ты меня уж, сделай милость, с ним заодно не обмани. Вспомни ты, Андрей Николаич, что я кругом сирота, да и дело-то мое такое, что я с женским своим умом никаких этих делов не понимаю... Так не обмани же ты меня!

Лобастов. Обмануть мне вас, сударыня, нельзя, да и не расчет, а только уж вы меня в третью часть примите.

Живоедова (*вздыхая*). Уж что с тобой делать! Все лучше, нечем как он в сам-деле синенькой-то отпотчует!

За дверьми слышится звонок.

Чу! кличет! Ты уж посиди здесь, Андрей Николаич, потешь старика-то!

Лобастов. Посижу, сударыня, посижу.

СЦЕНА II

Лобастов (*один*). Так ты меня, сиволап Прокопка, надуть хотел! с Семеном снюхаться вздумал! Так вот бог-то и наказал тебя; теперь посмотрим, кто кого обведет! Однако надо действовать осторожно: пускай Семен же и обличает его перед отцом... Ну, теперича, кажется, не отвертишься ты от меня, Гаврило Прокофьич! Нет, брат, как зубы-то на полку положить придется, так поневоле караул закричишь да к нам прощенья просить придешь!.. Эх, Леночка! все для тебя, сударыня, на старости лет работаю!

СЦЕНА III

Лобастов и Живоедова; через несколько времени является Живновский.

Живоедова. Сейчас выедет...

Лобастов. Ну, что он сегодня, как?

Живоедова. Весел, сударь, радошен...

Живновский (*показываясь в дверях*). Я, почтеннейшая благодетельница, на минуточку...

Живоедова. Уж чего, чай, на минуточку; ты только языком говоришь, что на минуточку; часто уж повадился!

Живновский. Я, пожалуй, и уйду, сударыня.

Лобастов. Вздор, любезный, без хлеба-соли из гостей не уходят... выпьем!

Живновский. Я, ваше превосходительство, от этого никогда не отказываюсь. По-моему, это неучтиво!

Лобастов. Что говорить — выпьем!

Живновский (*Живоедовой*). Ваше здоровье, благодетельница! Дай вам бог полнеть, добреть да богатеть, да женишка чтобы такого... чтоб искры из глаз посыпались! (*Пьет.*)

Лобастов. Ай да молодец! (*Смеется.*) Какого жениха-то пожелал: чтоб искры посыпались! Ай да поручик!

Живоедова. Ведь чего только не скажешь ты, стрекоза! Ну, уж посиди ин; вот ужо Иван Прокофьич выедет, так потешишь его, старика.

Боковые двери растворяются, и из другой комнаты показывается большое и длинное кресло, подталкиваемое сзади двумя лакеями. На кресле, утопая в подушках, лежит Иван Прокофьич, старик худой и слабый; одет в халат, и ноги закутаны в меховое одеяло; в руках у него трость, которою он в раздумье чертит по одеялу. Лакеи, подкатив кресло на середину комнаты, удаляются.

Лобастов. А вот и он, легок на помине!

СЦЕНА IV

Те же и Иван Прокофьич.

Лобастов. Здравствуй, брат, Иван Прокофьич! Каково, сударь, спал? веселые ли сны во сне видел?

Иван Прокофьич (*слабым голосом*). Плохо, Андрей Николаич, только провалялся с боку на бок. Теперь еще как

будто поотлегло, а вчерась с вечеру да сегодня утром даже словно как в тумане был.

Ж и в н о в с к и й. Полноте, благодетель, еще поживете. Вот мы вам здоровья пожелаем. *(Подходит к закуске и пьет.)*

И в а н П р о к о ф ь и ч. Ничего, братец, даже не чувствую. Давеча и Аннушку не узнал.

Л о б а с т о в. Это, сударь, худо.

Ж и в о е д о в а. Уж и как худо-то! *(Плаксивым голосом.)* Я к нему подхожу давеча с ложечкой, а он, голубчик, смотрит на меня да и говорит: «Ступай, говорит, ты прочь, а пошли ко мне Аннушку!» Так во мне даже сердце-то все перевернулось!

Ж и в н о в с к и й. Это вы точно правду сказали, матушка Анна Петровна! Я вот сколько уж раз при последних минутах присутствовал — и, однако ж, никак не могу привыкнуть... все, знаете, сердце в груди перевертывается!

И в а н П р о к о ф ь и ч. У тебя оно поди уж наизнанку выворотилось! Что нового, Андрей Николаич?

Л о б а с т о в. Да что, сударь, новенького? В газетах вон все про звезду какую-то пишут.

И в а н П р о к о ф ь и ч. Эта, брат, звезда недаром.

Л о б а с т о в. Шумаркают то же и в народе, да ведь в народе, сами знаете, всегда всякая несообразность ходит.

Ж и в о е д о в а. Вот бы у Прокофья Иваныча спросить: он бы растолковал.

И в а н П р о к о ф ь и ч. Да, брат, он на это мастер... Слыхал ты, как он число 666 толкует?

Ж и в н о в с к и й. Я так думаю, благодетель, что водка дороже будет... вам же лучше!

И в а н П р о к о ф ь и ч. Разрешил!

Л о б а с т о в. Что́ комета-с! вот это получше кометы будет: я уж полковником был, батальоном, сударь, командовал, а князь Семиозерский у маменьки под юпочкой еще квартированье имел, а теперь вот читаю в газетах — произведен, сударь, в генералы! Так это получше кометы будет!

И в а н П р о к о ф ь и ч. Ну, а еще каких производств нет ли?

Л о б а с т о в. Федулов из полковников тоже в генералы произведен.

И в а н П р о к о ф ь и ч. Какой это Федулов? комиссариатский, что ли?

Л о б а с т о в. Тот самый.

И в а н П р о к о ф ь и ч. Ну, этому следует. Хороший человек! Я, сударь, с ним дела имел по поставкам, так именно беспокойства никакого не знал. Что следует отдашь, а уж там зажмуря глаза принимают.

Лобастов. Зато нашего брата, батальонного командира, каким товаром награждают... ай-люли!

Иван Прокофьич. У вас, брат, сойдет!

Живновский. Именно сойдет, благодетель! По служению моему в Белобородовском гусарском полку случалось мне иногда эти вещи принимать — так именно удивляешься только! решето решетом, а сходит! А потому это, я вам доложу, сходит, что пригонка тут важную ролю играет! Живот, знаете, подтянут, там урвут, в другом месте ущипнут, ну и созидают из праха здания!

Иван Прокофьич. Ты, брат, тоже, видно, пригонку-то эту знаешь!

Живновский. Я чего не знаю, благодетель! только не оценил меня князь, а то на что бы ему лучше полицеймейстера! Вы спросите, в каких только я переделках не бывал!

Живоедова. Представь хоть что-нибудь, потешь Ивана Прокофьича за хлеб за соль.

Живновский *(становясь в позицию)*. Слыхали ли вы, например, благодетель, что значит жидов травить? А я, сударь, не только слыхал, но в подробности эту штуку знаю, потому что она мне кровных своих родовых двести душ стоила!

Лобастов. Молодец, брат!

Живновский. А слыхали ли вы, что значит, например, от живого мужа жену увезть... и этак без малейшего с ее стороны согласия? А я, сударь, не только слыхал, но и испытал и даже отдан был за это под суд!

Живоедова. И за дело, сударь! Против желания даму увезти — это уж последнее дело!

Живновский. А слыхали ли вы, что значит купца третьей гильдии, тоже против собственного его желания, телесному наказанию подвергнуть? А я, сударь, подвергнул, и даже не отвечал, потому что купец, по благоразумию своему, согласился взять с меня двести рублей на мировую...

Иван Прокофьич. Дурак, должно быть, купец сыскался. От другого ты и двумя тысячами бы не отъехал.

Живновский. А слыхали ли вы, что значит родного отца в рекруты отдать?..

Лобастов. Ну, брат, заврался! Это происшествие-то ведь известное... не клепли на себя.

Живновский *(не смущаясь)*. Положим-с. А слыхали ли вы?..

Живоедова. Ну, уж перестань лучше, батюшка; ты, пожалуй, такое что брякнешь, что женскому уху и слушать-то не надлежит.

Живновский. И вот, как видите, здрав и невредим предстою пред вами!

Иван Прокофьич. Ну, чай, бока-то помяли тоже?

Живновский. Если уж и помяты бока, то не людьми, а судьбою, Иван Прокофьич! Судьба, это правда, никогда меня не жаловала, и можно сказать, всякое лыко в строку писала... От этого, может быть, и полицеймейстерского места я не получил! *(Крутит усы и вздыхает.)*

Иван Прокофьич. Ты бы поди и здесь травлю завел?

Живновский. Это как богу угодно, Иван Прокофьич!

Лобастов. Нет, ты лучше нам, братец, представь, где ты не перебывал?

Живновский. Это именно так. *(Снова становится в позицию.)* Где-где я не перебывал? Был, сударь, в западных губерниях — там, я вам доложу, насчет женского пола хорошо! такие, сударь, метрески попадались, что только за руку ее возьмешь, так она уж и в таянье обращается! Бывал я и в Малороссии — ну, там насчет фруктов хорошо: такие дыни-арбузы есть, что даже вообразить трудно! Эти хохлы там их вместо хлеба едят, салом закусывают... Бывал и в Петербурге-с — ну, это... именно диковинная штука! Там я скрипача Аполлинари слышал — прежѐстоко играет! Кажется, всякое чувство на одной струне изобразить может!

Живоедова. Вот этакого бы мужа!

Живновский. Только немецкого духу много — этого уж я терпеть не могу! Ходят все съежившись, пальтишко на нем застегнутый — тàк, сударь, страмота какая-то!

Иван Прокофьич. Похвалил!

Живновский. Ну, и обману тоже много: не различишь, который мещанин, который дворянин, который умен, который глуп. Насчет ума, я вам доложу, у них даже фортель такой есть: сядет этак и надуется, даже глазом не моргнет, будто думает... А у самого, сударь, только притворство одно, потому что и заместо головы-то каменоломня у него на плечах! Это верно-с!

Лобастов. Ха-ха-ха! а ведь это правда!

Живновский. А из всех мест нет прохладнее места Нижегородской ярмарки! Чего там только нет! Цыганки, тирольки! в одном углу молебен поют, в другом: «Ой вы уланы!», вавилонское столпотворение в живой картине! Я вам так доложу, что однажды я неделю там прожил, и была ли хоть одна минута, чтобы трезв был!

Иван Прокофьич. И после этакой-то жизни в Крутогорск попал! по купцам ходит, старое платьишко вымаливает!

Ин дай ему, Анна Петровна, сертучишко старый там залежался...

Живновский. Приму с благодарностью-с... всякую лепту приму! Старый чулок пожалуете, и тот приму: к вам же на бумажную фабрику изойдет. Когда ж сертучок-то, матушка Анна Петровна?

Живоедова. Приходи ужо!

Иван Прокофьич. А что, брат, если бы тебя полицеймейстером-то к нам сделали, ведь ты бы нас, кажется, всех живьем так и поел?

Живновский *(крутя усы)*. Гм...

Иван Прокофьич. То-то нравом-то ты больно уж озороват! Ты бы вот потихоньку да полегоньку, так, может, и послал бы бог счастья!

Лобастов. Нас бы и съел.

Все смеются.

Ну вот, слава богу, ты и повеселел маленько, Иван Прокофьич.

Иван Прокофьич. Да этот проходимец хоть мертвого чихать заставит! никаких киятров не надо!

Живновский. Я для благодетеля всем жертвовать готов; хотите попляшу? я по-цыгански отменно плясать умею.

Иван Прокофьич. Ну тебя! еще уморишь, пожалуй!

Живоедова. Ты бы вот лучше стихи, сударь, сказал, шуму меньше!

Живновский. Перезабыл все, сударыня. В старину много тоже приветствий знал, а нынче все испарилось.

Живоедова. Это от водки, сударь.

Иван Прокофьич *(Лобастову)*. Ну, а как у вас с Гаврюшенькой-то?

Лобастов *(махнув рукой)*. Не подается, дружище, не подается...

Живоедова. Да ты бы его, Иван Прокофьич, по-родительски поучил маленько... Ведь шутка сказать, Леночка-то тридцать первый годок все в девичестве да в девичестве...

Иван Прокофьич *(задумчиво)*. Что ж, пожурить можно...

Живновский. А вы меня, благодетель, в ту пору позовите! у меня духом все сделается... у меня, я вам скажу, так это происходит: если начнет малый артачиться, так и за волосяное царство притянуть его можно!

Иван Прокофьич *(с сердцем)*. Да отстань ты, шабала, тут дело говорят!

Живоедова *(вздыхая)*. Чтой-то уж нынче молодые-то

люди словно и на себя не похожи стали: ходят точно обваренные, никакого, то есть, форсу в них нет! Вот как *я* видала мужчин, так коли уж очень влюблен, да завидит женское-то платье... ну, сразу словно даже накинется, сердечный!

Живновский. Ну, точно вы мою жизнь рассказываете, Анна Петровна!

Живоедова. Куда тебе, сударь! *(Вздыхает.)*

Иван Прокофьич. Ну, поглядим... если он тово... так, пожалуй, и пожурить можно!

Лобастов. Уж сделай милость, отец!

Слышен стук экипажа.

Живоедова. Чу, никак, наши подъехали?

СЦЕНА V

Те же, Настасья Ивановна и Леночка Лобастова. Леночка очень длинная, худая и бледная девица.

Настасья Ивановна *(подходя к руке отца)*. Здравствуйте, папенька! Я к вам вот Леночку привезла.

Лобастов *(подводя Леночку)*. Приласкай ты ее, сударь, горькую!.. хошь и не в родстве, а по чувствам... *(махнув рукой)* именно сильное желание есть!

Иван Прокофьич. Здравствуйте, сударыня, дайте взглянуть на себя!

Леночка подходит к руке Ивана Прокофьича и целует ее.

Лобастов *(Леночке)*. Да ты, голубушка, скажи что-нибудь Ивану-то Прокофьичу, ну хоть малость какую-нибудь. *(Ивану Прокофьичу.)* Она, брат, у меня смирная...

Леночка. Bonjour, grand-papa! [1]

Лобастов. Вот умница! *(Гладит ее по голове.)*

Живновский. Смирная жена в дому благоухание разливает — это и в старинных русских сказаниях написано!

Иван Прокофьич. Это ничего... это хорошо, что смирная. *(Леночке.)* Да что ты будто худа, сударыня?

Живоедова. Пройдет, Иван Прокофьич; только бы замуж, так через месяц и не узнаешь ее.

Живновский *(вполголоса Живоедовой)*. Нет, сударыня, уж этакую сухопарую да золотушную никакой муж, хошь гре-

---

[1] Здравствуйте, дедушка!

надер будь, не поправит! Вот кабы этакая кралечка, как наша почтеннейшая Анна Петровна...

Живоедова. Всякому своя, сударь, линия. Вот я хоть и вышла телом, все счастья нет!

Иван Прокофьич *(Леночке)*. Давно ли же ты, сударыня, Гаврилу-то видела?

Леночка. Ах, grand-papa, я к вам с жалобой. Он совсем у нас не бывает!

Иван Прокофьич. Это худо; ты должна его привлечь к себе.

Лобастов. Вот и я то же ей говорю, да уж очень она у меня смирна.

Живоедова. Смирна-смирна, а с мужчинами тоже не мешает иногда и порезвиться, душечка! Они это любят!

Лобастов. Слышишь, душечка! Анна Петровна, тебе добра желаючи, говорит.

Живоедова. Вы бы, голубушка, вот по щечке его потрепали или ущипнули — мужчины это любят!

Живновский. Ну, как ущипнуть, сударыня!

Живоедова. Разумеется, не по-мужицки, а тоже умеючи.

Леночка. Да как же я могу? ведь он мне чужой!

Живновский. Ничего, сударыня, бог милостив! и свой будет! А главное дело, я вам доложу, в мужчине характер переломить надо...

Настасья Ивановна. Вот у меня Семен Семеныч на что благой, а тоже не я в нем, а он во мне заискивает... Потому что коли я захочу да упрусь, так что ж он против этого может сделать?

Живновский. Это правда, сударыня. Вот у меня тоже знакомая дама была, так она как рассердится на супруга своего, так только ножками сучить начнет, ну, и спасует! *(Леночке.)* Это вам в поучение-с...

Иван Прокофьич. Да полно тебе сквернословить-то!.. Ты лучше, Настасья Ивановна, скажи, что у тебя в доме делается?

Настасья Ивановна. Да что делается? скука только одна — хоть бы комета, что ли, поскорей! Вот Семен Семеныч говорит, что война будет... хоть бы уж война, что ли! *(Зевает.)* Да вот еще Семен Семеныч сказывал, что Прокофий Иваныч веру переменить сбирается...

Иван Прокофьич. Как это веру? } Вместе.
Живоедова. Вот новость-то! }

Настасья Ивановна. Да я что-то и не поняла.

Иван Прокофьич. А ты толком говори, сударыня.

Настасья Ивановна. Ах, папенька, ведь вы знаете, как Семен Семеныч говорит скучно... Я с того самого часу, как за него замуж вышла, все зеваю.

Живновский. В малаканы, чай, или в иудействующие записаться хочет?

Лобастов. А я так думаю, что просто бороду обрить задумал... *(В сторону.)* Вот я тебе подпущу, брат, колюбрину́. *(Громко.)* Может быть, от корысти он это делает, Иван Прокофьич, как думает, что ты при конце жизни находишься, так потешу, мол, старика, а там как умрет, опять сермягу надену и лес запущу.

Иван Прокофьич. Ну, он это напрасно.

Живоедова *(смотря в окошко)*. Ах, батюшки! Да, никак, это он и приехал! да какой несообразный!

Настасья Ивановна *(тоже подбегая к окну)*. Представьте себе, в сюртуке!

Леночка. И без бороды.

Лобастов. Как прикажешь, дружище?

СЦЕНА VI

Те же и Баев.

Баев *(входя, останавливается в дверях)*. Прикажешь, что ли, сударь, Прокофья-то Иваныча принять?

Иван Прокофьич молчит.

Полно, сударь! ведь уж гроб у тебя за плечьми стоит, а зла позабыть не можешь, Иван Прокофьич! Ведь от твоего же чрева он плод... пустить, что ли?

Иван Прокофьич *(в раздумье Лобастову)*. Принять, что ли, Андрей Николаич?

Лобастов. Как хочешь, любезный друг!

Живоедова *(Лобастову)*. Да ты что же, сударь, на все стороны егозишь? А ты прямо говори, принимать или нет!

Настасья Ивановна. Охота вам, папенька, со всяким мужиком разговаривать! велите его прогнать, да и все тут.

Баев. Больно уж ты востра, как посмотрю я, сударыня! Прокофий-то Иваныч тебе братец! Так ты чем папыньку-то сомущать, должна бы по-християнски на мир его склонить... Видно, и взаправду, сударыня, светопреставленье приходит... достанется тебе на том свете на орехи!

Настасья Ивановна. Что это, папенька, у вас всякий приказчик наставленья читать смеет! Я Семену Семенычу ска-

жу, что у вас благовоспитанной даме в доме быть неприлично...

Иван Прокофьич. Не тронь ее, Прохорыч!

Баев. Больно они у тебя, сударь, волю с супругом-то взяли! я бы этакую егозу взял бы да, поднявши бы рубашоночку, зелененькою кашкой так бы накормил... право слово бы накормил!

Живновский *(забываясь)*. Молодец, старичина!

Настасья Ивановна. Ну, вы еще что тут? невежа!

Баев. Так вели ты его, сударь, к себе на глазки пустить! Вспомни ты, Иван Прокофьич, давно ли ты сам из звериного-то образа вышел? Давно ли ты палаты-то каменные себе выстроил? Давно ли тебя исправник таскал, да не за волосики, а все за браду: так, стало быть, и у тебя, сударь, борода была!

Иван Прокофьич *(с сердцем)*. Полно врать, дурак!

Настасья Ивановна. Это ужас! Даже слушать тошно!

Баев. Вспомни родителя-то своего! Вспомни, как он, умираючи, тебе наказывал: «Ванька! паче всего браду свою береги!» Не зверь же он был, а человек, да такой еще человек, что, кажется, нынче и не родятся такие-то! Вспомни, ка̀к он жил! Не скобливши лица, так и в гроб лег, да и опояску тоже завсегда ниже пупа опущал!

Леночка. Ах, papa, какие непристойности!

Лобастов. Ничего, душечка, потерпи.

Живоедова. Да уйми ты его, Иван Прокофьич!

Иван Прокофьич молчит.

Баев. Вспомни, сударь, и про супругу свою, Феклисту Семеновну, как она, сердечная, убивалася, когда ты браду-то свою князю власти воздушныя пожертвовал! От этой от прихоти твоей она, может, и в гроб пошла!

Настасья Ивановна *(Леночке)*. Ах, ma chère, какое невежество!

Баев. Каких, сударь, тебе еще примеров надо?

Лобастов. Ты видишь, Прохорыч, что Иван Прокофьич в здоровье слаб.

Живоедова. Да я и не допущу; разве уж через мое грешное тело перейдет Прокофий Иваныч!

Баев. Не блажи, сударыня!

Иван Прокофьич *(взволнованный)*. Прохорыч!.. я теперь... нездоров... право!

Баев. Растопи ты, сударь, свое сердце! ведь он прихоть твою исполнил, нарядился, как ты желал... допусти же ты

его до себя, дай хоть глазки-то свои закрыть родному своему детищу.

Настасья Ивановна. Будто уж, кроме мужика, никто другой и закрыть не может!

Баев. Что хорошего-то будет, как чужие да наемщики только и будут кругом тебя, как владыка небесный к тебе пó душу пошлет! С чем ты, с какими молитвами к нему, к батюшке, на Страшный его суд предстанешь? Куда, скажет, девал ты Прокофья-то? А я, мол, его на наемницу да на блудницу променял!.. А ведь наемники-то, пожалуй, и тело-то твое, корысти ради, лекарю на наругательство продадут!

Настасья Ивановна. Ты ври, да не завирайся, однако!

Баев. Не егози, сударыня, я дело говорю!

Живоедова *(Ивану Прокофьичу)*. Что ж, Иван Прокофьич, коли вы холопу скверному при себе обижать меня позволяете, так, стало быть, я не нужна вам?

Иван Прокофьич. Полно, Прохорыч, перестань!

Баев. Пустить, что ли?

СЦЕНА VII

Те же и Прокофий Иваныч (без бороды и одет в сюртук, впрочем, ниже колен).

Прокофий Иваныч *(показываясь в дверях)*. Батюшка!

Женщины пронзительно вскрикивают.

Живоедова *(загораживая ему дорогу)*. Не пущу! не пущу! переступи ты через мое тело, а не пущу!

Баев. Вели, сударь!

Иван Прокофьич *(в сильном волнении)*. Пусти, Анна Петровна, пущай подойдет!

Живоедова отходит в сторону.

Здравствуй, Прокофий!

Прокофий Иваныч входит робко.

Живоедова. Хоть бы Семен Семеныч пришел!

Настасья Ивановна. Этот Семен Семеныч только об добродетели умеет говорить, а вот как нужно когда, его и с собаками не сыщешь!

Баев *(Прокофью Иванычу)*. Кланяйся, сударь, кланяйся родителю в ножки!

Прокофий Иваныч *(падая в ноги)*. Батюшка! прости ты меня! Согрубил, власть твою великую родительскую преступил.

Живоедова. Поздно спохватился, почтенный!

Баев. Блажен муж, иже и скоты милует, сударыня!

Иван Прокофьич. Я, Прокофий, ничего... я зла на тебе не помню... только чего же ты теперь от меня хочешь?.. да ты встань!

Баев. Ничего, сударь, и поползает перед родителем!

Прокофий Иваныч *(стоя на коленях)*. Я, батюшка, ничего не желаю... я прошу вас, как вы немощны, так позвольте только почаще навещать вас... *(Кланяется в ноги.)*

Настасья Ивановна. Это вы, братец, не худо выдумали.

Иван Прокофьич. Я, брат, не знаю... у меня и в голове что-то мешаться стало... что ж, кажется, это можно? *(Смотрит на присутствующих.)*

Живоедова. При твоих, сударь, немощах... да он тебя, сударь, только из себя выводить станет!

Иван Прокофьич. Только ты, брат, не часто... я нынче уж не тот, брат... скоро вот умирать начну!

Баев. Что ж, Иван Прокофьич! чай, не чужой он тебе человек! Если что и непригожее увидит, как сын простит.

Иван Прокофьич. Да ты встань, брат!

Прокофий Иваныч. Мне, батюшка, не вставать, а помереть бы у ног ваших следовало за все мои грубости!

Иван Прокофьич. Ничего... это дело прошлое! вставай!

Прокофий Иваныч встает.

Настасья Ивановна. Позвольте, братец, посмотреть на вас, как вы изменились... сестрица Мавра Григорьевна, я думаю, вне себя от удовольствия... Вы из Петербурга, конечно, платье свое выписывали?

Баев. Экая ты заноза, сударыня!

Прокофий Иваныч *(кланяясь)*. И не того достоин я, Прохорыч, за мои прегрешения. *(Кланяется отцу.)* Как я в окаянстве своем родительскую волю презрел...

Лобастов *(треплет Прокофья Иваныча по плечу)*. Это ты хорошо сделал, что очувствовался... Поцелуемся, брат!

Прокофий Иваныч. Покорно благодарим, ваше превосходительство.

Целуются.

Ж и в н о в с к и й *(подходя с рюмкой водки)*. За ваше здоровье, Прокофий Иваныч! *(Пьет.)*

И в а н П р о к о ф ь и ч *(сыну)*. Ну, что нового в городу делается?

П р о к о ф и й И в а н ы ч. Мы, батюшка, люди слепенькие; если что и делается, так, можно сказать, мимо нас все проходит... в опчествах больших не бываем... *(Кланяется.)*

И в а н П р о к о ф ь и ч. Ну, как торги?

П р о к о ф и й И в а н ы ч. Какие наши торги-с! Конечно, по милости вашей, насущный хлеб иметь можем-с... платочков да ситчиков рублика на три в день продашь, и будет целковичек на пропитанье...

И в а н П р о к о ф ь и ч. С малых делов к большим привыкают. Я и сам по крупицам, брат, собирал.

П р о к о ф и й И в а н ы ч. Это конечно-с.

И в а н П р о к о ф ь и ч. Как малым доволен будешь, так с большим совладать не мудрость... это первое правило!

П р о к о ф и й И в а н ы ч. Мы вашими милостями много довольны, батюшка... по грехам своим и не того еще заслуживаем!

Б а е в. Кланяйся, сударь!

И в а н П р о к о ф ь и ч. Не нужно! Я, брат, этого не люблю; это все мужицкая привычка... Ну, как Мавра Григорьевна?

П р о к о ф и й И в а н ы ч. Слава богу-с. Сокрушается только, батюшка...

И в а н П р о к о ф ь и ч. Ну, приводи ее как-нибудь... сумеречками... посмотрю я на нее.

Б а е в *(Ивану Прокофьичу)*. За красоту, сударь, за красоту за себя взял!

Ж и в н о в с к и й *(в сторону)*. Да, бабенка лакомая! черт их знает, как эти расколки делают, а прехорошенькие!

И в а н П р о к о ф ь и ч. Слышал, брат, слышал.

П р о к о ф и й И в а н ы ч. Помилуйте, батюшка, какая у нее красота! Конечно, для нас, худых, что называется, по Сеньке и шапка. *(Кланяется.)*

Ж и в о е д о в а *(Ивану Прокофьичу)*. Только где же ты, сударь, эту сенькину шапку принимать будешь? Ведь к тебе господа хорошие ездят, а она поди в телогрее ходит, да и платка-то у ней носового еще не заведено! Ну, как кто ее в хороших-то горницах увидит: «А это, скажет, что, мол, за паневщица?» А это, мол, дочка моя!.. Полно, сударь! только страмиться хочешь на старости лет!

Ж и в н о в с к и й. Это ничего, сударыня. Древние российские царицы завсегда в телогреях ходили...

Живоедова. Так то, сударь, царицы! Ты вот только без ума перебиваешь меня завсегда... *(Ивану Прокофьичу.)* Воля, сударь, твоя, а я ее дальше кухни не пущу!

Иван Прокофьич. Ты, Прокофий, приводи ее сумеречками... *(Вздыхает.)* Я, брат, человек невольный...

Лобастов. А ну, Прокофий Иваныч, выпьем-ка, брат, на радости! *(Подносит ему рюмку водки.)*

Прокофий Иваныч. Помилуйте, ваше превосходительство, мы много довольны... *(Кланяется и не берет.)*

Живновский. А что, видно, претит хлебное! вот она где познается, искренность-то!

Живоедова *(с иронией)*. Уж где ему хлебное вино пить!

Иван Прокофьич. Пей, братец!

Баев. Пей, сударь. Вот и я тоже християнин, а пью же.

Прокофий Иваныч дрожащими руками берет рюмку и выпивает.

Живоедова. Поди, чай, он, отсюда домой пришедши, в баню сходит, чтоб только грех-то с себя этот смыть, что в таком поганом месте был.

Живновский *(Лобастову)*. А это именно доложу я вашему превосходительству, что водка во многих случаях пробный камень. У меня был приятель исправник, так он, бывало, даже для шутки мне показывал: «А хочешь, говорит, посмотреть, который в вере не тверд?» — и подзовет к себе да нальет ему рюмку водки: «Выпей, брат!» Так ни за что не выпьет, хоть вы на куски его режьте!

СЦЕНА VIII

Те же и Фурначев. При виде его Прокофий Иваныч отходит несколько в сторону.

Фурначев. Папеньке честь имею свидетельствовать мое глубочайшее почтение! *(Целует у него руку.)* Как изволите в здоровье своем находиться? Генерал! Елена Андреевна! Анна Петровна! как поживаете? *(Живновскому.)* Здравствуй и ты! Я, папенька, сейчас по дороге встретил вашего домашнего врача, и он мне сообщил утешительную новость, что ваше здоровье удовлетворительно... Дай бог! дай бог! не нужно ни богатств, ни почестей, если человек не пользуется первым благом в жизни — здоровьем!

Настасья Ивановна *(указывая на Прокофья Иваныча)*. Не видишь, что ли? посмотри!

Фурначев. А! и вы, братец, здесь? *(К Ивану Про-*

кофьичу.) Вам, конечно, папенька, неизвестно, что вчера Прокофий Иваныч вас за полтораста тысяч продавал!

Баев. Полно, сударь, врать-то!

Прокофий Иваныч. Помилуйте, ваше высокородие!

Иван Прокофьич. Как продавал?

Фурначев. Точно так-с. Пришел вчерась ко мне и говорит: «Устройте, говорит, так, чтоб тятенька — извините, папенька, это его собственное выражение — духовной не оставлял, так я, говорит, вам полтораста тысяч подарю». Право-с! Я еще с ним поторговался немного, а то бы за сто тысяч продал!

Все смеются.

Иван Прокофьич. Так вот, брат, ты как!

Прокофий Иваныч *(падая в ноги старику)*. Помилуйте, батюшка, никогда этого не бывало!

Фурначев. Мне, папенька, лгать не из чего-с. Я в этих ихних дрязгах по наследству вмешательства не имею. Меня чем бог самого благословил, тем я и доволен, потому что знаю, что ничто так жизнь человеческую не сокращает, как завистливый взгляд на чужое достояние. Что папеньке будет угодно, по милости своей, мне назначить, я всем буду доволен, а если и ничего не назначит, и тут роптать не стану, а пролию печаль мою ко господу, потому что на это власть их родительская... *(Прокофью Иванычу.)* Только мне вот что обидно будет, если, помимо людей достойных, достанется все тебе, который, кроме черной неблагодарности, ничем другим не заплатил за все благодеяния...

Иван Прокофьич. Это ты справедливо, Семен, говоришь.

Фурначев. Кто тебя родил? кто тебя воспитал? кто тебя человеком на свет пустил? И чем же ты заплатил за это? тем, что родителя своего готов на площади с аукционного торга продать! Нет, воля ваша, папенька, а я не могу, не могу его видеть!

Баев. Ах, Прокофий Иваныч, Прокофий Иваныч! как же ты это так родителя-то своего за грошик отдать хотел!

Прокофий Иваныч. Не было этого, батюшка!

Фурначев. Ты говоришь: не было... А кого я вчерашнего числа при Андрее Николаиче уличал? Кого я вчера перед целым светом срамил? Андрей Николаич! говорите, ваше превосходительство! при вас это было?

Лобастов. Не знаю я, сударь; моя изба с краю, что и слышу, так не знаю!

Иван Прокофьич (*иронически*). Так ты, значит, отца своего продать захотел!

Прокофий Иваныч стоит склонив голову.

Так зачем же ты сюда пришел? Если ты в наследники втереться хотел, так ведь это умеючи надо сделать... глуп, брат, ты!

Живоедова. Злость-то в сердце велика, а ума-то вот нет.

Фурначев. Ведь вы то возьмите, папенька, что и дикие — и те к отцам своим уважение имеют!

Лобастов (*указывая на Живновского*). Вот он сказывал, что сам собственноручно отцу своему лоб забрил!

Иван Прокофьич. Господи! да неужто ж и в самом деле вы, как праздника светлого, ждете не дождетесь, пока я издохну? Откупаться мне, что ли, от вас надобно, чтобы вы в глаза мне не смотрели да над душой-то у меня не сидели? Ведь вы, чай, и умереть-то мне порядком не дадите, так тут и передеретесь все... (*Задыхающимся голосом.*) Да отстаньте, отстаньте вы от меня, черти этакие!

Фурначев. Вы, папенька, напрасно себя беспокоите! Человек он внимания не стоящий, а не то чтоб из себя по этому случаю выходить.

Иван Прокофьич. Я вообще, сударь, говорю!

Живновский (*в сторону*). Пиль, Семен!

Иван Прокофьич (*сыну*). Что ж ты стал? (*Замахиваясь на него палкой.*) Вон отсюда! Счастлив твой бог, что я ходить не могу! (*Закашливается.*)

Живновский. Это значит в три шеи, без комплиментов!

Иван Прокофьич. Господи! не поразит же господь громом таких Каинов! Да ступай же ты, аспид ты этакой!

Лобастов. Ступайте, Прокофий Иваныч. Бог милостив, перемелется когда-нибудь...

Живоедова. Ступай, ступай, пока бока целы!

Фурначев. Это тебе урок, любезный! Если бы тебя смолоду учили, ты знал бы, что нет гнуснее порока, как лицемерие и неблагодарность!

Прокофий Иваныч молча уходит.

Баев (*вздыхая*). Видно, и мне на печку идти! Эхма, попутали тебя деньги, Иван Прокофьич! (*Уходит.*)

Занавес опускается.

ДЕЙСТВИЕ IV

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Прокофий Иваныч.
Лобастов.
Фурначев.
Живновский.
Трофим Северьяныч Праздников, выгнанный из службы, за безобразие, приказный.
Живоедова.
Настасья Ивановна.
Баев.
Дмитрий, лакей.
Мавра, горничная.
Лакеи, горничные, сторожа, кучера и проч.

СЦЕНА I

После III действия прошло около недели. Театр представляет небольшую комнату в доме старика Пазухина. Посреди сцены круглый стол, на котором слепо горит сальная свечка. Вход из глубины сцены; направо дверь в спальную Ивана Прокофьича, налево две двери, из которых одна, ближайшая к задней декорации, ведет в каморку Живоедовой, другая в чулан. Поздний вечер. При открытии занавеса на стенных часах бьет девять. Из средней двери выходят Прокофий Иваныч, Баев, Живновский и Праздников. Последний без речей и несколько навеселе. По временам, однако ж, мычит что-то непонятное.

Баев *(осторожно ступая)*. Вы, государи мои, тише. Сейчас, пожалуй, и Живоедиха нахлынет.

Прокофий Иваныч. А ну как да он не умрет, Прохорыч, да найдут нас в чулане?

Баев. Умрет, сударь, умрет. Это я беспременно знаю. Живоедиха уж и Маврушку к Андрею Николаичу спосылала, да спасибо та мне-ка шепнула, а я и велел ей по тебя сходить.

Живновский. Что умрет — это уж будьте покойны... я тому удивляюсь, как он о сю пору духа еще не испустил... крепкий старик!

Баев. Да ты не пяль горла-то! что разорался!

Живновский. Я, Прохорыч, потихоньку.

Баев. То-то потихоньку! Ты вот на него смотри! *(Указывает на Праздникова.)* Он как вот есть божий человек! *(Праздникову.)* Да что, сударь, от тебя будто несет нестройно! Неужто уж на такой-то случай воздержаться не мог?

Праздников мычит.

Живновский. Это он, Прохорыч, на радости... в чаянье за труды посильную мзду получить.

Баев. Да, сударь, уж потрудись. Не равно с ихней стороны обида какая выйдет, так чтоб и свидетели были.

Живновский. Это правильно. В русских обычаях, Прокофий Иваныч, свидетели большую ролю играют. Ни одного хорошего дела без них не совершается: обозвал непристойно — прислушайте, в рожу свиснул — засвидетельствуйте... Везде свидетели-с.

Прокофий Иваныч *(в раздумье)*. Да, может, он уж и помер, Финагеюшка, так в ту пору чем в чулане прятаться, прямо бы законным наследником объявиться...

Баев. Не дело, сударь, говоришь. Живоедиха-то Маврушке наказывала: поди, мол, сначала к Андрею Николаичу, а от него к Семену Семенычу, да скажи, мол, что умирает барин... Так «умирает», а не умер, значит... ты уж только стой да нишкни, сударь!

Прокофий Иваныч. Да ведь зазорно больно, Прохорыч!

Баев. А разве лучше будет, как без тебя-то все добро растащàт?

Живновский. Уж это упаси господи, Прокофий Иваныч!

Баев. У него поди одного платья что напасено! и не увидишь, как растащàт... Ты уж Живоедихе-то дай хоть рубликов пятьдесят... будет с нее!

Прокофий Иваныч. Да, может, и духовная у них написана, Прохорыч!

Баев. Полно, сударь, какая духовная! Иван-от Прокофьич и слова-то этого боится... да опять и слух бы был, что духовную сделали...

Прокофий Иваныч *(Живновскому)*. А ты вот намеднись с ума меня чуть не свел, заверивши про духовную-то!

Живновский. Видел, Прокофий Иваныч, сам своими глазами видел!

Баев. То-то видел! чай, во сне видел!

Прокофий Иваныч. Господи! хошь бы помог бог совершить благополучно!

Живновский. Благополучно лучше всего, Прокофий Иваныч. Это вы хорошо делаете, что бога в помощь призываете: с божьею помощью всякий подвиг легче совершается... вот бы теперь выпить рюмочку, да закусить... эхма!

Баев. Ну, и без закуски постоишь! *(Прокофью Иванычу.)* Так поди ты в темненькую, да поприсутствуйте там сообща...

да ты нишкни, сударь, а то как раз накроют... да замок-от, замок-от изнутри запри!

Слышен шум шагов.

Чу! Идет кто-то!

Пазухин, Живновский и Праздников поспешно прячутся в чулан.

СЦЕНА II

Баев и Живоедова.

Живоедова. Ты как сюда пришел?

Баев. Посмотреть пришел, барина своего проведать пришел... что ж, это не грех, чай!

Живоедова. Много вас тут калек да нищих шатается; только мешают, прости господи!

Баев. Что ж ты, Анна Петровна, нищим меня обзываешь! Вестимо, верой и правдой служил, так и нет ничего... ведь это не грех же, сударыня!

Живоедова *(садясь на стул)*. Да ты уж прости меня, Христа ради, Прохорыч, у меня ништо уж и голова ровно кругом пошла.

Баев. Как соколик-то наш?

Живоедова. Да что соколик! *(В сторону.)* Поди, чай, далеко он теперь! *(Громко.)* Больно уж разнемогся соколик-от; видно, умирать хочет... а все ты же, Прохорыч, со своим с Прокофьем — ну-тка когда удумали старика беспокоить, как он уж на ладан дышать стал.

Баев. Надо ж отца с сыном помирить; грех-то ведь весь от Семена Семеныча пошел.

Живоедова. Господи! что только с нами будет!

Баев. А зачем, сударыня, родителя на сына натравливала... ты бы вот взяла да разорвала его, Прокофья-то Иваныча; ан теперича он тебя разорвет... Духовной-то, видно, не написано, сударыня?

Живоедова. Какая духовная! давеча честью к нему приступала — лежит как деревянный.

Баев. Уж, видно, надо будет за тебя у Прокофья Иваныча попросить.

Живоедова *(встает)*. Посмотреть, что старик делает...

Баев. А я, сударыня, уж на печку пойду, да ты бы хоть за священником послала...

Живоедова *(в сторону)*. Вот привязался, пострел!

(Громко.) Не хочет, Финагеюшка: «Со мной, говорит, уж сколько раз это бывало!»

Баев. Так, сударыня... ну, а как не встанет... ох, господи! уйти, видно, мне от греха...

Живоедова. Уйди, Финагеюшка.

Баев уходит.

СЦЕНА III

Живоедова одна.

Живоедова. Помер! Глянула я давеча в сундук, а там билетов, билетов-то... ужасти! Вот и взяла бы, да куда я с ними денусь? Все равно обыскивать станут, только воровкой еще назовут... Да где еще и деньги-то по ним получать? Конечно, кабы мужское мое дело было, взял бы, наплевал на всех, да и поехал прямо в казну: «Пожалуйте, мол, по билетам денежки», а то к кому я с женскою своею простотой пойду? Еще спросят, пожалуй: где билеты взяла, или вот озорник какой-нибудь привяжется: «Дай, мол, скажет, голубушка, билетики посмотреть!», возьмет да и убежит с ними! Да и грамоте я не бойко умею... вот родители-то каковы были! купцу на грех продать ничего не значит, а грамоте научить — не стало ума! Хоть бы разнес, что ли, с ними господь поскорей.

СЦЕНА IV

Живоедова и Лобастов (приближается на цыпочках; во время сцены дверь из чулана несколько отворяется, и оттуда выглядывает Прокофий Иваныч).

Лобастов. Скончался, сударыня?

Живоедова. Скончался, сударь! Так вот перед вечером спросил, голубчик, покушать, я бульончику подала, он ничего, выпил, да, выпимши-то, вздохнул: «Ой, говорит, Аннушка, словно я умирать хочу!» Я, знаешь, к нему: «Христос, мол, с тобой, Иван Прокофьич!», ан он уж и помер! *(Плачет.)*

Лобастов. Царство небесное, сударыня! Он мухе зла не сделал, сударыня!

Живоедова. Уж какое зло! У него, вот я как тебе, Андрей Николаич, скажу, даже мысли злой в голове никогда не бывало! Все, бывало, думает, как бы облагодетельствовать или добро сотворить... «Аннушка! — говорит, бывало, мне,— не об тленном богатстве, а об душе своей надобно в этом

свете думать! вынь, говорит, гривенничек из ящика нищему брату подать!» Самый, то есть, убогий человек был!

Лобастов. Да! сирот много после себя оставил!

Прокофий Иваныч *(за дверью)*. Стало быть, тятенька-то умер! Что ж, однако, они делать хотят?

Лобастов. А за Семен Семенычем вы послали, сударыня?

Живоедова. Послала, Андрей Николаич, ты ведь и сам так велел.

Лобастов. Это точно; он нам нужен...

Живоедова. Андрей Николаич! я все думаю, что̀, кабы ты сам все это обделал?

Лобастов. А что вы думаете? Решусь! *(Приближается к боковой двери и опять возвращается.)* Нет, сударыня, не могу!

Живоедова. Да отчего не мочь-то?

Лобастов. Грех-с.

Живоедова. Да ведь он обсчитает нас, беспременно обсчитает!

Лобастов. Его и обыскать в ту пору можно, сударыня!

Прокофий Иваныч *(за дверью)*. Да, никак, они родителя-то ограбить хотят?

Лобастов. Вы, сударыня, только не троньте его, пускай он в свои расчеты углубится, а я около того времени подкрадусь к нему тихим манером да двумя пальчиками под мышки... *(Показывает.)* Так он и все тогда опустит!

Прокофий Иваныч. Кто бы вот подумал, что и Андрей Николаич такая же выжига! А впрочем, и то сказать, я же хотел его чарочкой обнести! *(Выходит на сцену.)* Желаю здравствовать, ваше превосходительство.

Живоедова вскрикивает.

Лобастов *(с испуга не узнавая Прокофья Иваныча)*. Ты кто такой? ты кто такой?

Прокофий Иваныч. А я вот насчет тятенькинова здоровья-с узнать пришел.

Лобастов *(узнав Прокофья Иваныча)*. Да как ты смел? да ты знаешь ли, что Иван Прокофьич от тебя, от бездельника, при последних минутах находится? Уморить, что ли, ты его пришел? да тебя, сударь, на каторгу мало! *(Наступает на него.)* Вон отсюда!

Прокофий Иваныч. Да вы, ваше превосходительство, не трудитесь кричать-то! Я, благодаря вашей милости, очень знаю, что тятенька уж померли; стало быть, теперича в эвтим

месте хозяин не вы, а я! Желательно вам, сейчас вас отселева выгоню?

Живоедова. Ах ты господи! в щелку он, что ли, пролез!

Лобастов *(не теряя присутствия духа)*. Что ты врешь! кто тебе сказал, что Иван Прокофьич помер... Вон отсюда! *(Толкает его.)*

Прокофий Иваныч. Зачем врать-с? Да вы не больно прытко-с, не толкайтесь-с... у меня тутотка и свидетели есть-с... Федор Федорыч! Трофим Северьяныч!

Живновский и Праздников выходят из засады.

Живновский. Вот, стало быть, и пригодились, Прокофий Иваныч!.. только раненько вы зрелище-то в ход пустили: вам бы переждать, пока они воровство там свое учинят, да тут бы и перекусить им горло с поличным!

Живоедова *(Лобастову)*. Говорила я тебе, сударь, что богу всякое греховное дело противно! так оно и вышло. *(К публике.)* Шутка сказать, что он задумал! мертвого человека ограбить!

Лобастов *(в смущении)*. Я... я... я ничего тут не понимаю.

Прокофий Иваныч. Тут, ваше превосходительство, и понимать больше нечего, кроме того, как вы все во власти моей состоите... *(Одушевляясь.)* Будет мне теперича кланяться, мы теперича сами при капиталах находимся!

Лобастов делает движение, чтоб уйти.

Нет, ты стой, енарал, в дегтю хвост свой замарал! Так ты меня ограбить хотел? Ты, то есть, жизни лишить меня желал? Чтоб я с женой по миру ходил, у добрых людей копеечку просил да голодным брюхом господа хвалил? Этого, что ли, ты хотел? А кто мне намеднись кланялся да душу свою мне закладывал, только, дескать, над сынком-то родительскую свою власть покажи? нет, ты скажи, ты ли это был?

Живновский. Ай да Прокофий Иваныч! А вы чего, генерал, смотрите! да я бы на вашем месте давно ему в зубы, и в нос, и в щеки, и во всякое место горячих наклал!

Лобастов. Да ведь ты и сам, любезный, мне клялся, да пошел же после того к Семену!..

Прокофий Иваныч. Это нужды нет, что я пошел: я за своим же добром пошел... Ну, да ладно... у вас свои прожекты были, а у меня теперь свой есть... *(К Живоедовой.)* Ты сказывала, что Семен Семеныч воровство-то должен был учинить?

Ж и в о е д о в а. Он, Прокофий Иваныч, он и научил-то всему. Что только с нами будет! Заберут всех нас в полицию, а оттуда на каторгу...

П р о к о ф и й И в а н ы ч. А что, разве не хочется? А ведь куда бы тебе, старая ты ведьма, пристойно было по нижегородке-то пройтись! *(Смотрит на нее пристально; возвысив голос.)* Так я вот как вам скажу: всех я вас отпущаю... может, и часть даже от себя дам...

Ж и в о е д о в а. Уж дай, Прокофий Иваныч, что-нибудь!..

П р о к о ф и й И в а н ы ч. На всех я на вас плюю!.. Вы себе добра хотели — кто добра себе не желает! Ну, и против Андрея Николаича я точно что виноват маленько! Только вот Семен Семеныч — это статья особая! Он меня намеднись с родителем вконец расстроил, так я это помню... Я, сударь, Финагея Прохорыча в бархатный кафтан наряжу, из серебряных стаканов поить буду, бисером пол у него в горнице насыплю, а Семена Семеныча в Сибирь упеку!

Ж и в о е д о в а. И поделом ему, сударь!

Ж и в н о в с к и й. Это вы, Прокофий Иваныч, правильно рассуждаете... *(К публике.)* Удивительно, какое в русском человеке рассуждение здравое! *(К Прокофью Иванычу.)* Да и нас-то, грешных, не забудьте, Прокофий Иваныч... Хошь не бисером, хошь песочком каким-нибудь... серебряным-с...

П р о к о ф и й И в а н ы ч. Никого не забуду! Всех наделю! Хромых, слепых, убогих — всех накормлю! А Семена Семеныча в Сибирь упеку.

Л о б а с т о в *(несколько повеселее)*. Да ты совсем, брат, другой человек стал, почтеннейший Прокофий Иваныч!

П р о к о ф и й И в а н ы ч. Теперича я совсем человек стал другой! теперича я почувствовал, что я со своим с капиталом пользу отечеству принести должен... *(Прохаживается по комнате.)* Прочь с дороги! Потомственный почетный гражданин Прокофий Иванов сын Пазухин идет!

Ж и в о е д о в а *(в сторону)*. Ну, пошел теперь ломаться!

П р о к о ф и й И в а н ы ч. Я так теперича, ваше превосходительство, рассуждаю, что у меня кажинный день с утра до вечера бал здесь будет!.. Мавру Григорьевну в бархаты облачим, коляски с Москвы себе выпишем... только сторонись — задавлю!

Ж и в н о в с к и й. Эх, счастье-то, счастье! как человека-то оно украшает!

П р о к о ф и й И в а н ы ч. А Семена Фурнача упеку! в самую, то есть, в Сибирь, в Туруханск упеку!

Ж и в о е д о в а. Упеки, голубчик, упеки! Он всему злу корень и причина!

Прокофий Иваныч. Только слушайте вы мой план...

В соседней комнате раздаются шаги.

Шш... идет! по местам!

Все прячутся в комнату Живоедовой.

СЦЕНА V

Фурначев (входит бережно).

Фурначев. Кончил праведный муж земное свое обращение! Жил-жил, добродетельные подвиги совершал, капиталы великие сооружал — и что ж осталось? Так, одно мечтание! Вот наша жизнь какова!.. Подобна сну мятежному, можно сказать, или вот плаванью по многоволнистому океану житейскому! Сколько ни употребляй усилий, сколько ни бейся против волн, а все погрузиться в хладное оных лоно придется... Хорошо еще, если кто, подобно почтенному Ивану Прокофьичу, достояние по себе оставляет, и если достояние это в надежные руки исток свой находит, но куда как должно быть прискорбно тому, кто умирает нищ и убог, окружен детьми малыми и гладными! Найдет ли он для себя оценку в потомстве? Рыдающая у гроба жена скажет: «На кого ты меня покинул?» Голодные дети возопиют: «Зачем ты нас на свет произвел?» Посторонние люди скажут: «Кто сей презренный человек, который даже крупицы злата после себя не оставил!..» Страшное зрелище!.. *(Задумывается.)* Не таков был Иван Прокофьич: он именно красота и благолепие дому своему был... Однако пора бы и приступить... Где ж это Анна Петровна? *(Подходит к двери, ведущей в комнату Живоедовой.)* Заперта. Анна Петровна! Анна Петровна!

Ответа нет.

Верно, на кухне... что ж, быть может, это и к лучшему... Можно будет наскоро взять, что следует, да и уйти... Кабы помог бог счастливо! *(Крестится и направляется к спальной Ивана Прокофьича, но вдруг останавливается.)* Странное дело... не могу! даже коленки дрожат, точно вот новичок я... *(Задумывается.)* Помню я время... тогда еще молоденек я был... тоже подобное происшествие было. Умирал тогда покойник батюшка — тоже боялся я, чтобы матушке после него наследство не осталось... В ту пору я бесстрашнее был... вошел, отомкнул сундук и взял... Да что и взял-то! всего и богатства два двугривенных после покойника осталось... А теперь вот миллионами пахнет,

вся будущность, значит, тут разыгрывается, а не могу, ноги дрожат... Фу! что за вздор! Смелей, Семен! *(Вбегает в спальную, но внезапно оттуда возвращается бледный и взволнованный.)* Господи! что это, будто привиделось мне, что старик встал! *(Тяжело дышит.)* Ведь вот, можно сказать, воображение какие фантазии над нами смертными разыгрывает... Господи благослови! *(Входит в спальную и уже не возвращается оттуда.)*

В это время дверь из комнаты Живоедовой потихоньку отворяется.

СЦЕНА VI

Прокофий Иваныч и Лобастов (выходят из комнаты).

Прокофий Иваныч *(говорит за кулисы)*. Вы покедова тамотка в каморке посидите... *(К Лобастову.)* Ну, а мы с тобой побеседуем на свободе: он, чай, там еще не скоро с деньгами-то управится! Надо ему сперва наворовать, да и в порядок еще привести... Только уж если он оттудова благополучно выйдет, да и начнет считать деньги, так ты уж, сделай милость, уважь меня, Андрей Николаич! как сказано, так под мышки-то его двумя пальчиками и возьми... это самая забавная будет штука!

Лобастов. Только прости уж ты Гаврюшу-то!

Прокофий Иваныч. Простить можно. Правда, обижал он меня... ну, да в то время кто надо мной не наругался!

Лобастов. По неопытности, Прокофий Иваныч; молод еще очень, да и прочие поощряли...

Прокофий Иваныч. Да, натерпелся-таки я... Ты возьми то, что Настасья Ивановна за стыд для себя почитала, коли я к руке-то к ее прикоснусь!..

Лобастов. Что говорить, Прокофий Иваныч! все мы грешны перед тобой: такая уж, видно, мода была.

Прокофий Иваныч. А как ты думаешь, Андрей Николаич, ведь славная будет штука, как увидят они, что все их мечтания в прах рассеялись? Ведь у Семена-то Семеныча поди даже глаза лопнут от злости!

Лобастов. Не дай бог никому, Прокофий Иваныч, такое испытание перенести... тяжело, сударь!

Прокофий Иваныч. А что, если б штука-то ваша удалась? ты бы, чай, первый меня обеими ногами залягал в ту пору? *(Смеется.)*

Лобастов. Зачем же ты, сударь, вспоминаешь, коль

скоро уж однажды простил меня? *(Вздыхает. В сторону.)* Да, задал бы я тебе, мужику, трезвону! Господи! чего боялись, то и случилось! все к сиволапу перешло!

Прокофий Иваныч. Я ничего, сударь, я только к слову. Посмотреть хоть в щелочку, что он там делает. *(Осторожно переходит через комнату и смотрит в замочную скважину.)* Ишь как чешет! даже словно глаза кровью налились, и не разбирает, все сподряд в карманы прячет... Вот как жесток человек, что после ведь в грязь именные-то билеты бросить придется, а ему ничего, всё забирает! *(Выпрямляется.)* Пугнуть его, что ли, Андрей Николаич, зарычать этак нечеловеческим голосом?.. Ах, аспид ты этакой! *(Опять смотрит.)*

Лобастов. Нет, не кричи, Прокофий Иваныч, неравно еще умрет со страху! *(В сторону.)* Да, на твоей, сударь, улице праздник! А не будь Баева, надавали бы тоже тебе фухтелей — шелковый бы был! Как человек-то, однако ж, меняется! Вот он за час какой-нибудь сиволап, можно сказать, был, а теперь поди тоже понимает, что потомственный почетный гражданин называется!.. *(Задумывается.)* Ах, Леночка, Леночка! готовил было я для тебя преспективу хорошую, да, видно, богу не угодно!

Прокофий Иваныч. А знаешь, я что, Андрей Николаич, вздумал? Вот он теперь углубился там; чай, воображает, что никто его не видит и не слышит! Ишь ты, аспид ты этакой!

Живновский *(выходя на сцену)*. Прокофий Иваныч! Да нам бы хоть выпить, что ли, дали — тоска берет-с!

Прокофий Иваныч *(вскакивает)*. Да что ты орешь! успеешь еще налопаться! *(Опять наклоняется к скважине.)* Чу! да он послышал, должно быть, убирать уж начал. *(Осторожно переходит сцену.)*

Живновский. Представление начинается!

Все уходят в комнату Живоедовой; сцена несколько времени остается пустою.

СЦЕНА VII

Фурначев *(входит весь красный, покрякивает, переминается с ноги на ногу и несколько раз открывает рот, чтоб говорить, но некоторое время не может)*. Анна Петровна! Анна Петровна! Или мне это почудилось! *(Подходит к двери и пробует, заперта ли она.)* Заперта! Однако как у меня карманы оттопырились, даже безобразно... Теперь, кажется, совершился всей моей жизни подвиг! Еще младенцем будучи, я только о том и мечтал, как бы сделаться человеком достой-

ным и от людей почтенным, но, признаюсь, настоящее приобретение даже все мечты мои превзошло! Мир праху твоему, почтенный муж Иван Прокофьич! много ты постарался! много труда в жизни принял! Возблагодарим создателя нашего, который нас, смертных, разумом одарил. Кабы не он, царь небесный, что же бы мы такое были?.. Однако это скверно, что у меня карманы так оттопырились... да ведь много же и добра-то у старика нашлось! *(Улыбается.)* Я уж клал зря: там дома разберу, которые именные, которые безыменные... А велика сила разума человеческого! Вот у него билеты-то, может, и за номерами по книгам числятся, так мы и это предусмотрели! У нас вот уж две недели племянник родной в отпуску в Москве считается, а поедет-то он туда только сегодня в ночь. В этих делах все предусмотреть, все предугадать надо! Хотелось бы вот теперь же посчитать, ан разум-то запрещает: говорит, что застать кто-нибудь может... И как это счастливо бог привел все кончить: даже Живоедихи нет.

Лобастов в это время незаметно подкрадывается сзади; Прокофий Иваныч и прочие тоже выходят.

СЦЕНА VIII

Фурначев, Лобастов, Прокофий Иваныч, Живновский, Праздников и Живоедова.

Фурначев *(продолжает рассуждать)*. Нет, лучше уйти.

Лобастов *(сзади)*. А позвольте, Семен Семеныч, полюбопытствовать, как велика сумма...

Фурначев *(оборачиваясь, в испуге)*. Ах, страм какой! *(Видит присутствующих и поправляется.)* А, господа, и вы здесь? Ну что̀, как папенька в своем здоровье?

Прокофий Иваныч *(несколько раз кланяясь)*. Мы у вас, Семен Семеныч, хотели об этом узнать, потому как вы сейчас от них вышли...

Фурначев *(в сторону)*. Ах ты, господи, как эти карманы проклятые оттопырились! *(Громко.)* Да... точно... я был у него... он, кажется, почивать изволит.

Прокофий Иваныч *(подходя к Фурначеву)*. Так-с; ну, а тут что у тебя? *(Указывает на задние карманы.)*

Живновский. Да; ноша изрядная; мне бы вот хоть одну бумажоночку за ушко вытянуть!

Фурначев *(Прокофью Иванычу)*. Ты, кажется, забываешься, мужик!

Прокофий Иваныч. Так-с; я мужик — это конечно-с, а ты, сударь, вор!

Фурначев. Как ты смеешь!

Лобастов *(уныло)*. Повинись, брат Семен Семеныч!

Прокофий Иваныч. Ничего, пусть сердце сорвет, не замайте его. *(Фурначеву.)* Так ты, сударь, думал, что ты большой чиновник, так и воровать тебе можно? Так ты, сударь, мертвого ограбить хотел?

Живоедова. Ах, господи! страсти какие!

Прокофий Иваныч. Ты не постыдился даже имя господне призывать... да ты, может, с мертвого и образ-то снял!

Живновский. Прокофий Иваныч! будь благодетель, позволь, сударь, его разложить?

Фурначев. Помилуйте, господа! где я? в каком я обществе нахожусь? Вам во сне мечтанье какое-то приснилось!

Лобастов *(с прежним уныньем)*. Повинись, брат!

Прокофий Иваныч. А вот поглядим, каково мечтанье. Молодцы! обшарьте-ка его!

Живновский и Праздников бросаются на Фурначева.

Живоедова. Стань, стань лучше на коленки, Семен Семеныч! проси у братца прощенья!

Прокофий Иваныч. Шарьте, шарьте его крепче! Вали всё на стол! *(Лобастову.)* Постереги, сударь: тут и Гаврилова часть есть! *(Фурначеву.)* Так ты всем, значит, завладеть захотел? даже участникам-то и пособникам своим уделить пожалел!

Живоедова. Вот бог-то и попутал за это!

Живновский. Вот и ключик тот самый сыскался... Да прикажи ты, сударь, душу на нем отвести?

Прокофий Иваныч *(рассматривая ключ)*. Да, и ключ... искусный мастер делал! да не на тот предмет он пошел, на который бы нужно... а хочешь, полицию призову?

Фурначев *(совершенно растерянный, в сторону)*. Какое, однако ж, неприятное происшествие... *(Вслух.)* Господа!.. вы, пожалуйста... вы оставьте меня... я домой... я ни в каких скверных делах не замаран... я с благими намерениями, на богоугодные дела, в пользу папенькиной же души хотел... сделайте милость...

Живновский. Да прикажи ты, Прокофий Иваныч, хоть на коленки-то его поставить?

Фурначев *(накидываясь в отчаянье на Живновского)*. Да ты что̀! разве это твое дело... я и сам на коленки встать сумею... *(Хочет стать на колени.)*

Прокофий Иваныч *(удерживая его)*. Перестань! на

коленки только перед святым образом да перед родителями становятся... Нет, я за полицией не пошлю, а разделаюсь с тобой домашним порядком... Эй, кто там есть? Анна Петровна! пошли кого-нибудь сюда!

Фурначев. Помилуйте, Прокофий Иваныч, что же вы надо мной делать хотите?

Прокофий Иваныч. А я, сударь, над тобой ту же штуку хочу сделать, которую ты намеднись надо мной сыграл... Я хочу, чтоб и жена твоя, и весь свет чтобы знал, каков ты есть вор и мошенник!

Входит лакей.

Живоедова. Пришел Дмитрий, Прокофий Иваныч.

Прокофий Иваныч *(лакею)*. Дмитрий! Видишь ты этого милостивого государя? *(Указывает на Фурначева.)*

Дмитрий. Вижу, сударь.

Прокофий Иваныч. Узнаешь ты его?

Дмитрий. Как, сударь, не узнать Семен Семеныча!

Прокофий Иваныч. Ну, не узнал, брат... Вчера он был точно Семен Семеныч, а нынче он вор и мошенник: он тятеньку мертвого ограбил... с поличным, брат, изловили!..

Лобастов. Перестань, брат, Прокофий Иваныч!

Фурначев *(в сторону)*. Ах, страм какой!

Живновский. Обозлился старик!

Прокофий Иваныч. Нет, я его, Иуду, сквозь зеленые луга проведу, я всем его отрекомендую... Ну, позови теперь, Дмитрий, Мавру, а сам беги к Настасье Ивановне и к Гавриле Прокофьичу: пожалуйте, мол, наследство получать...

Лакей уходит.

И поселились-то ведь все поблизости, варвары! так вот, чтоб ни минуты не упустить... вороны проклятые!

Мавра *(входит)*. Вам, сударь, что угодно?

Прокофий Иваныч. А знаешь ли ты, Мавруша, этого милостивого государя?

Мавра. Семена-то Семеныча?

Прокофий Иваныч. Так нет же, опозналась ты, Мавруша, не Семен Семеныч он, а вор и мошенник!.. Он тятеньку мертвенького ограбил, да поймали, голубчика, так он вот теперь как крыса и мечется... *(Фурначеву.)* Сладко, что ли?

Фурначев. Коли уж господь наш столько претерпел, так что ж мы такое будем, если с кротостью испытаний судьбы не снесем!

Лобастов. Да уж будет, сударь, с него.

Прокофий Иваныч. Позови, Мавруша, всех: и кучеров позови, и дворников, и сторожей... всех позови!

Живновский. Это, что называется, живого огнем испалить! *(Задумчиво.)* Да, эта манера, пожалуй, еще лучше нашей будет!

Фурначев. Прокофий Иваныч, да что ж это, наконец, такое! я жаловаться буду! *(Хочет уйти.)*

Прокофий Иваныч. Молодцы! придержите его!

Живновский и Праздников бросаются на Фурначева.

Нет, я тебя, сударь, не пущу! Помнишь ты, я к тебе, с простого-то ума, приходил да полтораста тысяч сулил? что ты тогда надо мною сделал? Ты тогда меня спросил: за кого я тебя принимаю, да на позор перед целым светом меня выставил? Так вот знай же теперь, за кого я тебя принимаю!

Комната постепенно наполняется всяким народом.

Православные! видите вы этого аспида? *(Указывает на Фурначева.)* Знайте: он вор и предатель, он старика моего мертвенького ограбил! Вот и ключ от сундука поддельный у него сделан...

СЦЕНА IX

Те же и Настасья Ивановна.

Настасья Ивановна *(вбегает в дезабилье)*. Ах, батюшки! да папенька-то, никак, скончался!

Прокофий Иваныч. Приказал долго жить, сестрица...

Настасья Ивановна. Кому же, кому наследство-то досталось?

Прокофий Иваныч. Мне, сударыня.

Настасья Ивановна. Ну, так я и знала, что этому сиволапу все достанется... Да вы-то чего ж смотрели, Анна Петровна? Вы тоже, верно, с ним заодно!

Лобастов. Нет, сударыня, так уж богу угодно!

Прокофий Иваныч. Ты говоришь: сиволап, сестрица! Оно конечно, руки у меня не бог знает какие чистые, а ты вот послушай теперича, кто муженек-то твой! *(Тащит ее за руку на авансцену к Фурначеву.)* Хорош! А ты знаешь ли, что он отца твоего мертвого ограбил?

Настасья Ивановна. Ах, господи... страм какой!

Фурначев. Господи! твори волю свою! *(Подымает глаза к небу.)*

Прокофий Иваныч. Нет, да ты только представь себе,

Семен Семеныч, кабы тебе штука-то твоя удалась! Вот стоял бы ты теперь в уголку смирнехонько, переминался бы с ножки на ножку да утешался бы, на нас глядя, как мы тутотка убиваемся... Черт ты этакой, ч-ч-е-ерт! Трофим Северьяныч! плюнь, сударь, ему в глаза!

Праздников приближается с полною готовностью.

Лобастов. Да перестань ты, Прокофий Иваныч! *(Удерживает Праздникова, готового выполнить полученное приказание.)*

Прокофий Иваныч. Ну, ин будет с тебя! Я зла не помню! Анна Петровна! принеси бумажки да чернильный снаряд сюда!

Живоедова уходит.

Лобастов. Что ты еще хочешь делать?

Прокофий Иваныч. А мы вот заставим этого подлеца расписаться... Ведь он, пожалуй, тяжбу завтра заведет...

Живоедова приносит бумагу и чернила.

(К Фурначеву.) Вот я как об тебе понимаю: или ты распишись, или я сейчас за полицией пошлю...

Лобастов *(Фурначеву)*. Покорись, сударь!

Настасья Ивановна *(мужу)*. Говорила я тебе, меньше об добродетели распространяйся — вот и вышло по-моему.

Прокофий Иваныч. Пиши!

Фурначеву приносят стул, он садится и пишет.

«Я, нижепоименованный, дал сию подписку добровольно и непринужденно»... а ведь ты бы нас так и съел тут!.. пиши!.. «добровольно и непринужденно в том, что в ночи с двадцать восьмого на двадцать девятое марта ограбил я, посредством фальшивого ключа, достояние тестя моего, Ивана Прокофьича Пазухина, находившегося уже в мертвенном состоянии, в каковом гнусном поступке будучи достаточно изобличен, приношу искреннее в том раскаянье и обещаюсь впредь таковых не замышлять»... Теперь подписывайся... Свидетели! подмахните и вы!

Лобастов и прочие поочередно подходят и подписываются.

Ну, теперь все в порядке!.. Вон отсюда! Православные! расступитесь! дайте дорогу вору и грабителю, статскому советнику господину Фурначеву!

Все расступаются, Семен Семеныч и Настасья Ивановна уходят.

СЦЕНА X

Те же, кроме Фурначевых.

Живоедова. Что ж, сударь! сделай же ты какое-нибудь распоряжение... прикажи своим слугам нового господина величать!

Прокофий Иваныч. Позвать сюда Мавру Григорьевну и Василису Парфентьевну... чтоб всё тамотка бросили и сюда бежали! *(Обращается к присутствующим.)* Эй, вы! слушайте! теперича тятенька скончался, и я теперича всему законный наследник! *(Бьет по билетам, лежащим на столе.)* Все это мое! *(Разводит руками.)* И это мое, и это мое — все мое!

Живоедова *(в сторону)*. Господи! вот как ожесточился человек!

Прокофий Иваныч. Да, да, все мое! Трофим Северьяныч!

Праздников подходит, шатаясь.

Вставай ты завтра чуть свет и катай прямо к каменосечцу! чтобы через неделю памятник был, да такой, чтобы в нос бросилось... с колоннами!

Живновский. Уж позвольте мне, Прокофий Иваныч, надпись сочинить...

Прокофий Иваныч. Сочиняй, братец! да ты смотри, изобрази там добродетели всякие, да и что в надворные, мол, советники представлен был... А теперь пойдем, отдадим честь покойнику!

Живновский *(к публике)*. Господа! представление кончилось! Добродетель... тьфу бишь! порок наказан, а добродетель... да где ж тут добродетель-то! *(К Прокофью Иванычу.)* Прокофий Иваныч! батюшка!

Занавес опускается.

ЯШЕНЬКА

Повесть

I

Яков Федорович Агамонов, с которым я намерен познакомить читателя, живет в собственной своей усадьбе, Агамоновке, вместе с маменькой своей, Натальей Павловной. Во сколько энергична и мужественна натура Натальи Павловны, во столько же мягок и женствен Яков Федорович. Даже усы как-то плохо растут у него над губою, как будто сознавая, что им место не здесь, а над тонкой и несколько резко очерченной губою Натальи Павловны. Хотя именьице, состоящее из двухсот душ, принадлежит собственно Якову Федоровичу, но его не слышно и не видно ни в доме, ни в поле, ни по деревне, а напротив того, повсюду раздается звонкий и несколько грубоватый голос Натальи Павловны. Быть может, по этому-то самому, Яков Федорович, несмотря на свои двадцать пять лет, продолжает быть известным в околотке под детским именем Яшеньки.

Вообще, в Яшеньке есть что-то странное, недоконченное. Сероватый цвет лица, тусклые и как бы изумленные глаза грязно-голубого цвета, осененные белыми ресницами, и светло-русые, почти белые волосы сообщают его физиономии тот характер безличности, который так же болезненно действует на нервного человека, как вид ползущего червяка или пробежавшей мыши. И жесты и речь его отличаются безукоризненною рассудительностью, которая, однако ж, близко граничит с тупостью. В словах его нет ни грамматических ошибок, ни бессмыслицы, которая иногда бывает необходимым следствием желания блеснуть остроумием или красноречием; он говорит вообще правильно и складно, но эта правильность возбуждает тошноту, а складность приводит в отчаяние. Тем не менее,

так как Яшенька единственное дитя Натальи Павловны, то весьма естественно, что она не слышит в нем души, и не только не замечает его маленьких недостатков, но даже полагает, что они составляют украшение ее семейной жизни.

С самого детства Яшенька оказывал чрезвычайную склонность к благонравию и кротости, и хотя не имел быстрых и выспренних способностей, но был всегда прилежен и выучивал задаваемые уроки с большим старанием. В гимназии, куда он был помещен, впрочем, довольно поздно, Яшенька пользовался любовью учителей, а в особенности воспитателей, которые, как известно, в ребенке всего более ценят благонравие и душевную невинность. Он охотно в рекреационное время играл в лошадки с своими маленькими товарищами, но делал это не как сорвиголова, а просто потому, что, по мнению его и по мнению воспитателей, такое занятие вполне соответствует его нежному возрасту. Но еще охотнее предавался чтению детских книг, которых содержание как раз совпадало с складом его ума. Особенно любил он те повести и сказочки, в которых девочки и мальчики, любящие своих родителей, награждаются лакомыми блюдами. Жизнь представлялась его воображению не иначе, как рядом благонравных поступков с прямым их последствием — яблоками, конфектами и пряниками. В этом маленьком мире, который создавала его фантазия, все было гладко, тихо и благонравно. Маша и Петя звали родителей своих не иначе, как «милый папенька» или «милая маменька»; в день ангела они неупустительно писали к ним поздравительные письма; в свободное от уроков время, вместо того чтоб резвиться, рассуждали о прелести добродетели и гнусности порока и т. д. Слог этих писем и рассуждений сильно поразил его мыслящую способность своею необыкновенною текучестью. Он нередко, хотя и с большим усилием, вытверживал их наизусть и все свое самолюбие ставил в том, чтобы хоть когда-нибудь, хоть со временем, достигнуть возможности выражаться с подобною же рассудительностью и плавностью. И надобно отдать ему полную справедливость: он не только достиг этой цели, но даже перешел за пределы ее, потому что остался ребенком не формально только, как большая часть героев детских повестей, а действительно, всею внутреннею своею стороною.

Однако время шло; Яшеньке стукнуло уже девятнадцать лет, и наступила тягостная минута разлуки с стенами гимназии. Оставалось только выбрать дорогу, по которой предстояло совершить то длинное, а иногда и утомительное путешествие, которое называется жизнью. Таких дорог, как известно, имеется две; одна идет направо и называется военною, другая идет

налево и называется штатскою. Есть, правда, и третья дорога, которая идет как раз посередине, но по ней путешествуют мещане и мужики, и, следовательно, ходить по ней не Яшенькино дело: замарает ножки. Яшенька пожелал идти по правой дороге.

— Милая маменька,— сказал он, зрело обсудивши это дело,— я скоро должен оставить гимназию и моих добрых наставников... Смею испрашивать вашего разрешения, по какой дороге прикажете мне идти?

— А как ты сам думаешь, душенька?

— Я думал сначала в университет, милая маменька, но узнал от достоверных людей, что там очень много пьяниц, и потому опасаюсь, чтобы в таком обществе не пострадала моя нравственность...

— Что это, душечка! будто уж и все пьяницы!

— Не все, милая маменька, но весьма много, тогда как в гусарской службе, как я слышал от тех же достоверных людей, служат всё люди, известные своим трезвым поведением...

— Ах, душечка, да ведь там тебя могут убить... подумай об этом!

— Не опасайтесь, милая маменька! я поступлю в такой полк, который никогда в сражениях не бывает... Смею вас уверить, добрая маменька, что я с своей стороны употреблю все усилия, чтобы не огорчить вас потерею сына!

Одним словом, Наталья Павловна не имела сил устоять против желания Яшеньки, и он, немедленно по выходе из гимназии, поступил юнкером в гусарский полк.

Что было бы с Яшенькой, если б он имел возможность продолжать службу, достиг ли бы он известных степеней или, сделавшись забулдыгою, погиб бы во цвете лет от неумеренного употребления пунша? — неизвестно. Дело в том, что спустя три месяца он должен был оставить службу: в это время умер его отец, и Наталья Павловна сочла долгом выписать Яшеньку к себе.

Свидание их было самое трогательное.

— Я буду услаждать каждую минуту вашу! — говорил Яшенька, сжимая в объятиях Наталью Павловну.

Наталья Павловна прослезилась.

— Ах, зачем я еще так молод, что не могу доказать вам на деле, как охотно подвергнул бы себя всем возможным лишениям, чтобы только успокоить вашу старость! — продолжал Яков Федорыч, увлекаясь благородною, великодушно-гусарскою стороной своей роли.

Наталья Павловна зарыдала.

— Маменька! не огорчайтесь! вспомните, что вы христианка! вспомните, что у вас есть сын, которого все благополучие зависит от вас! — снова продолжал Яков Федорыч, уже забыв, что за минуту перед тем он изъявлял намерение успокоить старость своей матери, а не от нее получать успокоение.

— Господи! благодарю тебя! — воскликнула счастливая мать,— Яшенька! ты не оставишь меня! нет, ты не уедешь от меня, друг мой!

— Маменька! я дал себе слово посвятить вам всю мою жизнь, и посвящу ее!

— Яшенька! мой друг! твой отец видит твою жертву и с небеси благословляет тебя!

На другой день, утром, покуда Яшенька спал, весь дом ходил на цыпочках и переговаривался шепотом, а Наталья Павловна в сенях отдавала приказания насчет завтрака и обеда. Наконец Яшенька встал, умылся, помолился богу и облачился в серую шинель.

— Маменька! — сказал он, поздоровавшись с матерью,— позвольте мне разделить ваши заботы по хозяйству!

Наталья Павловна прослезилась.

— Друг мой! — сказала она,— я вижу, что ты меня любишь! возьми в свое распоряжение погреб с винами, но в поле и в деревню я бы тебе ходить не советовала, потому что здоровье у тебя слабое, и ты можешь простудиться!

— Слушаю-с, маменька,— отвечал Яшенька, целуя руку у матери,— позвольте мне, милая маменька, поблагодарить вас за доверенность, которую хотя я и не заслужил еще, но постараюсь заслужить непременно.

И действительно, Яшенька в ту же минуту изъявил желание осмотреть погреб с винами.

— Маменька! мне нужно бы помощника! — сказал он.

— Твой Федька всегда в полном твоем распоряжении, друг мой! — отвечала Наталья Павловна.

Яшенька нашел, что погреб был в большом беспорядке; некоторые бутылки были совсем без этикеток; сорты вин были перемешаны между собой; в нескольких местах бутылки были поставлены в песок не боком, а стоймя и частью даже воткнуты горлышком книзу. Все это он на первый раз поспешил исправить, сколько можно.

— Погреб у вас, милая маменька, прекраснейший,— сказал он, воротившись в дом,— но в большом беспорядке... Я надеюсь, милая маменька, что вы позволите мне приказать взять того человека, который от вас был приставлен к винам, и наказать его на конюшне нагайкой.

Наталью Павловну несколько озадачило это предложение.

Кроме того, что она, в сущности, не была зла и не любила попусту прибегать к исправительным мерам, ее испугало поползновение Яшеньки на некоторую степень самостоятельности.

— Ах, друг мой! — сказала она,— я, право, не знаю! Конечно, Степка виноват, однако ж на первый раз можно бы ему только выговорить. Наказывать, мой друг, необходимо, но тоже зря это делать не годится. Вот ты займешься, приведешь все в порядок, и тогда...

— Маменька, вы ангел, я понимаю, что подданные должны обожать вас! — воскликнул Яшенька,— будьте уверены, что я во всем буду следовать вашим предначертаниям и постараюсь привести свою часть в отличнейший порядок!

И действительно, с этих самых пор никто, кроме Яшеньки, не имел права войти в погреб, в котором он распоряжался как полный хозяин.

II

В неусыпных распоряжениях по погребу протекло для Яшеньки несколько месяцев, в течение которых он был совершенно счастлив. Хотя Наталья Павловна, вообще говоря, была довольна поведением Яшеньки, однако ж, как женщина сметливая, она не могла иногда не задумываться, глядя на него. С одной стороны, как хозяйке и главе дома, ей приходилось чрезвычайно кстати это полнейшее отречение от всяких притязаний на личность; с другой стороны, как мать, она не могла не чувствовать всей несостоятельности подобного существования. И часто, отходя ко сну после дневных забот, она предавалась долгим и мучительным размышлениям об ожидающей Яшеньку судьбе.

— Что-то уж чересчур он у меня смирен,— думала она,— даже занятия себе никакого найти не может, да и говорит как-то скучно...

И перед глазами ее, с изумительною отчетливостью, восставала белесоватая фигура Яшеньки с ее детски рассудительным жестом и детски же ограниченною речью. В ушах ее раздавались даже слова его, но господи! какая тошнота, какая пресность слышалась в этих словах! Как будто из целого лексикона слов он выбрал именно то, что ни для кого не оказалось годным, как будто для него существовал особый синтаксис, который и хорошие, по-видимому, слова посыпал маком и претворял в снотворные.

«Ведь ему, голубчику, не с кем даже слова перемолвить,— продолжала думать Наталья Павловна, беспокойно

поворачиваясь на кровати,— ведь этак и в самом деле зачумеешь от скуки...»

И вслед за тем страшное, но, к сожалению, возможное предположение озаряло ее голову.

— А ну, как он взбунтуется! — говорила она уже вслух,— да отнимет у меня имение?..

Предположение было грозное, потому что имение действительно принадлежало не ей, а Яшеньке, и мысль Натальи Павловны усиленно работала, изыскивая средства к рассеянию Яшеньки и устранению опасности. Но она сама жила в такой ограниченной среде, ее собственный мысленный горизонт был так тесен, что, кроме нового блюда, которое на другой день и подавалось за обедом, она не в силах была придумать ничего, что могло бы придать разнообразие существованию Яшеньки. Правда, являлось и еще одно средство, средство тем более простое, что рано или поздно, по самому существу природы человеческой, нельзя было миновать его... Средством этим была женитьба. Но, боже мой, какая кутерьма поднималась в голове Натальи Павловны при этом слове! Господи! в доме заведется молодая хозяйка... Федька и Павлушка, Машка и Аниска, которые в настоящее время трясутся при одном имени Натальи Павловны, необходимо должны будут раздвоиться в своем трепете... староста Пахом тоже должен будет принять вид Януса... в комнатах, в которых теперь так просторно, вечно будет нечто постороннее... даже в саду, в деревне, в поле — везде будет смерть и теснота! При одной мысли о таких переменах спина Натальи Павловны покрывалась холодным потом, и образ невестки представлялся ей не иначе, как в виде скелета с раскаленными угольями вместо глаз и железными костями вместо пальцев.

— Да ведь этого не избежишь, однако! — шептал ей тайный неприязненный голос,— нельзя же роду Агамоновых угаснуть без следа... да и имение сделается тогда выморочным...

Эта последняя мысль чрезвычайно пугала ее; казалось нестерпимо, несовместно и дико, что вот триста душ, издревле принадлежавших роду Агамоновых, вдруг очутятся между небом и землею, без звания, без имени, в самом, по мнению ее, ужасном положении. И она вновь обращалась мыслью к женитьбе, перебирала всех соседей, отыскивая между ними барышень посмирнее и позолотушнее, но опасение занять в доме второстепенное место все-таки превозмогало все другие расчеты.

— Нет, уж будь что будет, а покуда я жива, не бывать здесь моей злодейке! — говорила она,— вот я умру — тогда пускай живет как знает!

И время шло, не приводя за собой никаких перемен. Но покуда Наталья Павловна сражалась с призраками, Яшенька, ничего не подозревая, продолжал вести свою отшельническую жизнь. Вставши поутру, он отправлялся к месту своего назначения, то есть в погреб, и всегда находил что-нибудь новое, доселе им не замеченное, но тем не менее представляющее обширное поле для дальнейшей деятельности и даже для усовершенствований. Провозившись там часа два, он возвращался домой, завтракал вплотную и отдавал отчет Наталье Павловне в своих занятиях.

— Ну, спасибо, мой друг,— говорила обыкновенно при этом Наталья Павловна,— я очень рада, что тебе со мною не скучно. Ты бы занялся еще чем-нибудь до обеда?

— Я, милая маменька, буду раскладывать пасьянс... Я надеюсь, что не стесню вас в ваших занятиях?

— Ах, что ты, мой друг!.. ты занимайся, не обращай на меня никакого внимания!

Пользуясь этою свободою, он овладевал засаленными картами и начинал раскладывать пасьянс. Не надо, однако ж, думать, чтобы пасьянс служил для него сам по себе целью; напротив того, он видел в нем лишь средство, служившее к разрешению разных волновавших его вопросов и сомнений. Но так как содержание его жизни было до крайности скудно, то весьма естественно, что в воображении его сложилась совершенно особая сфера, в которой за недостатком действительных интересов их место заступили интересы мнимые. Так, например, ему случалось загадывать о том: будет ли он со временем великим полководцем? «Если из трех раз два раза выйдет,— говорил он себе при этом,— то буду; если же нет — стало быть, надо отложить попечение!» Но карты угадывали верно: не быть тебе полководцем! И он не приходил от этого в отчаяние, а только произносил довольно равнодушно: «Не выдрала!» — и принимался гадать на другую тему.

Иногда он воображал себе, что он принц крови и женится на дочери французского короля; все подробности этого сватовства с изумительною точностью обрисовывались в его воображении; он представлял себе даже голубой бархатный, весь облитый золотом мундир, в котором он представлялся к своему будущему тестю. Но карты опять угадывали верно и говорили: «Нет, ты не принц!» И Яшенька опять, не приходя в отчаяние, произносил: «Не выдрала!» — и принимался гадать на то, будет ли он когда-нибудь губернатором?

Таким образом проходило время до обеда; в это время Наталья Павловна возвращалась с поля или из деревни от обычных занятий своих.

— Ну что, Яшенька, занялся ты чем-нибудь сегодня? — спрашивала она, всегда стараясь придать голосу своему ласкающее выражение.

— Как же-с, маменька! Я надеюсь, что когда-нибудь вы удостоите мою часть своим обзором, и уверен, что останетесь вполне мною довольны!

— Ах, душечка, я не о погребе тебя спрашиваю: я уверена, что эта часть у тебя в порядке!

— После занятий моих по устройству погреба я развлекался картами, и смею вас уверить, добрая маменька, что время пролетело для меня незаметно.

Очевидно, Яшеньке прежде всего хотелось успокоить маменьку и заверить ее в том, что ему совсем с нею не скучно. Но это была неправда. Несмотря на бедность внутреннего содержания, которая дает человеку возможность легкого примирения с самою незавидною, самою будничною формою жизни, несмотря на то что, по-видимому, он, по самой природе своей, предназначен был скорее для прозябания, нежели для жизни,— ему было скучно. В нем не могли совершенно смолкнуть те законные требования молодости, которые равно обязательны для всякого существа, носящего человеческий образ, будь он глупый или умный, будь он развитой или неразвитой. Наталья Павловна понимала это и терзалась.

— Тебе, душечка, скучно со мной? — говорила она ему по временам.

Яшенька смущался и краснел при этом вопросе, но не разрешал его прямо.

— Если бы вы, милая маменька,— отвечал он обыкновенно,— удостоили меня своим доверием и поручили мне конный двор?

— Ах, душечка, ты такой слабенький!

— Смею вас уверить, милая маменька, что, служа по кавалерии, я приобрел достаточно опытности, чтобы оправдать ваше милостивое доверие...

— Ах нет, душечка! еще неравно как-нибудь лошадь ушибет! нет, ты лучше отдохни покамест! или вот займись папенькиной библиотекой!

— Слушаю-с, маменька!

Таким образом, вопрос снова устранялся на время; Яшенька принимался за папенькину библиотеку, которая, впрочем, оказывалась составленною из одних календарей различных годов и потому не потребовала больших трудов при разборке. Окончив это поручение, Яшенька вновь погружался в праздность и какое-то болезненное уныние; вновь принимался за карты или по целым часам слонялся взад и вперед по ком-

нате, думая какую-то удивительную думу и по временам улыбаясь.

— Ах, Яшенька, ты решительно скучаешь со мной! — снова приступала Наталья Павловна, и в голосе ее слышалось даже некоторое нетерпение.

— Добрая маменька! — отвечал Яшенька,— если б вам было угодно дозволить мне поохотиться с папенькиным ружьем, то я мог бы застрелить несколько дичи для обеда и тем хотя несколько отблагодарить вас за все ваши благодеяния!

Но Наталья Павловна бледнела, слушая такие слова, потому что в понятиях ее мысль о ружье фаталически смешивалась с мыслью о смерти.

— Друг мой! — говорила она,— я уже исполнила однажды твою прихоть, дозволив тебе вступить в гусарскую службу. Но не требуй, не требуй от меня нового испытания... это слишком тяжело!

При виде такого выражения любви Яшенька спешил успокоить маменьку.

— Успокойтесь, милая маменька! — говорил он,— конечно, я, по неопытности, не могу судить, что для меня прилично и что не прилично, но я дал себе слово всегда руководствоваться вашими благоразумными советами и сдержу его... Я надеюсь, милая маменька, что вы не оставите меня?

И таким образом, все попытки создать какое-нибудь занятие для Яшеньки остались неудачными, и он фаталистически поставлен был в положение человека, которому нет места на жизненном пире.

Однажды, однако ж, Наталья Павловна вошла в комнату Яшеньки как-то особенно весело. На лице у нее было написано нечто замысловатое, и по всему можно было догадываться, что она имеет объявить ему какой-то сюрприз.

— Ну что, дуру́шка, не скучно тебе? — спросила она.

— Я, милая маменька, никогда не могу скучать в вашем обществе!

— А я, душечка, для тебя сюрприз приготовила!

— Позвольте мне, милая маменька, узнать, в чем заключается этот сюрприз. Впрочем, может быть, мне не следует знать об нем прежде времени?

— Я пригласила на завтра нашего нового священника, отца Алексея, к нам на целый день; он будет со своею матушкой... Ты займешь их, душечка, а между тем и сам развлечешься.

Первою мыслью Яшеньки было осведомиться, молода ли и хороша ли собой матушка попадья, но он тут же вспомнил,

как его учили в гимназии, что прежде нежели сказать слово, непременно следует покусать язык, и потому не сказал ничего, а только молча поцеловал у Натальи Павловны руку.

— Да ты, кажется, недоволен, душечка? — сказала Наталья Павловна, зорко следя за выражением его лица и невольно сообщая своему голосу строгое выражение.

— Я, милая маменька, напротив того, употреблю все усилия, чтобы занять дорогих гостей, и мне очень прискорбно, что вам угодно было усомниться в этом!

На другой день действительно явился отец Алексей с своей попадьею. Отец Алексей был молодой священник, и потому охотно украшал свою речь уподоблениями, взятыми из мира нравственного; попадья была также не старее двадцати лет, но не имела никакой характеристической особенности, кроме того, что застенчиво вертела в руках клетчатый носовой платок.

— Ну, Яшенька, покажи дорогим гостям *твою* усадьбу! — сказала Наталья Павловна после взаимных приветствий.

— Любовались, сударыня, еще издали любовались на ваше жилище,— отозвался отец Алексей, вынимая из бокового кармана носовой платок и отирая им пот на лице,— по здешнему месту, можно прямо сказать, никто супротив вас относительно благолепия сравниться не может. Храмина добрая и жителя доброго возвещает...

Попадья хотя ничего от себя не присовокупила, однако улыбнулась.

— Да; я, благодаря бога, на этот счет очень счастлива,— сказала Наталья Павловна, вздохнув и окидывая, через окно, взором окрестность,— все у меня есть...

— У хозяина, пекущегося не об одном только настоящем дне, но и о днех грядущих, все преизбыточествует, сударыня! земля рождает сторицею, житницы исполняются всяким благоволением, самые домочадцы и рабы расплождаются во множестве...

— Это правда, батюшка; бог любит труды; я вот про себя скажу: никогда я не бываю так счастлива, никогда совесть моя не бывает так спокойна, как в то время, когда я тружусь... так, знаете, и колышется там все...

Наталья Павловна показала рукою на грудь и несколько даже прослезилась при этом.

— Так поди же, друг мой,— продолжала она, обращаясь к Яшеньке,— покажи дорогим гостям *твою* усадьбу... вы у меня именно дорогие гости, батюшка с матушкой; я с светскими удовольствиями давно распростилась... вот божественное — это по мне!

Яшенька, как и следовало ожидать, прежде всего повел гостей в погреб с винами.

— Я должен вас предупредить, батюшка,— сказал он, заметно конфузясь,— когда я прибыл к маменьке в дом, погреб этот был в самом ужасном беспорядке... Все, что вы здесь ни видите, все это заведено уже мною.

— Порядок в жизни едва ли не главное мерило, по которому мы можем судить о достоинствах человека,— отвечал отец Алексей,— без порядка всякое человеческое предприятие подобно зданию, на песке построенному.

Матушка улыбнулась и, отвернувшись, для учтивости, в сторону, утерла платком нос. Яшенька подробно объяснил как то, что им уже сделано, так и то, что предполагается сделать на будущее время по устройству винного запаса.

— Теперь, батюшка, пойдемте в сад: вы увидите, как у нас там хорошо! — сказал Яшенька.

И действительно, в саду оказалось очень хорошо.

Яшенька, как учтивый кавалер, сорвал цветок барской спеси, поднес его матушке и затем просил гостей обратить внимание на искусство, с которым подстрижены липки.

— Да; мастер изрядный делал! — отозвался отец Алексей и, обратившись к попадье, прибавил: — Наш с тобой дворец небось похуже этого будет!.. изукрашено как!

Но всего более впечатления произвел поставленный у беседки гипсовый турок, с трубкою в руках.

— Ну что, дурак, что ты тут стоишь! — сказал Яшенька, ласково трепля турка по животу.

Наконец все было осмотрено, кроме конного двора, в который Яшенька не имел входа; гости возвратились в дом, пообедали и в скором времени собрались восвояси.

— Я надеюсь, мой друг, что ты не скучно провел время сегодня? — сказала Наталья Павловна, когда гости ушли.

— Я, милая маменька, всякий знак вашего внимания готов принять как величайшую для меня милость,— отвечал Яшенька, целуя у матери руку.

— Ты, кажется, недоволен? — спросила строго Наталья Павловна, которой показалось, что в лице Яшеньки не выражается достаточно признательности.

Но Яшенька, в сущности, не был ни доволен, ни недоволен: он просто отвык от людей, которых общество, вследствие этой отвычки, скорее составляло для него тягость, нежели развлечение. Он до такой степени сжился с своим одиночеством, что с болезненным нетерпением отзывался на всякий внешний толчок, который пробуждал его от нравственного оцепенения. По

целым часам он ходил по комнате, не имея, по-видимому, никакой мысли, потупив глаза и только изредка улыбаясь.

«Господи! что же с ним будет!» — думала Наталья Павловна, с беспокойством следя за его движениями и убеждаясь, что общество отца Алексея не производило в Яшеньке никакой перемены.

И вот в один прекрасный день светлая мысль озарила ее голову.

— Душенька,— сказала она Яшеньке, когда он пришел пожелать ей доброго утра,— я все думаю, как бы мне рассеять тебя... Не хочешь ли съездить в гости к Табуркиным?

— Если это может доставить вам удовольствие, милая маменька, то я готов исполнить вашу волю во всякое время,— отвечал Яшенька.

III

Табуркины жили неподалеку, всего каких-нибудь в трех верстах. Семейство это состояло из maman Табуркиной, ее сына и двух дочерей, из которых старшей было лет двадцать пять, а младшей около семнадцати. Дом этот в околотке известен был под названием женского монастыря, потому что в нем, кроме женщин, никого нельзя было встретить. Даже Васе Табуркину прислуживали горничные, чему он был с своей стороны очень рад, находя в этом свой расчет. Такое отсутствие мужчин злоречивые соседи приписывали чрезвычайной заботливости maman Табуркиной о репутации ее дочерей, потому что старшая, Мери, имела уже однажды какую-то темную историю, à propos d'un beau raznostchik [1], которому будто бы она предлагала бежать, обвенчаться в соседнем селе и поселиться в хижине на берегу прозрачного ручья. Мери была высокая и стройная брюнетка, с выразительным лицом и еще более выразительной походкой. Сверх того, у Мери были живые карие глаза, которые она постоянно прищуривала под предлогом близорукости, а в самом деле потому, что была уверена, что это к ней идет. Что касается до второй дочери, Aimée, то хотя ей уже было около семнадцати лет, но maman Табуркина решила до последней крайности держать ее в панталонцах, дабы через это заявить всем женихам, что взоры их должны быть исключительно обращены на Мери. Aimée была недурна собой и лицом напоминала Мери, но положение ее было незавидное. Быть осужденною ходить в панталонцах

[1] с одним красивым разносчиком.

до тех пор, пока старшая сестра не выйдет замуж,— воля ваша, это невыносимо. Maman Табуркина сознавала это и неоднократно покушалась даже выпустить запас, который, на всякий случай, был всегда оставляем в платьях Aimée, но едва отдавала она соответствующее приказание, как Мери приходила в неистовство и положительно требовала отмены его.

— Вы, конечно, хотите показать целому свету, что я уж перезрелая дева! — говорила она,— в таком случае позвольте мне самой о себе позаботиться!

И так как maman Табуркина очень хорошо понимала, что значит фраза «самой о себе позаботиться» (ибо история с разносчиком была всегда у нее в памяти), то приказание отменялось, и Aimée по-прежнему насильственным образом обращалась в детство.

Затем остается сказать несколько слов о Васе. Это был красивый, румяный и видный молодой человек, которого все усилия были направлены к тому, чтобы блеснуть перед соседями и даже перед крестьянами щегольским и отчасти невиданным покроем своего платья. Преимущественно любил он кучерской костюм, и, конечно, не было в мире человека счастливее Васи в те минуты, когда, надев бархатную поддевку без рукавов, в шелковой красной рубахе с косым воротником и в бархатных штанах, он прохаживался по селу, заломив набекрень поярковую шляпу, украшенную разноцветными павлиньими перьями. В эти минуты он отнюдь не сомневался, что он ямщик, что вот-вот отпрег измученных коней, получил на водку от седоков и теперь имеет полное право шататься по селу и балагурить с деревенскими бабами и девками. Что убеждение это было в нем искренно,— это доказывается тем, что кучеру Алехе дозволялось в это время называть барина не Васильем Петровичем, а просто Васюткой, и даже прогуливаться с ним под руку по деревне, представляя двух подгулявших ямщиков. Другая также весьма сильная слабость Васи Табуркина заключалась в том, что он был совершенно уверен в магическом действии своей особы на женский пол. Не говоря уже о горничных, которые, по его мнению, должны были все сгорать от любви по нем, ни одна женщина не могла устоять перед его бархатною поддевкою и перед взором его карих глаз. Встанет он, бывало, поутру, зачешет в кружок волосы и в бархатной-то поддевке, поджав руки фертом, вытянется во весь рост у окошка, покуда крестьянские бабы и девки проходят мимо на барщину.

— Не уйдешь! — говорит он сам себе, заметив какую-нибудь смазливенькую девчонку, которая, завидев барчонка, торопливо закрывает косынкой свое личико. И, довольный

произведенным эффектом, он отправляется по деревне, преимущественно норовя пройти мимо усадьбы старого майора Дулебова, который, с двумя пожилыми дочерьми, жил в полуверсте от Табуркиных. Вася был уверен, что барышни Дулебовы, завидев его, уже стоят где-нибудь у окна и, спрятавшись за занавеской, рассуждают между собой: «Ах, какой прелестный молодой мужчина!» И хотя барышни были старые, безобразные и злые, но Вася забывал это и увлекался только действием, которое должна была произвести на них его бархатная поддевка.

В такое-то семейство должен был явиться Яшенька. Когда maman Табуркина получила от Натальи Павловны письменное о том извещение, то не обнаружила при этом своих чувств ни словом, ни движением, а только взглянула на Мери, и последняя не только поняла этот взгляд, но в ту же минуту инстинктивно оправила сзади платье.

— У молодого Агамонова триста душ... незаложенных,— сказала Прасковья Семеновна, задумчиво блуждая взорами.

Мери еще раз оправила платье и встряхнула головкой.

— И мужички послушные... не то, что у нас! — продолжала Прасковья Семеновна, вздыхая.

Мери с горячностью бросилась целовать maman, и разговор был этим закончен.

Но Наталья Павловна совсем не равнодушно расставалась с своим детищем. Она несколько раз уже раскаивалась в своей слишком быстрой решимости, несколько раз даже порывалась отказаться от своих слов, но какая-то совершенно некстати проснувшаяся совестливость удержала ее. Тем не менее беспокойство ее высказалось ясно во всех мелочах и подробностях, касавшихся поездки Яшеньки. Еще накануне его отъезда она лично осмотрела беговые дрожки, на которых он пожелал совершить путешествие, и несколько раз призывала к себе кучера Митьку, наказывая ему, чтоб осторожнее ехал по мостам.

— Смотри же, Яшенька, не запаздывай, друг мой,— говорила она сыну,— ты знаешь, какие тут по дороге мосты...

Но на другой день такая несносная тоска начала сосать ее сердце, что она решилась лично сопровождать Яшеньку.

— Позвольте мне, Прасковья Семеновна, рекомендовать вам моего Яшеньку! — сказала Наталья Павловна maman Табуркиной, держа Яшеньку за руку и представляя его,— надеюсь, что вы его полюбите...

— Смею думать, сударыня,— проговорил, в свою очередь, Яшенька,— что вы не откажете мне в своем расположении, в котором я, по неопытности, весьма еще нуждаюсь...

— Очень рада,— отвечала Прасковья Семеновна,— мой Базиль будет очень доволен, что найдет в вас приятного товарища... Базиль! Мери!

— Сейчас, maman! — отвечал из соседней комнаты женский голос.

— А я не решилась доверить моего Яшеньку Митьке,— продолжала Наталья Павловна,— и собралась к вам сама... Он у меня еще такой неопытный, а у нас эти мосты — того и гляди, что экипаж набок повалится!

— Хотя я и служил по кавалерии,— вступился Яшенька,— но не могу не благодарить вас, милая маменька, за ваши родительские обо мне попечения...

Он почтительно поцеловал руку Натальи Павловны. В это время, подпрыгивая и танцуя, вбежали в комнату Базиль и Мери; на Базиле был обычный его костюм, то есть бархатная поддевка и шелковая красная рубаха; что же касается до Мери, то, несмотря на летнее время, она была в синем шелковом платье, а голова ее была вся усеяна мелкими букольками.

— Марья Петровна! позвольте мне представить вам моего Яшеньку! — сказала Наталья Павловна, поцеловавши Мери,— и вы, Василий Петрович, надеюсь, не откажетесь составить компанию молодому человеку!

— Я надеюсь, сударыня,— проговорил Яшенька, расшаркиваясь перед Мери,— что вы не откажете мне в расположении, в котором я, по неопытности, весьма еще нуждаюсь... Я надеюсь также, что и вы, Василий Петрович...

Яшенька замялся, покраснел и в смущенье начал пощипывать свои усы, единственное преимущество, которое он приобрел короткою своею службою в кавалерии.

— Ах, Наталья Павловна! вы знаете, как мы вас любим! — отвечала Мери очень развязно и потом, прищурившись, осмотрела Яшеньку с ног до головы.

— Вы уж сделайте одолженье, займите его,— продолжала Наталья Павловна,— он у меня все как-то скучает!

— Позвольте мне доложить вам, милая маменька,— отозвался Яшенька,— что, обладая такою попечительною матерью, я не имею никакого права скучать.

— Мы пойдем в сад... не правда ли, мсьё Жак? — сказала Мери.

Яшенька вопросительно взглянул на мать.

— Что ж, душечка, ты можешь идти,— отозвалась Наталья Павловна,— для тебя это даже здорово...

— Сударыня! я совершенно в вашем распоряжении! — отвечал Яшенька.

— Ах, Прасковья Семеновна, вы не поверите, как я счастлива! — сказала Наталья Павловна, когда молодые люди вышли из комнаты,— мой Яшенька меня так любит, так любит, что я даже не знаю, чем заслужила такое счастие!

— Это очень приятно! — отвечала Прасковья Семеновна.

— Поверите ли, иногда мы целый день вместе сидим и всё друг на друга глядим... Никто даже не скажет со стороны, чтоб это были мать и сын... даже ни слова не скажем друг другу... всё глядим!

— Это в наше время большая редкость!

— И уж так покорен, так покорен, что даже выйти не может из комнаты, не сказавши наперед мне...

— Скажите пожалуйста!

— Да; я могу сказать, что бог наградил меня в этом сыне... Одно только тревожит меня, Прасковья Семеновна: мне кажется, что он недолговечен!

— Отчего же! напротив того, я нахожу, что у Якова Федорыча отличнейший цвет лица...

— Ах нет, Прасковья Семеновна! этот цвет лица ужасно как обманчив... Я чувствую, что он недолговечен.

— Я не знаю... мне кажется, что у Якова Федорыча и выражение лица... одним словом, ничто не предвещает близкого несчастия...

— Нет!.. я чувствую! я это чувствую, что скоро должна буду расстаться с ним!

Но между тем как Наталья Павловна преждевременно хоронила Яшеньку, в саду шла беседа совершенно иного рода.

— Как вы находите мой костюм? — спросил Яшеньку Базиль,— не правда ли, очень удобно?

— Да-с, со стороны удобства, я полагаю, что действительно он большого беспокойства не составляет,— ответил Яшенька.

— И главное, то хорошо, что я как две капли воды на ямщика похож! — продолжал Базиль,— знаете ли что? сшейте-ка и вы себе такую поддевку, и будем вместе пьяных ямщиков представлять!

— Я с большим удовольствием; я думаю, что маменьке будет угодно позволить мне...

— А вы еще до сих пор у маменьки позволения спрашиваете? Слышишь, Мери? Ну, а если маменька не позволит вам?

Яшенька ужасно покраснел и не знал, что ответить, потому что подобного рода вопрос еще никогда не представлялся его воображению.

— Знаете ли что, Яшенька? — снова начал Базиль,— я

вам должен сказать, что это ужасно подло всякий раз у маменьки позволения спрашивать... Не правда ли, Мери?

— Ах, Базиль, можно ли так откровенно выражаться!

— Ведь этак ни одна порядочная девушка ни за какие блага в свете не захочет выйти за вас замуж... Я уверен, например, что Мери вам непременно откажет, если вы вздумаете за нее посвататься...

Яшенька покраснел до ушей и решительно сбился с толку. Положение его было совершенно ново; с одной стороны, он чувствовал, что тут есть что-то неладное, что над ним как будто смеются, а с другой стороны, думал и то, что, быть может, в большом свете и всегда таким образом действуют.

— Вы меня извините, Яшенька! — сказал между тем Табуркин,— я вас покамест оставлю, потому что в это время я задаю лошадям овес, а это у меня прежде всего... Лошадь езды не боится, только овсом ты ее не обижай...

Хотя Табуркины уже и по слуху знали о странных отношениях молодого Агамонова к матери, но, увидевши его собственными глазами, убедились, что все самые смелые предположения их были ничто в сравнении с действительностью. Поэтому-то они решились не церемониться с ним и действовать на него, так сказать, одним механическим давлением, без особенных издержек со стороны изобретательности и остроумия.

— Вы занимаетесь чем-нибудь дома, мсьё? — спросила Мери, слегка приподнимая платье и выказывая вышитую юбку и из-за нее стройную и узенькую ножку.

— Как же-с, маменьке угодно было поручить мне погреб, и сверх того, я разбирал папенькину библиотеку...

— А правда ли, мсьё, что ваша maman сама своими руками людей бьет?

— Это совершенная ложь-с; конечно, маменька иногда бывает вынуждена наказывать тех, которые нерадением или неохотным исполнением своих обязанностей навлекают на себя ее гнев, но ведь без этого в хозяйстве невозможно-с! однако и тут она действует с величайшею осмотрительностью...

— Скажите, мсьё... вам, должно быть, очень скучно?

— Никак нет-с; конечно, нынешние занятия мои не разнообразны, но я надеюсь, что маменьке со временем угодно будет доверить мне также конный двор, и тогда на мне будет лежать даже слишком много обязанностей, чтобы я хотя на минуту мог оставаться праздным.

— Скажите, пожалуйста... думали ли вы когда-нибудь... о женитьбе?

— Никак нет-с...

— И вы никого не любили?

Яшенька покраснел и потупил глаза; взор его случайно упал на ножку Мери, и неизвестно почему, все предметы внезапно закружились перед ним и самый воздух получил радужные цвета.

— Дайте мне руку, я устала,— сказала Мери утомленным голосом, смотря на него пристально,— пойдемте, сядемте на скамейку.

Яшенька подал руку и ощутил, что какое-то странное чувство вдруг хлынуло в его грудь, то расширяя, то стесняя ее. То чувствовал он порывы безотчетной веселости, и даже неудержимого, светлого смеха, который овладевал всем его существом, то вслед за этим смехом подкрадывалась тоска и так сосала, так сосала его сердце!..

— Но если вы намерены жениться,— продолжала Мери, севши на скамейку,— то должны совершенно изменить свои привычки, свой образ жизни...

Яшенька молчал.

«Господи! как он глуп!» — подумала Мери и продолжала вслух: — Потому что, согласитесь сами, никакая порядочная женщина не захочет похоронить себя в деревне, а еще менее во всем подчиниться вашей maman...

— Я не знаю, Марья Петровна, верно, какой-нибудь злой человек оклеветал перед вами маменьку,— сказал Яшенька слабым голосом.

— Все это может быть; но согласитесь, однако ж, что ваша maman так дурно образована, она так странно говорит... Неужели же вы думаете, что порядочная женщина согласится быть в ее обществе?

Сказав это, Мери еще больше выдвинула вперед свою маленькую ножку и посмотрела на Яшеньку такими влажными глазами, что он на минуту возненавидел и Наталью Павловну, и свою скверную робость, и этот бесцветный, этот длинный и безрадостный ряд дней, который он имел несчастие называть своим прошедшим.

И бог знает, чем бы кончилась эта сцена, если бы в это самое время не послышался с балкона голос maman Табуркиной, призывавший Мери к обеду.

IV

Возвращаясь вечером домой, Яшенька был угрюм и сосредоточен. Напрасно Наталья Павловна обращала внимание его на хлеба, дремавшие по сторонам; напрасно, прислушавшись к громкому и порывистому дерганью коростеля, спрашивала:

«Никак, это дергач кричит?» Яшенька упорно и как-то озлобленно молчал.

— Да ты не болен ли, друг мой? — решилась наконец спросить Наталья Павловна.

При этом вопросе странная идея внезапно озарила голову Яшеньки. Ему вдруг, неизвестно с чего, представилось, что перед ним сидит женщина, которая называется его матерью, что эта женщина, однако ж, величайшая из эгоисток, заедает его век, не дает ему ни в чем воли и насильственным образом ограничивает его возраст младенчеством. Ему вспомнились все обиды, все огорчения, которые он перенес в течение последних четырех-пяти лет и которые, до настоящего случая, не волновали его, а только механически нарастали в его сердце. Тогда-то маменька отказала ему в заведовании конным двором, тогда-то не пустила гулять в деревню, ссылаясь на сырую погоду, тогда-то не согласилась на его просьбу заколоть на жаркое откормленного индюка под предлогом, что индюк этот откормлен на продажу и жирно будет, если сами будем таких индюков есть... Все эти обиды, соединенные в один длинный ряд, действительно представляли нечто безобразное. «Если б она в самом деле любила меня,— думал он,— то, конечно, не отказала бы мне в таком вздоре, как индюк!» И должно полагать, что много горечи накопилось на дне смиренной души его, потому что он тут же решился слегка протестовать. Но так как он еще был неопытен в этом деле, то протест его, на первый раз, ограничился тем, что он как-то нелепо скривил свой рот и на вопрос матери с насильственным нахальством отвечал:

— Я думаю, что вам все равно, болен ли я или нет... да! именно все равно!

Сказав это, он повернулся на месте и огляделся кругом, как будто хотел сказать: «Посмотрите, messieurs et mesdames, каков я молодец!» Но зрителей, по счастию, не было, а видел это только светлый месяц, да и тому стало как будто вчуже стыдно, потому что он в ту же минуту скрылся за облако.

Наталья Павловна поняла, что тут есть что-то неладное, но затаила про себя свое замечание.

— Ну, как хочешь! — сказала она.

Но по мере того, как экипаж приближался к дому, волнение Яшеньки стихало, а ирония и насильственное нахальство уступали место прежней покорности и смирению, так что когда экипаж остановился у крыльца, то он уже был совершенно тем же кротким и безответным Яшенькой, каким был до отъезда к Табуркиным.

— Позвольте мне, милая маменька,— сказал он, останавливаясь в передней и подходя к руке матери,— позвольте поблагодарить вас за то удовольствие, которым я, по милости вашей, сегодня пользовался.

Наталья Павловна ласково посмотрела на него, потрепала по щеке и, сказавши: «Ах ты, дурýшка мой!», с особенною нежностью поцеловала.

Однако закваска была уже положена; и на другой и на третий день Яшенька был задумчив, и хотя не отступал ни на шаг от прежде принятого порядка, но очевидно тяготился им. Перед глазами его все мелькала бархатная поддевка Базиля, а в ушах раздавались слова его: «Это, наконец, ужасно подло всякий раз у маменьки позволения испрашивать».

«Вот кабы у меня такая поддевка была!» — думал он и в одну счастливую минуту, не откладывая дела в долгий ящик, отправился в комнату к матери и сказал ей:

— Я надеюсь, милая маменька, что вам угодно будет приказать портному Семке сшить для меня такую же поддевку, как у Василия Петровича?

Наталья Павловна посмотрела на него с некоторым изумлением, но потом догадалась, что намеднишняя хмелинка еще не вышла у него из головы, и потому не решилась огорчать его прямым отказом.

— Что это тебе вздумалось? — спросила она.

— Я полагаю, милая маменька, что если я буду иметь хорошее платье, то приобрету через это гораздо более значения в светском обществе...

— Ну, как хочешь!.. только такого бархату вряд ли можно будет скоро достать...

— Я надеюсь, милая маменька, что вам не составит большого труда отправить в город... вместе с откормленным на продажу индюком,— прибавил он колко.

Наталья Павловна вздохнула и немедленно распорядилась послать в город за полубархатом, а вместе с тем приказала индюка заколоть и подать на жаркое.

— Ну вот, мой друг! — сказала она, когда за обедом подали на блюде великолепнейшего из индюков, когда-либо оглашавших воздух своим курлыканьем,— вот ты хотел меня давеча обидеть... сознайся же теперь, что ты был несправедлив ко мне!

— Маменька! — отвечал Яшенька, сконфуженный и растроганный,— позвольте мне доложить вам, что вы примернейшая из матерей!

Через неделю портной Семка принес совсем готовую поддевку и примерил ее на барчонке. Оказалось, что поддевка

была сшита в самый раз и плотно облегала формы Яшеньки; но за всем тем в ней был один порок, который Яшенька не преминул заметить тотчас же. У Базиля поддевка сзади оттопыривалась и представляла приятную округлость, а у Яшеньки она просто висела.

— Это, брат, нехорошо! — сказал Яшенька,— надо, чтоб она оттопыривалась, как у Василия Петровича.

— А на чем же ей оттопыриваться-то! — отвечал Семка угрюмо,— у табуркинского барчонка склад-от женский, так она и оттопыривается... Да и бархат у него на поддевке... настоящий бархат, а не плис!

— Как плис! что ты врешь! разве это плис?

— Так неужто ж бархат!

Семка презрительно улыбнулся, сказав это. Яшенька покраснел; он уже чувствовал, как вдруг вся кровь закипела в его жилах, он сознавал уже себя способным на всякую дерзость; но покуда он шел в маменькину комнату, волнение его постепенно утихало, и в сердце остался только крошечный осадок горечи, который, впрочем, и отозвался в благодарственной его речи к маменьке.

— Позвольте поблагодарить вас, милая маменька,— сказал он, целуя руку у Натальи Павловны,— за прекрасную *плисовую* (тут голос его как будто оборвался и задребезжал) поддевку, которою вам угодно было подарить меня... Я употреблю все усилия, чтобы заслужить эту новую ко мне вашу ласку...

И вместе с тем, как бы опасаясь, чтобы язык его не высказал более, нежели сколько следует, он тотчас же по произнесении этой речи повернулся спиной и удалился из комнаты.

Наталья Павловна, с своей стороны, немедленно потребовала к себе Семку.

— Это ты, каналья, разболтал Яшеньке про плис-то! — сказала она ему.

Но Семка забожился.

— Врешь, подлец, врешь! Я знаю, что Яшеньке никогда и в головку бы не пришло, если б не ты!

И хотя Семка продолжал божиться, но не избег своей участи. Наталья Павловна сама пришла объявить об этом Яшеньке.

— Я, душечка, приказала наказать Семку за то, что он вздумал перемутить нас с тобой,— сказала она.

Но Яшенька не отвечал ни слова; когда же Наталья Павловна вышла из комнаты, то он позвал Федьку, вынул из комода пряник и, отдавая его своему камердинеру, сказал:

— Отдай ты это Семке! скажи ему, что я очень сожалею,

что все это так случилось, а со временем, быть может, вознагражу его...

Этим, может быть, и кончилось бы препинание; но, как на грех, дня через три после этого происшествия приехал в Агамоновку Базиль Табуркин. Базиль приехал в дрожках на лихой тройке, в наборных хомутах, с бубенчиками и колокольцами. Он сам сидел на козлах и правил лошадьми, причем помахивал кнутом, потряхивал вожжами и покачивался из стороны в сторону всем корпусом, как делывали в старые годы молодые рахинские[1] ямщики, которым все, бывало, нипочем. Еще издали завидев его экипаж, Яшенька пожелал иметь подобную же тройку, и некоторое время находился в раздумье, в каком костюме принять гостя: в обыкновенном ли казинетовом пальто или же в новой поддевке. Но, по размышлении, решился надеть поддевку, надеясь, что Базиль не различит плиса от бархата.

«Ах, господи! — подумал он, суетливо облачаясь в новый костюм,— какой-то у нас сегодня обед будет!»

И тут же кстати ему припомнилось, что откормленный индюк уже заколот и съеден и что другой подобной птицы в усадьбе не было.

«Вот маменька-то и права выходит! — подумал он,— кабы не был я так жаден, индюк-то пригодился бы теперь!.. О, боже мой!»

Базиль между тем молодцом соскочил с дрожек; он был в щегольской красной рубахе, перевязанной на желудке золотым поясом, и в прежней бархатной своей поддевке. Яшенька бросился навстречу к нему.

— Какова тройка! нет, вы взгляните, какова тройка! — сказал Базиль, поздоровавшись с Яшенькой,— клянусь честью, один коренник тысячу рублей стоит... да еще и не отдам!

Он подвел Яшеньку к кореннику, с любовью потер последнему переносицу, вследствие чего тот кашлянул и чихнул вместе.

— Нет, да вы отгадайте, сколько мы минут к вам ехали? — спросил Базиль.

Яшенька молчал, но не мог воздержаться, чтоб не вздохнуть и не сказать про себя: «Вот это так жизнь!»

— Д-десять минут! — продолжал Базиль с расстановкой,— да по какой дороге!..— ведь это, стало быть, по три минуты

---

[1] Рахино — станция на с.-петербургско-московском шоссе. Ямщики ее славились дерзким образом мыслей и скорой ездою. *(Прим. М. Е. Салтыкова.)*

на версту! Вы поймите, что ж бы это было, если б на таких-то кониках, да по *саше!*

Базиль очень хорошо знал слово «шоссе», но, однажды навсегда почувствовав в себе призвание быть ямщиком, счел долгом усвоить себе и терминологию этого сословия.

— Да, по *саше* в пять минут бы доехали! — отозвался кучер Алеха, сидевший в пролетке на барском месте.

— Ну, Алеха, ты поезжай на конный двор, и смотри у меня, чтоб лошадям было хорошо! — сказал Базиль,— чтоб овес был «шастанный»... понимаешь!

Тройка сделала круг по двору, и Базиль все время стоял в каком-то сладком самозабвении, не имея силы оторвать глаза от лошадей и постоянно то прищелкивая языком, то облизывая им губы.

— Милости просим в комнаты! — сказал Яшенька.

Тут только Базиль заметил, что на Яшеньке поддевка.

— Ба! да вы тоже сделали себе костюм! — сказал он,— знаете ли, однако ж: я подозреваю, что вы славный малый и из вас выйдет прок!

Яшенька совершенно сконфузился от этой похвалы.

— Маменька меня ужасно как балует,— пролепетал он.

— Только знаете ли что? — продолжал Табуркин,— если вы хотите быть действительно лихим малым, то нельзя ли поменьше упоминать об маменьке... это страшно как отзывается старым архивом!

— Я... помилуйте, Василий Петрович... я очень рад...— отвечал Яшенька смущенный, и вдруг ни с того ни с сего прибавил: — А знаете ли, Василий Петрович, мы с вами сегодня отлично выпьем!

— Браво! вот это прекрасно! если вы будете продолжать вести себя таким образом, то, клянусь честью, вы будете моим другом! Кстати: сестра Мери велела вам кланяться и сказать, что физиономия ваша ей очень понравилась!

Не знаю, что было бы с Яшенькой при таком неожиданном признании, если бы в это время не вошла в комнату Наталья Павловна.

— А я думала, что Прасковья Семеновна сделает мне честь... и вместе с Марьей Петровной! — сказала она несколько сухо, потому что Табуркина приходилась внучатной племянницей статскому советнику Хламидину и на этом основании держала себя относительно соседей довольно строго.

— Maman поручила мне передать вам, многоуважаемая Наталья Павловна, что у нее мигрень... Вы знаете, что она еще в коронацию простудилась, бывши на бале у английского посланника, и с тех пор ужасно страдает.

— Это очень жаль...

— Да, эти дамы... с ними всегда ужаснейшая возня! Вы не поверите, почтеннейшая Наталья Павловна, сколько мне стоит трудов!.. клянусь честью, что зимой,— ведь вам известно, что по зимам мы живем в Москве,— я положительно не знаю, куда деваться от приглашений!

— Это должно быть очень приятно... однако ж, вы меня извините, я должна вас оставить; да вам и свободнее будет с Яшенькой, чем со мною.

Наталья Павловна вышла.

— Пойдемте ко мне в комнату,— сказал Яшенька,— мы с вами там покурим... вы, может быть, думаете, что маменька мне не позволяет курить, так ошибаетесь... маменька у меня прекраснейшая женщина, и я могу курить сколько хочу...

— Пойдемте... но я вас предупреждаю, что могу курить только тютюн...

— Гм... тютюн... так уж я, право, не знаю... Маменьке очень этот запах противен... еще намеднись кучера Митьку высекли за то, что он тютюн курил...

— Ну, в таком случае, мы пойдем в сад, а еще лучше на конюшню!

— Нет, уж лучше в саду... в конюшне еще как-нибудь заронишь, а в саду есть у нас такая беседочка... там мы покурим... и выпьем!

— Ну, и отлично! Я выпить люблю... да нельзя ли пенного? эти виноградные вина, по-моему, только жажду производят... Вы согласны со мной?

Пришли в сад, и Яшенька не утерпел, чтоб не похвастаться перед Базилем и домом и липками.

— Не правда ли, какой у нас отличный дом! — сказал он,— и как хорошо подстрижены липки! о, маменька у меня женщина с отличнейшим вкусом!

— Ну, об маменьке мы поговорим после, а теперь сходите-ка за вином... ах, жаль, что у меня нет с собой гривенника... Вчера последние с Алехой в питейный снес! — а то я непременно дал бы вам медных, и мы в складчину купили себе косушку вина!

— Помилуйте, зачем же... позвольте мне, Василий Петрович, на первый раз на свой счет вас угостить!

— Ну, валяй! я, брат, полюбил тебя, потому что ты славный малый! ты меня извини, что я тебе «ты» говорить буду... я без этого не могу!

Яшенька пошел за вином, но тут же рассудил, что операцию эту надобно совершать умненько. Поэтому он сначала пошел в дом, посмотреть, где маменька, и, узнавши, что она

в своей комнате, заглянул к ней. Цель этой рекогносцировки заключалась в том, чтобы таким образом обделать дело, чтобы сама маменька предложила ему сходить в погреб. Очевидно, что в нем уже сразу обнаружилась замечательная наклонность к лукавству.

— Я надеюсь, милая маменька,— сказал он,— что вам угодно будет сделать распоряжение, чтобы обед был сегодня приличный!

— Ах, Яшенька, неужели я своего дела не знаю?

— Я совершенно уверен, милая маменька, что вам неугодно будет сконфузить меня перед моим товарищем, и пришел к вам единственно как искренно любящий вас сын...

— Ну, хорошо, хорошо, душечка... я знаю, что ты любишь меня... Ступай же, займи гостя...

— Я бы желал еще, бесценная маменька, чтобы у нас было за обедом вино, потому что спрашивал об этом Василия Петровича, и он отвечал, что выпьет с большим удовольствием...

— Ну что ж, сходи в погреб и выбери... только я бы тебе не советовала, друг мой, самому пить: для тебя это не здорово!

— Позвольте мне поблагодарить вас, милая маменька, за ваши родительские попечения обо мне,— сказал Яшенька, целуя у Натальи Павловны руку.

И действительно, он выбрал в погребе четыре бутылки вина, из которых две отдал Федьке отнести в дом, а другие две пронес под полой прямо в сад.

— Вы меня извините, Василий Петрович,— сказал он,— водки у нас нет; зато я принес рому... самого крепкого... знаете, соболевского?

И он поставил обе бутылки на стол.

— Я даже и принес под полой,— продолжал он, детски улыбаясь,— потому что этак как-то приятнее... наш кучер Митька всегда под полой водку носит, а так как вам угодно было изъявить желание, чтобы мы на сегодняшний день были ямщиками, то я...

— Браво! теперь, стало быть, надо только откупорить. Чем же, однако ж, мы откупорим?

Яшенька сконфузился, потому что идти в дом за штопором ему не хотелось, чтобы не возбудить подозрения.

— Я думал, что так... можно бы просто горлышко отбить: у нас в гусарах часто так делывали...

— Что ты, что ты? а посудина-то как же? Ведь за посудину, брат, на разгуляе крючок водки выпить дадут... Ах ты, Аким-простота!

— Так мы, Василий Петрович, пальцем-с...

— Вот это дельно! выпьем! и с этих пор чтоб было у нас все пополам!..

— Слушаю, ваше б-ла-городие! — отвечал Яшенька, представляя ямщика и выпивая прямо из бутылки.

— Отлично! из тебя будет прок! Только уж ты, сделай милость, матерью своей мне не надоедай... что ж ты не пьешь? ты гляди на меня, у меня вот уж целая половина бутылки... фю!

Но Яшенька хотя и немного еще выпил, однако ж сразу опьянел.

— Я кутила,— говорил он,— я, в-ваше б-лагородие, еще в гусарах был известен... я, коли раз сказал, что мы выпьем... и выпьем!

— Так нагруби же ты *ей* сейчас!

— Кому? матери-то?

— Ну да; конечно, ей.

— Что ж, и нагрублю! ты думаешь, что не нагрублю... сейчас пойду и нагрублю!

Но тут Яшенька онемел, вскочил с скамьи и быстро спрятал бутылку под поддевку. Дело в том, что на дорожке, ведущей в беседку, показалась Наталья Павловна, за которой Федька нес на подносе завтрак для молодых господ. Наталья Павловна, увидев помутившиеся глаза Яшеньки, который старался раскрывать их как можно более, сразу поняла, в чем дело.

— Ты пьян? — отрывисто сказала она, побледнев и пристально смотря в глаза сыну.

Яшенька молчал.

— Говори же: ты пьян? — приставала Наталья Павловна.

— Помилуйте, маменька... я ничего... я с Васильем Петровичем так разговариваю! — пролепетал Яшенька.

— Что ж, брат, на попятный двор, кажется! — подзыкнул Базиль,— ну, груби же!

— Я, маменька, вот как на вас смотрю! (Яшенька плюнул.) Я вас, маменька, знать не хочу.

Сказавши это, Яшенька опустился на скамью и горько заплакал.

— Лошадей господину Табуркину! — крикнула Наталья Павловна,— а с тобой, друг мой, я справлюсь!

V

Если б Наталья Павловна имела не столь мужественную натуру и менее резкие и деспотические наклонности, то могла бы из этого происшествия извлечь даже некоторую пользу для

себя: известно, что человек, преступивший в первый раз, всего охотнее поддается раскаянию и что простое слово участия и ласки в таких случаях действует сильнее, нежели самые крутые и жесткие меры. Но Наталья Павловна не понимала и не могла понять это; ее прямой и узкий смысл говорил ей только, что Яшенька провинился и, следовательно, требует наказания за свою вину.

Действительно, было уже темно, когда он проснулся. Он увидел себя в своей комнате, на постели, сам не понимая, каким волшебством совершилась эта перемена. Голова его была тяжела и горяча, глаза горели, и нестерпимая жажда палила внутренности. Он встал с кровати и пошел к двери, но она была заперта снаружи. И тогда воскрес перед ним, во всей наготе, прошедший его день, и он внезапно очутился в положении человека, который накануне сделал подлость, проспал целую ночь и, проснувшись на другой день, сначала подумал, что все это скверный сон, но потом должен был убедиться, что подлость существует действительно и что как ни вертись, а расплачиваться за нее все-таки придется.

Яшенька попробовал, однако ж, постучаться, и действительно, за дверьми послышался шорох.

— Чего изволите? — отвечал заспанный голос Федьки.

— Отопри!

— Маменька не изволили приказать...

— Который час?

— Первый-с.

— Я пить хочу.

— Сейчас я доложу маменьке.

Яшенька с ужасом прислушивался к удаляющимся шагам Федьки.

— Господи! что со мной будет! что со мной будет! — восклицал он в отчаянии.

За дверьми раздалось между тем шарканье Натальи Павловны.

— За то, что ты так дурно вел себя, ты будешь сидеть три дня в своей комнате на хлебе и на воде! — сказала она и, удаляясь, прибавила: — Подать пьяному барину воды!

Опять-таки повторяю: если б Наталья Павловна явилась с лаской и утешением, Яшенька навсегда и искренно подчинился бы ей. Но суровость ее возмутила даже его кроткую душу. Он кстати вспомнил, что ему двадцать пять лет и что, несмотря на это, с ним обращаются как с пятилетним ребенком; что и имение принадлежит ему, и, однако ж, он не только не распоряжается им, но даже не смеет никуда показать носа,

исключая погреба, да и в тот, вероятно, отныне будет заперт для него вход. И опять воскресли перед ним и индюк, и конный двор, и плис на поддевке...

— Да что ж это такое будет! — сказал он; и начал злобно раскидывать по сторонам все, что ни попадалось ему под руку.

Он взглянул в окно; на дворе уже рассветало; багровая полоса с каждой минутой все яснее и яснее обозначалась на востоке; легкий пар поднимался от земли и прозрачною тканью стлался над окрестностью; липки стояли неподвижно, не шевеля ни одним листиком; на наружном подоконнике уже подпрыгивал воробейко, весело чирикая. Но присутствия человека еще не замечалось; не просыпались еще стада, не слышно было рожка пастушьего, не затоплялась еще печка в избе мужичка, и не расстилались по земле белесоватые столбы едкого и горького дыма... Одним словом, это был тот таинственный момент ночи, нечто промежуточное, колеблющееся между тьмою и светом, сном и бдением, о котором никто, даже поселяне, эти фаталистические наблюдатели природы, не имеют ясного понятия.

— Хорошо *там!* — сказал Яшенька, подходя к окну и бессознательно измеряя глазами расстояние, отделявшее окно от земли.

Федька просунул между тем сквозь едва растворенную дверь стакан с водою.

— Что маменька? — спросил Яшенька.

— Почивать легли-с.

«Почивать? — подумал Яшенька,— так вот как она меня любит! Нет, если б она меня любила, она бы глаз сомкнуть не могла, зная, что сын ее находится в таком положении...»

Яшенька несколько раз нетерпеливыми шагами прошелся по комнате.

— Нет! хорошие родители не так поступают! — рассуждал он,— ну да, я был пьян! я был непослушен! Однако ж она *должна* была простить меня... все любящие родители до трех раз прощают!

Мысль эта чрезвычайно заняла его; он столько видел в истории примеров, из которых совершенно ясно следовало, что хорошие родители прибегают к решительным мерам отнюдь не прежде как по троекратном испытании внушений кротости, что поступок Натальи Павловны, решившейся сразу осадить Яшеньку, озлобил его.

— Нет, решено! — сказал он громко,— я не могу, я не должен перенести это!

И действительно, какая-то горькая решимость сверкнула в его глазах; он поспешно надел на себя поддевку, потихоньку отворил окно и выпрыгнул в сад. Совершив этот подвиг, он робко оглянулся назад, но, убедившись, что никто за ним не замечает, пошел далее, перелез через плетень, огораживавший усадьбу, и очутился в поле. Но так была робка его натура, что, даже решившись, по-видимому, расстаться с родною кровлею, он все-таки на каждом шагу колебался, как бы сомневаясь, куда идти, вперед или назад, и если не воротился домой, то этому воспрепятствовало единственно то соображение, что дома, быть может, уже заметили его бегство и, следовательно, наказания все-таки не избежать.

Но куда бежать? Перед мысленным оком Яшеньки вдруг пронеслись все читанные и слышанные им в детстве сказки и повести, в которых действовали разные ненавистники рода человеческого, убегавшие от людей в леса и пещеры и довольствовавшиеся, вместо пищи, лишь кружкою овечьего молока и небольшим количеством румяных плодов (каких именно — неизвестно)... Казалось бы, всего проще последовать примеру этих отшельников, но для этого необходимо было иметь по крайней мере одну овцу, не говоря уже о румяных плодах. Во всем этом оказывался, однако ж, совершенный недочет, а хотя и росли в ближайшем лесу волчьи ягоды, но они, как известно, человеческим родом в пищу не употребляются. Поэтому самые обстоятельства указывали Яшеньке на дом Табуркиных, как на единственно возможное убежище в его критическом положении.

Еще не было четырех часов, когда он пришел к усадьбе Табуркиных. Весь дом был погружен в сон; однако ж одно окно было открыто, и Яшенька издали еще различил Мери, которая, в белом ночном костюме, сидела у окна и курила папироску. Был ли он настроен особенным образом, или же действительно Мери показалась ему обаятельнее в белой ночной кофточке и с зачесанными назад волосами, но, увидев ее, он невольно остановился и врезался в нее глазами. С своей стороны, Мери, казалось, была изумлена появлением постороннего человека, но после минутного колебания, узнав Яшеньку, сделала ему знак рукою.

— Вы как сюда попали? — спросила она, упираясь бюстом в подоконник.

— Я-с... я к Василию Петровичу,— пролепетал Яшенька.

— Хороши вы... напоили его!

— Помилуйте, Марья Петровна, они сами-с!.. впрочем, извините... я, кажется, помешал вам?

Он хотел удалиться, но Мери остановила его.

— Скажите, пожалуйста, вы, верно, поссорились с вашей маменькой? — спросила она.

— Ах, нет-с... я так привык уважать маменьку... я никогда еще не выходил из ее воли, Марья Петровна...

Но тут голос его невольно оборвался.

— Ну, полноте, я вижу, что вы в волнении... я, впрочем, предвидела это... бедный мсьё Жак!

— Марья Петровна! вы не можете себе представить, как она меня тиранила! — произнес Яшенька, поощренный состраданием Мери.

— Да?.. и вы сносили это?

— Сносил, Марья Петровна!.. я все сносил-с! она мне ходу совсем не давала... она все способности у меня загубила... если б не она, я был бы теперь...

Яшенька остановился.

— Чем же вы были бы?

— Я не знаю... я бы всем мог быть! Если бы меня кто-нибудь полюбил и сказал бы мне: Яшенька! будь... сделайся... ах, Марья Петровна.

Яшенька потупился; умственный горизонт его был так сужен, воображение до того притуплено, что он не мог даже придумать никакого желания.

— Бедный мсьё Жак! так вы очень любили бы ту, которая приласкала бы вас? — спросила Мери, улыбаясь и ласково глядя на него.

— Я... я всем бы готов жертвовать, Марья Петровна... Вот я как доложу вам, что если бы...

— Шт... садитесь вот здесь на окно, и будемте говорить хладнокровно,— сказала Мери, замечая, что Яшенька начинает приходить в восторженность.

Яшенька мигом исполнил ее желание. В первый раз в жизни он увидел комнату девушки, в первый раз встретился он лицом к лицу с тою девственной атмосферой, которая кладет свою печать на все, что принадлежит и к чему прикоснется рука любимой особы. В углу стояла чистенькая и не смятая еще кровать ее, на стуле и ширмах развешены были разные принадлежности туалета... Он явственно ощутил, что воздух начинает насыщаться какими-то горячими испарениями, что вокруг него делается как-то знойно и тяжело, что кровь все ближе и ближе подступает к сердцу и голове, что виски у него бьются и в ушах раздается какой-то странный шум...

— Вы отчего же до сих пор не спите? — спросил он как-то отрывисто и грубо.

— Я читала. . у меня бессонница! — отвечала Мери, взглянув на него влажными глазами

— Я хочу к вам в комнату! — продолжал Яшенька.

— Ах нет! мы будем говорить с вами хладнокровно,— сказала Мери,— вы должны мне дать слово, что не сделаете ничего без моего позволения .. Обещаетесь?

— Ну да... обещаюсь ..— сказал он злобно.

— Будемте же говорить... Скажите, если б вы, например, полюбили девушку... без состояния... и захотели бы на ней жениться... вы бы женились?

— Да. . я бы женился...

— Даже если б маменька ваша была против этого?

— Что мне за дело до маменьки!

— Какой храбрый!.. однако ж вы должны понимать, что ни одна порядочная девушка не согласится жить весь свой век в деревне...

— Со мною и в деревне будет хорошо!

— Это так... но ведь наконец и вам прискучит в деревне... я думаю, что с вашим состоянием гораздо лучше можно было бы проводить время в Петербурге...

— Я. . да, я могу жить и в Петербурге ..

— Ну, вот видите! поселились бы мы в Петербурге, стали бы ездить во французский театр... Ах, Жак! какие там актеры есть... особливо Бертон!

— Я задушу его! — отозвался Яшенька, почувствовав внезапный припадок ревности и бешенства.

— О, да вы, кажется, ревнивы! — сказала она, и вдруг, уподобясь шестнадцатилетней невинной девочке, потихоньку захлопала в ладоши: — как это весело! как это весело!

— Марья Петровна! позвольте мне... ручку вашу! — задыхаясь от волнения, произнес Яшенька.

— Да, но только вы... ах, пожалуйста, Жак... нет! не нужно! не нужно!.. Жак! не нужно!

Но Яшенька, почувствовав, что губы его прикасаются к чему-то мягкому, теплому, нежному, почти прозрачному, впился в ее руку со всею энергиею новичка.

— Ах, нет!.. ах, нет!! — говорила Мери, но он не слышал и все страстнее и страстнее целовал руку.

— Тс... кажется, идут! — сказала она.

Яшенька струсил и как обожженный соскочил с окна на землю.

— А вот я и обманула! — продолжала она, смеясь,— однако ж с тобой преопасно!.. я вижу, что надобно разбудить Базиля...

VI

Наталья Павловна еще почивала, когда в доме заметили исчезновение молодого барина. Случай этот, как и следовало ожидать, произвел невыразимую смуту в дворне; все, начиная от ключницы Василисы до девчонки Аришки, состоявшей на побегушках, вздыхали, перешептывались между собой и с ужасом понуривали головы. Камердинер Федька, на которого преимущественно падали все последствия этого происшествия, сначала пришел в отчаяние, но потом махнул рукой и одеревенел Он надел свой лучший нанковый сюртук, заломил набекрень фуражку и начал поступать совершенно так, как бы на дворе стояли уже готовые подводы, чтобы везти его в рекрутское присутствие.

— Что, брат, видно, березовая-то каша не свой брат? — спрашивал его портной Семка, узнавший положительно, в какой степени родства состоит березовая каша провинившемуся дворовому человеку.

— А что! — отвечал Федька хладнокровно,— березовая каша так березовая! нас этим не удивишь!

— Без масла ведь, брат, она!

— Другой резон, кабы в чем ни на есть моя вина была... тогда точно! а что ж без толку-то!

В семь часов, однако ж, барыня проснулась, и гнев ее равнялся только ее удивлению, когда ключница Василиса доложила, что в доме случилась пропажа! Тем не менее она не потеряла головы и тотчас же сделала те самые распоряжения, какие требовались по обстоятельствам.

— Позвать ко мне Федьку! — сказала она,— и сейчас же разослать гонцов по всем дорогам!

Федьку привели.

— Так ты вздумал с барином против меня шашни строить! — сказала она ему,— я тебя пожаловала, а ты вздумал барина против меня смущать!

— Помилуйте, сударыня...

— Молчать!.. так ты вздумал... сейчас же, подлец, говори, куда девался Яшенька?

— Воля ваша, сударыня...

— Молчать!.. отвечай, куда девался Яшенька?

— Я, сударыня, ничего не знаю,— отвечал Федька решительно.

— Так ты не знаешь?

Федька инстинктивно посторонился.

— Так ты не знаешь?

Федька посторонился в другой раз.

В это время на дворе послышался шум и вой. Наталья Павловна взглянула в окно и увидела, что к дому ведут какого-то мужика. Мужик был табуркинский и принес от Яшеньки следующее письмо:

«Милостивая Государыня,

Дражайшая маменька!

Не ищите меня, потому что никогда не найдете, а я скрываюсь в одном отдаленном селении у богатого мужичка, который принял меня в свое семейство. Мне здесь гораздо лучше. потому что никто мне не препятствует, и я совершенно счастлив. Вы же на каждом шагу стесняли меня (не позволяли, например, распоряжаться на конном дворе), а последний ваш поступок со мною принудил меня к моему настоящему поступку, то есть скрыться от вас. А как я имею уже более двадцати пяти лет и первейшее мое желание заключается в том, чтобы иметь потомство, дабы с смертию моею не угас род Агамоновых, то вы не удивитесь, милая маменька, увидев когда-нибудь меня женатым и окруженным детьми. А потому, прося вашего родительского благословения и целуя ваши ручки, остаюсь навсегда всепокорнейший и любящий слуга и сын

Яков Агамонов.

P. S. Не обвиняйте никого в потере сына, милая маменька! И без того довольно жертв».

— Лошадей! — крикнула Наталья Павловна вне себя и через час уже мчалась к Табуркиным.

Едва увидел Яшенька из окна коляску Натальи Павловны, как страшно растерялся. Не дальше как за минуту перед тем он уверял Базиля, что ему всё нипочем, что он готов хоть сейчас проскакать мимо маменькиной усадьбы, сделать какую угодно дебошь и даже нагрубить маменьке на всем скаку.

— А что! — воскликнул Вася,— ведь это, клянусь честью, отличная мысль! я сейчас же велю заложить лошадей!

— Нет, Базиль! — вступилась Мери,— пусть лучше мсьё Жак подождет, что будет!

— Нет, Мери! грубить так грубить! пусть лучше теперь же он докажет старухе...

И вдруг в это самое время на косогоре показалась коляска, столь знакомая Яшеньке.

— Не пускайте, не пускайте ее! — закричал он, вздрогнув всем телом и убегая в сад.

— Знаешь что! выйдем к ней навстречу вместе и наговорим ей дерзостей! — сказал Базиль вслед удаляющемуся Яшеньке.

Но Яшенька уже не слышал; он бежал без оглядки в сад, ощущая те же самые жгучие впечатления, какие чувствует медведь, которому сделали нечаянный сюрприз. Между тем коляска подкатила уже к крыльцу, и Базиль нашелся вынужденным лично встретить Наталью Павловну.

— Здравствуйте, Василий Петрович,— сказала она,— извините меня, что я вас вчера обидела.

— Матушка нездорова,— отвечал Базиль,— она никак не может принять вас, Наталья Павловна.

— Ах, как это жалко!.. что ж, я ее не хочу беспокоить... я посижу с Марьей Петровной...

— Извините, сестра тоже нездорова... она никак не может принять вас...

— Что ж, неужто ж отдохнуть мне в вашем доме нельзя? — спросила Наталья Павловна, язвительно улыбаясь.

— Совершенно невозможно-с.

— Прекрасно!.. Но у вас скрылся мой Яшенька, и я имею, кажется, полное право требовать...

— Сын ваш, Наталья Павловна, *может быть,* действительно находится у меня в гостях, но он не желает вас видеть.

— Бесподобно! однако я вас предупреждаю, что буду жаловаться... я знаю, что вы хотите насильно женить его на Марье Петровне... но Яшенька узнает... я до сих пор скрывала от него историю с разносчиком... но он ее узнает!.. жирно будет, если вы такие куски глотать будете!..

Наталья Павловна постепенно приходила все в большее и большее волнение и наконец, не помня себя, во всю мочь закричала:

— Яшенька! не верь ей, друг мой! она с разносчиком Гришкой бегала!

— Пошел! — закричал Базиль на кучера.

— Очень хорошо-с! я поеду! но вы можете быть совершенно покойны, что Марье Петровне не бывать за Яшенькой... Митька! ты можешь ехать!

— А! каково я матушку-то твою отделал? — сказал Базиль, весело потирая руки, как только Наталья Павловна удалилась и Яшенька вышел из засады.

— Да, отделал! — повторил Яшенька бессознательно и как-то сомнительно улыбаясь.

— Однако это не может долго так оставаться! — продолжал Базиль,— ты должен сам с ней разделаться! и если ты в другой раз убежишь в сад, как нынче, то, клянусь честью, я пересчитаю тебе все ребра!

Яшенька снова улыбнулся, но на этот раз так кисло, как будто по губам его провели уксусом.

День этот был обилен размышлениями для Натальи Павловны. Вся ее материнская жизнь пронеслась, так сказать, мимо ее глаз, начиная с той минуты, когда увидел свет Яшенька и кончая настоящей трагической катастрофой. Чего она не сделала для счастья Яшеньки? все. Чем она пренебрегла, чтобы существование его сделать спокойным и безгорестным? ничем. Он жалуется, что она стеснила его свободу, что она не давала ему ни в чем воли, но он, очевидно, не понимает, что свобода, в его лета, представляет много опасностей, что он еще неопытен, что, наконец, она не только не расстроила, но привела в несомненно лучшее положение его имение... неблагодарный сын! И все фазисы, все переходы Яшенькиной жизни проносились мимо нее с самою мелочною подробностью. Вот он стоит перед нею пятилетним мальчиком, в кучерской шляпе и красной рубашоночке... Как он был кроток, покорен тогда! как он *боялся* малейшего косого взора, малейшего сухого слова! Вот он в гимназическом мундире... он приезжает домой на каникулы... он показывает счастливой матери книги, на которых четким и красивым почерком написано «за успехи и благонравие»... какое довольное, какое счастливое и открытое у него лицо! Вот он в блестящем гусарском мундире... там он был совершенно свободен... он мог бы сделаться пьяницей и картежником, по усмотрению... но он и тут не забыл, что у него есть мать, которую может огорчить его дурное поведение, и вел себя как примерный сын!.. Наконец, он в деревне...

Наталья Павловна не устояла против всех этих светлых воспоминаний и заплакала. Но — замечательная вещь! — вследствие какого-то необъяснимого закона родительской оптики, во время этих переходов, Яшенька как-то не рос в ее понятии, а все оставался прежним пятилетним мальчиком в красной рубашонке!

И вот каким-то Табуркиным выпало на долю возмутить воды этого светлого ручья! И кто же, как не она сама предложила ему познакомиться с этим гнездом змей!.. Господи! и чего ему нужно, чего недоставало этому неблагодарному дитяти? Утром весь дом ходил на цыпочках, покуда он почивал; кушал он все, чего сам желал... конечно, индюк... но что же, наконец, индюк перед вечностью... Сверх того, он мог гулять по саду, мог ходить в лес за грибами.

«Нужно бы его женить... в этом только я, кажется, ошиблась немного!» — подумала она.

К вечеру подали ей другое письмо от Яшеньки.

«Напрасно вы ищете меня, дражайшая маменька,— писал он, очевидно, под влиянием семейства Табуркиных,— я не могу приехать в Агамоновку до тех пор, покуда вы там будете. А так как имение это принадлежит мне, и вы, управляя оным безотчетно, могли уже скопить достаточную сумму денег, чтобы пропитать себя в старости, то я уверен, что вам угодно будет немедленно, по получении сего, очистить мой дом. В каковой уверенности и остаюсь любящий сын ваш

Яков Агамонов».

— Да, держи карман! — сказала Наталья Павловна, прочитав письмо, но вместе с тем вдруг почувствовала, что у нее что-то кольнуло под сердцем и что силы начинают изменять ей.

VII

Прошло две недели, а Яшенька не возвращался. Благодаря крепости своего организма, Наталья Павловна физически выдержала катастрофу, но душевные ее силы были видимо и глубоко потрясены. Она сделалась рассеянною, менее вникала в мелочи хозяйства, чаще задумывалась, и в довершение всего надела на себя черную блузу. И сожаление, и досада, и раскаяние, и какие-то клочки порывов самовластия равно терзали ее душу и приводили ее в уныние, приближающееся к отчаянию. Неоднократно засылала она секретным образом к Табуркиным Федьку, обещав, в случае, даже простить его оплошность, но Табуркины, с своей стороны, с изумительною чуткостью различали всех, кто имел несчастие принадлежать к Агамоновке, и с неутомимою добросовестностью награждали посланцев палочными ударами.

Наконец Наталья Павловна решилась обратиться к предводителю дворянства. Федор Федорыч Пенкин известен был в целом уезде как человек с просвещенным умом и чувствительным сердцем, ибо сам был отцом многочисленных детей и, следовательно, легко мог понять положение несчастной матери, у которой отняли единственное ее дитя. Сверх того, он постоянно пользовался шаром Натальи Павловны при выборах, и это обстоятельство также должно было оказать сильное действие на его чувствительное сердце.

— Я, Федор Федорыч, слышала от верных людей,— сказала ему Наталья Павловна по окончании взаимных приветствий,— что за такие дела, как отлучение детей от родителей, по закону в Сибирь ссылать велено, однако, хотя Прасковья

Семеновна и злодейка мне, я ей этого не желаю, а прошу только, чтоб ее по крайней мере из губернии нашей выслали.

— Будьте уверены, Наталья Павловна, что я с своей стороны сделаю все зависящее,— отвечал Федор Федорыч и, как человек добрый и отец многочисленного семейства, даже прослезился.

— Уж сделайте милость, Федор Федорыч! вы знаете, что я всегда была покорная слуга ваша!

— Но и вы, Наталья Павловна, надеюсь, также знаете, что я употребляю все усилия, чтоб сделать существование господ дворян, по возможности, приятным... Если б не я, то можно ли было бы, например, сказать, что Прокофий Николаич Звягин жив в настоящую минуту?

— Скажите пожалуйста! А разве что-нибудь случилось с Прокофьем Николаичем?

— Да-с... все больше от собственной своей неосторожности-с... все, знаете, этак направо и налево... ну и нагаечка-с...

— Ведь это все клевета, Федор Федорыч!

— Ну, конечно-с, клевета, я так это и понял, хотя у них и доказательства при себе...Но я к тому это вам говорю, Наталья Павловна, чтобы дать вам понятие, как нынче нужно осторожно вести себя и как трудна бывает иногда должность предводителя! Ведь это, в некотором роде, общий миротворец, Наталья Павловна!

— Так уж вы сделайте милость, не оставьте и моего-то горя, Федор Федорыч! Вам самим ведь известно, что я сирота и, стало быть, сама заступиться за себя не в силах...

— Помилуйте, Наталья Павловна, это мой долг! Вам должно быть и по слухам известно, что я никогда не бываю столь счастлив, как в те минуты, когда могу сделать что-нибудь приятное для господ дворян... Это мой долг, Наталья Павловна! это, могу сказать, одна из священнейших моих обязанностей!

Наталья Павловна уехала от Федора Федорыча успокоенная. Воображение ее, сосредоточившее всю свою деятельность на одном предмете, рисовало перед нею картины самого заманчивого свойства. Она уже видела, как Федор Федорыч посылает за становым, как они садятся вместе в экипаж, едут к Табуркиным и производят в доме их выемку, видела посрамление Табуркиных и радость Яшеньки, освобожденного из плена, видела все это... и радовалась!

К сожалению, Федор Федорыч не вполне отвечал ее ожиданиям. Если он, при выборах, пользовался шаром Натальи Павловны, то, с другой стороны, и Прасковья Семеновна с детскою доверчивостью вручала ему принадлежавший ей шар.

Следовательно, принять сторону Натальи Павловны, по мнению Пенкина, было бы равносильно оскорблению Прасковьи Семеновны, которая в таком случае немедленно пристанет к партии заклятого его врага, Василия Васильича Надоумкина. А потому Федор Федорыч решился держаться выжидательной системы, справедливо рассуждая, что дело, с течением времени, должно и само собой как-нибудь кончиться.

Но напрасно так хлопотала Наталья Павловна. Слабая натура Яшеньки более, нежели десяток предводителей дворянства, помогала ей в предприятиях ее. И не то чтобы в семействе Табуркиных не нашлось человека, которому бы он мог подчинить себя: напротив того, Мери и даже Базиль охотно взяли на себя руководить его на скользком пути, на котором он случайно очутился, и даже неотступно следили за всеми его действиями, но такова уже сила привычки, что для полного его счастия необходима была именно маменька Наталья Павловна, которая одна знала, во всей подробности, весь маленький мир его внутренней жизни. Хотя Мери была и очень прозорлива, хотя она с чрезвычайною проницательностью угадывала слабые стороны характера Яшеньки, хотя, сверх того, она была так мила, что Яшенька готов был отдать... неизвестно что, чтобы поцеловать один ее пальчик, но все-таки он чувствовал себя при ней как-то не по себе. С ней нельзя было распуститься, нельзя было заняться пасьянсом, помечтать о губернаторстве, а подчас даже и вздремнуть; она любила тормошить Яшеньку, требовала, чтобы он был любезен, а где же ее взять, любезности-то? Ах, то ли дело дома! Господи, как там должно быть теперь хорошо, как тепло, как уютно! Маменька сидит за самоваром; против нее стоит кресло, на котором сидит Яшенька в халатике; не знает он ни подтяжек, ни других стесняющих его свободу модных ухищрений... Но нет! это только мираж, который рисует ему разгоряченное его воображение: кресло его пусто, а сам Яшенька пресмыкается где-то в чужих людях, ест горький хлеб и утирает слезы кулаком!

И тем более ему тяжко, что положение его чрезвычайно странно. Конечно, Мери прекрасная девушка, конечно, он с первого же раза почувствовал к ней страсть и пожелал сочетаться законным браком с нею... Все это так, но как хотите, а как-то странно, чтоб все это действительно случилось. Процесс мышления совершался в Яшенькиной голове не последовательно, а скачками, и притом совершенно независимо от всякой действительности; он не то чтоб не желал жениться, а ему хотелось, чтоб он уж давно был женат, чтоб все это прошло и ему оставалось только нести на себе последствия

своего поступка. Ну, как это поедет он в церковь? да еще до церкви сколько церемоний! и после тоже... пойдут поздравления, надо будет что-нибудь говорить... А в Агамоновке между тем маменька сидит за самоваром, против нее стоит кресло и т. д. Эта последняя картина составляла неизбежный refrain[1] всех его размышлений.

И Яшенька видимо хирел и опускался. По целым часам он молчал с упорством, достойным лучшей части, и к довершению скандала, почти публично тосковал самым безобразнейшим образом.

— Это, наконец, несносно! — говорила ему Мери, когда они оставались вдвоем,— вы теперь мой жених, и, вместо того чтоб ходить с веселым и радостным лицом, на всех только наводите тоску!

— Помилуйте, Марья Петровна, я, кажется, с величайшим удовольствием...

— Вы меня обманули, вы обещали любить меня! вы должны меня любить... я хочу, я требую этого!

— Марья Петровна! если б я смел надеяться, что вы позволите поцеловать мне вашу ручку, то я счел бы себя счастливейшим человеком в целом мире!

— Вы все «ручку»! нет, вы без «ручки» должны любить меня... потому что вы обманули, увлекли меня!

Дело оканчивалось обыкновенно тем, что Мери давала ручку, и чело Яшеньки на минуту прояснялось.

Базиль действовал гораздо решительнее.

— Ведь это, однако ж, свинство! — говорил он Яшеньке,— ты должен,— да, ты должен угомонить свою старуху!

— Да ведь она меня не слушается! — отвечал Яшенька.

— Это ничего! еще бы она послушалась! а надо ее заставить слушаться! хочешь, мы завтра поедем вместе и подожжем дом со всех сторон — тогда она поневоле выедет!

Но Яшенька не решался на такую отчаянную меру и только покачивал головой.

Что заставляло Табуркиных искать в Яшеньке — объяснить нетрудно. Во-первых, Мери готовилась уже вступить в сонмище старых дев, и между тем напрасно глаза ее блуждали по безграничному полю жизни, тревожно ища на нем какого-нибудь брачного симптома: поле было голо, как плешь, и ни одного жениха ни холостого, ни вдового не произрастало на ровной поверхности его; во-вторых, Яшенька относительно был богат, потому что имел триста незаложенных душ, у Табуркиных же имение было небольшое и расстроенное, да и то

---

[1] припев.

должно было разделиться на несколько частей, из которых на долю Мери приходилась только четырнадцатая, то есть деревня Шипиловка, при въезде в которую надпись на полосатом столбе гласила так: деревня Шипиловка, душ 15, дворов 5; в-третьих, самая ограниченность Яшеньки как нельзя более совпадала с видами Мери: это была девушка в высшей степени суетная, которая уже давно жаждала столичных удовольствий, столичного шума и блеску, и неприятность иметь глупого мужа вполне вознаграждалась, по мнению ее, выгодами, которые представлял муж снисходительный. Она уже заранее видела себя и на бале у гогенцоллерн-гехингенского посланника (самого мудреного, какого она могла придумать), и в Михайловском театре, где Бертон поражает и поучает русских львов своими прелестными манерами, и за границею на разных водах, где она, в свою очередь, вместе с прочими русскими барынями, поражает грацией иностранцев. «Mais elles n'ont pas l'air si moujik ces petites dames russes»[1],— говорит маркиз Ventresaintgris[2], указывая на нее и обращаясь к милорду Blockhead'у[3], и оба снисходительно при этом улыбаются. Картины самого заманчивого и горячего свойства беспрестанно сменяли одна другую в ее воображении. Вот она в каком-то восточном киоске... на полу разостланы ковры в два вершка толщиною, стены обтянуты прелестнейшим дамà, а воздух напоен благоуханием ess-bouquet... кругом ее теснится густая толпа поклонников... вдали раздаются звуки гитары... из окон видно, как, при мерцающем свете луны, неслышно скользят венециянские гондолы по дремлющим водам Босфора (?). Но вот она и на бале... красота ее в полном блеске... продолжительное девичество, смягченное, впрочем, впоследствии благотворными ласками супружества, придало этой красоте те несколько строгие и твердые тоны, которые так обаятельно действуют на толпу... глухой, но симпатический говор раздается в толпе при ее появлении... как сладко ласкает слух этот говор! как отрадно и успокоительно действует он на нервы; как расширяется от него грудь!.. Разумеется, Яшеньке нет места во всех этих картинах; он остается где-то далеко, даже не на фоне, а как бы за картиной, и жмется к стене, на которой она висит, покрытой пылью и паутиной.

— Его надо непременно принудить жениться на мне, Базиль! — говорит Мери брату, немедленно после изложенных выше размышлений.

---

[1] А у этих русских барынек не такой уж мужицкий вид.
[2] Черт возьми.
[3] Болвану.

— Еще бы! — отвечает Базиль.

— Я заставлю его заложить имение,— прибавляет Мери.

— И мы отлично покутим!

— Тебе бы только кутить!.. нет, я желаю ехать за границу, я хочу видеть порядочное общество!

— Ну, а я останусь управлять вашим имением... ах, Мери, какую я тройку себе заведу!

Но все эти расчеты разбились о бесхарактерность Яшеньки, которая, в этом случае, послужила ему лучше, нежели самая закаленная твердость. Однажды, идя по аллеям маленького сада Табуркиных, он не без волнения заметил, что за плетнем, отделявшим сад от поля, движется нечто подозрительное: не то робкий любовник, не то вор, выжидающий только удобной минуты, чтобы перелезть через плетень и наворовать в саду яблоков, которые в ту пору были в самой поре их зрелости.

— Яков Федорыч! — послышался из-за плетня робкий голос, как только Яшенька поравнялся с тем местом, где мелькала подозрительная тень.

Яшенька не мог больше сомневаться: то был голос Федьки.

— Что ты, что ты! — сказал он, серьезно струсив,— ступай прочь! ступай прочь!

— Маменька приказала вам кланяться! — продолжал Федька,— они приказали доложить вам, что очень больны: доложи, мол, Якову Федорычу, что я, мол, очень больна, и приказали подать вам письмецо-с...

Тщательно сложенная бумажка просунулась в эту минуту через плетень. Яшенька схватил ее с какою-то лихорадочною жадностью и всем телом вздрогнул.

— Что прикажете сказать маменьке? — послышался за ним голос Федьки.

Но он не слышал; он бежал во весь дух по саду, сам не зная зачем и куда, но сжимая и комкая письмо, которое надрывало его сердце и жгло его руку.

VIII

«Друг души моей, милый Яшенька! — писала Наталья Павловна,— жив ли ты, здоров ли ты? очень меня сие скорбит и сокрушает. Я больна, насилу ноги таскаю: вот как старуха твоя без тебя расклеилась! Что касается до того, что ты меня огорчил, то я тебе сие по-христиански простила, и если бы ты вздумал меня утешить своим возвращением, то будь уверен, мой друг, что я ни слова ни теперь, ни в будущие времена о том тебе не скажу. А как твое есть желание потомство после

себя оставить, то я тебе сие намерение благородным манером совершить не препятствую, но ах! не скрываю от тебя, что было бы грустно родительскому сердцу, если бы известная тебе наглянка заняла в сердце твоем то место, которое должна занять девица достойная и честных правил. Итак, приезжай без опасения. Друг и мать твоя

Наталья Агамонова.

P. S. Вчера я целый вечер все думала о тебе и ах! сколь сие прискорбно было моему сердцу!»

Яшенька прочел это письмо и горько заплакал.

«Маменька! милая маменька! — думал он,— как жестоко, о, как жестоко я оскорбил вас!»

И он тут же начал придумывать, каким бы образом вырваться из этого омута, в который он сам себя ввергнул, чтобы возвратиться к ясной безмятежности детского возраста. Однако и здесь дело не обошлось без колебаний. Слабая его душа, постоянно имевшая в виду только одну цель: найти себе господина, мучительно колебалась в выборе между Натальей Павловной и Мери. С одной стороны, симпатии его, несомненно, принадлежали Агамоновке, где и место было у него уже насиженное, но, с другой стороны, жаль было оставить и Табуркиных, потому что здесь впервые забилось его детское сердце, впервые начались для него отношения, которых обаятельной силе он невольно должен был подчиниться. Однако, после непродолжительной борьбы, Агамоновка все-таки одержала решительную победу, и Яшенька решился воспользоваться первою ночью, чтобы устроить ту же самую штуку, какую, две недели тому назад, он удрал над маменькой. Но так как вместе с тем этот день был, по расчету его, последним, который он оставался у Табуркиных, то он и вознамерился провести его как можно приятнее.

— Сегодня уж, так и быть, кутну во все лопатки! — сказал он сам себе,— а то ведь этакого случая после и не дождешься, пожалуй!

С этою целью, как только кончился обед, он подошел к Мери и шепнул ей, что желает сообщить нечто важное в саду.

— Вы, моя Меринька! — сказал он, когда они достигли той самой отдаленной аллеи, где он, за час перед тем, читал письмо Натальи Павловны. Вместе с тем он простер руки, чтобы обнять ее.

Мери вопросительно взглянула на него.

— Что это за медвежьи шутки! — спросила она, ударив его по рукам.

— Вот-с видите... вы сейчас и обижаетесь! вот мне хотелось бы этак взять да обнять... поцеловать вас, а вы обижаетесь!

— Откуда это такая нежность на вас напала?

— А это так-с... я вот сидел за столом и все думал... думал я, как бы хорошо было обнять вас... да-с! на меня это иногда ужасно как находит... особливо после обеда.

— Какие вы глупости говорите!

— По-вашему, все глупости-с... а вы меня лучше приласкайте! Помните вы, как я в ту пору ночью-то пришел! вы мне тогда обещались, что будете любить меня...

— Ну что ж... я и буду любить, когда вы женитесь на мне!

— Это не штука-с... мужа любить... а вы вот теперь бы меня полюбили!

— Какой вы смешной! и глаза у вас какие-то странные!

— Это от любви-с... я желал бы, чтоб вы позволили мне называть вас Меринькой!

— Отчего же вы не хотите называть меня просто Мери, как называют другие?

— Оттого, что я не хочу, как другие... я это сам придумал: «Меринька»... я не при всех, я хочу, чтоб вы один на один мне позволили... Меринька!

— Ах боже мой! да называйте, как хотите!

— А еще бы мне хотелось, чтоб вы позволили мне обнять вас!

— Вы пьяны, мсьё Агамонов!

— Нет-с, я не пьян... я просто влюблен-с!

И он насильно хотел обнять ее, но Мери вооружилась и исцарапала ему лицо ногтями.

— Ну, вот вы и царапаетесь! Разве так любят!

— А то как же? — спросила Мери и засмеялась.

— Любят... значит, целуются... целый день-с... Вот Василий Петрович вам скажет, что я не лгу! — продолжал он, увидев Базиля, шедшего к ним навстречу.

— Что такое? — спросил Базиль.

— Да вот Марья Петровна царапаются... я их обнять хотел, потому что наконец я жених...

— Ах ты, фофан! а ты и струсил... смотри, как порядочные люди поступают!

В одну минуту он схватил сестру за руки и поцеловал ее в губы. Яшенька облизнулся.

— Нет, ты никогда ямщиком не будешь! — продолжал Базиль.

Итак, намерение пожуировать не удалось Яшеньке, и хотя он, в продолжение вечера, и пытался неоднократно возобно-

вить свои домогательства, но безуспешно, потому что Мери и с своей стороны избегала оставаться с ним наедине.

Наконец наступила ночь... На дворе стоял сентябрь в половине, и по ночам уже прихватывало легким морозцем. Ночь была тихая и месячная, небо блистало самою яркою, почти ослепительною синевою; чуткость и прозрачность в воздухе были изумительные; где-где залает на деревне собака, или застучит в чугунную доску сонный сторож — и звуки далеко-далеко разливаются во всей окрестности. Но Яшенька не замечал ни красоты ночи, ни того, что месяц обливал каким-то дремлющим светом и пурпуровую листву дерев, и жниво, и пруд, и белую церковь, стоящую на пригорке, и сообщал всем этим предметам какой-то полупризрачный колорит, как будто бы перед глазами были не дерева, не жниво и проч., а только бестелесные их начала, о которых проповедовал в свое время Сент-Мартен. Напротив того, Яшеньке даже досадно было на месяц, потому что он мог легко выдать его фигуру, воровски пробирающуюся мимо усадьбы; ему было досадно на прозрачность воздуха, потому что через это делался слышным шум его шагов; ему было, наконец, досадно на самую осень, потому что она покрыла землю пожелтевшими листьями, которые при каждом его движении производили шорох. И хотя в доме все спали без малейшего беспокойства, однако ему виделось во всяком окне по голове, ему чудилось, что вот-вот отпирается окно сперва в Базилевой комнате, потом в Мерииньскиной и раздается крик: «Держи его! лови его!» Чтобы не быть замеченным, он выбрал дорогу на сад и ловко перелез через плетень, который устроен был из кольев, заостренных сверху. И несмотря на то что сердце в груди его билось сильно, он не дал себе ни минуты отдыха, и едва очутился в поле, как пустился бежать во всю мочь целиком, не разбирая, что у него под ногами, беспрестанно падая и в ту же минуту вновь поднимаясь.

— Маменька! маменька! — закричал он, едва завидев кровлю отческого дома.

Наталья Павловна, как бы предчувствуя ожидающую ее радость, еще не улеглась спать, хотя был уже второй час ночи. Заслышав на дворе шум шагов, лай собак, а вслед за тем и голос Яшеньки, она мгновенно очутилась на крыльце и через секунду уже держала Яшеньку в своих объятиях.

— Ты что ж это хотел со мной сделать? ты в гроб, что ли, хотел меня вогнать, Яшенька! — говорила Наталья Павловна, всхлипывая и обливаясь слезами.

— Маменька! я заблуждался! я был недостоин называться вашим сыном! я забыл, что первый долг детей — почи-

тать своих родителей; но теперь завеса спала с моих глаз! Смею вас уверить, милая маменька, что на будущее время вы найдете во мне самого покорного исполнителя всех ваших приказаний!

После взаимных и долгих объятий Наталья Павловна повела Яшеньку в свою спальню и приказала подать туда самовар, потому что Яшенька, несмотря на горячность родительских объятий, весь издрог от страха и холода.

— А я, душечка, приказала Митьке, чтобы тебя во всякое время впускали на конный двор и чтобы он беспрекословно исполнял все твои приказания,— сказала Наталья Павловна, нежно глядя ему в глаза.

— Милости ваши ко мне, милая маменька, так велики, что я не смею даже удостоверить вас, достанет ли у меня силы, чтоб оправдать ваше доверие!

— То-то, душенька! вот ты и сам видишь теперь, что значит материнское-то сердце! оно, душенька, все забывает, даром что ему наносят иногда оскорбления... ах, как бывает тяжело, друг мой, переносить незаслуженное!..

Наталья Павловна вновь залилась слезами.

— Маменька! я не нахожу слов, чтоб выразить, сколько я преступен пред вами! Я могу сказать, что даже вовсе не знал вас до настоящей минуты и что только теперь завеса спала с глаз моих!

— Ну, вот видишь ли, дружок, ты и сам теперь сознаешься, что не прав передо мной.

— Маменька! позвольте мне на коленях испросить у вас прощение моего проступка!

— Ах, душечка, нет, не нужно! Я, друг мой, мать, я давно тебя простила!.. Мать, друг мой, это не то, что другая женщина... мать... ты не можешь себе представить, что это такое... это даже ужасно — вот что значит иногда мать!

— Вы, маменька, неразгаданная женщина! — сказал Яшенька, внезапно вспомнив, что Мери употребляла иногда этот оборот речи, и желая блеснуть перед маменькой приобретенными познаниями.

— Ну, вот видишь ли! стало быть, и я еще не совсем из ума выжила... А я тебе и другой еще сюрприз приготовила, и если ты будешь почтительным сыном, то я тебе все открою!

— Маменька! позвольте вас просить открыть мне этот сюрприз теперь же, потому что душа моя не может вынести секрета!

Наталья Павловна улыбнулась и потрепала Яшеньку по щечке, сказав свое обычное: «Ах ты, дуру́шка моя!»

— Сделайте милость, добрая маменька! — приставал Яшенька.

— Вот я без тебя все думала, как бы утешить тебя,— начала Наталья Павловна,— и так теперь сужу, что тебе со мной, старухой, одному жить скучно!

— Можете ли вы это думать, милая маменька?

— Конечно, ты этого не выразишь мне, друг мой, потому что не захочешь меня обидеть, но материнское сердце прозорливо... оно видит, чего нужно дитяти...

Яшенька покраснел, но глаза его как-то добродушно и весело при этом засмеялись. Он чувствовал, что дело идет о чем-то очень хорошем...

— И вот, душечка, как мне ни прискорбно, что ты будешь любить не меня одну, но я решилась пожертвовать собой и выбрала уже тебе достойную девицу...

Мысль Яшеньки инстинктивно перенесла его в Табуркино, в комнату Мери.

— У нашего соседа, Ивана Васильича Нежникова, есть дочь... она, друг мой, девушка солидная и с состояньицем...

Яшенька ничего не отвечал, но сердце его болезненно забилось; образ Мери, ее волнующая походка, ее быстрые глаза и эта белая круглая и полная рука, которую ему неоднократно удавалось целовать,— все это было еще слишком свежо в его памяти, чтоб уступить место какой-то солидной девице Нежниковой.

— Или ты мною недоволен, друг мой? — сказала Наталья Павловна, против воли принимая несколько суровый тон.

— Я употреблю все усилия, милая маменька, чтобы не огорчать вас! — скороговоркою произнес Яшенька.

— Нет, ты недоволен мной! — продолжала Наталья Павловна, пристально смотря ему в глаза и качая головой. И, быть может, между ними вновь поднялась бы едва улегшаяся буря, если б Наталья Павловна кстати не вспомнила, что Яшеньке следует с дороги отдохнуть.

На другой день, часов в одиннадцать, Яшенька еще спал, как от Базиля Табуркина пришла к нему следующая записка.

«Лихо ты меня надул, подлец Яшка! Однако будь уверен, что где бы я тебя ни встретил... изуродую!

Василий Петров Табуркин.

Станция Табуркино».

Само собою разумеется, что Наталья Павловна скрыла это письмо от Яшеньки.

IX

Яшенька, однако ж, решился воспротивиться намерению Натальи Павловны относительно девицы Нежниковой. Кроме того, что его смущал еще образ Мери, он чувствовал вообще какую-то тупую боязнь к браку. Как все натуры сонливые, он тщательно избегал всего, что заключало в себе намек на какую-либо перемену, даже и в таком случае, если эта перемена касалась самого мелочного, самого ничтожного обстоятельства. Устроив для себя однажды навсегда известную обстановку в жизни, он не только сжился, но как бы сросся с нею до такой степени, что малейшее изменение болезненно отзывалось во всем его организме. У него было любимое насиженное им кресло, любимый стакан, из которого он пил воду за обедом, даже любимая половица, по которой он считал непременным долгом пройтись несколько раз после обеда. Скажу более: с каждым явлением его обыденной жизни в уме его была соединена какая-нибудь примета, какое-нибудь предзнаменование, делавшее его печальным или веселым до тех пор, покуда новая примета не перевертывала вверх дном все его соображения. Одним словом, он создал себе свой собственный мир, мир мнимый и крайне бедный, но тем не менее удовлетворявший вполне его незамысловатым потребностям. Однажды только он почувствовал какой-то неясный порыв выйти из обычной колеи, но и тут сколько горестей, сколько беспокойств повела за собой его дерзкая выходка! Уже одно то, что он первую ночь, проведенную в доме Табуркиных, совершенно не спал, другую тоже почти сплошь проворочался с боку на бок, по непривычке к новому месту, что он должен был целый день ходить одетым «точно как в гостях», приводило его в неописанное уныние. Что же будет, если его еще жениться заставят? Ведь тогда он ни одной минуты не будет принадлежать самому себе, тогда вся жизнь его пойдет, так сказать, наизворот, не будет ни любимого кресла, ни любимого стакана, потому что бог знает, какая еще попадется жена: навяжется, помилуй бог, озорница какая-нибудь: так, пожалуй, еще языком дразниться будет!.. Нет, бог с ней, и с женитьбой!

Приняв такое решение, Яшенька вознамерился сообщить его маменьке.

— Я надеюсь, милая маменька,— сказал он,— что вам угодно будет благосклонно меня выслушать.

— Что ж тебе, друг мой, нужно?

— Вы были так милостивы, добрая маменька, что изволили принять на себя заботу о моем устройстве... и я был так невежлив, что даже забыл поблагодарить вас за ваши материнские обо мне попечения...

Яшенька подошел к маменьке и поцеловал у нее ручку. Хотя Наталья Павловна и привыкла к подобным выходкам со стороны Яшеньки, но, услышав эту новую речь, в которой, как нарочно, были подобраны самые скучные слова из всех лексиконов в мире, даже не могла сдержать чувства досады, которое накипело в ее сердце.

— Господи!— сказала она,— да перестанешь ли ты когда-нибудь говорить глупости... ведь только маленькие дети так говорят!

— Если я, милая маменька, чем-нибудь провинился перед вами,— отвечал Яшенька,— то чистосердечно прошу вас простить меня и постараюсь на будущее время не огорчать вас!

Наталья Павловна с какою-то отчаянною решимостью махнула рукой.

— Тебе что-нибудь нужно? — спросила она.

— Я вижу, милая маменька, что я имел несчастье огорчить вас, и потому в настоящее время желал бы только испросить ваше милостивое прощение и уверить вас, что как ни велика моя вина, но она неумышленна...

— Вон! — закричала Наталья Павловна, приходя в беспредельное неистовство.

Яшенька удалился, но Наталья Павловна так была взволнована, что долгое время губы у нее дрожали. В самом деле, ее положение было ужасно. Целую жизнь быть осужденною на ежеминутное выслушивание детских прописей, на целование руки после чаю, завтрака, обеда и ужина, целую жизнь никаких других слов не слышать, кроме «милая и добрая маменька», «если вы будете так милостивы» и проч.,— нет, воля ваша, это невыносимо!

— Нет, прости господи, лучше жить на каторге, чем в этаком аду! — сказала она, в волнении прохаживаясь по комнате,— лучше черт знает где быть, нежели слушать эти пошлости!

Однако спустя некоторое время она таки опамятовалась и, почувствовав в сердце сильное сострадание к Яшеньке, послала узнать, что он делает.

— Плачут! — доложила Василиса, исполнив поручение.

«Вот, прости господи, дитятко-то навязался!» — подумала Наталья Павловна, однако скрепя сердце пошла утешать Яшеньку.

— Что ж ты плачешь-то! — сказала она ему,— хоть бы вспомнил, что ты уж не семилетний ребенок!

Но Яшенька был безутешен.

— Ну, что ж ты хотел мне сказать? — продолжала она более ласковым голосом, садясь подле него,— ну, говори же... ты ведь знаешь, друг мой, что я не люблю, когда на меня губы дуют!

— Я, милая маменька, хотел поговорить с вами насчет предполагаемой вами моей женитьбы...

— Ну, так бы и объяснил, а то ведь ты знаешь, друг мой, что у меня есть занятия... стало быть, тебе нужно иногда пощадить меня... не очень развлекать своими разговорами... Так что же ты хотел мне сказать?

— Позвольте мне, во-первых, милая маменька, принести вам чувствительную мою благодарность...

— Ах нет, душенька... ты это оставь... Я знаю, что для тебя тяжело, но ты принудь себя... попробуй сказать прямо, чего ты желаешь... ну, попробуй!

— Я, милая маменька, так счастлив, живя с вами...

— Ах, да нет, это все не то! говори, говори прямо!

— Я не хочу жениться на Нежниковой! — бухнул Яшенька.

Наталья Павловна несколько оторопела; во-первых, ее поразила решительная форма ответа, а во-вторых, в ее уме сейчас возникло воспоминание об этой наглянке Машке, от которой, по ее мнению, происходили «все эти штуки».

— Это ты, верно, у Табуркиных научился так говорить с матерью? — спросила она, переходя от благосклонности к суровому тону.

— Помилуйте, милая маменька, вы сами изволили желать, чтоб я высказался прямо...

— «Я не хочу»! Наперед еще надо спроситься у матери, как она скажет... «я не хочу»!

— Я, милая маменька, хотел только объяснить вам, что желал бы представить на ваше благоусмотрение...

— Пожалуйста, не забрасывай меня словами... я и без того от твоего крика оглохла... С тех пор как ты побывал у этих проклятых Табуркиных, ты сделался совсем другой: из скромного и молчаливого стал самонадеянным и болтуном!.. Отчего ж ты, однако, не хочешь жениться на Нежниковой?

— Я, милая маменька, не чувствую в себе призвания к семейной жизни...

— Терпеть не могу я лицемеров! По мне, будь лучше грубияном, наговори мне дерзостей, только не лицемерь! Я по-

нимаю, что ты хочешь сказать: тебе вскружила голову твоя наглянка Машка!

— Позвольте мне, милая маменька, доложить вам, что я не имею намерения ни на ком жениться...

— Ну, что ж, поди, беги, целуйся с ней, с своей любезной! Только если ты думаешь, что я пущу тебя к себе на глаза, то очень ошибаешься... живи где хочешь!

Наталья Павловна с сердцем хлопнула дверью и удалилась. Однако с этих пор между ними не было речи о женитьбе. В сущности, Наталья Павловна и не желала ее, хотя подчас ее и тревожила мысль, что род Агамоновых должен угаснуть с смертью Яшеньки. Самый выбор ее пал на девицу Нежникову потому собственно, что она была девица хилая, хворая и постоянно страдавшая золотухой.

«А впрочем, кто ее знает, какая она? — думала Наталья Павловна,— в душу-то к ней никто не ходил!.. Нет, да какова же будет штука, если она да сбросит вдруг с себя личину и скажет: извольте, мол, милая маменька, жить где вам угодно, а я в одном с вами доме оставаться не могу... ведь фофан-то небось не защитит в ту пору!»

И к величайшему моему сожалению, я не могу скрыть, что под «фофаном» разумелся здесь не кто иной, как сам Яшенька.

И вот снова началось для них прежнее их бесшумное существование. Яшенька сделался еще молчаливее и безответнее; казалось, что последняя искра жизни покинула его; он не ходил даже в погреб, не только на конный двор, несмотря на данное ему разрешение. Целые дни или валялся он на постели, или раскладывал засаленными картами пасьянс. Порой пролетал перед ним в каком-то радужном сиянии знакомый образ Мери, вызывая на щеки его румянец не то робкого желания, не то стыдливости, но и этот образ начал мало-помалу тускнеть, покуда совершенно не расплылся на сером горизонте его однообразной жизни. Господи! как скучно и даже тяжело было ему жить! Даже воображение, которое до побега к Табуркиным так благосклонно создавало для него разные приятные образы и целые замысловатые истории, теперь притупило свою творческую силу и мало-помалу окончательно отказалось от всякой деятельности... Господи! если бы они еще существовали, эти мнимые, но тем не менее дорогие его сердцу интересы, с которыми ему так легко было жить! Если б они могли являться вновь, эти милые образы, которые так легко даются человеку, изолированному от живого мира! Но их источник иссяк, и вместо них перед Яшенькой раскинулась какая-то безобразно голая степь, которую он обречен

был называть своею жизнью. И он мало-помалу впал в какое-то безнадежное, почти бессмысленное уныние, свидетельствовавшее о совершенном отсутствии жизни. Голова его была горяча, взор сделался сонлив, и какая-то тупая боль гнездилась в спинной кости. Вздумал было он раза два украдкой напиться, но и это не помогло, а только увеличило тоску, которая овладела им...

И вот в одно прекрасное утро Василиса доложила барыне, что Яков Федорыч не совсем здоровы. Встревоженная Наталья Павловна бросилась в «детскую» (так по привычке величали в доме комнату Яшеньки) и увидела зрелище.

Яшенька бледный и худой лежал на кровати и едва дышал. Руки его были скрещены на груди, и взор выражал все ту же безграничную покорность, которой он был столь верным представителем в течение всей своей жизни.

— Головка, что ли, у тебя болит? — заботливо спросила Наталья Павловна.

— Нет, маменька,— отвечал он едва слышно,— что-то в груди... это ничего, маменька!

— Не послать ли, душечка, в город за лекарем?

— Нет... не нужно!.. Маменька! поцелуйте меня... голубушка!

Наталья Павловна поцеловала его в лоб и заметила, что он покрыт холодной испариной.

— Бальзамцем не потереть ли? — спросила она робким голосом,— у меня, душечка, есть отличный бальзам... от всяких болезней вылечивает!

— Да... бальзамчиком хорошо бы! — отвечал Яшенька и улыбнулся.

Наталья Павловна увидела эту улыбку и заплакала.

— Вы не плачьте, голубушка моя, это ничего... это пройдет... Посмотрите, каким еще молодцом буду!.. Это, маменька, от того со мной сделалось, что я осмелился вас ослушаться!

«Господи! я не переживу этого!» — подумала Наталья Павловна.

Потерли Яшеньку бальзамчиком, но лучше не было. Напротив того, к вечеру Наталья Павловна вынуждена была послать за священником.

— Вы меня, милая маменька, простите! — говорил Яшенька все более и более слабеющим голосом,— иногда я вас огорчал... иногда я забывал, что первый долг сына утешать родителей своим хорошим поведением...

Наталья Павловна неутешно рыдала.

— Мне, милая маменька, теперь очень спокойно и весело. Жаль только, что вам не с кем будет время разделить... Я, маменька, хоть и не одарен большими способностями, однако все-таки в доме живой человек был...

— Господи!.. Яшенька! да не оставляй же, не оставляй же ты меня, друг мой! — закричала Наталья Павловна неестественным голосом.

— Нет, маменька... я, конечно, был бы готов исполнить ваше милостивое приказание... Ах, маменька, маменька!..

Яшенька вздрогнул и перекрестился. Через секунду в объятиях Натальи Павловны был уже труп его.

ДВА ОТРЫВКА ИЗ «КНИГИ ОБ УМИРАЮЩИХ»[1]

I

Старость не радость: и пришибить некому, и умереть не хочется.

Вечер. Сальная свеча сомнительно и тускло горит в надломанном медном подсвечнике; в комнате темно и холодно; тоскливо и мерно дребезжит в окна дождь; с улицы долетает какой-то странный, смешанный звук, как будто жужжание несносного комара... Не разберешь, что̀ это такое: далекий ли гул многолюдного города, не устающего от забот даже в поздний вечерний час, вздох ли это бедных странников моря житейского, для которых не припасено в этом мире пухового изголовья, или же просто-напросто шлепанье крупных капель дождя о крыши домов... Господи! один этот звук может иссосать сердце тоскою!

В комнате темно и холодно; на некрашеной деревянной кровати, покрытой затасканною, почти побелевшею серою шинелью, лежит длинный и исхудалый старик, которого лицо нам как будто знакомо. Да, вот те самые длинные и седые усы, составлявшие некогда гордость и украшение Белобородовского гусарского полка; вот те серые глаза, которых проницательный взор наводил трепет и уныние на сердца слабонервных жидов; вот и ястребиный нос — несомненное доказательство, что обладатель его должен принадлежать к породе хищников... Нет сомнения, это он... это Живновский!

Да, это Живновский... но как он исхудал и переменился! Он все еще без умолку говорит, но какая разница против прежнего! Прежде голос вылетал из его груди подобно звуку

[1] Под названием «книги об умирающих» автор предположил написать целый ряд рассказов, сцен, переписок и т. д., в которых действуют люди, ставшие, вследствие известных причин, в разлад с общим строем воззрений и убеждений. Здесь предлагаются два отрывка, представляющие крайние границы этой галереи: начало и конец ее.— *Авт.*

трубному и всецело господствовал над окрестностью; нынче... нынче это какой-то странный шепот, едва слышный даже для Рогожкина, который смиренно сидит у его изголовья.

Живновский умирает; он охотно и даже довольно весело переносил все потасовки судьбы, все невзгоды жизни, но наконец налитая желчью чаша переполнилась; спина покоробилась под ударами, и силы не выдержали. Коли хотите, нравственно он по-прежнему бодр; он по-прежнему далек от отчаяния, по-прежнему ждет чего-то такого, что, несомненно, долженствует в скором времени случиться и вследствие чего он из ничтожества будет вознесен на верх славы и величия; но физически он устал. Он столько в свою жизнь искупил на базарах овса и сена, по поручению крутогорских купцов, столько истоптал сапогов, бегая в аптеку и назад по поручению различных благодетелей; в стольких пожарах принимал живейшее участие, что, наконец, сломился под тяжестью своей собственной деятельности.

— Да, брат,— говорит он Рогожкину,— умаялся я, шибко умаялся... могу сказать, послужил на свой пай человечеству! Пятнадцать лет сряду не знал, что такое значит ночь без просыпу проспать — все кому-нибудь да послужишь! Не знал, какое такое слово «перина» на русском языке называется — все на войлоке, а не ровен час и на досках... Да, брат, пора, пора мне на зимние квартиры... там, может, лучше делишки свои обделаю!

— Помилуйте, Петр Федорыч! какие еще ваши годы! Бог даст, еще поправитесь, да и опять в поход-с! — утешает Рогожкин.

— Нет, брат, не вывезла! не вывезла кривая! Конечно, кабы теперь подложить под нас этак мяконькую периночку, да сквозь пропустить стаканчик-другой Настоя Ерофеича... а что ты думаешь? воспрянул бы, дружище, как перед богом, воспрянул бы...

Не унывай и духом ты воспрянь!

Эти, брат, стихи я сам в молодости сочинил, только конец, жалко, позабыл... Я, брат, на все руки был!

Живновский глубоко вздохнул; Рогожкин, как эхо, повторил этот вздох.

— Да, пожил-таки я! — продолжал Живновский,— грех на судьбу пожаловаться — пожил! На таких перинах сыпа̀л, с такими князьями-графами компанию важивал, что всем этим здешним шалопаям и во сне не привидится! Я, брат, человек случайный! мне бы вот с кем-нибудь, хоть на облучке, только до Петербурга доехать, а там я уж как дома! Я, брат,

сыщу себе место... у меня и наружность такая, что всякий с удовольствием на службу меня примет! А что ты думаешь? небось не примет?

— Как не принять-с? кого же и принять, как не вас, Петр Федорыч!

— То-то, брат! я ведь знаю, что говорю! Вот я вычитал на днях в ведомостях, что князя Сергея Курлятева чем-то по комиссариатской части сделали... важный, чу, человек стал! А мы ведь с ним душа в душу жили: бывало, Сережка да Петька — только и слов! А какая, братец, скотина-то был, если б ты знал! Все, братец, и мысли-то у него какие-то поганые были... не то чтоб просто пожуировать, а все, знаешь, со злом! Ну, жиды — бог с ним! на то народ этот и создан, чтобы удовольствие доставлять, а то над своим же братом солдатом ведь наругается!.. Стало быть, стоит мне только явиться к нему да припомнить того-сего — ну, и дело с концом! Мне ведь и нужно-то не бог знает что: мне бы вот денежек с рубль, да бумажек с пуд, да золотца что-нибудь — я и спокоен... а комиссариатскую-то часть я знаю!

— Как вам не знать, Петр Федорыч!

— Я, брат, все знаю... я и по адъютантской, и по казначейской части служил... я и полицейским мог бы быть хорошим... счастья вот только мне нет, а то как бы мне еще не служить! Прогорел, брат, я в последнее время, куда как прогорел! Плохо нынче житье нашему брату: всё му́ки да науки пошли, совсем даже с толку мы сбились... В прежнее время я бы пожил еще, потому что тогда просто было! Прежде, я тебе вот как скажу: в поле, бывало, покажешься, так и там даже трава словно перед тобой стелется... вот каково было житье! А нынче и глядеть-то на нас не хотят, а где и приютят тебя, сирого, так именно озорства ради, по пословице: зовут да покличут, а потом и в нос потычут. Одни эти купчишки как надо мной надругались: так бы, кажется, и перегрыз им горло! Так нет, сударь, не перегрызешь! Желанье-то есть, да силы, брат, не хватает! Ну, и выходит, что они над тобой свою мужицкую фантазию разыгрывают, а ты стой да молчи... Горько! Свиньи, брат, они все! Того и не поймет, подлец, что и комар лошадь повалит, коли медведь подсобит, а я видал-таки на своем веку медведей-то!.. Конечно, кабы сделали меня городничим... надо думать, что разыграл бы в ту пору и я свою фантазию... дда! всем оркестром...

Живновский задумался, вынул одну руку из-под шинели и начал щипать ею усы; Рогожкин заботливо обдернул шинель со всех сторон.

— А впрочем, и то навряд ли! — продолжал Живнов-

ский,— не могу я долго зло в сердце держать! Я, брат, добрый... может, и погибаю от доброты! Конечно, спервоначалу я оборвал бы их... ну, то есть, так бы оборвал, что года три после того они у меня в затылках бы почесывали... Я, брат, не из корысти — мне что! я только вот поучить люблю, чтоб знала скверная кошка, чье мясо съела... И не то чтоб со злом, а просто так, чтоб субординацию соблюсти! Я русский человек, у меня сердце отходчивое! я, коли побил, так после того рюмочку поднесу, только будь ты мной доволен да не сердись на меня! И станем мы после того други-приятели еще пуще прежнего — вот, брат, я как!

— Это справедливо, Петр Федорыч!

— А ты бы как думал? Русский, брат, на это не сердится, что ты в лицо ему заглянул, только будь ты с ним ласков! Лицо что! лицо — рожа, и больше ничего!.. Эх, только бы вот поправиться мне, Петя, зажили бы мы с тобой! Я бы в Петербург скатал, место бы там себе сыскал... ну, и тебя бы тоже не забыл! Я тебя люблю, Петя, потому что ты не человек, а душа! И не забуду я тебя — это ты помни! Я буду с местом, и ты будешь с местом! а и не будет для тебя места, так все равно у меня будешь жить, советы мне подавать будешь — тебе ведь, я знаю, гражданская-то часть известна! и станешь на всем на готовом блаженствовать!.. Да для тебя это, пожалуй, еще лучше всякого места! Что в нем, в месте! только забота одна да ответственность, а выгоды — еще бабушка надвое сказала: либо есть, либо нет!

— Это точно, Петр Федорыч!

— То-то, брат! Так ты меня держись, я многое для тебя могу сделать... В жизни, брат, нужно тоже свою сноровку иметь: коли видишь, что человек в случае, так ты в него зубами вцепись, замри тут, а не выпускай! А коли видишь, что он из случая вышел — ну, можно маленько его и поотпустить! Только и тут все-таки сноровка нужна: ты поотпустить-то поотпусти, а спиной поворачивайся к нему не вдруг, а постепенно, чтобы не могли сказать посторонние, что вот, дескать, подлец, взял боженьку за ноженьку, да и об пол! Ты, брат, меня слушайся! я недаром сквозь медные трубы прошел, я сноровку-то эту знаю!

— Уж кого же и слушаться, как не вас, Петр Федорыч! Мы, можно сказать, ваши преданные...

Рогожкин хотел еще что-то сказать, но голос его внезапно оборвался. С одной стороны, ему так сладко улыбалась тихая и радостная перспектива, рисуемая Живновским, с другой же стороны, он не мог не подозревать, что этот вечер, быть может, последний, который он проводит с своим другом.

Две слезинки выкатились из его глаз, и хотя он отвернулся, чтобы скрыть свою горесть, однако Живновский заметил ее.

— Что, брат,— сказал он,— видно, уж больно плоха стала, коли ты плачешь! Да, пришлось, видно, ноги протягивать! Жил, что называется, семь лет, нажил семь реп, да и тех нет... скверно! Оно хоть и не то чтоб очень страшно умирать, а и не весело — вот я как скажу! Эх, Петя! изжил я свой век... скверно изжил! Кабы не разбрасывал я зря своих дарований, так, может, она и о сю пору была бы в ходу, машина-то! Да и машинища-то какая — ты посмотри только! В восемьсот четырнадцатом году, как шли мы походом, смотрел нас генерал Кирхенлебендорф, царство ему небесное! Так он, сударь, даже удивился, как увидел меня! Так, братец, и заголосил: «В гвардию! кричит, непременно в гвардию!» И упекли бы меня туда, именно бы упекли, только я, брат, и руками и ногами уперся — так и не сдвинули! Ну, конечно, им лестно иметь у себя такого подчиненного, только и у меня ведь губа-то не дура: знаю я, каково у них там в гвардии!.. Так вот, брат, каково у меня тело было, что даже начальники дивились!

— Зачем же вы, Петр Федорыч, воспротивились? Вот теперь были бы, может, генералом-с!..

— Был бы, это ты правду говоришь, что был бы! У меня, брат, в дарованиях недостатка нет! Да что ты станешь делать: не могу! Не люблю, знаешь, этой женировки, люблю, чтоб вокруг меня просторно было, чтоб можно было этак локтями туда-сюда пораздвинуть, ну, и потерял свою карьеру!.. Нет, да ты представь себе меня в генеральском-то мундире! рост этакой анафемский, без малого трех аршин, усищи только что не до плеч, ведь теперича всякому иностранному посланнику этакого-то генералика показать лестно! Перметте, дескать, мы вам, в заключение, штучку покажем; есть, мол, у нас мальчик с пальчик... да и вывели бы этакую-то машинищу!

Говоря это, Живновский хитро подмигивал и вообще увлекался представлением своей собственной фантазии до того, что жизнь, казалось, вновь обильным ключом приливала в его изможденное тело.

— А теперь вот умирай тут,— продолжал он, глубоко вздохнув,— спасибо тебе, Петя, ты один меня не покинул! кабы не ты, издох бы я тут, как собака, без покаяния! Это, брат, я вот как чувствую! Так слушай же ты меня: все мое имущество, какое у меня есть, ты все себе возьми! Ты не смотри, что я бедный да убогий: у меня, брат, хорошенькие вещицы есть... Есть у меня там кисет, есть еще полушубок, два

сюртука, три рубашки хороших... продай их только — хорошие деньги дадут! Все это, дружище, по случаю мне досталось, потому что я не то что другие... я, брат, пожил-таки на своем веку! Ты одно то себе вообрази, что у меня собственных своих восемьсот душ было, да еще в каком месте... в Воронежской, брат, губернии! Такое именье было, что с одним хлебом не знали куда деваться, а об яблоках и прочей мелочи нечего и говорить! Был там у меня сад, так я одному садовнику две тысячи платил, и сверх того, ешь, пей и веселись сколько влезет! Любил-таки я пожуировать! По мне, бывало, лучше и не жить, чем живучи оглядываться да на каждом шагу себя рассчитывать! Это какая же жизнь! Жизнь, я тебе скажу, вот какая должна быть: встал ты утром с постели, помолился богу, и пошел, и пошел... идешь себе все прямо, все прямо, и никаких тебе пригорочков нет... вот это жизнь! Дом у меня был как полная чаша... только птичьего молока недоставало, да и того бы достать можно, кабы постараться! Метрески какие были — и всё, братец, свои, некупленные, внутреннего, можно сказать, приготовления... А что, видно, и тебе вчуже завидно стало?.. Д-да! могу сказать смело, приехал бы ты ко мне в то время в Живновку, угостил бы я тебя на славу!

Живновский не без основания обратился с этим вопросом к Рогожкину, потому что последний, несмотря на снедавшую его горесть, как только заслышал о метресках, в ту же минуту изменился в лице и начал сочувственно притопывать ножкой.

— Так вот какую я жизнь вел! Особливо там Наташа одна была: худенькая, братец, маленькая, ну, кажется, в чем только душа держится! а такая была девка, что с жизнию бы лучше расстался, а с ней ни за что! Так нет же, дружище, расстался! Продали в ту пору с молотка все мое имение, ну и ее заодно с другими... только уж что со мной тогда было, и не спрашивай! Недели две пищи никакой не мог принимать, только и укреплялся одним ерофеичем! Да хоть бы деньги-то дали хорошие, а то так, ни за что при других пошла! девка-то была тысячная, а пошла за сто рублей бумажками!

— С-с...— процедил Рогожкин.

— Ты, Петя, как я умру, съезди ко мне в Живновку! Увидишь, каким я там Балтазаром жил! Дом у меня там выстроен, так одного дерева тысяч на десять изведено, картины через жида нарочно выписывал... всё, брат, скоромные! Ну, и Наташу позови... Ты только моим именем действуй, так ни в чем тебе запрету не будет... Да и Наташе так скажи: Петр Федорыч, мол, велел... она девка добрая!.. Съездишь, что ли?

— Съезжу, Петр Федорыч!

— Да; было-таки, было со мной приключений! В то время, как стояли мы в Польше, познакомилась со мной одна панночка... Довольно тебе сказать, что глазенки у нее как угольки: так, бывало, и светятся, так и светятся! Полюбила она, братец, меня! Не надо, говорит, мне ни богатства, ни титулов, лишь бы ты, Пьер, мне не изменял! И жили мы с ней душа в душу, жили самым приятным манером, даже сыночком она меня подарила... узнал, братец, и я семейные радости... Только подвернулась тут под руку и еще панночка... Вот, дружище, кабы ты эту увидел!.. Знаю я тебя!.. ты с виду-то водой не замутишь, а ведь подлец ты, Петька, отбил бы ты ее у меня!

— Уж куда нам, Петр Федорыч, с вами сравниться!

— Врешь ты! Вижу я тебя насквозь! ты только что притворяешься таким постником да смиренником, а ведь шельмец ты, Петька!.. Да; приятные бывали минуты... я, брат, с малых лет в женском-то деле смыслил: это именно, можно сказать, прелестнейшая утеха рода человеческого! Еще маленький, бывало, все норовишь подсмотреть, как дворовые девки в пруду купаются... Даже маменька-покойница удивлялась: ах, Пьер, говорит, бывало, что ж из тебя, мой друг, будет, когда ты большой сделаешься? И я именно оправдал себя! У меня, братец, было в правиле никому спуску не давать: бей сороку и ворону, зашибешь невзначай и красного зверя... Так вот как мы в свое время жизнию жуировали!

Живновский остановился и вздохнул. Свеча по-прежнему разливала дрожащий свет, издавая по временам неприятный треск; с улицы доносился тот же докучный звук, а в комнате... Больной внезапно почувствовал себя очень худо; до сих пор он лежал спокойно, а теперь вдруг приподнялся на постели и сел.

— Петя! — сказал он,— посмотри! ведь это, кажется, Ицка в углу-то стоит?

— Помилуйте, Петр Федорыч! на что же-с! Ихнее, я думаю, и тело-то давно червяки съели!

— Нет, ты посмотри, ты пошарь...

Рогожкин должен был повиноваться: пошел в угол и пошарил рукой, но там никого не оказалось.

— Ну, стало быть, это мне почудилось! этого, брат, Ицку мы страхом одним до смерти довели: больше ничего как из пистолета в него целились... так, ради шутки... а он взял да и умер...

— На что же вспоминать об этом, Петр Федорыч! ну, умерли, и бог с ними!

— Правда твоя, Петя, правда, бог с ним! Теперь вот и са-

мому умирать приходится... плохо! Так сделай же ты мне милость, съезди ты к Топоркову, отдай ему чубук мой: это, мол, вам от Живновского на память... Надули, мол, вы его, заставили на старости лет горя принять, а он на вас зла не помнит... Так, что ли, Петя?

— Это по християнству так, Петр Федорыч!

— То-то! Я, брат, хоть и блудный сын, а християнство во мне есть... Так съезди же ты к нему, да еще к вдове Поползновейкиной [1], отвези ей вот эту самую подушку и скажи: поручик, мол, Живновский приказали долго жить, и хотя вы им много в здоровье расстройства сделали, однако они на вас зла не помнят... Слышишь, Петя?

— Слышу, Петр Федорыч!

— Ты, брат, не вздумай этими вещами сам завладеть... знаю я, что ты до конца был мне другом... следовало бы мне тебя наградить... только уж ты эти вещи отдай по назначению... грешно, брат, будет, коли ты ими покорыствуешься!

— Уж это последнее дело, Петр Федорыч!

— Ну да... я, брат, в тебе уверен, а потому и делаю тебя душеприказчиком... А тяжело, Петя, умирать! Ведь я еще тово... мог бы и послужить, братец... да! Мне бы вот на минуточку выздороветь, пожили бы мы с тобой! Первое дело, нанял бы я лихую тройку и покатил бы в Питер, а второе дело, явился бы сейчас к князю Курлятеву... ох, брат, да, никак, ведь я умираю!

Живновский как-то странно весь вздрогнул; лицо его, и без того уже бледное, помертвело; члены вытянулись.

— Христос с вами, Петр Федорыч! — сказал Рогожкин, бросаясь к нему,— бог милостив, еще поживете!

Живновский не отвечал; он как-то тяжело и сосредоточенно вздыхал всею силою своей мощной груди, как будто усиливаясь отдышаться от давившего его страшного кошмара. Но увы! эта борьба была последнею и тщетною борьбой, в которой он неминуемо должен был пасть перед всесильною рукою судьбы.

— Свечку!.. со свечки сними! — едва мог проговорить он,— не вижу... темно...

. . . .

И тут началась одна из тех страшных, мучительных агоний, которыми сопровождается разрушение здорового и сильного организма.

---

[1] О Топоркове и Поползновейкиной см. «Губернские очерки», т. I, рассказ «Обманутый подпоручик». *(Прим. М. Е. Салтыкова.)*

II

«...Мы умираем, любезный друг! Казалось бы, в нас еще много задатков жизни, много непочатых сил, много любви и веры в будущее, и между тем, нет никакого сомнения — мы умираем! И кто же заступает наше место? Взгляните на эту сухощавую, надорванную нынешнюю молодежь, прислушайтесь к ее плавному, рассудительно-пресному говору, присмотритесь к ее приличному умеренному жесту, вдумайтесь в ее бесстрастные и всегда решительные приговоры и говорите смело: «Вот наши властелины, вот люди, которые держат в руках своих будущее!» Это люди картонные, не имеющие веры ни в других, ни в самих себя, не оглядывающиеся назад и не присматривающиеся с тайным трепетом вперед, люди, у которых в душе никогда не находилось места для идеала, да и душа-то, полно, есть ли? люди по наружности всегда ровные и спокойные, но внутри вечно снедаемые завистью, люди, которых умственный горизонт не выходит за пределы тесной раковины насущных потребностей, фаталистически тяготеющих над всеми их желаниями и помыслами... и вот наши господа! Стало быть, мы много согрешили, много наделали на свой пай пустых и бездельных дел, чтобы быть вынужденными уступить право на жизнь этим выморозкам жизни, этим ходячим арифметическим выкладкам, которые смотрят на мир, как на мертвечину, и бесцеремонно переступают через живых людей, откровенно принимая их за мертвые тела. Стало быть, на нашей совести лежит много гнусностей и подлостей, что вокруг нашего смертного ложа, и не остывшим еще телам нашим (извините за латинскую конструкцию фразы), могут уже смело раздаваться дикие вопли торжествующих дипломатов-барышников, из которых у каждого есть на душе какое-нибудь крошечное нечистое дельце, какой-нибудь миниятюрный вонючий замысел, имеющий напитать на счет ближнего его дряблое тело? И надо видеть, с каким беспощадным пренебрежением проходят они мимо нас, людей отживающих, каким полупрезрительным, полублагосклонным взглядом окидывают нас с ног до головы, как будто хотят сказать всем и каждому: «Оставьте их, этих беспокойных людей, пусть почиют они в мире!»

Да, мы согрешили, мы виноваты. Но прежде нежели окончательно умереть, я хочу окинуть взором пройденное нами пространство и посмотреть, что̀ мы делали, как мы жили, чтобы судить, в какой степени велики вины наши.

Что мы делали? справедливо ли говорят, что мы сидели сложа руки, что наши кислые физиономии только наводили

уныние на одних и поселяли досаду и злобу в сердцах других? Правда ли, что мы умышленно отворачивались от мира действительного и даже не усиливались объяснить себе пружины, им управляющие? Правда ли, наконец, что мы являли себя совершенно неспособными всякий раз, когда дело шло не о праздных мечтаниях, а о деятельности практической?..

К сожалению, во всем этом есть правда.

Странную имели мы молодость. То было время какого-то полуфантастического смешения всех понятий, где рядом с самым грубым и беззастенчивым материялизмом, а может быть, даже и по причине его, робко ютилась иная жизнь, жизнь тихая и скромная, жизнь хотя лишенная твердой почвы, но сильная горячими упованиями, сильная беспредельными стремлениями ко всему, что носило в себе зерно добра и истины, сильная безотчетною и неясною, но тем не менее непоколебимою верою в будущее. Помните ли, друг мой, как легко дышалось в то время, несмотря на железные путы отрезвляющей действительности? Помните ли, какой радужный цвет ложился на самые неблаговидные предметы? Помните ли, как мы радовались *чужой* радости и огорчались *чужим* огорчениям? Помните ли, как дико в то время звучали в наших ушах слова: *почести, карьера, богатство?*

Вспомните, на каких книгах мы воспитывались? Я не без намерения останавливаюсь на этом предмете, потому что это был капитальный вопрос нашей молодости, определивший все ее направление. То были те вечно юные и вечно милые утопии, в которых всякая мысль, всякое слово обращались к лучшим инстинктам человеческого существа и которые нынешние молодые консерваторы с таким возмутительным нахальством клеймят названием ребяческих бредней. В душах наших носился целый строй гармонических отношений, в котором не встречалось ни столкновений, ни ущербов, и, напротив того, все споспешествовало, все содействовало к наслаждению благами жизни. Все существа наши были залиты волнами стройных и тихих звуков, волнами света, волнами свежих и сладких благоуханий... Ах, что это было за время, что это было за время, друг мой!

Теперь разрешите мне: могла ли бы устоять в нас эта восторженная настроенность души, если бы мы не берегли ее от малейших столкновений с деятельностию? Не погибла ли, не завяла ли бы она при первом прикосновении тусклой и непроницаемой массы житейских интересов, с ее мелкими невзгодами и еще более мелкими утехами? Я имею основание думать, что восторженность наша *должна* была искать для себя питание именно исключительно в самой себе и что вся-

кий пришлый материял произвел бы только бесплодный разлад внутри нас, разлад, который лишь охладил бы в нас стремление к идеалу, но нисколько не примирил бы с действительностию. Нас обвиняют в непонимании действительности, но спрашиваю вас, зачем она была нужна нам, если мы стояли выше ее, зачем нам было обращаться к ней, если миазмы ее на каждом шагу оскорбляли нас? Нам было так уютно и свободно в нашем маленьком, нами самими созданном мире, что не предстояло никакой, решительно никакой надобности менять его на мир забот, тревог и случайностей.

Но я чувствую, что противоречу себе. Начал я скромным сознанием в справедливости взводимых на нас обвинений, а кончаю чуть ли не панегириком... Но в самом этом панегирике вы уже легко можете заметить зерно тяжелого обвинения. Это даже не панегирик, а собственно объяснение, почему и как.

Да, нам не суждено было сделаться практическими деятелями; мы никогда не сумели бы справиться с жизнью, потому что в ней есть шероховатости, есть непоследовательность... Часто она выделяет из себя такие безобразные явления, такие чудовищные факты, с которыми никогда не примирилось бы наше внутреннее чувство. Одним словом, мы не умеем принимать жизнь как жизнь, не умеем анализировать, отделять добро от зла, не умеем исторически исследовать причины последнего и прийти этим же путем к оправданию его. Коли хотите, мы охотно будем соболезновать, скажем теплое слово участия и сострадания в пользу того или тех, которые терпят от существования зла, но чтобы симпатически относиться ко всем явлениям жизни без разбора, каковы бы они ни были, потому только, что они принадлежат жизни,— этого натуры наши не вынесут. Наши натуры так чисты, так мягки, так эстетичны, что болезненно сжимаются при всяком несколько грубом прикосновении. Я совсем не шучу, говоря это вам. Вам, вероятно, случалось встречать на своем веку людей, которых один вид некрасивого и неопрятного ребенка приводит почти в раздражение? Вот этою-то раздражительною ненавистью к неопрятству всякого рода заражены и мы. Для нас не могут быть понятны те совестливые изыскания в области действительного мира, которые с спокойным духом обнажают тайные и явные причины явлений и действий, та спокойная, но непримиримая и дышащая уверенностью борьба с злом, которой мы хоть редко, но видим же иногда блестящие примеры. Для нас это непонятно точно так же, как для тех опрятных господ, о которых я упоминал выше, непонятна любовь матери к больным, бледным и золотушным детям, при виде ко-

торых сердце надрывается от жалости. Эта странная способность сжиматься показывает ужасную гордость... Знаете ли что? вместо того чтобы продолжать писать себе панегирик, я в эту минуту чувствую даже какое-то почти холодное озлобление против самого себя!..

Ах, если бы, вместо того чтобы, с зажмуренными как у кота глазами, постоянно витать мыслью в воздушных областях нашей фантазии, мы смело и бодро взглянули в глаза действительности... как было бы хорошо! При нашей жажде добра, если б крошечку, только крошечку даже хоть не знания, а простой симпатии к жизни — какие бы из нас вышли славные ребята!

Иногда приходит мне в голову следующего рода вопрос: что, если бы судьба, вместо того чтобы обеспечить нас обладанием хотя небольшою (но все-таки достаточною) частью земных благ, поставила нас в строгую зависимость исключительно от самих себя, от нашего личного труда... что̀ было бы с нами? Сумели ли бы мы пригнуться к уровню обстоятельств, сумели ли бы мы заняться тою черною работой, к которой всегда имели инстинктивное отвращение и которая, однако ж, составляет основу всякого жизненного подвига? Или, наконец, умерли бы мы с голода? Ах, друг мой, прискорбно мне сознаться, но кажется, что исход из этого положения был бы для нас самый печальный, если не трагический... Мы никогда не могли бы сделаться хорошими работниками, никогда не могли бы выйти из толпы; нас загрызло бы самолюбие, но не то крепкое самолюбие, которое заставляет совершать чудеса и достигать желаемого, а самолюбие бессильное, находящее удовлетворение в своих собственных тревогах и пенях... Да, нам именно нужно было жить в стороне от мира, не иметь никакого сообщения с жизнью, чтобы получить какой-нибудь цвет и значение: в противном случае мы увеличили бы только толпу бесталанных и бессильных, которая и без того уж так огромна, что не нуждается в новых вкладах.

Помню я мое первое столкновение с жизнью. Как и водится, местом действия было то же бюрократическое поприще, которое так гостеприимно призирает всех не имеющих приюта и нравственно окалеченных. Нельзя сказать, чтобы на нас не возлагали надежд... о, напротив того! Я очень хорошо помню, как начальник мой искренно радовался, что в распоряжение его достался человек молодой... и *образованный;* я помню даже, как и сам я и краснел и трепетал от удовольствия, что меня называют образованным; помню, с каким рвением принялся я за входящий журнал, который был поручен мне,

вероятно, как человеку образованному; помню, как это, однако ж, не удовлетворило моей юной пытливости, как я настойчиво требовал «дела» и как мне дали наконец это дело; помню, что начальники с снисходительным удовольствием смотрели на мою бойкость и поощрительно улыбались моему рвению; помню, что мне часто приходилось писать к некоему Григорию Кузьмичу... Но вдруг меня осенила мысль: какое мне дело до Григория Кузьмича? разве я знаю Григория Кузьмича? разве я с какой-нибудь стороны заинтересован в сношениях с Григорием Кузьмичом? *разве я что-нибудь значу* в этих сношениях?.. И господи! как опостылел мне в то время Григорий Кузьмич! мне казалось, что он невидимо присутствовал при моей скромной трапезе, сидел рядом со мной в театре... и какой он был длинный, каким безобразным клювом торчал его нос, едва-едва не сходившийся с острым и выдавшимся вперед подбородком! Даже теперь делается несносно тоскливо, как только посетит меня воспоминание об этом грустном незнакомце!

Мне показалось, что я не для того создан, чтобы всю жизнь переливать из пустого в порожнее и думать только о том, чтобы обставить дело приличными формами, не заботясь о существе его; я не оценил даже как следует того неоцененного достоинства бюрократической деятельности, заключающегося в том, что она может совершаться независимо от каких-либо трат душевных сил и способностей, что она может не требовать даже никакого участия мысли... Я оставил службу, потому что она представлялась мне системою бесплодных ожиданий, начетистого топтанья сапогов, суетливых порываний в царство теней и жалких бурь в стакане воды. Ах, сколько странной, завистливой деятельности кипит в маленьком мире, называемом канцелярией! Кажется, что дело, для которого он призван, есть нечто не только второстепенное, но даже совсем случайное, и что в нем, в этом мире, имеется его собственная жизнь, которая сама себе служит целью, независимо от официяльных обязанностей. Вечная и какая-то неприлично желчная драма кипит в четырех стенах этого миниятюрного Китая... Сколько ненавистей выносится отсюда на свет божий, и рядом с ними сколько тлетворных, заражающих воздух признательностей! Плотоядный огонь блестит во взорах, удушливые вздохи заражают атмосферу: то огонь томительных ожиданий, то вздохи вечно ласкающей надежды, вздохи сосредоточенного, прогорклого ропота... Докучная и страшно безнравственная картина! Картина досужей праздности, разжигаемой всеми адскими огнями честолюбия, картина корысти и зависти, разъедаемой приманками будущих стяжаний!

Неужели же тот, кто имеет возможность отвратить от этой картины свои взоры, не сделает этого?

И я отвечал утвердительно на этот вопрос. Но здесь случилось со мной странное происшествие. Куда идти, куда деваться? сказал я сам себе, потому что нельзя же слоняться по свету, не имея впереди никакой цели, которая могла бы дать цвет и значение самому существованию. Однако оказалось, что не только нет этой цели, но даже нет никакого занятия, к которому мог бы я приспособиться. Коли хотите, она и была, цель-то, но какая-то отдаленная, скрывавшаяся за горами, за долами, такая, которая именно тем и грешила, что не давала никакого непосредственного занятия. Боже мой, какое это было тяжкое время! Куда я не бросался? и в сочинительство, но все у меня выходило либо бесцветно и вяло, либо искусственно, сентиментально и распущенно; и в науку, но мысль моя, развращенная мечтательностью и энциклопедизмом, отказывалась следить за постепенным развитием положений науки и действовала скачками; и снова в службу, но не в канцелярскую, а в действительную службу, которая ставила меня в прямые отношения к живым силам народа, но я сам чувствовал, как я робел и мешался при первом прикосновении ко мне жизни, как мне казалось все это дико, не так, как сложилось в моем воображении; бросался даже в простую праздность, но и тут новое горе: ослабнувши душевно, я ослаб и физически... одним словом, рядом постепенных и мучительных истязаний я пришел к сознанию совершенной ненужности моей жизни.

А между тем могла бы быть нужна и эта жизнь. Мы слабы и нерешительны, друг мой; в нас нет силы начать наше перевоспитание; нам надо было, при самом нашем вступлении в жизнь, выбросить за забор весь этот энциклопедический хлам, которым напичканы наши головы, все эти верхушки и булавочные головки знания, которыми только раздражили нашу нервную систему. Нам надо было сказать себе, что мы не знаем еще азбуки науки, что то, на что мы смотрели с пренебрежением как на мелочь, составляющую удел книжников и буквоедов, будет потом встречаться нам на каждом шагу и наконец окончательно завалит для нас двери святилища. Подобно нынешним надорванным людям, запутывающимся в мелочах и частностях, мы тоже запутались в общих местах, расплылись в высших взглядах.

«Мы много любили»,— скажете вы. Да, мы действительно слишком много любили, отвечу и я, а потому-то и была наша любовь так безразлична, так микроскопически ничтожна, так мало отразилась *на ком-нибудь* или *на чем-нибудь,* что мир не

вымышленный, а действительный, был совершенно вправе не заметить этого сентиментальничанья. Было ли у нас здоровое дерево, около которого, как хмель, вились бы наши сердечные верованья, наши душевные упования? Был ли возбужден нами хоть один вопрос, который мы имели бы право назвать не безвременным? Тщетно я прислушиваюсь к прошлому, тщетно вглядываюсь туда: там нет ни звука, ни очертания, нет ничего, на что бы я с гордостью мог сослаться и сказать: вот это мое дело, это мой подвиг!

Бессильные и недовольные прошли мы по жизненному пути, который для нас был бесплодною и опаленною лучами тропического солнца пустынею. Двери жизни навсегда остались закрытыми для нас; повторяю: мы были слишком младенчески чисты, чтобы войти на это торжище, на котором все поглощено одним законом — законом купли и продажи.

И вот за эти-то грехи, за эту-то гордость, которая заставляла нас считать себя обладателями недосягаемых для «суетного» мира идеалов, за то, что мы не умели стать в уровень с обстоятельствами, мы несем теперь свое наказание. Скипетр владычества, который и без того никогда не был в наших руках, теперь более, нежели когда-нибудь, сделался недостижим для нас Все оттенки убеждений, все партии могут иметь свои минуты торжества, но мы — никогда. Мы те самые esprits creux et rêveurs[1], которым нет места на жизненном пире; на нас смотрят с сожалением, пока мы кротко сидим по углам, и огрызаются с неслыханным, почти собачьим остервенением, как только мы вздумаем поднять голову и возвысить голос. Мы играем ту же роль в обществе, какую играли мормоны в Миссури и Иллинойсе, хотя мы никого при этом не надуваем, никого не обкрадываем и не развращаем. Мы безвредны, на губах у нас слова мира и добра, а между тем никто не внушает более ожесточения, более ненависти! Вникните в этот странный, но в высшей степени поучительный факт! Сильные натуры, сильные учения, как бы ни были они абсолютно безнравственны, никогда не подвергнутся ни этой ненависти, ни этому презрению уже по тому одному, что они сильны; мы же ничего не имеем предъявить миру, кроме нашей слабости, и потому всякому привольно, и нарочно и невзначай, и прямо и мимоходом, лягнуть нас и наши убеждения. Это невинное удовольствие, которое в последнее время достигло до размеров всеобщего дилетантизма. Бедные, тщедушные и загнанные, мы навсегда осуждены жить в стороне от жизни, покуда не пробьет час, который возвестит нам истинную дорогу

---

[1] досужие мечтатели и фантазеры.

нашу — в царство теней. Ни опыт, ни поучения, ни удары судьбы — ничто не может вразумить нас, ничто не воззовет нас к жизни. Редкие из нас нашли в себе довольно решимости преодолеть тяжелую дремоту, их оковывавшую, чтобы сделаться талантливыми пройдохами; прочие же естественно и безропотно последовали указанию судьбы.

Да и как не последовать ему? Для нас, людей упорных, хотя и не совсем ясных убеждений, не может быть никаких компромиссов; мы не понимаем и не допускаем ни уменьшительных, ни смягчительных степеней; слово «черный» не превращается у нас ни в «черненький», ни в «черноватый»; у нас натура и слишком мягка, и слишком груба в одно и то же время... А вам, вероятно, и из истории известно, что государственная мудрость живет и дышит одними уступками — следовательно...

Но во всяком случае мы были честны. Мы не потревожили ничьего спокойствия, не забрызгали никого грязью, пробивая себе дорогу, и никому не мешали жить. Рано мы убедились в своей неспособности и честно уступили дорогу другим, которые трубили нам в уши, что им предоставлено обновить дряхлеющий мир. Скажут, что если бы мы добровольно не уступили дороги, то нас согнали б с нее насильно, но ведь это скажут только те, которые не считают для себя позором, подобно ослу басни, лягнуть умирающего льва. Мы не имеем на совести ни единого коварства; мы совершенно исполнили на себе одну половину евангельского поучения и были чисты как голуби, но, к сожалению, забыли о второй половине его и не были мудры как змеи.

И мы умираем! Конечно, ни одно нарекание не потревожит в могилах костей наших, но увы! сознаюсь вам откровенно, как-то странно звучит в моих ушах такого рода утешение! Перед смертью хотелось бы приобщиться к жизни, хотелось бы изведать и прелесть и отраву ее, хотелось бы на деле поверить, справедливо ли слово поэта, утверждающего:

А тут дары земные,
Дыхание цветов,
Дни, ночи золотые,
Разгульный шум лесов,

И сердца жизнь живая,
И чувства огнь святой,
И дева молодая
Блистает красотой...

И между тем, боже! как темно и смутно на душе! Какая странная перспектива представляется глазам! Мы умираем, а

на наше место из всех щелей вылезают угрюмые целовальники, мрачные прожектеры и гнусного вида пройдохи с подобранными, как у борзых собак, животами и поврежденною печенью! Как скучно и неуютно им жить на свете, как мало жизнь дает им радостей! Кряхтя и охая, несут эти муравьи на плечах своих непомерное бремя жизни, но и тут не складывают своих нош в общий муравейник, а как-то расползаются врозь и врозь... На всех лицах написано уныние и холодное озлобление; во всех сердцах горит неугасимый огонь стяжания; забота и сестра ее зависть набросили на целый мир тяжелый и непроницаемый покров, сквозь который не видно ни форм жизни, ни ее трепета... Все мрачно и холодно, как в могиле! Одни развратные женщины с наглою беззаботностью выставляют напоказ упитанные тела свои...»

ХАРАКТЕРЫ[1]

(Подражание Лябрюйеру)

Некоторый философ, стоя против книжной лавки Базунова, вслух рассуждал:

— «Русский вестник» сделался похожим на клетку, в которой некогда обитал драгоценный попугай. Ныне попугай улетел, а клетка сохранила лишь запах его.

Случившийся тут прохожий, услышав сие, сказал:

— А статья о «Русской общине»? Разве мог написать ее иноземный попугай?

— Должно думать, что статью сию писал отечественный скворец,— отвечал философ, не смущаясь.

Тот же философ, остановясь против книжной лавки Кожанчикова, сказал:

— «Отечественные записки» походят на упраздненную Бурсу. Не слышно в пустынном здании кликов Бургия; даже веселый Дудышкин более молчит, нежели прорицает; но запах щей и гороховицы столь сильно въелся в стены и потолок, что не заглушат его своими благовониями ни Благосветлый-Басистов, ни Басистый-Благосветлов.

Некоторый благонамеренный и желающий добра отечеству землевладелец, услаждая досуги свои чтением «Русского вестника», однажды вскричал: «Сей журнал мыслит и рассуждает именно так, как бы я сам мыслил и рассуждал!»

[1] По примеру редакции «Русского вестника», почти никогда не согласной с мнениями своих сотрудников, долгом считаем заявить, что мы ни в чем не согласны с автором «Характеров».— *Ред.*

Другой землевладелец, прочитывая тот же журнал, сказал:

— Здесь пишет и сочиняет В. А. Кокорев, нашего уезда откупщик!

Носятся слухи, что после недавней попытки нарушения общественного спокойствия со стороны некоторых вассалов «Русского вестника» в редакции этого журнала возникал вопрос: «Благоразумно ли было с таким упорством нападать на кн. Черкасского за проект его относительно употребления «детских розог»?» Решение последовало такое: «Неблагоразумно, но делать нечего».

Некоторая академия предложила для соискания следующую задачу: *на каком логическом основании место Белинского занял в «Отечественных записках» г. Дудышкин?* По обыкновению, прислано было множество сочинений, из которых увенчано премиями два: первое, получившее полную премию, гласило: «На том же основании, на каком место г. Дудышкина займет со временем г. Басистов»; второе, удостоенное лишь половинной премии, отвечало: «На том основании, что г. Дудышкин прежде того находился на службе в комиссариатском департаменте». Справедливость, однако ж, требует сказать, что премия за последнее сочинение присуждена едва ли не пристрастно.

Из Мадрита пишут: «Торжественный въезд в столицу маршала О'Доннеля совершенно не удался; внимание публики было всецело поглощено полемикою между г-жою Тур и «Русским вестником». В особенности всех занимало то место в ответе «Русского вестника», где возражения этого почтенного журнала принимают характер, так сказать, эротический».

Некто, известясь, что редакторы «Современника» квартируют в доме редактора «Отечественных записок», сказал: «Верно, А. А. Краевский не требует с них никакой платы за квартиру!»

Некто, не имев, за недосугом, времени прочесть последние нумера газеты «Наше время», не может сообщить любознательному читателю, жив ли в настоящее время известный русский писатель И. С. Тургенев. Тем не менее знаменитый наш библиограф и гробокопатель М. Н. Лонгинов уже принимает меры к отысканию преждевременной могилы его. Статья об этом интересном предмете будет напечатана в «Рус-

ском вестнике» вместе с продолжением статьи о «Пороховых взрывах», новыми опытами В. К. Ржевского и повестью г-жи Николаенко.

Из редакции «Русского вестника» похищен второй том сочинения Гнейста. Редакции положительно известно, что похититель книги — один из сотрудников издаваемого ею журнала, но имя его до времени не предается публичному позору, в надежде, что раскаяние и угрызения совести заставят возвратить похищенное.

Как вдруг, на другой день по похищении Гнейста, пропадает и еще книга: сочинение барона Этвеша... Батюшки! режут!!

Сколько можно заключить из объяснений редакции «Русского вестника», положение ее действительно весьма затруднительно. Не говоря уже об упомянутых выше похитителях чужой собственности, в числе ее сотрудников нередко оказывались в последнее время люди, которые держали себя как невольники, целовали у редакторов руки, подслушивали у дверей, заглядывали в чужие письма и вообще вели себя неприлично дворянскому званию. Заявляя об этом в 10 № своего журнала и лишь по скромности умалчивая о разных других нестерпимых сотруднических противоестественностях, редакция покорнейше просит своих будущих сотрудников считать себя людьми свободными и заранее объяснять ей о том, какие кто имеет гнусные привычки. Лицо, не выполнившее этого условия, будет немедленно рассчитано по день нахождения в услужении.

Редакция «Русского вестника», убедившись из статьи г. Утина, напечатанной в 136 № «Московских ведомостей», что ей мало известны даже те учреждения Англии, о красоте которых она доселе столь неотвязчиво толковала, воскликнула: «Отныне я знаю только то, что я ничего не знаю!»

Под влиянием этого горького убеждения готовится к выходу в свет книжка «Русского вестника» с самою беспорядочною наружностью: без обертки, без нумера и с бесчисленными опечатками. Содержание ее будет следующее: «Mea culpa [1], или я знаю только то, что я ничего не знаю», статья

[1] Моя вина.

редакции; «Могила И. С. Тургенева», статья М. Н. Лонгинова, с примечанием от редакции, что И. С. Тургенев еще жив; «О преимуществах кириллицы перед глаголицею», г. Бодянского, с примечаниями от редакции, где доказывается, что напрасно г. Бодянский берется рассуждать о предмете, совершенно ему незнакомом; «Отповедь «Отечественным запискам», В. К. Ржевского, с примечанием, что статья уже была набрана, когда редакция заметила, что она уже была однажды напечатана в «Русском вестнике», и прочие, не менее замечательные статьи общезанимательного содержания.

Некто, видя, как редакция «Русского вестника» поглощает своих сотрудников, уподобил ее Сатурну, пожиравшему своих детей. Остался один Юпитер — но как хорош!!

В 1857 году, после долгих и мучительных колебаний, «Русский вестник» открыл Англию. «Не открыть ли нам Америку?» — шепнул А. А. Краевский г. Дудышкину. «Ну их! еще что из этого выйдет!» — отвечал г. Дудышкин. И вот почему Америка доселе остается неоткрытою.

Наконец они свиделись! И. Перейра и А. А. Краевский — оба были взволнованы. Руки, простертые для пожатия, оказывались бессильными, уста немели, и только учащенное биение сердец свидетельствовало, что один и тот же огонь согревает их. Наконец тягостное молчание было прервано А. А. Краевским. Трогательно и простодушно повествовал он о заблуждениях своей жизни: о том, как написал он статью о Борисе Годунове, о том, как изобрел он новые русские слова «Дойен д'Аге» и «Великий раздаватель милостынь», о том, как колебался между Белинским и Межевичем, о том, как в 1848 году прибегал к сотрудничеству К. Полевого...

— Однако ж все это теперь, слава богу, прошло! — заключил Андрей Александрыч,— с Дудышкиным и Басистовым:

> В надежде славы и добра
> Иду вперед я без оглядки...

— Ну и прекрасно! — отвечал Перейра.— Я сам был молод и заблуждался, был тоже сен-симонистом — и, однако ж, как видите!

Одним словом, А. А. вышел от Перейры вполне утешенный.

— Что такое «сен-симонист»? — спросил он у г. Дудышкина, возвратясь домой.

— Не знаю, надобно справиться у Чернышевского,— отвечал г. Дудышкин.

Но, за корректурами, справиться не успел. Вследствие этого А. А. Краевский до сих пор полагает, что «сен-симонист», «вор», «partageux» [1], «lex agraria» [2] — одно и то же, и даже задумал, кроме Энциклопедического словаря, приступить к изданию «Словаря синонимов»... разумеется, с пособием благотворительности.

Гарибальди пишет к другу своему Н. В. Бергу: «Несмотря на множество хлопот с Сицилией, я упиваюсь «Русским вестником». Да! аристократия, и притом историческая, и притом способная сказать независимое слово — вот последнее слово школы, восходящей из поклонения Зевсу! Я понимаю вполне, как должны трепетать сердца тверских помещиков! Только, mon cher, не завелось бы в вашей стороне слишком много индейских петухов, которые, чего доброго, осла готовы принять за Зевса... Во всяком случае, прошу вас уведомить меня по телеграфу (одно из преимуществ цивилизации!), согласен ли М. Н. Катков принять на себя бремя министерства финансов в Сицилии?»

Слухи носятся, что г-жа Евгения Тур будет с 1861 года издавать в Москве «Журнал амазонок». В числе амазонок будут гг. Вызинский и Феоктистов.

[1] сторонник раздела богатств между всеми.
[2] аграрный закон.

ГЛУПОВ И ГЛУПОВЦЫ

Общее обозрение

Что это за Глупов? откуда он? где он?

Очень наивные и очень невинные люди утверждают, что я под Глуповым разумею именно Пензу, Саратов или Рязань, а под Удар-Ерыгиным — некоего Мурыгина, тоже имеющего плоскодонную морду, и тоже с немалым любострастием заглядывающего в чужие карманы. Г-на Мурыгина мне даже показывали на железной дороге, и я действительно увидел мужчину рыжего и довольно плоскодонного. Признаюсь, я смутился. В продолжение целой минуты я думал о том, как бы это хорошо было, если б Удар-Ерыгин являлся в писаниях моих черноглазым, чернобровым и с правильным греческим профилем, но потом, однако ж, мало-помалу успокоился, ибо рассудил, что в упомянутом выше сходстве виноват не я, а maman Мурыгина.

Люди менее невинные подыскиваются, будто бы я стремился изобразить под Глуповым нечто более обширное, нежели Пензу, Саратов или Рязань. На такое предположение могу возразить только одно: оно меня огорчает. Оно до такой степени огорчает меня, что, во избежание дальнейших недоразумений, я вынужден громогласно объявить следующее:

Глупов есть Глупов; это большое населенное место, которого аборигены именуются глуповцами.

И больше ничего. Никакой Рязани тут нет, а тем более и проч. и проч.

Чтоб доказать это самым осязательным образом, я обязан войти в некоторые подробности.

Глупов раскинулся широко по обеим сторонам реки Большой Глуповицы, а также по берегам рек: Малой Глуповицы, Забулдыговки, Самодуровки и проч.

К югу Глупов граничит с Дурацким Городищем, муниципией весьма расстроенной, к западу с Воровамовым и Полуумновым — муниципиями тоже расстроенными; к северу и востоку упирается в Болваново море, названное таким образом потому, что от него, как от козла, никакой пользы глуповцы извлечь не могут.

Глупов представляет равнину, местами пересекаемую плоскими возвышенностями. Главнейшие из этих возвышенностей суть: Чертова плешь и Дураковы столбы. Чертова плешь пользуется между глуповцами большим уважением, потому что на вершине ее по временам собираются ведьмы; Дураковы столбы пользуются любовью потому, что там, за неимением в Глупове орлов, собираются воро́ны.

Истории у Глупова нет — факт печальный и тяжело отразившийся на его обитателях, ибо, вследствие его, сии последние имеют вид растерянный и вообще поступают в жизни так, как бы нечто позабыли или где-то потеряли носовой платок.

Такова топография и история Глупова. Теперь перейдем к его обитателям.

Обитатели эти разделяются на два сорта людей: на Сидорычей, которые происходят от коллежских асессоров, и на Иванушек, которые ниоткуда и ни от кого не происходят.

Это последнее обстоятельство самим глуповцам кажется столь странно замысловатым, что глуповская академия не на шутку потревожилась им. Устроен был конкурс на задачу: «Откуда произошли Иванушки?», и молодые глуповские ученые отовсюду спешили откликнуться на зов просвещенной alma mater[1]. Увенчано было премией сочинение, доказывавшее, что Иванушки происходят от сырости.

Не могу не сознаться, что это решение значительно облегчает труд мой. Приступая к определению глуповцев, как расы, существующей политически, я, очевидно, могу говорить только о Сидорычах, ибо что же могу я сказать о людях, происшедших от сырости? Сидорычи, по крайней мере, могут довести меня до какого-нибудь коллежского асессора, но до чего могут довести Иванушки? До лужи, которая заключает в себе источник сырости? Такого рода исследование, очевидно, не может быть внесено в область литературы.

Итак, предметом моих изысканий были и будут исключительно Сидорычи. Что они происходят от коллежских асессоров — это истина, с которой они соглашаются сами. Мало того что соглашаются, но даже вменяют себе это происхождение в особенную честь и заслугу. «У нас, говорят, ничего эта-

---

[1] матери-воспитательницы.

кого и в заводе не было, чтоб мы предками хвастались или по части крестовых походов прохаживались; у нас было просто: была к нам милость — нас жаловали, был гнев — отнимали пожалованное... никто как бог!» Доктрина замечательная, ибо освещает принцип личной заслуги и указывает на спину, как на главного деятеля для достижения почестей. Она замечательна еще и в том смысле, что развязывает Глупову руки в будущем и дает ему возможность с приятною непринужденностью относиться к различного рода политическим предрассудкам. Ибо какая же надобность церемониться с Сидорычем, у которого доблесть всецело заключена в спинном хребте?

Но эта же самая доктрина, так ловко обеспечившая глуповское будущее от бесполезного наплыва глуповского прошедшего, вместе с тем определила и общественное положение Сидорычей.

Отличительные свойства сидорычевской политики заключаются: а) в совершенном отсутствии корпоративной связи, и б) в патриархальном характере отношений к Иванушкам.

Рассмотрим первый из этих признаков.

Корпорация предполагает известный и притом общий целому ее составу интерес. Люди, принадлежащие к корпорации, могут иметь, относительно дел и вещей, вне корпорации стоящих (а эти дела и вещи составляют целый мир), убеждения весьма различные; они могут совсем не сходиться друг с другом в этом отношении, могут даже питать друг к другу непримиримую вражду; но, однажды ставши членами корпорации, однажды признав ее необходимость и не разорвав с ней, они обязываются сохранить по крайней мере некоторое корпоративное приличие, они ни в каком случае не имеют права отдавать на поругание своих однополчан потому только, что у одного из них денег меньше, а у другого дедушка не умел ловить на лету катышки, известные под именем милостей.

Наши Сидорычи не стесняются никакими соображениями подобного рода. Хватаясь за корпорацию обеими руками, вцепляясь в нее всеми зубами, как в некоторое святилище глуповских прав и вольностей, они, однако ж, с отменным благодушием отдают друг друга на съедение, отнюдь не подозревая, что, ругаясь над соседом, они в то же время ругаются над самими собою и предают тот самый принцип, о падении которого вопиют, как о чем-то угрожающем кончиною мира.

«Кропаче́! — говорит г. Тропачев, указывая на «нахлебника» [1], — обними его!» И надобно видеть, с каким ужасающим

[1] См. комедию «Нахлебник» И. С. Тургенева. Роль Кропачева исполняется на московской сцене г. Калининым с изумительною правдою. *(Прим. М. Е. Салтыкова.)*

прожорством, с каким кривляньем и подплясываньем устремляется Кропачев на несчастного нахлебника с целью помять ему бока и этим невинным зрелищем позабавить своего мерзавца-амфитриона! Надобно видеть гнусное подмигиванье Тропачева, надобно слышать подлый его хохот, чтоб все объяснилось совершенно наглядно и осязательно!

Сидорычи должны сочувствовать Тропачеву. Древле они забавлялись медвежьими травлями и петушиными боями, но зрелище это постепенно надоело. Потребовалось зрелище, более острое, более уязвляющее: место медведей и петухов заступили Иванушки. Это было зрелище достаточно ужасное, чтоб удовлетворить кровожадности самой взыскательной, но глуповцы народ теплый и в веселостях своих не ограниченный. Им мало показалось Иванушек: посмотрим, сказали они, каковы-то мы будем, если станем плевать в лицо друг другу и сами себе?

И с этих пор плеванье не умолкает; затрещины следуют за оглоухами, оглоухи за подзатыльниками. Каждый угощает чем бог послал, каждому воздается по делам его. Жизнь кипит, веселье не прерывается ни на минуту...

Надобно видеть глуповца вне его родного логовища, вне Глупова, чтобы понять, каким от него отдает тлением и смрадом. «Я глуповец, следовательно, я дурак необтесанный, следовательно, от меня пахнет!» — говорит вся его съежившаяся фигура.

— Vous êtes de Gloupoff, monsieur? [1] — спрашивают его.

— Oui-c, да-с,— бормочет сконфуженный Сидорыч,— désirez vous pas du champagne? [2]

И рад-радехонек, если предложение его принято, ибо тут представляется возможность предпринять целый ряд растленных рассказов о том, что Глупов — страна антропофагов, что в Глупове жить нельзя, что в Глупове не имеется образованного общества и проч.

— Да чего же смотрят Сидорычи, сии естественные представители глуповской цивилизации? — спрашивают его.

— Сидорычи? les Sydoritchs? — восклицает Сидорыч, заливаясь неистовым хохотом.

И тут следуют бесконечные рассказы о том, что пакостнее Сидорычей ничего свет не производил, что это народ гнусный, не имеющий никакого достоинства, не знакомый ни с какими науками, кроме «Правил игры в преферанс».

Кроме сознания, что они потомки коллежских асессоров

---

[1] Вы из Глупова, сударь?

[2] Да... не желаете ли шампанского?

(«кичиться-то, брат, тут нечем, что твой прадедушка за столом тарелки подавал!» — урезонивают они друг друга), глуповцы имеют еще и то ничем не сокрушимое убеждение, что все они — курицыны дети. На этом зиждутся все их политические принципы, и это же служит краеугольным камнем их союза семейственного и гражданского.

— Я курицын сын: куда же мне с этакой рожей в люди лезть! — резонно говорит глуповец и, в силу этого рассуждения, держится больше своей берлоги, если же выходит из нее, то извиняется и потчует шампанским.

Сидорычу не может и на мысль прийти, чтоб кто-нибудь находил его не гнусным, а потому он и на однополчан своих взирает с той же точки зрения, с какой взирает и на самого себя. В этом есть логика, в этом есть высокая справедливость. Петр Сидорыч тогда-то целковый с чужого стола унес, Фома Сидорыч тогда-то Якова Сидорыча в пупок поцеловал, а у Якова Сидорыча был дядя, которому тогда-то на сидорычевской сходке в глаза наплевали,— скажите на милость, где же тут доблесть, где тут примеры возвышенных чувств? Сидорычи с жадностью подстерегают друг друга на поприще столь достохвальных подвигов, с щепетильною аккуратностью ведут им подробный счет и потом радостно поздравляют друг друга с праздником.

И после этого мечтать о какой-то корпоративной связи, мечтать о каком-то уважении, которым Сидорычи обязаны друг другу потому только, что они Сидорычи! И после этого толковать о сидорычевском величии!

Да позовите самого заклятого врага, посулите ему какую угодно награду за то, чтоб изобразил вам гнусность глуповскую,— никто, ей-богу, никто не устроит это так живо и осязательно, как сами глуповцы. Глуповцы из ёрничества умеют создавать художественную картину; они прилгут, прихвастнут даже, лишь бы краски ложились погуще, лишь бы никто и сомневаться не смел, что они действительно гнусны и растленны.

Согласен, что все это очень полезно, но вместе с тем, однако ж, и отвратительно.

Сидорычи сами начинают смекать это, и мало-помалу физиономии их принимают озабоченный вид. Все хочется как бы возвеличить себя, как бы дать почувствовать, что и мы, дескать, из пшеничной муки сделаны.

Чтоб достигнуть этого, они прежде всего стараются как-нибудь подправить историю. «У меня,— говорит один,— такой предок был, что однажды железную кочергу в узел связал — вó какой!» — «А у меня,— перебивает другой,— дедушка,

живши в Париже, в Глупов за солеными огурцами нарочных посылал!» — «А мой папаша,— вступается третий,— так тот на одну француженку целых три состояния хватил побоку!» Одним словом, все полезли в историю, все подыскивают что-нибудь доблестное, но крестовых походов найти не могут.

Согласитесь, однако ж, что без крестовых походов нельзя. Крестовые походы представляли собой торжество известного принципа, и участие в них сопряжено было с немаловажными опасностями. Но какой принцип можно отыскать в связывании узлом кочерги и какую доблесть оказал знаменитый дедушка, посылавший из Парижа в Глупов за солеными огурцами? Ведь этих принципов и доблестей Иванушки могут вывалить целые пригоршни! «Ведь я,— скажет один,— и ездил гонцом-то в Глупов, когда Петр Сидорыч за огурцами посылали!» — «А я,— скажет другой,— и каждый день девятипудовые кули на себе таскаю, да не хвастаюсь!»

Понятно, следовательно, что исторические труды Сидорычей должны пропасть даром. Понятно также, что такое грустное обстоятельство должно огорчать глуповцев свыше всякой меры. Ну, как это, в самом деле, никуда-таки примкнуться нельзя! и кто это, черт, такую историю написал, в которой от первой страницы до последней все слышится «По улице мостовой», а собственно истории и не слыхать совсем!

«Обожжешься на молоке — будешь и на воду дуть»,— говорит мудрая русская пословица. Следуя ей, и Сидорычи, обжегшись на истории, начали было изыскивать другие средства к своему возвеличению. «Уж если наша история подгуляла,— говорят они,— то по крайней мере будем вести себя прилично в настоящем: будем уважать друг друга, перестанем паясничать, удивим Европу своею учтивостью!»

И ведь совсем было дело это у них сладилось, да злодей Кропачé, как на смех, всю штуку испортил. Случилось это очень просто. Попросил у него, во время сидорычевской сходки, Тропачев табачку, и даже по имени и отчеству назвал. Но, видно, на Кропачé еще не обсох вчерашний глуповский пот: услышав голос своего командира, он так щелкнул по табакерке, такую уморительную рожу скорчил, что Тропачев не выдержал.

— А какой у тебя табак? — спросил он.

— Сампантрé! — отвечал Кропачé, неистово вращая белками глаз.

Этого было достаточно, чтоб рассеять все козни Сидорычей. Видя нелепое рыло своего однополчанина, они разом припомнили те сладкие, бывалые минуты, когда и в голову никому не приходило думать о каких-то корпоративных инте-

ресах... И поднялся у них тут стук и визг, и полились реки очищенной...

— А ну-тко, Кропаче́, вприсядку!

— А ну-тко, Кропаче́, в обмочку!

— Наяривай, Кропаче́! обжигай!

И долго потом качал головой Обер-Сидорыч, взирая на потехи своих собратий, и долго повторял он унылым голосом:

— А как было хорошо пошло поначалу!

Тем и кончились сидорычевские поиски за корпоративным единством.

Поговорив о бесцеремонности сидорычевской, перейдем к сидорычевской же патриархальности.

Принято за правило ставить Сидорычам эту патриархальность в великую заслугу. «Вот,— говорят панегиристы,— каковы эти люди, что, даже при всей возможности сделаться хищными зверьми, не сделались ими, но были Иванушкам заместо отцов родных!» И в подкрепление своих панегириков приводят примеры кротости действительно беспримерной. «Вот тогда-то, говорят, ты тарелку разбил, а я не отправил тебя в часть, а наказал дома; тогда-то ты громко разговаривал в лакейской в то время, как мы кушали, но я не отодрал тебя, как распротоканалью, а легонько оттаскал за волосы». Факты, без сомнения, убедительные, но не будем увлекаться и анализируем их в подробности.

Не подлежит спору, что не все Сидорычи обращались в полицию, что иные и впрямь предпочитали наказывать дома. Но это доказательство тогда только было бы бесподобно, если б Иванушки согласились подкрепить его засвидетельствованием, что им от того было легче и что дома они чувствовали особенную приятность. Однако ж добиться этого признания трудно, во-первых, по многочисленности Иванушек и, во-вторых, по чрезвычайному разнообразию их вкусов. Кто знает? может быть, даже у них сохранились об этом предмете воспоминания... весьма горестные?

Но допустим невозможное, допустим, что Иванушки, вопреки интересам спины, в один голос признают Сидорычей патриархами. Необходимо еще убедиться в том, какие побуждения заставляли их быть патриархами, и можно ли вменить им этот факт в действительную заслугу.

— Во-первых, я полагаю, что Сидорычи если и были патриархами, то были ими именно вследствие совершенного отсутствия корпоративного смысла. Патриарх бьет, но в то же время проливает слезы; патриарх таскает за волосы, но в то же время верует, что в нем это любви действо таким образом проявляется. У Сидорычей не то. Сидорычи просто являются

патриархами потому только, что даже сечение не умеют подчинить известной регламентации. Между ними не выискалось достаточно крепкой личности, которая взяла бы на себя труд разъяснить истинные начала глуповской цивилизации, и на основании этих начал составить «Краткое руководство для деятельных отношений к Иванушкам». Но будьте уверены, что если бы между ними явился своего рода Гегель, который взялся бы все эти сидорычевские воззрения привести в систему, то и они убедились бы, что патриархальность только мешает и что можно бить и больнее и действительнее, не выходя из рамок законности и даже не оскорбляя общественных приличий. Что доктрина подобного содержания могла бы найти доступ в Глупов и даже укорениться в нем, в этом я убеждаюсь, взирая на тех юных сынов его, которые, возвратясь из-за границы, изумляют мир хорошими манерами. Между ними уже есть связь, между ними существует молчаливое согласие, в них уже слышится присутствие внутреннего голоса, который постоянно твердит им: «Не ори, не ругайся как оглашенный, не тычь руками зря вперед, но пропекай с сознанием и постепенно, ни на минуту не упуская из вида чувства собственного достоинства». Число юных глуповцев, постепенно увеличиваясь, достигло в последнее время громадных размеров, и я сам видел, как бледнели и терялись Иванушки при одном взгляде этих доктринеров розги и кулака.

Во-вторых, я нахожу, что была еще другая, более тонкого свойства причина, заставлявшая Сидорычей придерживаться патриархальности.

Известно, что наши сидорычевские mamans в деле любви всегда следовали правилам космополитизма, и теорию croisement des races[1] почитали совершеннейшею из теорий размножения человеческого рода. Недаром они в молодости пели:

Законы осуждают
Предмет моей любви,
Но кто, о сердце! может
Противиться тебе?

«Никто»,— отвечало сердце, и дело теории croisement des races торжествовало. Но вместе с тем это торжество связывало руки Сидорычам, ибо всякий из них постоянно находился под угрозой мучительного запроса: «А что, если Филька, который трясется на запятках, мой брат?», «А что, если Семка, сидящий на козлах, мой дядя?»

Согласитесь, что, при таких условиях, не быть патриархом не только трудно, но даже и совсем невозможно.

---

[1] скрещения рас.

Итак, мы рассмотрели в общих чертах как топографию Глупова, так и главнейшие свойства его обитателей.

Буду ли я затем говорить о гражданских и семейных добродетелях глуповцев? о том, что они верны женам своим до тех пор, покуда им подвезут из деревень нового запаса «канареек», о том, что они любят питаться, и употребление в известные дни буженины с чесноком возвели на степень принципа.

Нет, не буду, ибо меня занимает не домашнее устройство Сидорычей, об этом и без меня довольно писали — но поведение и дела их, как расы, существующей политически.

Буду ли я говорить о торговле глуповской? Нет, не буду, ибо что в том толку, что я докажу, что глуповцы некогда имели торговые сношения с Византией, если в настоящее время они торгуют только лаптями да веревками, потому будто бы, что мелких денег нет?

Буду ли говорить о воинской доблести глуповцев? Нет, не буду, ибо этот сюжет достаточно разработан нашим знаменитым историком Михайловским-Данилевским, и дальше его на этом пути идти не дозволено.

Буду ли говорить о том, что глуповцы усердно ходят к заутрене и к обедне? Нет, не буду.

Что ж это такое? — спросит изумленный читатель,— неужели в Глупóве только и нашлось, что отсутствие корпоративной связи да некоторая патриархальность приемов?

Сознаюсь, что можно бы найти кое-что и побольше, но для меня достаточно и этого. Меня интересует собственно возрождение глуповское и отношение к нему глуповцев, и в этих видах я стараюсь выяснить себе те материалы, которые должны послужить ему основанием.

Материалов этих или совсем не оказывается, или оказываются только отрицательные. Но меня это не огорчает, ибо я тех мыслей, что чем менее старого хлама налегает на будущее, тем лучше. С этой точки зрения, насилие, дикость и произвол — не страшны, а тупоумие даже утешительно. С этой точки зрения, я даже не без игривости взираю на те попытки возвратиться к прежним прожорливым основам жизни, которые по временам дают еще знать о себе довольно сурово и настойчиво. Это простое право естественной защиты, это просто страх смерти, говорю я и прохожу себе далее.

ГЛУПОВСКОЕ РАСПУТСТВО

I

«Я был уж малым лет тринадцати, когда papa и maman заблагорассудили вверить мое воспитание некоему мосьё Жоливѐ. Этот ужасный француз заставлял меня зубрить без отдыха и, сверх того, за малейшую шалость, немилосердно колотил. Тело мое бывало буквально сплошь покрыто синяками, но жаловаться на моего тирана я не смел, потому что жалобы обыкновенно кончались тем, что maman уводила меня за ухо в свою комнату и там пребольно секла. Вследствие этого я терпел молча, но злился и присматривался.

Однажды мне удалось-таки поймать моего мучителя с горничной.

С тех пор все изменилось. Я не только заставил Жоливѐ на коленях просить у меня прощения, но еще завладел его любовницей (мне было тогда около пятнадцати лет, и я уже в то время выказывал замечательно лихие способности!). С тех пор мы сделались неразлучны: вместе отправлялись на село в ночные экспедиции по части клубнички, вместе напивались пьяны, воруя нужное для нас вино из отческого погреба...

Одним словом, я получил возможность развиваться разносторонне и вполне беспрепятственно. Жоливѐ из прежнего тирана, приводившего меня в трепет одним своим появлением сделался милейшим из людей и преданнейшим из наперсников. И тут-то именно я имел случай убедиться, какие огромные преимущества имеет за собой цивилизация старинная, окрепшая и определившаяся, перед цивилизацией едва возникающей, робкой и беспрестанно оглядывающейся. Истинно вам говорю: il n'y a que les français pour toutes ces jolies choses[1], которые сдабривают скуку и невыносимую прозу жизни!

---

[1] только французы созданы для всех этих прелестных шалостей.

Мастерство изумительное! Жоливѐ ни слова не знал по-русски, однако ж такой имел дар убеждения, что не было, кажется, на селе ни одной крестьянской бабы, которая противостояла бы ему! Только скажет, бывало: «Mily Tipasch (Степаша), schilitt mojna?» — или телодвижение какое-нибудь уморительное сделает — и дело в шляпе! Все это у него как-то так мило выходило, что девки дурели почти мгновенно.

И вот теперь, как видите: живу, жуирую и даже произвожу некоторый эффект в обществе!»

Так рассказывал мне простодушный приятель мой, Митрофан Простаков, трогательную историю своей юности.

Если верить «Истории» Кайданова, нечто подобное описанному выше происшествию случилось некогда с Западной Римской империей. Долго Древний Рим, гордый своими славными победами, гордый доблестью сынов своих, гордый могуществом своего имени, твердою рукою держал бразды правления вселенной, долго обуздывал он страсти, обуревавшие диких варваров, поселившихся на гранях образованного мира, долго одних из них гладил по головке, другим же бестрепетно и часто подсматривал под рубашку... покуда наконец бедному пастухову сыну Генсериху не удалось его застать... Известно всем учащим и учащимся, какого страшного переполоха наделало это само по себе весьма простое происшествие: во-первых, при помощи его пастуховы дети сделались владыками мира, и во-вторых, миру отнюдь не стало от того лучше.

Увы! пастуховы дети бесчеловечны! Увы! если им чего-нибудь хочется, то на первом плане у них всегда и непременно действует «логика страстей». Увы! им нет дела до того, что в неуклюжих их объятиях бьется и стонет тысячелетняя цивилизация; они даже нимало не обращают внимания на то, что отдаленное потомство, за неучтивое обращение, может назвать их варварами... Они, не обинуясь, идут к самому предмету своих вожделений и продерзостно мнут и колотят его, если он изъявляет хотя малейшее поползновение к сопротивлению... Но за то, по временам, дарят его и наслаждениями, теми жгучими, почти невыносимыми наслаждениями, тайной которых обладают только пастуховы дети. Такого рода наслаждения, из моих знакомых, испытывала только добрая барыня Любовь Александровна в то время, когда возвысила до себя дворового своего человека Петрушку...

Нечто подобное совершается на наших глазах и с родным Глуповым. Долго и безнаказанно распутствовал старый Глупов, но теперь он трещит, ибо его застали, теперь он разлагается, ибо собственное его распутство точит его. И в нем

таки выискался свой Митрофан, который не усумнился отнять всё, даже до последней любовницы; и в нем народился свой злой Генсерих, который не затруднился поднять руку даже на такую заплесневшую и почтенную вещь, как глуповская цивилизация. Но глуповский Генсерих не прозывается ни Генсерихом, ни Бренном, ни Атиллой, ни даже Митрофаном. Он зовется Иваном. Хорошо и мягко Митрофан, но Иван еще звончее и слаще звучит для глуповского уха, ибо к нему как-то складнее и удобнее прилагается прозвище «дурачок», которое он справедливо стяжал бесчисленными годами усилий (тоже своего рода глуповская цивилизация).

Вселенная, свидетельница этого явления, притаила дыхание и не шелохнется. «Что-то будет? что-то будет? — спрашивает она себя в заметном смущении,— испытает ли Глупов те жгучие наслаждения, которые некогда испытывала, в древних стенах его, добрая барыня Любовь Александровна?»

Но для того чтоб поставить вопрос как можно яснее, необходимо рассказать читателю историю Петрушки.

Петрушка рос на глазах у Любови Александровны, и Любовь Александровна с удовольствием замечала, что из него формируется молодой человек сильный, статный и красивый. Любовь Александровна была вдова, и притом вдова слабая, нервная и очень добрая. Сколько раз, бывало, в интимной беседе с своей компаньонкой она говаривала:

— Ах, друг мой, Надежда Ивановна! если б вы знали, как мне тяжко! ах, как мне тяжко!

И хотя не объясняла, какого рода удручает ее тяжесть, но Надежда Ивановна умела хорошо понимать и без лишних слов. И обе они вздыхали, обе вперяли глаза в неизглядную даль, на туманном фоне которой кокетливо рисовался Петрушка, играющий в бабки, Петрушка, стоящий за стулом с тарелкой под мышкой, Петрушка, поедающий объедки, оставшиеся после жирной барской трапезы.

— А как вы думаете, Надежда Ивановна, из Пьера выйдет верный слуга? — спрашивала с беспокойством Любовь Алекса́ндровна,— он не обманет? Он не сделает, как этот мерзавец Костяшка? Он не забудется против своей благодетельницы, как Ионка-подлец?

Надежда Ивановна удостоверяла, что «не обманет», «не сделает» и «не забудется». После этого Любовь Александровна опять легонько вздыхала и опять произносила:

— Ах, ma chère, если б вы только знали, как мне тяжко! ах, как мне тяжко!

А Петрушка между тем рос себе да рос; в плечах широк, телом бел, с лица румян — загляденье! Да и баловала же его

добрая барыня, Любовь Александровна! Накладет, бывало, себе на тарелку всякого кушанья стогом, чуточку вилкой поворошит и сдаст все Петрушке. А Петрушка лопает себе и думает, что так тому и быть должно. Или вот встретится с Петрушкой в коридоре: «Пьер! — скажет,— ты будешь мне верным слугой?» И, сказавши это, словно растеряется.

— А что вам служить-то? нешто вы сто́ите? — ответит Петрушка, а сам так и загорится весь.

Таким манером мялось да тянулось у них это дело до тех пор, пока барыне в город не занадобилось ехать. Собралась и Петрушку с собой захватила. Дорогой все представлялся Любови Александровне Ионка-подлец, который однажды чуть-чуть в нее подсвечником не пустил («еще слава богу, что хоть потом-то кой-как его в солдаты сбыла!»), а Петрушка тем временем лихачом таким на облучке приснастился, только и дела, что к барыне оборачивается да смотрит на нее... ну, словно твой май радошный смотрит! К ночи на постоялый двор взъехали; покушала Любовь Александровна чаю; хотелось еще курочки домашненькой да белорыбицы провесненькой покушать, однако не могла. Даже Надежда Ивановна выговорила:

— Ах, ma chère, я просто не постигаю, как только это вы есть в состоянии!

Только непроглядная же и ночь на дворе стояла! Ни огонька в мужичьих избах, ни души на улице; даже собаки притаились и не вякнут; даже извозчичьи лошади перестали мотать головами и вздрагивать бубенчиками. А ветер все крепчает да крепчает и, прорываясь сквозь пазы ветхих мужичьих избенок, так-то жалостливо ноет, словно все сердце человеческое высосать хочет. А сверху все сыплет да сыплет пушистым белым саваном на помертвевшую землю, и вдруг точно ливнем каким засыплет в окошко, и выглянет в горницу со двора словно голова мертвеца безокая...

Говорит этот ветер Ивану молодшему:

«Спи, молодший Иван! спи, сирота! однако ума, смотри, не проспи! Ох, измаялся, извздыхался ты, разанафемское тягло жизни тянучи! поизмяло-таки, поистратило тебя злое лютое гореваньице! Ж-ж-ж-и-и-и! спи, Иван! ж-ж-ж-и-и-и! сирота!

Уж и холодно ж молодшему Ивану на нетопленной печке спати! Уж и голодно ж дураку, не лопавши, длинну ночь коротати! Оборвался весь! изломался весь! обмололся весь! Ж-ж-ж-и-и-и! спи, Иван! ж-ж-ж-и-и-и! сирота!

Уж и где ж молодшему Ивану сытого ества добывати! Уж и где ж дураку пьяного пойла промышляти! Где ему для мла-

дой хозяюшки платья цветного поискати! Ж-ж-ж-и-и-и! спи, Иван! ж-ж-ж-и-и-и! сирота!

Вышел бы Иван в темную дубраву ества добывати! Стал бы я, Иван, на большой дороге пойла промышляти! Взял бы я, Иван, свой топорик вострый! Ж-ж-ж-и-и-и! спи, Иван! ж-ж-ж-и-и-и! сирота!

Темную дубраву снегом завалило! Ждать-то на дороге холодно да жутко! Был топорик вострый — был да притупился! Ж-ж-ж-и-и-и! спи, Иван! ж-ж-ж-и-и-и! сирота!

Встань же, молодший Иван! помолися святому Николе! Милостив угодник — может, и пособит! Именем Христовым хлебца насбираешь, печурку истопишь, бабу нарядишь! Ж-ж-ж-и-и-и! спи, Иван! ж-ж-ж-и-и-и! сирота!»

А Любови Александровне не спится. И жутко-то ей и сладко. Слышит она, как Петрушка на сундуке за перегородкой с боку на бок ворочается, слышит и думает: «Господи! да неужто ж и в самом деле на дворе такая ночь темная?»

— Петруня! а Петруня! — говорит она,— встань да посмотри-ка в окно: никак, кто глядит!

Встал Петрушка, подошел к окну: ничего! никто таки в окно не глядит!

И опять все смолкло. В соседней комнате бестолково стучит маятник, и в такт ему вторит тонкий свист безмятежной Надежды Ивановны. Господи! вот и опять белая голова в окно показалась! вон кто-то словно стукнул под окном... У Любови Александровны сердце замерло; Любови Александровне душно и страшно...

— Петруня! а Петруня! чтой-то словно мне робко! — шепчет она,— кабы ты лег на полу...

Да; на дворе непроглядная ночь стояла, а у Любови Александровны майское солнышко в сердце разгоралося; да; на дворе бушевала бешеная вьюга, а у Любови Александровны райские цветики в сердце расцветали! Ох, да и светла же, тепла же была ночь темная, длинная!..

— Ты будешь, Петруня, мне верным слугой? — шептала Любовь Александровна, когда сквозь окошки робко проглянул первый луч белого света. . . . .

. . . .

Однако Любовь Александровна ошиблась в расчете. Петрушка слишком скоро доказал, что он еще более невежлив, нежели Костяшка-мерзавец и Ионка-подлец. Во-первых, он немедленно потребовал, чтоб его величали Петром Афанасьичем, во-вторых, начал знаться только с попами да с соседними приказчиками, и в-третьих, наконец, винища этого стал напиваться даже до скверноты. И добро бы еще тихим манером,

в четырех стенах натрескаться, а то норовит как бы в чужих людях, и чем больше народу, тем сильней да сильней его словно черт под бока толкает:

— Я,— говорит,— у барыни первый человек есть! Я,— говорит,— с барыней что желаю, то и сделаю!

Любовь Александровна слушает, бывало, рассказы о Петрушкиных проделках, да только пальчиком около пальчика перевертывает.

— А что,— говорит,— ведь эдак он, Надежда Ивановна, меня на весь околоток ославит!

Надежда Ивановна молчит и вздыхает.

— Да он, видно, позабыл, курицын сын, что я ему завтра же лоб забрить велю! — храбрится Любовь Александровна.

Надежда Ивановна опять молчит и вздыхает.

— Да что ж молчишь-то, сударыня! — пристает Любовь Александровна,— что ты, как лошадь сапатая, все «фу» да «фу»! Ведь я его, подлеца, сегодня же в Сибирь упеку!

— Всё-то вы только хвастаетесь! — молвит Надежда Ивановна и отойдет от расстроенной барыни прочь.

И сядет наша барыня около окошечка и учнет опять на дорожку поглядывать, не везут ли ее Петрушеньку ненаглядного, не наставили ли ему злые люди фонарей под глаза, не ушибли ли вымерясь его, голубя кроткого? И как увидит, что везут, вся так и встрепенется, сердечная: и самовар-то ставить велит, и закуску-то готовить, и постелюшку-то стлать приказывает — неравно, мол, отдохнуть с дороги захочется.

А он себе ломит нахрапом вперед да сопит с пьяных глаз. Она к нему с лаской да с вежливостью, а он в ответ: «Отвяжись, мол, ты, старые дрожжи!.. надоела!» Ну и отойдет; только поплачет где-нибудь в уголку да потихонечку скажет:

— Не попоить ли его малинкой с дороги-то, Надежда Ивановна?

— Нашли чего... малинки! — желчно огрызнется Надежда Ивановна.

Так-таки и не отдали в солдаты Петрушеньку.

Разберем этот случай логически.

Вопрос первый. Почему Любовь Александровна обратила внимание на Петрушку и могла ли она не обратить его?

Выше было сказано, что Любовь Александровна была вдова расстроенная. Увы! кто испытал на себе, что значит всеобщее расстройство, тот знает, как оно тяжело! Это совсем не то, что какой-нибудь пальчик болит,— нет, это общее, повсеместное воздыхание, это тоска, это потерянный аппетит к жизни. Болезнь подкрадывается неслышными шагами; постепенно, один за другим, она обрывает цветы человеческой

жизни и наконец оставляет лишь остов, нагой и безобразный остов. Нет больше утех! виды мелькают впереди всё туманные да сомнительные, воображение тухнет, изобретательность оказывается ничтожною! Что делать, куда деваться, чтоб поднять жизненный уровень?

Любовь Александровна узнала на опыте и эту тоску, и это повсеместное воздыхание. «Господи! скука какая! — говаривала она, наслушавшись вдоволь сплётен горничных и Надежды Ивановны и взаимных друг на друга доносов старосты и ключницы,— хоть бы кто-нибудь заехал, что ли?» Но, как назло, никто не заезжал, никто и не думал рассеять скучающую вдову, потому что кругом жили тоже всё вдовы, расстроенные и скучающие, которым впору было совладать со своей собственной скукой. И снова она принималась за сплётни и пересуды, и снова зевала и жаловалась, не находя в них ничего такого, что не было бы ей заранее и наизусть известно. А между тем внутри что-то горит и подманивает; с каждым днем настоятельнее и настоятельнее сказывается неутоленная жажда жизни; сердце болит, сердце изнемогает и стонет...

Любовь Александровна оглядывается и ищет; но, по примеру прочих своих сограждан, она не заносится мыслью далеко, а ищет около себя, стремится устроить себе утеху домашнюю, такую утеху, которая была бы всегда под руками.

А под руками что? Под руками Петрушка, у которого только что черный ус над губой начинает прорезываться, Петрушка, от щек которого, покрытых нежнейшим персиковым пухом, так и пышет здоровьем и силою; под руками Петрушка, черноволосый, чернобровый и черноглазый; глаза у него так и искрятся, так и жгут, а пухлые малиновые губы так и манят... «Ах, черт побери да и совсем!» — в волненье произносит Любовь Александровна и даже повертывается на стуле.

— Скучно жить на свете, Надежда Ивановна! — в сотый раз обращается она к своей приживалке.

— Уж на что же, матушка, вашей жизни постылее! — в сотый же раз отвечает ей приживалка.

Любовь Александровна изнемогает и тает. Она сознает, что жизнь для нее невозможна, что ей не всласть ни грибки в уксусе, ни осетринка с хреном,— одним словом, ничего из того, что прежде так сладко тешило и наполняло жизнь. Рок неудержимо влечет ее на новую дорогу; он заставляет сильнее стучать ее сердце; он нежит ее лицо напоенными весенним ароматом ветрами, он распаляет ее голову... Любовь Александровна стонет и идет, стонет и идет...

— Петруня! а Петруня! никак, кто в окно смотрит! — лепечет она бессознательно.

А у Петруни дыханье занимается, глаза меркнут, губы белеют, гортань засыхает...

Нет, воля ваша, а Любовь Александровна поступает совершенно логично, обращая внимание на Петрушку; она должна это сделать, она *не может* поступить иначе.

Второй вопрос. Имела ли Любовь Александровна основание надеяться, что Петрушка будет ей верным слугой? Не должны ли были остановить ее в этих ожиданиях примеры Костяшки-мерзавца и Ионки-подлеца, отплативших своей благодетельнице такою черною неблагодарностью?

Я полагаю, что имела, и в этом случае примеры Костяшки и Ионки не только не опровергают мою мысль, но даже подтверждают ее. Костяшка и Ионка действительно были большие грубияны, но ведь Любовь Александровна управилась же с ними, и притом как легко управилась! забрила лбы — так и канули оба в воду! Имея такой précédent[1], надеяться легко и удобно. С одной стороны, есть в виду соображение, что Петрушка не осмелится, что он, зная участь, постигшую его предшественников, убоится идти по стопам их; с другой стороны, в запасе всегда хранится надежная лазейка, удостоверяющая в том, что если Петрушка и впрямь тово... то можно будет и с ним поступить по всей строгости. Одним словом, удобство и легкость наслаждения умопомрачительные! Как ни прикинь, все хорошо выходит, да и как еще хорошо-то!

— Ах, черт возьми да и совсем! — повторяет Любовь Александровна и еще нетерпеливее повертывается на стуле.

Но к чести нашей барыни следует сказать, что ею руководили не одни изложенные выше соображения. Нет, она серьезно верила, что Петрушка будет любить ее, что он оценит ее ласку. Она верила, потому что у ней самой раскрывалось сердце, потому что ее саму томила жажда любви. Пример Ионки, едва не бросившего в нее подсвечником, отнюдь не мог быть для нее убедительным: Ионка был подлец, а Петруня такой славный, кроткий да смирный! Увы! ей никак не могло прийти в голову, что пастуховы дети всегда остаются верными себе, что у них есть врожденное свойство не помнить ласк и благодеяний и что бросанье подсвечниками составляет слишком привычное для них ремесло, чтоб они отказались от него добровольно!

Да и Надежда Ивановна («эта скверная Надеха!», как называла ее Любовь Александровна в порывах гнева) тут подвернулась. Лебезит языком да виляет своим поганым хвостом

---

[1] прецедент.

перед расстроенной барыней. «Будет верным слугой! не забудется перед своей благодетельницей!» — говорит она, и говорит не потому, чтобы в самом деле радовалась возвышению Петрушки (она очень хорошо понимает, что с этим возвышением влияние ее в доме необходимо должно умалиться), а потому, что видит неотразимость факта, потому, что, за ее предостережения, Петрушка может впоследствии отплатить ей знатною трепкой, потому, наконец, что самый язык не поворачивается, чтоб выговорить что-нибудь иное... Нет, воля ваша, а тут, куда ни обернись, везде фатум, везде непреодолимая воля судеб! И примеры, и Надежда Ивановна, и, наконец, сама Любовь Александровна — все это в заговоре в пользу Петрушки, все это выносит его на своих плечах, все это убаюкивает и ублажает его, как любимое и дорогое сердцу детище!

Скажите же на милость, может ли после этого быть допущено хотя малейшее сомнение насчет содержания ответов на предложенные вопросы? Могут ли самые вопросы быть названы сколько-нибудь резонными?

Третий вопрос. Должен ли был Петрушка оставаться верным? имела ли возможность Любовь Александровна избежать подчинения ему?

По-видимому, вопрос разрешается легко, и именно в утвердительном смысле, то есть «должен» и «имела». Не говоря уже о том, что платить черною неблагодарностью за оказанные благодеяния очень стыдно, спрашивается: какой расчет, какой смысл в этом? Всем известно, что людям ласковым, кротким, «благонравным» несравненно теплее жить на свете, нежели грубиянам и буянам. Сын ласковый и почтительный, сын, даже во сне беспрерывно повторяющий: «милый papa!», «дорогая maman!» (хотя бы папаша был известный шулер, а мамаша — не менее известная femme galante [1]), получает из наследственного достояния гораздо большую часть, нежели сын угрюмый и огрызающийся. Чиновник, изображающий на лице своем светлый праздник при виде доброго начальника, чиновник, поспешающий подать начальнику стул, а при случае дерзающий поцеловать его в плечико, получит и чинишко раньше, и из остаточков к праздникам побольше, нежели чиновник, который при виде начальника неприлично харкает, а когда начальник садится, то не только не пододвигает ему стула, но даже стремится оный из-под него выдернуть (за что этаких-то и любить?). Следовательно, прямая выгода Петрушки, как облагодетельствованного лица, требовала, чтоб он

---

[1] доступная женщина.

потихоньку пользовался приятностями своего положения и хорошим поведением радовал и утешал свою благодетельницу.

Но, рассуждая таким образом, мы упускаем из виду, что имеем дело с человеком необразованным, с простосердечным сыном пастыря, не получившим никакого понятия ни об изяществе манер, ни о том, что благодарность есть первое и отличительное качество благовоспитанных детей. Нам, людям хорошего тона, все эти истины, конечно, должны быть очень понятны, ибо мы с самых нежных лет вращались, так сказать, в области joli;[1] ибо мы постоянно имели в глазах своих приятные и милые образцы. У нас papa и maman были такие хорошенькие (почти сахарные!); при нас никто никогда не рискнул произнести двусмысленное слово; нам давали столько конфект и игрушек, что мы не имели никакого повода ни дерябить, ни злиться... Так! мы должны быть благодарными! мы не смеем быть неблагодарными! Но Петрушкино дело — совсем иное. Вырос он, что называется, как крапива растет: солнышком палило, дождичком поливало — он и рос. Но по этой-то, быть может, причине и заползала в его сердце все этакая грязь да нечистота — ни тени благодарности! Тятька и мамка были у него персоны оборванные и пахли навозом — ни тени приятных манер! Сам он проводил время в том, что либо сосал корку черного хлеба, либо во всю мочь дерябил, за что был немедленно и в изобилии награждаем подзатыльниками — ни тени возвышенного! ни тени поучительного! Провидите ли вы, о чувствительные сердца! какое богатое будущее зарождается в этом богатом настоящем?

Одним словом, грубый дворовый мальчишка, Петрушка не мог и не обязывался сделаться ничем иным, как грубым же простолюдином — аксиос! Из-за чего же ему надрываться? Из-за чего ему совершенствовать свое сердце, приобретать благородные наклонности и увеселять взоры дам «совсем не простолюдинскими» манерами? Да если б и хотел он совершенствоваться, надрываться и увеселять взоры — не может! Сказано, грубый простолюдин,— и дело с концом!

Но, кроме всех этих данных, есть еще у него и умишко койкакой. Этот умишко подсказывает, что если Любовь Александровна возвысила его до себя, стало быть, она имеет в том надобность. А если он ей нужен, стало быть, они квиты. Отсюда: «Любка! пляши!», «Любка, пой песни!», «Любка, снимай сапоги!» и т. д. Такова уж дурацкая манера рассуждать у грубых простолюдинов. Не в силах они постигнуть, что в хорошо

---

[1] изящного.

организованной человеческой голове с большою удобностью могут рядом умещаться такие понятия, как «равен» и «не равен», «квит» и «не квит». Что ж? Это ихнее простолюдинское несчастие, а не злонамеренность же!

Итак, Петрушка не мог быть благодарным, не мог быть верным слугой. Кроме того что он не обладал необходимою для подобного ремесла возвышенностью чувств, он изменил бы себе, если б, в благодарность за ласку, не положил немедленно ноги на стол, он изменил бы своему прошлому, он сделался бы перебежчиком и ренегатом, он сделался бы презренным от всех людей!

Не имела ли возможности Любовь Александровна избежать подчинения Петрушке? Нет, не имела, потому что, как доказано выше, в одном Петрушке видела для себя спасение и жизнь. Однако не подчинялась же она ни Костяшке, ни Ионке? Действительно, не подчинялась, но почему? А потому, что Костяшка и Ионка хотя и были те же Петрушки, но Петрушки преждевременные, Петрушки, так сказать, не выросшие в меру настоящего крепыша Петрушки. В то счастливое время Любовь Александровна не была еще так расстроена; в то счастливое время она имела голос властный, походку твердую, а взорами приводила в трепет не только Петрушек, но, пожалуй, и Глупов в целом его составе. При такой обстановке само собою разумеется, что Петрушки могли только делать попытки, но очевидно также, что попытки эти не могли быть ни своевременными, ни удачными. А теперь... что за перемена, что за странный вид представляется взорам! С одной стороны, Любовь Александровна с померкшими взорами, с неверною поступью, Любовь Александровна дряхлеющая, но все еще жаждущая любви и жизни, расстроенная, но все еще надеющаяся и живущая в будущем; с другой стороны — Петрушка, не тот робкий Петрушка, огрызающийся лишь под пьяную руку и цепенеющий при одном взоре гневной барыни, но Петрушка властный, Петрушка, собирающийся унести на плечах своих вселенную, Петрушка румяный и довольный, Петрушка в красном жилете и голубых штанах, Петрушка в енотах и соболях, Петрушка, показывающий целый ряд белых как кипень зубов... Или этого мало! Или молодое, свежее и здоровое не посечет ветхого, изгнивающего и издыхающего? Да где ж после этого была бы справедливость, читатель?

Нет, Любовь Александровна не могла не подчиниться Петрушке! Если хотите, она могла жаловаться на него и Надежде Ивановне, и девке Аришке, и Агашке-паскуде; но противоречить ему, но бунтоваться против него не могла — это верно!

II

А теперь, объяснив историю Любови Александровны, вновь обратимся к милому Глупову.

В его истории я нахожу поразительное сходство с историей Митрофана, Древнего Рима и Любови Александровны, хотя несомненно, что относительно величия Глупов скорее напоминает Древний Рим, нежели Митрофана.

Что Глупов велик — в этом легко убедится всякий, кто не поленится взглянуть на план его. Мало того что раскинулся неглиже по обеим Глуповицам, но кузницами своими уперся почти в самое Дурацкое Городище (тоже замечательная, в своем роде, муниципия!). Я утверждаю, что в этом отношении он даже имеет превосходство над Римом, потому что последний обладал в стенах своих только одною рекою Тибром, да и то грязною, более похожею на наш Дурий брод, нежели на настоящую реку. Об кузницах же и говорить нечего; они составляют нашу гордость и славу, потому что в них изготовляются не только прекрасные и блестящие подковы, но и весьма прочные кандалы. Затем, говорят, что у Рима было семь холмов — эка невидаль! да у нас в Глупове можно насчитать до сотни таких разанафемских горуш и косогоров, на которых ежегодно побивается до тысячи извозчичьих кляч — ей, не лгу! А огороды-то наши! а пустыри-то наши! Ах, матушки вы мои!

Итак, насчет красоты и величия бабушка еще надвое сказала, кто кому нос утрет! Но, быть может, Рим имеет преферанс по части доблести сынов своих? Посудим.

Нет сомнения, что сыны Рима были доблестны. Стоит только вспомнить Сципионов да Аннибала в древнейшие времена, а позднее Гелиогабала да Каллигулу, чтоб растеряться от удовольствия. Но ведь если начать считаться, то и мы, глуповцы, не уступим, потому что таких приятных граждан, как Каллигула, и у нас предовольно найдется. Еще намеднись у нас городничий целый обывательский овин сжег единственно для того, чтоб показать начальству, как у него команда исправно действует,— чем не Нерон! А третьёводнись земский исправник с целой стаей собак в суд вломился,— чем не Каллигула! Нет, уж если мы возьмемся за дело да начнем пересчитывать,— никакому Риму не устоять перед нами в отношении доблести! Только круг действия не так обширен, но наклонности те же — это верно.

Дело в том, что в то время, когда у нас развеселое житье на Глупове стояло да харчу всякого разливанное море было, нам куда как ловко было оказывать себя доблестными. Созовем, бывало, наших Иванушек да прикажем им быть доблест-

ными,— кто же нам в этом мог сделать препятствие? Прут, бывало, наши Иванушки да прут себе полегоньку вперед, а мы только знай сидим на полатях да покрикиваем: «Молодца, Иван! ай да глуповцы! наяривай, братцы, его, супостата! наяривай!» И столь много лестного об себе мы таким манером накричали, что целый даже свет, как завидит, бывало, наших глуповских ребят, так в один голос и зазевает: «Посторонитесь, господа! Это непобедимые глуповцы идут!»

Стало быть, и насчет доблести сынов тоже бабушка еще надвое сказала, кто кому нос утрет...

Но Рим, несмотря ни на величие свое, ни на доблесть сынов своих, все-таки пал от руки пастуховых детей... Боже! ужели та же участь предстоит и Глупову?

Но здесь я должен расстаться с Римом и обратиться к истории Любови Александровны, как наиболее нам современной и сильнее отдающей глуповским запахом.

Подобно Любови Александровне, Глупов сморщился и одряхлел; подобно ей, он чувствует, что жизненные начала, которыми он пробавлялся до сих пор, иссякли и что для того, чтоб не лишиться возможности продолжать жить, необходимо, чтобы скверная, густая кровь, до сего времени поддерживавшая организм, обновилась новою, свежею струею, непричастною глуповскому миросозерцанию, не подкупленною ни глуповскими устными преданиями, ни глуповскою историей.

— Господи! совсем-таки невозможно жить стало! и скучно-то! и дорого-то! и мелких денег нет! — вопит Глупов и нюхает по сторонам, как будто спрашивает: откуда мне сие?.. и ничего-таки не понимает!

Да! великую и скорбную думу думаешь ты, старый Глупов! Вот и поел бы ты, да кусок в горле поперек становится; вот и поспал бы ты, да клопы какие-то ползут из щелей диковинные, не то что прежние, что напьются, бывало, до барабанного состояния, да и спать уйдут, а какие-то несыти, что пьют-пьют и в то же время все вон из себя испускают и опять пьют, и опять испускают! И в карты бы ты поиграл, но к тебе лезут все двойки, не то что, бывало, прежде: тузы да короли! тузы да короли! Ах! заела разумную твою головушку думушка черная да заботушка горькая: что, мол, это значит такое, что я как будто все тот же, что и прежде был: и брюхо пространное, и инстинкты те же, а вот не живется, да и не живется совсем!»

Это оттого, милый Глупов, что тебе любви хочется.

На лысую твою голову ударил живительный луч солнца, в заспанное твое лицо пахнуло благоухающими ветрами весны... Отсюда зуд во всем теле, тот возбуждающий зуд,

который с особенною настойчивостью сказывается в старческих организмах. Ах! был бы ты молод, размотал бы ты, по ветру развеял бы думушку черную, да и пошел бы себе, подплясывая, по дороге жизни торёной, уезженной, а теперь вот, при твоей старости, да при твоей слабости, и развеять-то некуда, и размотать-то некому: засела, проклятая, в самую центру, и жжет, и точит там, а ты нянчись с ней, носи ее завсегда с собою, будь рабом своей недавней крепостной холопки!

А Иванушки проходят мимо, кудрявые Иванушки, кровь с молоком, Иванушки, у которых под ногами пространство горит! Проходят они, и зубы, как кипень белые, показывают!

«Сем-ка,— думаешь ты,— понюхаю я этих Иванушек! В старину бывали они народ смирный, работяга народ!»

И здесь, как и в истории Любови Александровны, с одной стороны действует роковая сила обстоятельств, а с другой — затаенный расчет. Роковая сила говорит: «Нельзя жить!» — и жить действительно оказывается нельзя. Что ни выдумывай, как ни перевертывайся, как ни играй шарами, как ни стучи лбом об стену — пользы от этого не выйдет ни на грош.

Ибо:

Воображение и всегда-то было тускло и неизобретательно, а тут еще память проклятая, словно назло, сохранила всю юношескую свежесть и силу: всё-то прежние, бывалые штуки-фигуры подсовывает, и ничего-то нового, ничего-то непротухлого, насквозь не проеденного молью! Память прошлого, как репейник скверный, заполонила ниву воображения и вконец убила силу творчества.

Шары... но и шары сами собой выпадают из рук, к великому скандалу глазеющей публики, потому что руки трясутся и положительно оказываются лишенными прежнего проворства.

Стена... но стена тоже ничего не говорит желающему сокрушить ее лбу, потому что она стена и может вести разговор лишь о том, кто кого разобьет: она ли глуповский огнепостоянный лоб или глуповский огнепостоянный лоб ее.

Перевертываться... но скажите на милость, какая тут прибыль особенная или какая тут грация со спины на брюшко, да с брюшка на спину перевертываться? Что тут поучительного? Где тут пища для возвышенных чувств?

— Нельзя жить! нельзя жить! — долбит роковая сила обстоятельств, и будет долбить и долбить до тех пор, пока вконец не раздолбит старую голову Глупова.

И таково могущество этой силы, что голова Глупова, которая безопасно сокрушала стены, которая раздробляла самые твердые орехи и вышибала двери из петель, внезапно оказа-

лась несостоятельною. «Все истреблю, все обращу в пепел, но ей... противостоять не могу!» — говорит Глупов и чувствует при этом нечто вроде желудочного расстройства.

— Но если в тебе самом нет средств настроить жизнь на иной лад,— шепчет роковая сила,— быть может, она найдется в «непочатых рудниках» (известно, что в Глупове «непочатыми рудниками» именуются Иванушки)?

И в самом деле, отчего не найтись? Покуда мы, коренные глуповцы, жуировали жизнью и отдыхали под сенью смоковниц, Иванушки всё молчали да вздыхали. Что же нибудь да бродило в это время в головах их? Об чем же нибудь да вздыхали они? Во времена нашей славы мы не задумывались над подобными вопросами, да и в голову они не могли нам прийти, ибо дело это было не наше, а ихнее, ванькинское: пускай же их там и разбираются между собой семейно; в эти времена мы даже не прочь были доказывать, что эти вздохи не более как следствие желудочного засорения (жрут они этот лучище да редчищу! говорили мы). Но теперь, когда в нашем собственном желудке оказалось непристойное засорение и когда притом мы зашли в трущобу, из которой нет другого выхода, кроме как на стену, мы начали сомневаться и подозревать. «А что, если в самом деле эти подлецы Ваньки молчали-молчали, да всё думали? А может быть, они до чего-нибудь и додумались? А может быть, в них-то и сила вся?»

И как бы в подтверждение наших догадок, память, как нарочно, вытаскивает из архива глуповской жизни такие поразительные примеры человеческих заблуждений, с одной стороны, и человеческой скрытности — с другой, перед которыми всякие сомнения должны непременно умолкнуть.

Жил, например, у нас в Глупове некоторый старец убогий, над которым немало-таки мы утешались, потому что у него был голубой нос и желтые глаза («От старости это, сударь, от старости,— говаривал он нам, когда мы веселой толпой обступали его,— смолоду-то я тоже красавчик был!»). Ходил он постоянно во фраке («Да ты, никак, и родился во фраке!» — говаривали мы) и столько был ко всем почтителен, что даже мы, глуповцы, сомневались, чтоб можно было до преклонных лет сохранить этакой аромат приятный, не протушив его. Одно нас интриговало в нем: карман боковой что-то слишком безобразно у него оттопыривался.

— Что это у тебя, однако, Тит Титыч (а он совсем и не звался Титом Титычем... ха-ха!), карман-то оттопыривается? — допрашиваем, бывало, его,— верно, всё сторублевые?

— Помилуйте-с, какие же сторублевые-с! старая газетная бумага-с! — объяснялся старец и в доказательство вынимал из

кармана аккуратненько сложенный старый номер «Московских ведомостей».

Ну, мы и верили; верили до самой смерти старца, верили, потому что собственными глазами видели старые «Московские ведомости» и собственным умом догадывались, что для старца, пожалуй, и небесполезно иметь при себе запас старых газет. Но каково же было наше удивление, когда, по смерти старца, мы убедились, что он надувал нас и что у него действительно оттопыривались всё сторублевые да пятипроцентные! Целый год только и разговоров было в Глупове, что об этом происшествии!

Другой пример. Был у нас в Глупове молодой человек один и слыл за франта первой руки. Входит, бывало, в гостиную: на левой руке перчатка надета, а другая перчатка в шляпу кинута (у нас в Глупове за неучтивость считается, если кто подает другому руку в перчатке). Ну, и ничего; видим мы это и смекаем: должно быть, хороший молодой человек, коли в перчатках ходит. И что ж бы вы думали, потом оказалось? Что у него, у мошенника, обе перчатки на левую руку были!..

Каково заблуждение, но какова же, с другой стороны, и скрытность!

Прилагая эти примеры к нашему настоящему положению, мы не можем не дать места подозрению, что действительно в Иванушкиных головах что-нибудь да кроется, и только одного еще не можем решить утвердительно, окажутся ли там сторублевые бумажки или же две старые перчатки, обе на левую руку?

Но, помимо этих соображений, нас поражает еще и то обстоятельство, что Иванушки как-то и сами всё лезут да лезут вперед. «Стало быть, у них есть резон, коли лезут! — рассуждаем мы,— стало быть, есть насчет этого предписание какое-нибудь!»

— Слышали? — шепотом спрашивает Яков Петрович, встречая на улице Петра Яковлевича.

Петр Яковлевич только вздыхает в ответ.

— Убеждаясь,— говорит,— в совершенной неспособности старых глуповцев, приглашаем их очистить место для Иванушек, кои, яко не искусившиеся еще в бездельных изворотах и в лености не обрюзгшие, вящую для процветания глуповского принести пользу могут... Каково-с?

Петр Яковлевич вздыхает еще глубже.

— Однако позвольте, Петр Яковлевич! тут рождается весьма важный вопрос: обижаться нам или нет?

Петр Яковлевич мотает головой.

— Да не мотайте вы головой, ради Христа! Давеча Павел

Николаич, как прочитал это, прямо так и говорит: «Теперь, говорит, вся надежда на Петра Яковлевича!»

— Я полагаю: не обижаться! — кротко отвечает Петр Яковлевич.

Друзья идут несколько времени молча.

— Верите ли вы мне? — торжественно спрашивает наконец Петр Яковлевич, останавливая своего друга.

— Отчего ж вам не верить?

— Ну, так я вам говорю, что тут есть штука!

— Сс...

— Там вы как себе хотите, а я свое дело сделал! я свою мысль не потаил, я высказался! Помяните мое слово... тут есть штука!

И, добравшись до такого блистательного результата, приятели расходятся и спешат пропагандировать между глуповцами интересное открытие одного из их сограждан. И так как подобные идеи прививаются и зреют в Глупове весьма быстро, то, к вечеру же, все глуповцы, собравшиеся, для совещания, у Павла Николаича, наперебой друг перед другом спешат подписать краткий, но бунтовской протокол: «Не обижаться, ибо тут штука».

— Водки и закусить! — кричит радушный хозяин, радуясь благополучному исходу дела.

Итак, все говорит в пользу Иванушек: и стесненные глуповские обстоятельства, и наше глуповское неразумие, и «штука». Обойти Иванушек невозможно — в этом мы убедились; но сознаюсь откровенно, что, когда нам приходится обдумывать свое положение, то ожидаемый наплыв Иванушек все еще производит в нас легкую дрожь. Не отнимут ли сладких кусков наших? Не будут ли без пути будить от сна? Не заставят ли исполнять служительские должности?.. И мы начинаем рассчитывать, мы начинаем спорить, шуметь и горячиться.

— Позвольте, господа! Я так полагаю, что Иванушка должен быть призван для того только, чтоб подать нам полезный совет! — ораторствует Павел Николаич.

— Браво! браво! — раздаются восторженные клики глуповцев.

— И затем, по исполнении этой обязанности, он должен скрыться... немедленно! — продолжает тот же оратор.

— Немедленно! немедленно! — вопят глуповцы.

— Говорю «немедленно»,— настойчиво напирает Павел Николаич,— ибо всякая дальнейшая в этом смысле проволочка может повредить его собственным интересам, может отвлечь его от приличных званию его занятий. И зачем ему мед-

лить? спрашиваю я вас, милостивые государи! он высказал все, что от него требовалось, он свято исполнил свой долг, как свято же исполнял таковой и в древнейшие времена, то есть не уклоняясь, но и не выступая насильственно вперед,— этого достаточно для успокоения его совести! Затем он обязывается возвратиться к домашнему очагу своему и, с утешительным сознанием свято исполненного долга, предаться свойственным его званию трудам, дабы впоследствии вкусить от плода их. Милостивые государи! смотря на будущее с этой точки зрения, я вижу его для себя не огорчительным, да и для древнего нашего отечества не обременительным! Славная наша история служит мне в сем случае не только достаточною порукою, но и не меньшею утехою. Везде и всегда показывает она нам Иванушку надежною опорой глуповской славы и глуповского величия! везде и всегда она представляет его: в мирное время кротко возделывающим землю, во время брани — беспрекословно сеющим смерть в рядах неприятельских! («Браво! браво!», «добрый Иванушка! храбрый Иванушка!») Ужели же *теперь* он захочет изменить столь славным преданиям? Ужели *теперь,* когда наш старый, славный Глупов трещит, он не потщится, вместе с нами, восстановить его посрамленную физиономию? Нет! моя мысль не в состоянии обнять предположения, столь мало патриотического! Скажу более: если б она и была в состоянии, то я не допустил бы ее до этого, я воспретил бы ей воспитывать столь противный и даже преступный замысел! Я скрыл бы ее не только от вас, милостивые государи, но даже от себя самого!

Эта речь производит самое благоприятное впечатление. Признаться сказать, если мы и находили причины тревожиться, то внутренне были сами не рады этой тревоге. В этом случае мы уподоблялись зайцу, которого заезжий фигляр заставляет дергать за шнурок, прикрепленный к курку пистолета: заяц дергает и стреляет, но в тот же момент падает в обморок. Мы тоже протягиваем руку к шнурку, но идем дальше зайца, то есть падаем в обморок, не выпаливши. Но, быть может, нас смущает мысль, что пистолет, пожалуй, и не выпалит совсем? Мудреного нет, что и так, но, во всяком случае, мы очень рады, когда нас успокаивают, когда нам доказывают, что всё пустяки и что лишь водевиль есть вещь, а прочее все гиль... Однако и между нами, старыми глуповцами, любящими такое развитие жизни, все-таки выискиваются такие занозы, которые никак не могут обойтись без того, чтоб не отравить своими сомнениями самое приятное времяпрепровождение.

— А я так думаю, что не потщится! — внезапно восклицает

Финогей Родивоныч, гневно вращая своими круглыми, налитыми кровью, глазами.

Надобно заметить, что Финогей Родивоныч пользуется репутацией самого свирепого и неукротимого из глуповцев. Рассуждать с ним, особливо если он перед тем выпил водки, никак невозможно, ибо он имеет ни с чем не сообразную привычку в ответ на всякое возражение немедленно бить возражателя по лицу и затем считает спор уже окончательно решенным в его пользу.

Приняв во внимание это обстоятельство, Павел Николаич и не возражает, но только озирает всех с горестным изумлением.

— Позвольте, господа! — вступается Петр Яковлевич,— я полагаю, что Финогей Родивоныч прав! Очень и очень может случиться, что Иванушка и не потщится, но...

— Что тут за «может быть!», какое тут еще «но!». Сказано: не потщится — и дело с концом! — огрызается Финогей Родивоныч, исподлобья выглядывая на своего оппонента.

Петр Яковлевич умолкает, в свою очередь; мы все в смущении, и только шепотом соболезнуем между собой, что бывают же люди, которые находят наслаждение даже в том, чтобы горесть, и без того великую, усугублять горестью еще большею. К счастью, Финогей Родивоныч оказывается столь пьяным, что вскоре опускается в кресло и засыпает. Пользуясь сим случаем, Петр Яковлевич снова спешит заявить мнение.

— Милостивые государи! — говорит он,— конечно, случайность, на которую указал почтеннейший наш согражданин, не должна быть оставлена без внимания. Но, по мнению моему, если она и представляется не невозможною, то, с другой стороны, никто не может воспрепятствовать нам своевременно изыскать средства.

Павел Николаич встает и трепетными руками обнимает своего друга. Мы все сладко хихикаем.

— Примеры подобных мероприятий попадаются в нашей истории нередко. Ваньки встречались во всякое время; бывали случаи, когда они даже очень достаточно пакостили, но, получив в непродолжительном времени возмездие, скрывались и на долгое время уже не огорчали Глупова проявлениями своей необузданности. Еще недавно Большая Глуповица была позорищем беспорядочности ванькинских чувств, но что осталось от этого? — одно свидетельство глуповского величия и крепости! Злонамеренные шайки рассеяны, мятежные скопища уничтожены, преступные ковы разрушены: а Глупов стоит! Главное, милостивые государи, в этом деле: скорость и строгость.

Ибо скорость пресекает зло в самом его корне, а строгость назидательною своею силою спасительно действует на самое отдаленное потомство. Итак, не станем унывать духом, но не останемся же и беспечными! Прошедшее успокоивает нас, будущее тревожит — устроим так, чтоб это будущее было результатом прошедшего... изыщем средства, господа!

— Водки и закусить! — восклицает Павел Николаич, восторженно пожимая руку своему приятелю.

Все лица веселы, все лица исполнены доверия. Сам Финогей Родивоныч как-то веселее потягивается после сна и ищет глазами водку, соображая в то же время, как бы такую штуку соорудить, чтоб можно было напиться пьяным мгновенно, не сходя, так сказать, с места.

— Изыщем средства! — говорит Яков Петрович, потирая руки и переходя от одного собеседника к другому. Как друг Петра Яковлевича, он считает своим долгом обеспечить успех его речи.

— Еще бы не изыскать! — отзывается Ферапонт Сидорыч,— в то время, когда я служил в Белобородовском гусарском полку, мы знатные трепки этим Ванькам задавали!

— Сс...— произносит Яков Петрович, останавливаясь на минуту перед своим собеседником.

— Это верно! первое дело, бывало, женский пол к ответу пригласишь, а эти Ваньки насчет женского пола куда как обидчивы...

— A propos, messieurs![1] надо бы наших дам пригласить к участию! — восклицает Сеня Бирюков.

— Гм... да... знамя какое-нибудь этакое... шелками, знаете...— бормочет Павел Николаич,— что ж, это можно!

— Это можно! — повторяет Петр Яковлевич.

— Господа! крикнемте нашим дамам «ура»!

— Уррра-а! у-р-р-а-а!

Графин с водкой весело переходит из рук в руки, и веселее и откровеннее становятся с каждой минутой речи.

— Уж я вам говорю, господа, что история — это вещь!

— Шалишь, брат Ванюха! не пикнешь!

— Уж коли на историю не полагаться, так что ж после этого будет!

— А я, Семен Фомич, так не столько насчет истории, сколько насчет этих средств... ха-ха!

— Выпьем, Семен Фомич... хи-хи!

— Выпьем, Федор Григорьич... хе-хе!

По-видимому, и Павел Николаич, и все эти собравшиеся

---

[1] Кстати, господа!

вкупе Трифонычи правы в своих ожиданиях, ибо, имея за плечами такую поощрительную историю, как глуповская, действительно можно дерзать, сколько душе угодно. И впрямь, что мог вынести Иванушка из этой истории? воспоминания о мероприятиях! Какие посылки к будущему, какие ожидания мог он извлечь собственно для себя из этих воспоминаний? — ожидания новых и новых мероприятий! Спрашивается после этого, есть ли возможность прийти к заключению, что цикл этих мероприятий истощился? Есть! Но какое же резонное основание представляется для подобной дерзкой самонадеянности? Но не назвал ли бы Иванушку за такую самонадеянность всякий мало-мальски основательный глуповец лгуном и хвастунишкой?

Да, худо Иванушке! худо сироте! и позади у него степь и впереди степь — нет тебе ни правой, ни левой!

И вот можете себе, однако ж, представить, что он пришел-таки к изложенному выше заключению, и пришел так себе... без всяких оснований!

В том-то и ошибка старых глуповцев, что когда они рассуждают о различных Иванушкиных качествах, то всегда забывают главное из них — Иванушкину неосновательность. Это последнее качество, соединенное с Иванушкиным неразумием, до такой степени известно целому миру, что ни для кого не может составлять тайны. Разъяснить его с рациональной точки зрения едва ли возможно, но история положительно доказывает, что Иванушки везде и во все времена были одинаковы и что, как ни выбивались из сил благодетельные начальники, чтоб вывести их из колеи невежества и заблуждений, они все-таки упорно оставались при своей неосновательности. Видя такое упорство, будучи свидетелем столь жалкого неуспеха благонамеренности, невольно усумнишься. Стало быть, есть тому какой-нибудь резон? Ибо невероятно, чтоб, например, Генсерих преднамеренно и в веселии сердца своего тигосил такую почтенную и нежную вещь, как римская цивилизация, затем единственно, чтоб на место ее поставить какую-то зловонную навозную пирамиду!

Что до меня, то я полагаю, что неосновательность Иванушек именно от того и происходит, что точка зрения, с которой они смотрят на мир, совершенно навозная. Это очень им помогает. Им бы только лопать да пить, подлецам, да с бабами на печи валяться, а о том, в какой мере в отечестве их процветают науки и искусства, им и горя мало. Быть может, они и об этом со временем подумают, но время это, я полагаю, наступит тогда, когда брюхо будет достаточно обеспечено продовольствием. Ибо относительно еды Иванушка немилосерд. Всякий

кусок, идущий в чужой рот, кажется ему куском, собственно ему принадлежащим и не попадающим ему в рот лишь по несправедливым интригам людей, занимающихся науками и искусствами. Поэтому он протягивает руку, поэтому он усиливается ухватиться. И если во время этих усилий кто-нибудь будет столь остроумен, чтоб сказать ему: «Не годится, друг Иванушка! этот хорошенький кусочек принадлежит не тебе, а тебе принадлежит скверненький!» — то он не поверит этому ни за что в свете, а, напротив того, возразит своему наставнику: «Скверненький кусочек принадлежит не мне, а тебе, ибо ты занимаешься науками и искусствами!»

Что ж? по-моему, он будет прав. Мы, глуповцы высокого полета, имеем слишком много наслаждений высшего разряда, чтоб нас могла интересовать утеха столь обыкновенная, как еда. В наших руках цивилизация, в наших руках сокровища наук и искусств — пускай же каждый и остается в своей сфере: мы — в нагорной, Иванушки — в низменной. Из-за чего же мы хлопочем так об еде? А ведь хлопочем! Скажу по секрету, что не только хлопочем, но даже готовы были бы уступить Иванушкам зараз все науки и искусства, лишь бы они наших сладких кусков не трогали!

Итак, Иванушка не поверит и не перестанет протягивать руку до тех пор, пока не получит желаемого. Сказано: неосновательность много ему в этом случае помогает.

На это многие возражают: пробавлялся же Иванушка не лопавши до сих пор, отчего ж бы ему и напредки не остаться на том же положении? Но и это возражение слабо, ибо всякому известно, что каково бы ни было брюхо, но и оно может оставаться без еды лишь определенное время, а не бессрочно.

Остроумнейшие из глуповцев так и понимают это дело. Они смекают, что как ни сладко поют Петр Яковлевич с Павлом Николаичем, но в словах захмелевшего Финогея Родивоныча все-таки больше правдоподобия. Они смекают, что их застали и что, при ихней слабости, не о мероприятиях приличествует помышлять, а о кончине праведной. Как справиться с утлой ладьей? как привести ее к безопасной гавани?

Откуда эта неистощимая любезность в Глупове? Откуда эти клики: «cher ami![1] поцелуй меня!», «cher ami! позабудем прошлое!», «cher ami! жить без тебя мне тошнехонько!»

Увы! Это опять-таки сказывается старое глуповское распутство, это оно выходит из Глупова старым, заржавевшим гвоздем. Пьяницы говорят: «Первая рюмка колом, вторая соколом, третья мелкими пташечками». Глуповцы же вперед

[1] милый друг!

знают, что для них все рюмки будут колом, и потому трепещут и взывают к дружелюбию и забвению! Разберем главные глуповские тезисы.

«Cher ami! поцелуй меня!» Что должен подумать Ванька, услышав подобное приглашение? Во-первых, он, наверное, вообразит себе, что ему надо дать яйцо, потому что очень хорошо помнит, что глуповцы целовались с ним только в светлое воскресенье и непременно требовали за это яйцо. Во-вторых, он таки и не приготовился к принятию столь желанного поцелуя: он не утерся, он не расправил щетину, не вычистил носа. Имея дело с природой и наблюдая лишь за голубями да горлинками, он знает, что эти последние, прежде нежели начать целоваться, всегда крылышки носиком расправляют и в хвостике почешут... Бедный! он и не подозревает, что в Глупове действо любви проявляется внезапно и что, следовательно, некогда тут думать о чистке хвоста и крыльев, когда любовь, с быстротою электрическою, пронизывает насквозь все глуповские сердца! Он просто, благодаря своей неосновательности, опасается, чтоб ему сюрпризом не откусили носа, и до такой степени заражен этим опасением, что на все предложения целоваться отвечает одним упорным высовываньем языка.

«Cher ami! забудем прошлое!» Я понимаю, что можно позабыть зло, что этого требует благородство чувств и рыцарское великодушие; но ведь вы сами же надрываетесь, утверждая, что зла не было, а были только ласки и благодеяния. Ванька верит вам и справедливо рассуждает, что забыть ласки было бы не только неблагодарно, но и неблагородно. Ванька имеет чувствительное сердце: он охотно забывает тычки, но ласки помнит. Все его прошлое представляется ему, в настоящую минуту, как на ладо̀нке, с ясностью и отчетливостью изумительными. Тогда-то его потрепали по щечке («милый Иванушка!»), тогда-то его определили в рабочий дом, дабы не предавался вредной праздности («трудолюбивый Иванушка!»), тогда-то его поставили в ряды защитников отечества (что может быть славнее, завиднее этой роли?.. «храбрый Иванушка!»). Воля ваша, но таких ласк забыть нельзя, потому что они огненными чертами врезываются в благодарных сердцах, потому что их благодетельная сила захватывает не только Ванькино настоящее, но и его будущее. «Коли вы желаете, то можете позабыть свое прошлое,— говорит Ванька,— что касается до меня, то я своим очень доволен». И опять-таки, по неосновательности своей, высовывает язык.

«Cher ami! жить без тебя мне тошнехонько!» Но очевидно,

что эта фраза есть только вариант другой: «Cher ami! поцелуемся!», и что Ванька столь же мало может согласиться на сожительство, как и на поцелуи. «Друг! ведь это неестественно! ведь это пахнет алхимией! — говорит он,— ведь это все равно что connubio[1] двух черных петухов!» И, по своей неосновательности, упускает из виду, что последствием сожительства черных петухов предполагалось появление золотых яиц, и что хотя древние алхимики и не дождались этих яиц, но ожидали и надеялись.

Да; и остроумнейшие из глуповцев должны будут обмануться в своих примирительных попытках! да; и они должны будут сознать, что времена созрели и что Иванушка ни под каким предлогом не может быть верным слугой!

Но покамест они еще надеются; покамест они, словно рыбка на солнышке, еще поигрывают розовыми своими мечтаниями... Отсюда целый ряд явлений и сцен, исполненных самого добродушного комизма.

Прежде всего займемся нашим старым знакомым, господином Зубатовым.

Читатель удивится. Зачем, в самом деле, я так часто потчую его Зубатовым? Зубатов! отчего я люблю тебя? отчего я всегда и везде нахожу тебя на твоем месте? Отчего, по мнению моему, ни один глуповский соус не может обойтись без того, чтоб в него не было подпущено хоть чуточку triple essence de Zoubatoff?[2]

А оттого, милый мой, что ты многоценнейший перл глуповской цивилизации, оттого, что ты архистратиг великого глуповского воинства, что в тебе, как в наилучше устроенном фокусе, отражаются все глуповские вожделения, все глуповские смирения, все глуповские надежды и мечты.

Я должен сказать правду: Глупов составляет для меня истинный кошмар. Ни мысль, ни действия мои не свободны: Глупов давит их всею своею тяжестью; Глупов представляется мне везде: и в хлебе, который я ем, и в вине, которое я пью. Войду ли я в гостиную — он там, выйду ли я в сени — он там, сойду ли в погреб или в кухню — он там... В самый мой кабинет, как я ни проветриваю его, настойчиво врываются глуповские запахи...

Но если Глупов до такой степени преследует меня, то какая же возможность избавиться от Зубатова, этого, так сказать, первого глуповского гражданина?

Я знаю, что в настоящее время между глуповскими Сидо-

---

[1] сожительство.
[2] тройной зубатовской эссенции.

рычами и Трифонычами вошло в обычай подсмеиваться над Зубатовыми и отрекаться от родства с ним. Но подобные действия Сидорычей, по мнению моему, доказывают не только неправоту, но даже совершенное их легкомыслие. Подумайте, в самом деле: кто предводительствовал нами в то время, когда мы войной шли на Дурацкое Городище (помните, та самая война, которая из-за гряды, засаженной капустой, загорелася, и во время которой глуповцы, на удивление целой России, успели выставить целый вооруженный вилами батальон)? — Зубатов. Кто помогал нам беспечально жуировать жизнью в течение стольких веков? — Зубатов. Кто, с другой стороны, постоянно простирал к нам объятья и называл нас, Сидорычей, нежнейшею и надежнейшею опорой? — Зубатов.

Как поразмыслишь обо всем этом, как соединишь все эти заслуги в один фокус — становится жутко... ей-богу!

«А кто тебе помог сплутовать, когда ты строил мост и написал дерева на двадцать тысяч, тогда как его и на сто рублей не было?» — допрашивал Сквозник-Дмухановский купцов, явившихся к нему с повинной, после благополучного обручения Марьи Антоновны с Хлестаковым, и тут же очень резонно ответил: «Я помог тебе, козлиная борода!»

Я разделяю вполне негодование Антона Антоныча и утверждаю, что купцы были совершенно неправы, жалуясь на него «его высокоблагородной светлости господину Финансову». Они увлеклись в этом случае пустою и нестоящею внимания частностью (а именно тем, что Антон Антоныч два раза в год именины свои справлял) и упустили из виду общую связь явлений. Если б они не упустили этой связи, если б они помнили слова поэта

Что имя? звук пустой...—

то, всеконечно, поняли бы, что для них несравненно выгоднее обставить Антона Антоныча всего, до самой крышки, сахарными головами, нежели желать его удаления из города. Правда, что он себя не забывал, но вместе с тем он наблюдал и других, и с этой точки зрения имел полное право от глубины оскорбленной души сказать: «А кто тебе помог сплутовать?» и т. д. А отдувались за все про все в этом случае какие-нибудь унтер-офицерши да слесарши Пошлепкины, о которых не стоит и говорить.

Подобно сему, и глуповцы решительно упускают из виду общую связь явлений, посмеиваясь над Зубатовым и называя его дряхлым и выжившим из ума старикашкой. По мнению моему, они доказывают этим лишь вящее глуповское распутство, доходящее даже до неумения различать истинные, родные

глуповские запахи, столь несомненно сохранившиеся в достойном их сосуде — Зубатове.

Сидорычи обвиняют Зубатова в том, будто он первый открыл Иванушек.

— Не болтай этот скверный старикашка «тяф-тяф» да сиди смирно на месте — никто бы и не ворохнулся! — говорил недавно на нашей глуповской сходке Сила Терентьич.

Но, ах! как несправедливы эти упреки, достойные мои сограждане! Действительно, Зубатов первый заприметил Иванушек, но справедливость требует сказать, что заприметил тогда, когда уже и нельзя было не заприметить их — это первое. Во-вторых, в ту минуту, когда он заприметил, то не возрадовался и не стал плясать как оглашенный, но смешался и начал путать (доказательством, что это справедливо, служит то, что он продолжает путать даже и до этого дня). В-третьих, не он открыл Иванушек, а Иванушки открыли сами себя. В-четвертых, наконец, когда Иванушки упали к нему, как снег на голову, он вздохнул... и вздохнул об вас, Сидорычи! Я сам был свидетелем этого вздоха и могу заявить формально, что вздох этот был до того искренен, что я едва-едва не покатился со смеха.

Повторяю: вы несправедливы, сограждане. Зубатовское сердце не может не болеть об вас, хотя бы и хотело. Зубатов принадлежит вам всеми своими преданиями, всеми своими наклонностями и привычками. Он так же, как и вы, питался мясом, а не мякиною, и потому, как он там ни гайгайкай, как ни рядись, как ни кумись с Иванушками, все-таки от него будет нести сидоровщиной да трифоновщиной — и ничем больше.

Конечно, он одряхлел и выжил из ума, но на первый раз Иванушкам это не противно, потому что таких можно свободнее по плеши ладонью хлопать. Я знаю, что вам это не может нравиться (вам все хотелось бы «мероприятий»!), но обвинять его в дряхлости вам все-таки не приходится, потому что дряхлость эта — ваша общая. Сколько лет вы ели и спали вместе, сколько лет обнимались и целовались и всё уверяли друг друга:

— Ты моя надежда!
— Я твой друг!

Отчего же вы, во времена этого диковинного connubio, во времена этих страстных излияний, не подновили Зубатова? отчего вам тогда не пришло на мысль хорошенько поразмять старичка, смазать его скрипящие члены и сделать молодцом? А оттого, друзья, что у вас у самих подновки в запасе не имеется, оттого, что вы с Зубатовым ровесники и можете сообщить друг другу только дряхлость и слабость!

А потому я не только не сочувствую обвинениям, которые сыплются на Зубатова, я не только не подплясываю и не хихикаю, когда при мне остроумнейшие из Сидорычей пускают в этого заслуженного администратора напоенные ядом стрелы, но вчуже совещусь и краснею. Мне все кажется, что передо мной толпа калек, из которых каждый, обладая своим собственным замечательным безобразием, считает, однако ж, долгом упрекнуть своего соседа в том, что у него рука на поросенка похожа или нос для двух рос — одному достался.

Знаете ли что? на вашем месте я полюбил бы Зубатова — истинно вам говорю! Я все бы твердил себе: «А кто тебе помог двадцать тысяч украсть?» Попробуйте-ка потвердить это себе — может, и хорошо выйдет!

Но нет! не может оно выйти хорошо, потому что положение-то ваше умопомрачительное. Как тут, в самом деле, не ругаться и не винить всех и каждого, когда вдруг черт его знает какая штука на свет произошла!

Жил я, мальчик, веселился
И имел свой капитал,
Капиталу, мальчик, я лишился,
Во неволю вдруг попал...

И откуда эта пакость над нами стряслась? и кто ее выдумал? кто эту заразу в Глупов занес? Думаешь, думаешь,— и никак-таки умом не прикинешь! Потому, наук не знаем, сравнивать ни с чем не можем, а природной глупости — предостаточно.

— Это все он, это все Зубатов натяфтяфкал! — подстрекает Сила Терентьич.

— Врешь ты, сивый мерин! Это мы сами, Сидорычи, нагайгайкали! — возражает Финогей Родивоныч.

— Прислушайте, господа, как он меня обзывает! — жалуется Сила Терентьич.

— Позвольте, Сила Терентьич! теперь уж не до того, чтоб обижаться, а надо дело говорить! — вступается Петр Яковлевич.

— А по делу-то надо бы нам всем вокруг Зубатова стеной стать! — горячится Яков Петрович.

Но поздно, ибо Зубатов, вами отвергнутый, вами поруганный, растерялся сам. Подобно вам, он заботится лишь о собственном своем добром здоровье, а не об вас, выдохшихся старых глуповцах.

— А ну-тко, Иванушка, будь ласков, дружок! — беспрестанно взывает он, улыбаясь до ушей.

Зубатов знает, что с Иванушками не мешает иногда простачком прикинуться.

— Ну что, как хозяюшка? как малые детушки? почем на базаре гречиху продал? — допрашивает он.

Иванушка кланяется и благодарит, а сам думает: «Эк тебя черти носят! словно банный лист пристал».

— Ты, дружок, пирожка не хочешь ли? — потчует Зубатов,— я, брат, на это прост! У меня, брат, по пословице: «Для милого дружка и сережка из ушка»! (Зубатов припоминает, что Иванушка любит говорить пословицами, ибо сам сочинил их.)

Иванушки от хлеба-соли не отказываются, но едят пирог различно: иной, помоложе да пошустрее, за обе щеки уписывает: ничего, мол, что пирог зубатовский, через час словно с гуся вода! другой, постарше да пообколоченнее, ест нехотя, словно сердце у него воротит.

Замечая такую бесчувственность, Зубатов не задумывается прибегнуть к стратагеме.

— Это, брат, всё Сидорычи! — шепчет он на ухо Иванушке,— я бы, брат, и тово... да понимаешь ли, Сидорычи!

Слыша эту речь, Иванушка начинает есть ходчее. Надо сказать правду, он не любит Сидорычей и даже разумеет их за пустых людей.

— Не облыжно говорю тебе: всё Сидорычи! — ябедничает Зубатов,— я, брат, тебе друг... Я, брат, и прежде... Эх! да что тут толковать! Анна Ивановна! а прикажи-ка, сударыня, попросить дорогого гостя водкой.

Мы, Сидорычи, видим эти маневры и сами начинаем мало-помалу воспламеняться. Мы чувствуем, что любовь, как некий пожар, внезапно охватывает наши сердца и что в то же время в них заползает змея ревности. «А ну, как он отобьет у нас Иванушек! а ну, как Иванушка сгоряча отдаст руку и сердце Зубатову?»

— Не верь, голубчик! Это не мы! Наше дело тоже подневольное... Это все он, это все Зубатов! — обращаемся мы, стараясь придать нашему голосу выражение сколь возможно более обольстительное.

Иванушка кланяется и благодарит: он не без основания думает, что если Зубатов, за доброе его расположение, дал ему пирог, то нет резона не содрать с Сидорычей целых двух.

— А не хочешь ли пирожка? — соника спрашиваем мы,— ты, брат, пожалуйста, распорядись!

Иванушка не отказывается; он преисправно ест себе пироги то у Зубатова, то у Сидорычей и, поевши, спрашивает:

— А что, Сидор Сидорыч, скоро ли опять за пирогом приходить прикажете?

«Ведь вот каков скот бесчувственный!» — думает про себя Сидор Сидорыч, но вслух мыслит так:

— Я уж сказал тебе, дружок, распоряжайся!

— И Машку приводить прикажете?

— И Марью Ивановну приводи.

Сладко и умилительно путешествовать в настоящую минуту по глуповским палестинам. Нигде-то крику и гама, нигде-то ямской брани! Исправники не дерутся, потому что Зубатов циркулярно и наистрожайше запретил употреблять что бы то ни было, кроме кротости; что же касается до Сидорычей... о, Сидорычи точно только что родились, точно не вчера еще утверждали, что с этими разбойниками Ваньками только и возьмешь, что зуботычинами... Одним словом, учтивость и благоухание повсеместные и неописанные! Выедешь в поле — даже сердце не нарадуется.

— А ну-ко, Иванушки! как вам бог работа̀ть помогает? — говорит Сидор Сидорыч, а сам так-то веселенько хихикает.

— Рады стараться для вашего здоровья, Сидор Сидорыч!

Шапочки снимают, все учтивенько таково кланяются, однако сами ни с места.

— Что̀, видно, не спори́тся? или дерябнуть для куражу?

— Покорно благодарим, Сидор Сидорыч!

— Эй, водки сюда! только вы уж не оставьте, голубчики!

— Мы вашу ласку завсегда помним, Сидор Сидорыч!

Приносят водку; Иванушки пьют и похваливают.

— Вы это где, Сидор Сидорыч, такое зелье покупать изволите? — спрашивает один из них.

— В городе, милые, в городе!

— Ну, так! вот робята еще давеча промеж себя всё гуторили, что уж против сидорычевской водки другой такой не сыскать!

— Хочь все теперича кабаки перерой, нигде такой водки не найдешь,— верное слово! — подхватывает другой Иванушка.

Сидор Сидорыч пуще хихикает, потому что простосердечный лепет невинных детей природы не может не веселить его сердца. Но водка кончилась, а Иванушки всё ни с места. Этого мало: по отвратительному, звериному своему обычаю, они начинают во все горло драть песни.

«Ах, пострели вас горой!» — думает Сидор Сидорыч, но вслух выражает свою мысль так:

— Уж видно, сегодня надо отдохнуть, голубчики!

Иванушки соглашаются и, дерябя, расходятся по домам.

С своей стороны, Сидор Сидорыч, понурив буйную головушку, отправляется домой. Дорогой он мнит себя кротким страдальцем, но все еще надеется, все уповает... Он надеется, что все это пройдет, потому что Иванушка добрый, Иванушка умный и что он, Сидорыч, по-прежнему приобретет голос властный, походку гордую и твердую.

А дома не лучше, чем в поле. Завелись гармоники да балалайки разные; в девичьей грохот и гам, на крыльце песни и пляс.

— Голубчики! у Прасковьи Павловны головка болит,— кротко увещевает Сидор Сидорыч.

— Сидор Сидорыч! вчерашний день нам щи с солониной за обедом подавали,— докладывает один Ванька.

— Ну, что ж, на здоровье, голубчики!

— Только эту солонину нам есть теперича невозможно! — лезет вперед другой Ванька.

— Что, разве пахнет? А вы, друзья, кухарку за бока! Хорошенько ее, мерзкую!

— Она отговаривается, что вы сами приказывали!

— И-и-и, какой грех! Лжет она, старая! А вы, друзья, в другой раз, как станет она это сказывать, отнимите у ней ключ от погреба, да и распорядитесь по-своему!

— Рады стараться, Сидор Сидорыч!

И Сидор Сидорыч вновь мнит себя кротким страдальцем и вновь надеется, вновь уповает. До такой степени надеется, что когда Прасковья Павловна колко замечает ему: «Ну, что? верно, опять с Ваньками литки пили?», то он не отвечает ей, а возводит взоры к небу и вздыхает тем легким, освежающим вздохом, каким могут вздыхать только люди, свято исполнившие долг, предписанный совестью.

Некоторые из Сидорычей до такой степени усовершенствовали себя в учтивости, что даже начали говорить Ванькам «вы» и называть их Иванами Иванычами. Услыхав это, Ваньки серьезно взбудоражились; тотчас же собрали сходку и приступили к всестороннему обсуждению вопроса: что̀ бы это значило и не пора ли им класть ноги на стол? К сожалению, современная летопись не занесла на листы свои решения, которое состоялось по этому предмету.

Читатель! я не знаю, как вам, а мне кажется, что в этих фактах глуповское распутство дошло до тех крайних пределов, далее которых идти невозможно. Все позабыто: и чувство стыдливости, и требования разума, и даже расчет! Ну, скажите на милость, не мерзость ли, например, хитрить насчет солонины, когда речь идет о падении старого Глупова? Так ли поступили древние римские сенаторы, когда Бренн, с мечом

в руках, ворвался в форум? Ссылались ли они облыжно на кухарку, отдавали ли ее на растерзание рассвирепевшему врагу? Нет, хотя я и сам сын Глупова, но должен сознаться, что в этом отношении сыны Рима оказались более доблестными, нежели мы. Сиагрий оборонял границы Римской империи от франков даже в то время, когда пастухов сын Одоакр уже отрешил Ромула Августула от должности. Нет, тут не могло быть речи ни о солонине, ни о водке. Древние римляне, видя необходимость умереть, стоически разрезывали себе жилы, садились в теплую ванну и умирали. Если это и нелепость, то, по крайней мере, нелепость благообразная, грандиозная... А Глупов?!

Все это происходит оттого, что в нас, старых глуповцах, никак не хочет укорениться мысль, что никакой организм не имеет права два века жить, что всякий закон, раз исчерпавши свое содержание, обязан дать дорогу другому закону, более откликающемуся на зов жизненных потребностей. Мы всё еще упорствуем, всё надеемся и ищем кругом глазами, нельзя ли кого-нибудь обвинить, как будто все дело состоит в попреках, поклепах и обвинениях, а не в том, чтобы откровенно окунуться в реку забвения.

Иванушки смотрят на нас и дивуются: тошнехонько им! Или мы думаем, что Иванушка и впрямь дурачок, что он и впрямь не догадается, что не кухарка Акулина в том виновата, что за обедом протухлую солонину вчера подавали?

Да, мы думаем это, мы надеемся на наши дипломатические способности. Призывая на помощь практику прошлых лет, мы с удовольствием припоминаем, что, во времена о́ны, нам стоило только солгать, чтоб отделаться от какой угодно невзгоды. «Знать не знаю, ведать не ведаю»; «это не я — это курицын сын!» — вот любезные ответы, посредством которых мы выгораживали себя из затруднительных обстоятельств. И хотя нас не однажды уличали во лжи и даже колачивали за это, но это ничего, потому что мы очень хорошо понимали, что гнев страшен только в минуту первых порывов и что ложь имеет спасительное свойство отвращать именно эти первые порывы. Что же касается до тычков и колотушек, то мы, по свойственному нам добросердечию, никогда и не считали их за что-либо важное и существенное.

Однако мы ошибаемся в наших расчетах. Мы ошибаемся столь же горько, как ошибалась добрая барыня Любовь Александровна в своих соображениях насчет обожаемого Петрушки. Вся беда в том, что мы взираем на Иванушку теми же глазами, какими взирали на него во времена нашего величия и славы. А он между тем вырос, а он окреп и возмужал.

«Будет ли Иванушка верным слугой» — вот тот бесполезный вопрос, который мы ежечасно повторяем и, повторяя, тут же утешаем себя, пуская в ход разные авоси да небоси. А Иванушка слушает да дивуется.

— Чего только они от меня хотят! — говорит он.

Иванушка прав: он хочет, чтоб его оставили в покое — ничего больше. Потрудился-таки, помаялся он на своем веку, чтоб иметь право на удовлетворение хоть этой скромной претензии. После, когда он поотдохнет и сообразится с мыслями, он посудит, прилично ли ему войти в компанию с Сидорычами, а теперь он отдыхает, он нежится, он даже капризничает. Теперь он не видит никакой возможности поставить свою нечесаную мочалку рядом с выскобленною физиономией Сидорыча. И если понятно, что последний имеет страстное желание предложить руку и сердце Иванушке, то столь же понятно, что первый смотрит на это предложение не только равнодушно, но и подозрительно.

— Сидорыч! а Сидорыч! останемся пока на своих местах! — говорит он,— там что выйдет: твоя возьмет — ты барин; моя возьмет — я барин!

И говорит так, потому что наверное знает, что возьмет его, а не Сидорычева. Ему достаточно нашептал об этом не только Зубатов, но и сами Сидорычи. Впрочем, последние не столько шептали, сколько зубами от страха щелкали, а Иванушка догадался.

Сколько раз раскаивалась добрая барыня Любовь Александровна в том, что Петрушку-подлеца до себя возвысила! сколько раз сулила она ему все нелегкие! И все-таки Петрушка остался роковою силой в жизни Любови Александровны и довел-таки эту жизнь до определенного судьбою конца!

Мы тоже раскаиваемся, мы тоже сулим нелегкие, но в то же время чувствуем, что в нашей жизни присутствует роковая сила... Откуда эта сила, каким образом стряслась над нами беда — мы не знаем, но склоняемся перед нею, но суетимся и хлопочем, чтоб как-нибудь да вынырнуть... хотя бы для того только, чтоб вновь и окончательно затонуть.

Да, скорбную думу ты думаешь, старый Глупов! Вижу и понимаю твое грустное положение, но помочь не могу! Не ныряй, mon cher! ухни, благословясь, в болото — и дело с концом!

Ах! если б у тебя не было истории — как бы это славно было! Ах, если б никто не имел повода припомнить тебе, что вот тогда-то ты сделал такую-то пакость, а в таком-то случае сделал пакость сугубую,— то-то бы житье было! Иванушки

должны были бы поневоле верить тебе, и пошел бы у вас тогда пир горой! Зубатов съежился бы и поджал бы хвост... а теперь!

А теперь, Сидорыч, я полагаю, не напрасно ли ты пускаешь в ход всю твою изысканную вежливость. Во-первых, она не успокоивает, а, напротив того, увеличивает недоверие («стало быть, есть у него в голове что-нибудь разанафемское, коли так хвостом вертит!» — толкует Иванушка); во-вторых, ты не выдержишь, ты непременно изменишь самому себе. Есть у тебя трясение в голосе какое-то, есть какое-то подергивание в лице, которые тебя выдают даже в то время, когда ты самым простодушным образом приглашаешь Иванушку хлеба-соли отведать. «Ай-ай-ай! да куда ж это они огурцы несут!» — инстинктивно восклицаешь ты среди самых гостеприимных приветствий и через секунду спохватываешься и, устроивши на лице улыбку, говоришь: «Кушайте, милые, кушайте!» И ты думаешь, что этого не замечают, ты думаешь, что спрятал голову под крыло, так никто тебя и не видит!

Несмотря на свою неумытость и непричесанность, Ваньки препрозорливый народ. К тому же они пустились нынче в какие-то психологические тонкости: разбирают себе на досуге не только действия, но и поводы, но и побудительные причины к ним. При таком настроении что можно ожидать от них хорошего?

Неудобная привычка рассуждать и анализировать овладела Иванушкой лишь в недавнее время, и многие, не без основания, полагают, что она именно явилась в нем как следствие праздности. И в самом деле, лежит он себе на печи да позевывает, то на один бок ляжет, то на другой перевернется — что ж ему и делать, как не анализировать? Отчего, например, изба у него набок повалилась? Отчего у него в избе не свеча, а лучина горит и чадом своим выедает глаза ему и трудолюбивой Машке, которая и доднесь все прядет да прядет свою пряжу? По неосновательности его, ему никак не придет в голову, что все это очень естественно, что сто́ит только прочитать то и то, чтоб объяснить себе всю законность и необходимость подобного явления. Он положительно не признает никаких официальных истин, из какого бы источника они ни выходили; он хочет до всего дойти своим собственным умом и, разумеется, доходит до результатов нелепых. Нам, глуповцам, кажется это странным. До сих пор мы к анализу не прибегали, а преимущественно руководились в жизни синтезом. Жизнь наша представляла собой такой приятный и цельный ералаш, что мы не имели никакой охоты анализировать его. Но теперь, к удивлению, мы видим, что составные частицы

этого ералаша расползаются врознь, что они вовсе не так прочно сплочены между собой, чтоб составлять одно неразделимое и ненарушимое целое. И вот скрепя сердце мы тоже начинаем анализировать и с огорчением видим, что перед умственными взорами нашими обнажаются не фиялки и ландыши, но экскременты.

Куда же идти? куда деваться от зловонных испарений?

Сознаюсь, старый Глупов, что положение твое очень трогательно, но выход из него не невозможен.

Будь искренен, старый Глупов! и дай каждому из детей твоих возможность быть искренним! Не виляй хвостом и не оттопыривай губы для поцелуев, дабы через то не опротиветь Иванушкам окончательно. Докажи, что ты сознаешь свое положение; коли хочешь, не скрывай даже своей горести: эта горесть будет принята, ибо всякому понятно, что расставаться с тысячелетней цивилизацией тяжело... даже невыносимо! Но заруби себе, однажды навсегда, на носу: «Я знаю, что времена моего величия кончились... твори, господи, волю свою!»

А главное, не жалуйся, не клянчи, позабудь о солонине и огурцах и верь, что это поможет тебе. Это поможет тебе умереть с честью, а не с посрамлением.

КАПЛУНЫ

Последнее сказание

> Кастраты всё бранили
> Меня за песнь мою
> И жалобно твердили,
> Что грубо я пою.
> И нежно все запели;
> Их дисканты неслись...
> И, как кристаллы, трели
> Так тонко в них лились.

Начиная говорить о каплунах, я ощущаю некоторую робость. Каплун птица нешуточная. Будучи досыта накормлен, он тихо курлыкает и чувствует себя совершенно довольным,— качество, как известно, слишком редко встречающееся в наше тревожное и тяжелое время. Отсюда всегдашняя ровность и ясность духа, отсюда — самоуверенная законченность видов и соображений, отсюда — текучесть и плавность речи, отсюда, наконец,— права на всеобщее уважение.

Каплун — консерватор по природе, и даже несколько доктринер. Он любит именно тот порядок вещей, который посылает ему в рот катышки, и потому, со стороны доктрины, шагнул дальше самого доктора Панглосса, утверждавшего, что все идет к лучшему в наилучшем из миров. Каплун удостоверяет, что Панглосс оказал себя в этом случае петухом, а если и каплуном, то каплуном недавним, не позабывшим еще старых, петушиных проказ. Ибо, поучают каплуны, в прекраснейшем из миров не может быть движения к лучшему; в прекраснейшем из миров все так премудро устроено, что не для чего искать лучшего, да и негде его найти; в прекраснейшем из миров изготовляются удивительнейшие катышки — и венец создания — каша из грецких орехов, замысловато перемешанных с творогом.

Благонамеренность каплунов вошла в пословицу. Это и понятно, потому что им нѐоткуда взять неблагонамеренности. Неблагонамеренность предполагает страстность, а эта последняя, горьким насилием судьбы, подрезана у каплунов в самом источнике; следовательно... Поэтому каплуны слывут самыми

лучшими судьями и самыми безошибочными решителями судеб вселенной.

Несмотря, однако ж, на все эти положительные достоинства, каплуны, при неумеренном употреблении, делаются противными. Благонамеренность и постоянная невозмутимость души производят в них какое-то неприятное ожирение, от которого по временам делается тошно. Явление тем более печальное, что достоверные изыскания показывают, что причина его заключается не в самих каплунах, а в том, что наука гастрономии, находясь еще в младенчестве, не успела придумать таких разнообразных соусов, с помощью которых они были бы вечно новы и вечно милы.

Каплуны-люди встречаются во всех слоях, на всех ступенях глуповского общества. Чтобы сделаться каплуном, нужно очень немного. Нужно выбрать идейку с булавочную головку, возлюбить ее как самого себя и затем, с спокойною совестью, мерить этим огромным масштабом все явления, проходящие перед глазами. Устроившись таким образом, каплун складывает лапки и спокойно ожидает, чтобы природа сама собой довершила блистательно начатое дело. Душевные силы невольно устремляются к готовому центру, который, как всесильный и притом брезгливый деспот, берет от них лишь то, что необходимо для его поддержания; затем все остальное отбрасывается и постепенно подрезывается и подсыхает. После того каплун жиреет и делается отличным судьей и непогрешимым решителем судеб вселенной.

Выше было сказано, что каплун — консерватор по природе; но здесь слово «консерватор» следует разуметь не в тесном, общепринятом значении этого слова, ибо консерватизм не в том только заключается, чтоб возлюбить именно Машку, а не Варьку. Нет, можно придумать катышки даже весьма забористого свойства, можно сочинить себе, так сказать, кашицу будущего и, объевшись ее, курлыкать. Если вы видите перед собой человека, который бестрепетно наслаждается благами глуповской современной цивилизации и благословляет судьбу, создавшую его именно глуповским, а не саратовским или рязанским гражданином,— это каплун; если вы встречаете человека, который, не удовлетворяясь современною глуповской цивилизацией, хотя и развивает перед вами иного рода жизненный строй, но при этом обнаруживает то душевное самоуслаждение, которое не останавливается ни перед какими преткновениями, не затрудняется никакими жизненными протестами,— это тоже каплун. Оба удовлетворились, оба курлыкают, но первый — каплун настоящего, а второй — каплун будущего, хотя со временем тоже сделается каплуном настоящего. Глав-

ное в этом случае — вера в непогрешимость булавочной головки.

В те трудные эпохи, когда жизненные интересы, еще не сделавшись интересами действительными, выказывают, однако ж, поползновение обмирщиться и стать общим достоянием, каплунство является во всем своем торжестве и олимпийском величии. В то время как целое общество трепещет и движется под влиянием какого-то одуряющего обмана чувств и мысли, в то время как человек, не видя перед собой непосредственного практического дела, жадно привязывается к каждой насущной истине, лишь бы она не носила на себе слишком явных признаков безобразия и лжи, и охотно принимает ее за окончательную цель своих беспокойных усилий, каплунье воинство уже все разрешило, все распределило заранее и только курлыкает да улыбается той горячке, которой предаются необузданные петухи.

— А как вы думаете,— говорит Иван Петрович Петру Иванычу, указывая на петуха, разбежавшегося что есть мочи на стену,— а как вы думаете, разобьет он себе голову?

— Разобьет-с,— отвечает Петр Иваныч.

— А как вы думаете, если б он чуточку взял вправо... уцелела бы у него голова?

— Уцелела бы, потому что правее брешь сделана.

— Так-то-с, Петр Иваныч!

— Точно так-с, Иван Петрович!

Да, бывают такие страшные минуты в истории, когда случайность и заблуждение делаются как бы общим руководящим законом для всего живущего, когда летопись с каким-то горьким нетерпением жгучими буквами заносит на страницы свои известия... всё об ошибках, да об уступках, да о падениях... Как бы ни были чисты, крепки и даже односторонни убеждения, но перед ними стоит жизнь, стоит школа, сквозь которую они должны пройти, но рядом с ними стоят другие убеждения, в основе которых тоже лежит нечто жизненное, но сзади их стоит память прошлого и весь гнет вчерашнего (а отчего же и не сегодняшнего?) пленения вавилонского. Не будем ошибаться: насилие еще не упразднено, хотя и подрыто; в предсмертной агонии оно еще простирает искривленные судорогой руки, чтоб задушить ищущее, но не обретающее, алкающее, но не находящее утоления; оно еще злоумышляет... Оно видит силу, которая его подтачивает, и может на досуге изыскивать средства защиты; оно знает, что хотя сила эта подступает к нему со всех сторон, но она еще рассеяна, но у нее еще нет центра. Что делать бедной подтачивающей силе, когда против нее, независимо от торжествующего еще и всегда стоя-

щего наготове насилия, действует и собственная ее слабость, и разрозненность, и память прошлого, и совершенная неясность очертаний будущего?

Подтачивающая сила пробует; она сознает, что в ней еще нет условий, которые могут дать победу, она чувствует свою слабость, которая не дозволяет ей открыто выступить вперед, и потому пролагает себе дорогу подземною работой. Но клики жизни и в подземельях настигают-таки ее; жизнь зовет и обманывает: «Я не буду матерью для одних и мачехой для других,— говорит она,— я всех равно согрею и успокою на груди своей»,— и все-таки согревает лишь избранников и обдает холодом отверженников.

Повторяю: сзади насилие и плен, под ногами земля, но не прежняя, неподвижная и как бы окаменевшая земля, а колеблющаяся, ежеминутно готовая раскрыться, впереди — неизглядная степь. Ни назад опрокинуться, ни на месте стоять — равно невозможно; надобно идти вперед... но куда идти? В этом именно и заключается жгучий вопрос эпохи: идти ли на сделку с установившимися формами жизни, признать ли, что и в них есть нечто хорошее и примиряющее, или откровенно взглянуть на них, как на старый хлам, негодный даже для справок?

Веселые каплуны курлыкают:

«С жизнью надо обращаться осторожно, потому что она сама, собственною внутреннею силой, вырабатывает для себя принципы, потому что она сама представляет не застой, а вечное, неперемежающееся движение. Удовлетворяйтесь истиной минуты, ибо эта истина есть единственная, той минуте приличествующая; не насильствуйте, не волнуйтесь, не забегайте вперед: все, что вы ни добудете этим забеганьем, будет негодно и неприменимо, все будет лишь напрасною тратой сил. Берите у жизни только то, что она добровольно дает вам; ласкайтесь к ней, и она еще больше поступится теми благами, которые скрыты в недрах ее; но будьте терпеливы, но помните, что не вы господствуете над жизнью, а она обладает вами, что она может, по произволу, дать и не дать, приголубить и отвергнуть».

Угрюмые каплуны курлыкают:

«Жизнь, которую мы знаем и с которой имеем дело, есть старый выветрившийся хлам; кроме того что он отвратителен, он еще и бесполезен, потому что не заключает в себе ни одного принципа, из которого, как из исходного пункта, можно было бы идти вперед. Все эти уступки, все эти подачки, бросаемые ею на потеху глупцам, более ничего как ложь, с помощью которой она хочет отвести глаза и протянуть последние

минуты своего издыхания. Надобно обратиться к идеалам, надобно забыть об отживающих (хотя и торжествующих еще) формах жизни, надобно сделать так, чтоб самое воспоминание об них не сквернило честного воображения! В идеальном созерцании есть нечто освежающее и окрыляющее душу человека. Что нужды до того, что по глуповским улицам волк рыщет, что глуповская атмосфера заражена миазмами, которые мешают дышать нашим добрым согражданам? Мы, каплуны будущего, не имеем ничего общего с глуповской жизнью, с глуповскими верованиями и ожиданиями; мы давно махнули на них рукой и совершенно равнодушно смотрим на то, сколько погибнет глуповцев жертвою волчьих зубов и удушливой глуповской атмосферы. Быть может, мы и сами погибнем,— ну и погибнем: мы и на это готовы махнуть рукою. У нас имеются готовые идеалы, в которые мы веруем и вне сферы которых ничего не признаём».

Несмотря на все различие содержания обоих курлыканий, в них есть, однако, нечто общее. Это общее — отрицание личного деятельного участия в жизни. Одни говорят: «Сложи руки и мирись с жизнью, потому что она одна может дать вовремя и в меру»; другие говорят: «Сложи руки и смотри равнодушно на жизнь, потому что с нею не стоит спорить, потому что это хлам, на который следует махнуть рукой или наплевать».

Глупов! милый Глупов! Кто ж похлопочет об тебе? Кто озаботится об истреблении волка, рыскающего по стогнам твоим, о разрежении миазмов, насыщающих воздух твой?

Мелодично курлыканье каплунов настоящего, но в нем есть недомолвка, в нем недостает одной нотки. Нельзя удовлетвориться жизнью с распространенными в воздухе миазмами, с рыскающими по улицам волками. «Жизнь дает, жизнь поступается!» — но ведь она дает смерть, но ведь она поступается веревкой на шею! Рад бы сложить руки, рад бы сидеть у моря и ждать погоды, да ждать-то нельзя, потому что душа стонет и изнемогает под гнетом житейской мерзости, потому что кровь бьет в голову и туманит ее от недостатка воздуха. Простора и света ищет смертный, хотя бы этот смертный был и коренной глуповец. «Зачем ты волнуешься, зачем забегаешь вперед?» — вопрошает благонамеренное каплунское воинство. А просто потому и волнуюсь, потому и забегаю вперед, что усидеть на месте не могу! Несмотря на глуповскую структуру этого ответа, он правилен и правдив. Прежде всего, я волнуюсь по чувству самосохранения. Я вижу, что старый Глупов трещит, я обоняю признаки его разложения; стало быть, если я не приму заблаговременно мер, если я заранее не выскочу, то могу погибнуть под развалинами, то, наравне с закорене-

лыми и жуирующими глуповцами, могу подвергнуться гниению. Во-вторых, я волнуюсь по чувству стыдливости, волнуюсь потому, что мне совестно жить среди разложения; скажу более: если бы я даже мог до такой степени освоиться с зараженным воздухом, чтоб свободно дышать им, я скрыл бы это от самого себя. В-третьих, наконец, я волнуюсь потому, что меня не удовлетворяют ни блага глуповской жизни, ни последствия глуповского миросозерцания. Я соглашаюсь, что и глуповская жизнь имеет свою устойчивость, что и она не случайно вылилась в те, а не в иные формы, но нахожу, что в настоящую минуту ее блага протухли, а миросозерцание подернулось ржавчиной. Я не могу есть, спать и топтать жизнь, как едят, спят и топчут ее глуповцы, ибо у меня другие вкусы, другие наклонности. Я просто нахожу это занятие непроизводительным, не представляющим ничего возвышенного, ничего поучительного для ума и сердца. Да и сами глуповцы, как ни усердно занимаются топтанием жизни, не всё же сидят сложа руки, а тоже ругаются, тоже хватаются за жизнь руками и впиваются в нее зубами: стало быть, и у них есть своя жизненная работа, хотя и имеющая простой, даже несколько плотоядный характер. Нельзя мириться с жизнью, если б даже она ничем не пахла, потому что она ни одним из своих благ не поступится иначе, как с бою; сама жизнь насильно вызывает наверх, сама жизнь протестует против раба ленивого и лукавого, который заранее объявляет удовольствие на все ее решения и запросы.

Еще мелодичнее курлыканье каплунов будущего. В нем все стройно, все чуждо непотребства сделок и компромиссов. Мелодия развивается просто и ясно: махни рукою на жизнь, потому что она не стоит того, чтоб с ней связываться; прикосновение к ней может только замарать честного человека; обратись к идеалам и живи в будущем. Нет спора — это прекрасно; оно не марко, потому что избавляет от необходимости копаться в земле; оно возвышенно, потому что обращение с идеалами облагораживает душу и сердце. Но главное достоинство этой теории заключается все-таки в том, что она позволяет человеку жить безгорестно и наслаждаться собой сколько душе угодно. Однако и в этом курлыканье есть недомолвка. Несомненно, что текучая жизнь изобилует мерзостью и что формы ее перед судом безотносительной истины равно несостоятельны, но на практике дело складывается несколько иначе. Вот мерзость мерзкая, и вот мерзость еще мерзейшая: я оставляю за собой право выбора и избираю просто мерзкую мерзость предпочтительно перед мерзейшею. Я не только не отрицаю идеалов, но даже нахожу, что без них невозможно

дышать, и за всем тем не могу, однако, признать, чтоб мне следовало жить только в будущем, потому что у меня на руках настоящее, которого мне некуда деть и которое порядочно-таки дает мне чувствовать себя всякого рода тычками и пощипываниями. Куда я уйду от него? запрусь ли? стану ли в стороне?

Но ведь надо же понять, что запереться — значит добровольно обречь себя на нравственное и политическое самоубийство, значит добровольно отказаться от всяких надежд на осуществление идеалов. Очевидно, что это плохая услуга даже тому делу, которому мы претендуем служить. Как бы ни было прекрасно будущее, но не сделается же оно само собой, но и оно должно быть результатом соединенных усилий. Покуда мы будем ревниво оберегать идеалы, как исключительную нашу собственность, покуда мы не объявим себя в пользу деятельности воинствующей, мы напрасно станем кичиться нашими честными убеждениями, напрасно станем выставлять вперед наше чистое существование. Убеждения эти, не проникнув в действительность, навсегда останутся мертвою буквой, существование это пройдет бесследно и не прольет ни одного луча в тот густой мрак, который тяжелым покровом налег на все живущее. Во имя одного этого простого расчета нельзя бросить жизнь на жертву роковой силе, нельзя устранить себя от участия в ней.

Что пользы в том, что я запрусь у себя дома и буду хорошо мыслить? Прекрасные мысли мои сделают мне честь... а дальше? А дальше узкий и незамысловатый эгоизм, дальше холодная и рассчитывающая робость души, боящейся прикоснуться к действительности потому только, что она может помять наши идеалы, а пожалуй забрызгать и нас самих. О, черт побери! да забрызгивайтесь же, да ступайте же смело в грязь, да падайте и погибайте, но действуйте, но не довольствуйтесь юпитеровским плеваньем на жизнь, когда она сама признаёт себя несостоятельною, когда она сама взывает к вам о помощи! Вам страшно, что вы можете погибнуть; вам еще страшнее, что вы можете замарать ваши светозарные одежды; но нам, черни, это ничего; нам светозарные ваши одежды не кажутся светозарными; мы прямо и откровенно говорим: падайте, погибайте, окунайтесь в грязь — мы от этого пожнем сторицею!

Быть может, вы думаете, что можно от действительности прямо перейти к идеалам,— ну, и переходите. Мы, люди слабые и простые, мы, люди до такой степени засоренные старым глуповским хламом, что самые жгучие вопросы жизни лишь мало-помалу пролагают себе сквозь него дорогу, мы охотно

пойдем туда, куда вы нас поведете. Мы пойдем за вами, потому что в нас уже шевелится тревожное чувство будущего, потому что в сердцах наших уже горько и болезненно откликаются стоны прошедшего и пени настоящего, но не накидывайтесь же на нас, не грызите же нас за то, что мы часом поскользнемся, а часом и совсем упадем. Сознаемся откровенно, что мы не понимаем возможности непосредственного перехода от действительности к идеалам, ибо видим тут перерыв, который также необходимо чем-нибудь наполнить; по мнению нашему, помимо идеалов отдаленных и руководящих, у жизни имеются еще и ближайшие идеалы, но все равно! мы пойдем за вами, несмотря на перерыв! Мы пойдем, потому что стремления ваши нам сочувственны, а глуповское миросозерцание уже вызывает в нас тошноту!

Но нет, вы сами хорошо понимаете, что непосредственный переход к идеалам невозможен, что нужно еще через множество луж перешагнуть, чтоб выбраться на сухое и ровное место. Потому-то вы и не делаете ничего, потому-то вы и создали себе теорию благородного сиденья сложа руки. Если б вы могли обойти жизненные перерывы, вы обошли бы их, вы, без лишних разговоров, приступили бы к предметам ваших вожделений, но вас останавливает... вас просто останавливает подъем, который находится между вами и ими. Подъем этот крут и безобразен, на протяжении его находятся мерзости; истина, красота и счастье живут за подъемом, где витает и душа ваша... Не могу воздержаться, чтоб не рассказать по этому случаю анекдота.

Жил некогда в стране египетской (почему ж и не в Глупове?) муж честен и угоден. Возгнушался он мирской прелестью и возжелал жития нуждного, жития пустынного. Возжелал акрид паче сота медвяного и гнилой воды болотной паче пьяного пития. И пошел в пустыню, и поселился у подошвы некоей горы. Вот только однажды, попостившись довольно и желая испытать силу благодати, в нем действующей, он вышел из пещеры и обратился к горе: «Горо! приди ко мне!» — но гора ни с места. Он в другой раз: «Горо! приди ко мне!» — но гора опять ни с места. Он в третий раз, и опять с тем же успехом. Но пустынник не пришел в отчаяние и не пришел сам к горе, но прилежнее прежнего начал совершенствовать себя и воспитывать в своем сердце семена благодати.

«И бе той муж свят!» — прибавляет предание.

Да за что же? да ведь гора не сдвинулась? ведь гора не пришла? Оно конечно, не пришла, говорят толкователи предания, но каково благородство, какова верность своим убеждениям!

О каплуны будущего! подобно мужу честну, вы взываете к горе: «Горо, приди к нам!», и когда гора не приходит, не впадаете в отчаянье, не идете к ней, но удаляетесь в пещеру. Это очень благородно и очень покойно; коли хотите, это даже красиво, потому что позволяет принимать позы угнетенной невинности; но как это бесполезно, как это нелепо... Боже! как это нелепо!

. . . .

Отныне я оставляю в стороне веселых каплунов и обращаю речь свою исключительно к каплунам угрюмым.

В то время как каплуны, одни по благоразумию, другие по застенчивости, уклоняются в сторону, жизнь настоятельно вызывает к деятельности.

Жизнь страшна; на поверхности ее нет места, где нельзя было бы не поскользнуться, не оступиться, не упасть. В данные минуты она представляет собой сплошной обман, сплошную массу противоречий и заблуждений. Но не ответить на призыв ее, не окунуться в этот колышущийся омут все-таки невозможно.

Повторяю: насилие не упразднено, а идеалы далеко; даже посредствующее звено между вчерашним насилием и грядущими идеалами не выработалось, не определилось. Мы или слишком много мечтали об идеалах, или слишком охотно удовлетворялись насущными дарами жизни, но отнюдь не думали о том, что между этими двумя крайними пунктами лежит целый путь, который надлежит пройти и который остается неосвещенным. Увы! здесь все неизвестность, все смешение! нечто шевелится на дне, даже на самой поверхности по временам показываются пузыри, но что это за движение, что это за пузыри — различить трудно.

А дело необходимо, то будничное, некрасивое дело, которое одними своими мелочами может истратить целую жизнь человека. Оно необходимо уже по тому одному, что мысль, как бы она ни была грандиозна, но покуда сосредоточена в кабинете, покуда обращается в тесном кругу знакомых каплунов и не пущена в толпу, до тех пор она не мысль, а одинокое, любострастное самоуслаждение. Дело необходимо хотя бы для того, чтобы раздавить гидру прошлого...

Куда же идти? как действовать? что предпринять?

Нельзя сказать себе: пойду направо, потому, дескать, что там дорога не захламощена корягами и нет засасывающих болот. Кроме того, что мы скоро убедимся, что и там коряги, и там болота, но самая дорога, незаметно для зрения, приобретает такое склонение, что деятель, искренно мечтающий о том, что идет направо, внезапно видит, что он совсем не там,

что он, против воли, взял влево и, вместо предполагаемого храма утех (монплезир) и отдохновения (монрепо), со всего размаха разбежался в огромную, дымящуюся кучу навоза... Каков сюрприз!

Нельзя сказать себе: до конца жизни буду петь одну и ту же песенку. Много звуков, много песен раздается в природе, и как ни разнообразны они, но, в общем, все-таки подчинены известному строю, и этот строй насильственно втягивает в себя все отдельные, вступающие в хор голоса. Тщетно усиливается упрямый певец выделывать любезное сердцу колено — увы! слух его неприметно развращается раздающимися окрест звуками, и неприметно же, против воли, голос следует за указаниями слуха.

Нельзя сказать себе: выйду к толпе и увлеку ее в ту или другую сторону. Толпа не вдруг и не всю открывает грудь свою; как ни распутна она с первого взгляда, но любит, чтоб за ней походили, чтоб к ней относились вежливо. Надобны сверхъестественные силы, чтоб увлечь толпу сразу, а много ли найдется деятелей, обладающих этими силами? Огромное большинство деятелей — простые труженики, для которых толпа представляет любезнейший и сподручнейший предмет разработки, но которые и сами еще недавно были в толпе. Толпа ревниво оберегает предания прошедшего и туго решается на риск, потому что уже не мало она порисковала на своем веку, но мало извлекла из того для себя пользы. Мудрено ли, что человек, имеющий дело с этою плотною массою, неслышно для самого себя проникается инстинктами толпы? Мудрено ли даже, что, вместо того чтоб увлечь толпу за собою, он сам станет в ее ряды? Но не смейтесь ему, не порицайте его слишком поспешно, ибо он не пропал без вести. Положим, что сам он засосался на дно, положим, что он и не выплывет никогда, но мысль, им брошенная, все-таки принесет свой плод, но минутное противодействие, оказанное им толпе, все-таки сделает ее более податливою... хотя бы для последующих деятелей. В этом случае, он не более как жертва, принесенная новому Ваалу, но жертва не бесследная, ибо кровь ее утучнила почву.

Да; страшна жизнь, и не легко выносится бремя ее! Деятели, которые обладают достаточными для того силами, называются героями, а звания этого, как известно, у нас в Глупове и по штату совсем не положено.

Увы! за недостатком героев их место занимают у нас каплуны! Им тоже легко жить на свете, потому что все их дело заключается в подглядыванье и в судаченье, как необходимом последствии подглядыванья. Продолжительное и усердное

упражнение в праздности в замечательной степени изощрило их способности в этом смысле, а смешение и мрак, царствующие окрест, дают достаточный для того материал. «Глуповцам хлеба не надо, глуповцы друг друга едят и сыты бывают»,— сказал некоторый мудрец, и сказал истину неоспоримую. Угрюмые каплуны чутьем слышат, что где-то, около них, имеется повод к скандалу, и, поднюхавши его, выказывают плотоядность примерную. Забывая, что в этом случае они являются драгоценнейшими сосудами древнего глуповского распутства, они, подобно достославным предкам своим, простодушно и в веселии сердца распластывают жизнь первого попавшегося им под руку субъекта и, накусавшись вдоволь живого мяса, с наслаждением облизывают обагренные кровью губы. Им дела нет до того, что в бесконечной цепи живых существ субъект, которого они сейчас обглодали, быть может, составляет ближайшее звено к ним самим; им нет дела до того, что вся разница между ним и ими заключается в том, что он жил деятельною жизнью, а они отдыхали: в том-то и заключается, по мнению их, истинное геройство, чтобы обгадить именно ближайшего соседа, а не уходить куда-нибудь вдаль. Устроивши столь великий подвиг, они не только убеждаются, что целая вселенная взирает на них, как на героев, но сами искренно мнят себя таковыми.

Но пусть не заблуждаются каплуны: геройства тут нет. Тот, кто изведал глубину глуповских омутов, кто собственными боками познал непроходимость глуповских трущоб, тот засвидетельствует, что действительное геройство заключается не в праздном судачении, не в неистовом терзании друг друга, но в упорном и непрерывном раздалбливанье туго уступающей глуповской среды. Ремесло зрителя вообще легко и удобно: и потрясаешься, и утешаешься поочередно, и вообще ощущаешь себя властелином своих чувствований, размышлений и убеждений. Зрелище кончилось; много вызвано наружу пошлости и бедности, но много и горячего, искреннего энтузиазма; много осталось на сцене заколотых «мечом картонным», но много и действительно побитых. Зрителю-каплуну легко; он юркнул себе в свой каплуний кружок, и там, с точки зрения абсолютной истины, курлыкает, что деятельность, мелькнувшая ему в глаза, есть деятельность мнимая; но каково актерам? каково тем, которые на эту мнимую деятельность потратили все свои силы?

«Мне можно плясать! — восклицает у Островского Юсов,— я все в жизни сделал, что предписано человеку». Подобно Юсову, этому полнейшему представителю каплунов настоящего, каплуны будущего также полагают, что они сделали

всё, что предписано человеку, и что на этом основании им можно плясать с легким сердцем.

«Мы не сделали в жизни ни одного дурного поступка,— говорят они,— мы не протягивали руки неправде дня, мы не изменяли своим убеждениям. Нам можно плясать».

Положим, что это так. Положим, что деятельность, которой судьба вас сделала зрителями, есть деятельность призрачная, что то, чего человек, ценою неимоверных усилий, достиг сегодня, еще вчера, еще прежде рождения на свет, уже оказало себя несостоятельным,— что ж из этого? Неужели вы не видите, что это несостоятельное, это отжившее и выдохшееся тем не менее давало опору для жизни целого общества, что здесь самая преждевременная несостоятельность есть уже результат весьма положительный, есть первая победа жизни над смертью, первый шаг к упразднению ее? На развалинах старой истины зреет новое слово, и чем скорее оно зреет, тем скорее выкажется, в свою очередь, и его запоздалость, тем ближе будем мы к идеалам.

Возражают: «Но для того чтоб бороться с действительностью, нет никакой надобности входить в соглашение с жизнью, достаточно воздерживаться от участия в ней». Согласен. Воздержание также великая сила, воздержание также протест, и притом страшный протест против торжествующего насилия. Встречая на пути своем пустоту и инерцию, не находя нигде пищи для новых подвигов, насилие потеряется и поймет, что цикл его вакханалий истощился. Но для того чтоб эта инертная сила была действительною, все-таки необходимо предварительно разработать почву для нее. Какая польза от того, что я один или сам-друг в целом Глупове буду воздерживаться, когда вокруг меня целые стада глуповцев простирают руки насилию? Какая польза от того, что я уступлю свое место Сеньке Бирюкову, а сам брезгливо стану в сторонке от деятельной жизни, когда упомянутый Сенька готов за двугривенный на всякий подвиг, служащий на пользу и вящее процветание глуповскому миросозерцанию? Не вчера ли мы видели, как честные бойцы падали в борьбе и на трупы их мгновенно, неведомо из каких трущоб, налетали громадные стаи галок и ворон? Не вчера ли мы видели, как Сенька Бирюков, почуяв верхним чутьем мертвечину, уже протискивался, задыхаясь от радостного волнения, сквозь тесную толпу глуповцев, чтоб поскорей занести ногу на упраздненное место, предварительно забросав его своим собственным навозом? Еще не умер человек, а глуповцы уж сотнями налетели на него, и разевают сладострастно носы, и, подняв кверху головы, жадно смакуют... О, глуповцы насчет этого прехитрый и преостроумный

народ! Бедные идеями, бедные воображением, они богаты аппетитом и плотоядностью и, для удовлетворения этой страшной страсти, готовы кусаться, топтать и клеветать!

Видите ли вы радость злобы дня при этом неслыханно безнравственном зрелище? Слышите ли торжествующие клики ее?

Покуда мы, глуповцы, не освободились от вопроса об личной обстановке, покуда эта последняя стоит на первом плане, никто не имеет права отказываться от участия в жизни, как бы она ни была преисполнена лжи и нечестия. Жизнь сама, изнемогая под бременем насилия, взывает о помощи, и тот не исполнит своего долга, как человек, кто отвратится от нее.

Но для того чтобы успешно бороться с злом, необходимо по крайней мере знать, в чем оно состоит, необходимо изучить его позиции, его сильные и слабые стороны, одним словом, необходимо самому пожить в этом зле. Мудрый стòрожко и тихо подступает к злу; он гладит зло по головке, играет роль ложного друга, и потом, вызнав от него все, что на потребу, немедленно и без малейшего опасения сделать фиаско плюет ему в самое лицо. Зло, как сила торжествующая, доверчиво, и потому тут ошибки не может быть. Уличенное врасплох, застигнутое в своем собственном логовище, зло трепещет и немеет. Оно чувствует, что перед ним стоит судья и властелин его, что погибель пришла к нему не откуда-нибудь извне, а из его собственных внутренностей... и умирает, умирает, не возражая... И нет нужды, что для многих из собравшихся на борьбу жизнь будет рядом ошибок, источником падений, а быть может, и конечной гибели: если один из них сотрет главу змия — и того достаточно. Значение прочих — значение простых исследователей в стране неизвестного. Несмотря на кажущуюся некрасивость своего труда, исследователи эти встречают на пути своем гораздо больше препятствий и достигают благотворнейших для человечества результатов, нежели знаменитые открыватели истоков Нигера, которых подвиги признаются, однако же, исполинскими. Пускай они ошибаются, пускай погибают сотнями и тысячами, но каждый из них может поставить в заслугу себе, что успел определить хотя небольшой признак области неизвестного, но каждый гибелью своей утучнил почву будущего.

Каплунов губит себялюбивая брезгливость мысли. Ставши на высоту отдаленных идеалов, они забывают, что у масс на первом плане стоит требование насущного хлеба, что массы мало заботятся о том, умрут ли они праведниками или грешниками.

Скажу более: презрение к массам слышится в этом высокомерном отношении к жизни. Чувствуется, что здесь массы

представляют нечто постороннее, что здесь дело идет не о счастии и успокоении их, а о торжестве той или другой идеи, для которой массы нужны не более, как в качестве anima vilis [1], то есть для производства над ними всякого рода операций. Массы живут ближайшими идеалами, массы ищут не исцеления, а облегчения тех вековых болей, которые так упорно грызут их доднесь (уж где же совсем вылечиться: хоть бы маленько-то полегчило! — говорят они). Что сказал бы голодный, если б воображение его поманили тонким французским обедом, вместо того чтоб просто-напросто утолить его голод куском черного хлеба? Он сказал бы, что с ним сыграли злую и непристойную шутку, а положения его не улучшили ни на волос. Дайте же массам сначала хоть то, что они сами неотложно просят, без чего они жить и дышать не могут, и потом развивайте вашу мысль на досуге. А может быть, массы и без ваших забот, сами похлопочут о дальнейшем воспитании себя? А может быть, это дальнейшее воспитание укажет на формы жизни, совершенно отличные от тех, которые составляют предмет ваших мечтаний и надежд!

Массы спеленаны и придавлены: снимите же с них гнет, распеленайте их и, если не можете сделать это добровольно, с обоюдного согласия, сделайте исподтишка, устройте воровским образом. Пожалуйста, не стесняйтесь! пожалуйста, не восклицайте: «Fi, quelle horreur!» [2] Смело могу ручаться, что история простит вам прегрешение ваше.

А как же вы устроите это воровство, если сами не будете находиться в центре деятельной жизни?

Увы! мне сдается, что в вас еще действует древнее глуповское самодурство. Вековой опыт убедил вас, что массы безгласны, что из них можно кроить всякую штуку, что их можно топтать сколько душе угодно, и хотя вы не высказываете всенародно такого убеждения, хотя вы даже не сознаете его присутствия в себе (в этом отношении отдается вам полная справедливость: вы искренно и горячо сочувствуете массам), но вы бессознательно носите его с собою, но оно впилось в вас, но оно, вместе с прочей глуповской закваской, залегло далеко в самую глубь вашего существа. «Нет более геморроя!» — «Нет плешивых, или мазь для рощения волос!» — твердила глуповская история в течение многих веков и без лишних церемоний тут же прилагала к делу мнимоцелебные свойства своих секретов, не открывая, однако ж, никому их сущности. Пользуясь этим примером, и вы провозглашаете себя обладателями сек-

---

[1] низшего организма.
[2] Фи, какой ужас!

ретов и жалуетесь на несправедливость судьбы, связавшей вам руки. А не то ведь и вы, пожалуй, с не меньшею бесцеремонностью потщились бы прилагать целебные свойства этих секретов, а не то ведь и вы, пожалуй, готовы были бы задушить того грубияна, который нашел бы лучшим для себя обойти вашу лавочку и обратиться за исцелением к иным шарлатанам? Главное — будь счастлив и молчи: вот теория, породившая ту горькую глуповскую практику, которой мы состоим счастливыми свидетелями даже до сего дня.

Но подумайте же, что за страшная вещь этот чудовищный искус безмолвия! Подумайте, сколько боли должно было накипеть за ним, сколько крови источиться капля по капле во время этого векового подплясыванья! Или опять начинать сначала, или, лучше сказать, продолжать никогда не прерывавшуюся глуповскую практику? Или опять кроить и урезывать до тех пор, покуда и впрямь не останутся одни лоскутки?

Массы сами желают устроить свою жизнь и до поры до времени требуют от вас одного: отгоняйте тех, которые мешают им, а паче всего не мешайте им сами. Они требуют от вас деятельности чисто отрицательной, но и для нее нужно еще много черной работы, нужно много общения с обманом и злом, со всем, от чего подчас так несносно воротит сердце честного деятеля. Какая надобность до того, что из этого общения могут возникнуть ошибки и уклонения от прямой дороги, если общение есть роковое условие деятельности, если уклонения и ошибки, его сопровождающие, выкупаются общим подвигом жизни? Массы незлобивы; они не помнят случайных заблуждений и долго хранят в благодарной памяти своей имена тех, которые служили им словом и делом.

Одни каплуны, стоя в стороне, угрюмо курлыкают:

— А как вы думаете, разобьет он себе голову?

— Разобьет-с.

— А как вы думаете, если б он взял чуточку вправо... уцелела бы у него голова?

— Уцелела бы, потому что вправо брешь сделана.

— Так-то-с!

— Точно так-с!

ТИХОЕ ПРИСТАНИЩЕ

Повесть

I

Город

Проехав несколько сот верст по лесистой, почти безлюдной пустыне, испытав на своих боках всевозможные роды почв, начиная от сыпучих песков и кончая болотами с непременною их принадлежностью, мучительным мостовником, приятно сказать себе: скоро конец дорожным страданиям, конец ужасной, изнимающей душу телеге, конец уединенным станционным домикам, около которых вьются тучи комаров! Скоро город — и в нем приют.

Да, неприветно глядишь ты, родная равнина! не порадуешь, не утешишь ты усталого путника, день и ночь умирающего на тряской телеге, в переездах по бесконечному твоему раздолью!

На десятки верст раскинулась ты окрест, ничем не намекая на присутствие человека, ни на чем не представляя следов работы его, кроме узкой и исковерканной дороги, но и та как будто не человеческим рукам обязана своим существованием, а проложена пустынным медведем, когда-то просекавшим здесь путь сквозь чащу лесную. Однообразная картина непросветного леса, бесконечно протянувшегося по обе стороны дороги, неизвестно откуда берущиеся лесные звуки, так чутко и отчетливо перекатываемые эхом из одного конца леса в другой, полумрак, в котором, словно в тумане, утопают очертания дерев,— все это, вместе взятое, действует на нервы раздражительно. Великаны встают перед глазами, страшные звери мерещатся в лесной глубине, баба-яга скачет в каменной ступе, погоняя железным пестом, соловей-разбойник пускает шип по-змеиному... Словом, вся детская мифология вдруг проносится над душою. Напуганное воображение напрягается в ущерб рассудку; путник инстинктивно озирается по сторонам и инстинктивно же прислушивается, не идет ли откуда опас-

ность; жгучее, тоскливое нетерпение охватывает всем существом...

И вот на смену леса является низменная, потная луговина; на смену полумрака является полусвет. Но что это за бедность, что это за чахлость и неустойчивость! Бледно-зеленые цвета и изморенный вид растительности явно свидетельствуют о преждевременной зрелости, постигшей ее в этой забытой лучами солнца и неприютной стороне. Только изредка, в засушливое лето, когда все окрест млеет от истомы и зноя, когда ликующая природа как будто никнет под бременем своей собственной мощи, только в такие редкие на нашем севере минуты и эта бедная луговина, утратив излишнюю влагу, одевается на время в праздничный наряд свой и сплошь покрывается ярко-желтыми цветами. Тогда в воздухе носятся словно душистые испарения меда, тогда, если вы взглянете на золотистую полосу цветов, словно радующуюся среди общего однообразия и бедности, вам непременно покажется, будто кто-то вам улыбнулся тою мягкою, милою улыбкою, от которой вдруг расцветет ваше сердце... Но вот снова пахнуло дождем; проезжие извозчики, пользуясь временною засухой, во всех направлениях избороздили веселую луговину — и перед вами опять та же черная полоса взрытой земли.

Но уживчив и покладист коренной гражданин этой скучной равнины, русский мужик! Как ни бедна дарами, как ни мало гостеприимна кругом его природа, он безропотно покоряется ей. Трудно идет его работа; горек добытый ею кусок, но слова: «В поте лица снискивай хлеб свой», слова, никогда ему не читанные, ни от кого им не слышанные, по какому-то обидному насильству судьбы, так естественно и всецело слились со всем его существом, что стали в нем плотью и кровью, стали исходною точкой, средством и целью всего его существования. Вон на самом краю болотины, среди зыбучих песков, ютится ряд бедных, ветхих изб... Что это за грустный, надрывающий сердце вид!

Вот и пруд среди селения, пруд мелкий и топкий, на неподвижной поверхности которого плавает зеленая плесень, и из которого по местам высовываются почерневшие гнилые коряги; вот и улица, грязная, покрытая толстым слоем чернозема; вот и запачканная семья беловолосых ребятишек с поднятыми до груди рубашонками, бережно переходящих по грязи через улицу или копающихся в земле где-нибудь в стороне у анбарушки. Вот у ворот избы, на завалинке, вышла погреться на солнышке сгорбленная бабушка Офимья, которую уж никакие лучи солнца не могут согреть в этом мире и которая ждет не дождется той минуты, когда среброкудрые ангелы возьмут ее

душеньку и успокоят ее на лоне Авраамовом... Вот и сам он, достолюбезный русский мужик, тихо идущий за сохою, изнуренный, но не убитый трудом, утомленный, но все еще бодрый, угнетенный, но все еще надеющийся...

Но город уже близко; болота попадаются реже, населенность делается гуще.

Вот наконец и старинный сосновый бор, составляющий как бы необходимую принадлежность каждого русского города и служащий любимым местом прогулок для его обывателей.

— Этот боро̀к-то уже городской,— говорит ямщик, оборачиваясь к вам и как-то веселее покрикивая на лошадей,— а вон там — видишь, просвечивает-то — будет еще поляночка, а за ней уж и город.

— А что, хорош у вас город?

— Ничего, город хороший, и купцы богатеющие есть! По четвергам базары бывают, так и не проехать, что̀ туда народу наезжает!

И действительно, как только выедешь из соснового бора, глазам уже открывается весь город как на ладони. Обычное тревожное чувство неизвестности овладевает при виде его. «Что-то будет! какая-то жизнь кроется за этими стенами!» — думаете вы и с любопытством вглядываетесь в каждый самый незначительный предмет, попадающийся по дороге.

На этом городе мы с вами остановимся, читатель. Имя ему Срывный.

Он стоит на высоком и обрывистом берегу судоходной реки и вдоль и поперек изрезан холмами, оврагами и суходолами. Вид с нагорного берега реки на противоположную сторону до такой степени привлекателен, что даже генерал Зубатов, человек вообще к красотам природы не доброжелательный, удостоил обратить на него внимание и, обозрев с балкона отводной квартиры окрестность, произнес: «Достойно примечания». В особенности хорошо бывает в Срывном весною. Точно море, разливается в это время река, затопляя и луга, и частый тальник, растущий по берегу, и даже старый сосновый бор, который, словно движущийся остров, выступает в это время из воды колышущеюся зеленью вершин своих. Строго и негостеприимно смотрит огромная масса вод, меняя в быстром и грозном беге своем всевозможные оттенки цветов, от мутно-бурого и темно-стального до светло-бирюзового, местами переходящего в прозрачно-изумрудный и рубиновый; а в вышине бегут гонимые весенними ветрами облака, то отставая, то обгоняя друг друга и принимая самые прихотливые, узорчатые формы. Картина суровая и неразнообразная, но вместе с тем поражающая зрителя величием самой простоты своей. Вообще заме-

чено, что суровые тоны действуют на душу живительнее. В виду этого простора, в виду этой силы стихии, в одно и то же время и разрушающей и оплодотворяющей, человек чувствует себя отрезвленным, чувствует, как встает и растет во всем существе его страстный порыв к широкому раздолью, который дотоле дремал на дне души, подавленный кропотливостью жизненных мелочей.

В весенний солнечный день вся окрестность выступает до такой степени отчетливо, что верст на двадцать представляется взору со всеми подробностями и очертаниями. Вдали виднеются два-три села, с их белыми церквами и черными группами крестьянских изб; ближе буреет поле, местами еще не вполне освободившееся от снега, пестрящего его в виде белых заплат, а рядом с полем уже пробивается молодая трава на степном лугу. Вон в стороне мелькнул гнуткий тальник, сквозь густые и перепутанные насаждения которого блеснула стальная полоса ста́рицы, а иногда и просто оврага, который летом сух и печален, а весной до краев наполняется водой; по одному берегу его узкою грядкой лепится низенький и тощий лесок, по другому тянется бесконечная изгородь, местами уже обвалившаяся и вообще плохо защищающая соседний луг от потравы; а вон и болотце, сплошь покрытое волнующейся осокой, которой серые отливы неприятно режут глаза, а над болотцем бесчисленными стадами кружатся кулички и прочая мелкая птица. Наконец, далее, на заднем плане, картина обрамливается синею полосою леса, того неисходного леса, который, по уверению туземцев, тянется отсюда вплоть до Ледовитого океана. И все это облито горячими лучами весеннего солнца, все это свежее, девственное, ликующее, полное обновляющей силы...

По реке и на берегу кипит жизнь и деятельность. Плоскодонные расшивы, скорее похожие на огромные лубяные короба, нежели на суда, лесные плоты, барки с протянутыми от мачт бечевами,— все это снует взад и вперед, мешаясь в самом живописном беспорядке и едва не задевая друг об друга. Медленно и самодовольно проползает между ними единственная в своем роде огромная и неуклюжая коноводная машина, как будто хочет сказать встречным судам: «Эй вы, сторонись, мелкота! пропусти долговязого дурака!» В последнее время начали изредка пробегать даже пароходы, на огромное пространство вспенивая и возмущая воду, распугивая шумом колес робкое царство подводных обитателей и наводя своим свистом уныние на всю окрестность, которой тихий сон еще не был доселе нарушен торжествующими воплями новейшей промышленной вакханалии. Однако пароходы еще редкость

в этом краю, и местным жителям еще не надоело собираться толпами на берегу всякий раз, как пронесется по городу весть об имеющей прибыть «чертовой машине». Но увы! в воздухе уже носятся зловещие предзнаменования, предвещающие близкий конец первобытным формам жизни: атмосфера уже заражена тлетворными миазмами грядущих акционерных компаний, этих чреватых надувательством и невежественною дерзостью чужеядных растений, которые поработят себе туземного человека, чтоб утучнять его по̀том тела разбогатевших целовальников и их развратных любовниц. Одинокий ныне пароход приведет за собой десятки и сотни других; вытянутся вдоль берега фабрики и заводы; насытят они едкостию и смрадом дыма свежий воздух окрестности и отравят вольные воды реки... что-то станется с тобой, милая, девственная страна!

Странный, но вместе с тем неоспоримый и в высшей степени замечательный факт, что у нас на Руси всякое новое явление, обещающее, по-видимому, облегчить развитие народной жизни, прежде всего ложится тяжелым гнетом именно на эту жизнь. Мужик теряет везде: фабрикант его притесняет, удерживая из заработной платы прогульные дни, насчитывая на него разнообразные утраты; на пароходе и в вагоне распоряжаются им, как поклажею. И нигде защиты, нигде управы! Несомненные выгоды нового положения, приносимого робкими зачатками цивилизации, исчезают под бременем придирок, формальностей и какого-то безнравственного служения искусству для искусства, а ущербы и утраты, которые неминуемо влечет за собой падение старых порядков, выступают все яснее и настоятельнее и все назойливее разжигают в сердце бедного человека горькое недовольство настоящим, без всякой надежды на будущее. Отчего это? Не оттого ли, что в естественном порядке всякое новое явление в сфере экономической или политической должно входить в жизнь не одинокое, но окруженное целым рядом других соответственных явлений, имеющих споспешествующее и обеспечивающее свойство, а у нас явление это всегда становится уединенно, без всякой связи с общим жизненным строем? Не оттого ли, что всякое учреждение, какова бы ни была побудительная причина его существования, прежде всего должно служить обществу, его интересам, даже капризам и прихотям, а не порабощать их себе, не приурочивать их к своему масштабу? Здесь не место, конечно, решать такого рода вопросы, но нельзя не сознаться, что они невольно представляются встревоженному уму и, однажды возбужденные, надолго оставляют в сердце горький осадок недовольства.

Но, в отношении к описываемой местности, это покуда только гадательное будущее, а потому станем продолжать прерванное описание.

Бечевник усеян бурлаками и их тощими лошаденками; вид первых, а равно гортанные и унылые крики, которыми они побуждают как друг друга, так и лошадей, наводят тоску на сердце постороннего наблюдателя; это какой-то выстраданный, надорванный крик, вырывающийся с мучительным, почти злобным усилием, как вздох, вылетающий из груди человека, которого смертельно и глубоко оскорбили и который между тем не находит в ту минуту средств отомстить за оскорбление, а только вздыхает... но в этом вздохе уже чуется будущая трагедия. Особенно широкие размеры принимает торговая и промысловая деятельность города на пристани. Не надо воображать себе, чтоб это была пристань благоустроенная, с анбарами, с укрепленною набережной и мощеным спуском; это просто так называемая «натуральная» пристань, большую часть навигационного времени непроходимо грязная, с невозможным спуском и ветхими, полуобвалившимися навесами вместо складочных помещений. Бунты кулей с хлебом и льняным семенем, груды рогож и мочала, приготовленные для сплава, в беспорядке стоят на берегу, ожидая своей очереди к погрузке, но эта-то беспорядочность и сопряженная с ней суетливость и придают пристани ту оригинальность, которой она, конечно, не имела бы, если б погрузка производилась систематически. Немолчно раздается говор и шум толпы; весь воздух наполнен этим милым, как будто праздничным гулом, который по временам принимает самые симпатические тоны. Вот доносится до вас замысловато-крепкое словцо, но доносится как-то не оскорбительно, а скорее добродушно, так что вам остается только развести руки и подумать про себя: «Ведь вот что выдумал человек! даже правдоподобия никакого нет... а ладно!» Рядом с этим крепким словцом слышится действительно добродушный и задушевный смех, и раздается острота, но такая меткая и хорошая, что лицо ваше проясняется окончательно, и вы невольно, всем сердцем, все существом приобщаетесь к этой внутренней, для равнодушного зрителя навсегда остающейся неразгаданною жизни народа, сила которой почти насильственно заденет все лучшие, свежие струны сердца, наполнит душу неведомыми, неизвестно откуда берущимися рыданиями и хлынет из глаз целым потоком слез... Где источник этих слез? в том ли сочувственно-любовном настроении души, которое заставляет симпатически относиться ко всем даже темным сторонам родной жизни, или в том вечно расходуемом, но никогда не истрачивающемся запасе застаре-

лых скорбей и печалей, который горьким опытом целой жизни накопляется в сердце, набрасывая на него темную пелену уныния и безнадежности?

Не берусь решить этот вопрос, но знаю, что в слезах ваших будет и своя доля отрады, как и в том достолюбезном народном говоре, в котором, среди диссонансов, слышится иногда такой ясный, поразительно цельный звук, что из сознания вашего мигом изгоняется всякое сомнение в возможности будущей гармонии.

Вообще из всей обстановки должно заключить, что Срывный богатый промышленный город. Действительно, он и выстроен, сравнительно с другими уездными городами, хорошо; главная площадь и главная улица сплошь застроены каменными домами и анбарами, а многочисленность магазинов, с красными и галантерейными товарами, доказывает, что значительная часть его населения достаточно зажиточна, чтобы дозволить себе употребление предметов роскоши. Тем не менее каменные палаты купцов смотрят негостеприимно. Есть что-то угрюмое в звуке цепей, которыми замыкаются тяжелые ворота, отворяемые только для пропуска телег, тяжело нагруженных громоздким товаром, и потом снова и надолго запираемые. Маленькие и глубоко врезавшиеся в толстые стены окна домов тоже всегда заперты; не проглянет из-за них в глаза прохожему пригожая головка хорошенькой купеческой дочери, не освежит его слуха молодой и резвый смех детей, этот смех вечно ликующей, вечно развивающейся жизни; зеленоватые и покрытые толстым слоем грязи стекла скрывают от взора даже внутренность комнат. Постороннему человеку представляется, что там, за этими тяжелыми воротами, за этими толстыми каменными стенами, начинается совершенно иной мир, мир холодный и бесстрастный, в котором не трепещет ни одно сердце, не звучит ни одна живая струна.

Там, мнится ему, в этой бесшумной и темной области, живут люди с потухшими взорами, с осунувшимися лицами, люди, не имеющие идеала, не признающие ни радостей, ни заблуждений жизни и потому равнодушным оком взирающие на проходящее мимо их добро и зло. Там старики отцы заживо пожирают безгласных детей; там проходимцы святоши, смиренные и угодливые с вида, в сущности же пронырливые и честолюбивые, держат в руках своих, при помощи фанатических старух, судьбы и честь целых семейств.

В особенности вечером это полное отсутствие жизни принимает грустный, даже мучительный характер. Едва спустились на землю сумерки, как вслед за ними почти мгновенно исчезает и всякое движение по улице, наступает глубокая, мерт-

вая тишина, лишь изредка прерываемая лаем спущенного с цепи пса, и ни в одном окне не покажется зазывного света, ни в одном конце не застучит земля под ногою запоздавшего пешехода, а сомнительные и дрожащие лучи зажженных перед образами лампадок, прорезываясь сквозь мглу, делают ее еще более мрачною и непроницаемою.

Но самая характеристическая особенность города, определившая однажды навсегда и состав и занятия его населения, заключается в том, что он стоит на углу, где сходятся рубежи трех губерний, и вместе с тем представляет центр, в который стекаются все безвестные, неофициальные пути, ведущие из Зауралья в Великую Россию. Это положение представляет слишком много удобств для всякого рода запрещенных сделок и укрывательства, чтобы люди смышленые не поспешили воспользоваться подобным преимуществом. Исстари Срывный сделался, с одной стороны, становищем всевозможных раскольнических толков, с другой — гнездом искусников, промышляющих всякого рода зазорными ремеслами. Возможность легко и скоро сбыть подозрительную вещь, а в крайнем случае и самому скрыться за реку, которая составляет заповедную для местной полиции черту, положила начало промыслам подобного рода в таких обширных размерах, что полиции остается только самой принимать в них косвенное и небезвыгодное участие. Круглый год, а в особенности с открытием речной навигации, в Срывном проживают целые толпы бродяг, между которыми нередко можно встретить даже беглых каторжников, а преимущественно всякого рода искателей приключений, которым, вследствие разных обстоятельств, сделалось тесно и душно под родной кровлей.

II

Веригин

В конце мая 1857-го года в Срывном поселился молодой человек, по фамилии Веригин. Прибыл он туда в качестве агента, предвестника обширного промышленного предприятия, и немедленно же оказал примерную деятельность по исполнению возложенного на него дела.

Известно, что у нас, лет пять тому назад, промышленным проектам и предприятиям всякого рода особенно посчастливилось. Общество неожиданно прониклось духом спекуляций и жаждою приобретения; после продолжительного оцепенения оно вдруг встрепенулось, бросилось в промышленный идеализм, прониклось наивною верой в какое-то обновление Рос-

сии и торопливо рвалось (словно милостью воспользоваться спешило) пустить свои залежавшиеся капиталы в различные предприятия, обещавшие несомненные и бесконечные выгоды. Акционеры того времени и доселе ощущают на себе последствия этой промышленной горячки, заявившие себя и в упадке акций до половинной цены, и в невыдаче дивиденда. Но тогда им жилось легко. Тогда их обольщала карта России; подобно мужикам, двигавшимся на Сыр-Дарью из внутренних губерний России, они верили, что существуют где-то кисельные берега, между которыми текут молочные реки; верили и мечтали, верили и беспрекословно подписывались на акции.

Как бы для усугубления ажитации, явились на сцену особого рода промышленные меценаты, из людей бывалых, обладавшие значительными капиталами и, что всего важнее, обязанные своим благосостоянием личному труду. Эти меценаты рассуждали резонно и скучно (что, как известно, составляет необходимую принадлежность русской деловитости), доказывали, что дважды два — четыре, а отнюдь не пять, отказывались от своего прошлого и, скромно краснея, убеждали общество не увлекаться, не кидать капиталов на ветер, но действовать осторожно и осмотрительно. «Прежде всего,— говорили они,— следует достоверно узнать, действительно ли так обильна земля наша, как свидетельствовали о том трем братьям Варягам достославные сподвижники старца Гостомысла». Слыша такие разумные речи, акционеры кричали «ура!» и беспрекословно поручали свое достояние опытным мужам, которые, служа столько лет преимущественно по питейной части, не могли же не знать России вдоль и поперек. Некоторые даже ласково роптали на излишнюю осторожность меценатов и убеждали их быть более смелыми. «Дерзость и натиск — вот лозунг нашего времени!» — говорили они и расходились по домам, утешенные сладким сознанием исполненного долга.

Промышленные замыслы, проекты и вычисления вырастали на каждом шагу, изумляя своим разнообразием и грандиозностью умы самые дерзкие и наполняя сладким трепетом сердца скопидомов, пред которыми, к довершению всего, опекунский совет угрюмо затворил свои гостеприимные двери. «Сам Василий Панкратьич проговорился, что тут пахнет пятнадцатью процентами!» — раздавалось из конца в конец. «А Моисей Самойлыч клянется: будь я подлец, если не получится целых двадцати!» — откликалось промышленное эхо. Капиталы стекались; меценаты радовались и поздравляли акционеров с пробуждением общества к деятельности; акционеры радовались и благодарили меценатов за лестное об обществе мнение.

И, надо быть справедливым, «опытные мужи» вполне оправдали ту лестную репутацию, которая им предшествовала. Всем известно, сколь плачевно окончились мыльные пузыри, носившие у нас громкое название промышленных предприятий, но опытные мужи вышли невредимы из общего избиения. Как только верхнее чутье доносило до них смутное известие об угрожающей опасности, они немедленно и небезвыгодно устремлялись в кусты, предоставляя мелкоте-акционерам считаться между собой и даже укорять друг друга в беспутстве и малоумии.

Но оставим в стороне меценатов. Для нас гораздо важнее то, что тот же дух промышленных предприятий дал место другому, тоже довольно многочисленному классу людей. Это — класс агентов, ходоков, путешественников-аматеров, выведывальщиков, которые, странствуя по разным краям России, ловко подделываются под народную речь, собирают сведения о ценах на всевозможные предметы, о местных промыслах и заработках и проч. Большею частию это народ молодой и порядочный, приступающий к делу с увлечением, но вместе с тем народ бедный, начинающий жизненную карьеру на свой собственный счет, а не на счет бабушек и тетушек. Частную службу эти люди предпочитают всякой другой, во-первых, потому, что она представляет более независимости и разнообразия, а во-вторых, и потому, что она солиднее обеспечивает средства существования. Время, которое мы переживаем, вызвало к деятельности много таких людей; это те самые, которые прежде всех заприметили так называемую эпоху возрождения и первые же запели в честь ее страстные дифирамбы. Надо сказать правду: это последнее было с их стороны опрометчивостью, в которой они впоследствии горько раскаялись, но вместе с тем опрометчивостью не необъяснимою. Кажущееся стремление общества выйти из застарелых форм жизни обманывает; кажущееся раскаяние закоснелых грешников трогает. В те торжественные минуты, когда общество, как один человек, посыпает голову пеплом и объявляет себя несостоятельным, все представляется возможным и естественным. В такие минуты крокодил проливает слезы, гиена умиляется, откупщик клянется прекратить постыдное ремесло своей жизни. «Забудем прошлое! поспешим на помощь ме́ньшему брату!» — слышится со всех сторон, и вслед за этими возгласами действительно простираются объятия, и самые губы складываются в поцелуй. Как тут не поверить? как соследить затаенное коварство, составляющее внутренний смысл нравственного переполоха?

И молодые люди верят; мало того, что верят, но даже

делаются провозгласителями какой-то неслыханной эпохи возрождения и яростными сторонниками ее. Незлокозненные сами, они и в других с трудом предполагают злокозненность, возведенную на степень жизненного правила; они не видят, что старое ехидство еще дышит и простирает сведенные судорогой руки, чтоб задушить зачатки новой жизни. А тут подвернется еще нужда, а тут обстоятельства подойдут, которые свяжут и спутают по рукам и по ногам, как тенетами... Куда деваться в то время, когда целый ряд горьких фактов и гнусных откровений докажет, что мечты о независимости были только наносным самообольщением и что, думая служить делу общему, в сущности служишь лишь делу немногих тунеядцев, утучняющих тела свои на счет общества?

Но каково бы ни было решение, которое примет молодой человек, чтоб выйти из этого положения,— то есть захочет ли он освободиться от него во что бы то ни стало или же предпочтет относиться к нему несколько игриво и пользоваться им для иных целей, определяемых его личными наклонностями,— во всяком случае, время, проведенное среди кипучей практической деятельности, не останется без следа для него самого. Вращаясь постоянно в самом источнике народной жизни, приступая к изучению ее с сердцем свежим, не подкупленным гнилым опытом общественных отношений, он научится распознавать истинную меру народа, научится относиться к нему сочувственно. Это одно произведет в нем целый нравственный переворот и определит характер его деятельности в будущем.

Однако возвратимся к герою нашего рассказа. С самого детства жизнь неблагосклонно приняла Веригина. Он был сын мелкопоместного дворянина, который, несмотря на свою бедность, успел, однако ж, с помощью разных милостивцев пристроить сына сначала в гимназию, а потом и в университет. Это стоило старику много хлопот и еще больше унижений; милостивцы ломались и заставляли своего клиента выделывать различные коленца. Сын помнил, хотя довольно смутно, эти странные, унизительные похождения, которым должен был, из-за куска хлеба, предаваться отец, но все-таки помнил; помнил он, как они скитались с отцом по благодетелям из дома в дом: где обедали, где ночевали; помнил, как неохотно с ним играли дети милостивцев, как дарили их обносками. Все это, разумеется, в детстве скользило по душе его и скоро забывалось, но впоследствии, когда сама собой раскрылась перед глазами горькая загадка жизни, забытое прошлое вспомнилось как живое и страшною, разъедающею язвой откликнулось в оскорбленном сердце.

Связь между Веригиным и родительским домом была порвана с первой же минуты поступления его в гимназию. С самой этой минуты он почувствовал себя, так сказать, ответственным лицом за свои поступки и действия. В то время как товарищи разъезжались на праздники и на каникулы по домам, Веригин, с немногими подобными ему бездомными бедняками, постоянно оставался в заведении. Один раз только отец прислал навестить его какого-то калеку-мужика, который целых две недели тащился зимой, в изорванном панитке, неся из-за двухсот верст запас деревенских гостинцев, состоявший из сушеной малины и мерзлых колобков, но и этот знак родительской заботливости подействовал на Веригина скорее странно, нежели благотворно. Привыкнув к стройной и красивой внешности казенного заведения, тринадцатилетний мальчик оторопел, увидев перед собой разбитого и оборванного старика, с низким поклоном подававшего ему холщовый мешок и родительское писёмце.

— Что̀ ты! что ты! возьми себе! — бормотал Веригин, отклоняя мешок и чувствуя, что на него устремлены насмешливые взоры швейцара, от которых кровь приливала к его голове.

Но старик упрямился и пустился пространно доказывать, что сам батюшка Семен Иваныч приказали ему беречь гостинец пуще глаза и отдать Николеньке в руки. На сцену эту налетели товарищи; поднялся шум и крик; злосчастный мешок переходил из рук в руки.

— Господа! Веригину страсбургский пирог прислали! — говорил один.

— Господа! за Веригиным ливрейный лакей в карете приехал! — кричал другой.

К Веригину, однако ж, приставали недолго, потому что он тотчас же дал почувствовать, что к нему приставать безнаказанно нельзя. Тем не менее происшествие это произвело на него тяжелое впечатление. Молодая душа его почувствовала себя еще более уязвленною, еще более одинокою. Читатель, забывший года своего детства, быть может, найдет моего героя скверным и пошленьким мальчишкой; но в таком случае прошу его потревожить свою память. Пусть припомнит он, как горько для молодого самолюбия чувствовать себя всегда последним, как бы обойденным; пусть припомнит он, как тяжело то безмолвное отречение от участия в товарищеских складчинах и пирушках, на которое обречен бедный школьник. Жизнь школы представляет собою тот же разнообразный мир отношений, который царствует и вне стен ее. Так же как и там, в этих стенах существует и неравенство положе-

ний, и право сильного над слабым, с тою только разницею, к невыгоде школы, что здесь право защиты почти ничтожно и что своекорыстие воспитателей и дурная система воспитания не только не сглаживают этих неровностей, но, напротив того, как будто еще более увеличивают их. Веригин рано сознал, что он сам должен быть творцом своего будущего, что никто ему не поможет, никто не выведет, и, сознавая это, возмущался и в одном горьком чувстве неприязни соединял и школу, не давшую спокойного приюта его детству, и товарищей, позволявших себе издеваться над ним, и родных, которых бедность послужила первым поводом к его унижению.

Но гимназический курс окончился. Веригину предстояло поступить в университет. Жизнь взглянула еще строже, еще суровее; правда, на первых же порах она давала некоторую свободу действия, она избавляла от рокового общения с существами антипатичными, но вместе с тем знакомила с другим чудовищем — материальною нуждою. Необходимо было обшиться, найти себе пристанище и, наконец, прокормить себя. Материальные средства, обеспечивающие существование большей части студентов, в последнее время обратили на себя всеобщее внимание, и частная любознательность имела полную возможность отыскать в этой темной и горькой области факты, совершенно поразительные. Трудно поверить, например, что студент, который ежедневно дает в трех домах уроки, получает за это в вознаграждение лишь право по очереди обедать у каждого из своих питомцев; трудно поверить, что молодой человек, потеряв один из таких уроков, вместе с тем временно теряет возможность дважды в неделю утолять свой голод; трудно представить себе все эти жгучие заботы об одежде и обуви, о завтрашнем дне, которые из часа в час преследуют бедного молодого человека; трудно вообразить зловонные, тесные каморки, в которых он находит себе на ночь приют после трудового дня. Стало быть, в этих людях есть искра, которая и за всем тем не дает им ослабнуть; стало быть, есть в них мощь, которая заставляет переносить все бедствия, все мелочные преследования жизни, часто даже не прикрашиваемые розовыми мечтаниями. Да; тут есть нечто такое, что невольно заставит задуматься; тут есть своего рода рок. Та же роковая сила, которая царит над миром неразумия и лжи, побуждает и доброе и благородное совершать до конца естественное течение свое. Подобно пропасти она втягивает в себя; подобно василиску она очаровывает и цепенит. Многие погибнут в борьбе, многие пойдут на сделку с жизнью, но многие выйдут из испытания крепкими и бодрыми.

Веригин прошел эту суровую школу вполне; он вынес нужду на крепких плечах своих. Но как бы в вознаграждение за всевозможные лишения, он узнал всю сладость свободных отношений к людям и дружески сошелся со многими из своих товарищей. К счастию, кружок, в который он попал, не был причастен тому легкомыслию, которое так нередко безвозвратно губит молодых людей. В нем не чувствовалось наклонности ни к франтовству, ни к кутежам; напротив того, в вечерних собраниях, которые почти ежедневно назначались то у одного, то у другого из товарищей, было скорее нечто однообразно-строгое, словно монастырское. Каждый вечер лились шумные и живые речи, приправленные скромной чашкой чая; каждый вечер обсуждались самые разнообразные и смелые вопросы политической и нравственной сферы; от этих бесед новая жизнь проносилась над душою, новые чувства охватывали сердце, новая кровь сладко закипала в жилах... Однако это не были словопрения бесплодные, и молодая жизнь не утопала в них, как в мягком ложе; напротив того, проходя через ряд фактов и умозаключений, мысль фаталистически приходила к сознанию необходимости деятельного начала в жизни, такого начала, которое не играло бы только на поверхности мечтаний и пожеланий, но стремилось бы проникнуть в глубину самой жизни. И хотя деятельность, которая представлялась при этом молодым воображениям, была трудная и суровая, отовсюду окруженная тревогами и опасностями, но и это как-то не пугало, а разжигало и подстрекало еще более.

Нельзя не сознаться, что между направлением нынешнего молодого поколения и того, которое жило, надеялось и мечтало лет двадцать тому назад, есть весьма существенное различие. Прежнее молодое поколение не выходило из сферы идеалов и как-то брезгливо относилось к действительной жизни, потому ли, что не знало ее, или потому, что идеалы красоты, добра и истины, к которым оно стремилось, как-то плохо примерялись к голой действительности. Во всяком случае, тут было дано слишком много места фразе и слишком мало — делу; а отсюда явный разрыв с жизнью. Говоря беспристрастно, в этом щегольстве мысли и формы, в этом презрении к интересам дня заключалось даже нечто похожее на затаенный аристократизм. Люди, в сфере мысли смелые до дерзости, оказывались робкими и несостоятельными, чуть только дело доходило до соприкосновения с действительностию. Злоба дня заставала их безоружными, готовыми погибнуть, но не бороться; коли хотите, между ними могли быть и даже были мученики, но деятелей не было. Напротив того,

нынешнее молодое поколение прежде всего заботится о деле. Наученное опытом своих предшественников, оно опасается фразы; оно знает, что мысль отвлеченная, заключенная в тесном пространстве кружка, бесплодна и что, только воплощенная в дело, она приобретает свой истинный, не мнимый смысл. Правда, что тут горизонт мысли суживается, что мысль принижается и теряет свою окрыленность, правда также, что самое дело, поставленное в свои естественные пределы, представляется уже менее блестящим и громадным, но зато мысль обмирщивается и делается достоянием масс, а не привилегией немногих избранников, но зато делается дело не призрачное, а действительное, не иссушающее почву, но утучняющее ее. И если до сих пор самое это стремление к делу практическому имело характер несколько теоретический, если деятельность молодого поколения оказывается не всегда достигающею своих целей (что и подает повод к обвинению его в мечтательности), то причины этого должно искать совсем не в неспособности к делу, а в той трудности, с которою вообще раскрывается глубь русской жизни для всякого, кто желает в ней действовать. Ясно, что при таких условиях деловитость находит себе прибежище покамест только в науке, но уже и тут она на каждом шагу доказывает, какою силой она может сделаться в жизни, как скоро достигнет возможности обладать ею.

Веригин вполне отдался этой жизни кружка. Он уже не чувствовал себя ни бездомным, ни одиноким; он понял, что бывают на свете связи более живучие, нежели те, на которые рок кладет беспощадное клеймо свое. Прошедшие воспоминания детства и родных мест удалялись все дальше и дальше; как солнце, склоняющееся к западу, они освещали умирающими лучами только один край горизонта и, как оно же, готовы были утонуть в тумане. Как ни тяжела бывает такая оторванность от призраков прошлого, как ни протестует порой против нее самое холодное сердце, но, однажды признав ее, однажды приняв ее как необходимое условие жизни, человек не только привыкает к ней, но чувствует себя как бы отрезвленным. Обманы жизни утрачивают свою власть; почва не дрожит и не исчезает под ногами.

Особенною характеристическою чертою людей этого молодого кружка было полнейшее, если можно так выразиться, половое целомудрие. Я недаром сказал, что здесь царствовало что-то монастырское. Женщина представлялась какою-то теоретическою отвлеченностью, всегда нравственною, всегда окруженною ореолом и благоуханием чистоты. То был идеал, о котором мечтало молодое воображение, но который

оно не дерзало себе воплотить, то была одна из вечно зовущих задач жизни, к которой горячо стремилось тревожное сердце, но перед осуществлением которой чувствовало какую-то целомудренную робость. Одним словом, женщина являлась скорее как один из величайших жизненных вопросов, нежели как воплощение, и чем светозарнее было облако, одевавшее этот идеал чистоты, тем благоговейнее относилась к нему мысль, тем просветленнее и чище становилось самое чувство, им возбуждаемое.

Подобно прочим членам кружка, Веригин жил тою целомудренною, полуаскетическою жизнью, которая могла бы назваться безрадостною, если б не оживляли ее те незаметные для большинства радости мысли, которые держат человека в возбужденном состоянии и не дают ему поникнуть под бременем скуки и апатии. Подобно прочим, он был человеком, не тронутым жизнью, представлявшим собой только возможность, откуда впоследствии должна была развиться та деятельная сила, которая составляет непременное условие для того, чтоб бороться с жизнью, а не падать под ярмом ее. Подобно прочим, он был материалистом в мысли и идеалистом, даже несколько фанатиком, в жизни. Факт, по-видимому, странный, но далеко не необъяснимый, если мы вспомним ту разладицу между мыслью и жизнью, которая составляет типическую черту неустановившегося общества и которая и до сих пор заставляет нас сравнивать мысль с мечом.

Я знаю, что многие смотрят неприязненно на эту особную сосредоточенную жизнь, которую ведут лучшие молодые люди нашего времени, на их суровые, нередко носящие характер исключительности и нетерпимости отношения к действительности. Этой неприязненности не чужды не только те, которые находят для себя выгодным, чтоб молодые люди меньше размышляли, учились бы по тетрадкам, а в свободное от занятий время развлекали себя в танцклассах, но и те, которые сами некогда были причастны той работе, которой продолжателем является современное молодое поколение. Я не распространяюсь о первых: это уж такое печальное ремесло; но думаю, что и со стороны последних неприязнь истекает не из совсем чистого источника и что, во всяком случае, она заклеймена печатью пристрастия. Странную картину представляют собой сменяющие друг друга поколения русских людей: это как будто бы обрубленные звенья цепи. Каждое считает себя как бы началом и концом истории; каждое, сказав свое слово, признает его окончательным выражением истины. И потому всякая попытка развить начатое дело встречается не только с недоверчивостью, но даже с ненавистью; в этой

попытке мы видим не продолжение нашего же собственного труда, но какое-то преднамеренно наносимое нам оскорбление, какой-то обидный намек на то, что вот выискались же люди, которые увидели то, чего мы не видали, додумались до того, о чем мы не помышляли. Все эти перекоры идеалистов с материалистами, которых мы были свидетелями в недавнее время, исходят из этого источника; все скандальные обвинения в самонадеянности, мальчишестве, казачестве, неуважении к науке, которыми осыпалось и осыпается современное молодое поколение, опять-таки находят себе объяснение в том же источнике. Мы слишком скоро забываем свое прошлое, то дорогое прошлое, когда и нас обзывали мальчишками, мы слишком охотно мним себя вечно юными, и, когда история сама возьмется доказать нам, что она не истощается, мы злобимся и протестуем, мы кричим на весь свет, что нас режут и грабят, мы пускаемся в огульный донос.

Но молодость есть тоже своего рода сила, которая не имеет ни малейшего повода уступать без борьбы свои права на жизнь. Не надо забывать, что если у нее и есть недостатки, то недостатки эти созидаются нами самими. Мы слишком легко даем знать, что матерьяльная сила еще не ускользнула из наших рук и что право давать жить другим вполне зависит от нашего усмотрения. Мы оскорбляем молодость в ее лучших стремлениях, мы преследуем и раздражаем ее, мы на все ее заявления отвечаем каким-то презрительным и тупоумным fin de non recevoir[1] — и удивляемся, что она относится к нам с неуважением, что она без всякой деликатности развевает один за другим по ветру те призраки, которыми красна была наша жизнь. Но спросимте же себя хоть один раз, стоим ли мы сами этого уважения и деликатности?

Да, я знаю, что молодое поколение живет не нормальною, а фанатическою жизнью, но я знаю также, что грех этот ляжет не на него, а на тех, которые сознательно или бессознательно устраивают ему такое положение. И каковы бы ни были заблуждения и увлечения молодости, будь благословенно вовек ты, время светлых верований и бескорыстных, теплых упований! и пусть оскудеет рука, которая решится написать обвинительный приговор твой! Да, я смело пишу слово «верование», ибо если и нет здесь места верованью для верованья, то есть вера в правоту дела, есть вера в плодотворность подвига, есть вера в будущие судьбы человечества.

---

[1] отказом дать иску законный ход (*юрид. термин*).

Кончивши курс в университете, Веригин почему-то не пожелал начать свое жизненное поприще государственною службой. Вообще он как-то холодно относился ко всему, что носило на себе печать официальности. Вкоренилось ли в нем это неприязненное чувство вследствие собственной работы мысли, или было оно просто наплывное, навеянное разговорами и рассуждениями настроенного в известном тоне дружеского кружка, во всяком случае Веригин, в противоположность тем молодым людям еще весьма недавнего времени, которые, едва оставив школьную семью, прежде всего спешили укрыться под сенью широковетвистого древа бюрократии, находил, что теория безусловного подчинения народной жизни всепоглощающей идее государства заключает в себе нечто мертвенное, в самом зерне своем осужденное на вечное бесплодие. Не имея, в качестве простого повествователя, ни права, ни обязанности определять, в какой степени правильны были убеждения моего героя, я могу сказать только одно, что, раз приняв их, Веригин считал, что с его стороны было бы нечестно входить в какие бы то ни было соглашения с тем, что так положительно и резко отвергала его мысль. Он даже не допускал того, что можно находиться в самом центре известного дела и в то же время не только отрицать, но даже практически подрывать его; что в иных случаях это даже самый удобный и успешный образ действия.

Однако эта брезгливость мысли едва не сделалась для него гибельною на первых же порах. Покуда он учился, он мог существовать уроками, но за стенами школы этого уже оказывалось недостаточно. Не то чтобы материальные требования его сделались менее скромными, но он как-то вдруг почувствовал, что рамки учительского поприща слишком тесны, что жизнь не умещается в них и что если он хочет приобщиться к жизни, то не запираться должен от нее, но, напротив того, отмыкать все замки и запоры, которые скрывают ее от него. Мечтание дерзкое и самонадеянное, но мы поймем его, если вспомним, что Веригину всего было двадцать два года и что в эти лета и кровь живее обращается в жилах, и сердце горячее бьется, и все как-то зовет и манит вдаль и вдаль.

Но куда же идти, к чему примкнуться? в этом заключался весь вопрос. Жизнь представлялась подобием неизведанного моря, на котором нет торных дорог, на котором смелый пловец должен сам просечь себе грудью бесследную дорогу. Но не это еще одно составляет крайнюю трудность дела; существенное затруднение заключается в том, что самая цель, к которой и стремится жизненный пловец, еще не определена,

но составляет лишь искомое. Эта цель, эти новые формы жизни, в которых общество чувствовало бы себя просторно и находило бы полное удовлетворение своим потребностям, для многих составляют предмет мучительных тревог и размышлений. Где эти формы, какие они? Конечно, здесь на помощь является теория, но в наше время люди как-то изверились в теории, как-то мало довольствуются хлебом духовным, а требуют дела настоящего, дела хотя маленького и неблестящего, но такого, при котором сразу чувствовалось бы облегчение. Где эти формы, какие они? А что̀, если, следуя теории, зайдешь в трущобу, да заведешь туда и других? А что, если, преследуя цель, придешь к заключению, что действовал облыжно, что следует возвратиться назад и начинать сначала жизненный путь, который уже считает за собой столько мучительных усилий, столько горьких разочарований и обманутых надежд?

Однако Веригин именно эти-то вопросы и сумел обойти. Основательно или неосновательно, но он находил, что на нашей почве общественное дело не в том заключается, чтоб втискать жизнь в какие-либо прежде добытые и одобренные теорией формы, но именно в облегчении путей к отысканию этих форм. Процесс этого отыскивания, скучный процесс разработки фактов и группирования их он считал единственною плодотворною задачей всякого общественного деятеля, который требует, чтобы голос его не был гласом, вопиющим в пустыне. По мнению его, он имел дело с искусственным хаосом, которого атомы, двигаясь в том или другом направлении, покорялись не разумно-естественным законам природы своей, но законам внешним, не имеющим ничего общего с этою природой и наложившим на нее насильственные оковы. Разорвать эти оковы, освободить от них жизнь — вот цель, которой достижение казалось Веригину достойным усилий и трудов целой жизни. А что будет потом? не выйдет ли из всего этого анархии? С горестью мы должны сказать, что Веригин хотя не отрицал уместности этих вопросов, но отвечал на них уклончиво и как-то сомнительно улыбался при этом.

Совсем не в столь благоприятном свете представился ему вопрос, по-видимому, более легкий: вопрос о средствах приобщиться к желаемой жизни, о путях, которые ведут в нее. Здесь предстояла борьба с грядущею нуждою, здесь в преспективе виднелась даль сомнительная и туманная. В самом деле, какого рода деятельность могла предстоять человеку бездомному, почти без прав состояния, каким был Веригин? Карьера чиновника или карьера учителя — вот два пути,

мимо которых еще долго не пройдет благорожденный русский дворянин, если он не помещик и не капиталист. Конечно, возникшее в последнее время экономическое и промышленное движение должно бы, по-видимому, вызвать много лишних людей, доселе остававшихся незанятыми; но у нас на такого рода дело требуются люди опытные, а опытными людьми называются бывшие целовальники и питейные ревизоры. Всякий человек имеет какое-нибудь звание, всякий человек к чему-нибудь приурочен; один благорожденный русский дворянин звания не имеет и ни к какому делу не приурочен. Но, кроме того что всякий выход из своей искони накатанной колеи вообще бывает очень труден, весь жизненный строй так сложился, что если б даже и свободно было передвижение, мы сами не могли бы воспользоваться этою свободой. Мы немощны, мы ни к чему не приготовлены; мы знаем все, чего бы, в сущности, можно и не знать, и не знаем главного: той среды, в которой судьба нас поставила жить и действовать. Да; мы именно можем примкнуться только туда, где не требуется ни знаний, ни даже умственной работы, где все идет по заведенному порядку, где жизнь представляет собой разграфленный бланк, который следует наполнить известными, наперед заданными словами, и не произвольно, а в тех именно местах, где это назначено.

Нужда грызла и с каждым днем все назойливее и назойливее подъедала душу. Уроки опротивели Веригину, и он оставил их за собой ровно столько, чтоб не умереть с голоду. Часто, длинными зимними вечерами, сиживал наш герой один в крошечной своей комнате, которую нанимал от жильцов, и многих горьких дум была ты свидетельницей, маленькая, бедная комнатка! «Покорись! — шептала нужда,— пойди на соглашение, тем более что оно нисколько не связывает тебя в будущем; впоследствии, когда заручишься силами, ты можешь сбросить с себя всю ветошь и, изучив слабые стороны своего врага, будешь в состоянии поразить его собственным его оружием!» Но совесть не оставалась безмолвною перед льстивыми советами нужды. «Иди смело! прокладывай себе грудью путь новый! — говорила эта совесть,— соглашения вкрадчивы, соглашения неслышно засасывают в себя всего человека; берегись их, ибо, став однажды на этот путь, ты безвозвратно посрамишь свою мысль!»

Веригин страдал и нередко приходил в ужас, чувствовал какое-то омерзение к жизни, но все-таки устоял и не покорился. Он рвался из этого страшного города, который, как вредный и несытый паразит, пьет соки целой страны, который, как червь неусыпающий, кипит в котле какой-то нелепой,

бессмысленной деятельности, и чувствовал, что он тут прикован, что руки его связаны, что сила, которая ключом кипела и переполняла все его существо, горькою насмешкой судьбы приведена на степень бессилия.

— Неужели же нет дела? неужели нет такого дела, посредством которого можно было прийти в соприкосновение с массой? — спрашивал он себя.

Однажды, в особенно горьком настроении духа, Веригин отправился в театр. Давали «Гугенотов», и герой наш, расположившись в пятом ярусе, без особенного внимания следил за оперой, до самого того места, когда некоторый господин, потрясая кинжалом, клянется иступить его об груди еретиков и требует подобной же клятвы от толпы, тут же присутствующей. «Клянемся!» — вопит полудикая, наэлектризованная энергическим словом толпа. «Клянемся!» — вторит ей оркестр, и тут происходит на сцене нечто страшное, возмутительное: решается бойня нескольких десятков тысяч людей, бойня холодно обдуманная, бойня спящих людей. Сцена эта поразила Веригина.

— Нельзя не сознаться, что этот, в мантии, преотвратительная каналья, однако дело свое понимает! — сказал он, инстинктивно обращаясь к своему соседу.

Сосед обернулся: это был такой же молодой человек, как и Веригин.

— Суждение ваше мне нравится, любезный незнакомец! — отвечал сосед,— но, в сущности, я даже не обращаю внимания и на то, в какой степени каналья этот господин в мантии. К совершенному моему удовольствию, я не только не знаю итальянского языка, но даже не интересуюсь содержанием оперы. Знаете ли, что именно меня занимает в этом случае?

— А что?

— Меня занимает собственно толпа и те дикие вопли, которые из нее выходят; посмотрите: все хористы подбежали к рампе; свет ламп прямо ударяет в их лица, и без того уже красные от напряжения; они вопят и клянутся... Я сижу здесь вверху и радуюсь... Меня даже как будто подмывает. Я знать не хочу, что это изуверы-католики, я даже не хочу входить в суждение о том, что энтузиазм, которого мы состоим свидетелями, есть благонамеренная фальшь композитора; я просто воображаю себе, что это рой молодых и добродетельных энтузиастов, которые собрались на бой с насилием и потому клянутся, кричат и вообще производят все, что хореографическими правилами в подобных случаях не возбраняется. Тут главное заключается в музыке и сценической об-

становке, а не в том, добродетельные ли люди или канальи снуют и неистовствуют на сцене.

Веригин посмотрел на своего соседа с любопытством; белокурая голова его глядела добродушно, губы мягко и кротко улыбались, только в больших серых глазах искрилось нечто, похожее на иронию.

— Конечно, в вашем замечании много правды,— сказал Веригин,— музыка и сценическая обстановка действительно могут в совершенно различных случаях действовать одинаково возбуждающим образом: но почему же вы думаете, что со стороны композитора тут есть фальшь?

— А то как же? Неужели же вы полагаете, что этому господину в мантии, которого вы, по мнению моему, слишком снисходительно назвали канальей, предстояла надобность возбуждать энтузиазм в своих живодерах? Нет, в подобных случаях дело происходит гораздо проще; господин созывает живодеров и говорит им: ты, Гектор, зарежь столько-то душ, ты, Бенуа, столько-то, а не зарежете — сто палок вам в спину! Энтузиазма никакого нет, дела делаются как по-писаному: режут и свежуют с легким сердцем и в награду избавляются от палок. Как хотите, а ведь музыка-то тут, по-настоящему, должна бы быть не подмывающая, а рассудительная, или, лучше сказать, отвратительная: какой-нибудь безобразный скрип и хрипенье лучше всего были бы тут на месте.

Веригин молчал и мысленно поверял слова соседа.

— Тем-то и дорога музыка,— продолжал между тем сосед,— что всякий может к ней относиться произвольно и находить в ней именно то, что ему по вкусу. А мне, сверх того, знаете ли, что в этом особенно нравится? То вот, что мы здесь сидим с вами, в селениях райских, и вокруг нас целая пестрая масса людей; споют там какой-нибудь хор из «Нормы» — «Guerra!» [1], что ли,— и ей, этой массе, отнюдь не придет на ум, что это поют какие-то полудикие варвары, до которых ей дела нет, а чувствует она, что сердце в ней закипает... а от чего?

Веригин как-то сомнительно улыбнулся.

— «То кровь кипит, то сил избыток»,— пробормотал он вполголоса.

Незнакомец взглянул на него серьезно.

— Это неправда,— сказал он почти строго,— то, что вы сказали, есть величайшая несправедливость... даже клевета.

---

[1] «Война!»

Это не «кровь»» и не «сил избыток», а просто жажда дела, и притом не инстинктивная какая-нибудь жажда, а именно родившаяся сознательно, и именно вследствие того, что дело, как зрелый плод, манит жажду... неужели вы этого не понимаете?

— Хотел бы понимать, но не понимаю,— чуть слышно и как-то уныло прошептал Веригин.

— Это еще не важность, что не понимаете; вся сила в том, чтоб «хотеть» понимать, и если вы «хотите» искренно...

— Вы говорите: есть дело, а я вот целый год ищу его и целый год не могу к нему приклеиться.

— Позвольте, об этом после, а теперь надо слушать; тут есть одно место, которое отнюдь пропускать не следует, «ибо оно возбуждает похвальные чувства», как выражается один мой приятель.

Начался дуэт Рауля с Валентиной; публика притихла; томительно скорбные, но вместе с тем полные мужественной силы звуки лились по зале, охватывая зрителей каким-то мучительно-страстным чувством. Как будто всякому чуялось, что на сцене происходит нечто ему близкое, нечто испытанное.

— Это делает ему честь! — сказал молодой человек, когда Рауль вырвался наконец из объятий удерживавшей его Валентины и театр застонал от взрыва рукоплесканий,— знаете ли, как подумаешь, что сзади этакое, в некотором роде, любящее существо, сзади безмятежная и сладкая жизнь где-нибудь в неприступном замке с вековыми аллеями (как в них гулять-то хорошо с любящим существом!), или в королевской гвардии, а впереди свист пуль, сверкание топоров и в заключение верная смерть — как хотите, а это многих может заставить задуматься! Но меня все-таки больше всего занимает публика; я положительно верю, что она сочувствует Раулю, и сочувствует не потому, что он «бедненький! так молод, так хорош собой и так несчастлив!», но потому, что происшествие это шевелит ее собственную рану. В то время как Рауль отбивается от Валентины, публика чувствует, что и у нее есть своя Валентина, простирающая к ней объятия под видом безмятежного прошлого, и что в то же самое время ее нечто зовет, перед нею нечто очеркивается крупными и резкими чертами — это очеркивается и зовет будущее. Что мне делать? думает она: оставаться ли отдыхать под смоковницами прошедшего или же ринуться вперед? И несмотря на всю щекотливость вопроса, все-таки аплодирует Раулю — согласитесь, что это замечательно!

— В театре,— процедил сквозь зубы Веригин.

— Да, покуда в театре. Но дело в том, что тот, кто сегодня выказывает естественно и непринужденно похвальные чувства, может выказать завтра и похвальную практику. Да вы, кажется, удивляетесь, что я с вами так говорю?

— Как бы вам сказать: удивляться-то я не удивляюсь, но что мы в первый раз видим друг друга — это действительно так.

— Так вы, пожалуйста, не удивляйтесь. Откровенно вам скажу, что я с подобными речами и мыслями обращусь ко всякому здесь сидящему, если у него не идиотская физиономия и если (это главное!) голова его не убелена сединами опыта. По мнению моему, тут даже и риска нет, ибо я наверное знаю, что на десять зрителей я найду девять сочувствующих.

— А десятые?

— Ну, и «десятые» не представляют слишком больших опасений. Народ этот стал нынче осмотрителен; все, знаете, ему чудится, что по лицу ударят, либо с моста в воду столкнут, либо иным образом невзначай жизни лишат. А впрочем, что ж такое, если бы даже и был риск? Ведь Рауль пошел же на верную смерть — ну, и нам порисковать можно. Кстати, вот он на сцене — умирающий...

Представление кончилось; молодые люди пошли из театра вместе. На улицах стояла сырость, темень и слякоть; сверху сыпал частый, мелкий дождь, составляющий непременную принадлежность петербургской осени; газ в уличных фонарях и окнах магазинов мерцал слабо сквозь туман; пешеходы роптали и ругались; экипажи сновали словно тени. Слышалась жизнь, видно было движение, но какая-то подавленная жизнь, какое-то беззвучное движение. Новые знакомцы шли несколько времени молча.

— Моя фамилия Крестников,— первый прервал молчание незнакомый молодой человек.— Я сын довольно зажиточного купца К—ой губернии, слушал курс в К—м университете, но во время бывших там беспорядков из оного исключен. По этому случаю нахожусь у дражайшего родителя в опале и снискиваю пропитание своим собственным трудом. Теперь позвольте узнать, кто вы?

Веригин сказал ему.

— Наше положение довольно сходно,— заметил Крестников,— разница в вашу пользу, потому что вы кончили курс и имеете права, а я курса не кончил и состою, так сказать, лишенным прав состояния. Если вы хотите, мы можем быть знакомыми.

Веригин пожал ему руку.

— Зайдемте ко мне,— сказал Крестников,— и там побеседуем об вас, а теперь будем говорить о погоде. Знаете ли, я полагаю, что погода, подобная той, какою мы наслаждаемся в настоящую минуту, должна в значительной мере содействовать развитию политической жизни. Возьмите самого равнодушного, одаренного самыми телячьими свойствами человека — и того прорвет. Вот щегольской экипаж мчится; сидит в нем полунагая барыня и спешит на бал или раут там, что ли... а вот магазин Смурова... как хотите, ведь и на это чувство нельзя не рассчитывать!

Веригин молчал; казалось, вслушиваясь в слова своего нового приятеля, он вслушивался в самого себя.

— Конечно, на нас с вами это не должно таким образом действовать,— продолжал Крестников,— кроме того, что мы должны стоять выше чувства зависти, что действиями нашими должны руководить побуждения высшей сферы, кроме того, говорю я, мы должны быть готовы на все, то есть на всякую тесноту, и в этом смысле не имеем права изнеживать не только тело, но и мысль свою. Ведь мы своего рода опричники, не правда ли?

— Опричники-то опричники... но какого дела?

— Об деле мы опять-таки поговорим после, а теперь будем просто беседовать о погоде. Итак, мы с вами опричники, и должны воспитывать в себе прежде всего презрение к земным благам. Нам это сделать легко, потому что мы воспитаны уродливо, без всякой гармонии: мы, попросту сказать, в сук растем. Но для масс это презрение невозможно, для масс земные блага всегда будут стоять на первом месте,— и это совершенно законно. Какое заключение должны мы, опричники, вывести для себя из этого предрасположения масс к земным благам?

Веригин улыбнулся.

— Какая, однако ж, у вас таинственность в выражениях! — сказал он.

— Это ничего; это просто следствие привычки скрывать свою мысль. Привычка нехорошая, но вместе с тем сообщившая нашему слову своего рода особенность, которая, коли хотите, имеет свой шик. Для писателей это даже выгодно. У иного идейка с булавочную головку в мозгу сидит, а начнет он ее боковыми движениями развертывать, читателю-то и кажется, что там за строками и черт знает чего нет! И начнет читатель думать, да, пожалуй, и додумается... Итак, нам, людям бескровной мысли, нам, презирающим земные блага, следует из этого обстоятельства необходимо вывести для себя заключение. Но этого мало: нам из каждого обстоятельства

необходимо выводить для себя что-либо поучительное, необходимо, так сказать, всякое лыко в строку класть. А так как подобного рода обстоятельства встречаются беспрестанно, то для каждого из них нужны люди, нужен общий план, нужна дисциплина. А как вы думаете: не перешли ли мы незаметным образом от погоды в самое сердце дела?

Долго за полночь тянулась беседа новых приятелей на квартире у Крестникова. Говорил больше хозяин дома; Веригин жадно его слушал. Оказалось, что Крестников, по отцу, имел довольно значительные связи в торговом мире, и сверх того, он лично был дружески знаком со многими молодыми людьми, которые также, в свою очередь, могли помочь Веригину.

— Я не пользуюсь всем этим для себя,— прибавил Крестников,— потому собственно, что мое дело здесь. Не стану из ложной скромности скрывать от вас: я пользуюсь доверием многих и на многих имею значительное влияние. Следовательно, мне ехать отсюда неловко. Здесь все-таки центр; хоть гнилой, хоть искусственный, но центр. Но вместе с тем я очень хорошо понимаю, что настоящее дело не здесь, а там, в глубине, и что там необходимо иметь людей. Нам удалось уже пристроить к делу некоторых молодых людей; надеюсь, что и относительно вас успех будет не меньший.

Веригин с увлечением бросился к Крестникову. Его вдруг охватил тот жгучий и сладкий энтузиазм, который понятен только очень молодым и очень восторженным натурам; ему показалось, что «дело» уже в руках у него, что он полагает в него всю свою душу, что страдает и даже преследуется из-за него...

— Не странно ли, однако ж, мы с вами познакомились? — сказал Крестников, прощаясь с своим гостем,— подумайте: лет пять тому назад возможны ли были такие сближения? И каким же образом после этого утверждать, что плод не созрел? А все-таки многим может показаться смешным, что вот мы, два молодых человека, без силы, без значения, сидим здесь в конурке четвертого этажа и что-то решаем, и кажется нам, что и мир-то нам тесен, и земля-то горит под ногами?

И, помолчав с минуту, с какой-то горькою иронией прибавил:

— Нет, это не смешно! Тут не комедией отзывается! Знаете ли, как кончают самонадеянные мальчишки, подобные нам? Они кончают или самоубийством, или...

III

Меценат

Несколько дней спустя Крестников ввел Веригина в свой кружок. Это была довольно многочисленная семья молодых людей, живших одною мыслью или, по крайней мере, шедших под одним знаменем. Перед ними открывались разнообразнейшие поприща, но, собственно, путь для всех предстоял один — это путь простой, чернорабочей деятельности. Молодое общество с энтузиазмом говорило об идеалах, о тех вечных началах правды, добра и справедливости, к осуществлению которых стремится человечество, но, переходя от этих более или менее грядущих дней к насущным потребностям жизни, оно сознавало, что в отношении к последним задача мысли и живой деятельности сокращалась значительно. Здесь идеалы, не переставая служить путеводною звездою для деятельности, не должны, однако же, заслонять собой тот тернистый путь, который лежит между ними и жизнью; здесь вся задача сводилась к тому, чтобы приготовить почву для осуществления идеалов. Исходя из этой мысли, кружок пришел к заключению, что чем строже он ограничит сферу своих притязаний к обществу, чем ближе он будет держаться земли, не уносясь вверх, тем более у него будет данных для успеха, тем сильнее он не только сам укоренится в обществе, но и найдет возможность укоренить в нем веру в идеалы. На этом основании он полагал: действовать на всех поприщах, на всех путях, прислушиваться к требованиям и инстинктам масс и, не отступая от этих данных, основывать новое здание общественного устройства.

— Но если общество растленно, если общество до того порабощено, что само не чувствует тяжести лежащего на них ига? — возражали нетерпеливые головы.

— Во-первых, общество никогда не бывает растленно,— отвечал обыкновенно на подобные выходки Крестников,— может быть растленною только часть общества, и притом та именно, которая, так сказать, играет на поверхности его, но чтобы могла быть растленною масса общества, никогда не принимавшая в жизни деятельного участия, никогда не пользовавшаяся правами,— это дело несбыточное. Масса слишком девственна; она в целости сохранила всю чистоту мысли, всю ясность и неприхотливость жизненных запросов. Снимите с нее только ярмо безмолвия, дайте возможность высказаться, и вы удивитесь сами как мудрой ее прозорливости, так и простоте и непритязательности ее отношений к жизни. Но допустим са-

мое худое; допустим, что масса действительно растленна — что ж из этого следует? уж не то ли, что ее надо комкать, вертеть и вообще обращаться с нею, как с негодною тряпкой? Признаюсь откровенно, такое предположение было бы слишком противно мне. Я не сознаю ни за собой и ни за кем другим таких прав, в силу которых мог бы дозволить себе нецеремонное обхождение не только с целым обществом, но даже и с отдельным лицом. В таком горестном обстоятельстве я предпочту лучше выйти честно на бой с развратным обществом, я буду постоянно и неустанно подкапываться под его пороки, пробуждать в нем лучшие инстинкты, буду на каждом шагу ставить его в противоречие с самим собой, буду колоть и язвить его; но гнуть его в бараний рог, но исправлять административным путем — это не только противно, но даже и совершенно бесполезно.

Веригин был принят радушно. Легко жилось, свободно дышалось в этой молодой семье, которой члены с таким искренним энтузиазмом готовы были броситься в засасывающий омут жизни — и зачем? затем, быть может, чтоб насильственно погибнуть в нем!

О могучая, о живоносная, все наполняющая сила молодости! жалок тот, кто не изведал тебя, кто с детскою доверчивостью не приникал к тебе всем существом своим, кто всецело не покорялся тебе! Смерть! где твое жало? Ад! где твоя победа? Нет ни цепей, ни тесноты тюремной, широко-широко стелется мир перед умственным взором, и свободно, неудержимо парит по нем мысль!

Месяц спустя Крестников сообщил Веригину, что с ним желает познакомиться некто Муров, богатый откупщик и вместе с тем основатель многих акционерных компаний.

— Человек он плохой,— сказал при этом Крестников,— но для нас может быть полезен.

Муров был ловкий и смышленый русский человек, который, пройдя все степени откупной иерархии, разными правдами и неправдами нажил себе огромное состояние и, всеконечно, до настоящей минуты безмятежно наслаждался бы почетным званием содержателя многочисленных акцизно-откупных комиссионерств, если б не случилось одно обстоятельство, значительно умерившее рьяность его и обратившее его деятельность в другую сторону. Известно, что у нас начиная с 1856 года в обществе появилась смутная реакция против откупов, и в то же время раздались сильные голоса, требовавшие большей свободы для промышленных предприятий, указывавшие на неисчерпаемые источники богатств, составлявших мертвый капитал и требовавших только рук и немного внимания,

чтобы пролить довольство и благосостояние во все классы народа. Муров понял это направление, и хотя неизвестно, поверил ли ему, но, во всяком случае, сказал себе: «Что ж, я уж сыт!» — и нашел выгодным воспользоваться общественным настроением. Он отказался от откупов (враги его, однако ж, уверяли, что это не мешало ему на торгах брать срывы с бывших своих сотоварищей по ремеслу), и всецело бросился в акционерные компании. Дела пошли отлично; акционерная лихорадка держалась более года и дала неслыханные барыши поборникам ажиотажа, впервые еще появившегося в это время на нашей бирже. Муров вырос; свергнув с себя постыдное иго откупщичества, он не только не потерял от этого, но еще выиграл. Он начал задумываться, он начал мечтать. Ему показалось недостаточно идти старыми, торными дорогами; ему представлялось, что Россия — что-то вроде огромного пузыря, где, куда ни ткни — везде или брызнет источник живой воды, или вырастет удивительный хмель, или заляжет толстый пласт такого каменного угля, о каком и понятия не имеют англичане. Воду мы не умеем закупоривать, хмель не умеем прессовать, каменным углем просто преступно небрежем. Все это надлежало устроить и обновить, везде нужен был глаз да и глаз. Муров решился взять на себя роль преобразователя и обновителя промышленности в своем отечестве; размышляя об этом, он впадал в какую-то меланхолическую восторженность, он сознавал себя благодетелем рода человеческого, он даже плакал, чего с ним никогда не бывало в то время, когда он был откупщиком. Фонтаны живой воды струятся и не только доставляют дешевое исцеление бедному мужику, но и заменяют ему водку; хмель, отлично прессованный, в щегольских жестянках с надписью, сделанною славянскою вязью: «Русского товарищества сырообработанные произведения. Выгонка 1-я; хмель», посылается англичанам, которые взамен того шлют нам свои сукна и хлопчатобумажные произведения; разработка огромных залежей каменного угля сохраняет наши леса, устраняет обмеление рек и порчу климата, ведет за собой пароходство в неслыханных размерах; с своей стороны, пароходы везут огромные грузы дешевого киргизского сала и казанской юфти, которые также выменяются англичанам на ножички и дешевые бритвы... И посреди этого движения, этой суеты, он, Муров, верхом на белом коне, в сюртучке из дешевого английского сукна, окруженный краснощекими русскими парнями в хлопчатобумажных английских изделиях. Таковы были мечтания Мурова.

Разумеется, это не мешало ему на досуге смотреть на дело и с другой, более практической, или, лучше сказать, карман-

ной точки зрения. Приняв себе за правило благодетельствовать человечеству возможно дешевым образом, он очень хорошо понимал, что, находясь в самом сердце дела, будет иметь возможность следить шаг за шагом за его ходом и на случай неуспеха уже заранее приготовлять для себя лазейку. И в самом деле, публика у нас такая восторженная, так жаждет употребить свои капиталы, до сих пор спокойно лежавшие, как у Христа за пазушкой, в опекунском совете да в приказах общественного призрения! Отчего же, например, не подслужиться ей, не облагодетельствовать ее, уступивши свои акции, особливо вовремя, особливо тогда, когда предчувствуешь, что предприятие должно разрешиться мыльным пузырем? «Можно!» — мысленно отвечал себе Муров и как-то безмятежно при этом улыбался. Таковы были мечтания Мурова. Затеи из всего этого вышли не малые, а для исполнения их потребовались люди. Молодые люди, к которым преимущественно обращался Муров (и в этом случае он действовал с расчетом: во-первых, он привлекал к себе сердца молодого поколения, во-вторых, выбором людей порядочных, не искусившихся в откупных интригах, поселял в публике доверие к себе), охотно принимали на себя поручения по различным отраслям промышленности, как потому, что это давало им случай вырваться из душной атмосферы города на свежий воздух, так и потому, что здесь представлялся им единственный, быть может, случай для непосредственных живых наблюдений над народом.

Когда Веригин явился к Мурову, его не заставили долго дожидаться и попросили в кабинет к хозяину.

— Милости просим! милости просим! давно искал случая познакомиться! — вскричал Муров, простирая к Веригину объятия, и тут же три раза облобызал его.

Веригин взглянул на своего мецената. Это был приземистый, пухленький человек с круглым, чисто русским лицом, с румяными щеками, пухлыми губками, веселыми голубыми глазками и белокурыми кудрями на голове. Все эти частности, взятые вместе, подействовали на Веригина довольно приятно.

— Весь ваш! весь к услугам молодого поколения! — продолжал между тем хозяин, усаживая Веригина в покойное кресло и потчуя его дорогой сигарой,— ведь вы наша надежда, вы зерно, из которого должен прозябнуть и процвести первый побег нашего особного, нашего народного самовозрастия! (Муров любил выражаться оригинально и с таким расчетом, чтоб слово выражало именно ту самую мысль, которая прозябала в голове его.)

Веригин наклонил голову в ответ на комплимент.

— Вам, конечно, не менее меня известно, что Россия нахо-

дится в переходном состоянии,— ораторствовал Муров,— мы теперь, так сказать, везде постукиваем, точь-в-точь вот как постукивают на железной дороге люди, лазящие под вагонами... Конечно, вам случалось слышать...

— Да... разумеется.

— Ну, вот-с, мы и постукиваем. Куда ни стукнем, все плохо, все нет ничего. То есть не то чтобы ничего не было, а взяться нечем, уменья в нас нет. Промышленность в младенчестве — а отчего? пути сообщения и говорить нечего — а отчего? Сельское хозяйство ничтожное — а отчего? Мужик не только не имеет чарки доброго вина за обедом, но часто считает за роскошь соль — а отчего? Этих «отчего» наберется множество, и это-то вот самое и называется постукиваньем.

Веригин наклонился в знак сочувствия.

— Все эти, так сказать, изверженности, таившиеся доселе под покрывалищем сокровенности, ныне въяве, у всех на глазах! Отчего? а оттого опять-таки, что постукиванье началось! Куда ни стукнешь — везде мягкоуступаемость, везде изверженность! И опять-таки говорю, и не перестану говорить до конца: хвала вам, молодым людям! Вы первые глазомером наблюдательности подметили эту повсюдную уступаемость и, проведя ее сквозь ростӣла прозорливости, предъявили на всеобщее позорище!

«Чудак, однако ж, мой меценат!» — подумал Веригин и взглянул на Мурова почти с недоумением.

— Я вижу, что вы удивляетесь. Вы удивляетесь тому, что вот я, человек простой, дошел, так сказать, до той точки, с которой виден весь небосклон государственности. На это я вам скажу: я человек русский, а русскому человеку, чтоб обнять предметы самые высокие, ничего не нужно, кроме простого глазомера и сметки. Науки полезны — об этом ни слова, но глазомер и сметка важнее всего. Там прикинул, тут сообразил, ан дело и в картузе. Так-то-с!

Муров ласково похлопал Веригина по коленке и не то весело, не то лукаво взглянул ему в глаза. Веригин не мог удержаться, чтоб не улыбнуться.

— Однако,— сказал он,— молодое поколение, которое вы сами осыпаете такими похвалами, едва ли верит в сметку и в глазомер.

— Что об этом говорить! вы люди ученые — вам и книги в руки! Но опытность-то, но практика-то все-таки останется за нами, стариками, хоть вы и называете нас старыми, выдохшимися дрожжами! Выдохлись-выдохлись, а все-таки бродим подчас. Вы вот постукивать будете, а мы будем указывать вам, где именно стучать нужно: так-то оно и пойдет у нас

в совокупной общности, с поддержанием взаимнодоверия и любви.

В таком тоне и духе поддерживался разговор довольно долгое время, но наконец-таки хозяин удостоил объяснить своему будущему клиенту цель назначенного свидания. Оказалось, что в голове Мурова созрела мысль об устройстве обширного общества лесопромышленности. По мнению его, эта часть находилась в самом грустном младенчестве. Лесные офицеры отчасти не понимают своих обязанностей; отчасти же употребляют во зло доверие к ним правительства; промышленники, заодно с чиновниками, обкрадывают казну, но выгод от этого для себя не получают ровно никаких, потому что все расходится по карманам; лес истребляется зря, без всякой экономии, без малейшего расчета («Об липе уж и говорить нечего,— прибавлял Муров,— скоро она у нас только в парках богатых вельмож расти будет!»); топливо становится с каждым днем дороже и дороже, а эта дороговизна всею тяжестью падает на поселянина; отсюда самовольные порубки и кража леса, пороки, как известно, имеющие пагубное влияние на нравственность поселян. Устранить такое печальное положение вещей можно было, по мнению Мурова, только безусловно отдавши государственные леса в частные руки. Вообще Муров полагал, что в словах «отдать в частные руки» заключалось что-то магическое; что, придя к такому заключению, оставалось только разинуть рот и лечь спать: там, дескать, сделается само собою. В этом отношении он был один из самых неистовых адептов школы laissez passer, laissez faire.

— Какая же будет моя роль в этом деле? — спросил Веригин.

— А вот вы именно и будете постукивать; вы отправитесь в К—ую губернию и поселитесь там в одном из центров лесных операций, из которого можете действовать и в другие местности вашего района. Там вы познакомитесь с промышленниками, разузнаете, в чем заключаются их приемы и какие можно иметь виды в будущем; словом, будете действовать вполне по вашему усмотрению. Что касается до издержек, то вы можете быть уверены, что будете вполне обеспечены во всем.

Веригин хотел уже раскланяться, но Муров остановил его.

— Об одном еще буду просить вас,— сказал он,— к местным властям будьте внимательны... ну их!

Когда Веригин сообщил о результате своих переговоров Крестникову, последний очень обрадовался.

— Вот и прекрасно! — сказал он.— Срывный местность весьма замечательная, и в особенности тем, что там упорнее,

нежели в других местах, засела старинная наша Русь, не подавленная и не развращенная крепостным правом. Кстати, там у меня даже родственники по матери есть, Клочьевы, капиталисты весьма значительные, которые, однако ж, и моего отца уж антихристом величают (ведь отец мой, в молодости-то, по старой вере был!), а меня и подавно. Вы с ними сблизьтесь; между ними есть очень умные и дельные купцы; особливо есть там старик Михей Иваныч: это едва ли не самый сильный лесопромышленник в целом краю. Да вот еще: найдите вы там некоего Суковатова; он тоже мне дальний родственник, и в детстве мы вместе росли, но потом как-то упустили друг друга из виду. Он тоже в ученые пошел, и тоже терпит горькую участь от родственников. Если он там, адресуйтесь к нему от моего имени, а в случае надобности и завербуйте: он может вам помочь.

Через неделю Веригин уже простился с новыми своими товарищами, а через три недели был на месте, в Срывном.

IV

Первые знакомства

Памятуя завет Мурова, Веригин прежде всего отправился с визитом к властям, к которым кстати имел и рекомендательные письма от своего мецената.

— Где я, батюшка, не бывал? с кем хлеба-соли не важивал? — говорил ему Муров, вручая письмо, и при этом, самодовольно обдернувшись, прибавил: — Да, надо много силы, чтоб и за всем тем красоту души соблюсти!

Городничий принял Веригина радушно, а об Мурове отозвался восторженно и даже обозвал его «незабвенным Павлом Иванычем».

— У нас с отъезда Павла Иваныча,— сказал он,— и город как-то упадать стал. Меланхолия какая-то во всем... жизни пролить некому... А начальство между тем спрашивает!..

— Чего ж оно спрашивает?

Городничий возвел глаза к небу и едва не прослезился.

— Всего спрашивает-с,— заговорил он вдруг скороговоркой и с озлоблением,— общественных увеселений спрашивает-с, тротуаров и мостовых спрашивает-с, пожертвований на общественное устройство спрашивает-с... всего спрашивает-с!

— Однако я слышал от Павла Иваныча, что у вас здесь значительные капиталисты есть?

— Д-да-с, есть-с... только все это... Эй, Сидоров! Сидоров! — вдруг закричал он, приходя в волнение,— загоняй ее! загоняй! Вот-с, не могу даже внушить скотам, чтоб не пускали своих коров бродить по улицам! — прибавил он, обращаясь к Веригину и презрительно улыбаясь,— а капиталистам как здесь не быть-с!

Прощаясь, городничий опять назвал Павла Иваныча незабвенным, а нынешнего откупщика свиньею, и обещал Веригину познакомить его с дочерью и женою.

— Если вы нуждаетесь в каких-нибудь сведениях,— сказал он,— то я для Павла Иваныча готов-с... Я для губернатора всякий год статистику эту составляю.

От городничего Веригин ездил к дворянскому предводителю, к стряпчему, к исправнику и к окружному начальнику и везде был принят как родной. Все они были как будто отлиты в одну форму; все называли Павла Иваныча незабвенным и находили, что после отъезда его в городе поселилась меланхолия. Предводитель дворянства принял Веригина в бархатном халате и с благоговением, хотя и не без робости, отозвался о тверском благородном дворянстве (увы! это было в ту пору, когда и т. д.). Окружной начальник выразился очень лестно насчет системы самоуправления и стороною дал понять, что в ведомстве государственных имуществ «все это» давно есть и уже приносит желанные плоды; стряпчий сказал, что у него четыре сына и восемь дочерей, а жалованьишко маленькое; наконец, исправник был так любезен, что пригласил Веригина когда-нибудь прокатиться с ним по его владениям (так называл он уезд города Срывного).

Толкнулся герой наш и к учителям, но они точно в землю ушли: так долго не мог он сыскать квартир их. В Срывном было уездное училище, в котором под командою штатного смотрителя состояло трое учителей. Двое из них жили чуть не в подземельях и приняли Веригина грубо, словно говорили: ну, кого еще занесла нелегкая! Оказалось, что оба пили запоем и с учениками обращались варварски. Третьим учителем, преподававшим историю и географию, оказался тот самый Суковатов, о котором говорил Веригину Крестников. Это был молодой человек, недавно кончивший курс в гимназии, и содержавший своим трудом семейство, состоявшее из матери и сестры. Жил он в собственном маленьком домике, на самом выезде из города, жил бедно, хотя имел богатых родственников, которые, однако ж, относились к нему недружелюбно вследствие особых причин, о которых будет объяснено ниже. Был уже час седьмой в исходе, когда Веригин в первый раз пришел к Суковатову. Ему было несколько совестно прийти

в такой неурочный час, но, зная, что Суковатов каждый день утром, кроме воскресенья, занят в училище, и вооружась именем Крестникова, он решился постучаться в калитку.

— Кто там? — спросил из-за калитки женский голос.

— Здесь живет господин Суковатов?

— Братец! вас спрашивают! — сказала женщина и удалилась. Через минуту калитку отпер сам Суковатов.

— Вам меня угодно? — спросил он, как будто сконфуженный.

— Извините меня,— начал Веригин,— быть может, я пришел не вовремя... Моя фамилия Веригин; я бывший студент Петербургского университета, и по делам нахожусь в Срывном...

Сквозь растворенную калитку Веригин увидел на крылечке дома две женские фигуры, которые с любопытством осмотрели его и тотчас же скрылись.

— Милости просим; очень рад! — промолвил Суковатов и как-то еще больше сконфузился, пропуская гостя вперед себя.

Веригин вошел в просторную комнату, надвое разделенную перегородкой. В первом ее отделении, которое, по всем признакам, служило и приемной и кабинетом Суковатова, сидела у окна старушка, повязанная платком, и вязала чулок; из другого отделения слышалось сдержанное шушуканье. В комнате было очень опрятно; деревянные стены были тщательно выскоблены, пол устлан белым холстом, на окнах стояли горшки с незатейливыми цветами. Вообще, все свидетельствовало о заботливой женской руке, которая всему, даже бедности, умеет придать приветливый и благообразный вид.

— Маменька! гость! — сказал Суковатов старушке, которая встала и низко поклонилась Веригину.

— Имею к вам поручение от одного вашего родственника, от Нила Петровича Крестникова,— сказал Веригин,— он в Петербурге, просил меня кланяться вам и обнадежил, что я могу к вам обращаться, если встретится надобность по моему делу.

При имени Крестникова лица Суковатова и матери его словно расцвели. В соседней комнате шушуканье смолкло.

— Так вы знаете Крестникова? — сказал Суковатов и вновь инстинктивно протянул руку Веригину,— а ведь мы когда-то друзьями были, росли вместе... ах, расскажите, сделайте милость, что с ним, где он... насилу-то! насилу-то!

Веригин начал рассказывать о стесненном положении, в котором находился Крестников по случаю ссоры с отцом, об образе жизни, который он вел, словом, обо всем, что он знал и что считал возможным на первый раз высказать. Веригин

говорил с увлечением; из слов его было ясно, что хотя Крестников и находился временно в незавидном положении, но что и за всем тем в его личности заключалось нечто такое, что не позволяло относиться к нему, как к рядовому человеку, находящемуся в тисках. Старушка прекратила свое вязание и изредка прерывала рассказ Веригина восклицаниями, в которых высказывалось ее соболезнование о судьбе Нилушки.

— Ведь теперь Петр Никитич-то, пожалуй, и капитал свой весь в чужие руки передаст! — сказала она,— уж это верно, что передаст!

— Да, видно, ему такая судьба! Отец у него человек непреклонный, и хотя Нил также не отличается мягкостью нрава, но здесь спор едва ли будет возможен,— заметил Суковатов.

— Да он и не желает вступать в спор.

— Да; если это возможно, это хорошо. Только вот что я вам скажу: вряд ли можно так расположить свою жизнь, чтоб не нуждаться в тех... одним словом, чтоб поставить себя в независимое положение от обстоятельств.

Суковатов потупился и как-то сдержанно вздохнул.

— Впрочем, Нил все-таки благую часть избрал! — прибавил он шепотом, как бы рассуждая с самим собой,— да он и вынесет!

— Да, таки весь в батюшку нравом пошел, да и родня-то у них вся такая,— сказала старуха мать.

— Отец его не простит — это верно, и тем больше не простит, чем больше возлагал на него надежд. Отец-то его, знаете, сам под ферулой у своего родителя до тридцати лет состоял, так школу-то эту изучил в подробности. Однако, скажите, пожалуйста, Нил не говорил ли вам об ком-нибудь из родственников?

— Он называл мне еще дом Клочьевых; к одному Клочьеву я даже имею письмо от Мурова.

— Да-с, это, вероятно, к Михею Иванычу; как же-с, знаем-с. Тоже своего рода Катон, из тех, которые с таким успехом процветают и благоденствуют на отечественной почве. Экземпляры приятные! И в особенности тем приятные, что совсем уж просты и незатейливы: никаких этих ухищрений или утонченностей, гнут себе в бараний рог — да и все тут. И если вы знаете одного, то будьте уверены, что знаете всех. Вот, даст бог, познакомитесь, так увидите одного из тех благолепных российских старцев, которые смотрят так почтенно, беседуют так рассудливо и которые, в сущности, заедают все, что поближе к ним прикасается.

— Что ты, что ты, Николаша! Хоть бы Катерины Михевны

посовестился: ведь она, чай, здесь! — промолвила старуха мать.

В дверях из-за перегородки показалась девушка, одетая в черную ферязь и накрытая черным же платком с белыми каймами. Это была высокая и полная девушка, по-видимому лет двадцати пяти, и хотя лицо ее уже утратило свежие юношеские тоны, но все-таки оно было чрезвычайно привлекательно. Черты ее были строги и правильны, а матовая бледность, темные волосы и большие серые глаза, которые она, впрочем, почти всегда держала опущенными вниз, придавали им характер почти суровый, что как-то странно противоречило тихой улыбке, которая постоянно играла на ее губах. Подобную, постоянно ласкающую улыбку можно встречать только в монастырях; она наигрывается годами и долговременною привычкою, долговременным принуждением. То же можно сказать и о походке девушки; то была плавная, неслышная, но вместе с тем несколько торопливая походка, которая в таком обычае между монахинями. Вообще, впечатление, производимое девушкой, было не совсем определенное. Виделось, что это натура крепкая и энергическая, но вместе с тем виделось также нечто обрядное, подавленное жизнью.

— Уж вы меня не обессудьте, сударь, что обеспокоила вас,— сказала она, обращаясь к Веригину (голос у нее был звучный и мягкий, словно бархатный),— я вот дослышала, что вы братца Нила Петровича знаете?

— Да-с, я хоть недавно с ним познакомился, но глубоко его уважаю,— отвечал несколько книжно Веригин, которого присутствие молодой и красивой женщины привело в заметное смущение.

— Позвольте, однако, вас познакомить,— вступился Суковатов,— Катерина Михевна Клочьева, к отцу которой вы имеете письмо. Катя! — прибавил он, обращаясь к ней,— вы уж не сердитесь, голубушка, что я давеча так об родителе-то вашем...

Катерина Михеевна улыбнулась ему.

— Так вы и к родителю нашему писёмце имеете? — сказала она Веригину,— да ведь их дома нет, и воротятся-то не ближе как дня через четыре. Не от Нила ли Петровича весточка-то? как-то он, наш голубчик, в дальней стороне живет? Чай, стосковался по родным-то?

— Нет, письмо я имею от Павла Иваныча Мурова; что же касается до Крестникова, то действительно жизнь его невеселая... Впрочем, он, кажется, не скучает.

— Ну, как, чай, не скучать? — какая ни на есть, а все родная сторонушка!

— А я думал, Катя, что вы скажете: какие ни на есть, а все родители!

— Ну да и родители тоже!

— Вот мы с Катериной Михевной все спорим,— весело сказал Суковатов,— я говорю, что первый долг детей заключается в том, чтобы почитать родителей, а она говорит, что родители сами по себе, а дети — сами по себе!

— Вы ему, сударь, не верьте; он ведь у нас балагур!

— Не люблю я, Николаша, как ты этак шутишь! — серьезно вступилась мать.

— Вот кабы Нил был здесь, он бы так не оставил вас, Катя! он бы весь этот домострой ваш... Эх! да уж что тут! давайте-ка лучше чай пить! Федор Семеныч, ведь вы не прочь от чашки чаю?

— Сделайте одолжение.

— Так уж и вы, Катенька, на сей раз не откажитесь иметь с нами в питии общение. Да кстати и чаем распорядитесь как следует, а то сестру, я вижу, оттуда силой сегодня не выманишь. Или вам поздно?

— Ах, уж и то я только на полчасика к вам укралàсь...

— Ну ничего; скажите, что у келейниц от божественного поучались. Вот я вас, Федор Семеныч, когда-нибудь с этими пройдами познакомлю... да-с, поживите, поживите с нами, посмотрите на Русь православную! хороша она, матушка, только подчас нутро от нее наизнанку выворачивает!

— Будто уж и выворачивает?

— Увидите. На первый раз вот вам факт! Город наш между уездными царьком смотрит, в нем больше десяти тысяч жителей, множество кожевенных и чугунолитейных заводов, выделывающих, между нами будь сказано, краденые кожи и выливающих изделия из темного (ворованного с казенных заводов) чугуна; одних купеческих капиталов считается около двухсот... ну-с, и как вы думаете, сколько учеников этот город поставляет в уездное училище? Тридцать-с!!

— Да ведь, может быть, на это свои причины есть?

— Как не быть; разумеется, что на всякую штуку своя законная причина найдется. Только, я вам скажу, как всмотришься поближе в эти причины, да станешь с ними с глазу на глаз, так хоть бы какова ни была пьяна голова, а и та сразу отрезвится!

— Ишь как его обидели! — отозвалась из-за перегородки Катерина Михеевна.

— А мне так кажется, что вы несколько пристрастны, и именно потому пристрастны, что это дело чересчур близко вас касается. Вы даже вряд ли можете тут быть судьею,

потому что слишком резко вас оскорбляют внешние стороны жизни, чтобы не застилать той внутренней, родниковой работы, которая за ними трепещет и бьется. Крестников, по крайней мере, совсем не такого мнения об этом вопросе, да оно и должно быть так, потому что если верить вам, то пришлось бы сразу отчаяться, да и сесть склавши руки. А это вещь положительно невозможная. Впрочем, об этом мы поговорим с вами на досуге, когда сойдемся поближе (а я уверен, что вы не оттолкнете меня), а теперь не поможете ли мне как-нибудь здесь устроиться? Предупреждаю вас, что мне придется пробыть в вашем городе более полугода, что средства мои весьма ограниченные, что мне вряд ли подолгу придется заживаться на месте и что, разумеется, самый лучший способ устройства для меня был бы тот, если б вы нашли удобным приютить меня как-нибудь в своем семействе.

— Не знаю, что вам сказать на это. Место для вас, пожалуй, и найдется, да, во-первых, мы люди не богатые, и щи-то с мясом не каждый день едим...

— Я вас прошу не считать этого препятствием...

— А во-вторых, вряд ли для вас полезны будут такие близкие сношения с нами. Ведь вы приехали сюда дело делать, следовательно, вам надо стараться сойтись и с местными властями, и с значительнейшими обывателями. Все сведения, которых вы ищете, добываются под условием частых свиданий и взаимного хлебосольства, между множеством сплетен и праздной болтовни, а сюда к вам никто не заглянет, потому что мы живем-то на краю города, да и никто нас не знает.

— Все это, быть может, отчасти и справедливо; но как бы ни велики были выставляемые вами неудобства, они легко исправимы и совершенно исчезают перед одним весьма важным удобством, которое я приобрету, поселившись у вас: здесь меня не будут преследовать непрошеные знакомства, здесь могу я быть спокоен, что за мной не будут подсматривать. Итак, по рукам? завтра я переезжаю к вам?

— Да где же мы поместим-то их, Николаша? — вступилась мать.

— А наверху, в светелке, а сам я переберусь сюда. Там у меня летняя моя резиденция,— прибавил Суковатов, обращаясь к Веригину,— ну, да я как-нибудь и потесниться могу, а вы будете иметь маленький особнячок.

— Само собой разумеется, что вы назначите плату за квартиру и за стол?

— Ну, конечно; мы люди бедные. Вот у нас и повеселее, матушка, будет.

— Дай-то бог! дай-то бог! Скучненько мы, сударь, здесь

живем; ни-то к нам кто, ни-то мы к кому. Я-то смолоду, признаться, веселенько жила — ну, на них смотреть-то словно и жалко.

— А вы, Катя, будете ходить к нам? в горелки бегать станем?

— Уж куда мне в этакой-то одеже в горелки бегать, хоть бы так-то побеседовать!

Катерина Михеевна присела к столу и словно задумалась.

— А что, Катенька, воображаю я себе, вы теперь думаете: только вот здесь и отведешь душеньку мало-мало! — поддразнил ее Суковатов,— ведь правда?

— Да что ты к ней пристал, Николаша?

— Ну, пущай его, не трог, побалагурит! житье-то наше с ним не вот какое сладкое! — отозвалась девушка и глянула на Суковатова тем милым, ласкающим взглядом, каким смотрит мать на баловливое, но милое дитя.

Суковатов, с своей стороны, посмотрел на нее, и Веригину показалось, что в его взоре блеснуло что-то похожее на страсть.

Катерина Михеевна мгновенно опустила глаза.

— Не пора ли домой, Катя? — спросил он потихоньку.

— Да, надо,— отвечала она и снова задумалась.

Все смолкли; уже наступили сумерки, и в полумраке бледное лицо девушки казалось еще бледнее; прекрасное и строгое, оно выступало словно изваянное из мрамора.

— Господи! — потихоньку вздохнул кто-то, и Веригину показалось, что вздох этот вылетел из груди Кати.

Вслед за тем она быстро поднялась с своего места, простилась и ушла. Скоро по уходе ее и старуха Суковатова скрылась за перегородку.

— Пойдемте-ка ко мне наверх, если вам не надоело со мной сидеть,— сказал Суковатов,— кстати и на будущее ваше помещение посмотрите.

Наверху оказалась комната очень маленькая, но чистенькая, как и весь дом вообще: мебель состояла из большого некрашеного стола, на котором лежало несколько разрозненных номеров русских журналов и который служил для Суковатова вместо письменного стола, из двух-трех стульев и довольно жесткого дивана.

— Скажите, пожалуйста, с кем же вы здесь знакомы? — спросил Веригин.

— Да с кем? ни с кем! сижу постоянно дома, вот точно так, как вы сегодня застали.

— Однако неужели здесь молодых людей нет?

— Кому быть? Молодежь из купцов и мещан больше при

своем деле находится, а если и улучает свободное время, то проводит его между собой. Не очень-то они с нами сближаются, да, по правде сказать, и интересов таких нет, на которых бы нам сойтись можно.

— Стало быть, житье ваше скучное?

Хотя вопрос этот не заключал в себе ничего особенного, но, вероятно, в тоне, которым он был произнесен, было нечто такое, что заставило Суковатова смутиться.

— Да... конечно, веселого мало,— отвечал он, краснея,— книг нет, говорить не с кем, да и нѐ об чем...

— Это правда, что недостаток в книгах очень чувствительный недостаток, однако если он уже существует и если не от нас зависит устранить его, то ведь и помимо книг есть возможность найти исход для деятельности. Мне кажется, что если вы не бессознательно сейчас выразились, что нет у вас общих интересов с той массой молодых людей, которые вас окружают, то это положительно обвиняет именно вас, а не их. Согласитесь, во-первых, что то, что вы разумеете под словом «интерес», заключает в себе понятие о чем-то весьма неопределенном и смутном...

— Я согласен, что воспитание мое было очень поверхностное...

— Речь покамест не об воспитании, а о том, чтобы создать себе действительный интерес в жизни. Этим интересом вы не обладаете вовсе, хотя, быть может, и имеете смутное предчувствие его, между тем массы, которыми вы пренебрегаете, хотя и не находятся в самом центре его, но, во всяком случае, уже обладают первоначальными его элементами. Они работают работу будничную, но настоящую; они не проводят в своей деятельности тех высших законов, которыми должно управляться идеальное общество, они даже похваляются тем, что не порываются куда-нибудь вдаль, а жмутся крепче и крепче к земле, но сама практика, которую они исключительно имеют в виду, так жестока, что на каждом шагу отрезвляет самых неистовых своих поклонников. Несмотря на то что они строго идут торными путями и что в действиях их нет ни малейшего уклонения от того, что называется законностью, они чувствуют, однако ж, что и им живется плохо, что и ими управляет как будто нечто слепое, случайное. То фабрики вдруг стали, то торгуется плохо, то внезапная и неслыханная дороговизна на предметы самой первой необходимости, то вдруг таинственное исчезновение звонкой монеты. Конечно, никто как бог, однако, как ни привыкли мы всё сваливать на провидение, но иногда поневоле задумаешься. Как хотите, а подобные интересы совсем не маленькие, и что от них можно незаметным образом

подойти к интересам самым высшим и мировым. И если вы примете при этом в соображение, что это интересы признанные (кому, например, придет в голову отрицать, в принципе, право собственности?) и что большинство на каждом шагу оскорбляется именно в том, что оно считает своим законным и кровным делом, то легко поймете, что и для проведения других интересов (высших и покуда еще непризнанных) можно легко отыскать почву законную.

— Так; но ведь опять-таки я должен вам повторить, что мое-то собственное образование слишком недостаточно, что мне не с чем идти навстречу невежеству, что я сам невежда...

— Позвольте вас остановить. Конечно, все это печально, а еще печальнее то, что вы фаталистически поставлены в такое положение, которое отнимает у вас шансы на дальнейшее образование, но разве из этого следует, чтобы двери жизни были закрыты для вас? Нет, из этого вытекает только одно практическое следствие, а именно то политическое правило, которое формулируется словами: *делай, что можешь*. Позвольте вас спросить, во-первых, может ли кто даже из величайших современных представителей науки сказать, что обладает последним словом цивилизации? Конечно, никто; но если никто, то, стало быть, по-вашему, никто же не может считать себя вправе применять добытые им знания потому только, что знания эти могут быть опрокинуты дальнейшими успехами науки; стало быть, все должны сидеть сложа руки или уподобиться тем мертворожденным балетмейстерам, которые, в стенах университетских, возделывают науку для науки. Но это нелепость очевидная, потому что массы имеют равные с нами права на науку, на ту *несовершенную* науку, которою обладаем мы сами. Теперь применим всё это лично к вам. Разве масса, которая вас окружает, стоит выше вас в смысле умственного развития? Ни отнюдь; предположим даже, что знания ваши и массы равно ничтожны, но вы уже имеете то преимущество, что свободны от большинства предрассудков, тяготеющих над массой, что вы уже имеете некоторое сознание об общем законе, о методе. Между тем и масса, несмотря на невежество и предрассудки, все-таки нечто провидит и предугадывает,— для чего же вы добровольно устраняете себя из этой робкой работы прови́дения? Из опасения ли ошибок? Но ведь это или чересчур высокомерно, или, извините меня, глупо! Так вот, видите ли, как поразмыслишь, так и оказывается, что как ни прискорбен недостаток образования, а в деле расширения путей, которыми достигается пользование общечеловеческими правами, он уже уходит на второй план. А впрочем, до свида-

ния! — прибавил Веригин, вставая,— уж поздно, а мы с вами и завтра и послезавтра можем наговориться всласть.

— Нет, посидите! посидите еще немного! — просил Сковатов, удерживая гостя.

Веригин сел; в комнате уже было почти темно, но Суковатову и на мысль не приходило добыть огня. По-видимому, слова Веригина возбудили в душе его целый новый мир, который хотя и встретил его неприготовленным, но не на шутку расшевелил все фибры его существа. Новые знакомцы несколько времени молчали.

— А знаете ли,— сказал наконец Суковатов,— ваш приезд подействовал на меня болезненно. И сами вы, и воспоминание о Крестникове, все это пахнуло на меня не то чтобы чем-нибудь забытым,— мое прошлое не таково, чтобы там было что забыть или о чем вспомнить,— а какою-то возможностью, чем-то таким, что проносится иногда над душою, проносится смутно и безразлично, словно радужный какой-то мир... Не правда ли, ведь случалось и вам когда-нибудь испытывать это сладкое, почти томительное ощущение?

— Ну да, конечно; однако ж, если вникнуть...

— Нет, позвольте. Покуда я еще не хочу вникать. Я хочу только сказать, что впечатление от этих минут бывает какое-то странное. И хорошо на душе — не то чтоб весело, а как-то сладко, и в то же время все язвы сердца как-то больнее сказываются, и грудь словно пухнет от слез, и встают откуда-то все эти горести, не то чтобы горести действительно выстраданные и на время забытые... нет! а какие-то новые, никогда не изведанные, но в то же время как будто вместе с тобой родившиеся и почему-то не выступавшие наружу. Но, быть может, вам кажется, что я говорю галиматью?

— Совсем нет; я очень просто понимаю это состояние и объясняю его себе возвратом к сознанию той человеческой сущности, которая закладывается в нас самою природой и, по временам, прорывается наружу, несмотря на нашу забитость.

— Да, именно начинаешь сознавать себя человеком, и вдруг как-то ясно и светло выступят все эти возможности, почему-то сделавшиеся невозможностями, почувствуется какое-то право, пригрезится нечто утраченное, погибшее... и так не хочется, так не хочется опять возвращаться к действительности!

Веригин хотел что-то возразить, но Суковатов остановил его жестом.

— Позвольте мне досказать. Вот и теперь, например: приехали вы, принесли с собой весть об Крестникове — и вдруг передо мной нарисовалась какая-то даль, в которой все не так, как вокруг меня, в которой есть своего рода толчки и неров-

ности, но все это исчезает в одном чувстве свободы и независимости. Знаете ли, до какой степени болезненным может сделаться это чутье чего-то другого, неизведанного, что даже на всякого проезжего смотришь с завистью, точно вот тройка так сейчас и умчит его в какое-то царство света... Скажите, ведь вы не совсем как на сумасшедшего смотрите на меня?

— Нет, повторяю вам, что я совершенно понимаю это чувство, и даже думаю, что его следует воспитывать в себе, потому что оно одно может поддержать в человеке ту бодрость и энергию, которые нужны в жизни и которые так легко забиваются обстоятельствами. Но, по мнению моему, в том, что вы высказали, есть большая ошибка...

— А именно?

— Повторяю: ошибка эта заключается именно в той гадливости к действительности, или, лучше сказать, не в гадливости, а скорее в боязни ее, которую вы на себя напускаете. Я согласен с вами, что чем шире будут ваши требования к действительности, чем раздражительнее будете вы относиться к ней, тем лучше; но ведь не все же сказано этою раздражительностью, здесь не конец делу. И вот если вы раз навсегда скажете себе это, если проникнетесь убеждением, что недовольство ваше должно же куда-нибудь примкнуть, то в то же время убедитесь и в том, что ни бояться действительности, ни очень-то презирать ее невозможно, потому что она все-таки заключает в себе тот операционный базис, который нужен, чтоб дать вашей деятельности не мнимый исход.

— Так; но разве у нас есть деятельность не мнимая?

— А вы думаете, что настоящая деятельность возможна только для городничих и исправников?

— Да почти что так.

Веригин посмотрел на Суковатова с некоторым недоумением; ответ этот, после происходившего разговора, показался ему не только странным, но почти нелепым. Между тем дело было очень простое: Суковатов, как это почти всегда случается с людьми, вступающими в непривычный им серьезный разговор, схватывал в словах своего собеседника почти одни звуки, почему-то особенно ласкавшие его слух, и очень мало усваивал его мысль в ее общем значении.

— Ошибаетесь,— сказал наконец Веригин,— есть деятельность для всех. Всякий, кто ищет чего бы то ни было, всякий, кто не удовлетворяется жизнью, в которую втиснула его судьба, пусть добивается, пусть просекает себе дорогу.

Веригин сказал это так серьезно, что Суковатов взглянул на него вопросительно, и ему сделалось даже несколько жутко.

V

Клочьевы

Фамилия Клочьевых самая распространенная в Срывном. Общая молва говорит, что первый Клочьев, здесь поселившийся, принадлежал к числу тех ревнителей «древнего благочестия», которые бежали из Москвы еще в то время, когда только что началось преследование раскольников; но с тех пор многочисленное его потомство выделило из себя множество мелких отраслей, которые, по-видимому, не имеют между собой ничего общего. Существуют Клочьевы-капиталисты, торгующие en gros[1], которых дети уже разрешили себе немецкий фрак, охотно играют в горку, а по нужде и в банк, и весьма удачно полькируют на балах у городничего. Существуют Клочьевы-мещане, надувающие en détail[2], крепко придерживающиеся сибирки и выпущенной наружу рубахи, читающие книгу «Златой бисер» и «Чудо св. Николы о Синагрипи цари» и твердо убежденные, что царство антихристово наступило и что кончина мира имеет последовать в самом непродолжительном времени. Существуют, наконец, Клочьевы-ремесленники, народ полудикий, оборванный, не имеющий ни кола ни двора, целую неделю задыхающийся за работой в какой-нибудь душной кожевне или кузнице-вагранке и в воскресенье непременно проедающий и пропивающий весь заработок недели.

Несмотря, однако ж, на различие состояний и общественного положения, есть одна общая черта, которая связывает между собой разнородные элементы этой фамилии: все Клочьевы придерживаются так называемых «старых обычаев». Капиталисты служат коноводами, мещане и ремесленники составляют массу, слепо идущую за своими руководителями. Сначала общий интерес, потом общая опасность и, наконец, привычка и предание заставили этих людей съютиться в одну кучу и породили здесь ту дисциплину, которой могла бы позавидовать любая бюрократическая армия. Капиталисты Клочьевы свободно могут якшаться с местными властями и другими еретиками, принимать их в своих домах, могут напиваться и безобразничать с ними, масса ни на минуту не заподозрит их в отступничестве, ни на минуту не усумнится в том, что все, что ни делается коноводами, делается единственно с целью вящего утверждения старых обычаев. Смутное сознание, что уступка и частные примирения с внешними фор-

---

[1] оптом.
[2] в розницу.

мами бюрократической цивилизации необходимы, уже проникает мало-помалу в массы. В этом сознании отступничество облекается в форму подвига, предпринимаемого для спасения того великого дела, в пользу которого каждый истинный христианин должен принять смерть и тесноту, должен решиться даже на погибель души своей.

А потому тут не может быть и речи о каком бы то ни было контроле. Все дело в руках сильных, обладающих материальными средствами людей, и они могут орудовать им, как заблагорассудится. Даже взаимные споры и несогласия происходят и решаются исключительно между ними, без всякого духовного участия масс, которые следуют за тем или другим из коноводов, смотря по тому, с кем связывают их житейские отношения и семейные предания. Дело коноводов — общая организация; дело масс — стоять твердо и выносить на плечах все невзгоды. Говорят, будто прежние старики коноводы были менее повадливы и держали себя отчужденнее; но нынешнее поколение положительно отвергает такой образ действия, как бесплодный и вредный. Оно находит, что не только неблагоразумно отчуждать себя от общения с людьми, которых руку всячески приходится на себе чувствовать, но что при таком отчуждении старый обычай действительно становится делом подозрительным, в особенности если принять в соображение, что руководители его обладают более или менее значительными средствами, малая толика которых может украсить существование любого птенца бюрократии. И в подтверждение этой мысли указывают на Ковылина и других ревнителей, которые умели согласовать строгие требования древнего благочестия с уступками, вынуждаемыми временем и обстоятельствами.

Если кто захочет объяснить себе, что такое этот «старый обычай», который так упорно отстаивается, тот встретит на пути своем целую перепутанную историю. Люди, по-видимому, поверхностные сводят вопрос этот на точку зрения исключительно религиозную, но как ни поверхностен кажется такой взгляд, но относительно настоящего в нем есть большая доля правды. Бюрократическое начало, везде явившее себя и неумелым и бессильным, где шло дело о развитии и поддержании жизни, выказало бодрость и силу неслыханные там, где предстояла возможность ее умерщвления. Если в первоначальном своем источнике «старый обычай» представлял собою элемент земский, едва прикрываемый религиозными мотивами, то с течением времени это дело приняло оборот совершенно иной. Старое, жизненное предание выродилось и уступило место исключительному владычеству обряда; внутреннего, кров-

ного повода для разделения уже не стало, а есть только внешняя придирка, живучесть которой объясняется отчасти привычкой, порожденной долгим общим преследованием, отчасти личными побуждениями тех, для которых это разделение выгодно.

И не то чтобы прежнее представление, соединявшееся с «старым обычаем», было особенно привлекательно; оно столь же мало осуществляло собой идею свободы действительной, как и вся последующая, регламентированная неурядица, но за ним было одно весьма важное преимущество: оно ненавидело всякое насильственное прикосновение к жизни и, следовательно, делало ее доступною началам развития и самобытности. Люди, откровенно называвшие и признавшие себя «людишками» и «сиротами», конечно, никакого иного названия и не заслуживали, но по действиям и требованиям этих «людишек» чуялось, что их самоунижение было лишь данью общему духу времени и что когда-нибудь они сумеют назвать себя и людьми. В этом весь смысл и все оправдание такого живучего явления, как раскол; у него есть хорошая история.

Как бы то ни было, но старый тип непреклонного угрюмого расколоучителя с каждым годом все больше и больше стирается; молодежь ему положительно не сочувствует, старики же хотя и симпатизируют и вздыхают об утрате истинного благочестия, но чувствуют себя бессильными против внешнего давления. Вымрет и это поколение последних и без того уже выродившихся могикан, и дело само собой покончится, к взаимному удовольствию, общим развратом. Правда, и нынче еще случается по местам встретить представителей старого типа, но они уже извратили первоначальный смысл предания и ограничили его мотивами исключительно религиозными. Сверх того, эти представители принадлежат большею частью к массе, бедной и материальными средствами, и начитанностью, и потому стоят в своем обществе одиноко и без особенной щекотливости уступаются на съедение злокачественным осадкам бюрократии.

Подвиги этих последних (в лице городничих, стряпчих и исправников) на поприще насаждения просвещения слишком недавни, чтобы можно было удивить кого-нибудь их описанием. В свою очередь, проводя какую-то традицию, вертоградари цивилизации закипали негодованием при одном имени этих угрюмых, словно озлобленных стариков, которые молчаливо подвергали себя всякого рода наездам и истязаниям и, откупившись от окончательного разорения, снова сосредоточивались в своем ожесточении, впредь до новых наездов и истязаний. При воспоминании об них стряпчий с удвоенною силой

размахивал руками, как будто нечто забирал; у исправника щетиной становились густые брови и фосфорический блеск искрился в глазах; городничий щелкал языком, причмокивал губами и поднюхивал носом. «Давить их! душить их!» — восклицал этот новый синедрион, и с точки зрения бюрократической традиции восклицал совершенно логично. Ибо хотя чиновник и любит мзду (тоже традиция), но при этом наблюдает, чтобы пациент его смотрел весело.

Ясно, что при такой обстановке не неумелым рукам было держать дело и что охранение его естественно должно было перейти к людям более изворотливым, обладающим более покладистою совестью. И эти люди явились и сразу же выказали себя поистине неоцененными. Они поняли, что плата за бюрократическую услугу обусловливается множеством самых разнообразных обстоятельств; одну мзду несет фрак, другую зипун; причем фраку улыбнутся, да и денег, пожалуй, еще не возьмут, а с зипуна наверное возьмут, да и в бороду неравно наплюют. Они поняли, что чиновник глуп, что его всего более поражает внешность; часто для так называемого «хорошего человека» чиновник бескорыстно совершает такие подвиги, на которые не решился бы ни за какие суммы, выходящие из рук, пахнущих навозом. И сообразно с этими убеждениями повели дело.

Отсюда целая теория уступок и умолчаний. Слова: «по нужде» и «тесноты ради» полагаются в основание целого порядка явлений, освобождают человека от контроля его собственной совести и незаметно всасываются даже в обыденные общественные отношения. Очевидно, что под влиянием их должен образоваться совершенно особый кодекс нравственности относительной, которого прямые последствия заключаются в полном упадке нравственного смысла и в крайней внутренней распущенности. Очевидно также, что обладатели этого кодекса должны были занять в общей семье особое положение и что здесь должна была выделиться своего рода замкнутая аристократия, которая гнусно сгибается перед внешнею, грубою силой и, в свою очередь, нагло эксплуатирует и заставляет гнуться перед собой толпу слабых и беззащитных.

Такое-то именно положение занимают в Срывном Клочьевы-капиталисты. У них уже всё на европейский манер, и если вам не удастся проникнуть в тот отдаленный и всегда обращенный окнами на двор покой, в котором находится моленная, или в ту еще более отдаленную каморку, в которой несколько десятков лет заживо умирает и все не может умереть слепенькая «баушка», обыкновенно родоначальница семейства и прежде бывшая раскольничья знаменитость; если вам не ука-

жет услужливый чичероне на одиноко стоящую где-нибудь на задворках баню, в которой обитают пять-шесть дряхлых, бездомных старух, вы и не подумаете, что находитесь у человека, для которого старый обычай составляет профессию и задачу всей жизни. Полы паркетные, стены под мрамор, хозяин беседует бойко и развязно; словом, ничто в целой обстановке не обнаруживает особничества. Если вы спросите хозяина, в чем же заключается сила и смысл «старого обычая», и если хозяин человек уже зрелых лет, он или замнет разговор, или ответит уклончиво, но всегда с приятною улыбкою. «Наши отцы того держались, и мы держимся,— скажет он вам,— да и баушка еще у нас в жизни находится, так и ее огорчать не приходится». И в заключение опять любезно улыбнется, покажет вам свои старопечатные диковинки и замечательные древнего писания образа, и вообще выкажет себя скорее археологом, нежели старовером. Но если хозяин молодой, то он не сочтет даже за нужное скрытничать. «Изволите видеть,— ответит он вам,— дело это у нас не столько душевное, сколько карманное. Теперича как я таким делом за̀ймуюсь, значит, у всех я, что называется, как спица в глазу: ревнитель да подражатель — и всё тут. А ревнителем и подражателем зовусь я, первое, потому, что у меня в бане, на огороде, завсегда всякий сброд проживает: странницы эти да чернецы беглые, и каждый, сударь, благодать у себя за пазухой держит. Слава-то эта и идет; все меня знают, у всех я в почете, и оплошай я, примерно, хоть в торговом деле, меньшая-то братия на плечах меня вынесет! Так рассудите сами, какая же мне радость от своего же добра рыло воротить? А если я по древнему обычаю персты складываю да на молитву выпустивши рубаху становлюсь, так ведь эта тягость еще не больно для нас велика!»

Тем не менее весь этот лоск чисто внешний; внутри, в семье, царствует все тот же дикий деспотизм, который царствовал и искони. Так называемые патриархальные отношения наложили здесь то гнетущее ярмо, под которым пригибается к земле всякая живая личность, увядает всякий порыв к самостоятельности и замирает в груди сердечный вопль, готовый из нее вырваться. Беспощадными судьями стоят домовладыки над безгласными их семьями, и нет той силы, нет того вопля, который мог бы растопить ледяную кору, однажды навсегда сковавшую все их сердечные движения. Круг занятий, призвание, честь и самая жизнь каждого из членов семьи — все это фаталистически определяется домовладыкой с самою возмутительною подробностью. Перед этим решением склоняется и робкая его жена, и молодой его сын, у которого так и искрится в глазах огонь, свидетельствующий о сверхъестественных усилиях, по-

требных для того, чтобы сломить и обуздать кипящую в нем строптивость, и красавица дочь, которой влажные взоры и высоко взметывающаяся молодая грудь молча протестуют против гнета, налагаемого железною рукой холодного деспота. Вяло и безотрадно течет существование этой семьи, всецело поглощаемое мелочами и дрязгами обыденной жизни, а бедность и убожество обстановки кладет на действия и поступки ее членов какое-то неизгладимое иго формализма, не согретого никакою внутреннею силою. Если вам случайно придется иметь дело с одним из молодых членов этой семьи и вы спросите, что заставляет его подчиняться этим мертвящим формам жизни, ответ будет неизменен: «Родители у нас живы». И в воображении вашем мгновенно встанет или псевдовеличавый образ старика домовладыки, или же сгорбленная фигура бестолково-непреклонной старухи, которые, как вампиры, высасывают счастье и радость целой семьи. Но вот старик отец умер; старуха мать, охая и всхлипывая, также последовала за ним; остается сын, тот самый сын, который недавно так горько жаловался на свою участь... Вы ожидаете, что он с тревожным нетерпением устремится разорвать железные путы, связывавшие его движения; вы ждете, что вот-вот прольется вольная струя воздуха в эту затхлую атмосферу и освежит ее; вы опасаетесь даже, чтобы место прежнего дикого формализма не заступил столь же дикий разгул... Напрасные ожидания, напрасные опасения! Еще не успело путем оцепенеть тело отца, как в сыне уже совершился тот резкий на взгляд, но, в сущности, подготовлявшийся издалека переворот, который сразу становит его в меру отца. Ограниченным, но в самой этой ограниченности прозорливым рассудком своим он без усилий постигнет и взвесит те выгоды, которые дает ему новое положение, и на основании этого безнравственного расчета усвоит себе и взгляды и обычаи стариков. Положение семьи не изменяется; она меняет только домовладыку, но внутренний распорядок жизни остается один и тот же. И горе той личности, которая осмелилась бы предъявить права свои на какую-либо самостоятельность, горе тому или той, которые задумали бы идти наперекор тому, что самодовольно стало толстой и непробиваемой стеной на зыбкой и гнилой почве предрассудков! Их ждут тысячи мелких преследований, тысячи ежемгновенных истязаний, которые рано или поздно истерзают и изорвут душу под муками ее собственного бессилия!

В этом царстве теней крупным темным перлом выдавалось семейство значительнейшего из срывнинских капиталистов, купца первой гильдии Михея Иванова Клочьева. Первенствующее значение этого семейства в городе утвердилось за ним

в течение нескольких поколений, умевших сосредоточить в одних руках значительные капиталы и не только поддержавших связи с значительными старообрядческими обществами, рассеянными в разных пунктах России, но распространивших эти связи еще далее. Старожилы-горожане рассказывали, что в то время, когда в Срывном существовала настоящая моленная, деда Михея Клочьева, Данилу Семенова, общая молва признавала за старообрядческого архиерея и что даже будто бы поминали его в этом качестве за литургией. Разумеется, это была только молва, и притом молва неосновательная, но уже самое существование подобных слухов доказывало, какое серьезное влияние имел Данило Клочьев на толпу. Даже об Михее Иваныче ходили слухи, что он куда-то ездил и где-то получил какой-то сан. И действительно, выдалось одно время, когда деятельность Михея Клочьева приняла характер особенно тревожный и необычный; по ночам на выгоне, в старой заброшенной кожевне, происходили какие-то секретные совещания, на которые сзывались влиятельнейшие старообрядцы; в городе появилось много совсем неизвестных лиц, большею частию скрывавшихся в подпольях и по кельям на огородах и только с наступлением сумерек выползавших из своих таинственных убежищ; шли слухи о спорах и распрях, о каком-то иргизском старце Ионе, составившем значительную партию, противную Клочьевым. Словом, смута была так велика, что дело никак бы не удержалось в пределах таинственности, если б Михей Клочьев не имел деятельных покровителей в лице местных городничего и стряпчего, которые, с своей стороны, задобрили и других, до кого оно касалось. Это было именно в половине сороковых годов, то есть в то самое время, когда прошла первая молва об австрийском священстве, и вслед за тем Михей Иванов выбыл из города и возвратился домой уже после четырехмесячной отлучки, давшей повод к новым таинственным слухам и предположениям.

Михей Клочьев был человек лет шестидесяти, но крепкий, здоровый и бодрый. Высокий рост и представительная, благообразная наружность до такой степени располагали в его пользу, что какой-то присланный из Петербурга по делам раскольничьим чиновник, увидев его, почувствовал даже прилив особенного чиновничьего патриотизма.

— Такой молодец — и раскольник! — выразился он, как будто хотел сказать: ну что бы тебе на часах у Александровской колонны стоять!

— По старой вере,— угрюмо заметил Клочьев.

— Ну да, братец, раскольник! Раскольник! раскольник! — повторил чиновник уже с некоторым ожесточением.

Михей больше не возражал, но сумел устроить так, что на другой же день чиновник у него обедал и после обеда, будучи в веселом расположении духа, все убеждал хозяина оставить заблуждение и познать свет веры истинной.

Про богатство и могущество Михея ходили слухи самые баснословные, но обыватели до того безусловно им верили, что, по мнению их, не было той беды, от которой Клочьев не мог бы откупиться. Мещане и ремесленники просто трепетали его и, еще издали завидев сановитого старца, поспешно снимали картузы и сторонились. Даже местные власти ему льстили, потому что был пример, что один городничий, слишком близко подбиравшийся к Клочьеву, совершенно неожиданно слетел с места, в самом порыве бюрократического усердия. Достоверно было известно, что Михей Иванов преимущественно занимался самою православною из всех отраслей промышленности — лесною. В выборе этого занятия был свой расчет. Во-первых, лесная промышленность в восточном краю, где леса почти исключительно принадлежат казне, сама по себе представляет огромные темные выгоды; во-вторых, она приводит промышленника-раскольника в соприкосновение со всеми властями и доставляет ему случай за один поход обработывать два дела разом; в-третьих, наконец, она дает возможность занимать большое число рук, а через это открывает поприще пропаганде в самых обширных размерах. Сверх того, он вел и хлебную торговлю в значительных размерах и даже имел в Петербурге особенную контору, которою управлял его старший сын. Это также давало ему возможность иметь верные сведения о ходе того дела, которое он разумел своим душевным, и позволяло своевременно принимать меры для отвращения грозящих опасностей. Вообще это был человек изворотливый, сосредоточенный и честолюбивый. Он любил выставлять вперед предания, которые неразрывно соединены были с его фамилией, но выставлял их достаточно ловко, чтобы никто не имел права видеть в этом хвастовства. Напротив того, для всех так естественно было признавать в Михее Иваныче общего защитителя и покровителя, так естественно было обращаться к нему во всякой нужде, что разве только у очень прозорливого, да и то случайно и робко, могла сверкнуть в голове мысль, что Михей Иваныч совсем не защититель, а напротив того, пронырливый и не совсем разборчивый в выборе средств — мироед.

Семейство его, в котором он держал себя как всесильный деспот, состояло из двух сыновей и дочери. Дети были скромные, благонравные и ни на шаг не выходили из отцовской воли. Михей Иваныч не без основания гордился ими, а для

раскольников это было новым доказательством того благоволения, которое как бы лежало на доме Клочьевых. Старший сын, Данило, управлял, как сказано выше, отцовской конторой в Петербурге; второй сын, Никита, был главным приказчиком у отца по торговым его делам в самом Срывном; дочь, с которою мы отчасти уже познакомились, была девица, и носились слухи, что девичество это было не совсем вольное. Молва говорила, что Катерина Клочьева обречена была на девичество вследствие обета, данного отцом ее еще в то время, когда ей было с небольшим десять лет. Как-то весной, в самую ростепель, Михей Клочьев, возвращаясь с какой-то ярмарки домой, едва не утонул в зажоре и в минуту опасности пообещался посвятить свою дочь богу. С тех пор воспитание Кати приняло характер религиозно-фанатический; ее одели в черное, окружили старками, прилежно учили грамоте и церковным обрядам по старопечатным книгам и вообще вели дело так, чтоб из нее со временем могла выйти отличная «мастерица». Михею Клочьеву это было тем более по нраву, что ставило дочь вне участия в семейном капитале, который таким образом не обессиливался, а напротив того, благодаря муравьиной деятельности его самого и сыновей, с каждым годом становился значительнее и значительнее. Говорят, что покойная жена Михея, Анна Яковлевна, противилась, насколько могла, намерениям своего мужа, устраивавшим такое безотрадное будущее для дочери, но все ее жалобы разбились об непреклонную решимость этого человека. Сверх Катерины, в доме была еще одна женская личность, принадлежавшая жене младшего из двух братьев, Никиты. Это была бабенка еще молодая, добрая и дрожавшая, как осиновый лист, перед свекром и мужем; в доме она играла роль не столько домоправительницы, сколько работницы.

Суковатовы приходились Клочьевым троюродными или четвероюродными. Отец Суковатова тоже поначалу придерживался старого обычая и был довольно зажиточным купцом, но под конец жизни вдруг начал посещать церковь и прекратил всякие сношения с старообрядцами. Замечательно, что года через два после этого обращения дела его до того пришли в упадок, что он не в состоянии был платить гильдию и нашелся вынужденным записаться в мещане. С тех пор обеднение шло с такою поразительною быстротою, что через несколько лет у него уже не осталось ровно ничего. Старик не выдержал и умер, оставив семейство без всяких средств на руках сына, кончившего в то время курс в гимназии.

Михей Клочьев глубоко презирал Суковатовых и едва ли

даже не был главным деятельным лицом в тех несчастиях которые их постигли. Он не только не принимал в свой дом ни одного из членов этого семейства, но даже никогда не упоминал об них, как будто их совсем не существовало. Но молодые Клочьевы еще не совсем забыли связи детства и нередко, тайком от отца, даже помогали Суковатовым, в особенности Катерина Михеевна. Неизвестно, знал ли об этом Михей Клочьев, но, судя по тому, что Катя хаживала к Суковатовым не редко и что в уездном городе подобные сношения скрыть почти невозможно, скорее нужно думать, что знал. Быть может, его самого несколько тревожила совесть; быть может, он хотя в этом отношении считал возможным отпустить несколько поводья, которыми держал своих детей в повиновении, рассчитывая наверстать эту поблажку на чем другом, более существенном; как бы то ни было, но он никогда ни одним намеком не дал почувствовать, что сношения его семейных с Суковатовыми были ему противны.

Таково было взаимное положение обоих семейств в ту минуту, когда начинается наш рассказ.

VI

Услуга

Веригина ввели в просторную комнату, в которой он более пяти минут должен был дожидаться, прежде нежели появился старик Клочьев. В комнате было светло и опрятно, но убранство ее далеко не отличалось удобством и красотою; стены не были обиты обоями, а просто выкрашены по штукатурке желтою краской; мебель заключалась в тяжелых и неуклюжих красного дерева стульях, обитых кожей, которые рядами стояли вдоль стен; эти стулья были сделаны еще отцом Михея Иванова и с тех пор ни разу не ремонтировались, но были как новенькие; в одном углу в глухом ящике постукивали часы; в другом, обращенном на восток, висела икона в серебряном окладе, с зажженною пред ней лампадой. В доме царствовала такая тишина, что Веригин слышал шелест, производимый каждым его движением; молодой приказчик, худой и бледный малый, в застегнутом длиннополом сюртуке, несколько раз входил и уходил из комнаты, но всегда так осторожно и бесшумно, что можно было подумать, что он был сделан из какой-нибудь мягкой массы. Веригину вновь припомнились рассказы Крестникова и Суковатова о суровом старике, и под влиянием этих воспоминаний холодно-стройная

обстановка дома подействовала на него болезненно. Хотя он только и видел, что приказчика, и хотя этот человек, говоря с ним, глядел необыкновенно приветливо, но в самой этой приветливости была своего рода характеристическая особенность, которая замечена уже была Веригиным, несколько дней тому назад, в улыбке, взгляде и движениях Катерины Михеевны. И мысль его невольно перенеслась к этой женщине, и невольно же спросила себя, где-то она теперь и как-то живется ей среди этого строя. И то, что, при первом коротком свидании, прошло незамеченным, в эту минуту вдруг почему-то выдалось чрезвычайно выпукло. Стройная, несмотря на неудобную и некрасивую одежду, хотя, быть может, и следовало пожелать ей несколько менее полноты, фигура девушки встала перед ним как живая, вся освещенная тихою улыбкой послушания, игравшей на ее устах, и тем кротко-задумчивым взором, который, казалось, ласкал и гладил все, на что он ни упадал. А этот вздох, который намеднись вылетел из груди ее при расставанье? Что означал этот вздох? не противоречил ли он и приветливой улыбке девушки, и ее тихо ласкающему взору? Не говорил ли он явно об ином, безрадостном внутреннем мире, не свидетельствовал ли о горьком горе, все еще недостаточно подавленном, все еще порывающемся наружу, несмотря на суровое иго смирения?

«Где-то она? что-то теперь делает?» — вновь спрашивал себя Веригин и чувствовал, что сердце его словно загорается и какая-то необычная и сладкая тревога начинает проникать в его существо.

Мысль Веригина уже начинала проникать во внутренние комнаты дома Клочьевых, уже видела Катю окруженною детьми (она была «мастерицей» и постоянно обучала грамоте детей своих одноверцев) и рисовала при этом те изящно-наивные картины, которые способно нарисовать только очень молодое и очень целомудренное воображение и которых в действительности большею частью не бывает,— как внезапный приход хозяина дома положил конец мечтаниям.

С наружностью Михея Ивановича читатель уже знаком из предыдущей главы; здесь я считаю нужным прибавить только, что высокая, несколько сутуловатая фигура его, а также открытое румяное лицо и голова, обрамленная мягкими, слегка волновавшимися при движении седыми волосами, произвели на Веригина самое выгодное впечатление. Одет был Клочьев в род казакина из легкой шерстяной материи с довольно широкою на груди выемкою, с одной стороны которой пришит был ряд пуговиц, а с другой стороны вырезаны петли; казакинчик застегивался около пояса на крючки; сапоги были вы-

сокие, с голенищами, выходящими наружу, как вообще у всех людей старого обычая.

— От Павла Иваныча-с? — спросил старик Клочьев тихим, несколько вкрадчивым голосом, причем румяное лицо его светилось благосклонностью,— просим милости в гостиную! пожалуйте-с! Эй, молодец! приготовьте закусочку для господина чиновника!

— Позвольте отказаться от закуски; сверх того, вы ошиблись, принявши меня за чиновника: я занимаюсь частными делами. Вот и письмо к вам от Павла Иваныча Мурова.

— Так-с; а нам, признаться, думалось, что вы чиновники, потому как до нас и дела-то никому другому нет, окромя своего брата мужика да господ чиновников. Слава богу! слава богу! не оставляют-таки они нас, грешных!

Клочьев прочитал письмо Мурова и на минуту задумался, как будто бы находился в недоумении.

— Я еще Павла-то Иваныча в загоне в большом знал-с,— сказал он наконец, кладя письмо на стол,— он у нас здесь от купца Прокудина управляющим откупом был, прибыл к нам почесть что без исподнего платьишка, однако со временем столь изрядно дела свои поисправил, что уж и от своего лица начал кой около чего поторговывать.

Клочьев улыбнулся и ласково взглянул в глаза своему собеседнику.

— Да, кажется, он здешний край хорошо знает,— заметил Веригин, чтобы что-нибудь заметить.

— У нас, сударь, такая сторона, что живет больше кузнец да кожевник. Вот Павел Иваныч заприметил это и начал помаленьку да помаленьку расчет свой вести; свел, знаете, сначала знакомство на соседнем казенном заводе, стали ему оттуда чугунчику за вино поваживать; потом между татарами нашел по лошадиной части таких мастерков, которые кожи ему доставляли. И пошло у него, сударь, такое дело, что через два года нашего Павла Иваныча и не узнать, а через три года, глядим, уж катит к нам — да не управляющим, а хозяином. И стал он из лица полный да белый, и начал такой рукой дела делать, что многих здешних торговцев, кои послабее, даже совсем от торговли отбил. Бульвар-то, что около городнического дома, изволите знать? ну, это все он строил! и богадельню солдатскую он тоже выстроил, и на общественный банк десять тысяч пожертвовал! Да, благотворителем, именно благотворителем был граду сему! И когда уезжал-то от нас, так все только о том и говорил: ничего, говорит, я не хочу, окромя того, чтоб вы за меня богу молили!

Клочьев опять улыбнулся и опять ласково взглянул в глаза

своему собеседнику, но Веригин понял, что в голосе и словах его звучала ирония.

— Вы хорошо были знакомы с Муровым? — спросил он.

— Я-то? Да как бы вам, сударь, сказать? Знакомства нашего с ним только и было, что совался он во все стороны, ну, и в нашу часть вгрызться хотел... только жиденек, сударь, жиденек еще паренек-от был. Наше дело капитала требует, да и опять-таки оно не сейчас, а десятками, может, годов заведено, так тут с одним удальством да бахвальством не много поделаешь! Указал было я ему в те поры, что каждому человеку своя линия от начала определена, да уж больно дошлый он парень-то! сам догадался, да и дал стречка отселева!

«Что ж это, однако, Муров мне хвастался, что они приятели!» — подумал про себя Веригин; он ждал, что Клочьев заговорит наконец о том, что составляло содержание письма Мурова, но словоохотливый старик словно позабыл об нем.

— Хороший человек, нечего и говорить, что хороший, а кабы поменьше таких хороших людей, так, пожалуй, хуже бы не было. А уж как ко всякому делу завистлив, так этакого ревнителя, кажется, и днем с огнем не отыщешь! Здешнее общество, доложу вам, почесть что все еще исстари к древнему благочестию приверженность имеет, а коли и есть какие колотырники, так это именно народ самый неосновательный. Ну, разумеется, откупщику это не с руки; смотрит, который человек позажиточнее — не пьет, а голи-то и хочется, пожалуй, выпить, так нѐ на что. Вот и задумал он своему кабацкому делу послужить, да и господа бога кстати тут же припутал. Улестил он здешние гражданские и духовные власти, да и в губернию тоже слетал, да и нагрянул на нас. Верите ли, сударь, богу, что мы целый год словно в котле здесь кипели! Одними обысками душу-то всю вымотали: та̀к, бывало, и не ложатся по ночам обыватели, в чаянье незваных гостей!

— Чем же все это кончилось?

— Да тем и кончилось, что накормил он власти земные досыта. Не знал он здешнего обычая, сударь, да и алчба-то уж сильно одолела его. Ревнителя-то из себя представить хочется, медаль, значит, получить, а денег-то на эту механику жаль. Однако поистрясся-таки; церковь тоже единоверческую на свой счет выстроил, так она и доднесь пуста стоит... ох, да и одно ли он это у нас напрокуратил, однако, спасибо-таки ему, отъехал от нас ни с чем.

— Как ни с чем! да ведь основание-то своему капиталу он здесь положил? А судя по вашим словам, ему только того и надобно было.

— Это точно так; да не там он его взял, капитал-то свой, куда руку запускал. Не такой у него плант был; хотелось ему наше христианство уничтожить, хотелось все наши капиталы в свой карман перевести — вот что на уме-то у него было. И ко мне тоже подлипал: соединимся, говорит, мне ведь все равно! Да мне-то не равно, коли тебе равно, душа твоя жадная! Ну, он видит, что тут ему не рука, и начал около своих же, кабачников, щечиться! И что̀ только народу он по миру пустил! Народ-то, знаете, все мелкий да малосильный, выдержать-то этакого продувного соперника не может — просто хоть весь торг бросай! всякую, то есть, штуку в свои руки Павел Иваныч забрал! Так поверите ли, сударь, почти в один год все, что получше из кабачников-то были, все к нам перешли. Вот за это ему спасибо: поревновал.

— Скажите, пожалуйста, отчего ж, если уж деятельность Мурова имела такое вредное влияние на дела здешних торговых людей вообще, то почему же только вы и *ваши* могли ускользнуть от этого влияния?

— Это, сударь, дело обширное. Скажу одно: мы старый обычай держим, а потому и дела ведем по-старинному промежду себя, по-любезному то есть. Проходимцам-то к нам ни с которой стороны подойти-то и нельзя.

— Оттого-то, видно, вы так крепко и держитесь?

— Да, кабы не это... Ох, сударь, да ведь и глумление же творили над нами... истинное глумление! Теперь вот, кажется, и полегчило малость, так и тут как вспомнишь, что годков с десяток тому поменьше бывало, так все нутро-то у тебя словно огнем выжжет! Как наедут, бывало, гости незваные да почнут народ христианский по духовным правлениям да по консисториям таскать, так истинно вам говорю, столь ли день-то деньской намаешься, что как, бывало, воротишься домой, так точно после погрому татарского словно пьяный шатаешься! И ество-то тебе в горло нейдет!

— Ну, а нынче полегче?

Михей Иваныч потупился.

— Оно полегче,— сказал он с расстановкой,— оно хоть бы и тем полегче, что вот я с тобой, сударь, об этом самом предмете без страху побеседовать могу. А настоящего все-таки нет. Да больше тебе скажу: от этого «полегче» труднее для нас стало. Вот как.

— Это каким же образом?

— Да рознь, сударь, между нами пошла. Прежде, как свету-то нам не было, мы все в куче были: и теснота, и беда всякая — все за любовь принималось. А теперь уж много и таких выискивается, которые говорят: чего же нам еще желать

надо! Ан, смотришь, оно и изгибнет, божье-то дело, промежду приказных да чиновников. А все Москва б...т. Исстари она Русской земле прежестокая лиходейница была, исстари эта блудница все земское строение пакостила!

— А ведь сказывают, что Москва — сердце Русской земли? — заметил Веригин и рассмеялся.

Михей Иваныч тоже рассмеялся, и даже, в знак удовольствия, взял Веригина за коленку.

— Ну, так, сударь, так. У нас тут помещичек есть один, паренек еще молоденький да больно уж глупенькой, так тот даже надоел мне: в Москву, говорит, Михей Иваныч, пойдем, в Москву! А что я там забыл? говорю я ему-то. Москва, говорит, сердце земли Русской, Москва, говорит, всем нам мать! Вот и поди ты с ними! А тоже русским притворяется: и в поддевке ходит, и бородку отпустил!

— Эти люди, Михей Иваныч, на московском языке славянофилами называются.

— Ну, вот; и он мне, сударь, насчет этого много толковал, да мало я чего-то понял. Треск-от слышишь, словно и невесть какие дубы валятся, а посмотришь, ан и нет ничего.

— Эти люди, Михей Иваныч, именно потому и называются славянофилами, что у них только и света в окошке, что Москва.

— Ну, так. И я своему молодчику уж сказывал: али, мол, ты Киев-то с Новгородом и в счет покладать не хочешь? Только он все свое брешет: и Киев, говорит, златоверхий, и дом Софии Премудрости!

— Все это «Москва»?

— Должно быть. Так я ему на это прямо сказал: как себя-то, баринок, ты исковеркал, так и землю-то Русскую исковеркать мнишь! Ничего, посмеивается.

— А не мешает с ним познакомиться.

— С баринком-то? не стоит: трещотка московская — одно слово. Что москвич, что грек — все одно, льстивый народ; языком лебезит, хвостом махает, а все так и глядит, как бы тебя оплести да в свое пустое дело втравить. Исстари это так. Да что, сударь, и в самом деле не закусить ли тебе?

— А коли хотите, так пожалуй.

— Ну и хорошо; Аннушка! а Аннушка! закуску подайте!

Вошла Аннушка, молодая и красивая женщина, и поставила на стол закуску.

— Это сноха моя, мѐньшего сына жена,— сказал Клочьев,— муж-то у нее все больше по делам ездит, а она в доме хозяйствовать мне помогает.

Аннушка, впрочем, тотчас же скрылась опять за дверь.

— Ну, а как же насчет письма Мурова, Михей Иваныч? — спросил Веригин.

— Да что, сударь, полно, говорить ли нам об этом письме?

— Отчего ж не говорить? Ведь язык у нас не отвалится!

— Оно точно что не отвалится, да пустое это дело, так о пустом-то деле и толковать-то словно зазрит. Только для того эти дела и затеваются, чтоб народу теснота была.

— Позвольте, Михей Иваныч. Вам Муров делает два предложения: во-первых, сделаться вместе с ним основателем общества...

— Какого общества?

— Общества лесопромышленности и торговли лесными матерьялами и продуктами.

— Мы, сударь, торгуем по старине; обществ этих не знаем, да и знать-то нам не желательно.

— Это ведь не ответ, Михей Иваныч.

— А какого тебе еще ответа нужно? Сказано тебе, что мы торг по старине ведем; значит, в этом деле не токма что барыши свои наблюдаем, а и занятие для себя видим. Мне, сударь, только то дело дорого, об котором у меня сердце болит да на которое я какой ни на есть, да все же не чужой, а собственный свой умишко поиздержу. А эти канпании, мерекаю я, именно только для тунеядцев устраиваются; положил, значит, деньги, словно как в ланбарт, и ступай с богом; да хорошо еще, как дело-то в честные руки попадет, а то навяжутся этакие же Павлы Иванычи,— ну, и ахай тогда об денежках! Тут ведь тоже пронырством, да горлом, да лестью вверх-то выплывают, а мы люди простые, бесхитростные, не нашего ума это дело.

— Согласитесь, однако ж, что частный человек никогда не может располагать такими значительными средствами, какие имеет в своем распоряжении обширное и хорошо организованное промышленное общество.

— Ну, и пущай; а нам такое дело не рука.

— Точно то же и относительно риска; никакое предприятие без риска невозможно, а частному человеку и благоразумие запрещает рисковать часто и много.

— Не рука нам, не рука.

— Для потребителей тоже прямая выгода...

— Нет уж, сударь, ты не трудись. Меня, старого, с толку сбить трудно, да и нет для тебя пользы никакой. Для покупателя точно, что на первое время, может, повыгоднее будет, а потом, как взойдет в силу ваша канпания да убьет мелких-то торговцев, так как ты думаешь, много она станет об

покупателе-то болезновать? Да еще поди Муров, чай, в Питере, и пороги-то все обобьет за привилегиями за разными, пожалуй, и леса-то казенные даром выпросит. Нет, не след нам в эти извороты соваться, да и не таково наше дело исстари. Наше-то ружье, сударь, двух зайцев бьет, так нам от своего дела устранить себя невозможно. Напрасные будут твои слова.

— Ну, а второе-то предложение?

— Это насчет содействия-то, что ли? Павел-то Иваныч, никак, меня за малого ребенка считает!

— Стало быть, и на это надеяться нельзя?

— Нет, нельзя, потому что я себе не враг. Хоть и знаю я доподлинно, что ничего у вас не выйдет, однако знаю и то, что, если вы дело это пустите в ход, все же настолько-то напутать в нем можете, чтоб нас с расчету сбить. Следственно, выгода моя одна: вести ваше дело в оттяжку.

Веригину сделалось не совсем ловко. Кроме того, что его на первом же шагу встретила неудача, в уме его с новой силой возник вопрос о самой сущности дела, за которое он взялся. Он дал себе слово еще раз внимательно размыслить об нем и положительно разъяснить себе как самое дело, так и в особенности свои отношения к нему.

— Ну-с, по крайней мере надеюсь, что вы не сетуете на меня за посещение,— сказал он, вставая.

— За что сетовать! И напредки бы просил, да человек-то я старый; боюсь, мало занятного со мной будет. А сынок у меня все в разъездах.

Веригин простился и вышел. Но на лестнице им опять овладело то тревожное чувство любопытства, которое он испытал уже, покуда выжидал в зале появления Клочьева. Наверху, на лестницу, а также внизу, в сени, выходило несколько дверей: куда ведут эти двери?

— У хозяина много детей? — спросил Веригин приказчика, надеясь, что он случайно проговорится.

— Два сына-с: Кондратий Михеич и Данило Михеич-с. Дочка Катерина Михевна.

— Дочь...

— Так точно-с,— отвечал приказчик кратко, отворяя парадное крыльцо.

Проходя мимо дома, Веригин напрасно заглядывал в окна нижнего этажа; там никого и ничего не было видно сквозь подернутые зеленоватою плесенью стекла. Был уже второй час дня, на улице стояла жара; город, очевидно, уж пообедал и отдыхал; только приказные, красные, словно каторжные, выползали из присутственных мест и брели по домам. У ворот

одного дома два каменщика сверлили середку у жернова и спорили между собой.

— Ишь ты ведь какой задался! и не продолбишь! — говорил один, весь покрытый каплями пота от усилий.

— Продолбим! — спокойно отвечал другой.

Веригин остановился около них и стал смотреть на работу.

— Я тебе говорю, не продолбишь! ишь у него раковина в сердцевине-то задалась,— продолжал первый.

— Знай долби! — еще спокойнее отвечал другой.

«Знай долби»! — повторил мысленно Веригин,— что ж, долбить так долбить — будем!»

— Прогуливаетесь? — вдруг прозвучал чей-то голос над самым его ухом.

Веригин обернулся; перед ним стоял стряпчий Веприков, очевидно уж позавтракавший.

— Иду домой,— отвечал он.

— Были у Клочьевых?

— Да; у меня к нему было письмо от Мурова.

— Ну что̀, каков старичина?

Веригин решительно не знал, что ему отвечать на подобный вопрос, и потому счел более благоразумным промолчать.

— Старик важный; это наш архиерей; так его все и называют. Дочка у него прекрасная.

— Не видал,— солгал Веригин.

— То-то вы в окошки-то посматривали. Только не здесь она живет, а в антресолях.

— Я повторяю вам, что никогда ее не видал.

— Ну, не сердитесь; я ведь шучу. А что вы у нас не бываете?

— Ведь вы знаете, что я только что устроился здесь; да и зачем мне мешать вам?

— Ничего; вечерком можно; в стуколку сразимся.

— Я и в карты-то не играю.

— Ничего; промежду нас поживете, станете играть.

Собеседники шли некоторое время молча.

— Вот вы человек ученый, статистикой занимаетесь, так хотите сегодня в другой раз у Клочьевых побывать и Дульцинею вашу, как есть, в самом неглиже видеть? — спросил вдруг Веприков.

— Какое же отношение между статистикой, Клочьевыми и Дульцинеей в неглиже?

— А вот ужо̀ увидите, коли с нами пойдете.

— Да что такое у вас ужо̀ будет?

— Да уж приходите часов этак в десять вечера, раскаиваться не будете; всего насмотритесь.

Веригин почувствовал, что сердце у него упало; он понаслышке знал об обысках, но не имел еще ясного понятия об этом деле. Из слов стряпчего ясно было, что на ночь готовится что-нибудь подобное.

— Дайте подумать,— сказал он стряпчему, подавляя смущение, овладевшее им.

— Ну, думайте; мне хочется, чтоб вам не скучно у нас было. По крайности, на развлечения наши посмотрите. И то Никанор Семеныч (городничий) такие случаи балами своими называет.

— Да ловко ли мне будет с вами?

— Ничего; с нами везде ловко. Вы только нами-то не гнушайтесь, так и не увидите, как у вас время здесь лихо пройдет. Воротитесь в Петербург, статистику нашу в подробности опишете. Прощайте-с.

Собеседники расстались. Первою мыслью Веригина было дать знать Клочьеву о предстоящей опасности. Поэтому он, не заходя домой, обогнул несколько переулков и наконец опять вышел на большую улицу с противоположной стороны.

Михей Иваныч уж сидел за обедом, и потому встретил непрошеного гостя почти с неудовольствием.

— Сейчас я встретился случайно с стряпчим,— сказал ему Веригин,— и он звал меня сегодня вечером к вам. Не знаю, так ли я понял, но из слов его мне показалось, что у вас будет обыск.

В продолжение этой речи Клочьев несколько раз менялся в лице. Веригин видел, как бледные губы старика дрожали и как лицо его внезапно потускнело и осунулось.

— Спасибо тебе, барин! — сказал он наконец, с глубоким вздохом, и опустился в кресло, в припадке слабости.

— Я приду с ними, Михей Иваныч!

Старик ничего не отвечал; опустивши на грудь седую голову, он шептал про себя какую-то молитву. Но в соседней комнате уже, очевидно, слышали весь разговор, и поднявшаяся вдруг суета показала Веригину, что в доме Клочьевых даром терять время не любят.

VII

Обыск

Дело, в своем роде, было очень важное. Конечно, в сущности, оно обращалось кругом пустяков, как и все, в государственной сей юдоли творящееся, но было важно, как выражение

известной системы, а также по тем последствиям, которые могло вести за собой для Клочьевых. Преследование старообрядцев дало, между прочим, начало целой предательской промышленности, представители которой тем опаснее, что все они или находились, или даже о сю пору находятся в самом сердце сектаторского дела, и следовательно, коротко знакомы со всеми его подробностями. В уездах и по селениям такие люди состоят под особенным покровительством местных городничих и исправников и служат надежнейшими для них агентами по раскольническим делам; старообрядцы их знают; и, разумеется, насколько возможно, блюдутся от них; тем не менее нигде известная пословица «от своего вора не убережешься» не встречает такого обширного приложения, как здесь; здесь вор простирает свои претензии не на имущество только, но на всю жизнь, на всякое действие, на всякую мысль своего ближнего. Можно себе вообразить, какая бездна безнравственности должна лечь в отношения между людьми, которых судьба часто соединяет в одной деревне и даже под одной кровлею; понятно также, сколько здесь должно быть явного нахальства с одной стороны и скрытной ненависти и презрения — с другой. Однако можно сказать, что это еще не воры, а воришки, потому что от предательств их можно отбояриться деньгами, и даже не очень значительными, да и от полиции-то, если уж они ее наведут, также можно избавиться без особенных издержек. Настоящими ворами являются предатели высшего полета, действующие в столицах, около бюрократических центров; эти подрывают секту не в подробностях, не в безразборчивом преследовании отдельных лиц и случаев, а в самом ее основании, и стремятся овладеть именно теми лицами, в которых сосредоточивается вся сила секты. Большею частью это люди, изведавшие всю сектаторскую суть, то есть и внутренние распорядки секты, и главных сектаторов, и пути, посредством которых они действуют, и, наконец, их сношения; агентами они делаются или вследствие уязвленного самолюбия, или вследствие какого-нибудь неудачно сошедшего с рук дела, угрожавшего их личной свободе, или, наконец, вследствие прямого подкупа.

Один из таких агентов сделал извет на Михея Клочьева, что он не только находится в постоянных сношениях с заграничными старообрядцами, но даже восхитил какой-то сан; что недавно к нему приехал некто с австрийской границы и в настоящее время должен быть уже в Срывном; этот некто оказывался лицом, до которого давно добирались. Отсюда великая тревога, выразившаяся в обильном количестве предписаний с надписью: *секретно* и *весьма нужное;* но так как за всем

тем дело шло обычным формальным своим порядком, то и последним его исполнителем естественно явился городничий, Никанор Семеныч Лупогоров. Никанор Семеныч, прочитав предписание, долго соображал, что из этого может произойти, если и т. д.; но слова бумаги были так ясны и настоятельны, что никакого другого исхода не оставалось, кроме совершенно точного и буквального исполнения. Призван был стряпчий Василий Никифорыч Веприков, во-первых, как естественный советчик, и во-вторых, как соисполнитель в предстоящем бюрократическом таинстве. Веприков дал такой совет: действовать по силе возможности, как существо веществ указывать будет; потом выпил, закусил, отправился домой и по дороге пригласил Веригина.

Это было накануне Николина дня, когда православные, а между прочим и раскольники, имеют обыкновение проводить вечер в различных молитвенных занятиях. Стало быть, обстоятельства в высшей степени благоприятствовали предположенному походу. Городничий нисколько не сомневался, что успеет захватить что-нибудь вроде всенощной и накроет преступников со всеми онерами; в этой сладкой уверенности он заранее составлял в уме своем содержание будущего рапорта и беспокоился только тем, следует ли почтительнейше испрашивать разрешния, каким образом поступить в дальнейшем, или, и не испрашивая разрешения, взять да и поступить по своему усмотрению. В одиннадцать часов вечера, когда город уже спал, городничий, сопровождаемый стряпчим, ратманом, полицейскими и понятыми, открыл кампанию.

В доме Клочьевых царствовала совершенная темнота; только из одного окна тускло мерцал свет лампадки, теплившейся перед образом.

— Это они на задворках где-нибудь шабаш свой справляют! — остроумно заметил стряпчий.

Но скоро обысчикам пришлось разубедиться в этом предположении, потому что, при первом стуке в ворота, по всему дому сейчас же забегали огни, что положительно означало, что хозяева дома. Поспешность, с которою поднялась в доме тревога, заставила даже задуматься городничего.

— Ждали! — сказал он, мрачно покручивая усы.

— Ау, брат! — отозвался на это замечание стряпчий.

— Никого из дома не выпускать! хозяина сюда! трое полицейских и трое понятых за мной! Господин ратман! прошу следовать! — скомандовал городничий, как только отворились ворота, и, не заходя в дом, стремительно бросился, мимо надворных строений, прямо на задворки.

— Молодец наш Никанор Семеныч! однако нынче вряд ли

не придется нам, вместо рыбки, большого таракана съесть! — позевывая, заметил стряпчий, оставшись на дворе с Веригиным,— пойдемте-ка лучше в дом; там, по крайности, Анна Прохоровна рюмочку подаст!

На лестнице встретился им старик Клочьев. Лицо его было бледно и глядело сурово; волоса были в беспорядке, как у человека, который сейчас только проснулся.

— Я думал, пожар,— сказал он, увидев стряпчего,— ан это вон кто! гости дорогие да незваные! да доколе же вы нас на куски-то рвать будете, татары вы проклятые! И ты, сударь, с ними? — продолжал он, обращаясь к Веригину,— что ж, посмотри, сударь, посмотри! полюбуйся на антихристово воинство!

— До тебя, брат Михей Иваныч, Никанору Семенычу дело есть! ступай-ка к нему, он там у тебя на задворках в подземное твое царство отыскивать пошел, а мы покудова наверху у Анны Прохоровны водочки выпьем! — отвечал стряпчий, нимало не смущаясь энергическою выходкой раздраженного старика, а когда Клочьев скрылся, то вздохнул легонько и, обращаясь к Веригину, прибавил: — А ведь хороший старик! вот хоть бы этот самый Михей Иваныч!

В дверях их встретил тот самый приказчик, которого утром еще заметил Веригин. На лице его играла все та же улыбка, и только багровое пятно на левой щеке обнаруживало внутреннее волнение.

— Живо Христовых невест сюда! — скомандовал стряпчий.

— В зале-с,— тихо проговорил приказчик.

Действительно, и Анна Прохоровна и Катерина Михеевна уже стояли в зале, совсем одетые. Анна Прохоровна вся дрожала как в лихорадке, но Катя была спокойна.

— С дорогими гостьми честь имеем поздравить! — приветствовал их Веприков,— а хитры же вы, Христовы невесты! тоже и огни потушили, точно и в самом деле спали! Ну, да мне что! Анна Прохоровна! водочки-с!

Анна Прохоровна поспешно направилась к двери, чтоб исполнить требование посетителя.

— Да пойдемте вместе туда, где самый оный жизненный сок обретается! мне же кстати надобно вам парочку слов сказать наедине.— Веприков лукаво мигнул при этом Веригину на Катю. Веригин и Катя остались наедине; Веригин стоял смущенный, с опущенными глазами; он теперь только понял всю неловкость своей роли и весь ужас того положения, вследствие которого целомудрие домашнего очага во всякую минуту может подвергнуться осквернению со стороны первого охотника

до наездов и даже просто со стороны праздного любопытства. Краска стыда жгла его лицо; цинические выходки стряпчего и весь этот не виданный им дотоле поразительный спектакль подействовали на него так жестоко, что казалось, будто он совершил какой-то ужасный и утомительный труд, вследствие которого в горле у него пересохло и спина словно разбита.

— Вы-то зачем с ними пришли? — потихоньку спросила его Катерина Михеевна.

Веригин не отвечал; при первых звуках ее голоса он быстро отвернулся к окошку. И совесть его грызла, и в то же время какой-то мучительный трепет охватил его сердце.

— Зачем вы с ними пришли? — повторила Катя.

— А хоть бы затем, чтоб вас видеть! — вдруг высказался Веригин, упорно продолжая смотреть в окно.

Лицо Катерины Михеевны на минуту вспыхнуло. Из одной из ближайших комнат долетали голоса Веприкова и Анны Прохоровны, которая, по-видимому, уже совершенно оправилась от первоначального своего испуга.

— Вы что же у Суковатовых не бываете? — весь дрожа, спросил Веригин и, не дожидаясь ответа, направился к выходу.

Катерина Михеевна не удерживала его; но когда он вышел, она безотчетно подошла к тому окошку, у которого стоял и Веригин, и долго, в бессознательной задумчивости, всматривалась в темноту, окутывавшую улицу.

— Где же птенец-то наш? — разбудил ее голос стряпчего от задумчивости.

— Ушел,— отвечала она отрывисто, и с этим словом сама вышла из комнаты.

— Не умели, сударыня, занять молодого гостя! — кричал ей следом Веприков,— а вот мы так с Анной Прохоровной уж и подружиться успели!

Анна Прохоровна действительно уже совсем не робела и даже потихоньку посмеивалась.

Я не стану затруднять читателя дальнейшим описанием обыска; достаточно сказать, что он кончился ничем, и это привело в столь великое смущение Никанора Семеныча Лупогорова, что он впопыхах даже принялся вразумлять и усовещивать старика Клочьева.

— Слушай, Михей Иваныч, не может быть, чтоб *его* у тебя не было! скажи! — говорил он очень убедительно, перерывши наперед все хозяйские сундуки и заглянувши во все закоулки как в самом доме, так и в надворных строениях.

— Ищи! — отвечал кратко Михей Иваныч.

Вследствие этого Никанор Семеныч провел самую скверную ночь, подобную которой, по всем вероятиям, не приводилось ему провесть ни разу от рождения. И в самом деле, было от чего прийти в отчаяние. Слыл он в губернии самым расторопным городничим и славился именно тем, что налетом налетал на всякого, на кого от начальства налетать предписано было,— и вдруг теперь нет ничего! Естественное заключение, какое могло вывести из этой неудачи губернское начальство, должно было состоять в том, что он взял взятку («Не утерпел-таки старик! хапнул!») и закрыл дело в ущерб государственному интересу.

— Видит бог! — вскрикивал Никанор Семеныч, привскакивая на постели при одной мысли, как он чисто и непорочно провел минувший вечер.

Не менее беспокойна была и та ночь, которую провел Веригин. В продолжение дня он испытал слишком много разнообразных ощущений, чтобы мысль его могла скоро успокоиться. Но вот наконец он и на просторе; он освободился от смрадного, душного города, который не давал ни приюта для него лично, ни исхода для его деятельности. Наконец он в царстве полей, он в самом центре той среды, где, по сказаниям сведущих людей, зачинается и вершится все земское строение. Зачем он здесь? какому он делу служит? Дело он имел — это поручение Мурова, но вопрос в том, такое ли это дело, которому может служить честная деятельность? Само по себе оно, конечно, не больше как исследование фактов, исследование безразличное и даже полезное; но из какого источника оно исходит, для какой цели предпринято? Невольно приходили ему тут на мысль замечания старика Клочьева, замечания, которым он не мог отказать в некоторой доле справедливости, несмотря на то что в них явно сквозил ограниченный и односторонний взгляд на вещи. Да, это правда, дело, которого главные нити находятся в нечистых руках, не может быть чистым; польза, которая выставляется здесь наружу, как непосредственный результат дела, есть польза мнимая, есть обман, служащий лишь для привлечения людей невежественных или простодушных; правда, что все эти акционерные затеи, все это движение есть не что иное, как движение в хаотической, безрассветной мгле, в которой предметы перестанавливаются один на место другого без всякой законной причины и не достигая этою перестановкой никакого порядка; самый успех предприятия, если даже его и возможно достичь, может повлечь за собой только ущерб для интересов местного большинства; все это так... ну, а потом? Потом представляются следующие два предположения: первое, если эта деятельность

мнимая, то таковою же должна быть и всякая другая деятельность в мнимой среде; стало быть, если гнушаться ею, то надо решиться или на бездействие, или на самоуничтожение, что совершенно противно и здравому рассудку, и тем простым, но вполне законным инстинктам, которые присущи всякому живому организму; второе предположение говорит еще яснее: если я обстоятельствами вынужден принимать участие в таком деле, которое мне не сочувственно, то, с одной стороны, я могу его сделать безвредным в самом своем источнике, с другой — могу воспользоваться теми средствами, которые оно в себе заключает для других целей, представляющихся более важными и существенными... Затем здесь и еще возникает вопрос — о деньгах; деньги эти я получаю, разумеется, за то, что взялся выполнить известное дело; но ведь моя роль в чем, собственно, заключается? в том, и в том единственно, чтобы сделать исследование местных средств и потребностей в известном отношении. Это я и исполню, во-первых, потому, что всякого рода местные исследования, если даже смотреть на них исключительно с точки зрения обогащения науки лишним фактом, имеют свою несомненно полезную сторону, а во-вторых, потому, что никто мне не препятствует вывести из моего исследования именно то заключение, которое я признаю верным. Следовательно, и в этом смысле, в поступке моем не заключается ничего противного даже тем ходячим понятиям о нравственности, которые, в большинстве случаев, спокойно себе спят в архиве общественного сознания и врываются в жизнь частного человека лишь тогда, когда это всего менеее требуется. А если при этом меня занимает еще преследование и других целей, то разве я не господин своего досуга и разве не имею права из добытого мною, по какому-либо случаю, материала сделать не только то ограниченное употребление, для которого он добыт, но и другое, более обширное, на которое указывает моя мысль?

Следовательно, Муров тут в стороне, и первый вопрос решается сам собой, помимо его участия. Но какие же это «другие» цели, преследование которых так симпатично для Веригина?

Первая и главная цель — свобода; но значение этого слова слишком обще, чтобы не требовало определения вполне точного. Самое обширное и вместе с тем, как кажется, самое верное определение «свободы» заключается в возможности для всех и каждого находить беспрепятственное удовлетворение естественным (а по тому самому и законным) своим потребностям. Другими словами, свобода есть *общее счастие,* которое, в свою очередь, есть не что иное, как *общее духовное и мате-*

риальное благосостояние. Но ведь опять-таки это только мысль, только отвлечение; на практике же, чтоб осуществить эту мысль, необходима известная жизненная форма, известная комбинация, которая служила бы для нее живым воплощением. Что ж это за форма и можно ли заранее определить ее подробности? Не подлежит сомнению, что форма эта, как искомое, существует и что основные ее положения уже существуют как в самой природе человека, так и в природе его отношений к внешнему миру, тем не менее *искомое* все-таки остается и останется искомым до тех пор, покуда оно не найдено, а искание это находится в полной зависимости, во-первых, от исследования самой природы человека, во-вторых, от приведения в полную ясность как внешнего мира, так и отношений к нему человека. Тут, стало быть, возникает первое сомнение: без выполнения этих двух необходимых условий не будет ли всякая вновь предложенная форма неустойчивою и лишенною серьезного содержания, не будет ли, наконец, и самое искание такой формы делом бесполезным и несбыточным? Но, с другой стороны, еще прежде разрешения этого вопроса невольно сам собой вызывается другой: не представляется ли план, соединенный с выполнением изложенных двух условий, до того обширным и далеким, что самая обширность делает его равнозначащим нулю?

В разрешении этих сомнений, очевидно, заключается вся сущность дела. Однако, несмотря на видимую трудность разрешения, оно не невозможно. «Я могу отделить эти две части одной и той же человеческой деятельности,— думал Веригин,— я могу доискиваться идеала отдаленного и в то же время преследовать цели ближайшие». Ум человеческий действует не только на основании анализа фактов уже известных и приведенных в полную ясность, но и посредством догадок и предположений. Эти последние и составляют истинную и даже, несмотря на свою видимую беспочвенность, очень прочную основу для тех идеальных форм жизни, которые порой мерцают человеческому сознанию как окончательные цели, к достижению которых направлена должна быть человеческая деятельность. Что они вовсе не так беспочвенны, как кажется, в этом служит порукой то, что они зарождаются в здравом сознании человеческом, а не ином каком-нибудь, и следовательно, несмотря на могущую в них вкрасться ошибочность, не только не противоречат человеческой природе, но даже прямо из нее вытекают. Вся ошибочность, на которую исключительно и указывают люди, для которых такие указания выгодны, заключается, собственно, не в них самих, а в недостаточности точных и положительных знаний. Но это нисколько

не отнимает права отыскивать идеалы; даже более: самый успех знаний в высшей степени зависит от этих идеалов, которые в этом случае представляются силою, постоянно подстрекающею человеческую деятельность. Следовательно, те представления об отдаленных формах жизни, которые вырабатываются человеком, на основании ли частных его наблюдений над человеческою природой или даже на основании его личных интимных выводов и умозаключений, не только не имеют в себе ничего безумного и бессмысленного, но вполне законны и разумны. Весь вопрос заключается в том, чтоб уметь их ограничить и не выдавать истину идеальную за истину насущную.

Но ведь, таким образом, самая нелепая утопия должна быть признана законною? — возразит читатель. А почему же и нет? Ведь если она действительно нелепа, то не возбудит ни с чьей стороны сочувствия и упадет сама собой; следовательно, тут законность ее оправдывается ее безвредностью. Но в том-то и дело, что то, что нам кажется, по некоторым ходячим понятиям, нелепым, в сущности совсем не таково, и вот где причина того явления, что утопии встречают, в большей части случаев, весьма горячих приверженцев. За прямую нелепость мы часто считаем или ошибочность утопии, или то, что она недостаточно всестороння, то есть не отвечает всем разнообразным требованиям человеческой природы. Но в своей сущности, то есть в той односторонности, которую она выработала, она все-таки не только не фантастична, а непременно зиждется на основаниях совершенно прочных. Опять-таки: иначе она не встретила бы ни в ком сочувствия. Стало быть, дело разрешается просто: кажущаяся фантастичность идеала заключается в его односторонности; односторонность есть следствие недостаточности общего уровня знаний. Развитие и накопление этих последних может в пропорциональной мере развить и расширить идеал, исправить его подробности, но упразднить его совершенно не может, так как это значило бы упразднить самую общечеловеческую сущность, которая в основание его положена. Ясно, что те мнения, которые приписывают жизненным идеалам намерения, вносящие в жизнь разрушительное начало, суть мнения ограниченные; ясно, что люди, которые делают себя выразителями подобных мнений, суть люди нищие духом, которых умственный горизонт не заходит далее сегодняшнего дня.

Это одна сторона вопроса; другая сторона заключается в том: что ж это за ближайшие цели, которых обязана достигать человеческая деятельность? Разумеется, и здесь, как и в первом случае, основание одно и то же: свобода, но ведь,

стало быть, это не та полная свобода, о которой хлопочет утопия, если практическая мысль человека непременно требует разделения человеческой деятельности на две части? В чем же заключается эта неполная, ограниченная свобода? Не в том ли именно, чтоб были устранены те препятствия, которые мешают человеку достигнуть полной свободы? Да, это так; свобода, об которой идет здесь речь, есть явление чисто отрицательное, не заключающее в себе никаких организующих начал; это просто устранение стеснений. Идеал в этом случае освещает путь обширный, почти безграничный, но самая человеческая деятельность, идущая по этому пути, является крайне умеренною и ни на шаг не отходит от вещей насущного мира. Эти два рода деятельности не только не противоречат друг другу, но взаимно пополняются: идеал является вполне практичным; практика представляется не жалким шатанием из стороны в сторону, не рядом бессвязных и праздных попыток, но целою системою, проникнутою одним идеалом.

Все это так; но за этим необходимо следует вопрос: какими способами и через кого действовать для достижения ближайших целей? Большинство робко и малоподвижно; такое убеждение горько, но тем не менее оно совершенно справедливо; происшествия прошедшего дня вполне убедили в том Веригина. Люди оскорбляются в самых близких и дорогих для них интересах, но разве они возмущаются этим? Конечно, возмущаются, но возмущаются, так сказать, непосредственно, не обобщая своего чувства, не возводя его на степень принципа. Подобное чувство отходчиво; оно легко тает по миновании беды и мере того, как изглаживаются матерьяльные признаки происшествия, их пробудившего. На это чувство рассчитывать почти нельзя; практика притупляет его и делает периодическое возобновление его обычною, почти незаметною принадлежностью жизни. Еще меньше можно рассчитывать на чувство, которое должны бы были возбуждать подобные оскорбления в окружающей среде, в той среде, которая не страдает непосредственно от самого акта оскорбления. Чему был свидетелем Веригин в эту ночь? Во время самого страшного насильства, какое только может вообразить человек, в каком отношении к нему был город? Город спал безмятежным сном; понятые исполняли свои обязанности с похвальною готовностью; никто не пошевельнул даже пальцем. Могут сказать, что город не мог предвидеть заранее ничего подобного, точно так как не может предвидеть заранее о наглом нападении шайки воров; но ведь когда в окно лезет вор и хозяин дома видит это, он кричит «караул!» — отчего же Клочьев не закричал? отчего он не сделал гвалта, не разбудил соседей, не дал отпора на-

сильству? Не имел ли он убеждения, что подобные действия с его стороны будут бесполезны? Да, он имел это убеждение; он знал, что если и проснутся обыватели, то будут только протирать глаза и креститься. Но если б он сделал это? если б он, и другой, и третий протестовали гласно против насилия? Конечно, он, Клочьев, мог бы погибнуть, но для другого шансов было бы уже более, для третьего еще более и т. д. Конечно, это было бы хорошо, но ведь этого нет, а нет этого, потому что никакая отдельная личность, которой деятельность еще не подчинена общим принципам, не имеет никакой охоты жертвовать собою в пользу принципа, которого не имеет. В этом случае она предпочитает действовать увертками и временными соглашениями, да и нельзя требовать, чтоб каждый человек был героем... Мало того, геройство есть явление ненормальное, свидетельствующее о запутанном настроении общества. Надобно, чтоб протест был делом легким и уверенным, чтоб он опирался на общество, а для этого нужно, чтоб в обществе не было розни. Если общество исповедует, например, начало собственности, то как бы ни казалось оно ошибочно, все-таки надобно, чтоб общество его исповедовало действительно, а не оконечностями только языка. Хуже всего, если общество ничего не признает, или признает только произвол и право сильного.

Да; с этой стороны надежда плоха, но что ж остается?

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Что такое тайное общество? Может ли оно, и в какой мере может действовать? Что оно *может* действовать,— это очевидно, потому что и всякий отдельный человек имеет возможность действовать в смысле распространения своих личных убеждений, но очевидно также, что это действие медленное, окруженное со всех сторон препятствиями, которые тем значительнее, что самые действия общества облечены тайною. Следовательно, в практическом смысле, результаты, получаемые тайным обществом, ничтожны — в чем же смысл подобного явления? Не в том ли, что оно воспитывает людей, что оно служит сохранению идеи свободы в ее чистоте и неиспорченности? Пожалуй. Но в таком случае, каких же, собственно, людей должно связывать собой подобное общество? Очевидно, людей, связанных между собою совершенною одинаковостью убеждений, одинаковостью идеалов. Веригин вспомнил тут, что и он принадлежит к кружку, носящему все признаки такого общества, и вдруг почувствовал, что словно холод охватил все его существо. Господи! да что же там и кто там? В первый раз еще задавал он себе этот вопрос и мог его разрешить только тем, что

там «хорошие» люди. Но что же, если сущность этих людей или, по крайней мере, некоторых из них заключается единственно в неопределенных стремлениях и честном желании чего-то лучшего? Ведь эти стремления так скоро удовлетворяются, эти желания так удобно и легко примиряются при первой незначительной уступке?..

Веригин до того был взволнован этим наплывом мыслей, что положительно почувствовал себя неспособным заснуть. Он встал с постели, оделся и пошел бродить по городу. Но его инстинктивно влекло все в ту же сторону, все к тому же дому, где, так невольно и неожиданно, разыгралось для него какое-то неясное начало будущей драмы.

Уже светало; утренняя свежесть воздуха действовала успокоительно. Веригин уже подходил к дому Клочьевых, как его остановило следующее обстоятельство. Прямо перед домом, на улице, кричал и буянил какой-то человек; знакомый Веригину приказчик его уговаривал.

ТЕНИ

Драматическая сатира в <?> действиях

ДЕЙСТВИЕ I

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Петр Сергеич Клаверов, молодой человек лет 30, но уже в чинах и занимает значительное место;. физиономия преждевременно состарившаяся, волоса и бакены с проседью, на голове небольшая лысина.

Николай Дмитрич Бобырев, молодой человек, товарищ Клаверова по школе. Прибыл в Петербург из провинции, где состоит на службе, в качестве товарища кого-то или чего-то. Одет весьма чисто, хотя от моды и отстал.

Павел Николаич Набойкин, товарищ Клаверова по школе, служащий у него под начальством; молодой человек благородной наружности, одевается щегольски.

Иван Михеич Свистиков, пожилой господин, служащий под начальством Клаверова; высокого роста, широк в плечах; в присутствии Клаверова ходит в виде наклоненной линии и приподнимаясь на носки; исполняет у Клаверова должность домашнего буффа.

Князь Тараканов, молодой человек, племянник начальника Клаверова.

Нарукавников, молодой человек, сын откупщика.

Театр представляет кабинет Клаверова. Боком к зрителям, слева письменный стол с грудами наваленных на нем бумаг, в глубине сцены другой письменный стол, пустой, направо низенький оттоман; по стенам развешано множество фотографических портретов, мягкая мебель расставлена по комнате в беспорядке; входная дверь направо, а налево во внутренние комнаты. При открытии занавеса Свистиков стоит у входной двери, в вицсюртуке и с портфелем под мышкой, Бобырев только что вошел; он во фраке и в палевых перчатках.

СЦЕНА I

Свистиков и Бобырев.

Бобырев *(Свистикову)*. Мне сказали, что Клаверов в кабинете?

Свистиков. Генерал-с? Они там. *(Указывает на дверь, ведущую во внутренние комнаты.)* Сегодня у его превосходи-

тельства доклада не будет-с: один я-с. Да вы кто такие? *(Осматривает его.)*

Бобырев. А вы кто такие?

Свистиков. Я ихний чиновник-с.

Бобырев. А я ихний товарищ по школе. Скажите, пожалуйста, у Клаверова очень много занятий?

Свистиков. То есть теперь-с?

Бобырев. Нет, вообще?

Свистиков. Как же-с, как же-с. У нас одних входящих тысяч пятнадцать через их руки перейдет. Машина изрядная-с!

Бобырев. Да, честь и слава Клаверову: достиг-таки! Приятно иметь такого товарища по школе!

Свистиков. Это точно-с. Впрочем, позвольте вам доложить, что в генеральском чине узы товарищества... не то чтобы совсем ослабевают, а больше как бы в туманном виде представляются. Не смею, конечно, утверждать, а, ей-богу, так-с!

Бобырев. А разве Клаверов... тово?

Свистиков. Помилуйте... как же это можно-с!

Бобырев. Однако...

Свистиков. Нет-с... как же это можно-с? Известно, особа с характером, а впрочем, ничего!

Бобырев. Я так давно расстался с ним, что, право, не знаю... Скажите, вы близко знаете Клаверова?

Свистиков. Помилуйте, каждое утро-с... И по квартире, и все такое...

Бобырев. Так Клаверов... тово?

Свистиков. То есть он не то чтобы очень «тово», а есть-таки малая толика... позволите быть с вами откровенным?

Бобырев. Сделайте милость.

Свистиков. Вот вы изволите их Клаверовым называть, ну, а мы, признаться, и от фамилии-то этой отвыкли, всё ваше превосходительство, да господин директор!.. даже и мысль-то словно не дерзает назвать иначе.

Бобырев. Вот как!

Свистиков. А то как же-с. Ну, опять возьмем, к примеру, и то: изволили вы пожаловать к его превосходительству — и прямо в кабинет!

Бобырев. Вы, стало быть, думаете, что лучше было бы обождать в передней?

Свистиков. Не лишнее-с. Оно конечно, генерал, как старого товарища, примут вас благосклонно, однако им и за всем тем приятнее было бы заметить в вас почтительность к ихнему сану.

Бобырев *(иронически)*. Так вы думаете, что его превосходительству будет неприятно, что я вошел прямо в кабинет?

Свистиков. Не то чтобы неприятно-с... сохрани боже! они и виду этого не подадут! А так, знаете, могут при случае это припомнить. Не выскажут, знаете, да и начнут действовать дипломатически: начнут, это, слово ер-с к каждому слову прибавлять, «милостивым государем» обзывать, стул собственноручно пододвигать, философические рассуждения преподавать... одним словом, убьют человека мерами даже самыми учтивыми. Да вы из губернии-с?

Бобырев. Да, я из Семиозерска.

Свистиков. Место дальнее-с. В губернии, известно, насчет этого просто; там промежду себя все этакое целованье да милованье: ты — mon cher, и ты — mon cher! следственно, и идут в кабинет не спросясь.

Бобырев *(иронически)*. Черт возьми, однако, как это скверно долго не бывать в Петербурге: совсем все обычаи перезабудешь.

Свистиков. А их помнить необходимо. Скажу вам откровенно, здесь насчет этого такое понятие: покудова человек находится *там (указывает на входную дверь)*, он не Иван, не Сергей, не Петриков, не Свистиков — он проситель. Проситель первый, проситель второй — все равно как на театре поселяне: поселянин первый, поселянин второй и так далее. Генералу докладывают просто: просители дожидаются, ваше превосходительство, а генерал в ответ на это скажет «а!», а иногда и ничего не скажет, и затем это уж ихнее дело, кого отличить, а кого и без внимания оставить. Но человек, который прямо, собственною властью приходит *сюда* — это уж, значит, человек, который считает себя вправе, так сказать, конфиденциально беспокоить его превосходительство. Следственно...

Бобырев. Да ведь вы в кабинете?

Свистиков. Да я другое дело-с: я ихний чиновник-с.

Бобырев. И, как видно, очень практический человек. Однако я все-таки надеюсь, что его превосходительство во внимание к воспоминаниям товарищества...

Свистиков. Это так-с... А все-таки лучше было бы, кабы генерал все это сам, по своему, знаете, усмотрению... Вошел бы, знаете, в приемную: а, старый друг! прошу в кабинет! *(Бобырев смеется.)* Смешно-с?

Бобырев. Нет, ничего... пожалуйста, продолжайте!

Свистиков. Вы извольте взять во внимание, что они генерал-с, да и генерал-то молодой, так сказать, сугубый-с... пожалуй, старых-то за двух постоят!

СЦЕНА II

Те же и Набойкин (входит быстро и с шумом; одет в вицсюртук, под мышкой портфель).

Набойкин. Кого я вижу! Бобырев! Откуда ты, эфира житель?

Бобырев. Из Семиозерска; сегодня только приехал, ни у кого еще быть не успел.

Целуются.

Набойкин. Ну, а к генералу все-таки к первому — дельно! *(Свистикову.)* Клаверов не выходил?

Свистиков вместо ответа корчит гримасу и делает вид, что охорашивается.

Шут!

Бобырев. Ты у Клаверова служишь, Набойкин?

Набойкин. У Клаверова; он многих из наших приютил. Да, cher, этот человек пойдет далеко. *(Показывает на голову.)* Et avec ça infatigable! [1] Уж не думаешь ли и ты к нему?

Бобырев *(робко)*. Да... хотелось бы...

Набойкин. В Семиозерске-то, должно быть, наскучило? Да и правду надо сказать: служить в наше время в провинции — ужаснейший анахронизм. У тебя какой чин?

Бобырев. Коллежский советник.

Набойкин. Ну, кушанье не важное!

Свистиков. Совсем плохандрос-с!..

Набойкин. Шут! Однако позволь тебя познакомить, Бобырев: Свистиков, экзекутор, он же казначей, он же и смотритель дома, стало быть, с точки зрения ватерклозетов, человек совершенно неоцененный.

Свистиков испускает безобразное бульбульканье.

Это, брат, единственный осколок седой древности, который остался в нашем ведомстве; все прочее подобрано, могу сказать, человек к человеку. Ты приходи к нам в канцелярию — увидишь.

Свистиков. Да-с, это точно, что увидите!

Бобырев. А что?

Свистиков. Да что-с: кто на столе сидит, кто папироску в зубах держит-с, кто об Армансах беседует-с.

Набойкин. А кто к Свистикову пристает. Ну, да это в сторону: сам все увидишь. Поговорим лучше об тебе. Это

---

[1] И к тому же — неутомим!

дельно, что ты собрался к нам, только я должен откровенно тебя предупредить, что тут не обойдется, без труда. Vous savez, mon cher, entre camarades on se doit la vérité, rien que la vérité[1].

Бобырев. Ну, да разумеется, от кого же мне и узнать, на что я могу рассчитывать, как не от товарищей. Ты понимаешь сам, что в Семиозерске немного узнаешь.

Набойкин. Ну, так изволишь видеть, Клаверов, конечно, сделает для тебя все, что от него зависит, но иногда, mon cher, и при всем желании мы не в состоянии бываем идти против предопределений судеб... Опять-таки повторяю: я считаю нужным предупредить тебя, как товарищ... Ты пойми, cher, что Клаверову самому еще надобно укрепиться: конечно, место, которое он теперь занимает, недурно, но для него это все-таки не больше как станция, на которой он желает пробыть как можно менее времени. Следовательно, ему необходимы связи, а для того чтоб добыть связи, необходимо делать уступки — в этом вся теория жизни! Клаверов понял это лучше других — aussi, le prince, qui est tout puissant pour le moment, en raffole[2].

Бобырев. Ну, да может быть, как-нибудь при содействии добрых товарищей...

Набойкин. Все очень может быть, но главное, все-таки не зарываться мечтами! Это тоже своего рода теория жизни, и притом, право, недурная. Я знаю, ведь вы все, господа, едете сюда из губерний на каких-то крыльях...

Бобырев. А скверно будет, если опять придется возвращаться в Семиозерск...

Набойкин. А ты, чай, там и распрощался со всеми...

Свистиков. Это бывает-с. Когда я служил в Холопове, у нас председатель раз десять прощался, и десять раз здоровался, пока не прихлопнул паралич. Там и почиет-с!

Все смеются.

Набойкин. Однако я тебя не спросил еще, что тебя заставляет покинуть милый Семиозерск: просто ли надоело шататься по губерниям или есть другая причина?

Бобырев. Право, не знаю, как сказать тебе: и надоело, да и неприятности кой-какие по делам вышли.

Набойкин. А! неприятности! ceci—c'est grave![3]

---

[1] Знаешь, любезный, товарищи должны говорить друг другу правду, только правду.

[2] к тому же и князь, который в настоящее время всемогущ, в нем души не чает.

[3] это дело серьезное!

Бобырев. Да, там... несколько отдельных мнений по делам подал...

Набойкин. Так ты подаешь отдельные мнения?

Свистиков (*тоненьким голосом и простирая руку*). Так вы подаете отдельные мнения?

Набойкин. Перестаньте, Свистиков, вас не спрашивают. Pardon, mon cher [1], но я тебе должен сказать, что эти отдельные мнения — великая глупость, и если возможно, чтоб Клаверов не знал об этом, то ты как-нибудь устрой... В наше время, друг, необходима дисциплина, а не мнения...

Бобырев. А я, напротив, думал откровенно высказать Клаверову все.

Набойкин. Сохрани тебя бог! Ты не понимаешь людей, mon cher, или, лучше сказать, не понимаешь времени. Клаверов точно так же, как и я, очень хорошо поймет, что служить с этими секунд-майорами, которые сидят там в провинциальных мурьях, невыносимо, но он прежде всего дитя своего века. А мудрость века гласит, что ссориться с этими секунд-майорами ни в каком случае нельзя, потому что это дает плохую идею о человеке.

Бобырев хочет прервать.

Pardon, mon cher, дай мне высказать мою мысль... Это дает плохую идею о человеке, говорю я, потому что человек сильный обязан завладеть этими двуногими, обязан заставить их повиноваться себе; если он не успел в этом, стало быть, он сам виноват; стало быть, он недостаточно силен...

Бобырев. Позволь, однако ж...

Набойкин. Не прерывай, Бобырев, дай высказать мне свою мысль...

Свистиков. Да вы не прерывайте-с: они вам выскажут всю нашу текущую государственную суть-с...

Набойкин. Шут! Будем говорить серьезно, Бобырев. Спрашиваю я тебя, для чего ты был *туда* послан? Ты послан был для того, чтоб всеми этими секунд-майорами руководить, чтобы рассужденьям этих прапорщиков придать человеческую форму. Начальство не может обойтись без секунд-майоров и прапорщиков — c'est sa manière de faire la cour à...[2] ну, да ты сам знаешь кому! Но вместе с тем оно очень хорошо сознает, что эти прапорщики — не больше как протухлая яичница, и, pour relever le gout [3], посылает к ним тебя. Ясно ли, что оно ожидает от тебя не дрязг, а дела; ясно ли, что оно совершенно

---

[1] Прости, любезный.

[2] это его манера угождать...

[3] чтобы поправить дело.

вправе сказать тебе: обделывай там свои дела, как знаешь, но дай мне возможность позабыть обо всех этих калеках и чающих движения воды, дай мне возможность заняться высшими соображениями? Оно посылает тебя, и в то же время говорит себе: я покойно, потому что у меня там есть Бобырев, который видит моими глазами...

Свистиков. Нюхает моим носом...

Набойкин. Да перестаньте же, Свистиков, говорят вам.

Свистиков. Помилуйте, Павел Николаич, я в своей роли-с...

Набойкин (*с неудовольствием отворачивается от Свистикова*). Mais comprends donc, mon cher, quel beau rôle pour un jeune homme![1] А ты вместо того не только напоминаешь, что у нас существуют какие-то секунд-майоры, но даже входишь с ними в пререкания!

Бобырев. Все это хорошо в теории, Набойкин, а на практике, кроме секунд-майоров, существуют еще их жены, их свояченицы, их секретари, наконец...

Набойкин. В таком случае ты должен был приехать в Петербург и шепнуть кому следует, но заводить переписку... фуй!

Бобырев. Но ведь не я же первый, Набойкин! Мой предместник, тоже из *наших*, сплошь и рядом подавал мнения.

Набойкин. Времена другие, mon cher! Тогда действительно внимание начальства исключительно было устремлено на подробности администрации, и потому все эти казусы, сомнения и вопросы представляли даже замечательный интерес. Иван обидел Петра, но он обидел его не совсем так, как в законах определено,— это составляло юридический вопрос, который добрые люди смаковали с наслаждением, не понимая того, что начальству нет никакого дела ни до Ивана, ни до Петра. Теперь — совсем иное дело; теперь нам не до подробностей, которые должны сглаживаться и улаживаться сами собою; теперь у нас в виду система — и ничего больше.

Бобырев. Да ведь и насчет самой системы могут же существовать различные мнения?

Набойкин. Никаких. Вся система заключается в одном слове: дисциплина, и ничего больше.

Бобырев. Но ведь дисциплина только средство, Набойкин, средство, равно пригодное для всякой системы.

Набойкин. Это вообще, а в сфере бюрократии дисциплина есть сама по себе система. Это не объясняется, а чувст-

---

[1] Но пойми же, любезный, какая это прекрасная роль для молодого человека!

вуется. Прежде нежели войти к нам, ты должен заранее убедить себя в доброте системы, всякой вообще, какая бы ни была тебе предложена, и потом совершенно подчинить ей все свои действия и мысли. Ты исполнитель — и ничего больше; твои способности, твое уменье, конечно, драгоценны, но они драгоценны только в том смысле, что человек умный и способный всякую штуку сумеет обделать ловчее, нежели человек глупый и неумелый. Клаверов это понял, и потому он так высоко стоит, а будет стоять еще выше. Он никому не противоречит и ни с кем не спорит, потому что знает, что, в сущности, всякий из прикосновенных желает того же самого, чего и он желает; с другой стороны, никто за ним не подсматривает и не дает ему инструкций, потому что всякий тоже очень хорошо знает, что Клаверов желает именно того же самого, чего и он желает, но желает, если можно так выразиться, с бо̀льшим талантом и достигает цели с большею осмотрительностью. Вот, любезный друг, жизненное направление нашего времени.

Бобырев. Да ведь это и прежде бывало; и прежде встречались люди, которые беспрекословно исполняли, что им приказывали.

Набойкин. Прежде исполняли приказания машинально, потому только, что это были приказания, нынче исполняют их в силу своих собственных убеждений; прежде была на первом плане преданность лицам, нынче на первом плане преданность системе. Свистиков, например, усердно служит Клаверову, как Петру Сергеичу, но отнюдь не подозревает, что Петр Сергеич олицетворяет собой принцип.

Свистиков. Это точно-с... однако ж, позвольте-с! Ведь до Петра-то Сергеича были Степан Михайлыч, а я и им служил верою и правдою — как же это? Стало быть, и во мне принцип действовал, потому что я служил им не как Степану Михайлычу, а как своему начальнику! Значит, для меня и Степан Михайлыч, и Петр Сергеич — все одно, начальники... система-с!

Бобырев. А ведь коли хочешь, это действительно своего рода система, Набойкин!

Набойкин. Ну да, ну да! *(Ласково треплет Свистикова по плечу.)* Такие люди еще нам нужны! такие люди нас не выдадут! Diantre! nous pouvons aussi avoir nos petites faiblesses à nous! [1]

Свистиков. Насчет этого, конечно-с... не выдадим! Только бы из остаточков к празднику побольше!

Набойкин. Об этом подумаем, добрый старик! *(Бобы-*

[1] Черт побери! и у нас могут быть маленькие слабости!

реву.) Да ну рассказывай, рассказывай же, Бобырев, что ты там делал в этом милом Семиозерске.

Бобырев. Да что... ну, женился, например...

Набойкин. Ага! и женился! ну, что ж, это дельно, хотя, entre nous soit dit [1], немного мешает. А жена хорошенькая?

Бобырев. Не знаю, об этом не говорят.

Набойкин. Ну да, это значит, что хорошенькая. Что ж, и это недурно. В наше время, mon cher, хорошенькая женщина очень много может сделать...

Свистиков. Хорошенькая женщина может в другой раз жизнь человеку даровать, Павел Николаич!

СЦЕНА III

Те же и Клаверов (входит в щеголеватом утреннем костюме с сигарой в зубах).

Клаверов. Э, да вы, господа, тут об хорошеньких рассуждаете! И, верно, все этот злодей Свистиков! *(Увидев Бобырева.)* Ба! кого я вижу! откуда ты, эфира житель!

Бобырев *(видимо, не зная, как ему быть)*. Клаверов... ваше превосходительство...

Клаверов *(жмет ему руку)*. Да, брат: «превосходительство»! Ну да, впрочем, надеюсь, что ты, как старый товарищ, отбросишь все эти церемонии в сторону. *(Свистикову.)* У вас, Иван Михеич, все благополучно?

Свистиков. Все благополучно, ваше превосходительство.

Клаверов. Нового ничего нет?

Свистиков. Нового ничего нет, ваше превосходительство.

Клаверов. Ну и прекрасно.

Свистиков. Жэмсà, ваше превосходительство.

Клаверов снисходительно улыбается.

Клаверов. А *там* были?

Свистиков. Сейчас оттуда-с. Изволили принимать в изящнейшем неглиже-с.

Набойкин. А у вас, я думаю, уж и глаза разбежались?

Свистиков. Нет-с, Павел Николаич, не разбежались-с! Не потому, конечно, чтобы предмет того не был достоин,

---

[1] между нами будь сказано.

а потому, что завсегда понимаем, что здесь наше начальство, и следственно, не разбегаться нам нужно, а оберегать-с.

Клаверов. А про князя вы не спрашивали?

Свистиков. Как же-с; вчера после театра изволили заезжать к ним и очень были милостивы. Обещались утвердить постройку за Артамоновым.

Клаверов. Эта Клара просто сумасшедшая!

Набойкин. Не столько сумасшедшая, сколько плотоядная.

Свистиков. И еще обещались определить Нарукавникова на место Пичугина.

Клаверов (*смущенный*). Однако это странно... я скажу... я буду протестовать... и откуда берут они этих Нарукавниковых?

Свистиков. А какие они деловые, ваше превосходительство, даром что хорошенькие!

Набойкин. А что?

Свистиков. Да так-с; сидят это и чай кушают, а сами всё рассчитывают: Артамонов, говорят, пятьдесят тысяч подарил, да еще в долю взять обязался, тут, говорят, пятьдесят тысяч по крайней мере... а горлышко-то у них беленькое-пребеленькое, точно фарфоровое-с.

Набойкин смеется.

Клаверов. Однако это ужаснейшая мерзость!

Набойкин. Il parait que vous êtes en guerre ouverte avec la belle? [1]

Клаверов (*Свистикову*). Вы можете уйти, Иван Михеич.

Свистиков. Портфель прикажете оставить?

Клаверов. Да, оставьте.

Свистиков кладет на стол портфель и уходит.

СЦЕНА IV

Клаверов. Знаешь ли, Набойкин, что все это ужасно скверно.

Набойкин. Охота тебе думать об этом; и какое тебе дело до отношений князя к какой-нибудь Кларе!

Клаверов. Во-первых, ты ошибаешься: она не «какая-нибудь», а Клара Федоровна, знаменитая Клара Федоровна, об которой болтает весь Петербург; во-вторых, дела, которые она обделывает, идут через мои руки; в-третьих, наконец,

---

[1] Как видно, ты открыто воюешь с красавицей?

этот Нарукавников, которого мне суют,— это уж просто ни на что не похоже! *(Бобыреву.)* Вот, mon cher, наше положение!

Бобырев. Кто же эта Клара?

Набойкин. Покуда это то, что называется une puissance[1]. Говорю «покуда», то есть до тех пор, пока не сшибет ее Клаверов.

Клаверов *(Бобыреву)*. Voilà où nous en sommes reduits![2]

Набойкин. Однако сознайся, Клаверов, что она все-таки прелесть женщина.

Клаверов. Да, недурна. *(Кусает себе ногти.)*

Набойкин. И когда-то вы были страшные приятели!

Клаверов. Оттого-то теперь она и не может терпеть меня. Впрочем, qui vivra verra![3] *(Задумывается.)*

Набойкин. А я бы на твоем месте, право, соединял полезное с приятным. Какая тебе печаль от того, что за нею стоит целая стая Артамоновых, Хлудяшевых, Покрышкиных и тому подобных? Согласись, что ведь и им есть хочется, следовательно...

Клаверов. Да нет же, нельзя... Ты пойми, что я должен смотреть в будущее! Конечно, князь меня поддержит... но кто же может поручиться, что князь прочен! Нынешнее время, mes enfants[4], ужасно быстро съедает людей.

Набойкин *(декламирует)*. «Сегодня бог, а завтра где ты, человек?» Так, кажется, Бобырев?

Бобырев. Не совсем, но почти так.

Набойкин. Люблю старика Державина! А еще больше люблю старика Крылова... délicieux![5] Скажите, messieurs, отчего нынче нет таких поэтов? *(Декламирует.)* «Тень от чела, с посвиста пыль»... charmant![6]

Клаверов. Ну, Набойкин, можешь оставить нас в покое со своею литературой. Черт возьми, однако, эта Клара... и этот старикашка, который никак не хочет понять, что нынче совсем не такое время! Нет, да вы представьте себе мое положение: не дальше как вчера встречается со мной на Невском Шалимов и говорит: «Нам известно, что постройка остается за Артамоновым, и мы надеемся, что ты будешь протестовать!» «Нам»! «Мы»! — ведь вот до чего мы дожили!

Набойкин. Я просто не понимаю тебя, Клаверов!

---

[1] сила.
[2] Вот до чего нас довели!
[3] поживем — увидим!
[4] дети мои.
[5] восхитительно!
[6] прелестно!

Клаверов. И я года три тому назад не понял бы, а теперь, к несчастию, понимаю... Да, mes enfants [1], надо много ловкости, чтоб пробалансировать подобное время!

Набойкин. Это правда, что эти господа много нам вредят; но несомненно, однако ж, и то, что мы сами много виноваты в том, что придаем им слишком большое значение...

Клаверов. Там виноваты или нет, а, стало быть, не можем не придавать, коли придаем. Опять-таки повторяю тебе: нельзя! Представь себе, что ты купил имение, и потом оказалось, что продавец во всех частях обманул тебя: и лес показывал тебе чужой, и в купчую крепость вклеил такие условия, которые ставят тебя в постоянную зависимость от него... Мы все находимся в положении подобного покупщика, мы все идем на неизвестное.

Набойкин. Однако неужели же продавец-то Шалимов?

Клаверов. А кто же знает? Кто знает, кто покупает и кто продает, кто хозяин и кто работник? Несомненно одно, что продавец и хозяин — время. Все так перемешалось, что самый проницательный человек не сумеет разобрать, где настоящая сила. Мы сами, люди молодого поколения, люди, не отшатнувшиеся от стариков, служим лучшим доказательством тому, как трудно угадать, где сила. Года три тому назад кто мог бы сказать, что мы будем иметь вес, будем занимать видные места в администрации?

Набойкин. Но ведь это именно потому так и сделалось, что мы не отшатнулись.

Клаверов. Э, любезный! да разве мы не либеральничали, разве мы не именем отрицания ворвались в святилище старчества? И, главное, спрашиваю я тебя, разве не были мы искренни и в либерализме и в отрицании? Нет, мы и либеральничали, и отрицали, и были настолько же искренни и в том и в другом случае, насколько искренни и все эти Шалимовы. Вся штука в том, что Шалимовы пошли несколько дальше и что в пользу их уже не старцы, а мы должны будем расчистить ряды свои. *(Бобыреву.)* Ты не был у Шалимова?

Бобырев. Нет, не был. *(Решительно.)* Да и не буду.

Клаверов. Напрасно. С одной стороны, Клара Федоровна, с другой — Шалимов — вот наши puissances du jour! [2] Ты к нам надолго?

Бобырев *(робко)*. Да хотелось бы совсем.

Клаверов. Что, разве в Семиозерске не повезло?

Бобырев. Не то чтобы не повезло, а надоело немного.

---

[1] дети мои.
[2] властители минуты!

Клаверов. Ну, и ты...

Бобырев (*инстинктивно привстает*). Да, я желал бы... если только это возможно...

Набойкин. Да ты знаешь ли, Клаверов: ведь он женат!

Клаверов. А! женат! И, наверное, на хорошенькой! Уж не в Семиозерске ли нашел себе жену? Не знаю ли я ее; ведь я когда-то был там с сенаторскою ревизией!

Бобырев. Да, жена моя знает тебя.

Клаверов. А как она урожденная?

Бобырев. Мелипольская. Я женат на младшей.

Клаверов. Как же, как же. А ведь знаешь, Бобырев, жена твоя была в девушках удивительная красавица.

Бобырев. Она и теперь недурна.

Клаверов. Как я рад! Так ты хочешь перебраться в Петербург — что ж, это прекрасно!

Набойкин. Клаверов! он хотел обратиться к тебе!

Клаверов. Ну да; понимается. Что ж, я очень рад и, с своей стороны, что могу... Так ты женат на младшей Мелипольской! Как я буду рад возобновить знакомство! Кстати же, у нас, быть может, и место откроется...

Набойкин. Но ведь говорят об каком-то Нарукавникове...

Клаверов. Ну, это еще бабушка надвое сказала.

СЦЕНА V

Те же и князь Тараканов.

Князь Тараканов. Bonjour, Клаверов! Мсьё Набойкин!

Клаверов (*представляя Бобырева*). Мой товарищ Бобырев.

Князь Тараканов. Enchanté[1]. Меня прислал к вам дядя, Клаверов.

Клаверов. Что прикажете, князь?

Князь Тараканов. Во-первых, попрошу у вас сигару (*садится и закуривает*), а во-вторых, мой почтенный старец поручил передать вам, что сегодня он чувствует себя совершеннейшим осьмнадцатилетним юношей и потому приглашает вас принять участие в partie fine[2], которую устраивает сегодня за городом Клара.

---

[1] Очень приятно.

[2] пикнике.

Клавер о в. Я всегда к услугам князя. Странно, однако ж, что у меня сегодня был Свистиков прямо от Клары Федоровны и ничего не сказал. Быть может, это желание князя, а не Клары Федоровны?

Князь Тараканов. Во-первых, я вам должен сказать, что все это устроилось не далее как несколько минут тому назад, когда Свистиков был уже у вас. Я был у Клары вместе с старцем, который, по всему видно, чем-нибудь с утра себя подправил, потому что был неприлично сладок и отвратительно любезен. Следствием всего этого было несколько живых картин вроде тех, которых и вы бывали свидетелем, а следствием живых картин — предполагаемая partie fine.

Клаверов. Однако вы не совсем лестно отзываетесь об вашем дядюшке, князь!

Князь Тараканов. Напротив того, я думаю, что дядя был бы в восторге, если б знал, что я его признаю способным представлять живые картины. Pauvre vieux![1] у него только и осталось это самолюбие. Кстати; вы слышали, Клаверов, что вчера за обедом в клубе дядя язык показал Секирину?

Клаверов. Каким же образом?

Князь Тараканов. Как же, как же! Вот видите ли, за обедом зашел разговор об этой эмансипации, ну, и дядя, по обыкновению, начал проповедовать, что все это затеяли красные. По обыкновению также, ему начал слегка подвистовывать в этом же смысле князь Бирюкханов, ну и потекла тут у них беседа поучительности беспримерной *(произносит в нос)*: «Знаете ли вы, князь, что мы накануне революции: ведь мне мои мужики совсем оброка не платят!» — кричит через стол Бирюкханов. «Чего же другого и ожидать можно, когда мы каждый день вынуждены быть в одном обществе с зажигателями!» — отвечает дядя и злобно посматривает на Секирина. «А вы не слыхали, князь,— опять вопрошает Бирюкханов,— говорят, барон Клаус насчет этого записку представил?» А надобно вам сказать, Клаверов, что Клаус действительно подал какую-то записку, которою взывал к милосердию, и просил ни более ни менее как чтоб *ничего этого* не было: разумеется, записка потерпела полнейший фиаско. Секирин знал о существовании записки, да знал и об участи, которая постигла ее; ему захотелось помистифировать стариков. «Я слышал, что эта записка очень умная»,— обращается он к дяде. «Очень умная-с»,— отвечает дядя отрывисто. «И я слышал, что она произвела большое впечатление»,— продолжает Секирин. «Очень большое впечатление»,— огрызается дядя. «И я еще

[1] Бедный старик!

слышал, что все заключения ее приняты и что ничего этого не будет!» — пристает Секирин, а самого его так и сводит от внутреннего хохота. Только можете себе представить удивление присутствующих, когда дядя, вместо ответа, вдруг обращается всем корпусом к Секирину и показывает ему язык!

Все хохочут.

Клаверов. Что ж Секирин?

Князь Тараканов. Ну, Секирин, разумеется, поднял дядю на смех... Но дядя был счастлив целый вечер, поехал в театр и там всем и каждому объяснял, какой он совершил гражданский подвиг; наконец, из театра отправился к Кларе, и, ma foi [1], я не ручаюсь, что, по прошествии законного срока, у меня не будет какого-нибудь контрабандного двоюродного братца!

Клаверов. И всему причиной Секирин! Но вы мне покуда объяснили только первую причину устройства partie fine; вторая...

Князь Тараканов. Вторая... есть и вторая, но я вам передам ее после.

Набойкин и Бобырев, видя себя лишними, встают.

Клаверов. Куда же вы торопитесь, messieurs?

Набойкин. Нет, нам еще нужно кой-куда заехать.

Клаверов (*Бобыреву*). Так мы еще увидимся! Скажи, пожалуйста, где ты остановился?.. Я непременно... сочту своим долгом. Однако я еще не спросил тебя, Софья Александровна с тобой?

Бобырев. Да, она в Петербурге. Мы остановились покуда у Демута.

Клаверов. Ну, так прошу тебя передать ей мой поклон. Sans adieux, messieurs! [2]

Набойкин и Бобырев уходят.

СЦЕНА VI

Те же, кроме Набойкина и Бобырева.

Клаверов. Ну-с, князь, вторая причина...

Князь Тараканов. А вы не обидитесь, Клаверов, если я на этот раз позволю себе быть вашим советчиком?

---

[1] клянусь.

[2] Я не прощаюсь, господа!

Клаверов. Сделайте одолжение, князь.

Князь Тараканов. Послушайте, зачем вы ссоритесь с Кларой?

Клаверов. Помилуйте, князь, когда же я ссорился?

Князь Тараканов. Ах, боже мой, да неужели же вы думаете, что никто этого не замечает? Даже старик дядя и тот начинает догадываться,— а это его трогает. Скажу вам откровенно, об этом была речь не далее как сегодня, и дядя был даже очень красноречив. Он только и дело, что повторял: стало быть, он не хочет служить со мной! стало быть, он не хочет служить со мной! Между нами, я просто советовал бы вам оставить эту бесполезную оппозицию и продолжать действовать, как действовали прежде. Ведь вы были с нею даже более нежели в приятных отношениях — ну, и хорошо делали! Поверьте, что дядя в тысячу раз снисходительнее взглянет на это маленькое похищение его собственности, нежели на неуважение к его слабости.

Клаверов. Но когда же, какую оппозицию я делал?

Князь Тараканов. А в деле Артамонова — разве не всякий знает, что единственное препятствие к утверждению постройки за этим барином шло от вас? Разве дядя может знать, что Клара получила пятьдесят тысяч, чтобы обделать это дело, и что, кроме того, она в половине у Артамонова...

Клаверов. Будто князь и не знает?

Князь Тараканов. Положительно уверяю вас, нет. Ему просто представили, что один Артамонов может выдержать исправно такое громадное дело, что тут нужен изящный вкус, что торги в таком предприятии вовсе неуместны и так далее и так далее. Конечно, это не рекомендует умственных способностей почтенного старца, но он действует в этом случае de bonne foi[1] — это верно. Но предположим худшее, предположим, что ему известна закулисная сторона этого дела, я все-таки не понимаю, какая охота вам отнимать у этой бедной Клары ее крохи...

Клаверов. Но ведь это безнравственно, князь!

Князь Тараканов. Э, mon cher! Скажите мне прежде, что нравственно? Коли разобрать хорошенько эту скучную материю, то, право, окажется... Сознайтесь, любезный друг, что в настоящее время все мы, сколько нас ни есть... немножко... не то чтобы... подлецы (упаси боже!)... а так... благоразумные люди! Ведь вы философ, Клаверов?

Клаверов. Но, наконец, об этом целый город болтает, князь!

---

[1] искренне.

Князь Тараканов. Ну, и пусть себе болтает! Неужели вы еще достаточно наивны, чтоб думать, что мы не достаточно сильны? Ну, и пусть себе болтает! Mon cher! чтобы справиться с этими болтающими людьми... il ne faut avoir que de l'impudence![1] Нужно только однажды навсегда решиться проходить мимо них, не краснея: поверьте, что все уладится! Это болтающее человечество само ждет подачки; оно в театре глазеет на Клару и указывает на нее пальцами, а внутренно волнуется нечистыми помыслами, а внутренно мечтает: ах, кабы и мне попасть в это изящное брение, покрытое батистами, кружевами и блондами! Вот почему я счел возможным сказать, что в настоящее время все, сколько нас ни есть, все мы... *благоразумные* люди!

Клаверов. Признаюсь вам, князь, я все еще не могу привыкнуть к мысли... я просто боюсь...

Князь Тараканов. Я понимаю это, но поверьте, что вы тревожитесь совершенно напрасно. Во-первых, то, чего вы боитесь, слишком отдаленно: может быть, оно будет, а может быть, и нет, тогда как перед вами есть настоящее, грозящее вам немедленно и непосредственно, если вы не склонитесь перед ним. Во-вторых, вы подозреваете силу там, где, в сущности, существует одна болтовня. Повторяю: нужно только как можно реже краснеть и по временам кидать в толпу двугривенные, чтоб толпа стояла смирно и даже, в избытке восторга, принимала эти двугривенные за червонцы. С этой точки зрения, я вовсе не оправдываю поступка дяди, который показал язык Секирину. Очень может быть, что это поступок гражданина (нет, да вы представьте себе дядю en citoyen![2]), но во всяком случае не поступок политического деятеля.

Клаверов. Стало быть, от меня просто требуют, чтоб я не возражал, чтоб я исполнял, как машина...

Князь Тараканов. Ну да... То есть от вас этого не требуют, а желают. Будемте говорить прямо, любезный друг: ведь вы не ответственное лицо, ведь закон ни в каком случае не может обвинить вас?.. из-за чего же вы горячитесь?

Клаверов. Но вы забываете, князь, что у меня есть совесть, что есть, наконец, общественное мнение...

Князь Тараканов. A bas! Vous revenez toujours à vos moutons![3] Я, впрочем, уже высказал мое мнение об этих высоких предметах и повторяться не стану. Я вам, как друг, говорю, Клаверов: подумайте! подайте Кларе руку примирения!

---

[1] нужно только обладать бесстыдством!
[2] в качестве гражданина.
[3] Довольно! Вы всё повторяете сказку про белого бычка!

Клаверов. А что же вы скажете об Нарукавникове? Ведь, стало быть, меня не хотят в грош ставить, коль скоро суют, не спросясь меня, почти прямо в мой кабинет черт знает кого!

Князь Тараканов. Во-первых, Нарукавников не черт знает кто, а сын откупщика, во-вторых, отец его заплатил деньги и большой приятель Клары, а в-третьих, наконец, я просто не понимаю вас, Клаверов!

Клаверов. Помилуйте, да что ж тут не понимать!

Князь Тараканов. Да разве вам не все равно, кто у вас там копошится в канцелярии? Разве вы не индифферентны к тому, кто строчит все эти отношения, доклады и донесения? Ведь серьезной работы у вас нет? Ведь вы сами очень хорошо знаете, что все ваши занятия тление и дрянь? Ведь если бы у вас даже была серьезная работа, разве вы поручите ее кому-нибудь, помимо самого себя?

Клаверов. Все-таки простая учтивость требовала...

Князь Тараканов. Ну, в этом отношении, точно... Клара виновата! Она, бедняжка, позабыла, qu'il y avait un petit Klavéroff qu'il faudrait cajoler [1].

Клаверов. Вы не совсем так выражаетесь, князь...

Князь Тараканов. Pardon, cher, я думал, что в наших приятельских отношениях... Mais nous sommes des amis, c'est convenu! [2] Впрочем, если вы хотите, я беру назад свое выражение.

Клаверов *(смущенный)*. Не об этом речь... конечно, если князю угодно, я обязан исполнить его приказание.

Князь Тараканов. Да не смешивайте же, Клаверов, бога ради! Поймите, что тут дядя в стороне и что к вам обращается Клара, которая сгорает нетерпением скрепить взаимный союз! Подумайте, cher, об том, что я говорил с вами, и приезжайте сегодня! *(Встает, чтобы уйти.)*

Клаверов. Скажите, по крайней мере, кто там еще будет?

Князь Тараканов. Ну, будут разные повесы, вроде дяди... будет Florence, будет Malvina, будет Надежда Петровна... вот я вам скажу, Клаверов, алмаз-то *(целует концы пальцев)*, даром что из россиянок! Грудь, плечи — волна молочная! и притом расчетлива... эта пойдет далеко! Молодых людей будет всего трое: вы, я да Нарукавников. Стало быть, до свиданья!

Клаверов. До свиданья. *(Провожает его.)*

---

[1] что есть на свете маленький Клаверов и что с ним надо быть ласковой.
[2] Ведь мы друзья — решено!

Клаверов *(один)*. Что теперь делать? Не ехать на приглашение — об этом, конечно, не может быть речи, да и отчего не ехать! Но дело в том, что это не просто поездка, а поездка, которая обещает важные последствия... Странно, как иногда судьба вертит человеком! Кто бы мог поверить, что еще так недавно я и Клара... а все-таки надо сказать правду: она много помогла мне! Я был счастлив! именно счастлив, несмотря на то что Клара и в то время служила мне больше средством... Хорошенькое средство — что ж, это, во всяком случае, лучше, нежели какая-нибудь золотушная воспитанница или сорокалетняя девица-племянница, вроде тех, к каким так часто прибегает наш брат мелкая сошка, чтоб беспечально прожить на свете! И если рассуждать справедливо, ведь я виноват перед Кларой, я слишком увлекся! Я увлекся идеею просвещенной и добродетельной бюрократии — по-видимому, ведь это — magnifique[1], а между тем на практике оказывается, как говорит этот гнусненький князь, что мы все... немножко подлецы! Но это все бы еще ничего: ну, пользовался, ну, бросил, что из того! вопрос в том, вовремя ли бросил? не слишком ли много понадеялся на свои силы, переставая держаться спасительного берега? Оказывается, что не вовремя, оказывается, что я должен был выждать... а как выждать? Не сама ли Клара первая вызвала меня на борьбу: зачем она обращалась не ко мне, а прямо к этому старому дурню? Во-первых, я сделал бы то же самое, но приличнее и умнее; во-вторых, не страдало бы мое самолюбие. Но, с другой стороны, и князек прав: какое мне дело до всего этого — ведь я не ответственное лицо! Нет, он не прав, как тут ни вертись, а неловко; Шалимовы поднимают нос недаром. Такие люди, как я, должны смотреть в будущее, а как посмотришь туда, иногда голова закружится! Да, тяжкое переживаем мы время; страсть к верхушкам осталась прежняя, а средства достичь этих верхушек представляются сомнительные. Прежде, бывало, одного чего-нибудь держишься: если князь в силе, ну и хватаешься за него; нынче старое не вымерло, новое не народилось, а между тем и то и другое дышит. Умрет ли старое, народится ли новое, где будет сила? Интрига, интрига и интрига — вот властелин нашего времени! Улыбаешься налево какому-нибудь олимпийцу, который так, кажется, и застыл в своей олимпийской непромокаемости, а направо жмешь руку сорванцу мальчишке, который так и смотрит, как бы прогло-

---

[1] великолепно.

тить тебя! *(Задумывается и ходит несколько минут в волненье по комнате.)* Нет, да каково же существовать, каждую минуту ожидая, что вот-вот нахлынет какая-то чертова волна, которая поглотит тебя! А покончить со всеми этими Кларами, Таракановыми и прочею зараженною ветошью... нет, мы слишком подлецы для этого! Князек сказал правду: та опасность отдаленная, а здесь грозит что-то близкое, почти страшное. Кто ж виноват, что в нас так живо чувство самосохранения? Не написать ли мне, однако ж, письмо к Кларе! уж если мириться, так мириться вполне! *(Садится к письменному столу, пишет, потом читает.)* «Мне передал маленький князь ваше милое приглашение, дорогая Клара, и я, конечно, расцеловал бы вашего Меркурия, если б он не был слишком похож на гнусного старца, над которым вы так мило посмеивались в те счастливые времена (помните ли вы их, ветреная, но милая Manon?), когда я удостоивался целовать ваши крошечные голенькие ножки...» *(Прерывая чтение, в сторону.)* Все лучше, как припомнишь старое: не покажет письма! *(Продолжает.)* «...и если бы я самого себя считал Юпитером. Мне тем приятнее было видеть, что милая Manon не забывает своего chevalier des Grieux, что с некоторого времени я как будто бы нахожусь под опалой; надеюсь, однако ж, что достаточно будет самого короткого объяснения...» Ну, и так далее. *(Кладет письмо в конверт и звонит.)*

Входит лакей.

Сергей! возьми это письмо и снеси к Кларе Федоровне; только отдай умненько: понимаешь?

Лакей. Будьте покойны.

Клаверов. А теперь дай мне вицмундир.

Слышен звонок в передней.

Кого еще там черт принес?

Лакей уходит.

СЦЕНА VIII

Те же и потом Нарукавников.

Лакей. Господин Нарукавников.

Клаверов. А! проси.

Нарукавников входит, одет в щегольском сюртуке.

Нарукавников. Я имею честь говорить с господином Клаверовым?

Клаверов. Да-с, с *господином* Клаверовым.

Нарукавников *(подавая письмо)*. В таком случае позвольте вручить вам записку от князя Сергия Кирилыча Тараканова.

Клаверов *(прочитав записку, несколько времени стоит в нерешительности, потом бросает письмо на стол; хладнокровно)*. Я должен сказать вам, *господин* Нарукавников, что у меня в настоящее время не имеется для вас вакансии.

Нарукавников. Однако ж князь удостоверил меня, что вакансия есть, и, следовательно, я обязан ему верить.

Клаверов. Я по совести должен вам сказать, что вам удобнее будет верить мне!

Нарукавников. Во всяком случае, я свое дело сделал, то есть вручил вам записку князя, и засим вам ближе известно, как поступить дальше. По совести, однако ж, я должен вам сказать, что буду иметь честь служить под вашим начальством.

Клаверов. Это очень любопытно!

Нарукавников. Напротив того, это очень просто, потому что я уж заплатил деньги за место.

Клаверов. Вы, конечно, господин Нарукавников, знаете, что это с вашей стороны большой риск говорить мне подобные вещи!

Нарукавников. Поверьте мне, господин Клаверов, что это вовсе не риск, а простое желание сократить время, необходимое для объяснений. Повторяю: место будет за мной, потому что я заплатил деньги, а мы, потомки откупщиков, не имеем привычки бросать деньги даром.

Клаверов. Если вы так уверены, то мне ничего не остается делать больше, как раскланяться с вами.

Нарукавников. Князь, вероятно, сегодня же лично повторит вам покорнейшую просьбу о моем определении. *(Уходит.)*

СЦЕНА IX

Клаверов один (несколько минут ходит по комнате в чрезвычайном волнении).

Клаверов. Приятно получать такие щелчки по носу? а? приятно? И от кого? от женщины вольного обращения! Да, от нее, от нее, я не могу скрыть от себя, что от нее! Если б не она, я бы смешал с землей это откупщичье отродье, а те-

перь... Что же я буду делать теперь? куда я пойду? Если я серьезно вздумаю протестовать, что со мной будет? Ведь я дрянь, я сам выскочил в люди по милости женщин вольного обращения! Ведь это ни для кого не тайна! Ведь если *теперь* не суют мне этим в лицо, то именно потому, что я выскочил, а не застрял где-нибудь в трущобе! Куда же я денусь? Оставаться на высоте, но ведь не могу же я скрыть от себя, что я лакей, что я держусь именно потому, что я лакей! Раскаяться, съехать в трущобу — но ведь там уж давно простирают ко мне объятия милые друзья детства, которые с утра до вечера будут гнусить мне в уши: лакей, лакей и лакей! Нет, как ни трудно попасть в колею, а выскочить из нее еще труднее! И ведь какая змея! Другой хоть для вида, хоть из учтивости смягчил бы свои выражения, а этот... И главное, то обидно, что ведь достигнет, непременно достигнет, и что ни я и никто в мире не в силах этому помешать. Что ж, он прав! не все ли мы поступаем и поступали точь-в-точь таким же образом. В одном случае искательны, в другом благородны, в третьем нахальны — в сумме-то что, в сумме-то что? Ну, и он... воображаю я, каким он пролазом увивался около этой статс-вавилонянки, и, с другой стороны, какие жалкие убеждения развивал перед тупоумным старикашкой, и с какою благородною непоколебимостью их защищал! «Горячая голова, но честная душа!» — шамкал, я думаю, выживший из ума старик, любуясь своим protégé![1] Да, черта с два, честная душа! Он просто двойник наш, он просто такая же тень человеческая, как и все эти Набойкины, Бобыревы... Бобырев! то-то, воображаю, облизывался давеча, взирая на меня! «Вот-то,— чай, говорит себе,— счастливчик этот Клаверов!» *(Ударяет себя по лбу, как бы озаренный внезапною мыслью.)* Ба! Бобырев... Сонечка Мелипольская... какая мысль!

Занавес опускается.

ДЕЙСТВИЕ II

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Бобырев.

Софья Александровна, жена его 22-х лет, очень красивая женщина; сильно избалована провинцией.

Ольга Дмитриевна Мелипольская, 43-х лет, провинциальная grande dame[2], когда-то слыла красавицей, и потому сохранила об молодости самые приятные воспоминания. Мать весьма снисходительная.

---

[1] подопечным.

[2] светская дама.

Клаверов.
Набойкин.
Савва Семеныч Обтяжнов; 55 лет; откупщик, бывший друг дома Мелипольских, мужчина крепкого телосложения и совершенно беззастенчивый; говорит громко и хохочет во все горло.

Мсьё Апрянин Мсьё Камаржинцев	молодые люди, отлично одетые, отлично завитые; из тех, которые любят являться в семейные дома, чтоб там посидеть, поиграть цепочкой, помолчать и потом раскланяться.

Театр представляет гостиную в квартире Бобыревых; мебель и убранство средней руки и напоминает трактир. При открытии занавеса Софья Александровна и Ольга Дмитриевна сидят на диване в глубине сцены; подле Софьи Александровны Обтяжнов, подле Ольги Дмитриевны Набойкин, Апрянин и Камаржинцев расположились симметрически напротив дивана. Три часа дня.

Между первым и вторым действиями прошел месяц.

СЦЕНА I

Ольга Дмитриевна, Софья Александровна, Обтяжнов, Набойкин, Апрянин и Камаржинцев

Обтяжнов. Уж вы мне поверьте, Софья Александровна, этой молодятине против пожилого и солидного мужчины далеко не выстоять! Потому что, хотя молодежь нынешняя и сечет, и рубит, и в полон берет, а в итоге все-таки выходит очень мало и ничего, между тем как человек солидный...

Софья Александровна. Как, например, вы?

Обтяжнов. А хоть бы и я. Вот я бы, например, вас, нашу кралечку, в кружевца да в блондочки закутал, да и сидел бы тут на скамеечке у ваших ножек... ей-богу, так. *(Хохочет.)* Обстановка-то вышла бы другая!

Набойкин. Вы это недурно придумали, Савва Семеныч!

Апрянин. Геркулес у ног Омфалы; у Фельтена в окне прелестнейший эстамп на этот сюжет выставлен!

Софья Александровна. А вы бы хотели быть моим Геркулесом, мсьё Апрянин?

Апрянин конфузится и что-то мычит в ответ.

Камаржинцев. Геркулес совершил семь подвигов, Софья Александровна!..

Апрянин. Двенадцать, Камаржинцев!

Камаржинцев. Ах да, двенадцать! Семь — это семь чудес света!

Ольга Дмитриевна. А вы, messieurs, не можете совершить даже одного подвига: не можете достать ложу в «Дочь фараона»!

Набойкин *(в сторону)*. На свои деньги — такой подвиг для них довольно труден!

Ольга Дмитриевна. В самом деле, messieurs, нынешняя молодежь ужасно как-то бессердечна стала. В мое время не нужно было напоминать, ни даже просить; в мое время достаточно было хорошенькой женщине дать маленький намек, и les messieurs[1] готовы были в огонь и в воду, чтоб сделать приятное. Не правда ли, Савва Семеныч? Вы помните, так бывало в наше время?

Набойкин. Ну, я полагаю, что Савва Семеныч охотнее обойдется без огня и воды!

Обтяжнов. Гм... пожалуй, что и так! Признаюсь, Ольга Дмитриевна, я больше по части букетов, уборов и комнатных украшений! От этого не сгоришь и не захлебнешься. *(Хохочет.)* Серьезно, Софья Александровна, вам угодно иметь сегодня ложу?

Софья Александровна. Да, достаньте.

Обтяжнов. Будет-с. *(К Апрянину и Камаржинцеву.)* По крайней мере, вы увидите, молодое поколение, как следует служить дамам! *(Софье Александровне.)* Позволите вместе с ложей прислать букет, belle dame?[2]

Софья Александровна *(улыбаясь)*. Позволяю и это.

Обтяжнов. Ну вот и прекрасно. И ручку, стало быть, позволите поцеловать?

Софья Александровна. «Стало быть»! Фуй, мсьё Обтяжнов! Уж вы сейчас и платы требуете!

Обтяжнов. Ведь я вас этакую еще знавал, Софья Александровна! *(Отмеривает рукой на аршин от полу.)* Ну-с, впрочем, это когда-нибудь после. Я, Софья Александровна, никогда не отчаиваюсь. Одна очень миленькая барыня даже мужу на меня пожаловалась,— я и тут не пришел в отчаянье! *(Хохочет.)*

Софья Александровна. Вы можете быть уверены, что я не пожалуюсь.

Обтяжнов. И представьте себе, какой странный случай! Муж даже совсем не обиделся!

Камаржинцев. У Поля Феваля в последнем романе есть на этот счет прелестная страница!

Обтяжнов. На мой счет?

Апрянин. Нет-с, вообще, насчет мужей.

Набойкин. Вы не забывайте, однако, Савва Семеныч, что доверчивость мужей в этом случае очень плохой знак!

---

[1] мужчины.
[2] красавица.

Обтяжнов. Ну да, разумеется, куда же нам с нашей простотой! Я ведь уж объявил почтенному обществу, что мы, старики, больше по части букетов, лож и комнатных украшений. Солидное, господа, солидное — вот наш девиз. А впрочем, Софья Александровна, ручку-то — уж позвольте...

Софья Александровна. Прежде заслужите.

Обтяжнов. Служить я готов. Как это вы сказали, господа: семь или двенадцать подвигов следует совершить?

Набойкин. Насчет этого мнения разделены: изыскания, которым следует мсьё Камаржинцев, утверждают, что семь; другие, к школе которых принадлежит мсьё Апрянин, доказывают, что двенадцать.

Обтяжнов. Чтоб прекратить спор, я готов совершить и семь и двенадцать. Вы довольны, belle dame?

Набойкин *(вполголоса Ольге Дмитриевне)*. Заметьте, однако ж, Ольга Дмитриевна, какие у Обтяжнова с некоторых пор утонченные манеры: belle dame так и не сходит с языка!

Ольга Дмитриевна. Êtes-vous méchant[1], monsieur Набойкин! *(Обтяжнову.)* А вы, Савва Семеныч, всё около молоденьких увиваетесь! вам бы, по старой памяти, подле меня сидеть следовало, а ваше место уступить мсьё Набойкину!

Обтяжнов. Ну уж нет, Ольга Дмитриевна! Хоть я и очень вас уважаю, а Софью Александровну не покину... все-таки потому, что я их вот этаконькую еще знавал! А расцвели-таки вы, Софья Александровна! И ребеночком-то вы уж обещали, а теперь... просто для нашего брата, солидного человека, погибель!

Софья Александровна. Смотрите, берегите ваше сердце!

Обтяжнов. Где уж сберечь! И как подумаешь, что ваш Николай Дмитрич так-таки с утра и оставляет вас в одиночестве!

Ольга Дмитриевна. Да, представьте себе! даже вечером очень часто!

Софья Александровна. Что ж тут удивительного, maman? Nicolas служит, не может же он все сидеть подле меня!

Обтяжнов. Ну, нет-с, Софья Александровна, я бы так не поступал-с! Откровенно вам скажу, если б я был вашим мужем, я бы ни на минуту! Помилуйте, с утра до вечера убиваться над какою-нибудь сушью, над какою-то, с позволения сказать, бумажною мертвечиной, когда в глазах находится такая прелестная живая поэма!

---

[1] Какой вы злой.

Софья Александровна. Вы увлекаетесь, мсьё Обтяжнов!

Ольга Дмитриевна. А я так нахожу, что Савва Семеныч совершенно прав. Мы, русские женщины, живем какою-то странною жизнью, les messieurs нами пренебрегают, охотнее остаются между собой, особливо с тех пор, как эта скучная политика и разные гадкие вопросы завладели всеми. Иногда по вечерам у Николая Дмитрича бывает очень много messieurs, но все они так и смотрят, как бы поскорей исчезнуть в кабинет, чтоб накуриться и наболтаться разной гадости. А нам даже словечка не промолвят.

Софья Александровна. Maman, можно подумать, что вы жалуетесь!

Ольга Дмитриевна. Еще бы! Я, право, не понимаю этого существования. Il n'y a plus de galanterie[1] — ну, положим, что это так следует, но ведь надо же заменить ее чем-нибудь! Не сидеть же нам, бедным, сложа руки по углам; ведь не забудьте, что женщина недаром считается царицею общества.

Апрянин. Царицею бала, Ольга Дмитриевна!

Набойкин. А по-вашему, бал выше общества?

Апрянин видимо остается недоволен этим замечанием.

В том, что вы сейчас высказали, Ольга Дмитриевна, есть много правды, но что же делать? таково направление века! Если мужчины философствуют, надобно, чтоб и женщины философствовали вместе с ними!

Ольга Дмитриевна *(вздыхая)*. La philosophie à deux, mais c'est charmant![2]

Обтяжнов. Вот видите, Ольга Дмитриевна, стало быть, нет худа без добра! Поверьте, что всякое занятие хорошо, когда оно производится à deux. Вот я целый месяц убиваюсь, доказываю это Софье Александровне! *(Хохочет.)*

Ольга Дмитриевна. Нет, messieurs, вы не понимаете этого! У вас все это как-то материально! Даже Савва Семеныч — и тот изменил à la bonne vieille galanterie[3].

Обтяжнов. Помилуйте, belle dame! Я совершенно таков, как кому угодно! Если даме нравится galanterie — я не прочь и от этого! Ручку там поцеловать или ножкой полюбоваться — ведь это еще не бог знает какая провинность! Софья Александровна! царица! да скажите же хоть словечко в защиту вашего верноподданного!

---

[1] Нет больше галантности.

[2] Философия вдвоем — это восхитительно!

[3] доброй старой галантности.

В передней раздается звонок; Апрянин и Камаржинцев встают и раскланиваются

Апрянин и Камаржинцев (*вместе*). Позвольте надеяться, Софья Александровна, что вы и на будущее время не откажете нам в вашей благосклонности! Ольга Дмитриевна!

Ольга Дмитриевна. Mais constamment, messieurs, venez nous voir souvent [1].

Софья Александровна. Au revoir, messieurs! [2]

Апрянин и Камаржинцев уходят.

Обтяжнов (*вполголоса Софье Александровне*). Ходите почаще, без вас веселее! Вот народец-то! Надобно думать, что их в младенчестве не волчица, а ослица молоком выпоила!

Набойкин. Ну, нет, не говорите этого; в своей сфере и они преопасный народ! вот, например, зайти к Доминику, наесть на целковый, заплатить только за два пирожка — это они устраивают весьма ловко.

Ольга Дмитриевна. Фи, мсьё Набойкин!

СЦЕНА II

Те же, кроме Камаржинцева и Апрянина. Клаверов.

Обтяжнов (*уступая Клаверову свое место подле Софьи Александровны*). Вашему превосходительству честь и место.

Клаверов (*подавая руку дамам*). Bonjour, mesdames. А я нарочно к вам поспешил, чтоб сообщить приятную новость. Николай Дмитрич определен.

Набойкин. Браво!

Ольга Дмитриевна. Ну вот видишь, Sophie, как все это мило устроилось! Петр Сергеич! мы должны быть вдвойне благодарны вам: и за себя и за Nicolas: он так исстрадался, бедный, в последнее время! Вы поступили как истинный рыцарь!

Обтяжнов. Стало быть, теперь Николай Дмитрич еще больше будет сидеть в канцелярии! Это успех.

Клаверов. Il a fait ses preeues [3], и притом самым блистательным образом. Князь сам читал его работу и остался

[1] Ну, разумеется, приходите к нам почаще.
[2] До свиданья, господа!
[3] Он оправдал ожидания.

от нее в восторге. Только и говорил целое утро сегодня: это удивительно, mon cher, я решительно все понял! А это, я вам доложу, похвала не малая: я целых два года мучился, чтоб достигнуть такого результата!

Софья Александровна. Мы этим вам обязаны, Петр Сергеич! *(Подает ему руку, которую Клаверов целует.)* Вот, Савва Семеныч, сумейте заслужить таким же образом!

Клаверов. А что̀, верно, Савва Семеныч любезен, как и всегда?

Набойкин. Мало того что любезен: увлекается, возвышается до поэзии!

Обтяжнов. Любезен-то я любезен, да любезности-то мои... Нет, уж стара стала, слаба стала, Петр Сергеич: пора, видно, и на покой! Не то что вы, молодые люди: пришел, увидел и победил!

Софья Александровна томно улыбается Клаверову.
Обтяжнов грозит ей.

Нечего, нечего улыбаться-то, сударыня! Вспомните когда-нибудь и нас, солидных людей!

Набойкин. А как же Нарукавников?

Клаверов. Ему приказано подождать следующей вакансии... ну, он и подождет ее! А признаюсь, я таки сильно опасался за успех *(смотрит, улыбаясь, на Софью Александровну)*, но вчерашний вечер доставил мне решительную победу!

Софья Александровна. Messieurs, что ж вы не курите? Петр Сергеич! *(Звонит.)*

Входит лакей.

Огня!

Клаверов. Ах да! чуть не забыл! Вы мне позволите, Софья Александровна, просить вас принять от меня ложу на сегодняшний спектакль: дают «Дочь фараона», которую Ольга Дмитриевна так желала видеть. *(Вынимает билет.)*

Обтяжнов. Да помилуйте, Петр Сергеич, я только что вызвался...

Ольга Дмитриевна. Не вызвались, Савва Семеныч, а вас попросили!

Обтяжнов. Да нет, Петр Сергеич, уж это значит, вы просто вторгаетесь в чужую сферу!..

Клаверов. Савва Семеныч, возьмите себе за правило: никогда не следует дожидаться, чтоб вас просили дамы. Надо самому предупреждать их желания.

Набойкин. Это вам поучение на будущее время, Савва Семеныч! Впрочем, вам еще остается утешение — букет!

Обтяжнов. Пожалуй, Петр Сергеич и это утешенье отнимет. *(Софье Александровне.)* Впрочем, я все-таки не отчаиваюсь, belle dame!

Ольга Дмитриевна. Вот я приглашала вас, Савва Семеныч, быть моим cavalier servant[1] — вы не хотели! А я была бы снисходительнее.

Обтяжнов. Помилуйте, Ольга Дмитриевна, как я смею не хотеть! Я желал только сказать, что мне хорошо и подле Софьи Александровны. *(Набойкину.)* Однако, знаете ли, Павел Николаич, уж если заказывать букет, так заказывать, поедемте-ка вместе. *(Встает, за ним Набойкин.)*

Софья Александровна. Messieurs, я надеюсь, что вы обедаете у нас: сегодня мы будем праздновать победу!

Набойкин. Если вы прикажете!

Обтяжнов. А я, Софья Александровна, не буду: Петр Сергеич у меня весь аппетит уничтожил. Не будь этого обстоятельства, я готов бы был обедать с вами не только сегодня, но и вечно... ей-богу!

Клаверов. Вот и видно, что вы уж в преклонных летах: только и думаете об том, чтобы вечно обедать. А впрочем, не грустите, добрый старик: я сегодня не обедаю у Софьи Александровны, следовательно, вы можете располагать своим аппетитом, как вам угодно.

Софья Александровна. Отчего же вы не хотите обедать с нами?

Клаверов. Нельзя, Софья Александровна, князь звал меня; а вы знаете, когда меня призывает долг...

Софья Александровна. Это очень мило!

Обтяжнов. Не грустите, Софья Александровна! Я буду. И какой же сюрприз я вам приготовлю! *(Уходит вместе с Набойкиным.)*

Софья Александровна. Maman, вы бы распорядились насчет обеда!

Ольга Дмитриевна. И то правда! Nous autres, vieilles femmes[2], мы только и годны на то, чтоб хозяйничать! *(Вздыхает.)* А было время, когда и за меня хозяйничали!

Клаверов. Помилуйте, Ольга Дмитриевна, за вас и теперь можно похозяйничать!

Ольга Дмитриевна. Нет, это уж комплимент. Я сама очень хорошо знаю, что мое время прошло. Je vous laisse, mes enfants[3]. *(Уходит.)*

---

[1] рыцарем.
[2] Мы, старухи.
[3] Я оставляю вас, дети мои.

СЦЕНА III

Те же, кроме Ольги Дмитриевны, Набойкина и Обтяжнова.

Клаверов. Cher ange![1] вы произвели целую революцию! Старик просто трепещет, говоря об вас! Само собой разумеется, что он не читал никакой работы Бобырева.

Софья Александровна. И вы довольны этим?

Клаверов. Разумеется, доволен за вашего мужа. Разумеется также, что соперничество такого почтенного старца, как князь, не может тревожить меня. Я не должен скрывать от вас, милая Sophie, что надо еще перейти через много трудностей, чтоб обеспечить успех вашего мужа, а следовательно, и ваш собственный. Тут целая cabale;[2] люди с большим влиянием, а главное женщина,— все это держит сторону Нарукавникова и может каждую минуту изменить решение князя. Знаете ли вы, что даже канцелярия, даже товарищи начинают незаметно склоняться на сторону Нарукавникова?

Софья Александровна. Эти зачем?

Клаверов. Очень просто. Чтоб подвинуть вашего мужа, я должен буду дать ему работу несколько посерьезнее тех, какими изобилует наше управление. Надобно вам сказать, что я никогда и никому не поручаю подобных работ. Во-первых, у нас служит, по большей части, народ совершенно неспособный, мечтающий только о том, как бы шикарнее пройтись по Невскому, следовательно, подобные господа в серьезном деле могут только напутать; во-вторых, я не хочу, чтоб кто-нибудь из этих господ мог зарекомендовать себя с серьезной стороны перед кем бы то ни было; это мой расчет, и расчет, который вы, конечно, извините, если вспомните, что я сам собственными силами устраиваю себе карьеру. Но для вашего мужа я должен был изменить своему обычному образу действия...

Софья Александровна. Какой вы благородный, Pierre! *(Протягивает ему руку, которую он целует и гладит.)* Знаете, мне так хорошо, когда вы мне гладите руку... Pierre! ведь вы любите меня?

Клаверов. Еще бы! Для кого ж я и делал все, что до сих пор делал? Но буду продолжать свой рассказ. Итак, я поручил вашему мужу одно довольно сложное дело, и понимается, что необычайность такого факта не могла не броситься в глаза всей канцелярии. Стань Бобырев скромно в стороне, не высовывайся вперед из этой толпы ничтожеств,

---

[1] Милый ангел.
[2] шайка.

которыми так богаты полки бюрократии, он прошел бы незамеченным и скоро получил бы право гражданственности между товарищами. Но теперь — дело другое. В нем уже начинают видеть новое светило, начинают подозревать, что Бобырев — опасный соперник, которого каждый может встретить на дороге, в неистовой погоне за местами, которая до сих пор составляет главный, если не единственный, жизненный интерес нашей администрации...

Софья Александровна. И все это для меня!.. бедный Pierre!

Клаверов. Все это для вас, и для одной вас, Sophie! Знаете ли вы, например, что Набойкин первый...

Софья Александровна. Неужели Набойкин?

Клаверов. Как же, имел со мною весьма длинное и даже весьма глупое объяснение не далее как вчера. Поверите ли вы, что он целый час приставал ко мне с вопросами, почему я не даю ему случая выказать свои способности?

Софья Александровна. Что ж вы?

Клаверов. До того меня довел, что я должен был сказать ему, что никак нельзя выказать то, чего нет в наличности...

Софья Александровна. И вы сказали это? Какой вы храбрый! А я ведь думала, что Набойкин — garçon de beaucoup d'esprit! [1]

Клаверов. Это оттого, что вы его мало знаете, Sophie! Он так же, как и все эти трутни-проходимцы, весь сшит из чужих лоскутьев, весь набит чужими словами, весь пропах чужими запахами.

Софья Александровна делает брезгливое движение.

Pardon, chère, что я употребил такое глупое выражение, но когда я говорю об этих жалостных людишках, то вся желчь во мне закипает! Они целый день снуют без дела и подслушивают, не проронит ли кто словечка, которым можно было бы прожить следующие сутки, и, подслушавши, суются с ним всюду, где только подозревают, что им не скажут в лицо дурака. Заведите, например, Набойкина насчет современного направления человеческой мысли и деятельности — каких чудес он вам не наскажет! А в сущности, все это будет лишь тусклой гнилью, почти презренным набором слов, за которым не слышится ни системы, ни убеждения, ни даже хорошо обдуманной подлости! И то, что в серьезном человеке является системою, убеждением, у них выходит мертво, тускло и пошло-

[1] очень умный молодой человек!

хвастливо. Какое сравнение, например, с Шалимовым! Положим, что мы пошли с ним разными дорогами, положим, что он говорит пустяки, но, по крайней мере, чувствуешь, что за этими пустяками горит кровь, бьется сердце!

Софья Александровна. Какой вы умный, Pierre!

Клаверов. В том-то и заключается трудность нашего положения, что мы не можем найти людей с сердцем, которые поддерживали бы те принципы, которые мы поддерживаем!

Софья Александровна. Какие же это принципы, Pierre? Муж иногда говорил мне об этом, да я как-то все не понимаю... *(кокетливо)* ведь я глупенькая, Pierre? ведь я девочка, которой надо все толковать?

Клаверов *(приближаясь к ней)*. Принципы, chère... *(В сторону.)* Черт возьми, однако ж! принципы! *(Вслух.)* Принципы — это такая вещь, об которой не говорится между влюбленными. Вы знаете ли, Софья Александровна, что ваша ложа сегодня будет рядом с княжеской?

Софья Александровна. Это принцип, Pierre?

Клаверов. Да, это принцип, и называется он принципом необходимости. Но нет, шутки в сторону: князь просто в восторге от... тебя... ведь от *тебя*, не правда ли?

Софья Александровна улыбается.

Ты знаешь ли, Sophie, что я совершенно счастлив, когда ты так улыбаешься?

Софья Александровна. Ну, я всегда буду улыбаться.

Клаверов. Иногда, когда я корплю один дома за этими проклятыми бумагами и когда мне невольно приходит на мысль, как я бываю счастлив, когда ты сидишь подле меня, когда ты глядишь мне в глаза своими добрыми синими глазами... знаешь ли, ведь мне делается очень тяжело! В эти минуты Бобырев мне просто ненавистен.

Софья Александровна. Я понимаю это, Pierre!

Клаверов. Еще бы! Знаешь, ведь я очень серьезно смотрю на мои отношения к тебе! Меня это мучит, волнует, что я поневоле должен делиться своим счастьем! Знаешь ли ты, что весь этот двор, который тебя постоянно окружает, все эти Набойкины, Обтяжновы, которые смотрят тебе в глаза, как будто ждут какой-то подачки... все это иногда невыносимо!

Софья Александровна. Но ведь пойми же, Pierre, что все эти господа более помогают, нежели мешают тебе! Они необходимы нам, чтобы скрыть наши отношения, чтобы развлечь внимание мужа...

Клаверов. Все это я понимаю; понимаю также, что женщина светская и хорошенькая должна быть окружена, но что

же мне делать, если я не могу переломить себя? Ведь ты меня любишь, Sophie? Скажи, любишь ли ты меня?

Софья Александровна, вместо ответа, ласкается к нему.

Соня! Я думаю, что ты чем-нибудь приворожила меня?

Софья Александровна. Своими добрыми синими глазами, Pierre!

Клаверов *(целуя ее глаза)*. Ну да, ну да. Так я надеюсь, que vous soignerez votre toilette pour ce soir, madame![1]

Софья Александровна. Ах, Pierre, мне просто не хочется ехать в этот противный театр! Знаешь ли, даже в тот раз мне было неприятно. Этот князь так гадко смотрел на меня, что мне казалось...

Клаверов. Ну да, ты так и смотри на него, как на гадкого, глупого старикашку. Виновата ли ты, что ты так хороша? Вправе ли ты запретить кому бы то ни было любоваться тобой?

Софья Александровна. Это тоже принцип, Pierre?

Клаверов. Ну нет, это не принцип, а наслаждение. Какие же могут быть принципы там, где есть только наслаждение! Соня! ты заметила, что я беспрестанно противоречу самому себе? ведь ты заметила?

Софья Александровна. Ну, так что ж?

Клаверов. Вот это-то и есть признак любви действительной и страстной. Истинная любовь не может быть последовательна, Sophie! Она и ревнует и в то же время заботится о том, чтоб окружить дорогое существо всеми возможными радостями, чтобы исполнить все его желания, даже капризы... Я нахожусь именно в этом положении: мне и грустно, что ты постоянно окружена, а вместе с тем и весело, что это радует мою милую птичку!..

Софья Александровна. Да это совсем меня не радует. Ты ошибаешься, Pierre!

Клаверов. Ну нет, не ошибаюсь. Признайся, что ты немножко избалована? что тебе будет скучно без поклонников? Ведь правда? ну скажи: правда?

Софья Александровна. Ну, правда!

Клаверов. Вы, женщины,— странные существа! Для вас поклонение и лесть такое наслаждение, против которого вы редко можете устоять. Когда я был молод, я знал одну женщину, которая была прекрасная мать семейства, верная жена...

Софья Александровна. Ах, Pierre, как ты говоришь скучно! Ты лучше... *(Внезапно смолкает.)*

---

[1] что вы позаботитесь о туалете для сегодняшнего вечера, сударыня.

Клаверов. Что же лучше?

Софья Александровна *(конфузясь)*. ...поцелуй меня!

Клаверов целует ее.

Скажи, а ты много любил женщин?

Клаверов. А! ревность!

Софья Александровна. Совсем не ревность, а просто любопытство. Мне бы хотелось знать, так ли ты их любил, как любишь меня?

Клаверов. Ну, а еще что бы хотелось тебе знать?

Софья Александровна. А еще хотелось бы знать, так ли они тебя любили, как я люблю?

Клаверов. Нет, Соня! Зачем же тревожить старые воспоминания! Ведь того не воротишь, что было... а было много... да, много хорошего!

Софья Александровна. Как это мило говорить такие вещи в глаза женщине, которая вас любит!

Клаверов. Да ведь оно прошло, глупенькая девочка! А ведь прошло-то оно именно потому, что настоящее слишком хорошо!

Софья Александровна *(задумчиво)*. Вот, может быть, и я когда-нибудь сделаюсь старым воспоминанием! Так мы совсем остаемся в Петербурге, Pierre?

Клаверов. Да, это уж улажено.

Софья Александровна. Как я счастлива! Я вдвойне счастлива: во-первых, тем, что буду жить в одном городе с тобой, во-вторых, тем, что все это устроил для меня ты!

Клаверов. Только ты уж, пожалуйста, слушайся меня, моя девочка!

Софья Александровна. Буду, буду... хоть этот князь и противный!

Клаверов. Нельзя, mon ange![1] От этого зависит будущность твоего мужа; от этого, наконец, зависит наше собственное счастье.

За сценой слышится голос Ольги Дмитриевны: «Соня! Соня!»

Софья Александровна. Ах, maman, какие вы несносные! Что вам нужно!

Ольга Дмитриевна *(за сценой)*. Да поди же сюда, Sophie!

Софья Александровна. Ну, да хорошо, иду! Ах, какая скука! Вы позволите, Pierre? *(Уходит.)*

---

[1] ангел мой.

СЦЕНА IV

Клаверов *(один)*. Покамест дело устраивается лучше, нежели даже я мог ожидать. Князь в восторге от Бобыревой, и если мне удастся моя маленькая комбинация, то я могу надеяться, что будущее не обманет меня. Во всяком случае, уж и это значительная победа, что два больших скандала устранены; не далее как сегодня Шалимов извинялся предо мной и объявил, что он изменяет свое мнение обо мне. Странное дело! кажется, что̀ такое все эти Шалимовы, все эти обыватели, которые копошатся где-то там вдали, что-то устраивают, рассуждают о каких-то азбуках, а как подумаешь, что все это глядит на тебя, все следит за тобою... не то чтобы робость, а так какое-то скверное чувство невольно овладевает: точно ножом по тарелке полоснули. И ведь с какою ядовитостью он высказался передо мной; почти что бросил мне прямо в глаза: извини, дескать, мы думали, что ты подлец! И я должен был замолчать; я должен был замолчать именно потому, что эти господа не хуже нашего поняли, что нахальство есть самое верное средство, чтоб не затонуть в болоте, которое мы называем жизнью. Что ж, мы и промолчим, мы сумеем и снести! мы сделаем это не потому, чтоб в нас недостало духу отвечать на дерзость даже чем-нибудь похуже, нежели просто дерзостью, а потому, что жизнь еще обладает нами и мы надеемся со временем сами овладеть ею! Однако что ж это за жизнь, господа! что это за жизнь! Ведь нет места, которое можно бы назвать целым, которое бы не было составлено из мелочей! Тут пронесся слух, что князь непрочен,— беспокойство; там другой слух, что на место князя Лакрицкий,— еще беспокойство. И все это шушукает, все это скрывается. Вот угадывай тут, умей составлять целые фразы из разрозненных слов, схваченных на лету!

СЦЕНА V

Клаверов, Софья Александровна и Ольга Дмитриевна.

Софья Александровна *(входит быстро с большим букетом в руках)*. Да посмотрите же, Клаверов, какая это прелесть!

Клаверов *(рассматривая букет)*. Да, это очень мило. Ай да Обтяжнов! честь и слава ему!.. А может быть, и Набойкин помогал — честь и слава Набойкину!

Ольга Дмитриевна. Да нет, это не Обтяжнов: представьте себе, Петр Сергеич, что букет принесли от князя Тараканова!

Клаверов. Князь? однако я не подозревал, чтоб он повернул так круто!.. *(Иронически.)* Верно, работа Николая Дмитрича до такой степени на него подействовала, что он, на радостях, счел необходимым и Софью Александровну благодарить за то, что она подарила ему такого мужа!

Софья Александровна. Ах, боже мой! ведь я об этом и не подумала! Да нет, вы не шутите, Клаверов; скажите лучше, ловко ли мне принять этот букет?

Клаверов. Право, не знаю, как и отвечать вам. Конечно, это уж как-то чересчур бесцеремонно, но, с другой стороны, как же не принять?

Ольга Дмитриевна. Человек князя уж ушел.

Клаверов. Ну, стало быть, тем более надобно принять... черт возьми, однако, как эти господа быстры в своих движениях!

Софья Александровна. Этот Nicolas! — вечно его нет, когда нужно!

Клаверов. А я так нахожу, что это хорошо, что его нет. Согласитесь сами, что ж бы он стал делать?

Софья Александровна. Я не знаю... да нет, я отошлю... посмотрите, однако ж, какой прелестный букет! Maman, как вы думаете: отослать?

Ольга Дмитриевна. Я тебе сказала, ma chère, что человек князя ушел.

Софья Александровна. Да ведь он не имеет права... в самом деле, что ж это такое? Maman! вы никогда ничего, кроме глупостей, не делаете!

Клаверов. Позвольте остановить вас, Софья Александровна: вы совершенно напрасно ссоритесь с Ольгой Дмитриевной! Конечно, я никогда не стану оправдывать князя: он поступил глупо, но ведь, с другой стороны, княгиня Тараканова, его мать, ни перед кем и не обязывалась произвести на свет умного сына... Но если вы в самом деле думаете, что князь не имел права сделать вам неучтивость, то очень ошибаетесь! Эти господа считают себя вправе делать все, что им придет в голову; да если рассудить хладнокровно, то и действительно имеют это право. Кто может противоречить им? Кто может им запретить делать что бы то ни было? Вы подумайте когда-нибудь об этом, Софья Александровна, хотя это такой страшный вопрос, от которого может закружиться любая голова! Скажите, ну что же вы сделаете? что сделаете и вы, и Ольга Дмитриевна, и даже ваш муж? Ведь как ни глуп князь, но он

понимает отлично, что в его руках вся будущность вашего мужа, он знает наверное, что, прежде чем подумать с ним спорить, Николай Дмитрич пройдет через тысячи нравственных мук, через тысячи ножей! Тут даже не борьба, тут просто подлая уверенность в своей не могущей встретить противоречия силе! Ах! Софья Александровна! Софья Александровна! надобно пожить так, как я пожил между этими господами, чтобы понять, до какой глубины может дойти чувство ненависти и злобы! Мало того что оно может сделаться содержанием всей жизни человека, оно вместе с тем становится каким-то жгучим мучительным наслаждением, которое поддержит его силы, когда они начнут ослабевать, которое, быть может, источит капля по капле все его существование, но не даст ни на минуту забыться прежде, нежели жажда мести будет удовлетворена! О господа либералы, вам нечем хвалиться в этом отношении перед нами, бюрократами! мы не только сходимся с вами, но даже далеко вас превосходим!.. Вы подумайте только, что ведь мы сплелись с этими людьми, что вся наша жизнь в их руках, что мы можем дышать только под условием совершенной безгласности, что мы сами приняли это положение, что мы ни на минуту не можем выйти из-под гнета его! Ведь это самая чудовищная барщина, какую только может придумать воображение самое развращенное! Сколько тут есть причин для злобы, каких вам и не снилось, вам, поглядывающим на этот гнусный мир из вашего прекрасного далека! *(Смеется.)* А впрочем, я, кажется, пустился в красноречие, и все по поводу букета! Букет этот вам положительно следует принять, Софья Александровна, и не по тем причинам, которые я сейчас высказал (надеюсь, что вы не приняли их серьезно), а просто потому, что вам следует смотреть на князя, как на глупого gros-papa, который в самом деле так восхитился вашим мужем, что счел нужным уделить часть этого восхищения и вам.

Софья Александровна. А Nicolas? вы думаете, что он примет это так легко?

Клаверов. Я уверен, что он взглянет на это маленькое происшествие с той же точки зрения, как и я. Поверьте, Софья Александровна, ни одной жизни недостанет, если мы будем волноваться всеми человеческими глупостями, которые вокруг нас и по поводу нас делаются. *(Иронически.)* Николай Дмитрич довольно благоразумен, чтоб понять это.

Ольга Дмитриевна. Я совершенно согласна с Петром Сергеичем. Я даже не нахожу ничего необыкновенного в поступке князя. Конечно, он где-нибудь тебя видел, и, как старик... что же тут может быть обидного?

Клаверов. Ну да, конечно... Вот видите ли, Софья Александровна! и maman совершенно со мной согласна.

Софья Александровна. Но с каким же лицом я буду сегодня сидеть в театре! Maman! ведь князь будет подле нашей ложи!

Ольга Дмитриевна. Что ж, это очень любезно с его стороны... Разумеется, этого не надо сказывать Николаю Дмитричу, хотя, быть может, это делается и для его же пользы...

Клаверов. Я уверен, что он поймет.

Ольга Дмитриевна. Да, но вы знаете, условия света... надо все-таки делать возможное, чтоб, как говорят французы, sauver les apparences [1].

В передней раздается звонок.

Софья Александровна. Вот и он! *(Бросает букет на диван.)*

Клаверов. Софья Александровна! У меня сейчас блеснула мысль... я вас выручу!

СЦЕНА VI

Те же, Бобырев и Свистиков (последний, увидев Клаверова, заметно конфузится и останавливается у дверей).

Бобырев. А вот и я! Ба! да ты здесь, Клаверов! *(Жмет ему руку, жену целует в лоб, у Ольги Дмитриевны целует руку.)* Ну-с, поздравьте меня с победой, mesdames! Лавры Геродота не давали спать Фукидиду — так, кажется? — и Фукидид добился-таки своего! Я тоже несколько ночей сряду почти не спал, и тоже добился своего — c'est justice! [2] Клаверов! всем этим я обязан тебе, я этого никогда не забуду! *(Снова жмет ему руку.)* Соня! я счастлив сегодня и потому целую тебя вторично! *(Целует ее несколько раз сряду; Софья Александровна слегка отбивается.)* Да где же Иван Михеич? *(Оборачивается и видит Свистикова у дверей.)* Иван Михеич! что это вы как будто застыдились! ползите к нам!

Свистиков приближается.

Mesdames! это наш будущий благодетель, который даже нынче начал ряд своих благодеяний тем, что выдал мне за полмесяца жалованье вперед!

[1] соблюсти приличия.
[2] справедливость торжествует!

Клаверов *(шутливо)*. А вот я произведу вам внезапную ревизию, Иван Михеич!

Свистиков. Это упаси бог-с!

Ольга Дмитриевна. Нет, нет, нет! мы принимаем Ивана Михеича под свое покровительство!

Свистиков. Да их превосходительство шутят-с, сударыня! С ихним добродетельным сердцем да такую учинить жестокость!

Клаверов. Ладно, вот я вас припугну! Да где это ты, Бобырев, шатался о сю пору! Ведь сегодня у тебя не могло быть работы!

Бобырев. А все ходил по канцелярии, и, веришь ли, хоть ничего не делал, а точно я десятки пудов на себе целое утро провозил!

Свистиков. Это уж у нас в канцеляриях особенная немочь такая есть, Николай Дмитрич, так канцелярскою и прозывается. Сидишь, кажется, сложа руки или ходишь от стола к столу «комман сантѐ» спрашиваешь, а словно горы ворочаешь: во рту, это, пересохнет, даже спину всю расшибет!

Клаверов. Так вот чем вы занимаетесь? Будем знать.

Свистиков. Помилуйте, ваше превосходительство, будто вам и неизвестно! А уж начальнику, Николай Дмитрич, да особенно строгому, как тяжко, так это и вообразить трудно! Почнут, это, ходить, кричать, повелевать,— кажется, невелик труд, а преутомительный-с.

Клаверов. Вы, верно, по себе судите?

Свистиков. А как же-с. У меня тоже курьеры, сторожа... кричу-с!

Клаверов *(Бобыреву)*. Ну что, как тебе понравился князь?

Бобырев. Mon cher! Я в восторге! Какая деликатность, и вместе с тем какой ум! Это просто прелестный человек!

Свистиков. Да-с, они у нас прелестные!

Клаверов. Вы, Иван Михеич, не забывайте, что говорят об вашем начальнике! *(Бобыреву.)* Стало быть, вы взаимно в восторге друг от друга, потому что князь целое утро расспрашивал меня об тебе, о твоем семейном положении, и даже узнав, что ты женат...

Софья Александровна *(берет букет с дивана)*. Да, Nicolas, посмотри, какой прелестный букет прислал князь!

Бобырев. Князь? *(Смущенным голосом.)* По какому же случаю?

Клаверов. Да просто, любезный друг, потому, что я ему сказал, что ты женат и — pardon, Софья Александровна! — что у тебя жена красавица!

Бобырев. Помилуй, Клаверов! зачем же тебе было говорить князю о моих семейных делах? какое ему до этого дело?

Клаверов. Ах, боже! ну да просто пришлось к слову! Да уж ты не обижаешься ли? Неужели ты не хочешь понять, что князь хотел этим сделать galanterie[1] тебе самому?

Софья Александровна. Я, Nicolas, хотела отослать букет, да человек князя ушел так скоро, что мы не успели вернуть его.

Бобырев вращает кругом изумленными глазами.

Какой ты смешной, Nicolas! как ты странно смотришь! Если хочешь, я сейчас же отошлю букет назад!

Бобырев. Нет, нет... так ты думаешь, Клаверов, что букет следует принять?

Клаверов. Еще бы! Конечно, князь, для своих лет, поступил немного ветрено, но ведь нельзя же строго взыскивать с старика!

Бобырев. Букет... незнакомой женщине...

Ольга Дмитриевна. Да ведь нельзя же строго взыскивать с старика!

Клаверов. Mon cher! ты вспомни, что он тебе в отцы годится! Ведь ты сам давеча видел, с какою любезностью он принял тебя!

Софья Александровна. Nicolas! я заплàчу, если ты не перестанешь!

Клаверов. А я кстати и ложу на сегодняшний спектакль привез. Таким образом, день твоего торжества будет праздником и для Софьи Александровны.

Бобырев. Ну да! и прекрасно! Стало быть, мы сегодня в театре, и жена с букетом... от князя!

Софья Александровна. Ах, Nicolas, как ты глупо смотришь!

Бобырев. Ну да! так, следовательно, букет надо принять? Ну что ж — и примем, и в театр поедем: ведь ложа-то от тебя, Клаверов? Иван Михеич! понюхайте же букет!

Свистиков (*приближаясь к Софье Александровне и нюхая*). Пахнет-с!

Бобырев. Еще бы! Ну, так мы, значит, сегодня веселимся! Соня! ведь Иван Михеич сегодня у нас обедает, так не мешало бы, знаешь, распорядиться. Вы по части мадер или хересов, Иван Михеич?

Свистиков. Мы en gros-с;[2] по части целого прейскуранта!

---

[1] любезность.

[2] всё вместе.

Ольга Дмитриевна. У нас еще Савва Семеныч с Павлом Николаичем будут обедать!

Софья Александровна. Ах, Савва Семеныч... я и забыла! ведь он тоже поехал за букетом!

Бобырев. Как, и он будет с букетом! стало быть, сегодня у нас решительно букетный день! Как это приятно!

Свистиков. Про Савву Семеныча можно выразиться, что они, как откупщик, всегда букет с собой носят!

Клаверов. Браво, Свистиков! Mesdames, Свистикову грош!

Бобырев. А ты, Клаверов, у нас обедаешь?

Клаверов. Не могу, меня пригласил князь, но я буду с вами в ложе.

Бобырев. Ну, в ложе так в ложе. А воля твоя, Софья Александровна, этот проклятый букет князя не выходит у меня из головы!

Клаверов. Я тебя решительно не понимаю, Бобырев!

Ольга Дмитриевна. Вы, Nicolas, просто ребенок!

Софья Александровна. Nicolas! я не знаю, что же тут было делать?

Свистиков. Уж не упорствуйте, Николай Дмитрич! Они ведь заплачут-с!

Бобырев. Стало быть, все находят, что это дело обыкновенное. Ну, если так, следовательно, и я должен... черт возьми, однако ж, не всегда приятно положение государственного человека en herbe! [1]

Занавес опускается.

ДЕЙСТВИЕ III

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Бобырев.
Софья Александровна.
Ольга Дмитриевна.
Клаверов.
Князь Тараканов.
Обтяжнов.
Набойкин.
Апрянин.
Камаржинцев.
Свистиков.
Лакей.

Декорация второго действия, только убранство лучше; прибавились бронза, фарфор и другие довольно дорогие безделицы. Между вторым и третьим действием прошел еще месяц; при поднятии занавеса бьет девять часов.

[1] еще только начинающего карьеру!

СЦЕНА I.

Бобырев *(входит из внутренних комнат, потягиваясь)*. Фу! как устал! Только два месяца, как мы в Петербурге, а как много воды утекло: просто не узнаю ни себя, ни окружающих! Хорошо ли я сделал, что взбаламутился и бросил Семиозерск — вот вопрос, который часто приходит мне на мысль и который, надо сознаться, начал посещать меня довольно рано. С каждым днем Семиозерск кажется мне все более и более привлекательным, словно землею обетованною; и квартира моя тамошняя представляется, и приволье, и спокойствие... Да, там я был спокоен; я не должен был ежеминутно мучиться мыслью, как взглянет на меня Григорий Иваныч, что подумает обо мне Надежда Яковлевна, между тем как здесь все именно вертится на личных отношениях. Господи! одно искание места чего стоило! Как вспомнишь, просто вся кровь бросается в голову! Этих часовых простаиваний у дверей, этих явных вздохов и тайных проклятий, этих дружелюбных разговоров с курьерами и сторожами сколько было! *(Вздрагивает.)* Какой срам! какой срам! Кажется, и чиновники-то все указывают на тебя пальцами, как проходишь сквозь эти нравственные мытарства, кажется, нет того существа в мире, чье лицо так и не говорило бы тебе в глаза: срамец! срамец! срамец! Неужели я не довольно силен для этой жизни? неужели сила познается только в равнодушии, измеряется только крепостью лба? Как бы то ни было, но бывают минуты, когда меня просто томит страстное желание опять возвратиться к тому ничтожеству, из которого я попытался выйти. Чего я желал? чего я искал? Если спросить меня по совести, я и сам едва ли буду знать, что ответить. Какое чувство шевелилось в моей груди, когда я рвался из Семиозерска? Было ли то чувство честолюбия — нет, я не честолюбив! Было ли то какое-то нерасчетливое, но все-таки почтенное чувство правды, заставляющее человека идти вперед, не видя перед собой никакой определенной цели, не имея за собой никакого ясного побуждения, кроме инстинкта, который подталкивает и шепчет: вперед! Нет, и этого не было, потому что, в сущности, что же я такое? Я просто смирный человек, ищущий одного спокойствия! Да полно, рвался ли я? Не лгу ли я перед своей совестью, говоря, что рвался? *(Задумывается.)* Правда, что я женат, правда, что жена моя хороша и молода, что я обязан... *(с горечью)* не изнывать же ей, в самом деле, в Семиозерске! Ведь если б я вздумал утверждать, что жить в Семиозерске не значит еще изнывать и что муж вовсе не обязан убивать свою душу для

удовлетворения прихотей жены, не закричали ли бы все в один голос, что я тиран, что я черствый себялюбец, что я, наконец, не имею права лишать жену тех радостей, которые так естественно требовать молодости и красоте! В действительности, стало быть, я только променял трактир малого размера на трактир более обширный — вот моя семейная жизнь и ее наслаждения! И в Семиозерске с утра до ночи толклись у нас разные приятные индивидуумы, и здесь толкутся, с тою только разницею, что здесь жены часто не бывает дома. Странное дело! сначала эти частые отсутствия огорчали меня, а теперь... право, даже перед самим собой горько и страшно обнажить мысль свою! Что такое все эти прихлебатели, которые во всякое время дня и ночи врываются в мой дом, как в охальный, которые курят, болтают, бесцеремонно стучатся в двери нашей спальни, переговариваются с женой, покуда она одевается... что это такое? Где же я, где же я, господи! Но всего ненавистнее Клаверов, этот Клаверов, которому я доверил все свое будущее и который, как паук муху, всего меня опутал своими сетями. Чего он хочет с своими гнусными бюрократическими нежностями? что он делает в моем доме? Я еще ничего не знаю, я даже боюсь спросить самого себя, что такое тут совершается, но весь дрожу при одной мысли об этом человеке! Страшно подумать, но я боюсь его! Точно я попал в трущобу, в которой копошится гадина, и не знаю, где она кроется и куда хочет направить свое ядовитое жало! И не то чтобы я ревновал, чтобы я сгорал страстью к жене,— нет, уж какая же тут страсть, когда нам взаимно нет дела друг до друга! страсть прошла давно, да и длилась-то очень недолго... Я положительно не знаю даже, зачем я женился? Разве для симметрии? Но ведь обидно то, что каждое его слово как будто так и говорит тебе: дурак, дурак, дурак! но обидны эти подлые, презрительно-покровительственные взгляды, которые он мещет! Да, я смирен, я слишком смирен... но кажется, что у нас не обойдется без схватки!

Входит лакей.

Лакей *(подавая письмо)*. Письмо, сударь, с городской почты.

Бобырев *(берет письмо; не распечатывая его)*. Что, брат Иван, в Семиозерске лучше было?

Лакей. Не знаю-с, нам все одно где служить!

Бобырев. Экой ты, брат, чудак! Ведь у тебя там родные!

Лакей. Родные всякий при своем месте... тоже при службе находятся.

Бобырев. Так тебе не хочется назад, в Семиозерск?

Лакей смотрит на него с недоумением.

Ну, ступай себе!

Лакей уходит.

Какой он угрюмый, этот Иван! Черт его знает, никогда ему ничего не хочется! От кого бы, однако, это письмо? *(Распечатывает и смотрит на подпись.)* Ба! от Шалимова! что бы это значило? *(Читает.)* «Пишу к тебе, любезный Бобырев, не от своего единственно лица, но от лица тех немногих товарищей, которых убеждения остались еще не зараженными всеобщим растлением, господствующим в известных рядах современного общества». *(Прерывает чтение.)* Черт возьми, этот Шалимов, как он это так странно выражается... все у них какое-то растление да зараза на языке! Просто деловое направление — и все тут! *(Продолжает.)* «Не знаю, хорошо ли будет принято мое письмо, но, во всяком случае, полагаю, что ты настолько честен, чтоб не делиться им с твоими новыми товарищами и не издеваться над нашею первою и последнею попыткой. Несмотря на то что ты, приехав из Семиозерска, не счел нужным побывать ни у кого из нас, самый тот факт, что мы считаем возможным обратиться к тебе, уже достаточно показывает, что мы надеемся и что воспоминание о Бобыреве, которого мы знали в школе милым, честным и благородным малым, еще не изгладилось из нашей памяти. Итак, приступаю к делу прямо и откровенно. Мы думаем, любезный друг, что ты находишься на ложной дороге и что чем дальше пойдешь ты по ней вперед, тем труднее и невозможнее будет для тебя выход. Меняя свою провинциальную службу на петербургскую, ты не просто переехал из Семиозерска в Петербург, ты сделал поступок, ты изменил все направление твоей жизни. Не обольщай себя на этот счет, не думай, что ты остался там же, где был прежде, тем же, чем был прежде. Там, где ты был прежде, ты мог оставаться свободным, ты мог сохранить свои собственные убеждения. Провинциальная жизнь и даже служба терпят многое. Конечно, и там твое обоняние и слух не могли не быть поражены диссонансами довольно резкими, но тебе нужно было только на время зажимать нос и уши, чтобы освободиться от скучных призраков, а не постоянно притворяться глухим и слепым. Там ты ни к чему не обязывался, но даже мог быть полезен в частных случаях, потому что мог дать защиту угнетенному и оказать справедливость обиженному (извини, что, быть может, впадаю в сентиментальность); в крайнем же случае, ты уподоблялся работнику, который делает механически свое механическое дело и в то же время

думает свою свободную, никем не стесняемую думу. Здесь, напротив того, ты встретился с системой, ты не только исполняешь (ты сам, по опыту, очень хорошо понимаешь, какой широкий смысл заключается в слове «исполнять» и как мало оно обязывает убеждения), но и выдумываешь, ты свою душу, свое сердце, ты все существо свое порабощаешь известному принципу, не свободно тобою избранному, но насильно тебе навязанному. Ты делаешься похож на бойкого рецензента, который нанимается к кулаку журналисту, чтоб иметь его мнения, исполнять его mots d'ordre[1] и преследовать его ненависти. Это очень любопытная и даже увлекательная по своей трудности гимнастика ума, но берегись ее: она может довести мысль до последних пределов распутства. Предаваясь ей, ты не только огадишь и развратишь свою мысль, но даже мало-помалу вовсе отучишься мыслить. Но, что всего важнее, эта гимнастика в практическом смысле не дает тех результатов, которых от нее ожидают. Друг, подумал ли ты, что надо быть Клаверовым (о котором ниже), чтоб извлечь из нее какие-нибудь выгоды? Подумал ли ты, что когда-нибудь может же прийти такая минута, когда и ум и сердце с отвращением отвернутся от того дела, за которое ты взялся, что может же выискаться такой случай, от которого тебя разорвет всего, прежде нежели ты решишься оказать свое обязательное содействие к благополучному исполнению гнусных предначертаний? Что ты предпримешь тогда? Если ты решишься — с какими глазами выйдешь ты на свет божий? Если не решишься — не думаешь ли ты, что тебя погладят по головке, не думаешь ли, что тебе скажут: cher Бобырев! у вас слишком беленькие ручки, чтоб мараться вместе с нами: пойдите, занимайтесь спокойно вашим беленьким делом! Подумал ли ты, что тут тоже есть своего рода система, и система эта заключается в том, чтоб человека, который добровольно решился пойти на каторгу, сразу до такой степени обесчестить, чтоб он не смел пискнуть! Когда твое прошедшее будет загажено, когда вся твоя жизнь будет погублена, когда срам и отвержение густым слоем лягут тебе на лоб, тогда тебя преспокойно запишут в ряды Свистиковых (это еще не худшее, потому что он, в сущности, занимается ватерклозетами, а следовательно, никого не убивает), или же выкинут вон, как истрепанную тряпку, в которой *никто* (пойми это: «никто») не нуждается. Куда ты пойдешь тогда? Ты скажешь мне, что никакой нет выгоды поступить с тобой таким образом, что это бесчестит тех, которые употребляют тебя, и без всякой пользы подры-

---

[1] приказы.

вает доверие к ним. Еще бы, мой милый! Да разве они понимают, что делают, разве они смотрят на свою деятельность иначе как на средство, дающее им возможность прожить спокойно следующую минуту, и разве они видят будущее, разве они рассчитывают? Захотел ты от них! И с кем ты связался, кем окружил ты себя, Бобырев! Клаверов! Набойкин! да разве ты не чувствуешь, каким от них разит тлением, разве в тебе до такой уже степени притупилась способность разгадывать людей, что ты не можешь понять, что эти люди не представляют даже залогов жизни! Уж я не говорю о Набойкине: это жалкая дрянь, о которой и упоминать-то не стоит, но ведь и Клаверов весь сшит живыми нитками — неужели это секрет для тебя? Если это секрет, то выслушай же следующее. Поприще свое Клаверов начал тем, что пристал к нашему маленькому обществу; признаться, мы никогда не были особенно расположены принять его, потому что еще в школе в нем бросалась в глаза какая-то неприятная юркость, какое-то молодеческое желание блеснуть изворотливостью совести. Однако ж мы терпели его, терпели, как товарища, которого трудно было отогнать от себя без явного оскорбления. Но скоро он сам вывел нас из затруднения; как волчонок, которого, несмотря на приволье, все тянет в лес, он вдруг исчез из наших глаз, чтоб появиться в другом лагере. С тех пор вся жизнь его есть ряд постыдных подвигов, среди которых гениями-покровительницами Клаверова являются женщины вольного обращения. Он и прежде был шутом, но шутом по натуре, шутом, так сказать, своим собственным, однако этого показалось ему недостаточно; лавры Свистикова не давали спать ему, и он возымел дерзкую мысль превзойти его и в искусстве веселить своих добрых начальников, и в искусстве сводничать им любовниц. Весь город знает, какую подлую роль играл он перед пресловутой Кларой Федоровной, как он сначала подольстился к ней, свел ее с князем Таракановым и потом заставил нелепого старика бросить ее... для кого, Бобырев! для кого?» *(В испуге прерывает чтение.)* Да для кого же, господи, для кого? *(Хватается за голову руками и несколько времени сидит в безмолвии.)* Что̀, если в самом деле подлость может дойти до таких громадных размеров? что̀, если она до того утонченна, что ей уже мало завлечь, а необходимо еще и развратить? Эти букеты... эти подарки, ложи... эта предупредительность ко мне... Да куда же я попал, боже мой! не во сне ли я? не горячечный ли бред все эти Клаверовы, Таракановы, Обтяжновы! Что такое, наконец, мой дом? *(Продолжает.)* «И этот гнусный проходимец воображает себе, что он очень искусен, что он обманывает нас! Он думает, что, отделавшись

какими-нибудь подлыми средствами от Нарукавниковых, Артамоновых и т. д., он имеет право подать нам свою подлую, оскверненную руку!»... Нет, не имею сил продолжать дальше! *(В отчаянье рвет на себе волосы.)* Все это правда, весь этот срам, вся эта гнусность... все, все красным клеймом выпечатано на лбу моем!

Входит лакей.

Лакей. К вам Иван Михеич пришел.

Бобырев. О, черт возьми!

СЦЕНА II

Бобырев и Свистиков.

Бобырев. Что̀ вы, Иван Михеич?

Свистиков. Да что-с, посидеть пришел-с.

Бобырев несколько времени рассеянно смотрит ему в глаза.

Да вы здоровы ли, Николай Дмитрич?

Бобырев. Нет, я ничего... я думаю о том, что вас и не слыхать было, как вы пришли!

Свистиков. А я по черненькой-с. Чем людей-то беспокоить, так я по черненькой-с.

Бобырев. Зачем по черненькой? Вы бы звонили, да шибче бы... Слыхали ли вы, например, как Клаверов и Набойкин звонят?

Свистиков. Помилуйте, Николай Дмитрич, они ведь особы, а мы что такое?

Бобырев. Ну нет, это вы говорите вздор, Иван Михеич! Для меня особа тот, кого я сам почитаю особой, а Клаверов, например, для меня — мерзавец!

Свистиков. Христос с вами, Николай Дмитрич! вам как будто не по себе!

Бобырев. Да, мне не по себе... мне очень не по себе! Да, я ему докажу, что он мерзавец, и докажу не далее как сегодня же, если он пожалует сюда!

Свистиков. Упаси бог-с! ведь они, пожалуй, рассердятся! Нет, вы не делайте этого, Николай Дмитрич!

Бобырев. Сделаю, Иван Михеич!

Свистиков. Так я лучше уйду-с! *(Берется за шапку.)*

Бобырев. Нет, уж это аттӑнде — не пущу! *(Удерживает его за борты сюртука.)* Мы с вами, Иван Михеич, выпьем! Жена-то у меня по театрам да по маскарадам жуирует, ну, а мы с вами здесь выпьем! Вы по хересам?

Свистиков. Хереса как-то основательнее, Николай Дмитрич! Хорошо тоже коньяк, ну да уж это будет, может быть, слишком основательно... Я, конечно, не об себе это, Николай Дмитрич, потому что я от вина только потею-с... испариной оно из меня выходит-с!

Бобырев. Ну, так мы хересов велим подать. Эй, Иван!

Входит лакей.

Бутылку хересу нам сюда! *(Свистикову.)* Стаканов, что ли?

Свистиков. Да что уж лицемерить, Николай Дмитрич!

Бобырев. И два стакана.

Лакей уходит и тотчас же возвращается с подносом, на котором бутылка и два стакана. Бобырев наливает.

Так вы говорите, что в вас вино производит только испарину?

Свистиков *(пьет)*. Вино действует на меня постепенностью, Николай Дмитрич. Я, знаете, думаю, что у меня внутренности с самого начала обожжены-с, так оно там словно в печке-с.

Бобырев *(пьет)*. Ну да, понимается. Раз навсегда, значит, обожгли, так потом и заботиться не об чем!

Свистиков. Ну так-с, так-с. Это вы именно угадали-с!

Бобырев. Ну, а как вы думаете, Иван Михеич, ведь Клавеpов-то подлец?

Свистиков. Да что вы, Христос с вами! как же они могут быть подлецами! Так разве... накапают где-нибудь... А впрочем, нѐчем этакие-то разговоры вести, я уж лучше вам расскажу, какое со мной было в Холопове происшествие!

Бобырев *(пьет)*. Ну, рассказывайте ваше происшествие!

Свистиков. Был я в ту пору еще молод и служил в казенной палате писцом. Жалованьишко наше маленькое, пить-есть хочется, следовательно, пробавлялись мы больше каждый своим промыслом. У меня промысел был за охотой ходить; болот, знаете, вокруг Холопова пропасть, ну и ходишь, бывало, в свободные дни, похлопываешь да похлопываешь себе бекасиков, а потом и несешь на базар продавать. Хорошо. Только вот однажды идем мы с товарищем ранним утром по бережку реки, а на дорожку у нас было уж заложено... против простуды-с! Идем мы, это, и видим, что, в саженях этак в шестидесяти, сидит на воде страшенное стадо диких уток, выстроились этак в ниточку рядком и преспокойно себе делают утренний туалет-с! Да вам, может быть, скучны мои глупые речи, Николай Дмитрич?

Бобырев *(рассеянно)*. Да, происшествие действительно странное!

Свистиков. Помилуйте, какое же это еще происшествие! происшествие-то будет впереди-с! Вот я и говорю товарищу-то: «Погоди, говорю, Хвостиков, я штуку сделаю!» А сам себе на уме думаю: чем нам по-пустому-то заряды тратить, прицелюсь-ко я в крайнюю, да как выстрелить-то, и проведу ружьем-то по всем, чтобы всю стаю, значит, одним зарядом ухлопать! *(Показывает.)* Ну-с, сказано — сделано. Лег я этак на живот и начал полозть; подполз, знаете, в самую меру, прицелился... паф! Только как загагайкают вдруг мои утки, да как взлетят всем собором, так я даже караул с перепугу закричал! Представьте себе, какая шельмовская штука тут вышла: так-таки ни одной и не убил! Так-таки все до одной и улетели! А расчет с пьяных-то глаз, кажется, верный был!

Бобырев *(рассеянно)*. Да, расчет, конечно, верный. А Хвостиков-то, я думаю, порядочно вас обругал?

Свистиков. Уж как не ругать-с! Я бы и сам себя в ту пору изорвал-с!

Бобырев. Сто̀ит, сто̀ит. Так выпьем, Иван Михеич!

Свистиков. Выпить можно-с.

Чокаются и пьют.

А то вот еще со мной какое происшествие было. Сидим мы однажды в трактире: я, Хвостиков, Нахлобучкин да еще кой-какие из канцелярских...

Бобырев. Всё в Холопове же?

Свистиков. Ну да-с, всё в Холопове. Сидим мы в трактире...

Бобырев. И Хвостиков говорит: выпьем, Иван Михеич. *(Наливает.)* Эй, Иван! еще бутылку хересу!

Свистиков. Это точно-с, что Хвостиков это сказал, только уж не будет ли нам, Николай Дмитрич, на сегодня-то?

Лакей приносит бутылку.

Бобырев *(несколько пьяный)*. А что, разве разбирает?

Свистиков. Меня-то-с? Нет, Николай Дмитрич, я не об том-с. А вот неравно Софья Александровна приедут, так не безобразно ли будет, что мы с вами этак-то посвистываем? *(Пьет.)* За ваше здоровье-с!

Бобырев *(наливая)*. Да вы, может быть, думаете, что я Софьи Александровны опасаюсь? Так я ее вот как опасаюсь! *(Плюет.)* Она меня... да вы знаете ли, что она из меня сделала! да я ее через полицию — вот что!

Свистиков. Полноте, Николай Дмитрич! не годится-с!

Бобырев. А ты думаешь, что я остановлюсь! Ты, Сви-

стиков, меня не понимаешь, потому что ты шут гороховый: это Шалимов про тебя пишет... А я тебя все-таки люблю, потому что ты мне друг!

В передней раздается сильный звонок.

Слыхал ты, брат, как звонят? Это жена с своей стаей приехала!.. а ведь мы, кажется, пьяны?

Свистиков. Пьяны, Николай Дмитрич!

Бобырев. То-то, пьяны! А ты пей, да ума не пропей!

Свистиков. Не лучше ли нам в кабинет-с... да и снаряд-то с собой туда же возьмем-с! Хорошо, кабы бог спас, генерала-то нашего не принесла бы нелегкая!

Бобырев. Это дельно. Следовательно, путешествуем в кабинет! А генерала ты не бойся... я, брат, ему нос оторву!

Уходят; сцена на мгновение остается пустою.

СЦЕНА III

Софья Александровна входит быстро, одетая в теплый салоп и предшествуемая Апряниным и Камаржинцевым; Апрянин снимает с нее теплые ботинки, Камаржинцев — салоп; Софья Александровна одета в богатое платье, убранное кружевами и декольте; в руках у нее букет; следом за ней входит Ольга Дмитриевна и Набойкин.

Софья Александровна. Да снимайте же скорее, Апрянин! что вы там остановились!

Апрянин. Не могу, Софья Александровна, руки дрожат-с!

Софья Александровна. Вот еще! А вы, Камаржинцев, что там уснули? Тоже руки дрожат? И пусть будет вам известно, messieurs, что с этих пор я буду вас называть моими горничными!

Камаржинцев. Я, Софья Александровна, за счастье-с... только уж нельзя ли в настоящие горничные!

Софья Александровна. Хотелось бы? *(Поправляя модести на груди.)* Пошлите-ка лучше Аннушку модести мне поправить!

Апрянин. Позвольте мне-с!

Софья Александровна. Ну нет-с, вы, пожалуй, опять задрожите! *(Ольге Дмитриевне, которая вошла с Набойкиным и поправляется перед зеркалом.)* Maman! распорядитесь насчет чаю! *(Лакею.)* Николай Дмитрич дома?

Лакей. Дома-с, они с Иваном Михеичем у себя в кабинете-с.

Софья Александровна. Ну, и пусть их остаются в кабинете. Мы, messieurs, проведем нынче вечер отлично: Обтяжнов и маленький Тараканов привезут нам ужин, Клаверов привезет нам литератора...

Апрянин *(с некоторым благоговением)*. Какого же это литератора, Софья Александровна?

Софья Александровна. Там, какого-то из «Северной почты»! Il fait des feuilletons, de la politique... que sais je?[1] Клаверов говорит, что это человек очень благонамеренный!

Набойкин. То есть скучный.

Софья Александровна. Фи, мсьё Набойкин, как же вы это не хотите понять, что человек, который занимается... des sciences, de la politique enfin...[2] не может же он быть веселым, как мы, простые смертные! Maman! да что же вы все перед зеркалом поправляетесь! Мне чаю хочется!

Ольга Дмитриевна. Ma chère, ты бы Ивану могла приказать!

Софья Александровна. Иван может делать чай для Николая Дмитрича, а не для меня... приятно очень: грязными руками!

Набойкин. Отчего вы сами не разливаете чай, Софья Александровна?

Софья Александровна. Вот еще! скука какая!

Апрянин. А как бы это было приятно!

Камаржинцев. Венера, разливающая нектар...

Апрянин. Геба, mon cher!

Камаржинцев. Ах да, Геба! Венера — эта та, которая Вулкану...

Софья Александровна. Вы несчастливы на мифологию, Камаржинцев!

Набойкин. Нет, нет, нет! постойте! ну что же такое Венера, Камаржинцев? что она сделала Вулкану?

Камаржинцев *(обидевшись)*. Вы сами очень хорошо знаете, что сделала Венера...

Набойкин. И он вас сравнивает с ветреною богиней, Софья Александровна!

Камаржинцев. Я совсем не сравниваю; я сравниваю Софью Александровну с Гебой *(с кислою любезностью)*, да и то нахожу, что здесь не может быть сравнения...

Ольга Дмитриевна. Ce n'est pas mal trouvé[3]. Пожалуйста, Павел Николаич, оставьте в покое мсьё Камаржинцева!

---

[1] Он пишет фельетоны, политические статьи... что-то в этом роде.

[2] наукой, наконец, политикой.

[3] Недурно сказано.

Софья Александровна. А вы оставьте в покое нас, maman, и дайте нам чаю скорее.

Ольга Дмитриевна уходит.

СЦЕНА IV

Те же, кроме Ольги Дмитриевны.

Софья Александровна. Удивительно, однако ж, какой этот Николай Дмитрич! Представьте себе, messieurs, что с некоторого времени он только и делает, что по целым вечерам просиживает с Свистиковым! Об чем они там говорят вдвоем — решительно понять невозможно!

Набойкин. Погодите, вот я схожу — подслушаю!

Софья Александровна. Нет, уж оставьте; еще придут сюда, пожалуй! В сущности, я очень рада, что Николай Дмитрич оставляет меня в покое! Когда он здесь, я точно на иголках: такие у него манеры странные, и шутит-то он как-то так, что лучше бы сидел да молчал! Aucune delicatesse! [1]

Набойкин. Его еще в школе медвежонком звали!

Софья Александровна. А теперь из медвежонка вышел целый медведь! Право, messieurs, я совсем не революционерка, и даже не понимаю, чего хотят эти студентки, но l émancipation de la femme — ce n'èst que très juste! [2]

Набойкин. Да, если взглянуть на дело с общей точки зрения... конечно, но если разобрать вопрос в частности...

Софья Александровна. И в частности и как хотите, со всех точек это справедливо! Вы забываете, messieurs, что женщины тоже хотят веселиться!

Камаржинцев. У меня, Софья Александровна, есть знакомая, которая заказала себе сюртук!

Софья Александровна. Вы, кажется, мне противоречить хотите, Камаржинцев?

Камаржинцев. Помилуйте, Софья Александровна, я-с... я хотел только сказать, как это мило должно быть на хорошенькой женщине!

Софья Александровна. То-то! Итак, messieurs, мы сегодня будем веселиться! Уж так и быть, я распущу свои волосы и спою «Il segretto»... [3]

Набойкин. У вас чудесная коса, Софья Александровна. Апрянин! да удерживайте же вашего друга: ведь он так и впился в Софью Александровну.

---

[1] Никакой деликатности!
[2] эмансипация женщины — это только справедливо!
[3] «Тайна».

Софья Александровна (*томно*). Камаржинцев! хотите, я вам позволю себя в плечо поцеловать?

Набойкин. Faites ça [1], Софья Александровна!

Софья Александровна. Ну, ползите сюда, как говорит мой милый супруг! «Ползите»! Mais quelles expressions, comme il est trivial cet homme! [2] Камаржинцев! я звала вас!

Камаржинцев конфузится и не сходит с места.

Знаете ли, Камаржинцев, что вы очень самолюбивы! Я вижу, чего вам хочется! Вам хочется, чтоб я позволила вам поцеловать себя наедине, где-нибудь в тени чинар, лимонов?

Апрянин. Лимонов можно достать, Софья Александровна!

Камаржинцев (*с досадою*). Ты лучше молчал бы, Апрянин!

Набойкин. Браво, Апрянин! Софья Александровна! Апрянину грош! (*Тихо ей.*) Какие у вас, однако ж, чудесные плечи!

Софья Александровна (*иронически, вполголоса*). Клаверов тоже находит это.

Набойкин (*тихо*). Всё для Клаверова!

Софья Александровна (*тоже*). Не для вселенной же! (*Вслух.*) Мсьё Набойкин! вы видите, что Петербург послужил мне в пользу и что я не долго хожу за ответом!.. Так мы сегодня веселимся, messieurs! (*Зевает.*)

Набойкин. Ну, поначалу это не заметно... Софья Александровна! распустите вашу косу теперь!

Софья Александровна. Ну нет, это будет pour la bonne bouche [3], за ужином!

Набойкин. Тогда Бобырев не позволит!

Софья Александровна. Хотела бы я видеть это! Успокойтесь, он не будет с нами ужинать! Он уйдет куда-нибудь с Свистиковым есть яичницу!

Набойкин. В самом деле, какой он странный, этот Бобырев!

Софья Александровна. Совсем он не странный! он глуп, и больше ничего! Ах, да не говорите вы мне об нем! У меня все нервы... я готова заплакать, когда об нем говорят! Что это наши messieurs так долго!

Лакей вносит чай.

Servez-vous, messieurs! [4]

---

[1] Позвольте.
[2] И что за выражения! как этот человек тривиален!
[3] напоследок.
[4] Пожалуйста, господа!

Набойкин. А знаете ли, Софья Александровна, в последний раз Бобырев серьезно обиделся, когда увидал, что я смотрел в замочную скважину...

Софья Александровна. А кто же позволил вам смотреть?

Сильный звонок в передней.

А вот и messieurs! Господа! прошу вас не забывать, что князь сегодня в первый раз у меня!

СЦЕНА V

Те же, князь Тараканов и Обтяжнов.

Обтяжнов *(за кулисами)*. Так возьми же все это, любезный, и, когда Софья Александровна прикажет подавать ужинать, приготовь... *(Входит, вслед за ним князь.)* Любезной хозяйке! *(Подходит к руке Софьи Александровны.)*

Софья Александровна. Ну вот теперь можно! по крайней мере, вы начинаете заслуживать! Mon prince! [1]

Князь Тараканов. Извините, Софья Александровна, что я позволил себе на первый раз явиться к вам вечером, но Клаверов меня уверил, что вы будете так добры — простите мне мое нетерпение...

Софья Александровна. Очень рада, князь! и очень обязана Клаверову! Вы знакомы, messieurs.

Князь жмет руки прочим присутствующим.

Князь Тараканов *(в сторону)*. Где же муж? а нельзя не сознаться: хороша. Клаверов рассчитал верно! *(Вслух.)* Я давно искал чести быть представленным вам, Софья Александровна, и теперь мне остается только жалеть, что счастливый случай, которым я нынче пользуюсь, представился слишком поздно.

Софья Александровна. Разве вам что-нибудь препятствовало?

Князь Тараканов. Мне как-то не удавалось до сих пор сойтись с Николаем Дмитричем, хотя мы несколько и знакомы, потому что я видал его у Клаверова.

Софья Александровна. Вы можете быть уверены, что муж будет всегда рад видеть вас у себя. Впрочем, я должна заранее просить вас извинить его: он почти постоянно так занят, что выходит к нам очень редко.

---

[1] Князь!

Обтяжнов. Николай Дмитрич предпочитает уединенное плавание в сфере высших государственных соображений беседе с такими вертопрахами, как мы. Это человек серьезный, князь,— ну, и пускай себе остается в своих сферах! То-то, воображаю, какие он выделывает теперь пером штуки на пользу общую!

Софья Александровна. По бесцеремонности, с какою выражается мсьё Обтяжнов, вы можете заключить, князь, что мы здесь не очень-то женируемся.

Обтяжнов. Ведь этакая вы обидчица, Софья Александровна! Ну, что бы, кажется, я сказал такого... игривого? Вот другое дело за ужином...

Князь Тараканов *(в сторону)*. Еще бы церемониться! ужины на дом привозит! *(Вслух.)* Это делает еще более привлекательным ваше общество, в которое вы допускаете только избранных.

Софья Александровна *(томно, но не без горечи)*. Да, я не принадлежу к большому свету, и, признаюсь, даже не жалею об этом. Я думаю, что гораздо приятнее иметь общество маленькое, но связанное дружескими отношениями, нежели быть постоянно sur le qui vive [1]. Вы курите?

Князь Тараканов. Если позволите.

Софья Александровна. Пожалуйста.

Князь закуривает.

Вы любите музыку, князь?

Обтяжнов. Князь сам музыкант, Софья Александровна. У него отличный тенор.

Апрянин. Tamberlick a été délicieux ce soir! [2]

Камаржинцев. Ut-dièze! [3] Помнишь, Апрянин? *(Пробует что-то спеть, но, видя, что Софья Александровна смотрит на него с удивлением, конфузится и умолкает.)*

Софья Александровна. J'aime assez Tamberlick [4]. В его голосе есть что-то мужественное, quelque chose d'entraînant [5]. *(Князю.)* Я тоже пою. Если хотите, мы будем иногда петь вместе...

Общее безмолвие.

Ah! Dieu! Dieu! [6] скажите, messieurs, отчего так скучно жить на свете?

---

[1] настороже.
[2] Тамберлик сегодня был восхитителен.
[3] До-диез!
[4] Мне нравится Тамберлик.
[5] что-то увлекательное.
[6] О! боже, боже!

Обтяжнов. Помилуйте, царица! Уж коли вам скучно, кому же после этого весело!

Софья Александровна. А почему же вы думаете, gros-papa[1], что мне должно быть веселее, нежели другим?

Обтяжнов. Да потому, что у вас и красота, и талант, и все такое...

Софья Александровна. В особенности мило это «все такое». Нет, серьезно, мне скучно! Иногда вдруг какое-то странное желание овладевает мной: хотелось бы скрыться, лететь... Вы не испытывали этого, князь?

Князь Тараканов. Признаюсь вам, Софья Александровна, наша жизнь слишком занята, чтоб нашлось в ней место для мечтаний...

Обтяжнов. Это оттого с вами бывает, Софья Александровна, что вы еще растете — право-с! Когда я был маленький, мне беспрестанно представлялось, что я лечу; ну, а с тех пор перестал летать.

Набойкин. А вы давно были маленьким?

Князь Тараканов. Господа! в каком виде можно вообразить себе Обтяжнова маленьким?

Апрянин. Я воображаю себе Савву Семеныча за тетрадкой!

Камаржинцев. Я воображаю его себе кушающим чай с булкой!

Набойкин. А я воображаю его себе пристающим к своей кормилице!

Обтяжнов. Ну, вот это так! а то «тетрадка», «чай с булкой»! Так и видно, господа, что вы сами недавно расстались с этими предметами! Угадали, Павел Николаич! Это правда, что я, можно сказать, еще у груди кормилицы чувствовал склонность к прекрасному полу, и с тех пор склонность эта постепенно во мне развивалась...

Князь Тараканов. А я, господа, воображаю себе Савву Семеныча, в качестве будущего откупщика, приучающимся давать взятки губернским и уездным властям!

Софья Александровна. Я думаю, что если это и не так поэтично, зато верно.

За сценой раздается смутный шум, за которым слышится голос Свистикова: «Оставьте, Николай Дмитриевич! нехорошо-с!»

Боже мой, да что там такое?

Ольга Дмитриевна *(за кулисами)*. Павел Николаич! mais venez donc![2] Господи! да что ж это такое?

---

[1] дедушка.

[2] да идите же!

Софья Александровна *(сконфуженная)*. Будьте так добры, мсьё Набойкин, посмотрите, что там с maman делается?

Набойкин уходит.

Обтяжнов. Верно, мышка пробежала... ну, известно, сейчас нервы и все такое...

Князь Тараканов *(в сторону)*. Ну нет, это не мышка, а голос Свистикова!

Общее неловкое молчание.

(Вслух.) Господа! нам когда-нибудь следует устроить для Софьи Александровны загородное катанье!

Обтяжнов. А что вы думаете! завтра же! зачем откладывать в долгий ящик!

Камаржинцев. Морозная ночь! Луна! Лихая тройка — c'est délicieux! [1]

Обтяжнов. Смотрите, вы не спойте нам «Вот мчится тройка удалая»!

Набойкин *(возвращаясь)*. Ничего; это Бобырев с Свистиковым разыгрались! Софья Александровна! Бобырев велел вам что-то сказать на ушко! *(Наклоняется к ней и говорит тихо.)* Николай пьян! Если возможно, поедемте лучше куда-нибудь в кабачок ужинать!

Софья Александровна *(с болезненной улыбкой)*. Это очень мило, что вы мне говорите! А впрочем, секрет за секрет! Мне тоже нужно сказать кое-что вам на ухо. *(Говорит ему тихо.)* Устройте это как-нибудь с Клаверовым, который, вероятно, сейчас придет... но какой стыд! *(Вслух.)* Pardon, messieurs, что мы тут секретничаем. Впрочем, тут и секрета нет: муж мой не совсем здоров, так его лечит Свистиков... друг его!

Князь Тараканов. А я надеялся, что буду иметь честь ближе познакомиться с Николаем Дмитричем.

Софья Алексадровна. Во всяком случае, не сегодня... Савва Семеныч! хоть бы вы спели что-нибудь! *(В сторону.)* Этот несносный Клаверов!

Обтяжнов. Я, Софья Александровна, знаю только одну песенку: «Вдоль по улице метелица метет», да и ту не пою, а только одним пальчиком на фортепьянах наигрываю!

Софья Александровна. Ну, и поиграйте!

В передней раздается звонок.

---

[1] это восхитительно!

Насилу! Павел Николаич! потрудитесь отпереть! Это, наверное, Клаверов!

Набойкин уходит.

Посмотрим, какого-то он приведет с собой литератора!

Апрянин. Я недавно одного литератора на Невском встретил, Софья Александровна!

Софья Александровна. Ну, и что ж?

Апрянин. Ничего, одет прилично; впрочем, он очень скоро сел на извозчика и уехал.

Камаржинцев. Нынче у многих литераторов даже кареты собственные есть, Софья Александровна!

СЦЕНА VI

Те же и Клаверов.

Клаверов. Мне крайне досадно, Софья Александровна, что наш литератор оказался так дик, что ни за что на свете не согласился поехать в порядочный дом! Я его так у Донона и оставил... но вы мне позволите покатать вас?

Софья Александровна. К Донону? Я с удовольствием, mais demandez d'abord à ces messieurs! [1]

Обтяжнов. Знаете что, Петр Сергеич, ведь нам тепло и у Софьи Александровны! Право, ваш литератор нас не интересует... да еще, может быть, он и насвистался там, в ожидании нашего приезда!

Клаверов. Ваша речь впереди, добрый старик! Я знаю, что вы приготовили Софье Александровне сюрприз, и сочувствую вам, но все-таки прежде всего надобно спросить о желании Софьи Александровны. Не правда ли, князь?

Князь Тараканов. Я нахожу, что нет ничего справедливее!

Обтяжнов. Всегда-то вот вы так, Петр Сергеич! Сидели мы тут без вас, горя не ведаючи, так нет-таки, нужно было вам всех смутить!

Набойкин. Да ведь вы слышали, Савва Семеныч, что Николай Дмитрич не совсем здоров!

Софья Александровна. Messieurs! я помирю всех! Вы поезжайте к Донону, а я останусь дома и буду ужинать с Саввой Семенычем!

Обтяжнов *(падая на колени)*. Царица! это будет счастливейшая минута в моей жизни!

---

[1] но спросите сначала у них!

Софья Александровна. При maman, Савва Семеныч, при maman!

Князь Тараканов. Нет, Савва Семеныч, позвольте вступиться и мне. Лишать целое общество наслаждения видеть Софью Александровну, затем только, что вы будете иметь удовольствие ужинать с нею при maman,— это никакими законами не допускается.

Клаверов. Итак, господа, к Донону! Софья Александровна! вы согласны?

Софья Александровна. Я согласна на все, что эти messieurs находят лучшим!

Обтяжнов. Воля ваша, а это, Петр Сергеич, грабеж!

За кулисами слышится сильный шум и крик Ольги Дмитриевны.

Свистиков *(за кулисами)*. Вот когда я пропал! Воля ваша, а я убегу-с!

Софья Александровна *(в сильном испуге)*. Allons-nous-en! allons-nous-en! [1]

СЦЕНА VII

Те же и Бобырев (совершенно пьяный).

Бобырев. Мое почтение, господа! Вы, кажется, увозите Софью Александровну с собой?.. что ж... в трактир... камелии так и следует! Софья Александровна! вы décolletée? [2] это недурно! *(Увидев Апрянина и Камаржинцева.)* Младенцы! вы-то что тут делаете?

Князь Тараканов *(в сторону)*. Так вот он, муж-то... impayable! [3]

Софья Александровна. Messieurs! Клаверов! да избавьте меня от этого человека! Maman! где же вы?

Бобырев. Maman не придет... у maman нервы страдают... да и к чему ей здесь быть? Ей ведь трактиры-то не в диковину... гусары... уланы...

Софья Александровна с ужасом смотрит на него.

Что ты на меня смотришь? ну да, ну да... гусары, уланы, вся кавалерия!

Клаверов. Ты, Бобырев, пьян!

---

[1] Уйдемте! уйдемте!

[2] декольтированы?

[3] уморителен!

Бобырев. Разумеется, пьян! а ты думаешь, я и не знаю, что пьян? Нет, ты лучше догадайся, зачем я напился?

Набойкин. Да ступай спать, Бобырев! *(Хочет увести его.)*

Бобырев. Не тронь меня, Набойкин! Ты дрянь! Шалимов пишет, что ты дрянь, и я с ним совершенно согласен! *(Клаверову.)* Так ты не догадываешься, Клаверов, зачем я напился пьян?

Клаверов презрительно пожимает плечами.

Да ты не пожимай плечами! я ведь сейчас и в порядок их приведу!

Софья Александровна слабо вскрикивает; князь Тараканов, Апрянин и Камаржинцев суетятся около нее.

Князь Тараканов. Pardon, Софья Александровна, я очень понимаю, как вам должно быть неприятно, что тут посторонние, но ваше положение таково... *(Жадно впивается в нее глазами.)*

Бобырев. Ничего, можете остаться, князек! ведь вы еще в трактир собрались ехать... я не препятствую! *(Клаверову.)* Я напился пьян для того, что мне необходимо сказать тебе при всех, что ты подлец, Клаверов.

Клаверов делает движенье вперед.

Да, ты подлец, подлец и подлец! Трезвый, я не сказал бы тебе этого!

Софья Александровна *(судорожно вскакивает и подбегает к Бобыреву, задыхающимся голосом)*. Вы мерзавец! вы пьяница, вы трус! вы последний из людей, вы... *(Рыдает и кричит.)*

Молодые люди, кроме Клаверова, поддерживают ее и уводят в соседнюю комнату.

Занавес опускается.

ДЕЙСТВИЕ IV

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Клаверов.
Набойкин.
Князь Тараканов.
Софья Александровна Бобырева.
Ольга Димитровна.

Декорация 1-го действия, девять часов утра.

Клаверов *(один)*. Ну вот, я и добился... только чего добился? Сколько глупейших происшествий случилось в одну ночь, и как иногда одно нелепое мгновение может перевернуть вверх дном целую жизнь человека! И от кого? от какого-нибудь негодяя трусишки, которому, для храбрости, вздумалось напиться пьяным! Фу, боже! да неужели я в самом деле оскорблен? неужели я должен требовать удовлетворения? Какая глупость, какая досадная, пошлая глупость! Ведь встречаются же такие положения в жизни: точно горячечный бред вдруг охватит человека! Ощупываешь себя, прислушиваешься к своему голосу, спрашиваешь себя: я ли это, со мной ли все это делается?.. и — о, черт возьми! — оказывается, что это я, что я цел-целехонек, что невероятное не только вероятно, но даже верно!.. Да нет, однако, неужели я должен разом испортить все свое будущее? Дуэль! ведь это такой вздор... ведь это совсем глупо! Мне, наконец, нельзя выходить на дуэль! Как делают эти старцы, что их никто не оскорбляет, что оскорбления, если они и бывают, скользят по ним! Или в нас еще тлятся какие-то жалкие остатки юношеской щепетильности, или мы недостаточно сравнялись с старцами в ничтожестве? Да, в нас что-то осталось; нас держит в руках и глупая связь с прошедшим, с школою, и наше собственное фальшивое положение. В глазах всех, кроме канцелярских чиновников, мы еще мальчишки, и в этом качестве должны и вести себя как мальчишки. К нам нет страха, наши действия может судить всякий; мы не можем сказать: цыц! — потому что сами не раз протестовали против этого «цыц». Мы не смеем оставаться равнодушными к оскорблениям не потому, чтобы чувствовали особенную наклонность обижаться, а просто потому, что нас могут оскорбить еще более. Гадкое ремесло! нас не защищают ни седые волосы, ни физические немощи — ни одно из тех удобств, которыми украшаются милые старички. Да, ремесло отвратительное и опасное, а нести его надо! Каким образом уладить это пошлое дело? Какие новые уступки сделать, какую новую комбинацию придумать? Но, может быть, Бобырев извинится, может быть, он сознается, что был пьян... да это дело невозможное! *(Задумывается.)* Нет, черт побери, как ни кинь, все клин! Тут был Тараканов, тут были младенцы — все видели, все слышали! Кто может поручиться, что сегодня же не звонят об этом во все колокола во всех канцеляриях, во всех начальственных передних? Что̀ сделал Клаверов? Гм... что̀ сделал Клаверов? Если я поведу себя благоразумно — меня назовут трусом, от меня все отвернутся; если

я вступлюсь за свою честь, если я вызову этого пьяницу — моя карьера испорчена... хороша перспектива и в том и в другом случае! И не то поставят мне в вину, что я развратил женщину, что сделал из нее орудие, а то, что я не сумел так устроить дело, чтоб все было шито и крыто! Подлость позволительна, даже в известной степени допускается, как необходимая приправа жизни, но неумение, но глупость — вот где настоящее преступление, вот где позор! Нет, нужно кончить это дело во что бы то ни стало! Что пользы в том, что стая мальчишек будет говорить, что Клаверов поступил как благородный человек, если Клаверову, после этого благородного поступка, придется стереться с лица земли! Сила не в мнимо-благородных поступках, сила во власти, сила в том, чтоб удержать за собой свое положение! *(Садится к столу, пишет и потом звонит.)*

Входит лакей.

Курьер воротился?

Лакей. Павел Николаич приказали сказать, что сейчас будут.

Клаверов. Хорошо; вот отдай курьеру эту записку и скажи, чтоб он сейчас же ехал с нею к молодому Тараканову.

Лакей. Вас, сударь, Софья Александровна спрашивают.

Клаверов. Ка̀к Софья Александровна? что такое?

Лакей. Точно так-с. Сейчас пожаловали.

Клаверов. Так иди же, проси! Да когда Набойкин придет, попроси его подождать, а сам войди сюда и доложи, что от князя чиновник с бумагами... понимаешь?

Лакей уходит.

Софья Александровна! Однако дело-то, кажется, не на шутку разыгрывается!

СЦЕНА II

Клаверов, Софья Александровна.

Клаверов. Что с вами, Софья Александровна? Что с тобой, Sophie? *(Берет ее за талию и усаживает на диван.)* Как ты бледна, моя девочка!

Софья Александровна. Я ушла от мужа; я не могу жить с ним... Если б вы знали, Клаверов!.. он... mais il m'a maltraitée, le lâche![1] *(Вздрагивает от волнения.)* Да, он бил

[1] ведь он со мной был так груб, низкий человек!

меня, Клаверов! Если б вы видели! ах, если б вы видели! *(Рыдает.)* Я не плакала... я испугалась; я думала, что он убьет... Он бил меня, Клаверов, бил!

Клаверов. Какое гнусное животное! Но каким же образом до этого допустили! где же была maman?

Софья Александровна. Maman заперлась в своей комнате... ах, если б вы видели, Клаверов, ка̀к он был страшен! Он разорвал на мне все платье... и какие он гадости мне говорил! как он называл меня! Ах нет, возьмите, возьмите меня от него! Я ни за что... нет, я ни за что не пойду к нему! Я, право, не могу даже рассказать вам, что такое там было!

Клаверов. Успокойся же, моя девочка!

Софья Александровна. Ах нет, я не пойду! возьмите, ради бога, возьмите меня от этого человека!

Клаверов *(в сторону)*. Черт возьми, однако ж, вот история-то! *(Вслух.)* Да как же это сделалось? Каким образом ты пустила его в свою комнату?

Софья Александровна. Сначала я заперлась, но он начал стучаться — не могла же я не отворить ему? Он так стучал, что в целом доме было слышно... Боже! что̀ он со мной делал! что он мне говорил! Ах, как он был отвратителен, если б ты видел!

Клаверов. Что ж он теперь делает? и как ты ушла?

Софья Александровна. Он спит... он еще пьян! Мне кажется, что он и во сне-то пьян! Он даже не слыхал, как я ушла. Pierre! да утешь же меня, скажи, что я к нему не пойду!

Клаверов. Конечно... так жить невозможно... Я сегодня же поговорю об этом князю: вероятно, он найдет средство как-нибудь устроить это дело...

Софья Александровна. Ах нет, не князю! ради бога, не князю! Я не хочу этого, ты пойми, что я не хочу... Что ж это со мной будет? Да и что тут устраивать? Pierre! я не пойду к мужу! я сказала, что не пойду!

Клаверов. Да успокойся же, моя птичка! *(В сторону.)* О, черт возьми, какая история! *(Вслух.)* Я и сам еще хорошенько не знаю, что говорю! дай мне подумать, дай прийти немного в себя! Ведь ты меня любишь, девочка?

Софья Александровна. Ах, Pierre!

Клаверов. Ну, вот видишь ли! Следовательно, тебе надо слушаться! Пойми, мой ангел, что в такие минуты, как теперешняя, нельзя вдруг все обнять! *(Ласкаясь к ней.)* Ведь это почти государственный вопрос! Ну, давай станем делать предположения!

Софья Александровна *(улыбаясь)*. Станем.

Клаверов. Предположим, например, что ты останешься у меня.

Софья Александровна нежно смотрит на него.

Ну да, ну да! отчего же этого не предположить? Итак, предположим, что ты остаешься у меня — что из этого может выйти? *(Становится на колени и целует ее руки.)* Из этого может выйти, что я целые часы буду простаивать на коленях и целовать твои милые ручки! *(Смотрит на нее, как бы выжидая ответа.)*

Софья Александровна молчит.

Тебе это как будто неприятно, Sophie?

Софья Александровна. Ах нет, мне это не неприятно! Я только думаю... зачем ты мне говоришь об этом... теперь?

Клаверов. Милая! да разве можно, видя тебя, думать о чем-нибудь другом?

Софья Александровна слегка пожимает плечами.

Ну, не сердись же; будем говорить серьезно, если ты этого непременно хочешь! Итак, предположим, что ты останешься у меня — потом что? Потом предположим, что мы пригласим maman... какую роль, однако ж, может играть при этом maman? Ma chère! ведь при ней мне нельзя будет целовать твои ручки!

Софья Александровна *(грустно и не без некоторого изумления)*. Да, она может помешать.

Клаверов. И — что важнее всего — ей самой, быть может, не по вкусу придется оставаться здесь... Знаешь ли, Sophie, мне кажется, что и тебе...

Софья Александровна смотрит на него боязливо.

Ведь только те люди имеют право не обращать внимания на общественные отношения, которые, так сказать, не вышли еще из естественного состояния...

Софья Александровна *(робко)*. Pierre! как ты говоришь странно!

Клаверов *(в сторону)*. Проклятая рутина! все думается, что я в департаменте и желаю бросить пыль в глаза чиновникам! *(Вслух.)* Pardon, chère! Я, кажется, сказал глупость! Итак, сделаем другое предположение. Предположим, что ты на время поселишься в гостинице вместе с maman...

Софья Александровна *(иронически)*. «Что из этого выйдет»?

Клаверов. Ну да, что из этого выйдет?

Софья Александровна. Из этого выйдет что-то очень странное... Оставим лучше предположения! Знаете ли, Клаверов, что в эту минуту мне как-то ужасно вдруг стало грустно!

Клаверов. Это очень натурально; такое положение...

Софья Александровна. Нет, не то; но мне в первый раз еще приходится взглянуть на жизнь серьезно... Мне кажется, что до сих пор я видела какой-то радужный... и даже немного пошлый сон!

Клаверов. Я не понимаю тебя, Sophie! Что могло навести тебя на такие странные мысли? Уж конечно, ты не можешь сомневаться, что я с своей стороны...

Софья Александровна. Ну да, я верю. Но ведь странно, не правда ли, что жизнь, которую я до сих пор вела, вдруг потеряла для меня все очарование? Мне теперь кажется, что я не жила, а играла... и даже не хорошо играла, Pierre!

Клаверов. Что, это раскаянье?

Софья Александровна. Нет, это не раскаянье... зачем раскаянье? Это просто размышление... ну да, это минутное размышление, которое, я надеюсь, пройдет само собою... Итак, будем продолжать делать предположения... что бы еще предположить? Предположим, например, что я пойду теперь на улицу — что из этого может выйти?

Клаверов. Какое странное предположение! Кто же допустит тебя до этого?

Софья Александровна. Не мешай мне, Pierre! Я хочу знать, что из этого может выйти? Из этого... знаешь ли, однако ж, какая это странность... я... я не могу даже сыскать ответа на этот вопрос!

Клаверов. Sophie, ты меня решительно не понимаешь! Ты сердишься на меня, ты колешь меня! Но ведь не виноват же я, что все это так неудобно сложилось. Конечно, я некоторым образом сам вовлек тебя и, следовательно, обязан...

Софья Александровна судорожно смеется.

Ты смеешься?

Софья Александровна. Я смеюсь тому, что ты говоришь об неудобствах!

Клаверов *(с досадой)*. Я тут не вижу ничего смешного! *(Встает и начинает ходить по комнате.)* Ты, как женщина, разумеется, не можешь понять... *(Хватается за голову руками; с отчаяньем.)* Эта проклятая служба! и как нарочно, у меня сегодня доклад!

Софья Александровна. А! сегодня доклад! ты не забыл об этом!

Клаверов. Ты странная, Sophie! Опять-таки повторяю: ты не понимаешь меня! Тут совсем речь не об докладе...

Софья Александровна. Так об чем же?

Клаверов. Я просто хочу сказать, что обстоятельства складываются досадно. *(Садится около нее.)* Sophie! неужели ты могла подумать, что я не люблю тебя?

Софья Александровна. Нет, ты любишь меня *(вздрагивая)*, но ты еще больше любишь удобства. Впрочем, я мешаю тебе, тебе пора на службу! Но куда же я должна идти?

Клаверов. Это смешно, Sophie! Неужели ты думаешь, что я не пожертвую для тебя одним днем службы? Дело не в том...

Софья Александровна. Ах, да я вижу, в чем дело! *(Встает.)* Куда же я пойду? Клаверов! да сжальтесь же надо мной! Скажите что-нибудь! Неужели вы хотите, чтоб я возвратилась к мужу... чтоб меня били? Ведь это ужасно!

Клаверов угрюмо молчит

Да ответьте же мне! скажите прямо, хотите вы, чтоб я возвратилась к мужу?

Клаверов. Я не знаю... я сам совершенно растерялся... Коли хотите, конечно, вы поступили неосторожно...

Софья Александровна. Неосторожно?

Клаверов *(с досадой)*. Ну да, неосторожно! Уж если вы требуете, чтоб я был откровенен, я не вижу, почему бы мне не высказать вам...

Софья Александровна. Хорошо; положим, что я поступила неосторожно; положим, что я должна была остаться и терпеть, но ведь я уж поступила так, но ведь этого не воротить! Что же теперь-то, теперь-то остается мне делать?

Клаверов. Прежде всего, мне кажется, надо послать к maman и сказать ей, что вы здесь...

Софья Александровна. Да посылайте же, посылайте скорее!

За дверьми раздается осторожный звук.

К вам кто-то пришел?

Клаверов *(подходя к двери)*. Кто там?

Лакей *(за дверью)*. Чиновник от князя с бумагами.

Клаверов. Вот моя жизнь! ни одной минуты свободы!

Софья Александровна. Его отослать нельзя?

Клаверов. Можно... да... конечно... можно!

Софья Александровна. Нет, я вижу, что нельзя; я уйду в другую комнату, только, бога ради, пошлите сейчас за maman! *(Уходит налево.)*

Клаверов тщательно запирает за нею дверь и опускает портьеры.

СЦЕНА III

Клаверов, лакей; потом Набойкин.

Клаверов *(лакею)*. Сейчас же поезжай к Бобыревым, вызови Ольгу Дмитриевну и скажи ей, что Софья Александровна здесь и просит приехать за ней теперь же.

Лакей уходит.

Нет, надобно как-нибудь развязать этот узел!

Набойкин. Извини, пожалуйста, Клаверов, что опоздал: сейчас только с постели.

Клаверов. Тише... тут Бобырева! *(Указывает на дверь, в которую вышла Софья Александровна.)*

Набойкин. Как? теперь?

Клаверов. Ну да, теперь. Только, если ты думаешь, что я en bonne fortune[1], то очень ошибаешься. Это bonne fortune, в которой главную роль играет драка и тому подобные удовольствия... не веришь? Серьезно уверяю тебя, что проклятее моего положения едва ли можно себе представить! Вчера Бобырев с пьяных глаз наговорил мне дерзостей, а сегодня Софья Александровна жалуется, что он прибил ее... Бог знает куда я впутался!

Набойкин. Какая скотина этот Бобырев!

Клаверов. Это несомненно, что скотина, но, к несчастию, не в том дело. Скотство его при нем и остается, да я-то, я-то какую тут роль играю?

Набойкин. Ты играешь роль человека, к которому рано утром приезжают хорошенькие женщины... что ж, это еще недурно!

Клаверов. Гм... да, это недурно. А знаешь ли ты, между прочим, что я всю эту ночь не спал и что всю ночь у меня не выходило из головы вчерашнее глупейшее происшествие?

Набойкин. Mon cher! да ведь это вздор!

Клаверов. Совершенно с тобой согласен. Я даже думаю, что это более нежели вздор: это просто постыдное дело, кото-

---

[1] мне повезло.

рое требует вмешательства полиции, а не порядочных людей. К сожалению, однако ж, Бобырев принадлежит к тому же обществу, к которому принадлежу и я; к сожалению, ни пьянство, ни глупость, ни всякое другое нравственное безобразие не дают ему привилегии оскорблять безнаказанно; к сожалению, оскорбление, им нанесенное, не просто укушение обозлившейся от тунеядства собаки, а оскорбление действительное, нанесенное равным равному... видишь ли ты, сколько тут разных «к сожалению»? А если ко всему этому еще прибавить сегодняшний поступок Софьи Александровны, то дело, очевидно, перестает быть вздором.

Набойкин. Скажи мне, однако ж, что такое произошло между Бобыревыми?

Клаверов. Ну все, что обыкновенно происходит в таких случаях, когда супруг пьян, а супруга немного провинилась. Знаешь ли что, Набойкин? Быть может, ты когда-нибудь позавидовал мне; быть может, ты когда-нибудь подумал: счастливец этот Клаверов! Так разуверься же, мой милый! Каторжнее той жизни, которую я веду, нельзя вести. Это какой-то проклятый водевиль, к которому странным образом примешалась отвратительная трагедия...

Набойкин. Воля твоя, а ты преувеличиваешь, Клаверов. Вероятно, Бобырев проспался и в настоящую минуту уж трусит; хочешь пари, что он также уж посылал за мной?

Клаверов. Также... то есть, так же, как и я?

Набойкин. Позволь, однако ж...

Клаверов. Не в этом дело. Пожалуй, я и на это согласен; я действительно не принадлежу к числу средневековых героев и положительно считаю дуэль предрассудком. В этом отношении мы сходимся с мсьё Шалимовым. Однажды, когда он ораторствовал в своем сенакле против поединков, я спросил его, что же он думает сделать в случае личного оскорбления? Для меня не может быть личного оскорбления, отвечал он и, по-моему, был прав... По крайней мере, я нахожу это теперь, когда испытал на практике, что значит личное оскорбление... Не правда ли, однако ж, странно, что мы в чем-нибудь сходимся с Шалимовым?

Набойкин. Да, это вещь не совсем обыкновенная.

Клаверов. До такой степени мало обыкновенная, что мы сейчас же и разойдемся. Вся беда в том, что ответ Шалимова не ответ, а уклонение от ответа. Он оставляет в тени практическую сторону дела, которая, собственно, и составляет камень преткновения. В самом деле, как тут поступить? Покраснеть ли и бросить на оскорбителя кроткий, прощающий взор, поднять ли горделиво голову и с молчаливым презреньем пройти среди

изумленной толпы? Все это на практике разрешается крайне трудно. Быть может, в представлении Шалимова, вместе с теорией, соединяется и какая-нибудь практика; быть может, он и действительно сумеет таким образом перенесть оскорбление, что никому и на ум не придет подумать, что он оскорблен; но я... я этого не могу! Не потому не могу, чтобы я сгорал желанием оскорбиться во что бы то ни стало, а просто потому, что я *обязан* оскорбиться!

Набойкин. Воля твоя, Клаверов, я что-то этих тонкостей не понимаю!

Клаверов. Ну, я когда-нибудь растолкую это тебе на досуге, а теперь буду продолжать. Несмотря, однако ж, на то что в практических результатах мы расходимся с Шалимовым, в сущности я все-таки желаю как можно менее расходиться с ним. Как ты хочешь, а потерять разом все, что устраивалось ценою стольких трудов, стольких усилий, стольких...

Набойкин *(в сторону)*. Стольких et cætera[1]... *(Вслух.)* Я вполне понимаю тебя, Клаверов! Vous êtes un noble cœur![2] *(Жмет ему руку.)*

Клаверов. Мне представляется двоякий исход. Если я потребую у Бобырева удовлетворения, я должен испортить всю свою карьеру — это ясно как день. Что бы из этого ни вышло, я все-таки буду обвинен, потому что человек, занимающий известное положение в административном мире, не имеет права быть мальчишкой. С другой стороны, если я вытерплю равнодушно, если я сделаю вид, что все происшедшее до меня не относится... но ведь тут были свидетели, Набойкин! но ведь я опозорен, но ведь от меня отвернется все общество!

Набойкин. Ах, полно! Ну, конечно, в первые минуты будет не совсем ловко...

Клаверов. А потом привыкнут... то есть я стану в положение человека, к которому будут привыкать... не правда ли, ведь ты эту роль мне предназначаешь?

Набойкин. Да успокойся, mon cher!

Клаверов. Но каково же мне будет прожить эти первые минуты! Ведь на этих первых минутах зиждется вся история, любезный друг! Я знаю, что впоследствии, то есть когда все обойдется, обомнется и оботрется, не только отдельный человек, но и целые народы забывают... забывают даже свое рабство, свой собственный позор, но первые минуты!..

Набойкин. Опять-таки повторяю тебе, Клаверов, что ты преувеличиваешь самое происшествие!

---

[1] и прочее.
[2] У тебя благородное сердце.

Клаверов. Но предположим, что будет так; допустим, что ко мне привыкнут,— и все-таки этого будет недостаточно! Тут есть еще третья, и притом самая скверная, сторона — это женщина, которая у меня на руках и которая не хочет слышать о том, что у человека могут быть свои обязанности, что человек может быть поставлен в известные обстоятельства...

Набойкин. Ну да, теперь я понимаю. В этом отношении, конечно, положение твое не из самых завидных.

Клаверов. Прошедшую ночь все мои мысли были как-то разбросаны. Я даже думать не мог. Все это представлялось мне каким-то хаосом, какою-то нелепою, невероятною неожиданностью. Точно не меня, а постороннее лицо оскорбили, точно я не более как свидетель всего этого безобразия! Но теперь мало-помалу хаос проясняется; по крайней мере, я вижу мое положение и вижу необходимость решить его так или иначе...

Набойкин. Что же ты думаешь сделать?

Клаверов. А вот послушай, Набойкин! я обращаюсь к тебе, как к старому товарищу, который не покривит душою, и прошу тебя отвечать мне по совести. Скажи, сто́ит ли того моя карьера, чтоб держаться ее?

Набойкин. Еще бы!

Клаверов. Нет, ты пойми меня. Ты скажи, стоит ли она этого не в том только смысле, что удовлетворяет моему личному самолюбию и доставляет мне средства к жизни, но и в том, что она полезна не для меня одного, а вообще... но ты понимаешь?

Набойкин. Какое же может быть в этом сомнение! Начать с того, что дело, которому ты служишь, потеряет в тебе самого способного и самого преданного своего деятеля! Нет, Клаверов! ты не принадлежишь самому себе... ты просто не имеешь даже права обращать внимание на подобные пустяки!

Клаверов. Это-то именно я и желал знать. Стало быть, по-твоему, надобно во всяком случае покончить с этим глупым делом. Теперь весь вопрос в том, каким образом достигнуть этого. Прежде всего Софья Александровна...

Набойкин. По моему мнению, прежде всего надобно заставить Бобырева извиниться перед тобой и потом уверить, что относительно его супружеского благополучия все обстоит в том же положении, как было до свадьбы! *(Хохочет.)*

Клаверов. Любезный друг! уж ты бы предоставил Обтяжнову острить на эту тему!

Набойкин. A propos! хочешь пари, что Обтяжнов в настоящую минуту обдумывает, как бы половчее и вместе с тем без больших издержек предложить руку и сердце Софье Александровне?

Клаверов. Все это очень правдоподобно, но дело в том, что подобные разговоры отвлекают нас от нашего предмета. Итак, прежде всего меня заботит Софья Александровна. *(Переходит в генеральский тон.)* Ты понимаешь, любезный друг, что это женщина, которая многим для меня пожертвовала, которую я — конечно, совершенно против воли — поставил в неприятное положение... понятно, следовательно, что я желаю что-нибудь сделать для нее...

Входит лакей.

Лакей. Князь приехал.

Клаверов. Ну вот и кстати: он нам поможет в наших соображениях. Проси.

СЦЕНА IV

Те же и князь Тараканов.

Клаверов *(идя навстречу князю)*. Князь! я к вам с просьбой! Во-первых, прошу извинить за вчерашнюю неприличную сцену, которой я послужил совершенно невольным поводом; во-вторых... но, вероятно, вы сами догадываетесь, что именно должно составлять предмет моей просьбы. *(Принимая благородную осанку.)* Такое странное происшествие, конечно, не должно, не может остаться без последствий...

Князь Тараканов *(закуривая сигару)*. Я совершенно с вами согласен, Клаверов!

Клаверов *(несколько поперхнувшись ответом князя)*. Вы понимаете, князь, что хотя Бобырев оскорбил меня в таком виде, который исключает всякую идею о вменяемости, хотя он, сверх того, мой подчиненный, но, к сожалению, он принадлежит к тому же общественному кругу, к которому имею честь принадлежать и я; но, к сожалению, он не пользуется еще привилегией оскорблять безнаказанно...

Набойкин *(в сторону)*. Черт возьми, однако ж, как патрон-то мало разнообразен!

Князь Тараканов. Я совершенно с вами согласен, Клаверов!

Клаверов. Следовательно... вы думаете, князь, точно так же, как и я, что мне необходимо потребовать от Бобырева удовлетворения?

Князь Тараканов. Я вполне того же мнения, как и вы, Клаверов.

Клаверов с тоской смотрит на Набойкина.

Набойкин. Pardon, messieurs. Как человек, приглашенный Клаверовым быть участником в этом деле, я считаю необходимым высказать свое мнение. Я нахожу, что Клаверов очень хорошо выразился, сказав, что положение, в котором вчера находился Бобырев, устраняет всякую идею о вменяемости. Да, это именно то самое выражение, которое следует употребить в настоящем случае. Следовательно, если Бобырев, как я надеюсь...

Князь Тараканов. Я совершенно с вами согласен, мсьё Набойкин. Вы понимаете, Клаверов, что для меня решительно все равно, что у вас там происходит. Впрочем, нет, не совсем все равно, потому что вы чертовски рано подняли меня сегодня!

Клаверов *(сконфуженный)*. Позвольте, князь; я думал, что вы, как человек мне близкий, примете в этом деле участие... *(В сторону.)* О, черт возьми, так бы, кажется, и задушил эту мерзкую гадину!

Князь Тараканов. Ну да, Клаверов, я вас люблю... я вас люблю, потому что вы служите... нет, не то! я вас люблю, потому что дядя глубоко уважает ваши способности... Скажите, в чем именно я могу быть вам полезным?

Клаверов. Да нет, князь, судя по тому, как вы смотрите на мое дело, я нахожу, что мне остается только извиниться перед вами в том, что так рано побеспокоил вас.

Князь Тараканов. Уверяю вас, Клаверов, что смотрю на ваше дело точно так же, как и вообще на все дела на свете. В этом случае у меня своя собственная философия, в силу которой я нахожу, что нет в мире ни добра, ни худа, что все относительно и что, следовательно, всякий сам наилучший судья в своем деле. Вы находите, что полученное вами вчера оскорбление...

Клаверова подергивает.

Послушайте, Клаверов, зачем вы волнуетесь? не могу же я сказать, что это не оскорбление! Итак, вы находите, что вчерашнее оскорбление требует сатисфакции,— я согласен с вами: мсьё Набойкин, напротив того, доказывает, что вчерашняя сцена есть следствие одного недоразумения,— я и с ним согласен! Потому что ведь это относительно, Клаверов!

Клаверов. Но я желал бы именно знать, ка́к поступили бы вы на моем месте?

Князь Тараканов. Ах, Клаверов, зачем вам добиваться этого? Да притом же — извините за чистосердечие — мне кажется, что вы поставили вопрос совершенно не так, как бы следовало его поставить. Если б вы спросили меня, ка́к бы

я поступил на своем собственном месте, я бы еще мог что-нибудь отвечать вам, хотя, впрочем, и не ответил бы, потому что это моя тайна, но что же могу я ответить, собственно, на ваш вопрос? Разве то, что я поступил бы точно так же, как и вы, то есть спросил бы другое лицо, ка́к бы оно поступило, будучи на моем месте.

Клаверов делает движение.

Да не сердитесь, Клаверов; поймите, что вы, во всяком случае, можете рассчитывать и на мой совет, и на мое содействие, и на мою скромность... да, и на мою скромность, потому что, говоря откровенно, я просто не вижу ничего забавного в том, чтобы выболтать всякому встречному, что я вчера был свидетелем, как господин Бобырев оскорбил Петра Сергеича Клаверова. На одно только прошу вас не рассчитывать,— это на то, чтобы я вздыхал, ахал и плакал: чувствительность положительно не в нравах моих. Итак, messieurs, высказавши перед вами мою profession de foi [1], я полагаю, что мы можем продолжать...

Набойкин. Я нахожу, князь, что кроме того, что Бобырев был вчера в самом странном положении...

Князь Тараканов. Да, странном — c'est le mot! [2]

Набойкин. Кроме того, есть еще другое соображение, которое в этом деле должно иметь решительную силу...

Князь Тараканов. Послушаем ваших соображений, мсьё Набойкин! Vous voyez, messieurs: je suis bon enfant! [3]

Набойкин. Соображение это заключается в том, что Клаверов занимает известное положение в административной сфере и что в этом качестве он не просто частное лицо, а некоторым образом деятель политический...

Князь Тараканов. Да... это соображение очень веское.

Клаверов. Позволь, однако, Набойкин, не о том речь...

Набойкин. Ну нет, Клаверов, теперь твое дело сторона. Теперь это дело между мною и князем; мы обсудим его со всех сторон, и когда мы кончим, ты должен будешь безусловно покориться тому решению, которое мы положим.

Князь Тараканов. Разумеется, Клаверов, вы не можете быть судьей в своем деле... я нахожу ваше мнение совершенно справедливым, мсьё Набойкин. *(В сторону.)* Mais quelle comédie de chenapans! [4]

---

[1] программу.
[2] вот самое подходящее слово!
[3] Видите, господа: я славный малый!
[4] Но что за мерзкая комедия!

Набойкин. Итак, я говорю, что Клаверов занимает известное положение в административной сфере, но этого, конечно, было бы недостаточно, чтоб не распространять на него общих условий и требований света. Главное заключается в том, что он занимает свой высокий пост с честью, что он полезен, что он необходим!

Князь слегка наклоняет голову в знак согласия.

Служат очень многие, но не многие представляют собой известное направление, олицетворяют известный принцип! С этой точки зрения Клаверов есть такая личность, в которой, можно смело сказать, нуждается вся благомыслящая часть русского общества!..

Клаверов. Но послушай же, Набойкин!

Князь Тараканов. Шт... Теперь ваше дело сторона!

Набойкин (*входя мало-помалу в азарт*). С этой точки зрения личность Клаверова приобретает значение совершенно особое; с этой точки зрения, нанести Клаверову оскорбление — значит нанести ущерб тому принципу, которому он служит,— не так ли? Засим, имеет ли он право рисковать собой? принадлежит ли он вполне самому себе? Вот вопросы, на которые я, по совести, не вижу никакого другого ответа, кроме отрицательного. Если б Бобырев оскорбил, например, меня, я не рассуждал бы; я просто потребовал бы от него удовлетворения, потому что тут дело шло бы между равными; но будь я на месте Клаверова, я положительно объявляю, что не обратил бы никакого внимания на сделанное мне оскорбление!

Князь Тараканов. Браво, мсьё Набойкин! Клаверов! по этим начальным выводам вы можете предугадывать, что, в сущности, распря ваша с Бобыревым заранее нами решена.

Набойкин. Представимте, например, князь, что какой-нибудь негодяй оскорбил вашего дядю...

Князь Тараканов. Нет, мы этого представлять себе не будем, cher мсьё Набойкин! Мы лучше оставим старика моего в стороне...

Клаверов. Набойкин! да разве ты не замечаешь, что князь шутит?

Князь Тараканов. Нет, Клаверов, я не шучу! повторяю вам, что я от всей души желаю быть вам полезным и в этом смысле вполне разделяю мнение мсьё Набойкина, что вам отнюдь не следует принимать горячо к сердцу оскорбление, нанесенное вам господином Бобыревым.

Набойкин. Не правда ли, князь? Следовательно, если насчет этого мы согласны, то весь вопрос заключается единственно в том, каким образом устроить, чтоб дело это умерло, так сказать, в самом своем рождении, чтоб отношения продолжались прежние, чтоб, одним словом, не осталось ни малейшего следа всех этих дрязгов?

Князь Тараканов. Да... в самом деле... ведь это вопрос весьма важный!

Клаверова сильно подергивает.

Набойкин. Да не волнуйся же, Клаверов! Предоставь нам с князем устроить это дело! Я полагаю, князь, что Бобырев в настоящую минуту сам не рад всему случившемуся, стало быть, есть все поводы думать, что с этой стороны дело уладится самым приличным для Клаверова образом. Бобырев извинится, Клаверов извинит — между старыми товарищами все это легко, все понятно. Точно так же легко будет устроить, чтоб Обтяжнов и младенцы были безмолвны...

Князь Тараканов. Да, ведь тут еще младенцы присутствовали — c'est grave! [1]

Набойкин. Младенцев можно заставить молчать — это я беру на себя. Я просто докажу им, что Клаверов поступил вполне великодушно и что в этом деле надо щадить Бобырева...

Клаверов. Да остановись же, Набойкин! ведь это просто невыносимо!

Князь Тараканов. Замолчите, Клаверов! ведь вас предупредили, что тут играет важную роль государственная необходимость, а государственная необходимость, разумеется, идет прежде всего...

Набойкин. Но здесь есть еще одно обстоятельство, которое гораздо важнее младенцев. Надобно вам сказать, князь, что Бобырев наделал глупостей...

Клаверов. Одним словом, князь, после нашего отъезда Бобырев поступил с своею женой до такой степени отвратительно, что она была вынуждена оставить его.

Набойкин. Это обстоятельство действительно усложняет дело, и если Софья Александровна сама не возьмется содействовать нам устроить ее примирение с мужем...

Князь Тараканов *(внезапно встает и берется за шляпу)*. Pardon, messieurs, но это действительно в такой степени усложняет дело, что я окончательно не могу присутствовать при дальнейшем разъяснении его.

---

[1] это серьезно!

СЦЕНА V

Те же и Софья Александровна.

Софья Александровна. Я попросила бы вас на минуту повременить, князь!

Князь Тараканов. Вы были здесь, Софья Александровна?

Софья Александровна. Да, я была в той комнате, и, как ни заботился мсьё Клаверов, чтоб я не слыхала, что здесь происходит, я многое слышала. Позвольте же мне самой принять хоть маленькое участие в тех заботах о моей судьбе, которые так обязательно взяли на себя эти господа. Петр Сергеич! вы так страстно желаете, чтоб я помирилась с мужем, что у меня нет сил лишить вас такого невинного удовольствия. Вы будете довольны мной: я сейчас же возвращаюсь домой и надеюсь, что всякие соображения, как вы любите выражаться, помогут нашему примирению.

Клаверов. Чтоб вы снова подверглись оскорблениям, чтобы снова какой-нибудь Бобырев осмелился поднять на вас руку — ни за что в свете!

Софья Александровна. Вы странный, Клаверов! Вы играете кожей, а не внутренностями, как выразился об вас когда-то мой муж... конечно, с чужих слов. Повторяю вам: я твердо решаюсь возвратиться к мужу. Я возвращаюсь к нему не потому, чтобы чувствовала какие-нибудь угрызения совести, чтобы вдруг открыла в нем какие-то достоинства... нет, я так же мало люблю его, как и прежде, и так же мало нахожу в нем привлекательного. Я просто возвращаюсь потому, что не могу сделать иначе, что над судьбой моей висит что-то тяжелое, что мне, одним словом, деваться некуда... *(Прерывающимся голосом.)* Да, вы показали мне жизнь в настоящем ее свете, Клаверов! вы сделали ее для меня гадкою!

Клаверов *(сентиментально)*. Жизнь не от нас зависит, Софья Александровна! Она отравляет нас в наших лучших стремлениях, она безжалостно срывает лучшие цветы на пути нашем!

Софья Александровна. Как вы удивительно выражаетесь, Клаверов! Позвольте мне, в свою очередь, дать вам полезный совет: выкиньте из головы, что вы директор департамента, и тогда, я уверена, вы будете выражаться свободнее. Таким образом, я возвращаюсь к мужу, messieurs, но только что за жизнь ожидает меня впереди! И скука, и упреки, и оскорбления — всё тут! *(Вздрагивает.)* Зато мсьё Клаверов избегнет скандала, зато никто не будет ему больше мешать

приготовляться к докладу, зато он сохранит свое место и не потеряет прав на всеобщее уважение... разумеется, если господа Камаржинцев и Апрянин будут достаточно скромны! Князь! вашу руку! *(Подает руку князю и хочет уйти.)*

СЦЕНА VI

Те же и курьер.

Курьер *(подавая Клаверову письмо)*. От господина Бобырева человек принес. Ждут ответа.

Клаверов. Скажи, что сейчас.

Курьер уходит.

Софья Александровна! одну минуту!

Софья Александровна останавливается.

(Клаверов распечатывает письмо и читает.) «Кажется, я вчера наделал тысячу глупостей, любезный Клаверов; если это так, то во всем виноват твой милый Свистиков, который *постепенно* накатал меня хересом до того, что я совершенно ничего не помнил, что делал. Во всяком случае, я желаю лично извиниться пред тобой и потому прошу уведомить меня, когда тебя можно застать дома. Бедная Соня так огорчилась всем происшедшим, что с раннего утра забралась к обедни»...

Общее изумление.

Набойкин *(первый приходя в себя)*. Ну вот, и прекрасно!

Князь Тараканов. Однако у вас отвратительно счастливая звезда, Клаверов!

Софья Александровна. Я надеюсь, что вы теперь довольны, Петр Сергеич! Но, о боже, какая же это гадость!

Клаверов. Господа! да нет, это не может так оставаться! Да объяснимтесь же, наконец! что же я должен, по-вашему, делать ввиду такого письма?

Софья Александровна. Ничего не делать: теперь я вам положительно запрещаю что-нибудь делать... Вы счастливы — чего же вам еще больше?.. ах, да что ж это за люди, боже мой! что ж это за люди!

СЦЕНА VII

Те же и Ольга Дмитриевна.

Ольга Дмитриевна (*сухо*). Ты меня просто удивляешь, Sophie!

Софья Александровна. Ах, maman! не удивляйтесь, ради бога! лучше уйдемте, уйдемте отсюда скорей!

Ольга Дмитриевна. Николай Дмитрич est tout repentant...[1] тебя везде ищут... я надеюсь, что ты сумеешь объяснить ему свое поведение...

Софья Александровна. Князь! вашу руку! Мне нет надобности просить вас, чтоб это умерло,— да и зачем? Все так благополучно кончилось, что мсьё Клаверов, вероятно, сам не найдет причины скрывать... Его самолюбие не страдает, а что касается до чести женщины, то это такие пустяки, которыми, право, не стоит дорожить человеку, устраивающему свою карьеру...

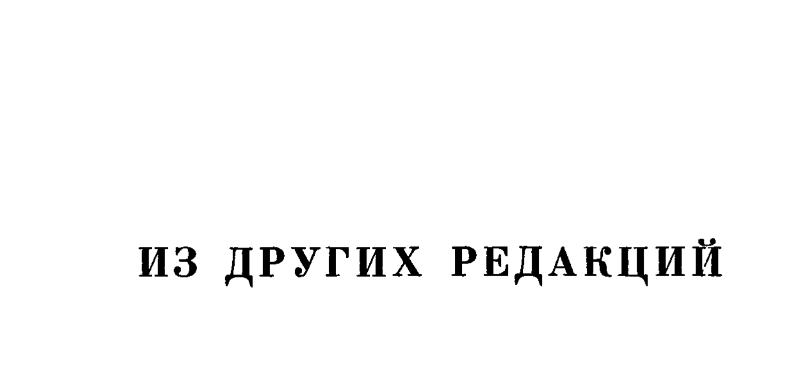
Клаверов. Вы не понимаете меня, Софья Александровна!

Софья Александровна. Не знаю, Петр Сергеич! может быть, и еще есть многое, что я не поняла, но то, что я уж поняла... Ах, уйдемте же, maman, уйдемте!

Ольга Дмитриевна, Софья Александровна и князь Тараканов уходят.

---

[1] всецело раскаивается.



ИЗ ДРУГИХ РЕДАКЦИЙ

ЦАРСТВО СМЕРТИ

Комедия в 4-х действиях

ДЕЙСТВИЕ 1

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Иван Прокофьич Размахнин, 75 лет, негоциант, занимающийся подрядами и откупами.

Прокофий Иваныч, сын его, 55 лет.

Гаврило Прокофьич, 25 лет, внук его.

Статский советник Семен Семеныч Фурначев, зять его, 55 лет.

Николай Павлыч Калужанинов, 30 лет, служащий поручик, другой зять его.

Отставной генерал Андрей Николаич Лобастов, 60 л<ет>, друг старого Размахнина, происхождением из сдаточных.

Майор Станислав Фаддеич Понжперховский, 40 лет.

Иван Петрович Доброзраков, отставной штаб-лекарь, 55 лет.

Леонид Сергеич Разбитной, чиновник особых поручений при губернаторе, молодой человек.

Отставной подпоручик Живновский, 50 лет.

Анна Петровна Живоедова, 40 лет, сирота, из благородных, живущая в доме Размахнина в качестве экономки.

Финагей Прохоров Баев, пестун старого Размахнина, старик, не помнящий своих лет.

Лакеи и служанка.

Действие происходит в губернском городе Крутогорске.

СЦЕНА I

Театр представляет довольно обширную гостиную в доме старого Размахнина. В середине комнаты и направо от зрителя двери; налево два окна. В глубине сцены по обеим сторонам дверей диваны с стоящими перед ними круглыми столами; между окон большое зеркало; по стенам и по бокам диванов расставлены кресла и стулья; вообще убранство комнат свидетельствует, что хозяин дома человек богатый; на столах и на стене много бронзы.

Утро. При открытии занавеса на стенных часах бьет девять.

Анна Петровна Живоедова сидит на кресле у окна, ближайшего к глубине сцены. Одета в распашной капот, довольно грязный, но набелена

и нарумянена. Живоедова роста видного и корпусом плотная. Через несколько времени входит из средней двери Баев, старик, поросший мохом и согнутый. Одет в синий кафтан, в руках держит березовый сук, на который и опирается.

Живоедова. Вот и живи с ним таким манером! Жили-жили, грешили-грешили: с пятнадцати поди лет в грехе!.. Еще при покойнице Лукерье Гавриловне околёсицу-то эту завели: уж пряжку выслужила, сказывает Андрей Николаич... Теперича вот, того гляди, помрет, а духовной все нет как нет... Куда тебе! я, говорит, еще годков с пять проживу, да намеднись еще что выдумал: поди, говорит, Аннушка, сюда: я хоть погляжу... Ах! тяготы-то наши только никому неизвестные!.. *(Задумывается.)* А вот Андрей Николаич еще говорит, что меня бог милостью сыскал! Разумеется, кабы духовная — слова нет: хорошо, кабы духовная... А то, пожалуй, и ни с чем пойдешь — только слава, что дворянского рода! да и то, что своим-то трудом нажила, и то, пожалуй, отнимут... Да и что нажила-то я опять? Конечно, кабы не Станислав Фаддеич... *(Задумывается вновь и мурлыкает под нос песенку. Тяжело вздыхая.)* Да, была бы я теперь с денежками!

Входит Баев.

Баев *(останавливается у дверей; сиплым голосом)*. Здравствуй, здравствуй, матушка Анна Петровна, каков наш соколик-от? *(Ищет глазами чего-то.)*

Живоедова. Да чего уж соколик! того гляди, что ноги протянет... Да ты бы сел, что ли, Прохорыч, вон на стул-то.

Баев. Нет, матушка, на стуле нам сидеть не пригоже... Вот кабы скамеечку...

Живоедова *(кричит)*. Мавра! подай из девичьей скамейку. *(К Баеву.)* Ну, ты как, старина?

Баев. А мне чего сделается! я еще старик здоровенный... Живу, сударыня, живу. Только уж словно и надоело жить-то!

Появляется горничная девушка с небольшой скамейкой, которую и ставит около боковых дверей. Баев садится.

Так даже, что на свет смотреть тошно; нонче же порядки другие завелись, словно и свет-от другой стал... Я уж в мальчиках был, как Иван-то Прокофьич родился... дда! *(Кашляет.)*

Живоедова. Водочки, что ли, поднести, Прохорыч?

Баев. Не действует, сударыня, не действует... Такая уж, видно, напасть пришла; ни пойла, ни ества, ничего нутро не принимает... стар уж я больно, сударыня, даже словно мохом

порос весь; дай бог всякому ворону столько лет прожить: во как я стар!

Живоедова (*задумчиво*). Да и Иван-то Прокофьич уж не маленький... Господи! того гляди, уснет человек, а духовную написать боится. Хоть бы ты, что ли, Прохорыч, его с простого-то ума вразумил — ведь и тебя поди наследники выгонят, как умрет.

Баев. Что ж, сударыня, я готов вразумлять... Это точно, что самое последнее дело именьем своим не распорядить... чай, поди сколько в сундуках-то у него напасено! Только Прокофья Иваныча он обидит; это уж я беспременно знаю, что обидит. И чем он ему, сударыня, не угодил, Прокофей-то Иваныч? человек, кажется, бо̀язный, в церковь божию ходит, нищим подает — а не угодил!

Живоедова. Да и Прокофей-то Иваныч тоже ведь с норовом. Первое дело, что в армяке ходит, бороды не бреет: это, говорит, грех! а не грех, что ли, родителей не слушаться?

Баев. Грех-то, точно что грех... А ведь коли по правде сказать, сударыня, так это именно, что волос божий образ обозначает... И в Писании, сударыня, сказано: *постризало да не взыдет на браду твою*... Это я еще махонький от убогих странников слыхивал...

Живоедова. Да ты, Прохорыч, то возьми, что к нам ведь чистые господа ездят... Иван Прокофьич одну дочь за генерала выдал, другую за военного, а ведь от Прокофьевых от одних сапогов как дегтищем-то разит... Ты одно это себе вобрази, Финагеюшка!

Баев. Справедливо, сударыня, справедливо!

Живоедова. Ну, опять и то: вздумал он жениться... Ведь он уж не маленький, чтоб прихоть свою соблюдать, без малого поди шестьдесят будет! Да что еще выдумал! на другой день с супругой-то в баню собрался: это, говорит, по древнему русскому обычаю... только смех, право! Ну, старику-то оно и обидно.

Баев. Справедливо, сударыня, справедливо. Только человеческую плоть рассудить мудрено. Вот и я стар-стар, а бывает, что только сам дивишься, как защемит... И в Писании тоже сказано: не хорошо, то есть, человеку одному быть, а подобает ему жить с супружницей. Прокофей-то Иваныч, значит, по Писанию действует. Ну, и в баню тоже противузаконного ничего нет...

Живоедова. Нет, Прохорыч, зазорно; воля твоя, зазорно. У Прокофья-то Иваныча дети тоже есть, один вон у губернатора по порученьям служит... а ну, как он, губернатор-от, проведамши про этакой-то страм, да спросит его: «А чей, мол,

это отец без стыда безо всякого на старости лет в баню ходит?» Ведь в ту пору молодцу-то от одного от страму хоть в тартарары провалиться... Вот ты что, Финагеюшка, рассуди.

Баев. Справедливо, сударыня, справедливо. Однако ведь давно ли и Иван-от Прокофьич себе бороду оголил? Сама, чай, сударыня, знаешь, каков он был, как в ту пору тебя родители-то ему продали? Коли ты помнишь, так я-то как теперь вижу, как его в Черноборске исправник пытал за бороду трясти: не мошенничай, говорит, не мошенничай! Да, грозные были, сударыня, те времена, великие времена!

Живоедова. Оттого, видно, и стал он к просвещенью-то очень способен.

Баев. Такие, сударыня, были времена, что даже заверить трудно. Ивана-то Прокофьича папынька волостным писарем был, так нынче, кажется, и цари-то так не живут, как он жил. Бывало, по неделе и по две звериного образа не покинет, целые сутки пьян под лавкой лежит. Тутотка они и капиталу своему первоначало сделали, потому как и волость-то у них все одно как свои крепостные люди была... А Иван-от Прокофьич подрос, так тоже куда ворист паренек был; ну, папынька-то ихний, видемши их такую анбицию к деньгам, что как они без сумленья готовы и живого и мертвого оборвать, и благословили их по питейной части идти. Ну, и пошли... А теперь они сирым вдовицам благодетельствуют, божьи храмы сооружают... Что ж, это хорошо! Пред владыку небесного с хорошими делами предстать веселее будет! Ахти-хти-хти-хти! Так во какие времена, сударыня, были!

Живоедова. Только уж ты ему не поминай лучше об них, Прохорыч.

Баев. А отчего бы, сударыня, не напомнить? Разве тут что зазорное есть? Кабы он в церковь божию не ходил или по постам скоромное ел — ну, это точно, что было бы зазорно, а то ведь это, сударыня, дело коммерческое, на то и щука в море, чтобы карась не дремал. Сегодня он меня ушибет, завтра я его — так оно и идет кругом. *(Вздыхает.)*

Живоедова. Так-то так, Прохорыч, только вот что худо, что об душе-то он об своей на старости лет попечись не хочет; хоть бы нас, своих старых слуг, обеспечил, все бы греховная-то ноша полегче была. А то вот предстанет пред царя небесного, а он, батюшка, и спросит его: «На кого, мол, оставил ты Анну Петровну?» — а какой он ответ тогда даст? Вот что горько-то, Финагеюшка.

Баев. Справедливо, сударыня, справедливо.

Живоедова. А то вот все говорит: «Поживу еще»,— да нелегкая понесла, об каком-то чине теперь хлопоты затеял —

сколько тут еще денег посадит!.. Словно в гробу-то не все одно лежать, что потомственным гражданином, что надворным... только грех один!

Баев. И, матушка! поменьше-то еще лучше — вот я как скажу! Потому что там маленького-то на первое место посадят!

Живоедова. Ну, и детки тоже тащат: один Гаврюшенька чего стоит! В ту пору пожелал в гусары: насилу отчитали — хочу да хочу! А об Николае Павлыче и говорить нече — этот старика как есть доймя доит!

Слышен стук подъехавшего экипажа

Ну, кажется, наши коршуны слетаться начинают!

Баев. Мне, видно, уйти, сударыня.

Живоедова. Ступай, Финагеюшка, да поговори же ты с ним, голубчик: так, знаешь, будто от себя, с простого ума.

Баев уходит.

СЦЕНА II

Живоедова и Понжперховский.

Понжперховский видный мужчина, в военном сюртуке; усы нафабрены и тщательно завиты, волосы на голове приглажены; очень вертляв и вообще занят собой; говорит с сильным акцентом.

Живоедова. Ах, это вы, Станислав Фаддеич, а я думала, что из наследников кто-нибудь.

Понжперховский *(подходя к ее руке)*. А сердце разве уж не подсказывает вам... ничего не подсказывает?

Живоедова. Какое уж тут будет сердце, Станислав Фаддеич, когда три ночи сряду не спала. *(Кричит.)* Мавра! подай-ко закуску!

Понжперховский. Что ж, разве очень уж плох?

Живоедова. Плох-то, плох, да что в этом толку! Ничего, говорит, еще поживу, Аннушка... вот поди ты с ним... Хошь бы уж помер, что ли, прости господи, все бы один конец!

Понжперховский. Нет, это уж боже упаси, Анна Петровна! Не сделавши распоряженья, ему умирать нельзя... *(Подумав немного.)* А на вашем бы месте я, знаете ли, что бы сделал?

Живоедова. Ну?

Понжперховский. Скажите, пожалуйста, капиталы у него как больше: наличными или в билетах?

Живоедова. Есть и наличными, а больше в билетах.

Понжперховский. Ну, а билеты как-с? именные или на неизвестного?

Живоедова. Неизвестные, кажется, больше... Да чтой-то, мне словно страшно, Станислав Фаддеич...

Понжперховский. Бесподобно-с. Так на вашем бы месте я, знаете ли, что бы сделал? Я бы, как начнет старик-то умирать, все бы эти безымянки к одному месту-с... Вот как надо действовать, моя милейшая Анна Петровна!.. а там, знаете *(ласкаясь к ней)*, уехали бы ко мне в Понжперховку, я бы в отставку вышел, пошли бы у нас деточки... славно бы зажили!

Живоедова *(задумчиво)*. Хорошо-то, уж как бы хорошо! Только как же ты его тут разберешь, умирает ли он или не умирает — вот он уж третий год словно все умирает... А второе дело, куда ж я билеты-то спрячу? ведь наследники-то поди по смерти обыскивать будут?

Понжперховский. Неужто вы на меня не надеетесь, Анна Петровна?.. матушка!

Живоедова. Да, надейся на вас! Только тебя и видели, покуда деньги в карман положить не успел! Кабы не моя к вам любовь, давно бы мне эти глупости-то оставить надо... *(Махнув рукой.)* Так, заел ты мой век!

Понжперховский. Так согласны-с?

Живоедова *(в раздумье)*. Рада бы я радостью, да бросишь ты меня в ту пору — вот чего я боюсь! Ни Понжперховки, ни тебя тогда не увидишь!

Входит Мавра с подносом, на котором поставлена водка и закуска.

Лучше вот выпей да закуси!

Понжперховский. А вы подумайте, любезнейшая Анна Петровна!.. лучше же с предметом своим поделиться, нежели как если этому сиволапу Прокофью все достанется! *(Наливая рюмку.)* За ваше здоровье-с!

Живоедова. Да ты бы грибочков закусил: я сама отваривала — прислать, что ли?

Понжперховский. А это не худо-с... вот вы бы мне, ангел мой, тех рыжичков сообщили, которые за тремя замками заперты... дда-с!

Живоедова *(вздыхая)*. Ох, уж и то не мало ты у меня их перетаскал, ненасытная ты душа... И куда только ты их тратишь — чай, все на любовниц?.. Как подумаю только об этом, так даже сама чувствую, как душа вся дрожит... изверг ты!

Понжперховский. Полноте, ангел мой, напрасно только сердце свое тревожите. Насчет верности, доложу вам,

я золотой человек... В карты перекинуть — это так; ну, и удобства разные: чтоб вино у меня или сигары — все чтоб было в своем виде... Признаюсь, на этот счет я точно что слабый человек! *(Обращаясь к зрителям.)* Люблю пожуировать! Деньги — это, я вам доложу, для меня презренный металл, которого чем больше, тем лучше,— вот моя философия!.. Можно, я полагаю, и повторить, ангел мой Анна Петровна?

Живоедова. Кушай, батюшка... Только ты лучше водки больше пей: от этого человек тучен бывает, а от тучности и красоты в человеке прибавляется. Да ты бы хоть ветчинки, что ли, отведал? Сама и солила и коптила — все сама! прислать, что ли, окорочек?

Понжперховский. Пришлите, ангел мой Анна Петровна, пришлите... А я к вам, моя бесценная, с просьбицей... так, с самой маленькой...

Живоедова. Все, чай, за деньгами?

Понжперховский. Угадали, красавица моя, угадали. И кто это вам подсказывает? верно, это самое сердце, в котором пламень любви обитает?.. Нужно, Анна Петровна, нужно-с. Зато как любить буду! просто огонь!

Живоедова. Да давно ли ты у меня одолжался! Что, я разве кую деньги-то? Ведь они мне трудом достаются, пойми ты это!

Понжперховский. Нужно, Анна Петровна, нужно-с... Сегодня вот кучер: сена, говорит, купить надо...

Живоедова. Много ли на сено надо! Нет, ты не на сено, а на любовниц транжиришь — вот что! Кабы не ты, не боялась бы я теперь ничего, была бы при своем капитале: вот ты на какую линию меня поставил!

Слышен стук экипажа.

Ну, уж это, верно, наследники!

Понжперховский. Так как же деньги-то?

Живоедова. Да уж что с тобой станешь делать: приходи ужо!

СЦЕНА III

Те же, Лобастов и Доброзраков.

Лобастов — небольшой человек, очень плотный и склонный к параличу; лицо красное, точно с морозу, пьет и закусывает наскоро, но прежде нежели положить кусок в рот, дует на него. Он еще очень бодр и жив в своих движениях, редко стоит на месте и, даже разговаривая, больше ходит. В поношенном фраке. Доброзраков тот самый франт, о котором подробно объясняется в «Губернских очерках», зри «Прошлые времена, рассказ первый».

Он роста большого и несколько при этом сутуловат; смотрит добродушно и даже наивно, но на житейские дела имеет взгляд исключительно практический и при подании медицинской помощи прибегает преимущественно к кровопусканию, вследствие чего пользуется большим доверием со стороны крутогорских граждан.

Лобастов *(становясь в дверях)*. Пану полковнику здравия желаем! Чи добрже маешь, пане?

Понжперховский. А вот-с приехали почтеннейшего Ивана Прокофьича проведать... Как вы, генерал?

Лобастов. Да что — плохо! того и гляди, Кондратий Сидорыч хватит: потудова только и жив, покудова Иван Петрович тарелки две красной жидкости выпустит.

Доброзраков *(прямо подходя к водке)*. А вот, ваше превосходительство, испытаем предварительно целебные свойства этой жидкости. *(Подносит ему рюмку.)*

Лобастов *(пьет)*. Да, любезный друг, в старину эта жидкость на меня именно целебное действие оказывала. Бывало, как ни сделаешься болен, потерся ею снаружи, сполоснул внутри — и все как рукой сняло. Нет, теперича уж не то: укатали, знаете, сивку...

Понжперховский. А что вы думаете, генерал? может быть, от этого-то частого всполаскиванья оно и не действует... Вот у нас помещик был, тоже этим занимался, так, поверите ли, внутренности-то у него даже выгорели все, точно вот у печки, если часто да без меры ее топить.

Лобастов. Да?.. а у нас бывала-таки изрядная топка, особливо как еще нижним чипом был: сменишься, бывало, с караула, так это даже удивительно, какое количество выпивали... Ну, и после тоже...

Понжперховский. Сс...

Живоедова. Ан вот, стало быть, нутро-то и выгорело.

Доброзраков. Вздор все это! *(Ударяет себя по животу.)* Это печка такого сорта, что как ее ни топи, все к дальнейшей топке *достойна и способна.* Я это по собственному опыту говорю: вот уж шестой десяток на свете живу и достаточно-таки внутренности свои увлажил, а все-таки хоть сейчас в поход готов... Стало быть, не водка, а кровь — вот кто злейший наш враг! А ну, ваше превосходительство, покуда, до Кондратья-то, выпьем по маленькой.

Пьют и закусывают.

Лобастов. Однако мы хороши! Уж повторили и закусили, а любезнейшей Анне Петровне даже почтения не отдали.

Живоедова. И, батюшка, бог простит! как ваша Елена Андревна?

Лобастов. Да что, сударыня, сохнет.

Живоедова. Чтой-то уж и сохнет! да ты бы, Андрей Николаич, ей мужа, что ли, сыскал: ведь она, я думаю, больше этим предметом и сокрушается!

Лобастов. А где его, сударыня, нынче сыщешь! Знаю я, что девическая жизнь, как ее ни хлебай, все ни солоно, ни пресно...

Доброзраков. Да-с; вот от этого — это действительно, что нутро выгореть может.

Понжперховский. Сс...

Живоедова. Чтой-то уж, батюшка, ты ровно пустяки городишь? Вот я, слава тебе господи, сорок лет в девичестве нахожусь, а нутро себе как нутро.

Доброзраков. Да ваше девичество, Анна Петровна, совсем другое-с; а Елена Андревна, можно сказать, закалились в девичестве — вот что нехорошо-то!

Лобастов. Ну, а Иван Прокофьич как? не вставал?

Живоедова. Какое вставал? на заре только уснул: уж пытала я с ним маяться, даже теперь сонная хожу. Думала вот, что наследники приехали, ан вы!

Лобастов. Какие мы, сударыня, наследники! так сбоку припеку! А что, перемен у вас никаких нет?

Живоедова. Какие у нас перемены! лежит как чурбан, прости господи! да привередничает! нет чтобы богоугодное дело сделать!

Доброзраков. Да, заберет все Прокофий — это уж верно, как дважды два.

Лобастов. Да, похоже на это.

Живоедова. Хошь бы ты его, Андрей Николаич, усовестил; ведь ты генерал, а он поди как любит, чтоб за ним большие люди ухаживали. Право, ведь дождемся мы до того страму, что Прокофей Иваныч всем завладает.

Лобастов. Да, похоже на это.

Живоедова. Да что ты, батюшка, словно маятник ходишь, да только и слов у тебя, что «похоже на это». Сами уж видим, что похоже, а ты нам скажи, как пособить-то этому... Ведь ты то рассуди, что дом-от почти на дворянской ноге теперича заведен, а тут вдруг въедет в него свинья со своим с рылом! вот ведь что обидно-то!

Лобастов. Знаю, сударыня, знаю, да уж и со мной-то очень здесь обошлись... за живое, сударыня, задели! Ведь дочь-то она у меня одна,— значит, кровное детище!.. Так с какой же мне стати в чужие, можно сказать, дела входить?

Доброзраков. А ну их, ваше превосходительство! лучше выпьем с горя.

Пьют.

Это третья-с, а сколько еще мне придется этаких выпить! Практика у меня, знаете, купеческая, так куда ни придешь, все «пожалуйте да пожалуйте»! а то вот еще говорят, что нутро выгорает... ах вы! Однако надо бы старика проведать. Анна Петровна! пойдемте вместе, надо его разбудить.

Живоедова. Да нельзя ли, не будимши, посмотреть?

Доброзраков. Нельзя-с, надо язык посмотреть.

Живоедова. Да нельзя ли хоть сегодня без языка?

Понжперховский. Нельзя, Анна Петровна, язык есть продолжение человеческого естества, следственно...

Доброзраков. Эк вывез! Пойдемте, Анна Петровна.

Уходят.

СЦЕНА IV

Те же, кроме Доброзракова и Живоедовой; в среднюю дверь незаметно входит Прокофий Иваныч и становится около самой двери. Прокофий Иваныч старик среднего роста, совершенно седой, одет в синий кафтан, носит бороду и острижен по-русски. При входе он несколько раз кланяется.

Понжперховский *(не замечая Прокофия Иваныча)*. А ведь это, ваше превосходительство, именно удивительно, какое жестокосердие в человеческом сердце поселиться может! Ведь боится же человек смерти... ну, скажите на милость! Нет-с, я так полагаю, что это оттого, что грех, верно, тяжкий на совести лежит, потому что возьмите вы хоть нас с вами... Ну, приди хоть сейчас смерть — что ж? *(Впадая в сентиментальность.)* Зла я никакого не сделал, ни у кого ничего не украл, не убил, не прелюбы сотворил, государю своему служил верно... ну, чего, ну, чего же бояться мне смерти! Готов, готов хоть сейчас в дальний вояж!

Лобастов. Нет, не говорите этого, Станислав Фаддеич, уж кто другой, а я знаю, что значит умирать: такие, знаете, старики перед глазами являются, каких и отроду не видывал...

Понжперховский. Скажите пожалуйста!

Лобастов. Д-да-с... Я, сударь, два раза обмирал... то есть так обмирал, что даже сам уж думал, что в будущую жизнь переселился... И вот какой, я вам доложу, тут случай со мной был. Звание мое, как вам известно, *из простых-с,* так в двенадцатом году я был еще так лет осьмнадцати мальчишка.

Проходили мимо нашей деревни французы, мародеры по-их-нему называются... Вот-с я однажды и изымал одного такого французишку, и как были мы все тогда вне себя, так и я тоже свою лепту-с... Так поверите ли, как обмирал-то я, все этот прожженный французик — так, сударь, языком и дразнит... Так вот она что значит, смерть-то!

Понжперховский. Сс...

Лобастов. Так умирать-то, значит, и не легко-с. А у Ивана Прокофьича, по секрету, тоже... *(Оборачивается и видит Прокофья Иваныча.)* А! Прокофий Иваныч! здравия желаем! ну, как с молодой супругой поживаете?

Прокофий Иваныч *(кланяясь)*. Слава богу-с... Мы вот насчет тятинькинова здоровья очень беспокоимся.

Лобастов. Это дело доброе... Что ж, старик, кажется, слава богу... это должно тебя радовать.

Прокофий Иваныч. «Слава богу» — лучше всего, ваше превосходительство. *(Кланяется и как-то сомнительно улыбается.)*

Лобастов. Да вот что, Прокофий Иваныч, я с тобой переговорить хотел... ты бы, брат, эту сермягу-то бросил, да и бороду-то, брат, тово...

Прокофий Иваныч *(кланяясь)*. Помилуйте, ваше превосходительство...

Лобастов. Право, брат, так... Ну что тебе значит старика потешить? разве лучше, что он тебя к себе на глаза не пускает?

Прокофий Иваныч. Помилуйте, ваше превосходительство... Мы завсегда родительский гнев сносить рады.

Лобастов. Так брось же, братец, ты эту дурь!

Понжперховский. Вы посмотрите, Прокофий Иваныч, как образованные люди ходят... разве дикое состояние образованному человеку прилично?

Прокофий Иваныч. Помилуйте, ваше высокоблагородие, онамеднись француз фокусы показывал... так ведь тоже борода у него была... а он тоже образованный!

Понжперховский. Так ведь он из мужиков, Прокофий Иваныч, поймите вы это! Только не из русских, а все же из мужиков! Разве образованный фокусы станет показывать! Образованный служит отечеству по военной или по гражданской части! *(Улыбается и самодовольно озирается на Лобастова.)*

Прокофий Иваныч *(к Лобастову)*. Нет уж, ваше превосходительство, позвольте нам пред царя небесного в своем виде предстать! *(Кланяется.)*

Лобастов. Ну, как знаешь, любезный; я для тебя, для твоей же пользы говорю.

СЦЕНА V

Те же и Гаврило Прокофьич. Гаврило Прокофьич вбегает стремительно; одет франтом и завит.

Гаврило Прокофьич. Где дедушка? где дедушка? Господи! половина одиннадцатого, а он там еще прохлаждается! Анна Петровна! Анна Петровна!

Понжперховский. Позвольте, Гаврило Прокофьич, я покричу-с. *(Кричит в боковую дверь.)* Анна Петровна! Анна Петровна!

Гаврило Прокофьич. Благодарю вас... А все эта глупая привычка сидеть дома безо всего.

Лобастов. Да что такое случилось?

Гаврило Прокофьич *(размахивая руками)*. Князь... князь... желает узнать об здоровье дедушкином... Ну, поняли вы, что ли?

Лобастов *(начиная застегиваться)*. Ах ты, господи! Сам его сиятельство едет!

Гаврило Прокофьич. Кто вам говорит про его сиятельство! Поедет к вам его сиятельство! довольно будет, если и Леонида Сергеича пришлет! Еще кабы жили, как порядочные люди живут! *(Оборачивается и видит отца, который кланяется.)* А! и вы тут! разве вы не слышите *(с расстановкой)*, разве не слышите, что Леонид Сергеич сейчас сюда будет! Разве здесь ваше место?

Прокофий Иваныч *(кланяясь)*. Я об тятенькином здоровье узнать пришел...

Гаврило Прокофьич. Об этом и на кухне от Баева узнать можно.

Прокофий Иваныч делает движение, чтобы выйти.

Или нет, погодите, мне нужно с вами еще переговорить. *(Становится перед ним, сложив на груди руки.)* Нет, вы скажите, вы долго нас срамить намерены?

Прокофий Иваныч. Я, кажется, ничего, Гаврюшенька.

Гаврило Прокофьич. Стыдитесь, сударь, стыдитесь... До седых волос вы дожили, а только одни непристойности у вас в голове... *(Махает руками у него под носом.)* И с чего вы это взяли, в баню ходить? Этого даже и в безобразных ваших цветничках ведь нет!

Прокофий Иваныч. Я, кажется, по преданью, Гаврюшенька.

Гаврило Прокофьич. Ах ты, господи! вот и говори ты с ним! вот и живи с ними в этаком хлеву!

Прокофий Иваныч *(вздыхая)*. Видно, и впрямь идти к Прохорычу! *(Уходит.)*

СЦЕНА VI

Те же, кроме Прокофья Иваныча. Из боковых дверей выходит Живоедова.

Живоедова. Что такое случилось, Гаврюшенька?

Гаврило Прокофьич. Во-первых, сколько раз я просил вас оставить эту поганую привычку называть меня Гаврюшенькой? Какой я вам Гаврюшенька?

Живоедова. Христос с тобой, Гаврюшенька! я ведь тебя на ручках маленьким носила!

Гаврило Прокофьич. Это нужды нет, что носили: когда носили, тогда и Гаврюшенькой звали, а теперь я уж Гаврило Прокофьич — слышите! Ну, а во-вторых, сюда сейчас от князя Леонид Сергеич будет об дедушкином здоровье узнать.

Живоедова. Ах ты, господи! А ведь Иван-то Прокофьич еще безо всего там сидит! *(Убегает.)*

Понжперховский. Верно, и мне уж уйти; не люблю я этого Разбитного.

Лобастов. А что?

Понжперховский. Гордишка-с! *(Уходит.)*

СЦЕНА VII

Те же, кроме Живоедовой и Понжперховского.

Гаврило Прокофьич. Ну, скажите, пожалуйста, генерал, зачем, например, этот выходец сюда таскается?

Лобастов. А так вот: выпить да закусить. Вы уж очень строги, Гаврило Прокофьич.

Гаврило Прокофьич. Нет, генерал, я не строг, а я желаю, чтобы в этом доме чистый воздух был... понимаете? чтобы вся эта сволочь не ходила сюда, как в кабак, водку пить. С моими чувствами, с моим образованием подобного положения вещей перенести нельзя! Знаете ли, как у меня здесь наболело, генерал? *(Указывает на сердце.)* Ведь на улицу выйти нельзя; свинья там в грязи валяется, так и та, чего доброго, тебе родственница!

Лобастов. Да; я от этого, пожалуй, и из губернии своей выехал. Неприятно, знаете,— всё родственники: тот гривенника, тот двугривенного на чай просит. Очень уж одолевать стали.

Гаврило Прокофьич. Так каково же мне-то, генерал! Намеднись вот иду я, в хорошей компании, мимо рядов, ну, и княжна тут... вдруг откуда не возьмись бабушкин брат, весь, знаете, в кубовой краске выпачкан: «А это, говорит, кажется, Прокофьев Гаврюшка с барами-то ходит!» Вы только войдите в мое положение, генерал! что я тут должен был вытерпеть!

Лобастов. Да; это очень неприятно.

Гаврило Прокофьич. И добро бы еще были негоцианты как следует — ну, уж бог бы с ними! Я вам скажу даже, что в образованных государствах tiers état[1] великую роль играло... Так ведь нет же — всё почти раскольники, да и торговлею-то какою непристойною занимаются: тот краской торгует, тот рыбным товаром, просто даже прикоснуться совестно.

Лобастов *(вздыхая)*. А впрочем, ведь это вам оттого так, Гаврило Прокофьич, кажется, что у вас на платье сукно уж тонко очень — вот и представляется все, что замараетесь. Эх, Гаврило Прокофьич! вот вы давеча и с родителем тоже крупненько поговорили, а ведь знаете, умри завтра дединькаго, бог весть еще кому перед кем кланяться-то придется... Я любя вас это говорю, молодой человек!

Гаврило Прокофьич. Вот еще! да он ничего ему не оставит, кроме той лавки, в которой он нынче торгует, да и в той-то только четвертую часть, а остальные три четверти брату Ивану.

Лобастов. Бог знает, сударь, бог знает... духовной-то вот и о сю пору нет!

Гаврило Прокофьич. Да; признаюсь, это черт знает как меня бесит! и придет же в голову такая нелепая фантазия, что после духовной сейчас ему и смерть. А знаете ли, ведь вы, пожалуй, правы, генерал; пожалуй, и в самом деле, без духовной умрет... *(Вздрагивает.)* Черт возьми! ведь тогда прескверная штука выйдет! этот дегтярник в состоянии и еще детей иметь, от него это станется!

Лобастов. Поверьте мне, Гаврило Прокофьич, он недаром женился... Он хоть и стар, да у молодых баб, знаете, жировые дети бывают!

Гаврило Прокофьич. Да хоть бы вы, генерал, с дедушкой поговорили: он вас слушается.

Лобастов. Нет, Гаврило Прокофьич, мое тут дело сторона. Да к тому же и обидели меня очень!

Гаврило Прокофьич. Помилуйте, генерал, какая же тут обида! Вы то возьмите, что вашей Елене Андревне почти тридцать, а мне и всего-то двадцать!

---

[1] третье сословие.

Лобастов. Так-то так-с, да ведь она у меня одно только и есть детище! рассудите сами, Гаврило Прокофьич, каково отцовскому-то сердцу смотреть, как единственное детище изнывает! Ведь она, можно сказать, ночи не спит! *(Начинает ходить по комнате с усиленною поспешностью.)* И добро бы еще бесприданница была!

Гаврило Прокофьич. Ну, это еще как-нибудь поправить можно... Только вы уж на старика-то подействуйте!

Лобастов *(останавливаясь)*. Да вы не шутя это говорите, Гаврило Прокофьич?

Гаврило Прокофьич *(в сторону)*. Вот навязалась, скверная девка! *(Нерешительно.)* Д-да-с, генерал, я к вам заеду поговорить об этом...

Лобастов. Ну, заезжай, заезжай, дорогой зятек,— вот Леночке-то радость будет! *(На ухо ему.)* У меня ведь тоже сотняжка тысяч за Леночкой-то найдется! Как же! не даром век изжили — батальоном, сударь, двадцать лет командовали, да каким еще: гарнизонным-с!

Гаврило Прокофьич *(радостно)*. Неужели? Не выпить ли нам, генерал? *(Подходит к закуске.)* Господи! даже закуски порядочной подать не могут! грибы да рыжики да ветчина! эй, кто тут есть?

Является Мавра.

Да позови ты лакея, варвары вы этакие! этак ты, пожалуй, и при гостях в гостиную вломишься! Возьми поднос да вели приготовить другую закуску — генеральскую, слышишь?

Мавра берет поднос и уходит; в это время двери растворяются настежь, и в них показывается большое и длинное кресло на колесах, подталкиваемое сзади двумя лакеями. На кресле, утопая в подушках, лежит или, правильнее, сидит с ногами Иван Прокофьич, старик сухой и слабый; одет в сюртук; на шее повязан белый галстух; волосы совершенно белые, зачесаны с таким расчетом, чтобы закрыть образовавшуюся посреди головы плешь; вид имеет Иван Прокофьич весьма сановитый и почтенный. Лакеи, подкатив кресло на средину комнаты, удаляются.

СЦЕНА VIII

Те же, Иван Прокофьич, Живоедова и Доброзраков.

Лобастов. Почтеннейшему Ивану Прокофьевичу здравия и благоденствия желаем! Каково, сударь, спал, веселые ли сны во сне видел? *(Садится подле кресел.)*

Иван Прокофьич. Да чего, брат, только провалялся с боку на бок — какой уж тут сон!

Живоедова. Полно, сударь, на старости-то лет на себя

клепать; только разве с ночи привередничал, а то спал как спал, дай бог и молодому так выспаться. Гаврюшенька! хоть бы ты посмотрел, так ли мы召 единьку-то одели?

Гаврило Прокофьич. Опять вы с своим «Гаврюшенькой»! Что, у вас язык-то отвалится сказать «Гаврило Прокофьич»? да вы сказывайте, отвалится или нет?

Живоедова *(подумавши)*. Для че языку отвалиться?..

Гаврило Прокофьич. Ну, следственно... *(Осматривая Ивана Прокофьича.)* Господи! Галстух-то, белый-то галстух-то зачем вы ему навязали! ведь точно и невесть кто к вам едет... этакое невежество!

Иван Прокофьич. Ну, ну, не балуй, Гаврило! Не великого еще мы с тобой чина птицы... вспомни, что сказано: *ему же честь — честь, ему же дань — дань...* Стало быть, и в белом платке можем принять посланца от его сиятельства.

Гаврило Прокофьич. Да ведь над вами же потом Леонид Сергеич смеяться будет: эк, скажет, обрадовался!

Иван Прокофьич. Ну, и пущай смеется, а что подобает, то подобает.

Доброзраков. А что, Анна Петровна, видно, водочка-то «ау» сказала?

Живоедова. Кто ж это поднос снять велел?

Гаврило Прокофьич. Кто велел? я велел! вам бы только водку пить да закусывать!

Доброзраков. Эхма! а не худо бы выпить...

Гаврило Прокофьич. Вы бы лучше, Анна Петровна, распорядились, чтоб закуска приличная была, а то наложили рыжиков да ветчины — только один стыд с вами!

Иван Прокофьич *(Живоедовой)*. Там, в подвале, на третьей-то полке, в самом углу, жестянка непочатая стоит...

Живоедова *(вынимая из-под подушек связку ключей)*. Иду, батюшка, иду. *(Уходит.)*

Доброзраков. И мне, видно, за Анной Петровной по подвальной части. *(Уходит.)*

В средних дверях показывается Живновский, высокий старик с огромными усами и бакенбардами, в форменном, очень потасканном сюртуке.

СЦЕНА IX

Те же и Живновский.

Живновский. Благодетелю Ивану Прокофьичу нижайше кланяюсь. Ваше превосходительство! Гаврило Прокофьич! *(Кланяется всем.)*

Иван Прокофьич. Откуда бог принес?

Живновский. А вот-с, был сегодня на вчерашнем пожарище-с...

Иван Прокофьич. Потух, что ли?

Живновский. Дымится, благодетель, дымится,— по этому-то случаю я и был. Распорядиться, знаете, некому, полицеймейстеришка дрянь; стоит тут, это, бочка с водой, а полицейские знай ковшиком огонь заливают... Ну, что тут бочка! Ну, я вас спрашиваю, что тут одна бочка! тут сотни бочек надобно! вот и пришлось за них работать! всю ночь провозились, да и утро так между пальцев ушло.

Иван Прокофьич. Ишь тебя нелегкая носит! словно тебе тысячи за это дают!

Живновский. Помилуйте, благодетель! ведь тут человечество погибает! нельзя же-с!

Иван Прокофьич. А я так думаю, что просто натура у тебя такая уж буйная, что пожар-то тебе заместо праздника! Ну, сказывай, стрекоза, где же ты еще шатался?

Живновский. Все на пожарище, дело не маленькое-с, надо было и тем и сем распорядиться... Сама княжна Анна Львовна мое усердие заметили!

Гаврило Прокофьич. Как, и княжна там была?

Живновский. Как же, и с Леонидом Сергеичем. Пожелали и о подробностях узнать: кто пострадал и как... ну, я им все это в живой картине представил... Да Леонид-то Сергеич к вам ведь едет.

Иван Прокофьич. Разве что-нибудь говорили?

Живновский. Говорили, благодетель, говорили. Как я, знаете, порассказал, что так, мол, и так, вдова, пятеро детей, с позволения сказать, лишь необходимое, по ночному времени, ношебное платье при себе сохранили,— так княжна тут же к Леониду Сергеичу обратилась: иль-fó, говорят, Razmakhnine... Вот я и поспешил благодетеля предупредить.

Гаврило Прокофьич (*озабоченно*). Деньги при вас, living?

Иван Прокофьич. А разве надо?

Гаврило Прокофьич. Нельзя, дединька, нельзя... как же можно! княжна делает вам честь...

Живновский. Там честь ли не честь ли, а всё деньги отдать придется — так, по-моему, уж лучше честью.

Иван Прокофьич (*Лобастову*). Как ты думаешь, Андрей Николаич, сколько?

Лобастов. Да четвертной, кажется бы, достаточно.

Гаврило Прокофьич. Что вы, что вы! да Леонид Сергеич и не возьмет! Нет уж, дединька, как вы хотите, а меньше

сторублевой нельзя! Жертвовать так жертвовать! Посудите сами, у них только и надежды на вас!

Иван Прокофьич. То-то вот и есть, что часто уж очень надежду-то на нас полагают! Как и деньги-то припасать, не знаешь! Намеднись вот на приют: от князя полиция приезжала — нельзя, говорит, меньше тысячи,— ну, дал; через час места председатель чиновника присылает — тоже, говорит, на приют,— тоже дал; потом управляющий — ну, этот, спасибо, хоть сам приехал: я, говорит, на твой карман виды имею... тоже шутит!.. Много уж больно благодетелей-то развелось!

Гаврило Прокофьич. Да нет, вы,689 дединька, все прежнего своего сквалыжничества не забыли! Вы то подумайте, что князь вас в надворные советники представил! Ведь это и нынче почти дворянин, а прежде-то и весь дворянин был!

Иван Прокофьич. Меня, брат, с этим надворным советником уж давно измаяли; может, и ноги-то отнялись от него! Еще княжой предместник эту историю-то поднял: «Пожертвуй да пожертвуй, говорит, на общеполезное устройство!» Ну, и пожертвовал: в саду беседок на мои денежки настроили, чугунную решетку вывели — тысяч с сотню на ассигнации тогда мне это стоило! Ну, и прислали тогда признательность. Я к его превосходительству: «Так, мол, и так, говорю, что ж это за мода!» А он мне: «Ну, говорит, видно, еще жертвовать придется — давай, говорит, плавучий мост через реку строить!» Ну, нечего делать, позатянулся уж в это болото маленько, стал и мост строить — тоже с лишним сотню тысяч тут простроил!.. ну, и прислали медаль! Я опять было к нему, а он же, наругатель, надо мной смеется: «Рожна, говорит, что ли, тебе надобно? а ты, говорит, пир задавай...» Ну, не что станешь делать, и пир задал! Потом и опять пошли жертвы... *(Возвышая голос.)* Так мне эти жертвы-то вот где сидят! *(Показывает на затылок.)* Господи! хоть бы умереть-то надворным советником дали!

Лобастов. Нет, уж это не дай бог умереть, Иван Прокофьич.

Живновский. Это вы истинную правду, ваше превосходительство, сказали: перед смертью мы все именно ничтожество...

Глядит на всех, и на царей,
В державу коим тесны миры,
Глядит на тучных богачей,
Что в злате и сребре кумиры...

(Задумывается и крутит усы.) О-о-ох!

Иван Прокофьич *(Живновскому с досадой)*. Уж хоть

бы ты не ругался! Обопьет, объест, да он же над тобой и наругается! Считал, что ли, ты мои деньги-то!

Живновский. Помилуйте, Иван Прокофьич, это фигура-с... так для воображения написано!

Иван Прокофьич. То-то фигура! Ты бы вот в моей коже-то посидел...

Гаврило Прокофьич. Да теперь, дединька, непременно дадут... теперь и давать-то больше нечего, все уж у вас есть.

Живновский. А вот я вас научу, благодетель, как это дело сделать. Вы, знаете, приготовьте деньги, да как он, знаете, начнет заикаться-то, а вы, как будто от своей от души: я, мол, уж и сам об сирых подумал, вот, мол, и деньги!

Гаврило Прокофьич. А и в самом деле, дединька; сделайте так... да уж сторублевую!

Живновский. Ведь с казны же потом, благодетель, возьмете, или вот в вино вассервейну[1] малую толику пустите, ан сто-то рублев тут и найдутся... Гм... вино! а не мешало бы хозяину и доброго здоровья пожелать. *(Ищет глазами поднос с водкой.)*

Лобастов. Ау, брат!

Живновский. Ну, это уж не дело!.. Да вот, кажется, и сам Леонид Сергеич катит.

Гаврило Прокофьич. Ах ты, господи, а у вас еще, дединька, и денег нет... да и закуски эта Анна Петровна не несет целый час! Голова кругом идет!

Иван Прокофьич. Шкатулку! шкатулку! Подай, Гаврюша, шкатулку!

Поднимается суматоха; Гаврило Прокофьич убегает в боковую дверь и возвращается с шкатулкой. Иван Прокофьич дрожащими руками вынимает деньги. Лобастов заглядывает, Живновский тоже с участием следит за движениями рук старика. Шкатулка уносится на прежнее место.

Живновский. А мне, видно, пойти поторопить Анну Петровну... да кстати там уж и выпить в девичьей! *(Уходит.)*

Проходит несколько секунд томительного ожидания.

СЦЕНА X

Те же и Разбитной.

Разбитной входит важно и даже с некоторой осмотрительностью. Все встают.

Разбитной. Здравствуйте, любезнейший Иван Прокофьич, здравствуйте. Ну, как ваше здоровье?

[1] воды (от *нем.* Wasser).

Иван Прокофьич *(привставая)*. Очень благодарен, милостивый государь! очень благодарен его сиятельству.

Разбитной. Да, я от князя. Князь сегодня встал в очень веселом расположении духа... ночью, знаете, пожар этот был, и это очень старика развлекло. Князь поручил мне осведомиться об вашем здоровье, любезнейший Иван Прокофьич,— право! сегодня, знаете, кушал он чай, и говорит мне: «А не худо бы, mon cher, тебе проведать, как поживает мой добрый Иван Прокофьич».

Иван Прокофьич. Премного благодарны его сиятельству... Гаврюша!

Гаврило Прокофьич. Сейчас, дединька! *(Выходит на короткое время и потом возвращается.)*

Разбитной. Он очень часто об вас вспоминает — такой, право, памятливый старикашка! Я вам скажу, что если бы этому человеку руки развязать, он не знаю что бы наделал!

Иван Прокофьич. Да, попечение имеют большое; я сколько начальников знал, а таких заботливых именно не бывало у нас!

Лобастов. Взгляд просвещенный, Иван Прокофьич.

Разбитной. Д-да; он ведь у нас в молодости либералом был — как же! И теперь еще любит об этом времени вспоминать: «Я, говорит, mon cher, смолоду-то сорвиголова был!» Преуморительный старикашка!

Входит лакей во фраке с подносом, на котором поставлены разные закуски; сзади другой лакей с подносом, на котором стоят бокалы; в дверях показывается Анна Петровна в шали и в чепце, в течение всей сцены она стоит за дверьми и по временам выглядывает.

Иван Прокофьич. Милости просим, Леонид Сергеич, закусите!

Разбитной. Благодарю покорно, я завтракал с князем.

Иван Прокофьич. Пожалуйте!

Гаврило Прокофьич. Mais prenez donc quelque chose, mon cher! vous offensez le vieillard... [1]

Разбитной. Э... впрочем, я охотно съем этого страсбургского пирога. *(Подходит к столу и ест.)*

Гаврило Прокофьич. N'est-ce pas que c'est bon? [2]

Разбитной. Délicieux... [3] да вы гастроном, любезнейший Иван Прокофьич!

Иван Прокофьич. Сколько силы мои позволяют,

---

[1] Да отведайте же хоть чего-нибудь, мой милый! вы обижаете старика...

[2] Не правда ли, хорошо?

[3] Восхитительно...

Леонид Сергеич... вот здоровье мое все плохое, иной раз и готов бы просить его сиятельство сделать мне честь хлеба-соли откушать, да немощи-то меня очень уж одолели: третий год без ног-с...

Разбитной. Это ничего, Иван Прокофьич, князь у нас старик простой; он не будет в претензии, если вы и не выйдете... У вас молодцы внуки за вас угощать будут.

Гаврило Прокофьич. А что, в самом деле, дединька, князь к нам так милостив, что, право, с нашей стороны это даже неблагодарно, что мы не покажем ему нашей признательности за все его ласки.

Иван Прокофьич. Я с моим удовольствием, Леонид Сергеич; прошу вас передать князю, что дом мой совершенно в распоряжении его сиятельства.

Разбитной. Князь оценит вашу преданность, Иван Прокофьич; старик любит преданных. Вероятно, он назначит вам день, когда вы можете принять его... Однако пирог этот так хорош, что я решаюсь съесть еще кусочек... Ma foi, tant pis pour le dîner du prince![1] А вы, генерал?

Лобастов. А вот сейчас-с. Мы, признаться, ко всем этим тонкостям не привыкли; по-нашему, этак колбасы кусок, чтобы, знаете, жевать было что.

Разбитной. Вы добрый, генерал!

Лобастов *(налив рюмку водки, кланяется)*. За здоровье его сиятельства князя Льва Михайлыча.

Иван Прокофьич. Что ты, что ты, Андрей Николаич! кто ж пьет здоровье водкой... Гаврюша!

Гаврило Прокофьич. Сейчас, дединька! *(Убегает.)*

Разбитной *(вслед ему)*. Mais dites, mon cher, qu'on donne des verres et que le champagne soit froid[2].

Гаврило Прокофьич. Mais, certainement, certainement[3].

Разбитной. Мы вашего племянника таки вышколим, Иван Прокофьич.

Лакей вносит поднос с стаканами и бутылку шампанского; Иван Прокофьич разливает. Разбитной с стаканом в руке.

За здоровье его сиятельства князя Льва Михайлыча! *(Выпивает.)*

Гаврило Прокофьич. Ура! *(Выпивает.)*

---

[1] Ей-богу, тем хуже для княжеского обеда!

[2] Скажите только, мой милый, чтобы подали бокалы и чтобы шампанское было холодное.

[3] Ну, разумеется, разумеется.

Лобастов. Желаю здравствовать! *(Выпивает.)*

Иван Прокофьич. Леонид Сергеич! извините, я встать не могу, но... но... вы будьте свидетели... *(Отпивает немного.)*

Разбитной. Господа! мне очень приятно будет засвидетельствовать перед князем о тех чувствах искренней преданности, которые я нашел в вас. Поверьте, господа, что для сердца начальника дороже всяких почестей, дороже всех богатств сердечное расположение подчиненных. Нет сомнения — и история нам доказывает это с последнею очевидностью,— что все сильные государства до тех только пор держались, покуда в сердцах подчиненных жили чувства любви и преданности. Как скоро эти истинные, основные начала всех благоустроенных обществ исчезали, самые общества переставали быть благоустроенными. Я говорю это, господа, здесь потому, что нигде в другом месте слова мои не могут иметь такого смысла. Здесь я вижу почтенного патриарха, удрученного годами, старого воина, принявшего грудью не один удар во имя любви к отечеству, и, наконец, юношу, полного надежд и веры в будущее... И все эти лица, и маститая старость, и увенчанная розами юность — соединяются в одном общем чувстве преданности к любимому начальнику... Господа! мне приятно от лица князя изъявить вам полную его признательность! Господа! я пью за здоровье любезнейшего нашего хозяина! *(Подходит с стаканом к Ивану Прокофьичу и жмет ему руку.)* Иван Прокофьич! да даст вам податель всех благ все, чего вы сами для себя желаете! да продлит он вам век для того, чтобы вы могли на долгие времена следовать влечению вашего доброго сердца и отирать слезы сирых, лишенных крова... *(Выпивает.)*

Гаврило Прокофьич. Ура! *(Пьет.)*

Лобастов *(в сторону)*. Ловко подпустил! *(Громко.)* Поцелуемся, брат Иван Прокофьич!

Целуются.

Иван Прокофьич *(растроганный)*. Леонид Сергеич! я... я не могу... не в силах выразить... Гаврюша! *(На ухо Гаврилу Прокофьичу.)* Шкатулку принести!

Гаврило Прокофьич уходит.

Доложите его сиятельству, что я жизнью готов... *(Кричит.)* Шампанского подать!

Лобастов. Ай да старичина! Вот как расходился!

Гаврило Прокофьич *(с шкатулкой в руках)*. Сейчас, дединька, вот возьмите сперва шкатулку.

Иван Прокофьич вновь отпирает шкатулку и считает деньги.

Иван Прокофьич *(подавая деньги Разбитному)*. Вот, Леонид Сергеич, малая лепта от трудов моих! Сколько могу, сколько сил моих хватает...

Разбитной *(кладя деньги в карман)*. Поверьте, Иван Прокофьич, князь сумеет оценить...

СЦЕНА XI

Те же и Фурначев.

Фурначев принадлежит к разряду тех людей, которых называют солидными. Он большого роста, с приличным чину брюшком, ходит прямо, говорит медленно и с достоинством; выражение лица имеет начальственное. При появлении его в лице Ивана Прокофьича разливается самодовольствие.

Фурначев *(останавливается в дверях и говорит за кулисы)*. Скажи, братец, моему кучеру, чтоб он ехал домой и доложил Настасье Ивановне, что я доехал благополучно. Да сей час же чтоб и воротился. *(Подходит к Ивану Прокофьичу.)* Как вы себя сегодня чувствуете, папенька? *(Целует у него руку.)* А у меня Настасья Ивановна что-то сегодня расхворалась... А! ваше превосходительство! Леонид Сергеич! Сейчас встретил я по дороге Доброзракова, и он сообщил мне утешительную весть, что ваше здоровье, папенька, весьма удовлетворительно... дай бог! дай бог! я всегда был того мнения, что болезненное состояние самое неприятное... не нужно ни богатств, ни почестей, если человек не пользуется первым благом жизни — здоровьем!

Лобастов. Это уж последнее дело!

Иван Прокофьич. Что ж ты не скажешь, чем Настасья-то Ивановна нездорова?

Фурначев. А ее болезнь, папенька, вам известная-с. Вчера с вечеру, должно быть, покушала... так, знаете, ночью-то даже дыханье остановилось.

Иван Прокофьич. Да ты бы не давал ей есть-то.

Фурначев. Нельзя, папенька, нельзя-с. Пробовал уж я, да только время напрасно потратил, а время, вы знаете, такой капитал, которого не воротишь. Всякий капитал воротить можно, а времени воротить невозможно.

Разбитной. Скажите, пожалуйста, Семен Семеныч, вы не были сегодня у князя?

Фурначев. Не был, Леонид Сергеич, не был, потому что не имел чести быть приглашенным.

Разбитной. Странно! а он хотел вас просить... знаете, вчера был пожар, погорела вдова с детьми... что-то много их там... княжна очень интересуется положением этих сирот.

Фурначев. Это наш долг, Леонид Сергеич, отирать слезы вдовых и сирых, это, можно сказать, наша священная обязанность... Я не об себе это говорю, Леонид Сергеич, потому что у меня правая рука не знает, что делает левая, а вообще...

Вносят стаканы с шампанским.

Разбитной. Так вы заезжайте к князю: ему будет очень приятно. А между тем мы выпьем здоровье нового жертвователя. *(Берет стакан и намеревается пить.)*

Иван Прокофьич. Нет, Леонид Сергеич, позвольте! Семен Семеныч свой человек, а вы наш гость. *(Берет стакан.)* За здоровье Леонида Сергеича!

Разбитной. Господа, я не нахожу слов выразить всю мою признательность! Почтенный патриарх, предложивший этот тост, почтил не меня самого, а в лице моем упорный труд и непоколебимое бескорыстие на высоком поприще общественного служения. Господа! не под влиянием винных паров, но под влиянием благотворных движений моего сердца говорю я: девизом нашим должен быть труд скромный, но упорный, труд никем не замечаемый, не бросающийся в глаза, но честный, труд, сегодня оканчивающийся и завтра снова начинающийся. Господа! настало для нас время обратить наше умственное око внутрь нас самих, ознакомиться с нашими собственными язвами и изыскать средства к уврачеванию их. Не блестящая эта участь, и не розами, но терниями усыпан путь безвестного труженика, которому приходится в поте лица возделывать землю, плодами которой воспользуются потомки! Но благословим его скромный, невидный труд, пошлем ему вослед самые искренние пожелания нашего сердца... Вспомним, что только они могут осветить лучом радости безотрадную пустыню, перед нами расстилающуюся, вспомним это и не пожалеем ни добрых слов, ни теплого участья, ни ободрения... Я сказал, господа! *(Пьет.)*

Гаврило Прокофьич. Ура! *(Пьет.)*

Фурначев *(жмет Разбитному руку)*. Вы благородный человек, Леонид Сергеич! *(Отпивает немного и ставит стакан.)*

Лобастов *(в сторону)*. И где он этак говорить научился!

Иван Прокофьич *(Фурначеву)*. Да ты пей все.

Фурначев. Не могу, папенька, не могу. Здоровья пожелал Леониду Сергеичу от глубины души, а пить не могу. Утром, знаете, натура не принимает!

Лобастов. А у меня вот так во всякое время натура принимает.

Гаврило Прокофьич. И у меня тоже; мы с вами, генерал, добрые... *(Треплет его по спине.)*

Разбитной. Господа, я не могу больше! сердце мое совершенно переполнено... Будьте уверены, мой любезнейший Иван Прокофьич, что я со всею подробностью передам князю те приятные впечатления, которые доставило мне утро, проведенное у вас... Прощайте, господа! *(Уходит.)*

Гаврило Прокофьич провожает его за двери.

СЦЕНА XII

Те же, кроме Разбитного. Живоедова и Живновский.

Фурначев. Анне Петровне мое почтение! *(Живновскому.)* Здравствуй и ты!

Живновский кланяется.

Живоедова. Здравствуйте, батюшка Семен Семеныч, как Настасья Ивановна в ихнем здоровье?

Фурначев. Благодарю вас, сударыня, не совсем здорова. Под ложечкой щемит.

Живоедова. Верно, покушала много. Надо ее ужò проведать, голубушку. *(Садится в стороне и принимается вязать шерстяной шарф.)*

Фурначев. Премного обяжете, сударыня.

Гаврило Прокофьич *(возвращаясь)*. Нет, каково говорит-то Леонид Сергеич, каково говорит! А еще удивляются, что княжна им интересуется! Да я вам скажу, будь я женщиной да начни он меня убеждать, так я и бог знает чего бы не сделал...

Фурначев *(с расстановкой)*. Мягко стелет, но жестко спать.

Гаврило Прокофьич. Уж вы, верно, Семен Семеныч, оттого так говорите, что он к пожертвованию вас пригласил: жаль расстаться с деньгами-то! И куда только вы их бережете!

Фурначев. Вы, конечно, по молодости, Гаврило Прокофьич, так говорите, вам незнакома еще наука жизни, а ведь куда, я вам доложу, корни учения горьки! Вот папенька это знает!

Иван Прокофьич. Это ты правду сказал, Семен.

Гаврило Прокофьич. Зато плоды сладки. А у вас,

Семен Семеныч, не только, чай, фрукты, а и новые семена здесь завелись! *(Бьет его по боковому карману.)*

Все смеются.

Фурначев. В чужом кармане денег никто не считал, Гаврило Прокофьич! Про́ то только владыка небесный может знать, что у кого есть и чего нет! А если бы и доподлинно были деньги, так они, можно сказать, чрез великий жизненный искус приобретены! Дай вам бог и не знать этого искуса, Гаврило Прокофьич!

Иван Прокофьич. Ну, полно, полно, Семен, он это по глупости больше сказал.

Фурначев. Нет, папенька, Гаврило Прокофьич очень меня обидели! Конечно, я зла на них не помню, потому что истинный христианин всякую обиду должен оставить втуне...

Иван Прокофьич. Ну, и брось... А вот ты лучше скажи, что нового в городу делается?

Фурначев. По палате у нас, слава богу, благополучно. Вчерашнего числа совершился заподряд... слава богу, благополучно-с!

Иван Прокофьич. Почем за ведро?

Фурначев. По пятидесяти по пяти копеек-с. Цена настоящая-с.

Иван Прокофьич. Да, цена хороша... Господи! давно ли, кажется, еще на моей памяти по двадцати копеек с ведра брали, да еще и как благодарны-то бывали!

Лобастов. Да, были-таки времена добрые, Иван Прокофьич!.. Вот я нонче Василья своего за овсом на базар посылал, так даже удивился — тридцать копеек за пуд!

Живоедова. А мы по двадцати по девяти свой покупали!

Живновский. Я так думаю, что все это от образования цены поднимаются... Смешно, сударь, сказать, а нонче даже мужик в сапогах ходить желает!

Фурначев. Нет-с, я, с своей стороны, полагаю, что оттого поднялись цены, что всякий торговец свой интерес соблюдает. Возьмем хотя заводчиков: они знают, что у царя денег много, ну, и берут по сообразности.

Лобастов. От того ли, от другого ли, только я знаю, что десять лет назад пуд овса стоил сорок копеек на ассигнации, а теперь и по рублю не купить!..

Живновский. Не купить, ваше превосходительство, не купить... Намеднись вот Егор Иваныч поручали мне эту комиссию — ходил, сударь, ходил, уж и ругал-то я их всяким манером: христопродавцы вы, говорю, жиды! а не купил-с!

Лобастов. Нет, видно, выпить с горя, да по домам! Гаврило Прокофьич! хватим!

Гаврило Прокофьич. А что вы думаете? Я, Андрей Николаич, славный малый, я всегда готов по-приятельски, не то что иные-прочие, что по утрам от шампанского отказываются... за ваше здоровье, дяденька Семен Семеныч! *(Пьет.)*

Иван Прокофьич. Полно, полно, заноза!

Фурначев. Оставьте их, папенька! пускай теперь смеются! после сами же оценят...

Лобастов *(Живновскому)*. Ну, а ты, Иов многострадальный! *(Подносит ему рюмку.)*

Живновский. Я с удовольствием-с. *(Пьет.)*

Иван Прокофьич *(вполголоса Фурначеву)*. Ну, а на нищую братию много ли пришлось?

Фурначев. Да по пяти копеек-с.

Иван Прокофьич. Что больно много?

Фурначев. Да нынче времена совсем другие, папенька. Прежде вот князь не брали, а нынче собственно для себя по две копеечки потребовали; ну-с, непосредственное начальство полторы пожелало, мне копеечку, а полкопейки на прочих... Оно так пять копеечек и выдет...

Иван Прокофьич. Им, стало быть, по пятидесяти копеек останется... что ж, это безобидно!

Фурначев. Профит хороший-с. Ведь и заподряд-то весь четыреста тысяч, папенька! Стало быть, и всего-то навсе четыре тысячи на мой пай придется — надо же и извернуться!

Иван Прокофьич. Это ты правильно! Анна Петровна, принеси шкатулку!

Фурначев. Покорно вас благодарю, папенька!

Иван Прокофьич. Ничего, братец, ничего, деньги к деньгам — это так следует! Вот этому выжиге Николке — это точно, что грех давать! И черт его знает, куда только он деньги девает! Что ни увидит — все ему подай: такие уж глаза завидущие! Намеднись вот, сказывают, у табатерщика тридцать табатерок купил; или вот картинщик еще приезжал — тоже всю лавку разом скупил! И хоть бы картины-то были священные, а то просто одна непристойность — и жену-то свою испортит! Я ему говорю: осел ты! А он мне: «Ничего, говорит, папенька, пригодятся потом!» Да еще и смеется, анафема! деньги-то не свои небось.

Живоедова *(с шкатулкой в руках)*. Да как он Танечку-то тиранит, Иван Прокофьич! Намеднись — сказывала мне ихняя кухарка — вздумала она что-то ему поперек сказать, так он на нее: «Только ты, говорит, пикни!» — да кулачищем-то

так вперед и тычет. Хоть бы вы его, что ли, остепенили, Семен Семеныч!

Фурначев. Нет-с, уж увольте меня, Анна Петровна; я человек скромный-с; по мере сил моих могу приносить пользу отечеству, а больше я ничего не могу-с!

Иван Прокофьич. Да кто с ним, с озорником, сладит! Вот я посажу его на сухоедение... *(Вынимает деньги.)* А тебе, Семен, дать не грех: тебе деньги впрок идут! *(Дает.)*

Лобастов. Дородства прибавляют! *(Треплет Фурначева по спине.)*

Фурначев. Чувствительнейше вам, папенька, благодарен! *(Целует ему руку.)* Там еще за вами безделица осталась...

Иван Прокофьич. По делам, что ли? Ну, это из конторы получишь: я, брат, знаю, что сыновство сыновством, а служба службой.

Живновский. Это самое правильное — счетов не смешивать!

Гаврило Прокофьич. Вы бы уж, дединька, и мне кстати пожаловали.

Иван Прокофьич. А тебе на что?

Гаврило Прокофьич. На непредвидимые расходы, дединька, на непредвидимые...

Иван Прокофьич. Ну, уж бог с тобой! Такой уж, видно, день сегодня пришел, что с деньгами расставаться нужно... На!

Гаврило Прокофьич *(рассматривая бумажку)*. Сто-то рублей!

Иван Прокофьич. Ну, будет, будет с тебя!

Во время раздачи денег Живновский находится в самом мучительном положении.

СЦЕНА XIII

Те же и Калужанинов.

Калужанинов человек роста малого, толстенький, быстр в движениях и часто махает руками; произношение имеет очень выразительное: *в* выговаривает как *ф*, *ж* как *ш*. Он в форменном сюртуке.

Калужанинов *(вбегая)*. Слышали? слышали?

Иван Прокофьич. Ну! верно, опять табакерок накупил!

Все смеются.

Калужанинов. Удивительная вещь! Знаете, какую штуку с нами приятель-то удрал?

Иван Прокофьич (*с беспокойством*). Что такое? что такое еще случилось?

Калужанинов. Представьте себе, сижу я сейчас у княжны... Вчера, знаете, пожар был, так она посылала чиновников по купцам за пожертвованием... Только вот сижу я, и приходит чиновник от Прокофья... Да нет, вы угадайте, сколько любезнейший-то братец пожертвовал? Нет, угадайте!

Все ожидают с страхом.

Дву-гри-вен-ный!

Иван Прокофьич (*падая на спинку кресла*). Ах ты, господи!

Живоедова (*бросаясь к Ивану Прокофьичу, Калужанинову*). Ишь тебя нелегкая принесла! воды! спирту!

Живновский. Сразил!

Общая суматоха; все группируются около Ивана Прокофьича.

Занавес опускается.

ДЕЙСТВИЕ II

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Фурначев.
Настасья Ивановна, жена его, 30 лет.
Прокофий Иваныч.
Гаврило Прокофьич.
Понжперховский.
Живоедова.
Лакей.

СЦЕНА I

Театр представляет кабинет статского советника Фурначева. Посреди сцены большой письменный стол, на котором во множестве лежат дела и бумаги. По стенам несколько кресел, а налево от зрителей диван; мебель обита драдедамом; в одном углу шкаф, в котором расставлены: Свод законов и несколько других книг. В средине комнаты дверь. Семен Семеныч, одетый в халат, сидит за письменным столом, углубившись в чтение «Московских ведомостей».

Фурначев (*прерывая чтение*). Итак, в настоящем году следует ожидать кометы! Любопытно бы, однако ж, знать, что предвещает это знамение природы? Гм... Комета, сказывают,

будет необыкновенная, с чрезвычайным хвостом... Стало быть, хвостом этим и землю задеть может... странно! что ж тогда предположения человеческие? Иной копит богатства вещественные, другой богатства душевные, один плачет, другой смеется... бьются, режутся, проливают кровь, разрушают города и вновь созидают.... и вот! Иной философ утверждает, что мир — вода, другой — что огонь, и что же из всего этого вышло? Только та одна истина, что человеческому мышлению предел положен! Однако эта комета неспросту... что-то будет? Если война будет, то должна быть кровопролитная, потому что и комета необыкновенная... Во всяком случае, рекрутский набор будет... Мудры дела твоя, господи! так-то вот все дела человеческие на практике к одному концу приводятся: там, в небесных сферах комета совершает течение, на концах земли кровь проливается, а в Крутогорске это просто-напросто рекрутский набор означает! *(Вздыхает.)*

Слышен стук в дверь.

Кто там?

Голос за дверью: Это я, душенька.

Фурначев. Взойди, Настасья Ивановна.

СЦЕНА II

Фурначев и Фурначева, дама еще не старая и очень полная, одета по-домашнему в распашной капот.

Настасья Ивановна. Я, душечка, к тебе.

Фурначев. Что ж, милости просим, сударыня.

Настасья Ивановна. Я, душечка, думала, что ты заперся и деньги считаешь.

Фурначев *(с скрытою досадой)*. Рассудительный человек никогда таким вздором не занимается, потому что во всякое время положение своих дел знает... Рассудительный человек досуги свои посвящает умственной беседе с отсутствующими. *(Указывает на «Московские ведомости».)*

Настасья Ивановна. Будто ты уж никогда и не считаешь деньги!

Фурначев. Что ж тебе угодно, сударыня?

Настасья Ивановна. А я, душечка, на тебя поглядеть пришла. Сидишь все одна-одинешенька, никакого для души развлеченья нет.

Фурначев. Скоро вот комета будет.

Настасья Ивановна. Что ж такое это за комета?

Фурначев. Звезда небесная, сударыня. Является она в

годины скорбей и испытания. В двенадцатом году была видима... тоже при царе Иване Васильевиче в Москве явление было... звезда и хвост при ней...

Настасья Ивановна. Да уж хоть бы комета, что ли... скука какая!

Фурначев. Вот вы, сударыня, женщины все так: вам бы только поегозить около чего-нибудь, а там что из этого выйдет, хоть даже народное бедствие — вам до этого дела нет. Правду говаривали старики, что женщина — гостиница жидовская.

Настасья Ивановна. За что ж ты ругаешься-то, Семен Семеныч? Конечно, лучше на комету посмотреть, нежели одной в четырех стенах сидеть... Ты лучше скажи, был ты у старика?

Фурначев. Был, сударыня.

Настасья Ивановна. Ну что ж, умирает?

Фурначев. Нет, жив и здоров.

Настасья Ивановна *(зевая)*. Господи! скука какая! целый вот век умирает, а все не умрет! Как это ему еще жить-то не надоело!

Фурначев. А я все-таки тебе скажу, что у тебя язык только по-пустому мелет. Конечно, если б Иван Прокофьич духовную в нашу пользу оставил... то и тогда бы не следовало желать смерти родителя.

Настасья Ивановна. Да уж очень, Семен Семеныч, скучно.

Фурначев. Зато Ивану Прокофьичу весело. Мудрое правило справедливо гласит: *не желай своему ближнему, чего сам себе не желаешь.*

Настасья Ивановна. Будто ты уж и не желаешь папенькиной смерти! Хоть бы при мне-то ты об добродетели не говорил! Господи, какая скука!

Фурначев. Добродетель, сударыня, украшает жизнь человеческую; человек, не имеющий добродетели, зверь, а не человек; перед добродетелью все гонения судьбы ничтожны... впрочем, это не женского ума дело, сударыня.

Настасья Ивановна. А все-таки ты папенькиной-то смерти желаешь... *(Зевает.)* И на что тебе деньги-то? только согрешенье с ними одно!

Фурначев. Деньги, сударыня, всякому человеку надобны.

Настасья Ивановна. Дети, что ли, у тебя есть? Так вот только бы нахапать побольше, а зачем, и сам, чай, не знаешь.

Фурначев углубляется в чтение газеты.

Даже противно смотреть на тебя, какую ты из-за денег личину перед папенькой разыгрываешь! Если бы еще своих не было! Кому-то ты их оставишь, как умрешь? Глупа вот только я была, что добрых людей не послушала...

Фурначев. Что ж вы этим сказать хотите, сударыня?

Настасья Ивановна. Уж я сама про то знаю.

Фурначев (*возвышая голос*). Да что ты знаешь-то?

Настасья Ивановна. А то знаю, душечка, что совсем ты мне не муж... такие ли мужья бывают!.. Слышал ты, у Палагеи Антоновны опять мальчик родился?

Фурначев. Я про такой вздор и слышать, сударыня, не хочу... пускай Палагея Антоновна нищих разводит — это ее дело!

Настасья Ивановна. Да, по крайности, ей весело, что у нее хоть муж есть... ах, только глупа я была, что добрых людей не послушала.

Входит лакей.

Лакей. Анна Петровна приехали.

Фурначев. Проси.

Лакей выходит.

Ты хоть при ней-то, сударыня, глупостей своих не говори.

Настасья Ивановна. Вот бы вас вместе женить; по крайней мере, была бы парочка.

СЦЕНА III

Те же и Живоедова.

Живоедова. А я, Настасья Ивановна, к вам. Давеча супруг-то сказал, что неможется вам...

Целуются.

Настасья Ивановна. Под ложечкой что-то... Ну что, как дома?

Живоедова. Да что дома? Не знаю уж как и сказать-то: иной раз видится, будто умереть ему надо, а иной раз будто жить хочет... Измучилась я с ним совсем.

Фурначев. Для вас, почтеннейшая Анна Петровна, уж одно то как должно быть неприятно, что в глазах ваших страдает особа, которою вы, можно сказать, с детства облагодетельствованы.

Живоедова. Конечно, Семен Семеныч, сами, чай, знаете, каково видеть, как живой человек умирает.

Фурначев. Не приведи бог, Анна Петровна. Я вот часто Настасье Ивановне тоже говорю: что-то наша почтеннейшая Анна Петровна поделывает — вот истинная-то страдалица!

Живоедова. Правда, Семен Семеныч, это истинная правда. Ведь даже лекарства ни из чьих рук принять не хочет: все Аннушка подай. Он же в болезнях-то такой благой...

Фурначев. Именно, не всякая женщина способна на такие жертвы... вот мы как вас понимаем, наша почтеннейшая!

Живоедова. Благодарю покорно, Семен Семеныч.

Настасья Ивановна. Уж что правда, то правда, Анна Петровна: я вот хоть и дочерью папеньке прихожусь, а кажется, ни за что бы на свете этакой муки не вытерпела.

Живоедова *(скромно)*. Да вы, моя голубушка, совсем и воспитанье другое получили... Я что? Я, можно сказать, с малолетства все в слезах да в слезах: как еще только глаза-то глядят!

Фурначев. Ничего, бог милостив, не останетесь без возмездия... Вспомните, сударыня, что бог с небеси призирает труждающихся.

Живоедова. Так-то так... хорошо, кабы ваша правда была, Семен Семеныч. А то вот как придется на старости-то лет опять в чужие люди идти?

Фурначев. Не говорите этого, сударыня. Бог именно видит, кто чего заслуживает, и добродетельные люди всегда и на сем и на том свете мзду для себя получали. Это уж я по себе заключить могу.

Живоедова. Хорошо, кабы на сем-то, Семен Семеныч.

Настасья Ивановна. Да неужто ж он еще не сделал духовной?

Живоедова. То-то и есть, мой ангел, что не сделал. Вам-то оно ничего, только разве досадно будет, что все Прокофью Иванычу достанется, а мне-то каково? Ведь Прокофей-то Иваныч думает, что через меня у них и раздор весь вышел... Конечно, глупа была! Кабы не женская моя простота, держать бы старика-то в сермяге, да воровать бы у него из сундука по малости... Так ведь тоже обидно, сударыня! Всякому ведь известно, при каких я должностях состою, так, по крайности, пусть уж говорят, что у хорошего человека, а не у сермяжника. Так чем же я тут виновата, что у них промеж себя из-за бороды в расстрой пошло? я уж сколько раз Прокофью-то говорила: да подари ты, сударь, ему эту бороду, так вот нет же, одеревенел человек.

Фурначев. Да, крепонек-таки любезнейший братец.

Настасья Ивановна. Просто даже скверно на него смотреть, голубушка Анна Петровна. Намеднись вот в церкви, так при всех и лезет целоваться — я даже сгорела от стыда... Вы возьмите, Анна Петровна, я ведь статская советница, в лучших домах бываю, и вдруг такой афронт!

Живоедова. А ведь это он, сударыня, с озорством сделал. Он даром что смирно смотрит, а ведь тоже куда озороват.

Настасья Ивановна. И я то же говорю, да вот Семен Семеныч все не верит... Кабы не Семен Семеныч, так я бы, кажется, давно ему в бороду наплевала.

Фурначев. Излишняя чувствительность, Настасья Ивановна, ведет лишь к погибели. Кто может предвидеть, какими такими путями ведет провидение человека? По моему мнению, почтеннейшая Анна Петровна, человек самое несчастное в мире создание. Родится — плачет; умирает — плачет. Следовательно, Настасья Ивановна, нам нужно с кротостью нести тяготы наши. Так ли?

Живоедова. Это правда, Семен Семеныч.

Фурначев. Ты бы вот, Настасья Ивановна, в горячности чувств своих, плюнула Прокофью Иванычу в бороду, а кто знает? может быть, еще пригодится тебе эта борода? Человек в своей кичливости предпринимает иногда вещи, в которых впоследствии горько раскаивается, но недаром гласит народная мудрость: *не плюй в колодезь — испить пригодится...* Может быть, почтеннейший Прокофий Иваныч и есть тот самый колодезь, о котором гласит пословица? Каково же тебе, сударыня, будет, если после испить-то из него придется?

Настасья Ивановна. Чтой-то ты, душечка, как говоришь скучно. Даже спать хочется.

Фурначев. Полезные истины всегда скучно выслушивать, сударыня. Только зубоскальство модных вертопрахов приятно ласкает слух женщины. Но истина хотя и не столь привлекательна, зато спасительна. Так ли, почтеннейшая Анна Петровна?

Живоедова. Мудрено чтой-то вы говорите, Семен Семеныч.

Фурначев. А что касается до духовной, то я и сам того мнения, что Иван Прокофьич ее не сделает.

Живоедова *(вздыхая)*. Ах, и не говорите, сударь! И сама это знаю, а как еще сторонние об этом вспомнят, так даже словно муравьи по-за кожей забегают.

Фурначев. И Прокофий Иваныч, стало быть, естественным образом достигнет желаемого.

Живоедова. Ведь он с меня и рубашку-то снимет, Семен Семеныч!

Фурначев. Это дело возможное, сударыня.

Живоедова. Хоть бы вы научили. как помочь-то этому!

Фурначев. Я об этом предмете желал бы иметь с вами откровенный разговор, Анна Петровна.

Настасья Ивановна. Мне уйти, что ли?

Фурначев. Можешь уйти, Настасья Ивановна,— мы не долго.

Настасья Ивановна уходит.

СЦЕНА IV

Те же, кроме Настасьи Ивановны.

Фурначев *(притворяя плотно дверь)*. Мне с вами, Анна Петровна, по душе побеседовать надо.

Живоедова. Что ж, Семен Семеныч, извольте беседовать.

Фурначев. Я желал бы знать, как вы об нашем общем предмете думаете?

Живоедова. Мое, Семен Семеныч, дело сиротское, думайте уж вы сначала.

Фурначев *(вполголоса)*. Я, сударыня, думаю, нельзя ли тово... *(Идет к двери и, посмотрев, нет ли кого за нею, возвращается.)* Насчет этого мы, кажется, оба согласны, что на духовную надежды мало; стало быть, того не миновать, что не нынче, так завтра все Прокофью Иванычу достанется. Так ли, моя почтеннейшая?

Живоедова. Это, сударь, по всему видимо, что к тому дело клонит.

Фурначев. Стало быть, вы размыслите только, любезная Анна Петровна, какие последствия выдут для вас из этого обстоятельства. *Во-первых,* он вас в ту же минуту из дому выгонит...

Живоедова. Ох, батюшка, лучше не говори!

Фурначев. Нет, сударыня, истину всегда выслушать полезно. Стало быть, он вас выгонит — это первое. Вы возьмите, моя почтенная, как вам тогда жить-то будет! Вы человек неженный, привыкли и кусок сладкий съесть, и на кроватке понежиться, и то, и другое, и третье... Каково же, сударыня, как вам вдруг голову приклонить негде будет? Как вам, может быть, в глухую темную ночь или в зимний морозный день придется в одном, с позволенья сказать, платье, Христо-

вым именем убежища для себя выпрашивать? Как вам не только сладкого ества, но и самой скудной пищи негде достать будет, чтоб утолить томительный голод?

Живоедова. Ох, батюшка, чтой-то уж ты больно страшно говоришь? Неужто это и может статься?

Фурначев. Станется, сударыня, непременно станется, если нет у вас скрытых капиталов...

Живоедова *(с живостью)*. Нет, сударь, нет... у меня, сударь, совесть чистая, немараная...

Фурначев. Верно, сударыня, и имею основательные причины верить. Но будем продолжать. *Во-вторых,* как вы думаете, почтеннейшая Анна Петровна, насчет Станислава Фаддеича?

Живоедова *(смущаясь)*. Не знаю, Семен Семеныч; кажется, Станислав Фаддеич хороший человек...

Фурначев. Это вы правду сказали, любезная Анна Петровна, и я так думаю, что женщина, которая *законным образом* получит право называться госпожою Понжперховскою, будет истинно счастливою женщиною... *(Смотрит на нее пристально.)*

Живоедова *(смущаясь еще более)*. Право, уж не знаю, как вам сказать, Семен Семеныч...

Фурначев. Конечно, нам с вами, сударыня, многого ли нужно? чтоб был у нас свой угол, да готовый кусок, да совесть чтоб чистая... Нам, в наши лета, больше об душе думать надобно, чтоб перед небесного судию предстать, помогать этак ближним, отирать слезы сирым и вдовицам... так ли-с?

Живоедова. Я что-то уж и не пойму вас, Семен Семеныч! то об Станиславе Фаддеиче говорите, то вот вдова какая-то...

Фурначев. Я шучу, сударыня, я шучу. Возвратимся к нашему разговору. Какого вы, например, мнения насчет того, если б вам вдруг из девицы Живоедовой сделаться майоршей Понжперховской?

Живоедова молчит.

А ведь в супружеском состоянии великие сладости обретаются, Анна Петровна!

Живоедова. Ах, уж не говорите, Семен Семеныч!

Фурначев. То-то-с. А я к тому все это веду, что через Прокофья Иваныча весь этот план ваш погибнуть может. Потому что вы возьмите хоть то: Станислав Фаддеич человек достойный, не нынче, так завтра подполковником будет; стало быть, ему и супругу надобно такую, чтоб могла за себя отве-

чать. Красота телесная — тлен, Анна Петровна; умрем мы — что же от нее, от этой красоты, останется? Страшно сказать — один прах! Красота душевная, бесспорно, вещь капитальная, но развращение века уж таково, что нравственные красы пред коловратностью судеб тоже в онемение приходят... Стало быть, Станиславу Фаддеичу капитал нужен настоящий-с.

Живоедова. Понимаю я это, Семен Семеныч, очень понимаю.

Фурначев. А если понимаете, так дело, значит, в том состоит, каким образом добыть приличный капитал, и об этом-то намерен я с вами теперь беседовать. *(Снова подходит к двери, заглядывает в следующую комнату и возвращается. Вполголоса.)* В каком месте, сударыня, у Ивана Прокофьича сундук с капиталами находится?

Живоедова *(в сторону)*. Господи! второй раз уж на дню... *(Громко.)* Сами, чай, знаете, Семен Семеныч, что в опочивальной под кроватью сундук.

Фурначев. Это, сударыня, нехорошо. *(Задумывается.)* А часто ли Иван Прокофьич себя поверяет?

Живоедова. Да каждый день, сударь. У него, у голубчика, только ведь и радости, что деньги считать! Утром встанет, еще не умоется, уж кричит: «Аннушка! сундук подай!» — ну, и на сон грядущий тоже.

Фурначев. И это не хорошо, сударыня. Позвольте, однако ж. Так как Иван Прокофьич находится в немощи и, следовательно, нагибаться сам под постель не в силах, из этого явствует, что обязанность эту должен исполнять кто-нибудь другой...

Живоедова. Я, сударь, лазию.

Фурначев. И тяжел сундук?

Живоедова. Диковина, как еще о сю пору не надорвалась, таскамши-то!

Фурначев. Это, сударыня, недурно. А так как, вследствие той же немощи почтеннейшего Ивана Прокофьича, вы не можете не присутствовать при действиях, которыми сопровождается поверка...

Живоедова. Присутствую, Семен Семеныч, это правда, что присутствую. Только он нынче стал что-то очень уж сумнителен; прогнать-то меня не может, так все говорит: отвернись, говорит, Аннушка, или глаза зажмурь...

Фурначев. Стало быть, вы не видите, что он делает?

Живоедова *(вздыхая)*. Уж как же не видеть, Семен Семеныч!

Фурначев. Стало быть, вы можете сообщить и нужные

по делу сведения... например, как велик капитал почтеннейшего Ивана Прокофьича?

Живоедова. Велик, сударь, велик... даже и не сообразишь — вот как велик... так я полагаю, что миллиона за два будет...

Фурначев. Это следовало предполагать, сударыня. Иван Прокофьич — муж почтенный; он, можно сказать, в поте лица хлеб свой снискивал; он человеческое высокоумие в себе смирил и уподобился трудолюбивому муравью... Не всякий может над собой такую власть показать, Анна Петровна, потому что тут именно дух над плотью торжество свое проявил. Во всяком случае, моя дорогая, вы, я полагаю, были достаточно любознательны, чтобы осведомиться, в каких больше документах находится капитал Ивана Прокофьича? то есть в деньгах или в билетах? и если в билетах, то в «именных» или «неизвестных»?

Живоедова *(в сторону)*. Точь-в-точь мой Станислав Фаддеич! *(Громко.)* Больше на неизвестного, Семен Семеныч! а есть малость и именных.

Фурначев. Это, сударыня, хорошо... *(Шутливым тоном.)* Так, по моему мнению, почтеннейшая наша Анна Петровна, *смысл басни сей таков,* что вы на первый случай одолжите нам слепочка с ключа или замка, которым «тяжелый сей сундук» замыкается.

Живоедова. Как же это, Семен Семеныч, слепочек? я что-то уж и не понимаю.

Фурначев. А вы возьмите, сударыня, вощечку помягче, да и того-с... *(Показывает рукой.)*

Живоедова *(задумчиво)*. А ну, как он увидит?

Фурначев. Вы это, сударыня, уж под кроваткой сделайте: это вещь не мудрая — можно и в потемочках сделать.

Живоедова. Да мне чтой-то все боязно, Семен Семеныч: мое дело женское, непривычное... ну, как увидит-то он? Куда я тогда с слепочком-то поспела?

Фурначев. Увидеть он не может-с; надо не знать вещей естества, чтобы думать, чтоб он, находясь на кровати, мог видеть, что под кроватью делается... Человеческому зрению, сударыня, пределы положены; оно не может сквозь непрозрачные тела проникать.

Живоедова. Да ведь я, Семен Семеныч, женскую свою слабость произойти не могу... я вот, кажется, так и издрожусь вся, как этакое дело сделаю. А ну, как он в ту пору спросит: «Ты чего, мол, дрожишь, Аннушка, ты, мол, верно, меня обокрала?» Куда я тогда поспела! Я рада бы радостью, Семен Семеныч, да дело-то мое женское — вот что!

Фурначев (*в сторону*). Глупая баба! (*Громко.*) Если он и сделает вам такой вопрос, так вы можете сказать, что от натуги... такой ответ только развеселить его может, сударыня.

Живоедова (*робко*). Ну, а потом-то что, Семен Семеныч?

Фурначев. А потом, сударыня, мы закажем себе подобный же ключ, и как начнет он умирать... Впрочем, сударыня, подробности заранее определить нельзя; тут все зависит от одной минуты.

Живоедова. Да зачем же ключ-то фальшивый! Как он помрет, можно будет и настоящий с него снять...

Фурначев. Первое дело, грех мертвого человека тревожить... интересы свои соблюдать можно, а грешить зачем же-с? А второе дело, может быть, не ровен случай, и при жизни его придется эту штуку соорудить, при последних, то есть, его минутах... поняли вы меня?

Живоедова (*робко*). Как же насчет денег-то?

Фурначев. В этом отношении вы можете положиться на мою совесть, сударыня. Труды наши общие, следовательно, и плоды этих трудов должны быть общие.

Живоедова. То-то, Семен Семеныч... да мне как-то боязно все... как это... слепочек... и все такое.

Фурначев. Однако нет, Анна Петровна... это уж вы, значит, своего счастья не понимаете... Хотите вы или нет быть госпожою Понжперховскою?

Живоедова. Как не хотеть, Семен Семеныч!

Фурначев. Ну, следственно...

Слышен стук в дверь.

Кто там еще?

Голос Настасьи Ивановны. Кончили вы, душечка? можно войти?

Фурначев (*Живоедовой*). Вы это сделаете, почтеннейшая Анна Петровна!.. Можешь войти, Настасья Ивановна, мы кончили!

СЦЕНА V

Те же и Настасья Ивановна.

Настасья Ивановна. Наговорились, что ли? Ну, теперь, голубушка Анна Петровна, и закусить не мешает.

Фурначев. Помилуй, сударыня, давно ли, кажется, обедали и опять за еду — ведь ты не шутя таким манером объесться можешь!

Живоедова. И, батюшка, это на пользу!

Настасья Ивановна. Я вот то же ему говорю... Да ведь и скука-то опять какая, Анна Петровна! книжку возьмешь — сон клонит: чтой-то уж скучно нынче писать начали; у окна поглядеть сядешь — кроме своей же трезорки, живого человека не увидишь!.. хоть бы полк, что ли, к нам поставили! А то только и поразвлечешься маненько, как поешь.

Живоедова. У вас же поди еда-то некупленная!

Настасья Ивановна. Нет, голубушка, вот нынче Егор Петрович завод закрыл, так муку тоже покупаем... *(Вздыхает.)* А конечно, в ту пору при Егор Петровичевом заводе жить лучше было: первое, что и мука и весь провиянт непокупной, а второе, что́ свиней одних у него там бардой откармливали!

Фурначев. У тебя, сударыня, только и разговоров что об свиньях да об еде. Я даже не понимаю, как тебе о сю пору не опротивели эти свиньи!

Настасья Ивановна. Да об чем говорить-то, Семен Семеныч! С тобой придешь побеседовать, так ты все о добродетели да о будущей жизни — ведь скука!

Живоедова. Да что, мать моя, правду ли говорят, что от барды-то у свиней мясо словно жесткое бывает?

Настасья Ивановна *(вздыхая)*. Конечно, не смею солгать, голубушка Анна Петровна, барденная скотина все не придет против хлебной... *(Вздыхая.)* Ну, да на наши зубы и то хорошо!

Живоедова. Конечно, даровому коню что в зубы смотреть! Так пойдем, что ли, закусить, матушка? По мне поди старик-то давно стосковался.

Фурначев. Пожалуйте, сударыня.

Уходят.

СЦЕНА VI

Фурначев один.

Фурначев. Ну, кажется, с божией помощью, это дело уладится... Вот Настасья Ивановна говорит: куда деньги копишь? Глупая баба! деньги всякому нужны: с деньгами всякая тварь человеком делается; без них и человек тварью станет. Господи! давно ли, кажется, давно ли! давно ли я босиком в одной рубашонке к отеческому дому гусей загонял! давно ли в земском суде, в качестве писца, в кабак за водкой бегал и за все сии труды не благодарность, а единственно колотушки в награду получал! И как еще колотили-то! Еще

хоть бы с рассуждением, туда, где помягче, а то просто куда рука упадет,— как еще жив остался! И вот теперь даже подумать об этом как-то странно! Кожа на ногах сделалась тонкая, тело белое, мягкое, неженное... и говорят еще, зачем тебе деньги! Как зачем? Вот я еще немножко позаимствуюсь, перееду в Петербург, пущусь в откупа, а там кто знает, какую ролю провиденье назначило мне играть? Вот намеднись Василий Иваныч из Петербурга пишет, что у них на днях чуть-чуть откупщика министром не сделали... что ж, это правильно! потому что откупщик — он всю эту подноготную как «помилуй мя, боже» заучил! Ну, а что, если и я? Нет, лучше бросить эту мысль! Ну, а если? ведь бывали же такие примеры! *(Повергается в мечтание.)* Или вот суету мирскую брошу, от дел удалюсь да и стану в правительствующем сенате на крылечке, с залогами в руках, отступного поджидать... Я, дескать, в дела входить не желаю, я, по милости божией, много доволен, а вот отступным не побрезгуем-с... хе-хе-хе!.. Ведь достиг же я статского советника, происходя черт знает из какого звания... даже сказать постыдно! А все деньги! Или нет, лучше сказать, не деньги, а ум — вот где всех вещей начало и причина! Иван Прокофьич именно почтенный человек — он понял это. Он именно собственным умом все достояние свое нажил, а наживши его, не захотел в прежней сермяге остаться, а уразумел, что человек тоже для общества пользу принести должен! Это и правильно! Потому что, останься он теперича в сермяге, всякий бы ему в глаза наплевал, всякий бы сказал: «Что ж, мол, ты век свой добрых людей грабил, да не хочешь жить, как в человеческом обществе надлежит!» Так неужто ж, в самом деле, начатое таким образом дело должно прекратиться смертью почтеннейшего старика? неужто и в самом деле должно оно перейти к Прокофью, который ни понять, ни достойным образом оценить труды своих предшественников не может? Стало быть, я действую правильно... Анна Петровна сказывала, что у старика до двух миллионов — ну, положим, хоть полтора. Если из них двести... нет, сто девяносто тысяч «именных» Прокофью... что ж, ему это достаточно! платками да ситцами торговать можно и на сто рублей! Да в делах, да в залогах, да в недвижимости еще столько! И все это Прокофью... предостаточно! Ну, десять тысяч Живоедовой за труды... остальные...

Входит л а к е й.

Ну, что там еще?

Л а к е й *(конфиденциально)*. Прокофий Иваныч пришли.

Ф у р н а ч е в. Ах! а Анна Петровна еще здесь?

Л а к е й. Здесь-с.

Фурначев. Ах ты, господи! уведи, уведи, братец, ты этого Прокофья; скажи, чтоб на кухне обождал, покуда эта ведьма тут.

Лакей уходит.

Что бы ему, однако ж, за надобность до меня?

Живоедова (*появляясь в дверях*). Прощайте, Семен Семеныч, мне уж и до дому пора.

Фурначев. Прощайте, сударыня; Ивану Прокофьичу наше почтение... скажите, что мы денно и нощно к престолу всевышнего молитвы воссылаем!

Живоедова уходит.

Что ж бы, однако, ему за надобность!

СЦЕНА VII

Фурначев и Прокофий Иваныч.
Прокофий Иваныч, не говоря ни слова, несколько раз кланяется.

Фурначев. Здравствуй, любезный друг! ты не посетуй, что дожидаться заставил: тут Анна Петровна была. Да у меня и на кухне хорошо.

Прокофий Иваныч. Помилуйте, ваше высокородие.

Фурначев. Ну-с, что новенького?

Прокофий Иваныч. Мы люди темные, ваше высокородие, целый день все в лавке сидишь — хошь и бывают новости, так самые, можно сказать, несообразные...

Фурначев. Можешь присесть, любезный.

Прокофий Иваныч. Нет, уж позвольте постоять, ваше высокородие...

Фурначев (*в сторону*). Стало быть, нужду до меня имеет! (*Громко.*) Как хочешь, любезный, я не неволю... а слышал, комета новая проявилась?

Прокофий Иваныч. Как же-с; вот Дементий Петрович из Москвы пишет, что надо звезде быть... там, слышь, много об этом в простонародье толков идет.

Фурначев. Какой это Дементий Петрович? тот, что ли, что наемщиками торгует?

Прокофий Иваныч. Тот самый-с.

Фурначев. Знаю, имел дела по рекрутскому присутствию... Человек основательный!

Прокофий Иваныч. Он теперь уж большими делами занимается... Нонче, сказывают, с наемщиками-то хлопот да строгостей...

Фурначев. Нет, отчего же, можно и нынче! Это все одни ругатели слух пущают, что нынче будто бы свет наизворот пошел, а он все тот же, как и прежде был! Да разве Дементий-то в «разврате» состоит?

Прокофий Иваныч (*мнется*). Да-с, ваше высокородие... он... точно... старинных обычаев держится...

Фурначев. Похвального мало. Умрет, как собака, без покаяния. Что он еще пишет?

Прокофий Иваныч. Да что пишет-с? Пишет, что великому надо быть перевороту; примерно, так даже думать должно, что и кончина мира вскорости наступить имеет.

Фурначев. Ну, а ты как?

Прокофий Иваныч. Мы что, ваше высокородие! Мы, можно сказать, на земле каков есть червь — и тот не в пример превосходнее нашего будет... Мы даже у родителя под гневом состоим.

Фурначев. Поди сюда.

Прокофий Иваныч подходит.

Видишь ты этот стол?

Прокофий Иваныч. Вижу, ваше высокородие.

Фурначев. Ну, если я этот стол отсюда велю переставить к стене, будет ли от этого светопреставление? Как по-твоему?

Прокофий Иваныч. Отчего, кажется, тут светопреставлению быть!

Фурначев. Ну... Теперь возьми ты, вместо стола, звезду и переставь ее с востока к западу — следует ли из этого, чтоб кончина мира была?

Прокофий Иваныч. А Христос их знает, ваше высокородие! Мы тоже не свое болтаем... нам пишут так.

Фурначев. Я тебе вот как на это скажу, что за такие безобразные толки надо в Сибирь ссылать... А ты коли понимаешь, что они вздор, так презри их, а не то чтоб в народ пущать! (*К публике.*) Не понимаю даже, каким образом в газетах об них печатать дозволяют! и кому какое дело, совершает ли комета течение или не совершает? Только в народе смуту производят эти толки! (*Прокофью Иванычу.*) Тебе больше ничего не надобно?

Прокофий Иваныч (*с расстановкой*). Я к вашему высокородию за советом пришел.

Фурначев. Ну?

Прокофий Иваныч. Мы так уж удумали... чтоб нам тятенькиной воле... покориться надоть...

Ф у р н а ч е в *(с невольным испугом)*. То есть как? что ты там, любезный, городишь?

П р о к о ф и й И в а н ы ч. Точно так-с; нам без родительского благословения жить невозможно.

Ф у р н а ч е в. Что ж, и с украшением своим, чай, расстанешься? *(Указывает на бороду.)*

П р о к о ф и й И в а н ы ч. Помилуйте, ваше высокородие!

Ф у р н а ч е в. Фрак наденешь, голову à la черт побери уберешь... ты, брат, уж прежде показаться приди.

П р о к о ф и й И в а н ы ч. Помилуйте, ваше высокородие, кабы не нужда наша...

Ф у р н а ч е в. Что ж, любезный друг, это дело хорошее. Родительскую волю уважать надо. Только если ты насчет наследства хлопочешь, так это напрасно: папенька вчерашний день и духовную уж совершил. *(В сторону.)* Припугнуть его!

П р о к о ф и й И в а н ы ч *(таинственно)*. Мне на этот-то счет и желательно бы с вашим высокородием разговор иметь.

Ф у р н а ч е в. Разговаривай, братец, разговаривай.

П р о к о ф и й И в а н ы ч. Я так скажу, ваше высокородие, что если бы да этой духовной не было, так я бы тому человеку, который мне эту спекуляцию устроит, хорошую от себя пользу предоставил.

Ф у р н а ч е в. Это резон... а как например?

П р о к о ф и й И в а н ы ч. Да если бы, например, миллион, так сто бы тысячек...

Ф у р н а ч е в *(в сторону)*. А не дурно придумал, бестия!.. Кабы на жадного человека, так и успел бы, пожалуй!.. посмеяться разве над ним? *(Громко.)* Нет, уж прибавь еще полсотенки.

П р о к о ф и й И в а н ы ч. Ну, и полсотенки прибавить можно.

Ф у р н а ч е в. А чем же ты меня заверишь, что обещание твое не на воде писано?

П р о к о ф и й И в а н ы ч. Неужто уж ваше высокородие мне не верите... Я готов хошь какой угодно образ со стены снять...

Ф у р н а ч е в. Д-да... Так ты непременно хочешь бороду-то себе обрить?

П р о к о ф и й И в а н ы ч. Да-с, это наше беспременное намеренье.

Ф у р н а ч е в *(пристально глядя ему в глаза)*. Ты за кого же меня принимаешь?

П р о к о ф и й И в а н ы ч *(оторопев)*. Помилуйте, ваше высокородие...

Ф у р н а ч е в. Нет, ты скажи, за кого ты меня принимаешь?

Если ты пришел предложить мне продать почтенного старика, которым я, можно сказать, от головы до пяток облагодетельствован, стало быть, ты за кого-нибудь да принимаешь меня? Если ты пришел мне рассказывать, как ты веру переменять хочешь, стало быть, ты надеешься встретить мое одобрение? За кого же ты меня принимаешь? *(Наступая на него.)* Нет, ты сказывай!

Прокофий Иваныч. Помилуйте, ваше высокородие...

Фурначев. Нет, ты ведь по городу пойдешь славить, что я с тобой заодно! ты вот завтра бороду себе оголишь да пойдешь своим безобразным родственникам сказывать, что статский советник Фурначев тебя к такому поступку поощрил!.. *(Скрещивая на груди руки и сильнее наступая на него.)* Так ты, стало быть, ограбить семью-то хочешь? Ты, стало быть, хочешь ограбить своего единственного сына и отдать отцовское достояние, нажитое потом и кровью... да, сударь, потом и кровью! — на поругание встречной девке, которую тебе вздумалось назвать своею женою? И ты хочешь, чтоб я был участником в таком деле? Ты хочешь, чтоб я в пользу твою продал и честь и совесть, которым я пятьдесят лет безвозмездно служу!.. *(С достоинством.)* Так у меня, сударь, беспорочная пряжка есть, которая ограждает меня от подобных подозрений!.. Вон!

Прокофий Иваныч хочет удалиться, но в это время дверь отворяется, и входит Понжперховский.

СЦЕНА VIII

Те же и Понжперховский.

Понжперховский. Семену Семенычу нижайше кланяюсь! А, и вы, Прокофий Иваныч, здесь?

Фурначев. Я очень рад, Станислав Фаддеич, вас видеть... особенно при теперешних обстоятельствах. *(Прокофью Иванычу.)* Не уходи!

Понжперховский. Я к Настасье Ивановне. Я, как известно вам, Семен Семеныч, больше по женской части-с...

Фурначев. Нет, вы не уходите. Вот я вам порасскажу про этого молодца...

Прокофий Иваныч хочет уйти.

Нет, любезный друг, теперь стой! Я хочу, чтобы целый свет узнал, каковы твои нравственные правила!

Прокофий Иваныч (*жалобно*). Помилуйте, ваше высокородие... ведь старик уж я!

Фурначев. Тем более, сударь, стыда для тебя: молодой человек может отговариваться неопытностью...

Понжперховский. Стало быть, случилось что-нибудь... скажите, пожалуйста!

Фурначев. Представьте себе, что почтеннейший благоприятель явился ко мне с предложениями насчет смерти нашего уважаемого Ивана Прокофьича! Как вы думаете, хорош поступок со стороны почтительного сына?

Прокофий Иваныч поникает головой.

Понжперховский. Не знаю, Семен Семеныч, я никогда в таких обстоятельствах не находился... Конечно, не лестно, должно быть, для почтенного родителя...

Фурначев. И представьте себе, что он мне за эту механику полтораста тысяч предлагал... Шутка сказать, полтораста тысяч! (*С чувством собственного достоинства.*) За кого же вы меня, сударь, считали, спрашиваю я вас?

Понжперховский (*качает головой*). Сс... А впрочем, знаете, Семен Семеныч, будь я на вашем месте... полтораста тысяч большой капитал, Семен Семеныч!

Фурначев (*с достоинством*). Мы, кажется, с вами друг друга не понимаем, майор... я говорю об Иване, а вы о Петре...

Понжперховский. Извините-с, Семен Семеныч, это я так-с, между прочим...

Фурначев. Я и сам тоже думаю, потому что вам, конечно, известны мои правила... Так как же вам кажется поступок этого почтительного сына? Да, главное-то, впрочем, я и забыл вам сказать: ведь почтеннейший Прокофий Иваныч с завтрашнего дня бороду бреет и одевается в пиджак!..

Прокофий Иваныч (*в сторону*). Господи!

СЦЕНА IX

Те же и Гаврило Прокофьич.

Гаврило Прокофьич. Это ужасно!

Прокофий Иваныч делает движение, чтоб уйти.

Фурначев. Нет, вы останьтесь! Я хочу, чтоб не только целый мир, но и сын ваш знал о ваших нравственных правилах! (*К Гавриле Прокофьичу.*) Что же такое случилось?

Гаврило Прокофьич (*меланхолически*). Представь-

те себе, покуда Анна Петровна к вам ездила, я остался один с дединькой и, воспользовавшись этим случаем, начал ему говорить насчет духовной...

Фурначев. Вы напрасно делали это, молодой человек. Совесть почтеннейшего нашего Ивана Прокофьича ни в каком случае насиловать не следует.

Гаврило Прокофьич. Да вы поймите же наконец, если мы еще медлить будем, так ведь нам ничего не достанется...

Фурначев. Бог милостив, Гаврило Прокофьич! Но если бы даже провиденью угодно было склонить весы правосудия и не в нашу пользу, то и в таком случае не следует роптать, а надо безмолвно покориться его персту указующему... Что ж он сказал-с?

Гаврило Прокофьич. Да что, обругал!

Прокофий Иваныч (*махнув рукой*). Завтра же пойду брошусь к ногам родительским... (*Хочет уйти.*)

Фурначев (*удерживая его, к Гавриле Прокофьичу*). Нет, а вы знаете, Гаврило Прокофьич, что любезный-то родитель ваш выдумал? ведь он предлагал мне в долю идти, чтобы только завещанья не было! ведь он и бороду уж обрить задумал!

Гаврило Прокофьич (*становясь против Прокофья Иваныча*). Ха-ха-ха!

Фурначев. Это верно-с... (*Обращается к Прокофью Иванычу.*) Государь мой! безнравственность вашего поступка так велика, что я за омерзение для себя считаю называться вашим родственником...

Гаврило Прокофьич (*хохочет*). Да нет, вы, дяденька, хотите меня уморить...

Фурначев (*Прокофью Иванычу*). Идите, государь мой, и помните, что сколько почтенна и достохвальна добродетель, столько же гнусен и непотребен порок!

СЦЕНА X

Те же, Настасья Ивановна.

Настасья Ивановна (*мужу*). Что это, душечка, как ты скучно говоришь! Вы, конечно, ко мне, Станислав Фаддеич?

Понжперховский (*расшаркиваясь*). Почту за особенную честь, если успею занять ваши досуги своим разговором...

Ф у р н а ч е в *(Прокофью Иванычу).* Можете идти, государь мой!

Н а с т а с ь я И в а н о в н а. Ах, боже мой! и этот противный здесь? Семен Семеныч! что ж, вы из моего дома разве харчевню хотите сделать?

Ф у р н а ч е в. Его никогда здесь больше не будет, сударыня. *(Прокофью Иванычу.)* Идите, сударь, идите!

Прокофий Иваныч уходит.

Господа! в настоящее время мы, более нежели когда-нибудь, должны тесно соединиться, чтобы поставить оплот коварству, копающему нам яму в лице Прокофья Иваныча. Господа! я предлагаю завтрашний же день показать пример спасительной строгости и передать почтеннейшему Ивану Прокофьичу об умысле того, которого он имеет несчастие называть своим сыном!

Г а в р и л о П р о к о ф ь и ч *(смотрит на часы).* А мне надо еще к Лобастовым ехать! Господи! Вот она где каторга-то!

З а н а в е с о п у с к а е т с я.

ДЕЙСТВИЕ III

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

И в а н П р о к о ф ь и ч.
П р о к о ф и й И в а н ы ч.
Г а в р и л о П р о к о ф ь и ч.
Ф у р н а ч е в.
Л о б а с т о в.
Ж и в н о в с к и й.
Р а з б и т н о й.
Н а с т а с ь я И в а н о в н а.
Л е н о ч к а Л о б а с т о в а.
Ж и в о е д о в а.
Б а е в.

СЦЕНА I

Та же комната, что и в I действии. На одном из столов поставлена закуска. Ж и в о е д о в а и Л о б а с т о в.

Л о б а с т о в *(закусывая).* Какой же это, сударыня, слепочек?

Ж и в о е д о в а. Да вот с ключика или с замка, который у сундука-то!.. Так я, говорит, по образу и подобию другой

ключик такой закажу, а как начнет старик-то кончаться, так вы, мол, мне тихим манером весть дайте...

Лобастов. А я, дескать, приду, ключиком сундучок отопру, да что следует оттуда и повыну...

Живоедова. Ну, так, сударь, так!

Лобастов. А ведь это он, сударыня, не глупо выдумал!

Живоедова. Уж насчет ума это нечего говорить: первый по губернии человек!

Лобастов. Ну, а деньги поровну?

Живоедова. По-моему, надо бы поровну, а там ведь господь его знает, что у него на душе... этого-то я и боюсь!

Лобастов. Это вы правду, сударыня, сказали, что чужая душа потемки. А я так думаю, что тут и сомнения держать не в чем.

Живоедова. Ты, стало быть, думаешь, что он обидит?

Лобастов. А то как же? Сами вы, голубушка, рассудите, из-за каких же ему расчетов с вами делиться? Если б еще вы были человек чистый, если б сами не были в это дело со всех сторон запутаны, ну тогда, конечно, можно бы с ним поговорить... А то вообразите вы себе то: ну приступите вы к нему, скажете: «Отдай половину», а он вам на это: нет, мол, половины много, а вот, дескать, тебе на чай синенькую...

Живоедова. Чтой-то уж и синенькую!

Лобастов. Положим, вы так ему и скажете, а он вам на это: довольно, мол, с тебя и этого будет!

Живоедова. Да ведь я, сударь, горло ему перегрызу, я, сударь, наследникам все открою... у меня язык-то тоже не купленный...

Лобастов. Положим, что и это вы ему объясните. Так ведь он, сударыня, знаете ли, что вам ответит: «У тебя, скажет, у самой хвост-от в грязи; я, скажет, только деньги взял, а ты, мол, и ключ фальшивый составила... так разве хочешь идти вместе на каторгу?» Ну, может, и еще тут рубликов с пяток набавит... Так на каторгу-то, чай, вы не пожелаете...

Живоедова. Кому охота! Да чтой-то ты, сударь, все пять да пять рубликов заладил — а ты говори дело!

Лобастов. А дело, сударыня, тут в том состоит, что Семен Семеныч обширного ума человек!

Живоедова (*тоскливо*). Да ты хоть бы присоветовал что-нибудь, Андрей Николаич... право, точно уж ты чужой человек...

Лобастов. Тут надо, сударыня, чтоб с чистой душой человек был... чтоб ухищрениям Семена Семеныча свой оплот поперек поставить.

Живоедова. Да ведь я еще слепочка-то ему не давала... *(Вздыхая.)* Уж, видно, ин бросить эту затею!

Лобастов. Зачем же-с? Затея эта хорошая, только надо ее обеспечить... Это вы хорошо, Анна Петровна, сделали, что мне сказали, потому что я тут могу многое... Да вы, пожалуй, и Станиславу Фаддеичу передали?

Живоедова. Оборони бог!

Лобастов. То-то же-с. Станислав Фаддеич человек, конечно, хороший — слова нет! — только надо его в руках держать. Надо, сударыня, так поступить, чтоб он вашу особу завсегда желал, а не вы его. И если у вас, с божьей помощью, будут в руках капиталы, так вспомните, Анна Петровна, меня, старика, не отдавайте вы ему этого капитала в руки!

Живоедова. За совет тебе, Андрей Николаич, спасибо... Только что ж ты теперь сделаешь-то?

Лобастов. А мы сначала с стариком насчет духовной поговорим. Надо, сударыня, сначала добром попробовать.

Живоедова. Поговори ты ему, голубчик! Ну, а как он упираться станет?

Лобастов. Ну, тогда-с... надо еще об этом поразмыслить. Только уж, во всяком случае, вы, как начнет Иван Прокофьич кончаться, так заодно с Семен Семенычем и мне потихоньку шепнуть пришлите.

Живоедова. А я знаешь что удумала? нечем к Семену Семенычу посылать, так мы бы вдвоем это дело обделали?

Лобастов. То есть обобрать-то-с?

Живоедова. Да не обобрать — что ты, сударь, в самделе, как говоришь! обобрать да обобрать — только и слов у тебя! не обобрать, а попользоваться...

Лобастов. Не могу-с... грех-с...

Живоедова. Да что ж за грех..

Лобастов *(прерывая ее)*. Грех, сударыня.

Живоедова. Ну, ин ладно, пусть Семен Семеныч старается. Только ты меня уж, сделай милость, с ним заодно не обмани. Вспомни ты, Андрей Николаич, что я кругом сирота, да и дело-то мое такое, что я с женским с своим умом никаких этих делов не понимаю... Так не обмани же ты меня!

Лобастов. Обмануть мне вас, сударыня, нельзя, да и не расчет, а только уж вы меня в третью часть примите!

Живоедова *(вздыхая)*. Уж что с тобой делать! все лучше, не ѐжели как он в сам-деле синенькой отпотчует!

За дверьми слышится шум.

Ну, теперь, кажется, и впрямь кто-то пришел.

СЦЕНА II

Те же и Живновский.

Живновский. Я, почтеннейшая благодетельница, на минуточку.

Живоедова. Уж чего, чай, на минуточку. Ты только языком говоришь, что на минуточку... часто уж повадился!

Живновский. Я, пожалуй, и уйду, сударыня.

Лобастов. Вздор, любезный, без хлеба-соли из гостей не уходят... выпьем!

Живновский. Я, ваше превосходительство, от этого никогда не отказываюсь. По-моему, это неучтиво! Вот вчера, например, Семен Семеныч, сказывают, от шампанского отказался... ну, как вы там хотите, а я этого никогда оправдать не могу.

Лобастов. Что говорить... выпьем!

Живновский. Ваше здоровье, благодетельница! дай вам бог полнеть, добреть да богатеть... да женишка чтобы такого... чтоб искры из глаз посыпались! *(Пьет.)*

Лобастов. Ай да молодец! *(Смеется.)* Какого женишка-то пожелал: чтоб искры посыпались! Ай да поручик!

Живоедова. Ведь чего только не скажешь ты, стрекоза! Ну, уж посиди ин; вот ужо Иван Прокофьич выедет, так потешишь его, старика.

Боковые двери растворяются, и из другой комнаты показывается то же кресло, что и в первом действии.

Лобастов. А вот и он — легок на помине.

СЦЕНА III

Те же и Иван Прокофьич.
Последний в халате, ноги закутаны в одеяло.

Лобастов. Здравствуй, брат Иван Прокофьич! Рано на боковую собрался.

Иван Прокофьич *(слабым голосом)*. Плохо, Андрей Николаич, сам уж чувствую, что плохо. Теперь еще как будто поотлегло маненько, а вчерась с вечеру да сегодня утром даже словно как в тумане был. Спасибо Ивану Петровичу — кровь пустил.

Живновский. Полноте, благодетель, еще поживете. Вот мы вам здоровья пожелаем. *(Подходит к водке и пьет.)*

Иван Прокофьич. Ничего, братец, даже не чувствую. Давеча и Аннушку не узнал.

Лобастов. Это, сударь, худо.

Живоедова. Уж и как худо-то! *(Плаксивым голосом.)* Я к нему подхожу давеча с ложечкой, а он, голубчик, смотрит на меня, да и говорит: «Ступай, говорит, ты прочь, а пошли ко мне Аннушку!» Так во мне даже сердце-то все перевернулось!

Живновский. Это вы точно правду сказали, Анна Петровна. Я вот сколько уж раз при последних минутах присутствовал — там, знаете, в аптеку попросят сбегать, в другом месте подержать что-нибудь — и, однако ж, никак не могу привыкнуть... все, знаете, сердце в груди переворачивается!

Лобастов. У тебя оно поди уж наизнанку выворотилось!

Иван Прокофьич. Что нового, Андрей Николаич?

Лобастов. Да что, сударь, новенького? В газетах вон все про звезду какую-то пишут.

Иван Прокофьич. Эта, брат, звезда недаром.

Лобастов. Шумаркают тоже и в народе, да ведь в народе, сами знаете, всегда всякая несообразность идет.

Живоедова. Вот бы у Прокофья Иваныча спросить: он бы растолковал.

Иван Прокофьич. Да, брат, он на это мастер... Слыхал ты, как он число 666 толкует?..

Живновский. Я так думаю, благодетель, что водка дороже будет... вам же лучше!

Иван Прокофьич. Разрешил!

Лобастов. Что комета-с! вот это получше кометы будет: я уж полковником был, батальоном, сударь, командовал, а князь Семиозерский у маменьки под юбочкой еще квартирование имел, а теперь вот читаю в газетах — произведен, сударь, в генералы! Так это получше кометы будет!

Иван Прокофьич. Ну, а еще каких производств нет ли?

Лобастов. Федулов из полковников тоже в генералы произведен.

Иван Прокофьич. Какой это Федулов? Комиссариатский, что ли?

Лобастов. Тот самый.

Иван Прокофьич. Ну, этому следует. Хороший человек! Я, сударь, с ним дела имел по поставкам, так именно

беспокойства никакого не знал. Что следует отдашь, а уж там зажмуря глаза принимают.

Лобастов. Зато нашего брата, батальонного командира, каким товаром награждают... ай-люли!

Иван Прокофьич. У вас, брат, сойдет!

Живновский. Именно сойдет. По служению моему в Белобородском гусарском полку случалось мне иногда принимать вещи — так именно удивляешься только! решето решетом, а сходит! А потому это, я вам доложу, сходит, что пригонка тут важную ролю играет! Живот, знаете, подтянут, там урвут, в другом месте ущипнут, ну, и созидаются из праха здания.

Иван Прокофьич. Ты, брат, тоже, видно, пригонку-то эту знаешь!

Живновский. Я чего не знаю, благодетель! только не оценил меня князь, а то на что бы ему лучше полицеймейстера! Вы спросите, в каких только я переделках не бывал!

Живоедова. Расскажи хоть что-нибудь, потешь Ивана Прокофьича за хлеб за соль.

Живновский *(становясь в позицию)*. Слыхали ли вы, например, благодетель, что значит жидов травить? А я, сударь, не только слыхал, но в подробности эту штуку знаю, потому что она мне кровных своих родовых двести душ стоила!

Лобастов. Молодец, брат!

Живновский. А слыхали ли вы, что значит, например, от живого мужа жену увезть... и этак без малейшего с ее стороны согласия? А я, сударь, не только слыхал, но и испытал и даже отдан был за нее под суд!

Живоедова. И за дело, сударь! Против желания даму увезти — это уж последнее дело!

Живновский. А слыхали ли вы, что значит купца третьей гильдии, тоже против собственного его желания, телесному наказанию подвергнуть? А я, сударь, подвергнул, и даже не отвечал, потому что купец, по благоразумию своему, согласился взять с меня двести рублей на мировую...

Иван Прокофьич. Дурак, должно быть, купец сыскался. От другого ты и двумя тысячами бы не отъехал.

Живновский. А слыхали ли вы, что значит родного отца в рекруты сдать?

Лобастов. Ну, брат, заврался! Это происшествие-то ведь известное... не клепли на себя.

Живновский *(не смущаясь)*. Положим-с. А слыхали ли вы?..

Живоедова. Ну, уж перестань лучше, батюшка; ты,

пожалуй, такое что брякнешь, что женскому уху и слушать-то не надлежит.

Живновский. И вот, как видите, здрав и невредим предстаю пред вами!

Иван Прокофьич. Ну, чай, бока-то намяли тоже?

Живновский. Если уж и помяты бока, так не людьми, а судьбою, Иван Прокофьич! Судьба, это правда, никогда меня не жаловала и, можно сказать, всякое лыко в строку писала... От этого, может быть, и полицеймейстерского места я не получил! *(Крутит усы и вздыхает.)*

Иван Прокофьич. Ты бы поди и здесь травлю завел?

Живновский. Это как богу угодно, Иван Прокофьич!

Лобастов. Нет, ты лучше нам, братец, расскажи, где ты не перебывал?

Живновский. Это именно так: где-где я не перебывал? Был, сударь, в западных губерниях — там, я вам доложу, насчет женского пола хорошо! такие, сударь, метрески попадались, что только за руку ее возьмешь, так она уж и тает и тает. Такая, знаете, у них натура скоропалительная! Бывал я и в Малороссии — ну, там насчет фруктов хорошо: такие дыни-арбузы есть, что даже вообразить трудно! Эти хохлы там их вместо хлеба едят, салом закусывают... Бывал и в Петербурге-с — ну, это именно диковинная штука! Там я скрипача Аполлинари слышал — прежестоко играет! Кажется, всякое чувство на одной струне изобразить может.

Живоедова. Вот этакого бы мужа!

Живновский. Только немецкого духу много — этого уж я терпеть не могу! Ходят все съежившись, пальтишко на нем расстегнутый — так, страмота какая-то!

Иван Прокофьич. Похвалил.

Живновский. Ну, и обману тоже много: не различишь, который мещанин, который дворянин, который умен, который глуп. Насчет ума, я вам доложу, у них даже фортель такой есть: сядет этак и надуется, даже глазом не моргнет, будто думает... А у самого, сударь, только притворство одно, потому что и заместо головы-то каменоломня у него на плечах! Это верно-с!

Лобастов. Ха-ха-ха! а ведь это правда!

Живновский. А из всех мест нет прохладнее места Нижегородской ярмарки! Чего там только нет! Цыганки, тирольки! в одном углу молебен поют, в другом: *ой вы, уланы!* вавилонское столпотворение в живой картине! Я вам так доложу, что однажды я неделю там прожил, и была ли хоть одна минута, чтоб трезв был!

Иван Прокофьич. И после этакой-то жизни в Кру-

тогорск попал! по купцам ходит, старое платьишко вымаливает! Ин дай ему, Анна Петровна, сертучишко старый там залежался...

Ж и в н о в с к и й. Приму с благодарностью-с... всякую лепту приму! Старый чулок пожалуете — и тот приму: к вам же на бумажную фабрику изойдет. Когда ж сертучок-то, матушка Анна Петровна?

Ж и в о е д о в а. Приходи ужо̀!

И в а н П р о к о ф ь и ч. А что, брат, если бы тебя полицеймейстером-то к нам сделали, ведь ты бы нас, кажется, всех живьем так и поел!

Ж и в н о в с к и й *(крутя усы)*. Гм...

И в а н П р о к о ф ь и ч. То-то нравом-то ты больно уж озороват! Ты бы вот потихоньку да полегоньку, так, может, и послал бы бог счастья!

Л о б а с т о в. Нас бы и съел!

Все смеются.

Ну вот, слава богу, ты и повеселел маленько, Иван Прокофьич!

И в а н П р о к о ф ь и ч. Да этот проходимец хоть мертвого чихать заставит! Никаких киятров не надо!

Ж и в н о в с к и й. Я для благодетеля всем жертвовать готов; хотите, попляшу? Я по-цыгански отменно плясать умею.

И в а н П р о к о ф ь и ч. Ну тебя! еще уморишь, пожалуй! А ты мне лучше скажи, Андрей Николаич, как у вас с Гаврюшенькой?

Л о б а с т о в. Гаврило Прокофьич, кажется, согласны.

Ж и в о е д о в а. То-то, чай, Леночке-то радости!

Л о б а с т о в. Уж и не говорите, сударыня.

Ж и в о е д о в а. Шутка сказать, тридцать первый годок все в девичестве да в девичестве!

Ж и в н о в с к и й. Да у вас, кажется, свадьба, генерал? А мне и не скажете? Я хоть бы поздравил!

И в а н П р о к о ф ь и ч. Поздравить ты можешь, только вот ты, чай, отсюда пойдешь по городу звоны звонить...

Ж и в н о в с к и й *(с рюмкой водки в руках)*. Как можно-с! Будто мы приличий не знаем. Желаю здравствовать жениху и невесте-с! *(Пьет.)*

Ж и в о е д о в а. Ты хоть бы стихи, сударь, сказал.

Ж и в н о в с к и й. Перезабыл все, сударыня. В старину много тоже приветствий знал, а нынче все испарилось.

Ж и в о е д о в а. Это от водки, сударь.

Л о б а с т о в. Только я вот чего боюсь, Иван Прокофьич, как бы малый-то не спятил!

Иван Прокофьич. Отчего бы, кажется, ему спятить! Партия хорошая, капитал ты за ней даешь резонный...

Живновский. А начнет пятиться, так и за волосяное царство ухватить можно. Вы только меня в ту пору призовите.

Иван Прокофьич *(с сердцем)*. Да отстань ты, шабала, тут дело говорят.

Лобастов. Все как-то у них не так, Иван Прокофьич! Гаврюшенька вот вчера приехал, повернулся, да и вон... Ну, Леночка и в слезы-с! Так каково же мне, по-родительски, на эти слезы глядеть!

Иван Прокофьич. Ты сейчас уж и захотел! Такое дело временем, сударь, делается! Сначала оно точно будто противно, а после и обойдется!

Живоедова. Нет, Иван Прокофьич! Видала я влюбленных-то мужчин, так сразу даже словно накинется, сердечный!

Лобастов вздыхает.

Живновский. Ну, точно вы мою жизнь рассказываете, Анна Петровна!

Живоедова. Куда тебе, сударь! *(Вздыхает.)*

Иван Прокофьич. Ну, поглядим... если он тово... так, пожалуй, и пожурить можно!

Лобастов. Уж сделай милость, отец!

Слышен стук экипажа.

Живоедова. Чу, никак, наши подъехали!

СЦЕНА IV

Те же, Настасья Ивановна и Леночка Лобастова. Леночка очень длинная, худая и бледная девица.

Настасья Ивановна *(подходя к руке отца)*. Здравствуйте, папенька! Я к вам и новую нареченную внучку привезла.

Лобастов *(подводя Леночку)*. Прошу, сударь, любить.

Живоедова. Еще бы! да как же можно такую милашку не любить!

Иван Прокофьич. Здравствуйте, сударыня, дайте взглянуть на себя!

Леночка подходит к руке и целует ее.

Анна Петровна! подай сюда шкатулку!

Живоедова уходит.

Лобастов. Напрасно, брат; право, напрасно балуешь! *(Леночке.)* Да ты, голубушка, скажи что-нибудь дединьке, ну хоть малость какую-нибудь! *(Ивану Прокофьичу.)* Она, брат, у меня смирная...

Леночка. Bonjour, grand-papa!

Лобастов. Вот умница! *(Гладит ее по голове.)*

Живновский. Смирная жена в дому благоухание разливает — это и в старинных русских сказаниях написано!

Иван Прокофьич. Это, сударь, ничего, это хорошо, что смирная... *(Леночке.)* Да что ты будто худа, сударыня?

Живоедова *(принося шкатулку)*. Это пройдет, Иван Прокофьич; вот замуж выйдет, через месяц и не узнаешь.

Иван Прокофьич *(отдавая Леночке деньги)*. Вот тебе, сударыня, на первый случай от меня тысяча рублей на булавки... прошу любить!

Леночка. Ах, я вас, grand-papa, всю жизнь любить буду!

Живновский *(вполголоса Живоедовой)*. Что это невеста-то будто сухопаровата... да и золотушна, кажется! Вот кабы этакая кралечка, как наша почтеннейшая Анна Петровна.

Живоедова. Всякому своя, сударь, линия. Вот я хоть и вышла телом, а все счастья нет!

Иван Прокофьич *(Леночке)*. Куда ж ты, сударыня, молодца-то своего девала?

Леночка. Ах, grand-papa, я к вам на него с жалобой. Он совсем меня не любит, все говорит, что дела какие-то!

Иван Прокофьич. Это худо; ты должна его привлечь к себе.

Лобастов. Вот и я то же ей говорю, да уж очень она у меня смирна.

Живоедова. Смирна-смирна, а с мужчинами тоже не мешает иногда и порезвиться, душечка! Они это любят!

Лобастов. Слышишь, душечка? Анна Петровна тебе добра желаючи говорит.

Живоедова. Вы бы, голубушка, вот по щечке его потрепали или ущипнули — мужчины это любят!

Живновский. Ну, как ущипнуть, сударыня!

Живоедова. Разумеется, не по-мужицки, а тоже умеючи!

Живновский. Главное дело, в муже характер переломить надо...

Настасья Ивановна. Вот у меня Семен Семеныч на что благой, а тоже не я в нем, а он во мне заискивает... Потому что коли я захочу да упрусь, так что ж он против этого может сделать!

Живновский. Это правда, сударыня. Вот у меня тоже знакомая дама была, так она как рассердится на супруга своего, так только ножками сучить начнет — ну и спасует! *(Леночке.)* Это вам в поучение-с...

Иван Прокофьич. Да полно тебе сквернословить-то!.. Ты лучше, Настасья Ивановна, скажи, что у тебя в доме делается!

Настасья Ивановна. Да что делается? скука только одна — хоть бы комета, что ли, поскорей! Вот Семен Семеныч говорит, что война будет... хоть бы уж война, что ли! *(Зевает.)* Да вот еще Семен Семеныч сказывал, что Прокофий Иваныч веру переменить сбирается...

Иван Прокофьич. Как это веру? } Вместе.
Живоедова. Вот новости-то! }

Настасья Ивановна. Да я что-то и не поняла!

Иван Прокофьич. А ты толком говори, сударыня.

Настасья Ивановна. Ах, папенька, ведь вы знаете, как Семен Семеныч говорит скучно... Я с того самого часу, как за него замуж вышла, все зеваю.

Лобастов. Что ж он, в иностранную, что ли, веру перейти хочет?

Настасья Ивановна. Кто их там знает? Семен Семеныч сказывал насчет бороды что-то...

Живновский. В малаканы или в иудействующие записаться хочет.

Лобастов. А я так думаю, что просто-напросто бороду обрить задумал... *(В сторону.)* А ну, как он его простит! с одной стороны... нет, во всяком случае, это скверно, потому что этот сиволап в ту пору так тут и издохнет над ним... надо это предупредить. *(Громко.)* Может быть, от корысти он это делает, Иван Прокофьич, как думает, что ты при конце жизни находишься, так потешу, мол, старика, а там как умрет, опять сермягу надену и лес запущу.

Иван Прокофьич. Ну, он это напрасно.

Живоедова *(смотря в окошко)*. Ах, батюшки! Да никак, это он и приехал! да какой несообразный!

Настасья Ивановна *(тоже подбегая к окну)*. Представьте себе, в сертуке!

Леночка. И без бороды!

Лобастов. Как прикажешь, дружище?

СЦЕНА V

Те же и Баев.

Баев *(входя, останавливается в дверях)*. Прикажешь, что ли, сударь, Прокофья-то Иваныча принять?

Иван Прокофьич молчит.

Полно, сударь! ведь уж и гроб у тебя за плечьми стоит, а зла все позабыть не можешь! Иван Прокофьич! Ведь он от твоего же чрева плод... пустить, что ли?

Иван Прокофьич *(в раздумье Лобастову)*. Принять, что ли, Андрей Николаич?

Лобастов. Как хочешь, любезный друг!

Живоедова *(Лобастову)*. Да ты что же, сударь, на все стороны егозишь! А ты прямо говори, принимать или нет!

Настасья Ивановна. Охота вам, папенька, со всяким мужиком разговаривать! велите его прогнать, да и все тут...

Баев. Больно уж ты востра, как посмотрю я, сударыня, ведь Прокофий-то Иваныч тебе братец! Так ты нечем папыньку-то сомущать, должна бы по-христиански на мир его склонить... Видно, и взаправду, сударыня, светопреставленье приходит — достанется тебе на том свете на орехи!

Настасья Ивановна. Что это, папенька, у вас всякий приказчик наставленья читать смеет! Я Семену Семенычу скажу, что у вас благовоспитанной даме в доме быть неприлично...

Иван Прокофьич. Не тронь ее, Прохорыч!

Баев. Больно она у тебя, сударь, волю с супругом-то взяли! Я бы этакую егозу взял бы да, поднявши бы рубашоночку, зелененькой кашкой так бы накормил... право слово бы накормил!

Живновский *(забывшись)*. Молодец старичина!

Настасья Ивановна. Ну, вы еще что тут? Невежа!

Баев. Так вели ты его, сударь, к себе на глазки пустить! Вспомни ты, Иван Прокофьич, давно ли ты сам из звериного-то образа вышел? Давно ли ты палаты-то каменные себе выстроил? Давно ли тебя исправник таскал, да не за волосики, а все за бороду — так, стало быть, и у тебя, сударь, борода была!

Иван Прокофьич *(с сердцем)*. Полно врать, дурак!

Настасья Ивановна. Это ужас! даже слушать тошно!

Баев. Вспомни родителя-то своего! Вспомни, как он, уми-

раючи, тебе наказывал: «Ванька! паче всего браду свою береги!» Не зверь же он был, а человек, да такой еще человек, что, кажется, нынче и не родятся такие-то! Вспомни, как он жил! Не скобливши лица, так и в гроб лег, да и опояску тоже завсегда ниже пупка опущал!

Леночка. Ах, papa, какие непристойности!

Лобастов. Ничего, душечка, потерпи.

Живоедова. Да уйми ты его, Иван Прокофьич!

Иван Прокофьич молчит.

Баев. Вспомни, сударь, и про супругу свою Феклисту Семеновну, как она, сердечная, убивалася, когда ты браду-то свою князю власти воздушныя пожертвовал! От этой от прихоти твоей она, может, и в гроб пошла!

Настасья Ивановна *(Леночке)*. Ах, ma chère, какое невежество!

Баев. Каких, сударь, тебе еще примеров надо?

Лобастов. Ты видишь, Прохорыч, что Иван Прокофьич в здоровье слаб.

Живоедова. Да я и не допущу — разве уж через мое грешное тело перейдет Прокофий Иваныч!

Баев. Не блажи, сударыня.

Иван Прокофьич *(взволнованно)*. Прохорыч!.. Я теперь... нездоров... право!

Баев. Растопи ты, сударь, свое сердце! ведь он прихоть твою исполнил, нарядился, как ты желал... допусти же ты его до себя, дай хоть глазки-то свои закрыть единородному своему детищу!

Настасья Ивановна. Будто уж, кроме мужика, никто другой и глаза закрыть не может!

Баев. Что хорошего-то будет, как чужие да наемники только и будут кругом тебя, как владыка небесный к тебе по душу пошлет! С чем ты, с какими молитвами к нему, к батюшке, на Страшный его суд предстанешь? Куда, скажет, девал ты Прокофья-то? А я, мол, его на наемницу да на блудницу променял!.. А ведь наемники-то, пожалуй, и тело-то твое, корысти ради, лекарю на наругательство продадут!

Настасья Ивановна. Ты ври, да не завирайся, однако!

Баев. Не егози, сударыня, я дело говорю!

Живоедова *(Ивану Прокофьичу)*. Что ж, Иван Прокофьич, коли вы холопу скверному при себе обижать меня позволяете, так, стало быть, я не нужна вам?

Иван Прокофьич. Полно, Прохорыч, перестань!

Баев. Пустить, что ли?

Те же и Прокофий Иваныч (без бороды и одет в сюртук, впрочем ниже колен).

Прокофий Иваныч (*показываясь в дверях*). Батюшка!

Женщины пронзительно вскрикивают.

Живоедова (*загораживая ему дорогу*). Не пущу! не пущу! переступи ты через мое тело, а не пущу!

Баев. Вели, сударь!

Иван Прокофьич (*в сильном волнении*). Пусти, Анна Петровна! пущай подойдет!

Живоедова отходит в сторону.

Здравствуй, Прокофий!

Прокофий Иваныч входит робко.

Живоедова. Хоть бы Семен Семеныч пришел!

Настасья Ивановна. Этот Семен Семеныч только об добродетели умеет говорить, а вот как нужно когда, его и с собаками не сыщешь!

Баев (*Прокофью Иванычу*). Кланяйся, сударь, кланяйся родителю в ножки!

Прокофий Иваныч (*падая в ноги*). Батюшка! Прости ты меня! Согрубил, власти твоей великой родительской не послушал!

Живоедова. Поздно спохватился, почтенный!

Баев. Блажен муж иже и скоты милует, сударыня!

Иван Прокофьич. Я, Прокофий, ничего... Я зла на тебе не помню... только чего же ты теперь от меня хочешь?.. да ты встань!

Баев. Ничего, сударь, и поползает перед родителем!

Прокофий Иваныч (*стоя на коленях*). Я, батюшка, ничего не желаю... я прошу вас, как вы немощны, так позвольте только почаще навещать вас... (*Кланяется в ноги.*)

Настасья Ивановна. Это вы, братец, не худо выдумали.

Иван Прокофьич. Я, брат, не знаю... у меня и в голове что-то мешаться стало... что ж, кажется, это можно? (*Смотрит на присутствующих.*)

Живоедова. При твоих, сударь, немощах да чужой человек... да он тебя, сударь, из себя только выводить станет!

Иван Прокофьич. Только ты, брат, не часто... я нонче уж не тот, брат... скоро вот умирать начну!

Баев. Что ж, Иван Прокофьич! не чужой человек! Если что и непригожее увидит, как сын простит.

Иван Прокофьич. Да ты встань, брат!

Прокофий Иваныч. Мне, батюшка, не вставать, а помереть бы у ног ваших следовало за все мои грубости!

Иван Прокофьич. Ничего... это дело прошлое! вставай!

Прокофий Иваныч встает.

Настасья Ивановна. Позвольте, братец, посмотреть на вас, как вы изменились!.. сестрица Мавра Герасимовна, я думаю, вне себя от удовольствия... Вы из Петербурга, конечно, платье свое выписывали?

Баев. Экая ты заноза, сударыня!

Прокофий Иваныч *(кланяясь)*. И не того достоин я, Прохорыч, за мои прегрешения! *(Кланяется отцу.)* Как я в окаянстве своем родительскую волю презрел...

Лобастов *(треплет Прокофья Иваныча по плечу)*. Это ты хорошо сделал, что очувствовался... Поцелуемся, брат.

Прокофий Иваныч. Покорно благодарим, ваше превосходительство!

Целуются

Живновский *(подходя с рюмкой водки)*. За ваше здоровье, Прокофий Иваныч! *(Пьет.)*

Иван Прокофьич. Ну, что нового в городу делается?

Прокофий Иваныч. Мы, батюшка, люди слепенькие, если что и делается, так, можно сказать, мимо нас все проходит... в опчествах больших не бываем... *(Кланяется.)*

Иван Прокофьич. Ну, как торги?

Прокофий Иваныч. Какие наши торги-с! Конечно, по милости вашей, насущный хлеб иметь можем-с... платочков да ситчиков рублика на три в день продашь, и будет целковичек на пропитанье.

Иван Прокофьич. С малых делов к большим привыкают. Я и сам по крупицам, брат, собирал.

Прокофий Иваныч. Это конечно-с.

Иван Прокофьич. Как малым доволен будешь, так с большим совладать не мудрость... это первое правило!

Прокофий Иваныч. Мы вашими милостями много довольны, батюшка... по грехам своим и не того еще заслуживаем!

Баев. Кланяйся, сударь!

Иван Прокофьич. Не нужно! Я, брат, этого не люблю; это все мужицкая привычка... Ну, как Мавра Гарасимовна?

Прокофий Иваныч. Слава богу-с. Сокрушается только, батюшка.

Иван Прокофьич. Ну приведи ее как-нибудь... сумеречками... посмотрю я на нее.

Настасья Ивановна *(язвительно)*. И к нам, братец, уж приезжайте... сделайте ваше одолжение! Нам так приятно будет познакомиться с сестрицей... мы слышали, она такая милая!

Баев *(Ивану Прокофьичу.)* За красоту, сударь, и взял ее!

Живновский *(в сторону)*. Да, бабенка лакомая! черт их знает, как эти расколки делают, а прехорошенькие!

Иван Прокофьич. Слышал, брат, слышал.

Прокофий Иваныч. Помилуйте, батюшка, какая у нее красота! Конечно, для нас, худых что называется, по Сеньке и шапка... *(Кланяется.)*

Живоедова *(Ивану Прокофьичу)*. Только где ты, сударь, эту Сенькину шапку принимать будешь? Ведь к тебе, сударь, господа хорошие ездят, а она поди в телогрее ходит, да и платка-то у ней носового еще не заведено! Ну, как кто ее в хороших-то горницах увидит: «А это, скажет, что, мол, за панёвщица!» — «А это, мол, дочка моя!..» Полно, сударь! только страмиться на старости лет!

Живновский. Это ничего, сударыня. Древние российские царицы завсегда в телогреях ходили...

Живоедова. Так то, сударь, царицы! Ты вот только без ума перебиваешь меня завсегда... *(Ивану Прокофьичу.)* Воля, сударь, твоя, а я ее дальше кухни не пущу!

Иван Прокофьич. Ты, Прокофий, приводи ее сумеречками... *(Вздыхая.)* Я, брат, человек невольный...

Лобастов. А ну, Прокофий Иваныч, выпьем-ка, брат, на радости! *(Подносит ему рюмку водки.)*

Прокофий Иваныч. Помилуйте, ваше превосходительство, мы много довольны... *(Кланяется и не берет.)*

Живновский. А что, видно, претит хлебное! вот она где познается искренность-то!

Живоедова *(с иронией)*. Уж где ему хлебное вино пить!

Иван Прокофьич. Пей, братец!

Баев. Пей, сударь! Вот и я тоже християнин, а пью же.

Прокофий Иваныч дрожащими руками берет рюмку и выпивает.

Живоедова. Поди, чай, он, отсюда домой пришедши, в баню сходит, чтоб только грех-то с себя этот смыть, что в таком поганом месте был.

Живновский *(Лобастову)*. А это именно доложу я вашему превосходительству, что водка во многих случаях пробный камень. У меня был приятель исправник, так он, бывало, даже для шутки мне показывал: «А хочешь, говорит, посмотреть, который в вере тверд?» — и подзовет к себе да нальет ему рюмку водки: «Выпей, брат!..» Так ни за что не выпьет, хоть вы на куски его режьте!

СЦЕНА VII

Те же и Фурначев.
При виде его Прокофий Иваныч отходит несколько в сторону.

Фурначев. Папеньке честь имею свидетельствовать мое глубочайшее почтение! *(Целует у него руку.)* Как изволите в здоровье своем находиться? Генерал! как поживаете!

Настасья Ивановна *(указывая на Прокофья Иваныча)*. Не видишь, что ли? посмотри!

Фурначев. А! и вы, братец, здесь? *(К Ивану Прокофьичу.)* Вам, конечно, неизвестно, папенька, что вчера Прокофий Иваныч вас за полтораста тысяч продавал!

Баев. Полно, сударь, врать-то!

Прокофий Иваныч. Помилуйте, ваше высокородье!

Иван Прокофьич. Как продавал?

Фурначев. Точно так-с. Пришел вчерась ко мне и говорит: «Устройте, говорит, так, чтоб тятенька — извините, папенька, это его собственное выражение — духовной не оставлял, так я, говорит, вам полтораста тысяч отдам». Право-с! Я еще с ним поторговался немного, а то бы за сто тысяч продал!

Все смеются.

Иван Прокофьич. Так вот, брат, ты как!

Прокофий Иваныч *(падая в ноги к старику)*. Помилуйте, батюшка, этого никогда не бывало!

Фурначев. Мне, папенька, лгать не из чего-с. Я в этих ихних дрязгах по наследству вмешательства не имею. Меня чем бог самого благословил, тем я и доволен, потому что знаю, что ничто так жизнь человеческую не сокращает, как завистливый взгляд на чужое достояние. Что папеньке будет угодно, по милости своей, мне назначить; я всем буду дово-

лен, а если и ничего не назначат, и тут роптать не стану, а пролию печаль мою ко господу, потому что на это власть их родительская... Только мне вот что обидно будет, если, помимо людей достойных, достанется все тебе, который, кроме черной неблагодарности, ничем другим не заплатил за все благодеяния...

Иван Прокофьич. Это ты справедливо, Семен, говоришь.

Фурначев. Кто тебя родил? Кто тебя воспитал? Кто тебя человеком на свет пустил? И чем же ты заплатил за это? тем, что родителя своего готов на площади с аукционного торга продать? Нет, воля ваша, папенька, а я не могу, не могу его видеть!

Баев. Ах, Прокофий Иваныч, Прокофий Иваныч! как же ты это так родителя-то своего за грошик отдать хотел!

Прокофий Иваныч. Не было этого, батюшка!

Фурначев. Ты говоришь: не было... А кого я вчерашнего числа при Станиславе Фаддеиче уличал? Кого я вчера при собственном твоем сыне страмил? Настасья Ивановна! говори, сударыня! при тебе это было?

Настасья Ивановна. А кто тебя знает? Кабы ты говорил понятнее, так точно я могла бы знать, а то все околесицу такую плетешь... Ругался — это я помню, что ругался!

Иван Прокофьич (*иронически*). Так ты, значит, отца своего продать захотел!

Прокофий Иваныч стоит склонивши голову.

Так зачем же ты сюда пришел? Если ты в наследники втереться хотел, так ведь это умеючи надо сделать... глуп, брат, ты!

Живоедова. Злость-то в сердце велика, да ума-то вот нет!

Лобастов. Нехорошо, брат Прокофий Иваныч! не ждал я этого от тебя!

Фурначев. Ведь вы то возьмите, ваше превосходительство, что и дикие — и те к отцам своим уважение имеют!

Лобастов (*указывая на Живновского*). Вот он сказывал, что сам собственноручно отцу своему лоб забрил!

Настасья Ивановна. Что это, Андрей Николаич, вы все какие небылицы рассказываете!

Иван Прокофьич. Господи! да неужто ж и в самом деле вы, как праздника светлого, ждете не дождетесь, пока я издохну! Откупаться мне, что ли, от вас надобно, чтоб вы в глаза-то мне не смотрели да над душой у меня не сидели! Ведь вы, чай, и умереть-то мне порядком не дадите, так тут

и передеретесь все... *(Задыхающимся голосом.)* Да отстаньте, отстаньте вы от меня, черти этакие!

Фурначев. Вы, папенька, напрасно себя беспокоите! Человек он внимания не стоющий, а не то чтоб из себя по этому случаю выходить.

Иван Прокофьич. Я вообще, сударь, говорю!

Живновский *(в сторону)*. Пиль, Семен!

Иван Прокофьич *(сыну)*. Что ж ты стал? *(Замахиваясь на него палкой.)* Вон отсюда! Счастлив твой бог, что я ходить не могу! *(Закашливается.)*

Живновский. Это значит в три шеи, без комплиментов, из гостей провожают!

Иван Прокофьич. Господи! не поразит же господь громом таких Каинов! Да ступай же ты, аспид ты этакой!

Лобастов. Ступайте, Прокофий Иваныч! Бог милостив, перемелется когда-нибудь...

Живоедова. Ступай, ступай, пока бока целы!

Фурначев. Это тебе урок, любезный! Если б тебя смолоду учили, ты знал бы, что нет гнуснее порока, как лицемерие и неблагодарность!

Прокофий Иваныч молча уходит.

Баев *(вздыхая)*. Видно, и мне на печку идти! Эхма! попутали тебя деньги, Иван Прокофьич! *(Уходит.)*

СЦЕНА VIII

Те же, кроме Прокофья Иваныча и Баева.

Лобастов *(Ивану Прокофьичу)*. Ты, дружище, успокойся; не стоит он того, чтоб кровь из-за него портить.

Фурначев. Вы, папенька, то посудите, каково мне-то вас таким образом огорчать! И то уж я целое утро сегодня все думал, сказывать ли мне... чтоб, то есть, не огорчать вас понапрасну... Однако рассудил, что он ведь таким образом достойным людям повредить в вашем мнении может — за что же-с!

Иван Прокофьич. Это ты хорошо сделал, Семен, что сказал.

Лобастов. А коли по правде сказать, Иван Прокофьич, так ты сам, дружище, виноват маленько...

Иван Прокофьич. Я-то что ж?

Лобастов. Да так, ничего... Мое дело тут сторона...

Иван Прокофьич. Да говори же, коли начал.

Лобастов *(останавливаясь против него)*. Отчего бы тебе, например, духовной не сделать! По крайности, всякий бы знал, при чем он состоит!

Живоедова. Уж и как бы хорошо-то было!

Живновский. Святое дело!

Лобастов. Конечно, любезный друг, ты еще в силах... ну, а как тово?.. ведь он Гаврюшеньку-то в ту пору без куска хлеба оставит!

Леночка. Ах, боже мой!

Живоедова. Да и нас, старых твоих слуг, без рубашки из дому выгонит... Ты, сударь, пойми, что мы двадцать пять лет подле тебя жили, мало ли тоже плоть твою утешали! Урезонь ты его, Андрей Николаич!

Настасья Ивановна. Конечно, папенька, что это за невежество такое! Будто уж как духовную напишете, так тут и смерть вам! Что за понятия гадкие!

Иван Прокофьич *(Лобастову)*. И ты, брат, заодно со всеми!

Лобастов. Да я, любезный, дело тебе говорю! Мне что? я тут сторона... только нужно же тебе сказать, а там как хочешь! Вот хоть у Семена Семеныча спроси, он то же скажет.

Фурначев. Как, ваше превосходительство, я тут ничего не могу... я так даже скажу, что у меня и язык не повернется, чтобы что-нибудь посоветовать! Папенька сами рассудок имеют и могут, значит, сами понимать, что кому следует *по делам его,* а советовать — значит совесть папенькину насиловать — это не в моих правилах, ваше превосходительство!

Лобастов *(в сторону)*. Знаем мы твои правила!

Фурначев. Мое дело было указать папеньке, какая ему угрожает опасность со стороны Прокофья Иваныча,— и я это сделал! сделал для того, чтобы совесть моя не могла меня упрекнуть, что я, знавши такое дело, не изобличил его, не вывел его, так сказать, на публичное позорище!

Живоедова *(Фурначеву)*. Что ж ты уперся-то, сударь!

Настасья Ивановна. Да что вы его слушаете, Анна Петровна! известно, он говорит для того только, чтоб самому себя потешить.

Фурначев. Ты, сударыня, женщина и потому, конечно, понять этого не можешь... Папенька! если вы желаете моего мнения, то я считаю священной моей обязанностью доложить вам, что так как состояние ваше все благоприобретенное, то вы совершенно вправе действовать по внушению вашего сердца... Как бог вам на душу положит, так и поступайте! *(В сторону.)* Все равно духовной не сделает.

Те же и Гаврило Прокофьич (входит встревоженный).

Гаврило Прокофьич. Здравствуйте, désинька! (*Подходит к руке.*)

Живоедова. Поговори хоть ты с désинькой, Гаврюшенька! духовной не хочет сделать, всех по миру пустить хочет! ступайте, говорит, вы в чужие люди, не хочу, говорит, я знать вас!

Гаврило Прокофьич. Свинство это с вашей стороны, désинька!

Живновский. Огрел сразу!

Иван Прокофьич. Эй, не балуй, Гаврило!

Гаврило Прокофьич. Ну, да черт с вами, делайте что хотите... (*Вполголоса Лобастову.*) Генерал! Мне два слова сказать вам нужно.

Леночка. Что же вы даже не подойдете ко мне, мсьё Габриель... ведь это даже стыдно.

Гаврило Прокофьич. Извините, я не об том теперь думаю.

Леночка. Ах, боже мой! он не о том думает!

Лобастов. Отстань, сударыня, такое ли теперь время!

Отходит в сторону с Гаврилом Прокофьичем и начинает шептаться.

Иван Прокофьич. Вот какие времена пришли! Правду говорят, что нет человеку врага больше, как свои же кровные! И чем я согрешил перед вами? Тем разве, что по копеечке целую жизнь сбирал, не щадя ни живого, ни мертвого... Господи! каково-то будет мне перед престол твой предстать! Там ведь все эти обиженные да пущенные по миру и отдыха-то, чай, не дадут! (*Задумывается.*)

Живновский. Это воображение одно, Иван Прокофьич!

Гаврило Прокофьич (*вполголоса*). Как же бы предупредить-то его?

Лобастов. Право, ума не приложу.

Входит лакей.

Лакей. Леонид Сергеич Разбитной приехали.

Иван Прокофьич. Господи! как же я в халате-то приму!

Живоедова. Ничего, сударь, не взыщет. Проси!

Лакей выходит.

Лобастов (*в сторону*). Ну, кажется, приближается дело к развязке... только бы вдруг не умер!

СЦЕНА X

Те же и Разбитной.

Разбитной. Почтеннейший Иван Прокофьич! князь поручил мне осведомиться о вашем здоровье... *(Гавриле Прокофьичу.)* Bonjour, mon cher[1].

Иван Прокофьич. Очень благодарны его сиятельству за внимание... плохо, сударь, очень плохо!.. Гаврюшенька!

Гаврило Прокофьич. Сейчас, techинька. *(Хочет идти.)*

Разбитной. Не трудитесь, почтеннейший Иван Прокофьич, я на минуту к вам.

Гаврило Прокофьич остается.

Князь поручил мне передать вам, что старания его увенчались успехом... отчасти.

Живновский. Честь имею поздравить, благодетель!

Лобастов *(вполголоса Живновскому)*. Не торопись, брат!

Разбитной. Если я употребляю слово «отчасти», то это еще не значит, чтобы внимание, вам оказанное, было маловажно. Бывают случаи, господа, когда доброе слово начальства дороже всех вещественных изъявлений. Что может быть лестнее, что может быть трогательнее, как прочувствованное и сказанное от глубины души «спасибо»? В этом «спасибо» сказывается какая-то патриархальность отношений, какая-то свежесть и чистота нравственного чувства, без которых самая добродетель немыслима. Конечно, всякий из нас, господа, принося пользу обществу, думает только об удовлетворении законному требованию своего внутреннего чувства, просветленного сознанием долга, и, совершивши душевный подвиг, не ищет никакой иной для себя награды, кроме наслаждения спокойною совестью. Но если при этом встречается еще сочувствие, то удовольствие, доставляемое сознанием принесенной пользы, получает еще более значительное развитие, и, конечно, никакая награда не может быть выше той радости, которая озаряет при этом душу своим тихим светом... Одним словом, я приехал к вам, почтеннейший Иван Прокофьич, объявить от имени князя, что за ваши полезные пожертвования вам прислана признательность начальства... Не сомневаюсь, что вы оцените такое внимание и новыми подвигами на пользу общую оправдаете высокое доверие, вам оказанное! *(Подходит к Ивану Прокофьичу и жмет ему руку.)*

---

[1] Здравствуйте, мой милый.

Иван Прокофьич (*едва внятным голосом*). Очень благодарен... его сиятельству...

Гаврило Прокофьич. Вы, дединька, не огорчайтесь!

Лобастов. Покорись, брат!

Разбитной. Поверьте, любезнейший Иван Прокофьич, нам очень неприятно, если это вас огорчает. Поверьте, что и князь и я, мы вполне ценим ваши заслуги...

Фурначев. Заслуги папенькины на небесах, Леонид Сергеич!.. Не сокрушайтесь, папенька!

Живоедова (*тихо Настасье Ивановне*). Больше-то, видно, ничего не будет?

Разбитной (*с чувством*). Прощайте, почтенный Иван Прокофьич! Прощайте, господа. (*Уходит.*)

СЦЕНА XI

Те же, кроме Разбитного.

Иван Прокофьич (*опускаясь в кресло, слабым голосом*). Господи!

Живоедова. Батюшки! Да, никак, уж он умер!

Живновский (*подбегая, берет старика за руку*). Дышит еще!

Живоедова. Лекаря! Лекаря!

Живновский (*в сторону*). Сын родной продать хотел — не сразил, а «надворный советник» сразил... дивны дела твоя!

Занавес опускается.

ДЕЙСТВИЕ IV

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Прокофий Иваныч.
Гаврило Прокофьич.
Лобастов.
Фурначев.
Понжперховский.
Трофим Северьянович Праздников, выгнанный из службы за безобразие приказный.
Живоедова.
Настасья Ивановна.
Баев.
Дмитрий, лакей.
Мавра, горничная.
Лакеи, горничные, сторожа, кучера и проч.

СЦЕНА I.

После III действия прошло около недели. Театр представляет небольшую комнату в доме старика Размахнина. Посреди сцены круглый стол, на котором слепо горит сальная свечка. Вход из глубины сцены; направо дверь в спальную Ивана Прокофьича, налево две двери, из которых одна, ближайшая к задней декорации, ведет в каморку Живоедовой, другая в чулан. Поздний вечер. При открытии занавеса на стенных часах бьет девять. Из средней двери выходят Прокофий Иваныч, Баев, Живновский и Праздников. Последний без речей и несколько навеселе. По временам, однако ж, мычит что-то непонятное.

Баев *(осторожно ступая)*. Вы, государи мои, тише. Сейчас, пожалуй, и Живоедиха нахлынет.

Прокофий Иваныч. А ну, как да он не умрет, Прохорыч, да найдут нас в чулане?

Баев. Умрет, сударь, умрет. Это я беспременно знаю! Живоедиха уж и Маврушку к Андрею Николаичу спосылала, да, спасибо, та мне-ка шепнула, а я и велел ей по тебя сходить.

Живновский. Что умрет — это уж будьте покойны... я тому удивляюсь, как он о сю пору духа еще не испустил — крепкий старик!

Баев. Да ты не пяль горла-то! что разорался!

Живновский. Я, Прохорыч, потихоньку.

Баев. То-то потихоньку! Ты вот на него смотри! *(Указывает на Праздникова.)* Он вот как есть божий человек! *(Праздникову.)* Да что, сударь, от тебя будто несет нестройно! Неужто уж на такой-то случай воздержаться не мог?

Праздников мычит.

Живновский. Это он, Прохорыч, на радости... в чаянье за труды посильную мзду получить.

Баев. Да, сударь, уж потрудись. Не равно с ихней стороны обида какая выйдет, так чтоб и свидетели были.

Живновский. Это правильно. В русских обычаях, Прокофий Иваныч, свидетели большую ролю играют. Ни одного хорошего дела без них не совершается: обозвал непристойно — прислушайте, в рожу свиснул — засвидетельствуйте... Везде свидетели-с...

Баев. Не дело, сударь, говоришь. Живоедиха-то Маврушке наказывала: поди, мол, сначала к Андрею Николаичу, а от него к Семену Семенычу, да скажи, мол, что умирает барин... Так «умирает», а не умер, значит. Ты уж только стой да нишкни, сударь!

Прокофий Иваныч. Да ведь зазорно больно, Прохорыч!

Баев. А разве лучше будет, как без тебя-то все добро растащат!

Живновский. Уж это упаси господи, Прокофий Иваныч!

Баев. У него поди одного платья что напасено! и не увидишь, как растащат... Ты уж Живоедихе-то дай хоть рубликов пять — десять... будет с нее!

Прокофий Иваныч. Да, может, и духовная у них написана, Прохорыч?

Баев. Полно, сударь, какая духовная! Иван-от Прокофьич и слова-то этого боится... да опять и слух бы был, что духовную сделали...

Прокофий Иваныч. Господи! хоть бы помог бог совершить благополучно!

Живновский. Благополучно лучше всего, Прокофий Иваныч. Это вы хорошо делаете, что бога в помощь призываете: с божьею помощью всякий подвиг легче совершается... вот бы теперь выпить к тому ж да закусить... эхма!

Баев. Ну, и без закуски постоишь! *(Прокофью Иванычу.)* Так подите вон в темненькую, да и поприсутствуйте там сообща... да ты нишкни, сударь, а то как раз накроют... да замок-от, замок-от изнутри запри!

Слышен шум шагов.

Чу, идет кто-то!

Размахнин, Живновский и Праздников поспешно прячутся в чулане.

СЦЕНА II

Баев и Живоедова.

Живоедова. Ты как сюда пришел?

Баев. Посмотреть пришел, барина своего проведать пришел... что ж, это не грех, чай?

Живоедова. Много вас тут калек да нищих шатается; только мешают, прости господи!

Баев. Что ж ты, Анна Петровна, нищим меня обзываешь! Вестимо, верой и правдой служил, так и нет ничего... ведь это не грех же, сударыня!

Живоедова *(садясь на стул)*. Да ты уж прости меня, Христа ради, Прохорыч, у меня нешто уж и голова ровно кругом пошла.

Баев. Как соколик-то наш?

Живоедова. Да что соколик! *(В сторону.)* Поди, чай, далеко он теперь! *(Громко.)* Больно уж разнемогся соколик-от; видно, умирать уж хочет... а все ты же, Прохорыч, со своим со Прокофьем — ну-тко когда удумали старика беспокоить, как он уж на ладан дышать стал.

Баев. Надо же отца с сыном помирить, грех-то ведь весь от Семена Семеныча пошел.

Живоедова. Господи! что только с нами будет!

Баев. А зачем, сударыня, родителя на сына натравливала... ты бы вот взяла да разорвала его, Прокофья-то Иваныча, ан теперича он тебя разорвет... Духовной-то, видно, не написано, сударыня?

Живоедова. Какая духовная! давеча честью к нему приступала — лежит как деревянный!

Баев. Уж, видно, надо будет за тебя у Прокофья Иваныча попросить.

Живоедова *(встает)*. Посмотреть, что старик делает...

Баев. А я, сударыня, уж на печку пойду... да ты бы за священником послала...

Живоедова *(в сторону)*. Вот привязался, пострел! *(Громко.)* Не хочет, Финагеюшка: «Со мной, говорит, уж сколько раз это бывало!»

Баев. Так, сударыня... ну, а как не встанет... ох, господи! уйти, видно, мне от греха...

Живоедова. Уйди, Финагеюшка!

Баев уходит.

СЦЕНА III

Живоедова одна.

Живоедова. Помер! Глянула я давеча в сундук, а там билетов, билетов-то — ужасти! Вот и взяла бы, да куда я с ними денусь? Все равно обыскивать станут, только воровкой еще назовут... Да где еще и деньги-то по ним получать? Конечно, кабы мужское мое дело было, взял бы наплевал на всех да и поехал прямо в казну: «Пожалуйте, мол, по билетам денежки»,— а то к кому я с женской своей простотой пойду? Еще спросят, пожалуй: где билеты взяла или вот мещанинишка какой-нибудь: «Дай, мол, скажет, голубушка, билетики посмотреть!» — возьмет да и убежит с ними! Да и грамоте я не бойко умею... вот родители-то каковы были! купцу на грех продать ничего не значит, а грамоте научить — не стало ума! Хоть бы разнес, что ли, с ними господь поскорей...

Живоедова и Лобастов приближается на цыпочках; во время сцены дверь из чулана несколько отворяется, и оттуда выглядывает Прокофий Иваныч.

Лобастов. Скончался, сударыня?

Живоедова. Скончался, сударь. Так вот перед вечером спросил, голубчик, покушать, я бульончику подала, он ничего — выпил, да, выпимши-то, вздохнул: «Ой, говорит, Аннушка, словно я и умирать хочу!» Я, знаешь, к нему: «Христос, мол, с тобой, Иван Прокофьич!» — ан он уж и помер!

Лобастов. Царство небесное, сударыня! Он мухе зла не сделал, сударыня!

Живоедова. Уж какое зло! У него, вот я как тебе, Андрей Николаич, скажу, даже мысли злой в голове никогда не бывало! Все, бывало, думает, как бы облагодетельствовать или добро сотворить... «Аннушка! — говорит, бывало, мне,— не об тленном богатстве, а об душе своей надобно в этом свете думать! вынь, говорит, гривенничек из ящика нищему брату подать!» Самый, то есть, убогий человек был!

Лобастов. Да; сирот много после себя оставил!

Прокофий Иваныч *(за дверью)*. Стало быть, тятенька-то умер! Что ж, однако, они делать хотят?

Лобастов. А за Семен Семенычем вы послали, сударыня?

Живоедова. Послала, Андрей Николаич, ты ведь и сам так велел.

Лобастов. Это точно; он нам нужен...

Живоедова. Андрей Николаич! Я все думаю, что кабы ты сам все это обделал?

Лобастов. А что вы думаете? Решусь! *(Приближается к боковой двери и опять возвращается.)* Нет, сударыня, не могу!

Живоедова. Да отчего не мочь-то!

Лобастов. Грех-с.

Живоедова. Да ведь он обсчитает нас — это наверное!

Лобастов. Его и обыскать можно, сударыня!

Прокофий Иваныч *(за дверью)*. Да, никак, они родителя-то ограбить хотят?

Лобастов. Вы, сударыня, только не троньте его, пускай он в свои расчеты углубится, а я около того времени подкрадусь к нему тихим манером да двумя пальчиками под мышки... *(Показывает.)* Так он и все тогда опустит!

СЦЕНА V

Те же и Понжперховский.

Понжперховский. Ваше превосходительство! Анна Петровна!

Живоедова. Ох, да не кричите вы, Станислав Фаддеич, и без того горести много!

Понжперховский. Я, Анна Петровна, узнавши о кончине почтеннейшего Ивана Прокофьича, первым долгом счел... Что ж, ваше превосходительство, приступим!

Лобастов. Я не понимаю, майор, что вы хотите сказать! Это вы, Анна Петровна, дали знать Станиславу Фаддеичу?

Живоедова. Я, сударь. Что ж, Андрей Николаич, я тоже осторожность свою соблюдаю... Мое дело женское, я и считать не умею, так обделать-то меня не мудрость какая...

Понжперховский. И справедливо, ангел мой, рассуждаете. А как при этом я в качестве депутата буду, так все счеты в совершенной верности совершатся.

Лобастов. Так я уж домой уйду, Анна Петровна.

Понжперховский. Помилуйте, ваше превосходительство, из чего же вы претензию на Анну Петровну имеете? ведь они, вас же любя, прожект свой раскрыли, так надо же им и об себе подумать... *(Вздыхая.)* Ведь коли по правде сказать, и мысль-то эта первому в голову мне пришла... вот клянусь вам честью... Так приступить, что ли, генерал?

Лобастов. Нет, уж обождем лучше Семена Семеныча...

Понжперховский. А я бы думал, что без Семена Семеныча... Я, признаться, и Мавру немножко с тем позадержал... право-с! Обделаем все полегоньку-с, и покуда Семен Семеныч там соберется да придет, наш уж и след простыл.

Лобастов. Делайте разве уж вы, а я не могу... так, знаете, и кажет все, что старик сейчас встанет.

Понжперховский. Предрассудок это, ваше превосходительство... *(Направляется к спальной.)*

Живоедова *(вслед ему)*. Только уж я вас, как вы себе хотите, Станислав Фаддеич, раздену, как вернетесь... вы, пожалуй, и невесть куда капиталы попрячете.

Прокофий Иваныч. Кто бы вот подумал, что и Андрей Николаич такая же выжига? *(Выходит на сцену.)* Желаю здравствовать, ваше превосходительство!

Живоедова вскрикивает, Понжперховский останавливается посреди дороги.

Лобастов *(с испуга не узнавая Прокофья Иваныча)*. Ты кто такой, ты кто такой?

Прокофий Иваныч. А я вот насчет тятенькинова здоровья-с узнать пришел.

Понжперховский *(весьма любезно)*. А! Прокофий Иваныч! почтеннейший! как поживает Мавра Гарасимовна? А я вот прогуливался да тоже зашел узнать, как здоровье Ивана Прокофьича...

Лобастов *(узнав Прокофья Иваныча)*. Да как ты смел? да ты знаешь ли, что Иван Прокофьич от тебя, от бездельника, при последних минутах находится? Уморить, что ли, ты его пришел? да тебя, сударь, на каторгу мало! *(Наступает на него.)* Вон отсюда!

Прокофий Иваныч. Да вы, ваше превосходительство, не трудитесь кричать-то! Я, по вашей милости, очень знаю, что тятенька уж померли; стало быть, теперича в этом месте хозяин не вы, а я! Желательно вам, сейчас вас отселева выгоню!

Понжперховский. Так Иван Прокофьич, стало быть, умерли?.. скажите пожалуйста, жалость какая!

Живоедова. Ах ты, господи! в щелку он, что ли, пролез!

Лобастов *(не теряя присутствия духа)*. Что ты врешь! кто тебе сказал, что Иван Прокофьич помер... Вон отсюда! *(Толкает его.)*

Прокофий Иваныч. Зачем врать-с? Да вы не больно прытко-с, не толкайтесь-с... у меня тутотка и свидетели есть-с... Федор Федорыч! Трофим Северьяныч!

Живновский и Праздников выходят из засады.

Живновский. Вот, стало быть, и пригодились, Прокофий Иваныч!.. только раненько вы зрелище-то в ход пустили: вам бы переждать, как они там воровство свое учинят, да тут бы и перекусить им горло с поличным!

Живоедова *(Понжперховскому)*. Говорила я тебе, сударь, что богу всякое греховное дело противно! так оно и вышло... *(К публике.)* Шутка сказать, что он задумал! мертвого человека ограбить!

Лобастов *(в смущении)*. Я... я... я ничего тут не понимаю.

Прокофий Иваныч. Тут, ваше превосходительство, и понимать больше нечего, кроме того, как вы все во власти моей состоите... *(Одушевляясь.)* Будет мне теперича кланяться, мы теперича сами при капиталах находимся!

Лобастов делает движение, чтоб уйти.

Нет, ты стой, енарал, *в дегтю хвост свой замарал!* Так ты меня ограбить хотел? Ты, то есть, жизни лишать меня желал? Чтоб я и с женой по миру ходил, у добрых людей копеечку просил, да голодным брюхом господа хвалил? Этого, что ли, ты хотел?

Живновский. Ай да Прокофий Иваныч! А вы чего, генерал, смотрите! да я бы на вашем месте давно ему и в зубы, и в нос, и в щеки, и во всякое место горячих наклал!

Понжперховский. Так я уж гулять пойду, Прокофий Иваныч...

Прокофий Иваныч. Нет, стой, выжига, и ты! Шел блудить охотно, так блуди теперь поневоле. У вас прожекты были, и у меня теперь свой прожект есть... *(К Живоедовой.)* Ты сказывала, что Семен Семеныч воровство-то должен был учинить?

Живоедова. Он, Прокофий Иваныч, он и научил-то всему. Что только с нами будет! Заберут всех нас в полицию, а оттуда на каторгу...

Прокофий Иваныч. Так я вот как вам скажу: всех я вас отпущаю... может, и часть даже от себя дам...

Живоедова. Уж дай, Прокофий Иваныч, что-нибудь!..

Прокофий Иваныч. Мне на вас наплевать... Вы себе добра хотели — кто добра себе не желает! Только вот Семен Семеныч — это статья особая! Он меня намеднись с родителем вконец расстроил, так я это помню... Я, сударь, Финагея Прохорыча в бархатный кафтан наряжу, из серебряных стаканов поить буду, бисером пол у него в горнице посыплю, а Семена Семеныча в Сибирь упеку!

Живоедова. И поделом ему, сударь.

Живновский. Это вы, Прокофий Иваныч, правильно рассуждаете... *(К публике.)* Удивительно, какое в русском человеке рассуждение здравое! *(К Прокофью Иванычу.)* Да и нас-то, грешных, не забудьте, Прокофий Иваныч... Хошь не бисером, хошь песочком каким-нибудь...

Прокофий Иваныч. Никого не забуду! Всех наделю! Хромых, слепых, убогих — всех накормлю! А Семена Семеныча в Сибирь упеку!

Понжперховский. Да вы совсем другой человек стали, почтеннейший мой Прокофий Иваныч!

Прокофий Иваныч. Теперича я совсем человек другой! теперича я почувствовал, что я со своим с капиталом пользу отечеству принести должен... *(Прохаживается по комнате.)* Прочь с дороги! Потомственный почетный гражданин Прокофий Иванов Размахнин идет!

Живоедова *(в сторону)*. Ну, пошел теперь ломаться!

Прокофий Иваныч. Я так теперича, ваше превосходительство, рассуждаю, что у меня кажный день с утра до вечера бал здесь будет... Мавру Гарасимовну в бархаты облачим, коляски с Москвы себе выпишем... сторонись — задавлю!

Живновский. Эх, счастье-то, счастье-то! как человека-то оно украшает!

Прокофий Иваныч. А Семена Фурнача упеку!

Живоедова. Упеки, голубчик, упеки! он всему злу корень и причина.

Прокофий Иваныч. Только слушайте вы мой плант...

В соседней комнате раздаются шаги.

Шш... идет! по местам!

Все прячутся в комнату Живоедовой.

СЦЕНА VI

Фурначев (входит бережно).

Фурначев. Скончался добродетельный муж! Жил-жил, добродетельные подвиги совершал, капиталы великие сооружал — и что ж осталось? Так, одно мечтание! Вот наша жизнь какова!.. Подобна сну мятежному, можно сказать, или вот плаванью по многоволнистому океану житейскому! Сколько ни употребляй усилий, сколько ни бейся против волн, а все погрузиться в хладное оных лоно придется... Хорошо еще, если кто, подобно почтенному Ивану Прокофьевичу, достояние по себе оставляет, и если достояние это в надежные руки исток свой находит, но куда как должно быть прискорбно тому, кто умирает нищ и убог, окружен детьми малыми и гладными! Найдет ли он для себя оценку в потомстве? Рыдающая у гроба жена скажет: «На кого ты меня покинул?» Голодные дети возопиют: «Зачем ты нас на свет произвел?» Посторонние люди скажут: «Кто сей презренный человек, который даже крупицы злата после себя не оставил!..» Страшное зрелище!.. *(Задумывается.)* Не таков был Иван Прокофьич: он именно красота и благолепие дому своему был... Однако пора бы и приступить... где ж эта Анна Петровна! *(Подходит к двери, ведущей в комнату Живоедовой.)* Заперта. Анна Петровна! Анна Петровна!

Ответа нет.

Верно, на кухне... что ж, это, быть может, и к лучшему... Можно будет наскоро взять что следует да и уйти... Кабы помо́г бог счастливо! *(Крестится и направляется к спальной Ивана Прокофьича, но вдруг останавливается.)* Странное дело... не могу! даже коленки дрожат, точно вот новичок я... *(Задумывается.)* Помню я время... тогда еще молоденек я был... тоже такое происшествие было. Умирал тогда покойник батюшка — тоже боялся я, чтоб матушке после него наследство не осталось... В ту пору я бесстрашнее был... вошел, отомкнул сундук и взял... Да что и взял-то! всего и богатства два двугривенных после покойника осталось... А теперь вот миллионами пахнет, вся будущность, значит, тут разыгрывается, а не могу, ноги дрожат... Фу! что за вздор! Смелей, Семен! *(Вбегает в спальную, но внезапно оттуда возвращается бледный и взволнованный.)* Господи! что это будто привиделось мне, что старик встал! *(Тяжело дышит.)* Ведь вот, можно сказать, воображение какие штуки над нами, смертными, играет... Господи благослови! *(Входит в спальную и уже не возвращается оттуда.)*

В это время дверь из комнаты Живоедовой потихоньку отворяется.

СЦЕНА VII

Прокофий Иваныч и Лобастов (выходят из комнаты).

Прокофий Иваныч *(говорит за кулисы)*. Вы тамотка покедова в каморке посидите... *(К Лобастову.)* Ну, а мы с тобой побеседуем на свободе: он, чай, там еще не скоро с деньгами-то управится! надо ему сперва наворовать, да и в порядок еще привести... А уж если он оттудова благополучно выйдет да начнет считать деньги, так ты уж, сделай милость, уважь меня, Андрей Николаич! как сказано, так под мышки-то его двумя пальчиками и возьми... это самая забавная будет штука!

Лобастов. Только прости уж ты Гаврюшу-то!

Прокофий Иваныч. Простить можно... Правда, обижал он меня... ну, да в то время кто надо мной не наругался!

Лобастов. По неопытности, Прокофий Иваныч; молод еще очень, да и прочие поощряли...

Прокофий Иваныч. Да, натерпелся-таки я... Ты возьми то, что Настасья Ивановна за стыд для себя почитала, коли я к ручке-то ее прикоснусь!..

Лобастов. Что говорить, Прокофий Иваныч, все мы грешны перед тобой: такая уж, видно, мода была.

Прокофий Иваныч. А как ты думаешь, Андрей Николаич, ведь славная будет штука, как увидят они, что все их мечтанья в прах рассеялись? Ведь у Семен-то Семеныча поди даже глаза лопнут от злости!

Лобастов. Не дай бог никому, Прокофий Иваныч, такое испытание перенести... тяжело, сударь!

Прокофий Иваныч. А что, если бы штука-то ваша удалась? ты бы, чай, первый меня обеими ногами залягал в ту пору? *(Смеется.)*

Лобастов. Зачем же ты, сударь, вспоминаешь, коль скоро уж однажды простил меня? *(Вздыхает. В сторону.)* Да, задал бы я тебе, мужику, трезвону! Господи! чего боялись, то и случилось! все к сиволапу перешло!

Прокофий Иваныч. Я ничего, сударь, я только к слову... Посмотреть хоть в щелочку, что он там делает... *(Осторожно переходит через комнату и смотрит в замочную скважину.)* Ишь как чешет! Даже словно глаза кровью налились — и не разбирает, все сподряд в карманы прячет... *(Выпрямляется.)* Пугнуть его, что ли, Андрей Николаич, зарычать этак нечеловеческим голосом?.. Ах, аспид ты этакой! *(Опять смотрит.)*

Лобастов. Нет, не кричи, Прокофий Иваныч! Неравно еще умрет со страху! *(В сторону.)* Да! на твоей, сударь, улице праздник! а не будь Баева, надавали бы тоже тебе фухтелей — шелковый бы был! Как человек-то, однако ж, меняется! вот он за час какой-нибудь сиволап, можно сказать, был, а теперь поди понимает тоже, что потомственный почетный гражданин называется! *(Задумывается.)* Ах, Леночка, Леночка! готовил было я для тебя преспективу хорошую, да, видно, богу не угодно!

Прокофий Иваныч. А знаешь, я что, Андрей Николаич, вздумал! Вот он теперь углубился там, чай, воображает, что никто его не видит и не слышит? ишь ты, аспид ты этакой!

Живновский *(выходя на сцену)*. Прокофий Иваныч! да нам бы хоть выпить, что ли, дали — тоска берет-с!

Прокофий Иваныч *(вскакивает)*. Да что ты орешь! успеешь еще облопаться! *(Опять наклоняется к скважине.)* Чу! да он послышал, должно быть... убирать уж начал... *(Осторожно переходит сцену.)*

Живновский. Представление начинается!

Все уходят в комнату Живоедовой; сцена несколько времени остается пустою.

СЦЕНА VIII

Фурначев (один).

Фурначев. Анна Петровна! Анна Петровна! Или мне это почудилось! *(Подходит к двери и пробует, заперта ли она.)* Заперта! Однако как у меня карманы оттопырились... даже безобразно... Теперь, кажется, совершился всей моей жизни подвиг! Еще младенцем будучи, я только и мечтал о том, как бы сделаться человеком достойным и от людей почтенным, но, признаюсь, настоящее приобретенье даже все мечты мои превзошло! Мир праху твоему, почтенный муж Иван Прокофьич! много ты постарался! много труда в жизни принял! Возблагодарим создателя нашего, который нас, смертных, разумом одарил... кабы не он, царь небесный, что же бы мы такое были?.. Однако это скверно, что у меня карманы так оттопырились... да ведь много же и добра-то у старика нашлось! *(Улыбается.)* Я уж клал зря: там дома разберу, которые именные, которые безымянки... А велика сила разума человеческого! вот у него билеты-то, может, и за номерами по книгам числятся... так мы и это предусмотрели! У нас вот уж две недели племянник родной в отпуску в Москве считается, а поедет-то он туда только сегодня в ночь... В этих делах все предусмотреть, все предугадать надо! Хотелось бы вот теперь же посчитать, да боюсь, чтоб не застал кто-нибудь... И как это счастливо бог привел все кончить: даже Живоедихи нет...

Лобастов в это время незаметно подкрадывается сзади; Прокофий Иваныч и прочие тоже выходят.

СЦЕНА IX

Фурначев, Лобастов, Понжперховский, Живновский, Праздников и Живоедова.

Фурначев *(продолжая рассуждать)*. Нет, лучше уйти...

Лобастов *(сзади)*. А позвольте, Семен Семеныч, полюбопытствовать, как велика сумма...

Фурначев *(оборачиваясь в испуге)*. Ах... страм какой! *(Видит присутствующих и поправляется.)* А, господа, и вы здесь? ну что, как папенька в своем здоровье?

Прокофий Иваныч *(несколько раз кланяясь)*. Мы у вас, Семен Семеныч, хотели об этом узнать, потому как вы сейчас от них вышли.

Фурначев *(в сторону)*. Ах ты господи, как эти карманы проклятые оттопырились... *(Громко.)* Да... точно... я был у него... он, кажется, почивать изволит...

Прокофий Иваныч *(подходя к Фурначеву)*. Так-с; ну, а тут что у тебя? *(Указывает на задние карманы.)*

Живновский. Да, ноша изрядная; мне бы вот хоть одну бумажоночку за ушко выдернуть...

Фурначев *(Прокофью Иванычу)*. Ты, кажется, забываешься, мужик!

Прокофий Иваныч. Так-с; я мужик — это конечно-с, а ты, сударь, вор!

Фурначев. Как ты смеешь!

Лобастов *(уныло)*. Повинись, брат Семен Семеныч!

Прокофий Иваныч. Ничего, пусть сердце сорвет, не замайте его... *(Фурначеву.)* Так ты, сударь, думал, что ты большой чиновник, так и воровать тебе можно? Так ты, сударь, мертвого ограбить хотел?

Живоедова. Ах, господи! страсти какие!

Прокофий Иваныч. Ты не постыдился даже имя господне призывать... да ты, может, с мертвого и образ-то снял!

Живновский. Прокофий Иваныч! будь благодетель! позволь, сударь, его разложить!

Фурначев. Помилуйте, господа! где я? в каком я обществе нахожусь? вам во сне мечтанье какое-то приснилось!

Прокофий Иваныч. А вот поглядим, каково мечтанье! Молодцы! обшарьте-ка его.

Живновский и Праздников бросаются на Фурначева.

(Понжперховскому.) А ты чего стоишь, молодец! шарь, шарь и ты!

Понжперховский неохотно идет.

Живоедова. Стань, стань лучше на коленки, Семен Семеныч! проси у братца прощенья!

Прокофий Иваныч. Шарьте, шарьте его крепче! Вали всё на стол! *(Лобастову.)* Постереги, сударь: тут и Гаврилова часть есть! *(Фурначеву.)* Так ты всем, значит, завладеть захотел? даже участникам-то и пособникам своим уделить пожалел!

Живоедова. Вот бог-то и попутал за это!

Живновский. Вот и ключик тот самый сыскался... Да прикажи ты, сударь, душу на нем отвести?

Прокофий Иваныч *(рассматривая ключ)*. Да, и ключ

искусный мастер делал! да не на тот предмет он пошел, на который бы нужно... а хочешь, полицию призову!

Фурначев (*совершенно растерянный, в сторону*). Какое неприятное происшествие!.. (*Вслух.*) Господа... вы, пожалуйста... вы оставьте меня... я домой... я ни в каких скверных делах не замаран... сделайте милость...

Живновский. Да прикажи ты, Прокофий Иваныч, хоть на коленки-то его поставить!

Фурначев (*накидываясь в отчаянье на Живновского*). Да ты что! разве это твое дело... я и сам на коленки встать сумею... (*Хочет стать на колени.*)

Прокофий Иваныч (*удерживая его*). Перестань! на коленки только перед святым образом да перед родителями становятся... Нет, я за полицией не пошлю, а разделаюсь с тобой домашним порядком... Эй, кто там есть? Анна Петровна! пошли кого-нибудь сюда!

Фурначев. Помилуйте, Прокофий Иваныч, что же вы надо мной делать хотите?

Прокофий Иваныч. А я, сударь, над тобой то же хочу сделать, что ты намеднись надо мной сыграл... Я хочу, чтоб и жена твоя, и весь свет чтобы знал, каков ты вор и мошенник!

Входит лакей.

Живоедова. Пришел Дмитрий, Прокофий Иваныч.

Прокофий Иваныч. Дмитрий! Видишь ты этого милостивого государя? (*Указывает на Фурначева.*)

Дмитрий. Вижу, сударь.

Прокофий Иваныч. Узнаешь ты его?

Дмитрий. Как, сударь, не узнать Семена Семеныча.

Прокофий Иваныч. Ну, не узнал, брат... Вчера он был точно Семен Семеныч, а нынче он вор и мошенник, он тятеньку мертвого ограбил... с поличным, брат, изловили...

Лобастов. Перестань, брат, Прокофий Иваныч!

Фурначев (*в сторону*). Ах, страм какой!

Живновский. Обозлился старик!

Прокофий Иваныч. Нет, я его, Иуду, сквозь строй проведу, я всем его рекомендую... Ну, позови теперь, Дмитрий, Мавру, а сам беги к Настасье Ивановне и к Гавриле Прокофьичу: пожалуйте, мол, наследство получать...

Лакей уходит.

И поселились-то ведь все поблизости, варвары! так вот, чтоб ни минуты не упустить... воронье проклятое!

Мавра (*входит*). Вам, сударь, что угодно?

Прокофий Иваныч. А знаешь ты, Мавруша, этого милостивого государя?

Мавра. Семена-то Семеныча?

Прокофий Иваныч. Так нет же, опозналась ты, Мавруша, не Семен Семеныч он, а вор и мошенник!.. он тятеньку мертвенького ограбил, да поймали, голубчика, так он вот теперь как крыса и мечется... *(Фурначеву.)* Сладко, что ли?

Лобастов. Да уж будет, сударь, с него.

Прокофий Иваныч. Позови, Мавруша, всех: и кучера позови, и дворников, и сторожей... всех позови!

Живновский. Это, что называется, живого испалить! *(Задумчиво.)* Эта манера, пожалуй, еще лучше нашей будет!

Фурначев. Прокофий Иваныч! да что ж это наконец такое! я жаловаться буду! *(Хочет уйти.)*

Прокофий Иваныч. Молодцы! придержите его!

Живновский, Праздников и Понжперховский бросаются на Фурначева.

Нет, я тебя, сударь, не пущу! Помнишь ты, я к тебе с простого-то ума приходил да полтораста тысяч сулил? что ты тогда надо мною сделал? Ты тогда меня спросил: за кого я тебя принимаю, да на позор перед родным отцом меня выставил? Так вот знай же теперь, за кого я тебя принимаю!

Комната постепенно наполняется всяким народом.

Православные! видите вы этого аспида? *(Указывает на Фурначева.)* Знайте: он вор и предатель, он старика моего мертвенького ограбить хотел! Вот и ключ от сундука поддельный у него сделан...

СЦЕНА X

Те же и Настасья Ивановна.

Настасья Ивановна *(вбегает в дезабилье)*. Ах, батюшки! да папенька-то, никак, уж скончался!

Прокофий Иваныч. Приказал долго жить, сестрица...

Настасья Ивановна. Кому же, кому наследство-то досталось?

Прокофий Иваныч. Мне, сударыня.

Настасья Ивановна. Ну, так я и знала, что этому сиволапу все достанется... да вы-то чего ж смотрели, Анна Петровна? Вы тоже, верно, с ним заодно!

Лобастов. Нет, сударыня, так уж богу угодно!

СЦЕНА XI

Те же и Гаврило Прокофьич (робко входит и становится около самой двери).

Прокофий Иваныч. А! и ты здесь, Гаврило!

Лобастов. Не тронь, брат, его!

Прокофий Иваныч. Ну, да мне теперь некогда: справлюсь я с тобой и после! стой теперь там — добро!.. только на глаза ты мне не кажись, а не то изуродую...

Настасья Ивановна. Да скажите, однако ж, Анна Петровна, что ж этот сермяжник здесь распоряжается?

Прокофий Иваныч. Ты говоришь: сермяжник, сестрица! Так ты послушай теперича, кто твой муженек! *(Тащит ее за руку на авансцену.)* Хорош! А ты знаешь ли, что он отца твоего мертвого ограбить хотел?

Настасья Ивановна. Ах, господи... страх какой!

Фурначев. Господи! твори волю свою! *(Подымает глаза к небу.)*

Прокофий Иваныч. Нет, да ты только представь себе, Семен Семеныч, кабы тебе штука-то твоя удалась! Вот стоял бы ты теперь в уголку смирнехонько, переминался бы с ножки на ножку да утешался бы на нас глядя, как мы тутотка убиваемся... Черт ты этакой, чч-е-орт! Трофим Северьяныч! плюнь, сударь, ему в глаза!

Праздников приближается с полной готовностью.

Лобастов. Да перестань ты, Прокофий Иваныч! *(Удерживает Праздникова, готового выполнить полученное приказание.)*

Прокофий Иваныч. Ну, ин будет с тебя — я зла не помню! Анна Петровна! принеси бумажки да чернильный снаряд сюда!

Живоедова уходит.

Лобастов. Что ты еще хочешь делать?

Прокофий Иваныч. А мы вот заставим этого подлеца расписаться... Ведь он, пожалуй, тяжбу завтра заведет...

Живоедова приносит бумагу и чернила.

(К Фурначеву.) Вот я как об тебе понимаю: или ты распишись, или я сейчас за полицией пошлю...

Лобастов *(Фурначеву)*. Покорись, сударь!

Настасья Ивановна (*мужу*). Говорила я тебе: меньше об добродетели распространяйся — вот и вышло помоему!

Прокофий Иваныч. Пиши!

Фурначеву приносят стул; он садится и пишет.

«Я, нижепоименованный, дал сию подписку добровольно и непринужденно»... а ведь ты бы нас так и съел тут!.. пиши! «добровольно и непринужденно в том, что в ночи с двадцать восьмого на двадцать девятое марта ограбил я, посредством фальшивого ключа, достояние тестя моего, Ивана Прокофьича Размахнина, находившегося уже в мертвенном состоянии, и, в каковом гнусном поступке быв достаточно изобличен, приношу искреннее в том раскаянье и обещаюсь впредь таковых не замышлять...» Теперь подписывайся... Свидетели! подмахните и вы!

Лобастов и прочие поочередно подходят и подписываются.

Ну, теперь все в порядке! Вон! Православные! расступитесь! дайте дорогу вору и грабителю статскому советнику господину Фурначеву!

Все расступаются. Семен Семеныч и Настасья Ивановна уходят.

СЦЕНА XII

Те же, кроме Фурначевых.

Живоедова. Батюшка! заставь уж за себя бога молить!

Прокофий Иваныч. Что ж тебе надобно?

Живоедова (*указывая на Понжперховского*). Заставь, сударь, его жениться на мне...

Прокофий Иваныч (*становясь перед Понжперховским*). Что, выходец, попал в лужу! хочешь, дебошь сделаю, на поганке жениться заставлю?

Понжперховский (*пожимая плечами*). Помилуйте, Прокофий Иваныч, я не знаю, чего эта женщина хочет!.. Я, Прокофий Иваныч, гулять ходил...

Прокофий Иваныч. То-то, выходец! блудлив как кошка, труслив как заяц!.. ну, да ладно, деритесь промеж себя! (*Обращается к присутствующим.*) Эй, вы! Слушайте! теперича тятенька скончался, и я теперича всему законный наследник! (*Бьет по билетам, лежащим на столе.*) Все это мое! (*Разводит руками.*) И это мое, и это мое — все мое!

Живоедова *(в сторону)*. Господи! вот как ожесточился человек!

Прокофий Иваныч. Дда, все мое! Гаврилка!

Гаврило Прокофьич подходит.

Вставай ты завтра чуть свет и кати прямо к каменщику! Чтоб через неделю памятник был, да такой, чтобы в нос бросилось... с колоннами!

Живновский. Уж позвольте мне, Прокофий Иваныч, надпись сочинить...

Прокофий Иваныч. Сочиняй, брат! да ты смотри, изобрази там добродетели великие, да и что в надворные, мол, советники представлен был... А теперь пойдем, отдадим честь покойнику!

Живновский *(к публике)*. Господа! представление кончилось! Добродетель... тьфу, бишь порок наказан, а добродетель... да где ж тут добродетель-то! *(К Прокофью Иванычу.)* Прокофий Иваныч! батюшка!

Занавес опускается.

ЯШЕНЬКА

За малыми исключениями, наши помещичьи усадьбы вылились в один общий, далеко не веселый тип. Чтобы представить себе такого рода усадьбу, нужно только вообразить голую и ровную местность, посреди которой одиноко возвышается небольшой пригорочек, кругленький и аккуратненький, как брюшко у тех крестьянских детей, которых чересчур откармливают толокном. По равнине местами буреют или зеленеют поля; местами, где-нибудь около плоскодонной лужи, совершенно фальшиво называемой прудом, ютятся невзрачные деревеньки; местами выползет из-за ржи тощий и как бы преждевременно оплешивевший лознячок; местами мелькнет в глаза ржавое болотце... и только. Вся проза деревенской жизни сосредотачивается тут, на этой плоской и грустной равнине,— и какая проза! Нет речки, которая самой унылой местности всегда сообщает что-то мягкое, смеющееся, нет рощицы, на свежей зелени которой с наслаждением отдыхают воспаленные от летнего зноя и пыли глаза проезжего... все голо, пусто и бедно! Совсем другое дело пригорочек. Там обыкновенно селится сам помещик, который в качестве дворянина, а равно и по врожденному благородству души, отнюдь не желает сидеть где-нибудь в яме, а ежемгновенно стремится выспрь. Живо воздвигаются там барские хоромы с мезонинами, бельведерами, антресолями и другими затеями, непротивными правилам ярославской архитектуры; быстро вырастает около них меньшая их братия: застольная, псарная, конюшня, сараи, погреба и другие хозяйственные принадлежности; по щучьему веленью разводятся сады, рассаживаются кругом березки и липки, вырывается пруд — и вот, на том самом месте, где гулял прежде один ветер, полагается закваска

иной жизни, жизни иногда буйной и разгульной, иногда тихой и сосредоточенной. Что заставляет помещика селиться преимущественно на пригорочке, одно ли врожденное стремление выспрь или вместе с тем и другие, собственно хозяйственные побуждения,— решить трудно. Надо думать, однако ж, что благородство души играет тут преимущественную роль, ибо что касается до хозяйственных соображений, то опыт доказывает, что помещики, и с пригорочка и из ямы, с давних пор как-то неудачно действуют на этом поприще.

Такого точно рода была усадьба Натальи Павловны Агамоновой, с которою я имею намерение познакомить читателя. Точно так же, на бугорке, стоял ее серенький домик, из окон которого, по словам ее, открывался веселенький вид на ближайшие поля, засеянные озимым и яровым хлебами; точно так же был он выстроен по правилам ярославской архитектуры и столь же часто изрезан узенькими окнами; точно так же возвышался на нем бельведер, в котором зимой нельзя было ни минуты оставаться по причине холода, а летом по причине палящего круглый день солнца; точно так же в нижних оконечностях окон вставлены были цветные стеклышки, а на зеленых ставнях изображены урны и букеты, нарисованные с таким необыкновенным искусством, что соседние помещики постоянно принимали их за настоящие, подобно тому как некогда воробьи принимали за настоящие нарисованные Апеллесом плоды и прилетали клевать их; точно так же аккуратно и несколько форменно смотрел небольшой садик, разведенный у самого дома, обнесенный кругом зеленою решеткой и обсаженный липками; в нем в изобилии росли те же самые растения, которые с незапамятных времен сжились с почвою помещичьих садов, а именно: самбук, барская спесь, бураки и разноцветные колокольчики; даже затеи и околичности, которым так охотно предается помещик, не представляли ничего своеобразного и ограничивались тем, что липки были подстрижены: одни в виде елок, другие в виде огромных грибов, третьи в виде ваз, что дорожки были усыпаны тертым кирпичиком и что в конце главной аллеи выстроена была из акаций беседка, у входа в которую стоял гипсовый турок с трубкою в зубах.

Наталья Павловна в целом околотке известна как дама, которой пальца в рот не клади. Она шесть лет уж вдовеет, и вдовеет без малейшей тени подозрения насчет лакея Фомки или кучера Павлушки. Это тем более для нее тяжело, что она женщина еще не старая (всего каких-нибудь сорок лет!) и энергическая и темперамент имеет легко воспламеняющийся. Но так как она перед смертным одром своего друга Федора

Михайлыча дала обет в чистоте провожать остальное время жизни и как, сверх того, она больше всего на свете любит простор, то если мысль о новом замужестве и представляется иногда ее воображению, то весьма ненадолго, и единственным последствием ее бывает сдержанный вздох, который по временам (однако все реже и реже) вылетает из ее груди. В манерах Натальи Павловны есть что-то мужественное, не терпящее ни противоречий, ни оправданий. Высокая и худая, она сложена как-то по-мужски, голос имеет резкий и повелительный, поступь твердую и взор светлый и проницательный. Ни одна дворовая девка не укроет от нее своей беременности, и если, паче чаянья, случается такой грех, то виновная скорее спешит с повинною, зная, что это все-таки лучшее средство смягчить гнев строгой госпожи. Приятно видеть, как она сама за всем присматривает, сама всем руководит и сама же творит суд и расправу, распределяя виновным: кому два, кому три тычка. Велемудрых иностранных очков она не носит и, будучи с детства поклонницей патриархального воззрения, с большою основательностью полагает, что ничто так не исправляет ленивых и не поощряет ретивых, как тычок, данный вовремя и с толком.

«Не нужно только зря рукам волю давать,— говорит она, развивая теорию тычков,— а то как не наказывать — наказывать надо!»

При Наталье Павловне живет сын ее Яков Федорыч, который, несмотря на свои двадцать пять лет, продолжает быть известным в околотке под именем Яшеньки.

КАПЛУНЫ

Последнее сказание

Кастраты всё бранили
Меня за песнь мою
И жалобно твердили,
Что грубо я пою.
И нежно все запели;
Их дисканты неслись...
И, как кристаллы, трели
Так тонко в них лились...

Начиная говорить о каплунах, я ощущаю некоторую робость. Каплун птица нешуточная. Будучи досыта накормлен, он тихо курлыкает и чувствует себя совершенно довольным,— качество, как известно, слишком редко встречающееся в наше тревожное и тяжелое время. Отсюда всегдашняя ровность и ясность духа, отсюда — самоуверенная законченность видов и соображений, отсюда — текучесть и плавность речи, отсюда, наконец,— права на всеобщее уважение.

Каплун — консерватор по природе и даже несколько доктринер. Он любит именно тот порядок вещей, который посылает ему в рот катышки, и потому, со стороны доктрины, шагнул дальше самого доктора Панглосса, утверждавшего, что все идет к лучшему в наилучшем из миров. Каплун удостоверяет, что Панглосс оказал себя в этом случае петухом, а если и каплуном, то каплуном недавним, не позабывшим еще старых, петушиных проказ. Ибо, поучают каплуны, в прекраснейшем из миров не может быть движения к лучшему; в прекраснейшем из миров все так премудро устроено, что не для чего искать лучшего, да и негде его найти; в прекраснейшем из миров изготовляются удивительнейшие катышки и — венец создания — каша из грецких орехов, замысловато перемешанных с творогом.

Благонамеренность каплунов вошла в пословицу. Это и понятно, потому что им неоткуда взять неблагонамеренности. Неблагонамеренность предполагает страстность, а эта последняя горьким насилием судьбы подрезана у каплунов в самом источнике... Поэтому каплуны слывут самыми лучшими судьями и самыми безошибочными решителями судеб вселенной.

Несмотря, однако ж, на все эти положительные достоинства, каплуны, при неумеренном употреблении, делаются противными. Благонамеренность и постоянная невозмутимость души производят в них какое-то неприятное ожирение, от которого по временам делается тошно. Посему искусные кулинарные законодатели рекомендуют употреблять каплунов вперемежку с петухами, дабы не было унисона.

Каплуны-люди встречаются во всех слоях, на всех ступенях глуповского общества. Чтобы сделаться каплуном, нужно очень немного. Нужно выбрать идейку с булавочную головку, возлюбить ее, как самого себя, и затем с спокойною совестью мерить этим огромным масштабом все явления, проходящие перед глазами. Устроившись таким образом, каплун складывает лапки и спокойно ожидает, чтобы природа сама собой довершила блистательно начатое дело. Душевные силы невольно устремляются к готовому центру, который, как всесильный и притом брезгливый деспот, берет от них лишь то, что необходимо для его поддержания; затем все остальное отбрасывается и постепенно подрезывается и подсыхает. После того каплун жиреет и делается отличным судьей и непогрешимым решителем судеб вселенной.

По нужде можно, однако ж, обойтись и без личного участия в выборе идейки, но принять таковую со стороны в виде дружеского насилия или в виде дружеского найма. Это штука самая выгодная, во-первых, потому, что она освобождает каплуна от обязанности изобретать что-либо свое собственное, и, во-вторых, потому, что дает ему возможность под предлогом угнетения его самостоятельности требовать известного за сие вознаграждения. Отдавши внаймы свои посильные дарования, каплун обязывается в течение условленного периода времени с таким же озлоблением курлыкать по поводу чужой идеи и в защиту чужого интереса, как бы это были его собственные идея и интерес. Каплуны этого рода требуют кормления нарочитого, ибо чем сильнее их кормят, тем ненасытнее делаются их утробы и тем голоднее становится их курлыкание. Эти каплуны в публике носят наименование бесстыжих, так как нанимаются преимущественно к тому, кто предлагает больше катышков.

В те трудные эпохи, когда жизненные интересы, еще не сделавшись интересами действительными, выказывают, однако ж, поползновение обмирщиться и стать общим достоянием, каплунство является во всем своем торжестве и олимпийском величии. В то время, когда целое общество трепещет и движется под гнетом какого-то одуряющего обмана чувств и мысли; в то время, когда человек, не видя перед собой не-

посредственного практического дела, жадно привязывается к каждой насущной истине, лишь бы она не носила на себе слишком явных признаков безобразия и лжи, каплунье воинство уже все разрешило, все распределило заранее, и только курлыкает да улыбается той горячке, которой предаются необузданные петухи.

— А как вы думаете,— говорит Иван Петрович Петру Иванычу, указывая на петуха, разбежавшегося что есть мочи на стену,— а как вы думаете, разобьет он себе голову?

— Разобьет-с,— отвечает Петр Иваныч, злорадно хихикая, ибо по естественному влечению своей природы обязывается ненавидеть петухов всеми силами своего крошечного сердца.

— А как вы думаете, если б он чуточку взял вправо... ведь уцелела бы у него голова?

— Уцелела бы, потому что правее брешь сделана.

— Так-то-с, Петр Иваныч!

— Точно так-с, Иван Петрович!

В этом «чуточку вправо», «чуточку влево» заключается вся житейская, административная и политическая мудрость каплунов. Покуда другие борются и изнемогают, покуда другие идут напролом и стремглав падают в пропасти, каплуны сидят себе с весками в руках и то в одну чашечку подсыплют, то в другую подложут... «С одной стороны, оно, конечно, так (подсыпь же, подсыпь на копейку!), но, с другой стороны, нельзя и того не принять в соображение (да что ж ты зеваешь! подложи на грош в другую-то чашку!)...» Вот речи, без которых ни один каплун обойтись не может. Поэтому они целую жизнь всё соображают: и *то* соображают, и *другое* соображают, и с одной стороны смотрят, и с другой стороны смотрят, и никак-таки не могут добиться, чтобы стрелка стояла прямо.

Из этого видно, что обязанности каплунов, с одной стороны, тяжелы и беспокойны, с другой стороны,— легки и спокойны. Они тяжелы в том смысле, что можно от заботы одной пропасть, можно зрение потерять, наблюдая за колебанием чашечек; они легки в том смысле, что подобные наблюдения составляют занятие чисто механическое, что можно и наблюдать и в то же время о пирогах думать. Это все равно как занятие в департаментах. Пишет чиновник к какому-нибудь Петру Иванычу и от Петра Иваныча получает письма; грубит Петру Иванычу, соглашается с Петром Иванычем, говорит ему колкости и уверяет его в истинном почтении и преданности,— одним словом, двадцать лет каждый божий день беседует с Петром Иванычем... и не знает, что это за Петр Иваныч, и не

только в глаза его не видал, но даже не ведает, чем он занимается и какую он представляет собой спицу в административной колеснице. Зато он получает полную свободу мечтать, покуда перо его ходит по бумаге; зато он может без помехи думать и о вчерашнем танцклассе и о танцклассах, предстоящих ему сегодня и завтра; он может улыбаться и разговаривать с самим собою; он может мысленно входить в недоступные ему гостиные, нашептывать дамам любезности, воспламенять воображения, покорять сердца...

Таким точно образом поступают каплуны. Они пересыпают из пустого в порожнее и думают, что воспламеняют чьи-то воображения, покоряют чьи-то сердца.

Жизнь составляет для каплунов что-то внешнее, развивающееся само из себя, прозябающее своею собственною внутреннею силою; она давит их, она всецело ими обладает. Отсюда какой-то гнетущий, политический и нравственный фатализм во всех их помыслах и действиях; отсюда страшное озлобление против всего, что обнаруживает хотя малейшее поползновение на спор с жизнью. Для каплуна нет положения удовлетворительнее положения настоящего, нет истины мудрее истины текущей. Скажите ему, что нельзя удовлетвориться жизнью, которая дает смерть и поступается веревкой на шею,— он только захихикает в ответ. Скажите ему, что нельзя сидеть у моря и ждать погоды, когда душа стонет и изнемогает под гнетом практических результатов глуповского миросозерцания,— пожалуй, он и выслушает вас, но выслушает с той отвратительно снисходительной улыбкой, которая в одно и то же время означает и «болтай, болтай себе, душенька, сколько угодно!» и «а ну, поболтай-ка еще! я тебе покажу, где раки зимуют!».

Эта замкнутость, эта таинственность, эта нелепая невозмутимость, собственно, и составляют силу каплунов. Перед вами оставленный храм, которого двери заперты; вы знаете наверное, что святыня давно оттуда вынесена, что там только крысы бегают; но напрасно стучитесь вы в эти двери, напрасно желаете вы всенародно доказать, что перед вами именно жилище крыс, а не богов: двери упорно остаются запертыми и на домогательства ваши отвечают лишь пустым и даже словно ироническим звуком.

И горе вам, если вы обнаружите нетерпение, если вы отдадитесь неуместному порыву и бесполезной горячности. Двери обиталища крыс замкнутся крепче прежнего, а каплуны усугубят свою таинственность, ибо знают, что их сила до тех только пор сила, покуда их окутывает мрак.

Очевидно, надо отыскать ключ от этих дверей; очевидно,

надобно действовать оружием равным, что есть нелепой невозмутимости противопоставить невозмутимость столь же нелепую. Это горько, это тупоумно, это почти невыносимо, но при известной обстановке это непременное условие какого бы то ни было успеха ввиду туго раздающейся глуповской массы.

Подобно древним простодушным мореплавателям, каплуны в плавании своем по жизненному океану исключительно придерживаются берегов. В этом случае их обольщает близость чего-то такого, за что они как будто могут ухватиться, и хотя действительность нередко разочаровывает их, хотя действительность фактами и примерами ежедневно доказывает им, что плаватель малоискусный может погибнуть и в кадке с водой, но они упорствуют. Это происходит отчасти вследствие горячего желания жизни, единственного желания, которое еще производит трепет в заснувших сердцах их, отчасти же — вследствие совершенного бессилия представить себе обстановку жизни иначе, как в самой конкретной и даже грубой форме. «Если ухватиться не сможем, то, по крайней мере, хоть поглазеем!» — говорят они, и никак-таки не пустятся в открытое море, хотя бы им было до очевидности ясно доказано, что на стороне моря лежит никому не принадлежащий двугривенный, тот, которым они свободно могут воспользоваться.

Это тоже великая сила, это сила, называемая благоразумием, перед которою исстари привык преклоняться всякий обитатель Глупова. Каплуны в этом случае даже ничего не выдумали нового; они только воспользовались общим глуповским инстинктом и возвели его на степень жизненного принципа... «Твоя от твоих!» — говорят они глуповцам,— их ли не познают сограждане?

Каплуны — это последнее звено, это крайний продукт древнего глуповского миросозерцания. Они ничего не изобретают, хотя подчас бывают очень довольны, когда их называют изобретателями; они ничего нового не дают, хотя и выражают в лице некоторую умильность, когда их называют жизнедавцами; они просто систематизируют. Все нравственное худосочие, которое глуповская жизнь в течение многих столетий бессмысленно копила, ревниво скрывая накопленное от глаз непосвященных, они растревожили и умели возвести в перл создания; все, что в этой жизни было невысказанного, разбросанного в виде беспорядочных отрывков, они собрали и привели в систему; все, что было противоречащего, они подчистили и подгладили. Собрали, систематизировали, почистили слог и записали в книжку...

Книжка эта называется «Философией города Глупова» и гласит следующее:

Краткие наставления глуповскому гражданину.

Добрый сын Глупова!

1) С жизнью обращайся осторожно, ибо она сама, собственною внутреннею силой, вырабатывает для себя принципы.

2) Удовлетворяйся истиной минуты, ибо эта истина есть единственная, той минуте приличествующая.

3) Не насильствуй, не волнуйся, не забегай вперед, ибо тебя могут остановить, и тогда кто знает, что может с тобой случиться?

4) Бери у жизни только то, что она дает добровольно; если ты будешь ласков, то она и еще в пользу твою поступиться может.

5) Будь терпелив; сомневайся меньше, верь больше. Если видишь непотребство,— надейся, что оно будет усмотрено. Если видишь частное улучшение и смутишься мыслью, что это улучшение мнимое и ничем не обеспеченное,— никому о том не говори.

6) Поступая таким образом, будешь счастлив.

Глуповцы, прочитав это, обрадовались. Патриотическое их чувство было сильно польщено тем, что и у них появились свои Гегели, которые даже из глуповского винегрета сумели сделать какую-то философию. Они очень наивно думали, что руководствовались до сих пор инстинктом, что они даже не жили, но ели, спали и топтали жизнь, и вдруг им объявляют, что все это... философия!

— Стало быть, мы по всем правилам так действуем! — поздравляют они друг друга, едва приходя в себя от радостного изумления.

— Стало быть, так, коль скоро и в книжке оно записано!

— Ведь это, малый, диковина!

— Это просто, малый, страсть!

Но глуповцы радуются напрасно, ибо глуповская философия, записанная в книжку, есть вещь ужасная. Я понимаю, что философия и подобного рода может нравиться, но она может нравиться именно только до тех пор, покуда существует в виде винегрета. В этом виде глуповец пользовался ею по своему усмотрению: он и разнообразил ее, сколько мог, и украшал ее разными неприхотливыми узорами своей фантазии; изредка он мог даже пошалить... Теперь этому веселому беспутству — конец; теперь ему говорят: сиди смирно и читай книжку!

Из всего этого может случиться следующее:

Если глуповец вздумает пошалить, то мужи совета, которым он легкомысленно доверил свое будущее, скажут ему: а разве ты не читал, что в книжке написано?

Если глуповец покусится надуть мужей совета и скажет, что ему не шалить, а погулять хочется, то мужи ответят ему: рассказывай это другим, а не нам! Мы, брат, сами народ травленый, сами в свое время немало занимались надуваньем, да и книжку такую для того написали, чтобы вперед этого не было!

Одним словом, глуповец окружен со всех сторон; куда он ни обернется, везде ему кричат: шабаш! куда он ни сунет свой нос, везде ему один ответ: это не твое дело!.. Что, если он догадается? что, если он поймет, что книжка, появлению которой он так обрадовался, принесла ему только славу и в то же время стеснила его движения?

Но покудова он еще не догадался, и потому каплуны от него в восторге: ведет, говорят, себя примерно! и даже высказывает здравый смысл! и даже не удивляется, когда ему говорят: ждите, братцы, ждите! и даже не огорчается, когда ему говорят: нечего, братцы, ждать! ничего, братцы, больше не будет!

Представление кончилось, остаются восторги. Мало-помалу и они стихают; приходит лампист и гасит лампы; зала по-прежнему окутывается мраком.

Я понимаю эти взаимные восторги; глуповцы пришлись по плечу каплунам, каплуны — глуповцам; что ж мудреного, что они целуются? И те и другие отменно рады, что вышло у них как будто нечто новенькое, а между тем величественное здание глуповской жизни нимало не потрясено; что в воздухе пахнет какой-то новой гарью и в то же время глуповский air fixe[1] сохранен, как живой...

Но за всем тем, я сомневаюсь. Я сомневаюсь именно потому, что каплуны — крайний продукт, что они, так сказать, венец глуповского миросозерцания! Это дело плохое, размышляю я, коль скоро здание уж чем-то увенчивается, коль скоро оно до такой степени окончено, что даже клопы в нем завелись! Стало быть, глуповцам нечего уж и делать? стало быть, им остается только сказать: вот геркулесовы столпы глуповской премудрости! — и отправиться на печку спать?

Это не натурально. Глуповцы могли жуировать и не замечать, как летит время, до тех только пор, покуда жизнь их текла как ручей, покуда они не чувствовали ее, покуда, одним словом, им никто не объяснил, что и у них есть принципы и у них есть философия. Тогда не было ни мрака, ни света, тогда не чувствовалось ни холода, ни тепла... тогда жилось, жилось, жилось — и больше ничего! Но с той минуты, как глуповские

[1] застоявшийся воздух.

воззрения систематизированы, а глуповские принципы объявлены всенародно, нет средств не развивать их, нет средств не идти далее. Не надо ошибаться: эпоха систематизирования есть вместе с тем и эпоха анализа, эпоха приведения в ясность жизненной подоплеки. Куда поведет дальнейшее развитие глуповских принципов, что это выйдет <за> прогресс, который будет носить наименование глуповского,— мы не знаем,

Мы только плачем и вздыхаем:
О, горе нам, рожденным в свет!

Но во всяком случае, и развитие и прогресс неизбежны...

Таким образом, каплуны сами дают нам искомый ключ, сами мало-помалу отворяют двери обиталища крыс. Наверное, они сами не знают, что таков будет результат их трудов. Систематизируя и увенчивая здание, они вместе с тем думают, что затягивают сверху узелок и припечатывают жизнь печатью, из-под которой она и выбиться не в силах,— и ошибаются. Глуповская жизнь сильна была мраком, который ее со всех сторон окутывал, сильна была плотною занавесью, которая скрывала ее внутреннее содержание от глаз непосвященных; но как скоро это содержание обнаружено, винегрет делается ясен и расползается сам собою.

Стало быть, каплуны, считающие себя первыми собирателями глуповской жизни, суть в строгом смысле лишь первые предатели ее.

Стало быть, для того, чтоб обрушить величественное здание, начинающее мозолить глаза глуповцам, не нужно ни подкапываться под него, ни волноваться, ни лезть напролом, а просто взять несколько терпения и потом с спокойной совестью взирать, как оно само собой разлезается.

Каплуны! того ли хотели вы?

Нет, вы этого не хотели и не хотите, потому что понимаете, что с развитиями да с прогрессами вы непременно лишитесь сладких кусков ваших. Вы до такой степени хорошо понимаете это, что даже тоскливо совещаетесь между собою: не возвратиться ли, не опрокинуться ли назад?

Но если дело находится в таком положении, то, очевидно, остается разрешить только одно: возможен ли этот возврат или невозможен?

Вопрос этот могут разрешить только сами глуповцы. От вас, каплуны, он не зависит.

МАСТЕРИЦА

Повесть

1

Город Срывный (Крутогорской губернии) расположен весьма красиво. Стоит он на высоком и обрывистом берегу судоходной реки и вдоль и поперек перерезан холмами, оврагами и суходолами. Особливо весною вид с крутого берега реки очень живописен. Вода разливается верст на десять, потопляя и луга, и тальниковый кустарник, растущий на противоположном низменном берегу; холодно и негостеприимно смотрит эта огромная масса вод, принимая в быстром и грозном своем беге всевозможные оттенки цветов от мутно-желтого и темно-стального до светло-бирюзового, местами переходящего в прозрачно-изумрудный или рубиновый; вдали виднеются два-три села с их белыми церквами и черными группами крестьянских изб; в ясные же и солнечные дни вся окрестность выступает до такой степени отчетливо, что верст на сорок кругом представляется взору со всеми своими подробностями и очертаниями; здесь чернеет поле, местами еще не вполне освободившееся от зимнего своего покрова, рядом с ним начинает уже пробиваться молодая травка на степном лугу, там покажется небольшой лесок, бедный и как бы заморенный остаток прежде бывшего и с каждым днем исчезающего лесного богатства, за ним блеснет в глаза стальная полоса старицы или просто оврага, который летом сух и печален, а весною до краев наполняется водой, и, наконец, далее, на заднем плане, пейзаж обрамливается обычною синею полосою леса, того неисходного леса, который, по уверениям туземцев, тянется отсюда вплоть до ледовитого моря.

По реке снуют взад и вперед лесные плоты, плоскодонные расшивы, скорее похожие на огромные лубочные коробки, нежели на судна, барки, с протянутою от мачты бечевою, и

медленно, но самодовольно проползает между ними единственная в своем роде, огромная и неуклюжая коноводная машина. В последнее время начали изредка пробегать даже пароходы, на огромное пространство вспенивая и возмущая воду, распугивая шумом колес робкое царство подводных обитателей и наводя своим свистом уныние на всю окрестность, которой тихий сон еще не был доселе нарушаем торжествующими кликами новейшей промышленной вакханалии.

Но пароходы еще редкость в этом краю, и местным жителям еще не надоело собираться толпами на берегу всякий раз, как в народе пронесется весть об имеющем прибыть «чертовом судне»; однако в воздухе уже носятся миазмы будущих акционерных компаний, этих чужеядных учреждений, которые равнодушно покорят себе местного человека, чтоб утучнить его пòтом тела разбогатевших целовальников и их развратных любовниц.

На берегу тоже кипит жизнь и деятельность. Бечевник усеян бурлаками и их тощими лошаденками; вид первых, а равно однообразные и унылые крики, которыми они понуждают как друг друга, так и лошадей, наводит тоску на сердце постороннего наблюдателя; это какой-то вымученный, надорванный крик, вырывающийся из груди с мучительным и почти злобным усилием, как вздох, вылетающий из груди человека, которого глубоко оскорбили и который между тем не находит в ту минуту средств, чтобы отомстить за оскорбление и только вздыхает... но в этом вздохе уж чуется будущая трагедия.

Но особенно значительные размеры принимает торговое и промышленное движение города на пристани. Не надо воображать себе, чтоб это была пристань благоустроенная с анбарами и складочными местами, с укрепленною набережною и мощеным спуском; нет, это просто так называемая «натуральная» пристань, большую часть навигационного времени весьма грязная, с невозможным спуском и без всякого признака какого-либо складочного помещения. Бунты кулей с хлебом и льняным семенем, груды рогож и мочала, приготовленные для сплава, без всякого порядка стоят по берегу, ожидая своей очереди к погрузке, но эта беспорядочность и сопряженная с нею суетливость придает пристани свою особенность, которой она, конечно, не могла бы иметь, если бы погрузка производилась систематически. Везде раздается говор и шум толпы, который — в особенности слышимый издалека — приобретает весьма привлекательные тоны. Вот-вот доносится до вас замысловато-крепкое слово, но доносится как-то не оскорбительно, а скорее добродушно, так что вам

остается только расставить руки и подумать про себя: «Ведь вот что выдумал человек, даже правдоподобия никакого нет... а ладно!» — и рядом с этим крепким словцом слышится действительно добродушный и задушевный смех и раздается острота, но такая меткая и хорошая, что лицо ваше окончательно проясняется и вы невольно всем сердцем, всем существом своим приобщаетесь к этой внутренней, для равнодушного глаза неразгадаемой жизни народа, сила которой неотразимо, почти насильственно заденет все лучшие свежие струны вашего сердца, наполнит вашу душу неведомыми и неизвестно откуда берущимися рыданиями и хлынет из глаз ваших целым потоком слез... Где источник этих слез? в том ли сочувственно-любовном настроении души, которое заставляет симпатически относиться ко всем даже темным сторонам родной жизни, или в том запасе застарелых скорбей и печалей, который горьким опытом целой жизни накопляется в сердце, набрасывая на него темную пелену уныния и безнадежности? не берусь разрешить этот вопрос, но знаю, что в слезах ваших будет и своя доля отрады, как и в этом достолюбезном народном говоре, где, среди диссонансов, слышится иногда такой светлый, поразительно цельный звук, который отгоняет от вас всякое сомнение в возможности будущей гармонии.

Из всего этого должно заключить, что Срывный богатый и промышленный город. Действительно, он и выстроен, сравнительно с другими уездными городами, хорошо, главная улица его сплошь застроена каменными домами и анбарами, а многочисленность магазинов с красными и галантерейными товарами доказывает, что значительная часть его населения достаточно зажиточна, чтобы позволить себе употребление предметов роскоши.

Тем не менее каменные палаты купцов смотрят негостеприимно. Есть что-то угрюмое в звуке цепей, которыми замыкаются ворота, отворяемые только для пропуска телег, нагруженных товаром, и потом снова и надолго запираемые. Маленькие и глубоко врезавшиеся в толстые стены окна домов всегда заперты, не проглянет из-за них в глаза прохожему пригожая головка хорошенькой купеческой дочери, не освежит его слуха молодой и резвый смех детей, этот смех вечно ликующей и вечно развивающейся жизни: зеленоватые и покрытые толстым слоем грязи стекла скрывают от взора даже внутренность комнат и покрывают каким-то непроницаемым флером лица и фигуры их обитателей. Постороннему человеку кажется, что там за этими тяжелыми воротами начинается совершенно иной мир, мир холодный и бесстрастный, в котором не трепещет ни одно сердце, не звучит ни

одна живая струна. Там, в этой бесшумной и темной области, мнится ему, живут люди с потухшими взорами, с осунувшимися лицами, с дрожащими телодвижениями, люди, не имеющие идеала, не признающие ни радостей, ни заблуждений жизни и потому равнодушным оком взирающие на проходящее мимо них добро и зло. Вечером, как только спустятся на землю сумерки, затихает и всякое движение по улице; наступает глубокая мертвая тишина, изредка только прерываемая лаем спущенного с цепи пса, и ни в одном окне не видно зазывного света, а сомнительные и дрожащие лучи зажженных лампадок, прорезываясь сквозь мглу, делают ее как бы еще мрачнее и непроницаемее.

Но самая характеристическая особенность города, определившая однажды навсегда и состав и занятия его населения, заключается в его пограничном положении с другою губерниею. Оно представляет слишком много удобств для всякого рода тайных сделок и укрывательств, чтобы люди сметливые и с уступчивою совестью не поспешили воспользоваться подобным преимуществом. Исстари Срывный сделался, с одной стороны, становищем всевозможных раскольнических толков, с другой — гнездом всякого рода искусников, которые умеют весьма благовидно промышлять самыми зазорными промыслами. Возможность легко и быстро сбыть подозрительную вещь, а при случае и самому скрыться за реку, которая составляет границу соседней губернии, положила начало торговле подобного рода в столь обширных размерах, что предпринимаемые к искоренению зла полицейские меры оказываются совершенно недействительными. Поэтому круглый год, а в особенности с открытием речной навигации, в Срывном постоянно проживают целые толпы бродяг, между которыми нередко можно встретить беглых каторжных, а преимущественно всякого рода искателей приключений, которым вследствие разных обстоятельств делается тесно и душно под родной кровлей, а также изуверов раскола, под видом смирения и страннического подвига рассевающих повсюду коснение, невежество и какое-то бессердечное, хладнокровное ожесточение.

Фамилия Клочьевых самая значительная в Срывном. Никто не помнит и не знает, когда поселился в городе первый Клочьев, но многочисленное потомство его выделило из себя множество мелких отраслей, которые не имеют между собою почти ничего общего. Есть Клочьевы — богатые купцы, торгующие en gros[1], которых дети давно уже разрешили себе не-

---

[1] оптом.

мецкий фрак, охотно играют в горку, а по нужде и в банк, и весьма удачно полькируют на бале у городничего; есть Клочьевы-мещане, надувающие en détail[1], крепко держащиеся сибирки и выпущенной наружу рубахи, читающие книги «Златый бисер» и «Чюдо св. Николы о Синагрипи цари» и твердо убежденные, что антихристово царство наступило и кончина мира имеет последовать в самом непродолжительном времени; есть, наконец, Клочьевы-ремесленники, народ жалкий, полудикий и оборванный, не имеющий ни кола ни двора, целую неделю задыхающийся за работой в какой-нибудь душной кожевне или кузнице-вагранке и в воскресенье непременно проедающий и пропивающий весь заработок недели. Несмотря, однако ж, на резкое различие состояний и общественного положения, существует одна общая черта между разнородными элементами этой фамилии: все Клочьевы придерживаются старых обычаев и в этом (но только в этом) отношении составляют одну семью.

Тем не менее в высших слоях этой семьи столкновение внешних форм цивилизации с внутреннею закоснелостью уже произвело тот странный и уродливый разлад, который встречается везде, где насильственно привитая форма добродушно принимается за сущность самого дела. И до сих пор еще блестящий представитель обнатуренных и богатых Клочьевых, завитой и одетый по последней моде, с подстриженною и раздушенной бородкой, протанцевав до упаду до двух часов ночи, спешит из гостей домой, где, сбросив с себя свой блестящий костюм, надевает красную рубаху с косым воротником и, опустив опояску ниже пупа, становится на молитву и с угрюмою точностью исполняет все наружные формы обряда. Эта последняя уступка совершенно необходима; ею успокоиваются Клочьевы второго и третьего разрядов, которые, в противном случае, не совсем доверчиво взирали бы на новшества, вводимые обнатуренными представителями их фамилии. Необходимость этих новшеств, внешнею своей стороной приходящихся совершенно по вкусу молодым поборникам сугубой аллилуйи, объясняется ими с точки зрения утверждения старых обычаев, в пользу которых, по словам их, истинный христианин обязан решиться даже на погибель души. И в самом деле, старый обычай дело подозрительное, а часто и нелепое; на него с негодованием смотрят все благомыслящие люди; когда зайдет об нем речь, то стряпчий с удесятеренною силою начинает размахивать руками, как будто что-то забирает, у исправника становятся брови щетиной и в глазах начинает

[1] в розницу.

бегать фосфорический блеск, а городничий щелкает языком, чмокает губами и нюхает носом. Следовательно, чтобы утишить эти негодования, нужно иметь под рукой людей, которые могли бы и словечко в добрый час замолвить, и пронюхать какой ни на есть бюрократический слух. Во всех этих случаях аристократы Клочьевы истинно неоцененные люди. Известно, что плата за услугу обусловливается множеством самых разнообразных обстоятельств; одна плата с зипуна, другая с фрака, одна плата с человека незнакомого, другая плата с друга и приятеля; на этот конец создается целая теория притворных уступок и лукавых умолчаний, в строгой последовательности не уступающая знаменитым теориям иезуитов. Слова «по нужде», «тесноты ради» играют здесь главную роль. Положенные в основание целого порядка явлений, принимаемые как мерило для оценки всякого рода действий, слова эти уничтожают всякую вменяемость и освобождают человека от контроля даже его собственной совести. Исходя из отношений чисто религиозных, подобные правила незаметно всасываются и в простые общественные и гражданские отношения и до такой степени всецело овладевают ими, что под влиянием их образуется совершенно особый кодекс нравственности *относительной,* которой естественные последствия заключаются в совершенном упадке нравственного смысла и в крайней внутренней распущенности. Повторяю: Клочьевы второго и третьего разрядов сурово смотрят на все эти нововведения, но терпят их, потому, во-первых, что в своих окургуженных представителях они приобретают для себя ближайших ходатаев перед полицейскими властями, а во-вторых, и потому, что в памяти всех еще живут отцы этих самых Клочьевых, те суровые и черствые старики, которых имена еще так недавно произносились всеми с близким к трепету уважением, часть которого естественным образом перешла и на детей. Таким образом, эта маленькая семья уже выделила из себя своего рода замкнутую и безобразную аристократию, которая с невозмутимым хладнокровием отлучает от права на жизнь всех своих братьев по крови, почему-либо не желающих подчинить себя самому нелепому из всех деспотизмов — деспотизму опечатки и невежества с одной стороны и деспотизму своекорыстия и грубой, преднамеренной эксплуатации — с другой.

У богатых Клочьевых всё на европейский манер; если вы каким-нибудь образом не проникнете в тот отдаленный и всегда обращенный окнами во двор покой, в котором находится моленная, или в ту еще более отдаленную коморку, в которой несколько десятков лет заживо умирает какая-нибудь слепая «баушка», если вам притом не укажет какой-ни-

будь услужливый чичероне на одиноко стоящую во дворе баню, в которой обитает пять-шесть дряхлых бездомных старух, то вы никогда не подумаете, что находитесь у раскольника. Полы паркѐ, стены под мрамор, образов не много, сам хозяин беседует бойко и развязно, жена его в разговоре с вами допускает двусмысленности, а изредка и некоторую томность во взорах, при детях имеется гувернантка-англичанка. И если вы коснетесь религиозных убеждений хозяина, то он без малейшей застенчивости вам ответит: «Вы видите, ваше высокоблагородие, какие мы раскольники! у нас вот только баушка жива, она нас не пущает; а то бы мы с превеликим удовольствием, потому что для нас это всё единственно». Но «баушка» тут только пугало; в сущности же, главная приманка заключается в тех темных выгодах, которые приносит ремесло раскольника, производимое en grand[1]. И действительно, когда смерть «баушки» отнимает благовидный предлог, на который прежде ссылался Клочьев-капиталист, то он не дает себе даже труда скрывать истинные свои побуждения. «Изволите видеть, ваше высокоблагородие,— скажет он вам,— дело это у нас не столько душевное, сколько карманное; теперича как я этим делом занимаюсь, значит, я у всех, что называется, как спица в глазу. Клочьев да Клочьев, ревнитель да подражатель — и всё тут. А ревнителем и подражателем я зовусь, первое, потому, что у меня еще дедушки были ревнителями и моленная устроена как следует, второе, потому, что у меня вон на огороде, в бане завсегда всякий сброд проживает, странницы, чернецы беглые, и каждый, сударь, благодать у себя за пазухой держит, а третье, потому, что и начальство меня уважает, оттого что я с начальством разговор иметь могу... Все, стало быть, меня знают, у всех я в почете, и оплошай я примерно хоть в торговом деле, меньшая-то братия на плечах меня вынесет. Так рассудите же сами, какая мне радость от своего добра рыло воротить? живу я, сами изволите видеть, не хуже людей, да и не по-мужицки, а как дай бог всякому благородному жить, если же персты-то по древнему обычаю складываю да на молитву в рубахе становлюсь, так эта, сударь, тягость-то не больно для нас велика». Таковы аристократы Клочьевы.

Совсем в другом виде представляется быт второго и третьего разряда Клочьевых. Здесь более грубости, но вместе с тем и более искренности. Здесь старый обычай и первоначальные патриархальные отношения наложили на всех то тяжелое бесконечно гнетущее ярмо однообразия, под которым сти-

[1] в широких размерах.

рается всякая живая личность и мгновенно увядает всякий порыв к самостоятельности. Здесь можно еще встретить этих железных, рассудливых и бодрых стариков, которые так благолепны и привлекательны издалека и при которых так тяжело дышать всему, что близко к ним прикасается. Беспощадными и неумолимыми судьями стоят они над своими робкими и безгласными семьями, и нет той силы, нет того вопля, который мог бы растопить ледяную кору, однажды навсегда сковавшую все их сердечные движения, все их душевные помыслы. Круг занятий, честь и самая жизнь каждого из отдельных членов семьи — все это фаталистически определяется главою семейства с самою возмутительною подробностью. «Ты станешь заниматься домохозяйством, ты будешь ездить по торговым делам; ты женишься на такой-то, ты останешься холост»... Так решает глава семейства, и безмолвно склоняются перед этим решением и робкая, как бы освоившаяся с вечным испугом его жена, и молодой его сын, у которого в глазах горит еще огонь, свидетельствующий о том, сколько сверхъестественных усилий стоит ему это безмолвное подчинение отцовской воле, и красавица дочь, у которой и влажные взоры, и высоко поднимающаяся молодая грудь громко протестуют против насильственного гнета, налагаемого железною и безжалостною рукою отцовского произвола. Вяло и безрадостно течет существование этой семьи, всецело поглощаемое мелочами и дрязгами серой, обыденной жизни; однообразие ее форм, узкость внутреннего горизонта, не представляющего простора ни мыслям, ни желаниям, наконец, бедность и убожество всей внешней обстановки, не дающей никакого повода к самому простому, самому естественному проявлению личности,— все это кладет на действия и поступки этих людей какое-то гнетущее иго формализма, не согретого никаким внутренним побуждением.

ПРИМЕЧАНИЯ

Вводная заметка к примечаниям написана *Е. И. Покусаевым*

Тексты подготовлены и примечания составлены: *Д. И. Мишневой* и *Н. Е. Прийма* («Жених», «Яшенька»), *Г. Н. Антоновой* («Смерть Пазухина»), *Т. И. Усакиной* («Два отрывка из „Книги об умирающих“», «Характеры», «Глупов и глуповцы», «Глуповское распутство»), *Л. Я. Лившицем, Е. И. Покусаевым* и *П. А. Супоницкой* («Тени»). Текст «Каплунов» (полная редакция) подготовлен *И. В. Порохом;* примечания написаны *Е. И. Покусаевым* и *И. В. Порохом.* Текст «Тихого пристанища» подготовлен *Г. Ф. Самосюк;* примечания написаны *Е. И. Покусаевым* и *Г. Ф. Самосюк.* В разделе «Из других редакций» тексты подготовлены: *В. Н. Баскаковым* («Царство смерти»), *Г. Ф. Самосюк* («Мастерица»), *В. Э. Боградом* (сокращенная редакция «Каплунов»).

В состав четвертого тома входят произведения, относящиеся ко второй половине 50-х — началу 60-х годов. Одни из них («Жених», «Смерть Пазухина», «Два отрывка из „Книги об умирающих"», «Яшенька», «Характеры») были опубликованы в журналах, но в сборники Салтыковым не включались и не переиздавались. Другие по разным причинам и вовсе не появились в печати при жизни автора («Глупов и глуповцы», «Глуповское распутство», «Каплуны», «Тихое пристанище», «Тени»). Цензурные преследования или угроза запрета сыграли далеко не последнюю роль в судьбе некоторых из них.

По времени написания, по общему кругу тем и персонажей «Жених», «Смерть Пазухина», «Яшенька» и «Два отрывка» примыкают к первому циклу писателя («Губернские очерки»). Вместе с тем три последних произведения предназначались, по-видимому, уже для новой, задуманной Салтыковым «Книги об умирающих», которая так и не была создана. Не слились в цикл также и произведения «глуповской» серии (подробнее об этих двух неосуществленных циклах см. в т. 3 наст. изд.).

Разные по темам и проблематике, по жанру (сатирические очерки, рассказы, фельетоны, повести, драматические сатиры-комедии), наконец, по художественному уровню, произведения настоящего тома не лишены все же определенного единства. Они отражают идейно-политическое и художественное развитие Салтыкова в один из самых сложных периодов его общественно-литературной биографии. В годы революционной ситуации, в пред- и пореформенную пору, в эту столь значительную и богатую событиями полосу исторической жизни России внимание писателя приковано к острейшим проблемам современности (положение народных масс и перспективы крестьянской революции, роль демократической интеллигенции в освободительном движении, стратегия и тактика борьбы с крепостниче-

ством и реакцией, философское, конкретно-историческое обоснование социалистического идеала, образ передового общественного деятеля и т. д). «Жгучий вопрос эпохи»: что делать человеку демократических и социалистических убеждений в то время, когда пропасть разделяет косную жизнь глуповской России и социалистический идеал будущего,— этот вопрос приобрел у Салтыкова, как, может быть, ни у какого другого художника, его современника, сугубо личное и сугубо практическое значение.

Автор «Каплунов» и «Тихого пристанища» страстно искал ответа на вопросы времени, порой ошибался, но не упорствовал в заблуждениях, корректировал свои построения и тезисы. В этом процессе кристаллизации революционно-демократического мировоззрения великого сатирика огромную роль играли отрезвляющий и поучительный общественный опыт, опыт освободительной борьбы, наблюдения, обобщения, прогнозы передовой демократической публицистики и в первую очередь ее главы — Чернышевского. Большая ценность помещенных в данном томе произведений (в особенности тех, которые в свое время не попали в печать, и тех, от которых сохранились рукописные материалы, промежуточные редакции и варианты) и заключается, помимо всего прочего, в том, что они знакомят читателя с беспокойной, сложной и вместе с тем мужественной стихией ищущей и укрепляющейся революционной мысли художника, вводят в лабораторию его творчества, проливают свет на причины незавершенности многих оригинально тогда начатых идейно-образных разработок, на замыслы позднейших сатирических циклов.

Впервые произведения конца 50-х — начала 60-х годов, оставшиеся в рукописях или позднее не переиздававшиеся самим писателем, были собраны в Полном собрании сочинений, т. 4, Л. 1935 (далее: изд. 1933—1941 гг.).

Текстологическая подготовка и комментирование этих произведений в указанном издании очень тщательно и на высоком научном уровне были осуществлены В. В. Гиппиусом. Материалы и результаты текстологических исследований В. В. Гиппиуса, естественно, учитываются в настоящем издании. Из существенных отличий в составе настоящего тома от т. 4 изд. 1933—1941 гг. отметим следующие: в разделе «Из других редакций» впервые полностью публикуется «Царство смерти» (первая редакция комедии «Смерть Пазухина»). Здесь же печатается неизвестная ранее, сокращенная редакция очерка «Каплуны» (опубликована В. Э. Боградом в «Литературном наследстве», т. 67). Очерк «Глупов и глуповцы» печатается не по черновому автографу, как прежде, а по недавно обнаруженной корректуре «Современника». При подготовке настоящего тома учтены некоторые результаты текстологической работы сотрудников ИРЛИ В. Н. Баскакова и Г. Ф. Перминова, принимавших в 1958—1959 гг. участие в подготовке материалов для предполагавшегося академического издания собрания сочинений М. Е. Салтыкова-Щедрина.

ЖЕНИХ

Картина провинциальных нравов

(Стр. 5)

Впервые — в журнале «Современник», т. 65, 1857, № 10, стр. 123—188 (ценз. разр.— 30 сентября), с посвящением И. В. Павлову. Подпись: Н. Щедрин. При жизни автора не перепечатывалось.

Рукописи неизвестны.

Рассказом «Жених» Салтыков дебютировал в «Современнике». По воспоминаниям Л. Ф. Пантелеева, Н. А. Некрасов летом 1857 г., по возвращении из-за границы, посетил писателя и, выразив крайнее сожаление, что, положившись на отзыв Тургенева, не дал места «Губернским очеркам» в «Современнике», предложил ему сотрудничество [1]. По-видимому, в ответ именно на это предложение Салтыков и дал «Современнику» «Жениха», хотя активным сотрудником журнала в то время не стал.

Точная дата написания рассказа неизвестна, приблизительная же устанавливается без труда. В гл. IV Салтыков ссылается в сноске на один из своих предыдущих рассказов — «Талантливая натура», опубликованный в 1-й июньской книжке «Русского вестника» за 1857 г. Затем рассказ был напечатан под новым названием «Горехвастов» в составе третьего тома «Губернских очерков», вышедшего в свет в начале октября 1857 г. (ценз. разр.— 7 сентября). Следовательно, «Жених» не мог быть написан ранее июня и позже сентября 1857 г.

По теме, месту действия, персонажам «Жених» примыкает к «Губернским очеркам», пополняя и обогащая данные там бытовые и сатирические характеристики провинциальных нравов дореформенной России. С «Губернскими очерками» рассказ «Жених» связан и своими персонажами (генерал Голубовицкий, Загржембович, Размановский, Порфирий Петрович, Разбитной, Рогожкин, Горехвастов и др.), и своей «топонимикой» (Крутогорск, Полорецк, Черноборск, Оков). Несомненно, «Жених» писался Салтыковым в рамках замысла «Губернских очерков» и первоначально, по-видимому, предназначался для включения в этот цикл.

В стилевой манере «Жениха» явственно ощутимы гоголевские интонации (особенно в обрисовке главного героя) и прямые заимствования отдельных комических положений из «Ревизора» и «Мертвых душ». Вместе с тем в «Женихе» появляются первые элементы начавшей складываться несколько позднее в произведениях «глуповского» цикла сатирической манеры Салтыкова с обращением к приемам фантастики и гротеска. Так рисуется появление в городе форштмейстера Махоркина («Небо изрыгнуло из себя огненного змия»). Изображенная в письме Песнопевцева картина бури, пронесшейся над Крутогорском, во время которой «ужасный капи-

---

[1] «М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников». Вступительная статья, подготовка текста и примечания С. А. Макашина, Гослитиздат, М. 1957, стр. 182. В дальнейшем: «Щедрин в воспоминаниях современников...».

тан» Махоркин таинственно исчезает,— по словесным краскам, по неожиданному сюжетному повороту кое в чем предвещает знаменитый щедринский образ смерча в финале будущей «Истории одного города».

Некоторые образы и ситуации «Жениха» использовались Салтыковым в других произведениях, например в рассказах «Деревенская тишь» (сюда вошел в несколько измененном виде сон Мишки), «Гегемониев» (см. т. 3 наст. изд.).

Появление повести прошло в печати почти незамеченным. Зарегистрировано всего два кратких отзыва. Высказано было мнение, притом с явным критическим предубеждением, что повесть несет на себе следы влияния Гоголя. «Вологжанин не более как бледный сколок с Чичикова с примесью хлестаковских манер»,— было сказано в «Обзоре литературных журналов» еженедельника «Сын отечества» (1857, № 46, 17 ноября, стр. 1126). Отрицательную оценку «Жених» получил и на страницах «Санкт-Петербургских ведомостей» в статье П. Б. (1857, № 234, 29 октября).

Стр. 5. *Посвящается И. В. Павлову.*— О взаимоотношениях Салтыкова и Павлова, товарищей по Московскому дворянскому институту и Царскосельскому лицею, см. в комментарии к их переписке 1857 г. в т. 18 наст. изд.

Стр. 6. *Седьмые части* — по существовавшему закону овдовевший муж, если его права не были ограничены или расширены завещанием, наследовал одну седьмую часть недвижимой собственности жены.

...в четвертый-то раз, пожалуй, и баста скажут...— Гражданское и церковное законодательство старой России запрещало вступать в брак более трех раз.

Почетные граждане — звание, присваивавшееся определенным категориям городских жителей-недворян, главным образом купцам.

Стр. 7. *Хлапы* — холопы.

Стр. 9. *Билеты Московской сохранной казны.*— При Петербургском и Московском воспитательных домах существовали кредитные учреждения под названием Сохранная казна. Они принимали вклады и выдавали ссуды. До 1859 г. билеты, выдававшиеся Сохранной казной вкладчикам, имели хождение на правах денег.

Стр. 10. *Veni, vidi, vici* — слова Юлия Цезаря после одной из его побед.

Стр. 11. *Каролина Карловна* — намек на «всесильную» в 50—60-х годах прошлого века Минну (Вильгельмину) Ивановну Буркову, фаворитку министра двора графа В. Ф. Адлерберга (ср. в пьесе «Тени» Клару Федоровну).

Стр. 13. *...он назвал мне такое место, об котором я даже и мечтать не мог... на первом плане откупщик...*— место председателя казенной палаты. «Все председатели казенных палат,— вспоминал известный финансист Е. И. Ламанский,— были на содержании у откупщиков...» («Русская старина», 1915, № 3, стр. 577).

Стр. 15. *Leone Leoni* — герой одноименного романа Жорж Санд (1835).

Стр. 16. *...русская Швейцария... немецкая Швейцария* — пригородные рощи Казани, места летнего отдыха, увеселений и гуляний казанцев. Салтыков побывал в Казани весной 1855 г. (см. С. Макашин. Салтыков-Щедрин. Биография, т. 1, М. 1951, стр. 383).

Стр. 23. *Воксал* — место общественных увеселений.

Мовешки, жолишка — жаргонные образования от французских слов: mauvais — дурной, плохой; joli — красивый.

Стр. 26. *...пачку билетов с награвированными на них птицами, кормящими детей своими собственными внутренностями.* — Имеются в виду билеты Московской сохранной казны (см. прим. к стр. 9).

Иохимовский дормез — экипаж для дальних путешествий, изготовленный в мастерских петербургского каретника Иохима (от *франц.* dormir — спать).

Стр. 30. *Теверино* — герой одноименного романа Жорж Санд (1845) — красавец бродяга, атлет; им увлекается героиня-аристократка.

В отрубе — в ширину.

Стр. 31. *...глаза его, которые я однажды уже уподобил глазам пшеничного жаворонка...* — в рассказе «Талантливая натура» («Горехвастов») «Губернских очерков» (ср. т. 2 наст. изд., стр. 318).

Начинал он обыкновенно с «Дороженьки»... — Упоминаемые здесь и дальше в рассказе русские народные песни являются одним из источников для характеристики фольклорных интересов Салтыкова. Эти песни встречаются во многих сборниках и публикациях конца XVIII — начала XIX в. Приводим уточненные или более полные и распространенные варианты названий песен с указанием первых или ранних публикаций их в сборниках, которые могли быть известны Салтыкову. «Дороженька» — «Не одна во поле дороженька...» («Русские народные песни, собр. и изд. Дан. Кашиным», М. 1833—1834); «Исполать тебе, зеленому кувшину» — «Да спасибо же тебе, синему кувшину...» («Московский вестник», 1828, т. XI, № 18); «Веселая беседушка, где батюшки нет» — «Подуй, подуй, мать погодушка, низовенькая...» («Народные песни Вологодской и Олонецкой губернии, собр. Ф. Студитским», СПб. 1847, стр. 104); «Уж как пал туман» («Новейший и полный Российский песенник», М. 1810, стр. 169); «Не березонька с березкой свивалася» («Песенник 1821 г.», ч. III, стр. 173); «Во поле березонька стояла...» («Собрание народных русских песен с их голосами, на музыку положил Ив. Прач», изд. 2, СПб. 1806, ч. I, № 6); «Я вечор в саду, младешенька, гуляла» — фольклорный вариант песни поэта Г. А. Хованского «Незабудочки» («Я вечор в лугах гуляла...»), написанной в 1793 г.; «Расступись ты, мать сыра-земля!..» — заключительные строки песни «Как по матушке, по Неве-реке...» («Собрание разных песен» М. Д. Чулкова, СПб. 1770, ч. II, № 177).

Стр. 32. *Брюсов календарь* — по имени государственного деятеля и ученого Я. В. Брюса, под наблюдением которого календарь был составлен в 1709—1715 гг. Наряду с другими материалами содержал астрологические предсказания, извлеченные из латинских и немецких источников. «Пред-

сказания по Брюсу» неоднократно включались в календари, издававшиеся в XIX в.

Стр. 40. *...дремучий бор волос... это сила! это Самсон!* — Необычайная сила библейского героя Самсона заключалась в его волосах.

Стр. 46. *Гегемониев* — этот образ, едва намеченный в «Женихе», был разработан вскоре в рассказе «Гегемониев» из незавершенной «Книги об умирающих» (см. т. 3 наст. изд.).

Стр. 47. *Мартинизм* — распространенное среди русских масонов учение португальского философа-мистика XVIII в. Мартинеца де Паскалиса и его ученика француза Сен-Мартена.

Стр. 50. *...в шестом классе и при безобидном содержании.*— По табели о рангах (закон о порядке прохождения государственной службы, введенный Петром I) шестому классу соответствовал гражданский чин коллежского советника и титул потомственного дворянина.

Стр. 51. *См. «Библиографические записки» М. Н. Лонгинова...* — В этих «Записках» М. Н. Лонгинов сообщал о редком издании «Исследование книги о заблуждениях и истине. Сочинено особливым обществом одного губернского города. В Туле, 1790» («Исследование» было посвящено русскому переводу книги Сен-Мартена «О заблуждении и истине», отпечатанному в Москве в 1785 г. «иждивением» новиковского «Типографического общества» и изъятому из продажи в 1786 г.). При этом М. Н. Лонгинов цитировал следующие строки из предисловия к изданию: «Все вещи телесные имеют начала бестелесные, например: дерево, камень, минерал существуют началами бестелесными». Несколько ниже эти строки текстуально используются Салтыковым в сатирических целях.

Стр. 52. *...пишут в газетах о комете...* — см. прим. к стр. 79.

Стр. 53. *...история эта не современная, как это явствует и из счета денег на ассигнации.*— Ассигнации в России существовали до 1843 г., когда они были заменены кредитными билетами.

Стр. 54. *Стрекоза* — персонаж, впервые появляющийся в очерке «Лузгин», действует также в ряде позднейших сатирических циклов Салтыкова («Дневник провинциала в Петербурге», «Культурные люди» и др.).

СМЕРТЬ ПАЗУХИНА

(Стр. 64)

Впервые — в журнале «Русский вестник», т. 11, 1857, октябрь, кн. 1, стр. 467—538 (ценз. разр.— 15 октября). Подпись: Н. Щедрин. При жизни автора не перепечатывалось.

Рукописный материал представлен: 1) полным черновым автографом первоначальной редакции, называвшейся сначала «Смерть», затем «Царство смерти» и отнесенной цикловым заглавием, вписанным сверху, к «Губернским очеркам»; 2) писарской копией действия 1 второй редакции, первоначально озаглавленной, как и черновая — «Губернские очерки. Царство смерти. Комедия в 4-х действиях»,— затем получившей заголовок

«Конец венчает дело», в свою очередь зачеркнутый и замененный еще одним названием, которое стало окончательным,— «Смерть Пазухина».

Переработка «Царства смерти» в «Смерть Пазухина» сопровождалась значительными сокращениями текста. Ряд сокращений был вызван частичным изменением замысла и отражал новые требования автора к структуре произведения, так, например, были значительно сжаты сцены бытового характера, замедлявшие действие. Другая часть сокращений, по предположению В. В. Гиппиуса, имела характер приспособления к цензуре: исключены были, например, упоминания о государе, о пьянстве и воровстве в армии, о роли третьего сословия, о мошенничестве откупщиков (см. «Царство смерти», действие I, сцены III, IV, VII, IX, стр. 422, 424, 428) и т. п. Переделав «Царство смерти» в «Смерть Пазухина», Салтыков использовал часть отброшенного материала действия I для самостоятельной сцены «Утро у Хрептюгина» (см. в т. 3 наст. изд.). Текст сцены вырабатывался на писарской копии действия I «Смерти Пазухина» (начиная с л. 24 рукописи). Подробную характеристику авторской работы над переделкой «Царства смерти» в «Смерть Пазухина» см. в текстологическом комментарии В. В. Гиппиуса в т. 4 изд. 1933—1941 гг. (стр. 477—489).

В настоящем издании «Смерть Пазухина» печатается по тексту «Русского вестника» с проверкой по рукописным источникам. В разделе «Из других редакций» впервые полностью печатается первоначальная редакция пьесы — «Царство смерти».

Документальных данных о времени написания «Смерти Пазухина» не имеется. Но хронологические рамки этой работы определяются довольно точно. Пьеса не могла быть написана раньше рассказа «Жених». В рассказе (и еще раньше в «Губернских очерках») уже упоминается купец Пазухин, но упоминание это еще совершенно беглое, эскизное и не совпадающее в деталях с явно позднейшими развернутыми описаниями Пазухина и его семьи в пьесе. «Жених» написан где-то между июнем и сентябрем 1857 г. (см. выше, стр. 525). А не позже первых чисел октября рукопись «Смерти Пазухина» уже должна была находиться в редакции «Русского вестника», первая октябрьская книжка которого с пьесой Салтыкова вышла в свет 15-го числа. Следовательно, датировать работу Салтыкова над «Смертью Пазухина» нужно в рамках июля — начала октября 1857 г.

Первоначальное заглавие пьесы — «Губернские очерки. Царство смерти. Комедия в 4-х действиях» — с очевидностью свидетельствует о существовавшем у Салтыкова намерении ввести это произведение в свой первый цикл. Неясно, однако, хотел ли он включить пьесу в третий том «Губернских очерков», но опоздал, так как том этот вышел в октябре 1857 г., или думал начать «Смертью Пазухина» «собирание» четвертого тома «Губернских очерков». Так или иначе, но пьеса тесно связана с «Губернскими очерками» и не только первоначальным заглавием, но и местом

действия (Крутогорск) и рядом персонажей (Фурначев, Разбитной, Доброзраков, Хрептюгин и сам Пазухин).

Вместе с тем «Смерть Пазухина» связана и с другим творческим замыслом Салтыкова конца 50-х годов — «Книгой об умирающих», над которой он начал работать, отказавшись от намерения продолжать «Губернские очерки» (об этом замысле см. в т. 3 наст. изд., стр. 554 и след.). Вряд ли приходится сомневаться, что, если бы этот новый цикл был завершен, Салтыков ввел бы в него и столь подходящую для него по теме «Смерть Пазухина».

Салтыков был убежден, что развитие страны, требующее коренных перемен в ее общественных порядках, столкнет в историческую могилу, вместе с помещиками-рабовладельцами и дореформенным приказным чиновничеством, также и других «ветхих людей» крепостнической России. Не избегнет этой участи и патриархальное купечество — один из устоев той же изжившей себя крепостнической системы.

Такой подход был полемичен по отношению к почвенничеству и славянофильству Идеологи этих направлений усматривали в русском купечестве хранителя лучших сторон национального характера, быта, миросозерцания. Ап. Григорьев, например, в своих статьях об Островском превозносил «огромный по значению в общественной жизни и огромный же по значению историческому купеческий класс, <...> класс, составляющий, так сказать, цвет собственно народных соков, класс, в котором, при многих, может быть, комических сторонах, сохранились наиболее остатки народного быта и развились притом на свободе, широко, вольно» [1]. Со своей стороны, К. Аксаков видел в купечестве носителя «высоких нравственных преданий простоты, братства, христианской любви, семейного чувства» и утверждал, что купечество даст «добрый плод, творя теперь, и в ограниченной своей сфере, много истинно добрых дел» [2].

В «Смерти Пазухина» Салтыков решительно отвергает эту идеализацию российского купечества. Купеческая среда предстает в его пьесе средоточием невежества, семейственной грызни, обмана, наглых преступлений. Той же печатью разложения и деградации отмечены и другие социальные силы — чиновничество (образ взяточника и лицемера Фурначева, предвосхищающий некоторые черты Иудушки Головлева) и опустившееся, ни на что не годное барство (генерал в отставке Лобастов, приживалка из «благородных» Живоедова и др.).

«Смерть Пазухина», утверждавшая в русской драматургии поэтику общественной реалистической комедии, резко противостояла либерально-обличительной драматургии конца 50-х годов. Развивая традиции гоголевского «Ревизора», Салтыков не дал в своей комедии ни одного положительного образа, в то время как, например, В. Соллогуб в «Чиновнике» (1856) нарисовал фигуру «идеального чиновника» Надимова, послужившую

---

[1] «Москвитянин», 1855, т. IV, №№ 13 и 14, июль, кн. 1 и 2, отд. «Журналистика», стр. 118.

[2] «Русская беседа», 1857, т. I, кн. 5, отд. «Обозрения», стр. 32, 33.

образчиком для целой галереи подобных «героев» либерального «обновления» России. Свое отношение к Надимову Салтыков выразил в рассказах «Озорники» и «Приезд ревизора» (см. наст. изд., т. 2, стр. 266, 539, и т. 3, стр. 35—36, 53—55, 566).

По свидетельству Л. Ф. Пантелеева, на вопрос, пробовал ли он писать для сцены, Салтыков «раздраженно отвечал»: «Написал одну гадость... совестно вспомнить... написал черт знает что такое — «Смерть Пазухина». Я ее теперь больше и не перепечатываю» [1]. Однако этот позднейший отзыв писателя не совпадал с его отношением к пьесе в момент, когда она публиковалась. В 1857 г. Салтыков хотел видеть «Смерть Пазухина» на сцене и представил пьесу на рассмотрение театральной цензуры. Цензор И. Нордстрем в докладе Управлению III Отделением отрицательно расценил пьесу, увидев в ней беспощадное разоблачение российского общественного строя: «Лица, представленные в этой пьесе, доказывают совершенное нравственное разрушение общества» [2].

Представляет интерес как первый читательски-сочувственный отзыв о пьесе запись о ней 21 октября (2 ноября) 1857 г. в дневнике А. И. Артемьева, известного в свое время статистика, этнографа и историка, сослуживца писателя по министерству внутренних дел: «„Смерть Пазухина" — хороша и замечательна в том отношении, что в первый раз выводит на сцену генералов и статских советников настоящими ворами, забирающимися в чужой сундук» [3].

В некоторых либеральных кругах пьеса оценивалась также положительно, но при этом оказались непонятыми обобщающий смысл ее образов, особенности ее драматического конфликта. «„Смерть Пазухина" как очерки явлений из современной русской жизни,— писал, например, известный общественный деятель и педагог В. Я. Стоюнин,— представляет много интересного и, пожалуй, много характеристического. Читая все эти сцены, мы верим, что все это действительно было, но было как случай; что все эти лица действительно жили, живут, но как исключительные личности» [4].

Отрицательному разбору пьеса Салтыкова подверглась на страницах «Санкт-Петербургских ведомостей», расхваливавших комедии В. Соллогуба, Н. Львова и других либерально-обличительных драматургов. Анонимный рецензент писал: «Где действие, где борьба, где катастрофы, где характеры, где идея, где естественность, где жизнь, где правда? Как не было начала, так нет и конца: какой драматизм в том, что богатство Пазухина досталось законному наследнику без борьбы, без усилий, без препятствий? В судьбе Фурначева тоже нет ничего жизненного и драматичного; все искусственно, нелепо, отвратительно» [5].

---

[1] «Щедрин в воспоминаниях современников...», стр. 182.
[2] «Литературное наследство», т. 13—14, 1934, стр. 122.
[3] «Щедрин в воспоминаниях современников. .», стр. 439.
[4] «Театральный и музыкальный вестник», 1858, № 10, 9 марта, стр. 111.
[5] Н. Н. «Русская литература. Журналы. «Смерть Пазухина», комедия Н. Щедрина».— «Санкт-Петербургские ведомости», 1857, № 261, 30 ноября,

Резко отозвался о «Смерти Пазухина» Л. Н. Толстой, осуждавший «изобличительную литературу» как «благородное», но «одностороннее увлечение»: «„Смерть Пазухина“ невозможная мерзость» [1],— записал он в своем дневнике под 30 октября 1857 г.

«Смерть Пазухина» была разрешена к представлению лишь после смерти Салтыкова. Впервые и с успехом она была показана Харьковским театром 30 декабря 1889 г. («Харьковские губернские ведомости», 1890, № 1, 1 января, стр. 3).

Две следующие постановки, осуществленные в 1893 г. Александринским театром в Петербурге и одновременно театром Ф. Корша в Москве, были неодобрительно встречены критикой, упрекавшей и пьесу и спектакль в «натурализме» (А. Суворин.— «Новое время», 1893, № 6382, 3 декабря), в «отражении литературных влияний» Гоголя и Островского (К.— «С.-Петербургские ведомости», 1893, № 381, 4 декабря). Такие суждения объяснялись в значительной мере тем, что в обеих постановках сатирическая комедия Салтыкова была трактована как чисто бытовая драма из жизни купечества, в духе подражания театру Островского.

Аналогичными оценками была встречена критикой возобновленная в 1904 г. постановка салтыковской комедии в Александринском театре.

Крупной вехой в истории театральной интерпретации «Смерти Пазухина» явилась постановка пьесы в Московском Художественном театре 3 декабря 1914 г. (режиссеры — В. И. Немирович-Данченко, В. В. Лужский и И. М. Москвин; исполнители главных ролей — И. М. Москвин, Л. М. Леонидов, В. Ф. Грибунин и др.). В письме к Л. Я. Гуревич от 2 октября 1914 г. К. С. Станиславский писал: «...против Щедрина — ничего нельзя сказать. Это сатира, но и в ней сказывается русская мощь» [2].

«„Смерть Пазухина“ был очень полнокровный спектакль»,— вспоминал впоследствии В. И. Немирович-Данченко [3]. Сила этой постановки заключалась в том, что в ней впервые «Смерть Пазухина» прозвучала не как бытовая только, но и яркая сатирическая комедия.

В том же духе, но все же с меньшей социальной остротой пьеса была истолкована Художественным театром и в первой послереволюционной

стр. 1359. Любопытный отклик на эту рецензию сохранился в дневниковой записи упомянутого А. И. Артемьева от 30 ноября (12 декабря) 1857 г.: «В сегодняшнем нумере «С.-Петербургских ведомостей» помещен очень злой разбор салтыковской пьесы «Смерть Пазухина». Ее бранят страшно. Но, по моему мнению, эта пьеса несравненно выше львовской, производящей теперь фурор благодаря превосходной игре актеров. «Свет не без добрых людей» <Н. Львова> — тот же «Чиновник» <В. Соллогуба>, вывернутый наизнанку: та же риторика, те же ходули, та же неестественность. У Салтыкова более последовательности и связи».— «Щедрин в воспоминаниях современников...», стр. 439.

[1] Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 47, М. 1937, стр. 161.

[2] «О Станиславском». Сборник воспоминаний, изд. ВТО, М. 1948, стр. 156.

[3] Вл. И. Немирович-Данченко. Щедрин в Художественном театре.— «Литературное наследство», т. 11—12, 1933, стр. 46.

постановке 1924 г. А. В. Луначарский, высоко оценив этот спектакль в целом как «удивительно талантливый, глубоко содержательный», одновременно отмечал: «...в исполнении Художественного театра не было достаточной злобы. <...> Было страшно весело. Чудесное искусство актеров как бы примиряло с действительностью» [1].

Глубокое прочтение пьесы в духе беспощадного социального критицизма и политической сатиры было дано Художественным театром в третьей постановке, 1939 г. (режиссеры — В. И. Немирович-Данченко и И. М. Москвин, ведущие актеры И. М. Москвин, игравший Прокофия Пазухина, и М. М. Тарханов, исполнявший роль Фурначева).

Успешные постановки «Смерти Пазухина» осуществили также: в 1954 г.— Театр киноактера в Москве с ярким исполнением С. А. Мартинсоном роли Живновского и в 1955 г.— Ленинградский театр драмы имени Горького [2].

Стр. 64. *Посвящается В. П. Безобразову.*— В конце 50-х годов Салтыков находился в близких дружеских отношениях со своим младшим лицейским товарищем, экономистом и публицистом В. П. Безобразовым, одним из посредников в деле опубликования «Губернских очерков» в «Русском вестнике». Вскоре, однако, Салтыков разошелся с политически поправевшим Безобразовым. Об их взаимоотношениях см. в комментариях к письмам Салтыкова к Безобразову (т. 18 наст. изд.) и к памфлету сатирика против Безобразова «Человек, который смеется» (т. 9 наст. изд.).

...происхождением из сдаточных — из рекрутов.

Стр. 65. *«И возлюбят людие...»* — Впервые эта цитата из раскольнического «Слова от старчества об антихристовом пришествии» приводится в рассказе «Хрептюгин и его семейство» из «Губернских очерков» (см. т. 2 наст. изд., стр. 145).

Стр. 66. *«Постризало да не взыдет на браду твою...» И в Стоглаве так сказано!* — Неточная цитата из «Стоглава», свода установлений церковного собора 1551 г. по вопросам религиозной обрядности и житейского быта (ср. «Постризало да не взыдет на браду вашу, се бо мерзско есть пред богом»). «Стоглав», осужденный церковью после реформы Никона и запрещенный духовной цензурой, признавался в старообрядчестве за обрядово-религиозный кодекс. Салтыков познакомился со «Стоглавом» по одному из его рукописных «изданий» в годы службы в Вятке. Первое печатное издание «Стоглава» появилось лишь в 1860 г. в Лондоне.

Стр. 67. *...в благородные, чу, скоро попадет! Губернатор-от его уж в*

---

[1] «К возвращению старшего МХТ».—А. В. Луначарский. Собр. соч. в восьми томах, т. 3, изд. «Художественная литература», М. 1964, стр. 163.

[2] О постановках «Смерти Пазухина» на сцене русских и зарубежных театров см. сводку материалов в работах: Ю. Соболев. Щедрин на сцене.— «Литературное наследство», т. 13—14, 1934, и Д. Золотницкий. Щедрин-драматург, М.—Л. 1961.

надворные советники... представил! — Надворный советник — гражданский чин седьмого класса, дававший, до 1856 г., право на потомственное дворянство независимо от социального происхождения.

Стр. 68. *...как отцы соловецкие за древнее благочестие пострадали...* — Имеется в виду жестокая расправа царского правительства с монахами, участниками восстания Соловецкого монастыря в XVII в. Это восстание, имевшее антикрепостнический характер, проходило под лозунгом борьбы за «старую веру» против реформ Никона. Среди старообрядцев пользовалось популярностью посвященное этому событию сочинение Семена Денисова — «История об отцах и страдальцах соловецких». *Уды* — конечности *(церковнослав.)*. Ср. ту же цитату из «Истории об отцах и страдальцах соловецких» в наброске «Мельхиседек» (т. 2 наст. изд., стр. 546).

Стр. 71. *...у меня на ломбартном билете птица есть нарисована...* — О таких же билетах Сохранной казны упоминается в «Женихе» (см. выше, стр. 26 и 527).

Стр. 72. *Про родительское сердце еще царь Соломон в притчах писал!* — «Книга притчей Соломоновых» в Библии написана в форме родительских наставлений любимому сыну.

Стр. 76. *Шавера* — сплетники (ср. «Губернские очерки» — т. 2 наст. изд., стр. 191).

Стр. 78. *Статский советник* — гражданский чин пятого класса, равный первому генеральскому чину на военной службе.

Стр. 79. *Итак, в настоящем году следует ожидать кометы!* — Слухи о возможном появлении кометы ходили в 1857 г. В «Московских ведомостях», например, от 20 апреля 1857 г., № 48, на стр. 409 сообщалось (эту газету и читает Фурначев): «Ныне некоторые обеспокоены появлением какой-то огромной кометы, которая будто бы столкнется с Землею».

Стр. 89. *Откупа* — система сбора налогов и других государственных доходов частными лицами (откупщиками), уплачивающими государству определенную, гораздо меньшую сумму от общего количества собранных с населения денег.

...от дел удалюсь, да и стану в правительствующем сенате на крылечке, с залогами в руках, отступного поджидать... — Правительствующий сенат — высшая судебная инстанция Российской империи — контролировал, в частности, выполнение залоговых обязательств. В случае неисполнения должником этих обязательств кредитор имел право на удовлетворение их из стоимости заложенного имущества. Фурначев намекает на то, что, став кредитором, он пригрозит несостоятельному должнику судом и потребует от него отступное — дополнительное вознаграждение.

Стр. 90. *...тот, что ли, что наемщиками торгует?* — Речь идет о замене лиц, сдаваемых в рекруты по очереди или жребию, другими лицами — наемными, то есть теми, кто за известное вознаграждение добровольно шел в солдаты.

Стр. 94. *Купец первой гильдии.* — Гильдия — один из трех разрядов, на которые делилось купечество в зависимости от величины капитала и

рода торговли. К первой гильдии причислялись обладатели самого большого капитала.

Потомственный почетный гражданин — см. прим. к стр. 6.

Стр. 95. *Синенькая* — ассигнация в пять рублей.

Стр. 98. *...число 666...* — мистическое число или «число зверя», обозначающее антихриста и упоминающееся в Апокалипсисе («откровении») — раннехристианском произведении Нового завета. Среди раскольников пользовались популярностью апокрифические апокалипсисы, предсказывающие «светопреставление».

Комиссариатский — чиновник комиссариатского департамента военного министерства, ведавшего до 1864 г. снабжением армии.

Стр. 104. *Малаканы.* — Молокане — возникшая во второй половине XVIII в. секта, отрицавшая официальную православную церковь с ее обрядами и признававшая единственным источником вероучения Библию.

Иудействующие — возникшая в конце XV в. религиозная секта, стремившаяся сблизить идеи христианства с иудаизмом.

Стр. 118. *...по нижегородке-то пройтись!* — Дорога из Центральной России в Сибирь, по которой отправлялись приговоренные к каторге (она же — Владимирка).

Стр. 124. *...я его... сквозь зеленые луга проведу...* — то есть подвергну палочному наказанию (см. в т. 3 наст. изд. прим. к стр. 156).

ЯШЕНЬКА

(Стр. 128)

Впервые — в «Сборнике литературных статей, посвященных русскими писателями памяти покойного книгопродавца-издателя А. Ф. Смирдина», т. VI, 1859 (ценз. разр.— 11 марта). Подзаголовок: Повесть Щедрина. К последним словам текста дано редакционное примечание в сноске: «Этот рассказ был получен от автора еще в половине 1857 года[1], но по разным обстоятельствам мог быть только теперь напечатан». При жизни Салтыкова повесть не перепечатывалась.

Сохранились следующие рукописи: 1) полный черновой автограф первоначальной редакции, сначала озаглавленной «Мишенька. Рассказ»; 2) черновой автограф главы II второй редакции; 3) перебеленный рукою переписчика текст глав I и II первой редакции с правкой и вставками автора, образующими третью редакцию начальных частей повести.

В настоящем издании повесть печатается по тексту «Сборника...» с проверкой по рукописям.

Изучение печатного и рукописных текстов повести, впервые осуществленное В. В. Гиппиусом для т. 4 изд. 1933—1941 гг., показывает, что главы III—IX в процессе авторской работы подверглись лишь частичным изме-

[1] В действительности рукопись поступила в редакцию «Сборника...» в феврале или марте 1858 г. См. ниже.

нениям. Глубже была переделка глав I и II, особенно начала повести. Выработанная в последней рукописной редакции (третьей) развернутая и обобщенная картина помещичьей усадьбы в печатном тексте была заменена всего одной фразой: «Яков Федорович Агамонов, с которым я намерен познакомить читателя, живет в собственной своей усадьбе Агамоновке, вместе с маменькой своей, Натальей Павловной». По мнению С. А. Макашина, Салтыков исключил описание усадьбы Агамоновки и ее хозяйки Натальи Павловны потому, что в этой картине и в этом портрете слишком прозрачно, для родственников писателя, проступали реальные черты любимого поместья его матери Ермолино, а также фигура самой Ольги Михайловны Салтыковой. Впоследствии ряд штрихов из этого описания текстуально повторился в автобиографической «Пошехонской старине».

Исключенное начало «Яшеньки» представляет самостоятельный интерес и печатается в разделе «Из других редакций».

Некоторые разночтения печатного и рукописного текстов объясняются, по-видимому, причинами или соображениями цензурного характера. Вслед за упомянутой публикацией В. В. Гиппиуса следующие места в настоящем издании печатаются по автографу, а не по тексту «Сборника...»:

Стр. 131, строки 2—3 снизу: вм. «взыскать с него» — «наказать его на конюшне нагайкой».

Стр. 132, строки 10—11 сверху: вм. «люди должны обожать вас» — «подданные должны обожать вас».

Стр. 133, строки 20—24 сверху: после слов «в доме заведется молодая хозяйка» в «Сборнике...» было опущено: «Федька и Павлушка, Машка и Аниска, которые в настоящее время трясутся при одном имени Натальи Павловны, необходимо должны будут раздвоиться в своем трепете».

Стр. 137, строки 12—13 снизу: после слов «житницы исполняются всяким благоволением» — в «Сборнике...» отсутствовало: «самые домочадцы и рабы распложаются во множестве».

Стр. 149: в подстрочном примечании в «Сборнике...» было исключено: «Ямщики ее славились дерзким образом мыслей и скорой ездой».

Стр. 150, строка 2 снизу: вм. «в 1826» — «в коронацию».

Стр. 164, строка 17 сверху: после слов «все, знаете, этак направо и налево» в «Сборнике...» было опущено: «Ну и нагаечка-с».

Время работы над повестью определяется на основании двух эпистолярных свидетельств Салтыкова. В письме к В. П. Безобразову от 1 октября 1858 г. он писал: «В марте <1858 г.> я отдал в Смирдинский альманах повесть под названием «Яшенька». Повесть очень плоха, и мне крайне хотелось бы выручить ее». Близкая дата названа и в другом письме, от 3 февраля 1859 г. к П. В. Анненкову, в котором читаем: «Год тому назад я отдал в альманах Смирдина повесть под названием «Яшенька». Эти подлецы до сих пор ее не печатают, да и обратно не возвращают. Так как я совсем (то есть нигде) не хотел бы печатать эту вещь, по причине ее совершенной посредственности, то Вы бы весьма обязали <меня>, вырвав ее из рук этого скотопромышленника Генкеля».

Как можно заключить на основании этих сведений, Салтыков, по-видимому, работал над повестью в начале 1858 г., так как не в его привычках было задерживать у себя написанную вещь.

Как и другие произведения, созданные Салтыковым в ближайшее после опубликования «Губернских очерков» время, повесть об умирающем в обстановке дворянско-помещичьей праздности Яшеньке включается в круг идей и тем, которые писатель разрабатывал в начатом, но не завершенном цикле — «Книге об умирающих».

В самой тональности насмешливого, комического повествования, в некоторых сюжетных положениях «Яшеньки» (например, эпизоды любовных объяснений с Мери, неудачного сватовства и т. п.) легко угадывается связь с литературной манерой Гоголя — автора «Ивана Федоровича Шпоньки» и «Женитьбы». Вместе с тем в «Яшеньке» уже встречаются тонкие социально-психологические характеристики и наблюдения, которые служат как бы эскизными набросками сатирических портретов героев более поздних произведений Салтыкова — Миши Нагорнова («Господа ташкентцы»), Сенечки Воловитинова (очерк «Как кому угодно», затем «Благонамеренные речи»). Изнурительная сыновняя почтительность Яшеньки предвосхищает въедливое благонравье Иудушки. Образ Натальи Павловны — один из первоначальных набросков типа властной, крутой на руку матери-хозяйки — Арины Петровны из «головлевской» хроники и Анны Павловны из хроники «пошехонской».

Стр. 143. *...даже выйти не может из комнаты, не сказавши наперёд мне.* — После этих строк в автографе было: «У меня, говорит, маменька, без вашего позволения даже природа не может действовать».

Стр. 150. *Шастанный овес* — очищенный, просеянный.

Стр. 167. *...гогенцоллерн-гехингенского посланника.* — До 1849 г. действительно существовало Гогенцоллерн-Гехингенское княжество, вошедшее затем в состав Пруссии.

Стр. 171. *...бестелесные их начала...* — См. прим. к стр. 51.

ДВА ОТРЫВКА ИЗ «КНИГИ ОБ УМИРАЮЩИХ»

(Стр. 180)

Впервые — в журнале «Русский вестник», т. 14, 1858, март, кн. 2, стр. 198—217 (ценз. разр. — 10 апреля). Подпись: Н. Щедрин.

В сопровождавшем публикацию «Двух отрывков...» примечании, в сноске, Салтыков впервые сообщил в печати о своей работе над новым циклом — «Книгой об умирающих» — и раскрыл его содержание (подробнее см. т. 3 наст. изд., стр. 554—556, 583).

Сохранившийся черновой автограф первого «отрывка» отличается от журнальной публикации лишь незначительными стилистическими разно-

чтениями. Рукопись носит следы работы над композицией «Книги об умирающих». Вместо зачеркнутого в автографе названия «Смерть Живновского» в заголовке поставлена римская цифра II, обозначавшая, несомненно, место очерка в «Книге об умирающих».

Частично сохранилась правленная автором писарская копия четырех очерков «Книги об умирающих» с первоначальным названием этого цикла «Отходящие» и с тем же эпиграфом, который предпослан «Двум отрывкам». От «Смерти Живновского», помещенной здесь также под цифрой II (без заглавия), сохранился только первый абзац и недоконченная первая фраза второго абзаца с небольшими отличиями от чернового автографа и журнального текста. Лишь пять строк остались и от второго отрывка, обозначенного здесь цифрой IV. Под цифрой I в копии помещен очерк «Гегемониев», под цифрой III — «Зубатов» (см. т. 3 наст. изд.). В отличие от первых трех очерков, только пронумерованных в рукописи, четвертый озаглавлен в ней. Первоначально он назывался «Отрывок из неизданной переписки». Затем слово «Отрывок» было вычеркнуто и заменено незаконченным «Выд.» (вероятно, «Выдержки»), в свою очередь также зачеркнутым.

Оба «отрывка» были написаны, по-видимому, в конце 1857 г. Это явствует из письма Салтыкова к И. С. Аксакову от 17 декабря 1857 г., в котором он сообщал своему корреспонденту: «... я кончаю теперь ряд очерков для одного альманаха...» Из контекста письма ясно, что речь тут идет об очерках из «Книги об умирающих», в том числе о «Смерти Живновского» и «Из неизданной переписки».

Семнадцатого марта сатирик читал «Два отрывка» Л. Н. Толстому перед отъездом его в Москву. По поводу второго из прослушанных очерков Толстой оставил в дневнике краткую запись: «Идеалист хорош» — и тут же дал общую оценку творчества Салтыкова: «Он здоровый талант»[1]. По просьбе автора Толстой передал очерки в «Русский вестник», где они и были опубликованы в запоздавшей второй мартовской книжке.

В настоящем издании печатается по тексту «Русского вестника» с проверкой по рукописям.

Первый «отрывок» <«Смерть Живновского»> непосредственно связан с «Губернскими очерками», на страницах которых впервые появился Живновский (см. рассказ «Обманутый подпоручик» и сцену «Просители» — т. 2 наст. изд.), введенный сатириком также в комедию «Смерть Пазухина».

В соответствии с общим замыслом «Книги об умирающих» Салтыков, по сравнению с «Губернскими очерками», углубил характеристику Живновского, как одного из «ветхих людей», ставших «в разлад с общим строем воззрений и убеждений». В изображении последних минут отставного подпоручика вся жизнь этого «старого забулдыги» предстала под пером сатирика как беспощадное обличение «прошлых времен», породив-

---

[1] Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 48, стр. 9.

ших эту чудовищную смесь наглости, безрассудства, любострастия и цинизма.

В «отрывок» о Живновском Салтыков впервые включил четыре пословицы из составленного им в конце 50-х годов по статье Ф. И. Буслаева списка пословичных изречений: 1) «Зовут да покличут, а потом и в нос потычут», 2) «И комар лошадь повалит, коли медведь подсобит», 3) «Взял боженьку за ноженьку, да и об пол» и 4) «Жил семь лет, нажил семь реп, да и тех нет». Ю. М. Соколов, опубликовавший названный список, ошибочно полагал, что Салтыков использовал его впервые в сцене «Утро у Хрептюгина» (Ю. Соколов. Из фольклорных материалов Щедрина.— «Литературное наследство», т. 13—14, М. 1934, стр. 499).

В 1878 г. Салтыков еще раз вернулся к образу Живновского и вывел его в качестве «благонамеренного добровольца» в очерке «День прошел — и слава богу!» (цикл «В среде умеренности и аккуратности», т. 12 наст. изд.).

Второй «отрывок» <«Из неизданной переписки»> — предсмертная исповедь идеалиста 40-х годов. Отрывок окрашен автобиографическим раздумьем Салтыкова о собственной молодости, «сильной горячими упованиями», «непоколебимою верою в будущее». Под «вечно юными» утопиями, обращенными «к лучшим инстинктам человеческого существа», сатирик разумел социалистические идеалы.

Возвращаясь к основной теме своего раннего творчества, Салтыков еще решительнее, чем прежде, осуждал «досужую праздность» идеалистов. «Слабость и нерешительность», подчеркивает писатель, привели к полному вытеснению идеалистов «дипломатами-барышниками», чуждыми всяких помыслов об «истине и добре». Трагический сарказм исповеди усиливала и предваряющая ее характеристика Живновского, олицетворившего «действительность» русской жизни, бесконечно далекой от «строя гармонических отношений». «Трудно вообразить себе две личности, более противоположные между собою, чем герои этих двух рассказов,— писал анонимный обозреватель «Сына отечества» сразу после появления «Двух отрывков»,— а между тем в смертный час оба они оплакивают свои обманутые надежды — в одинаковом настроении, хотя и с самых различных точек зрения и в самых несходных суждениях» («Сын отечества», 1858, № 27, 6 июля).

Для Салтыкова позиция отвлеченного служения идеалам при равнодушии к «черной работе» практики граничила с преступлением перед обществом, где все кипит и зовет к действию. Поэтому он без колебания отнес идеалиста к «ветхим людям», а его «брезгливое пренебрежение» к живой жизни осудил как разновидность идеологии «прошлых времен», которая должна смениться действенным отношением к миру.

Стр. 181. *...для Рогожкина...*— Развернутую характеристику Рогожкина Салтыков дал в рассказах «Горехвастов» («Губернские очерки», т. 2 наст. изд.) и «Жених» (наст. том).

Стр. 182. *...чем-то по комиссариатской части сделали...* — См. выше прим. к стр. 98.

Стр. 185. *...каким я там Балтазаром жил!* — то есть беспечно роскошествовал. Балтазар или Валтасар — полулегендарный вавилонский царь (VI в. до н. э.), гибель которого, по библейскому преданию, была таинственно предсказана во время пира (Книга пророка Даниила, гл. 5).

Стр. 194. *Мы играем ту же роль в обществе, какую играли мормоны в Миссури и Иллинойсе...* — Мормоны — религиозная секта, возникшая в США (1830). Салтыков имеет в виду отверженность мормонов, неприязнь американского общества к этим «единственным святым на земле», как именовали себя мормоны, отличавшиеся нетерпимостью и высокомерием ко всем прочим исповеданиям, запятнавшие себя уголовными преступлениями.

Стр. 195. *...чисты как голуби... мудры как змеи...* — из Евангелия (Матф., 10, 16).

А тут дары земные... — последняя строфа стихотворения Кольцова «Из Горация (Дума). П. А. Вяземскому» («Не время ль нам оставить...»).

ХАРАКТЕРЫ

(Стр. 197)

Впервые — в журнале «Искра», 1860, первая часть — в № 25 от 2 июля (ценз. разр. — 28 июня), вторая — № 28 от 22 июля (ценз. разр. — 16 июля). Подпись: «Стыдливый библиограф».

В этом же году И. И. Панаев перепечатал два отрывка из «Характеров» (ироническое описание разговора Краевского с Дудышкиным о «Русском вестнике», открывшем Англию, и диалог Краевского с Перейрой) в хронике «Петербургская жизнь. Заметки Нового поэта» («Современник», 1860, № 8, стр. 326—327) [1].

Псевдоним, которым сатира была подписана, оставался нераскрытым до 1929 г., когда В. В. Гиппиус на основании стилистического анализа установил принадлежность ее Салтыкову [2]. Позднее был обнаружен черновой автограф второй части «Характеров», начинающийся словами: «Из редакции «Русского вестника» похищен второй том книги Гнейста...»

При публикации в «Искре» очерк сопровождался примечанием (см. наст. том, стр. 197), которое, хотя и подписано «Ред.» (то есть Редакция «Искры»), по-видимому, принадлежит Салтыкову: оно органически вхо-

---

[1] Представляя читателю отрывки из салтыковских «Характеров», И. И. Панаев писал: «Мы до сих пор еще не читали в «Искре» <ничего> остроумнее заметок подражателя Лябрюйеру».

[2] Вас. Гиппиус. Салтыков — сотрудник «Искры». — «Ученые записки Пермского государственного университета», № 1, Общественные науки, вып. I, Пермь, 1929, стр. 43—66.

дит в общий замысел «Характеров», усиливая иронию в адрес редакции «Русского вестника».

В настоящем издании печатается по тексту «Искры», с проверкой второй части по автографу.

«Характеры» — одно из острых выступлений Салтыкова против двух главных печатных органов либеральной партии «прогресса» — «Русского вестника» Каткова и Леонтьева и «Отечественных записок» Краевского и Дудышкина. В период, когда в стране складывалась и сложилась революционная ситуация, либерально-оппозиционный лагерь и его журналистика стали быстро перемещаться ко все более умеренным и правым позициям. Это движение к реакции и охранительству и является главным предметом сатирической критики Салтыкова. Политическая острота его определения «характеров» «Русского вестника» и «Отечественных записок» косвенно подтверждается тем обстоятельством, что определения эти были поддержаны и развиты в 1861 г. Чернышевским («Полемические красоты») и Писаревым («Схоластика XIX века», «Московские мыслители»).

Литературная форма выступления Салтыкова определилась, как он указал на это в подзаголовке, «подражанием» Жану Лябрюйеру, французскому писателю-моралисту, автору известной книги «Характеры», составленной из кратких портретных характеристик и рассуждений. Такая форма была близка жанру фельетона «Искры», состоявшего обычно из сатирических сентенций или юмористических заметок. Достоевский отнес жанр «Характеров» к «эпиграммам в прозе», вспомнив о них спустя год в фельетоне «Петербургские сновидения в стихах и прозе» [1].

Стр. 197. *По примеру редакции «Русского вестника»... мы ни в чем не согласны с автором «Характеров».* — Редакция «Русского вестника» часто оговаривала в специальных примечаниях свое несогласие с содержанием публикуемых ею статей. См., например, редакционные примечания к статьям Н. Х. Бунге «Об устройстве учебной части в наших университетах» (1858, октябрь, кн. 1, стр. 441); Б. И. Утина «Очерк исторического образования суда присяжных в Англии» (1860, март, кн. 1 и 2, стр. 229, 237, 251 и др.), Евгении Тур «Госпожа Свечина» (апрель, кн. I, стр. 392) и др.

«Русский вестник» сделался похожим на клетку, в которой некогда обитал драгоценный попугай... — По-видимому, Салтыков намекает на изменение программы «Русского вестника», явственно переходившего от недавней пропаганды «иноземного» политического либерализма (англомания Каткова) к охранению «отечественных» устоев. В связи с этой эволюцией журнала свое сотрудничество в нем прекратили в середине 1860 г. Б. И. Утин и Евгения Тур (гр. Е. В. Салиас де Турнемир), вслед за кото-

---

[1] «Время», 1861, январь. Ср. Ф. М. Достоевский. Собр. соч., т. 13, Л. 1930, стр. 169.

рыми собирались покинуть журнал Г. В. Вызинский и Е. М. Феоктистов. Расстался с «Русским вестником» и сам Салтыков.

А статья о «Русской общине»? — Имеется в виду статья М. Н. Каткова «Русская сельская община» с грубыми выпадами в адрес Чернышевского и редакции «Современника» («Русский вестник», 1858, сентябрь, кн. 1). Резко отрицательную оценку этой статьи Салтыковым см. в его письмах к П. В. Анненкову от 2 января и к В. П. Безобразову от 17 января 1859 г.

«Отечественные записки» походят на упраздненную Бурсу. Не слышно в пустынном здании кликов Бургия... ни Благосветлый-Басистов, ни Басистый-Благосветлов.— Намекая на духовное образование Г. Е. Благосветлова, Салтыков иронизирует над общим обликом журнала, сравнивая его с бурсой за схоластический характер полемики, теоретическую бескрылость, бесцветность слога. В середине 1860 г. Благосветлов перешел из «Отечественных записок» в «Русское слово», в связи с чем бурса названа «упраздненной» (о дальнейшем отношении Салтыкова к Благосветлову см. в хронике «Наша общественная жизнь», т. 6 наст. изд.).

Стр. 198. *Здесь пишет и сочиняет В. А. Кокорев, нашего уезда откупщик!* — Выпад против известного питейного откупщика В. А. Кокорева, крупной фигуры русской торговой буржуазии периода крестьянской реформы. Катков охотно предоставлял ему страницы своего журнала, понимая действительное содержание кокоревских проектов расширения торговли и т. п. в соответствии с интересами крупных помещиков. Эти проекты стали предметом насмешек сатирика в повести «Тихое пристанище» (см. наст. том, стр. 287—291).

...после недавней попытки нарушения общественного спокойствия со стороны некоторых вассалов «Русского вестника»...— Речь идет о публичном протесте сотрудников «Русского вестника» Б. И. Утина и Евгении Тур против того, что статьи их были напечатаны с ограничительным примечанием редакции, то есть Каткова.

...в редакции... возникал вопрос: «Благоразумно ли было... нападать на кн. Черкасского за проект его относительно употребления «детских розог»? — Славянофил кн. В. А. Черкасский, активный участник подготовки и проведения крестьянской реформы (член-эксперт Редакционных комиссий), выступил в 1858 г. за сохранение телесных наказаний для крестьян в переходный период, в том числе и для женщин и детей — «детскими розгами». Проект Черкасского вызвал протесты, в том числе и со стороны «Русского вестника», в котором выступил Катков со статьей «Изобличительные письма» (1858, ноябрь — декабрь). Но вскоре «Русский вестник» предложил сохранить розги «хотя бы для уголовных преступников» (С. Баршев. О необходимых гарантиях уголовного права.— 1859, март, кн. 2, стр. 190—192).

...место г. Дудышкина займет со временем г. Басистов...— Салтыков иронизирует над продолжающейся деградацией «Отечественных записок», начавшейся после ухода из журнала Белинского (1846), которого сменил

умеренный прогрессист, посредственный литературный критик С. С. Дудышкин. П. Е. Басистов был еще менее даровит и проницателен. «Губернские очерки» Щедрина он обвинял, например, в «отсутствии самобытного творчества» и художественной правды («Отечественные записки», 1857, № 8).

...внимание публики было всецело поглощено полемикою между г-жою Тур и «Русским вестником»... возражения этого почтенного журнала принимают... характер эротический.— Полемика возникла в связи с редакционным примечанием к статье Евг. Тур «Госпожа Свечина» («Русский вестник», 1860, апрель, кн. 1). Оговорка редакции в этом примечании об односторонности суждений автора статьи повлекла за собой «Письмо к редактору» Евг. Тур, вызвавшее, в свою очередь, ответ Каткова с двусмысленными намеками по поводу дружбы между Свечиной и Токвилем (там же, апрель, кн. 2). В полемику ввязались «Московские ведомости», заметив, что «Токвиль не состоял со Свечиной в близких отношениях» (№ 109). За этим последовало очередное «Объяснение» «Русского вестника» (см. май, кн. 2) с бестактными выходками против Евг. Тур, Б. Утина и других сотрудников журнала. Этот «всеобщий гвалт» по пустяковому поводу осмеял в июньской книжке «Современника» Чернышевский («История из-за г-жи Свечиной»). Юмористическое противопоставление европейских событий истории со Свечиной было подхвачено и развито в «Заметках» Пр Преображенского (Н. С. Курочкина — «Искра», 1860, № 26 от 8 июля).

...редакторы «Современника» квартируют в доме редактора «Отечественных записок»...— Некрасов и Панаев с 1857 г. жили в доме Краевского на Литейном проспекте.

Некто, не имев, за недосугом, времени прочесть последние нумера газеты «Наше время», не может сообщить... жив ли... И. С. Тургенев.— Ирония Салтыкова обращена против М. И. Дарагана, выступившего с резкой критикой романа Тургенева «Накануне». В частности, обыгрывается фраза Дарагана: «Мы многих потеряли или преждевременной смертью (как Пушкин, Лермонтов) или тем, что они еще при жизни уклонились от прямого пути» («Наше время», 1860, № 9).

...наш библиограф и гробокопатель М. Н. Лонгинов уже принимает меры к отысканию преждевременной могилы его.— Высмеивается некрологический характер изысканий М. Н. Лонгинова, постоянного сотрудника «Русского вестника», который, по шутливому замечанию Писарева, готов был «превратить текущую литературу в поминальные списки» («Московские мыслители».— «Русское слово», 1862, № 2. Ср. Д. И. Писарев. Соч., т. 1, Гослитиздат, М. 1955, стр. 304).

Стр. 199. *...вместе с продолжением статьи о «Пороховых взрывах», новыми опытами В. К. Ржевского и повестью г-жи Николаенко.*— Имеется в виду статья П. П. Малиновского «Пороховые взрывы» («Русский вестник», 1860, апрель, май), окончание которой было запрещено цензурой. Об «опытах» консервативного публициста В. К. Ржевского см. «Ответ

г. Ржевскому» (т. 5 наст. изд.). Николаенко — писательница, автор печатавшихся в «Русском вестнике» 1859—1860 гг. сентиментально-мелодраматических повестей «Чудачка», «Две маменьки», «Бедность».

Из редакции «Русского вестника» похищен второй том сочинения Гнейста.— В «Объяснении» по поводу г-жи Свечиной (см. выше) редакция «Русского вестника» прозрачно намекала, имея в виду Б. И. Утина, что им «зачитаны» взятые из редакции книги, в том числе сочинение Гнейста, вероятно «Современное английское конституционное и административное право», 1857—1863.

...сочинение барона Этвеша...— В рукописных вариантах уточняется: «а именно сочинение венгерца Этвеша «О влиянии господствующих идей XIX века на государство». Книга Этвеша вышла в 1859 г.

Заявляя об этом в 10 № своего журнала...— Салтыков высмеивает заключительную часть «Объяснения» редакции «Русского вестника» о Евгении Тур в № 10 журнала (май, кн. 2), в которой говорилось о «недостатках и слабостях» сотрудников журнала. В связи с этими «жалкими личными намеками» Чернышевский предостерегал редакцию «Русского вестника» от продолжения подобной полемики: иначе «журнал будет иметь сотрудником одного г. Ржевского» (Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. VII, стр. 324).

Редакция «Русского вестника», убедившись из статьи г. Утина, напечатанной в 136 № «Московских ведомостей»...— Статья Б. И. Утина, напечатанная в «Московских ведомостях» от 21 июня, как и письмо его, опубликованное в «Современнике», 1860, № 4, были полны упреков в адрес «поверхностного» англоманства Каткова и его «деспотического» редакторского вмешательства. Прямым поводом этих выступлений послужили придирчивые редакционные замечания Каткова к статьям Б. И. Утина об истории английского суда (см. на стр. 541 прим. к стр. 197).

...«я знаю только то, что я ничего не знаю!» — афоризм Сократа.

...и с бесчисленными опечатками.— Насмешка над редакционными примечаниями «Русского вестника» с поправками собственных, иногда курьезных ошибок (см., например, «Русский вестник», 1860, июнь, кн. 2, стр. 453).

Стр. 200. *«О преимуществах кириллицы перед глаголицею», г. Бодянского...*— Книга О. М. Бодянского «О времени происхождения славянских письмен» (1855) была посвящена доказательству более раннего происхождения кириллицы по сравнению с глаголицей. В «Русском вестнике» печатались его «Новые открытия в области глаголицы» (1856, февраль, кн. 1). Труды Бодянского неоднократно подвергались критике на страницах «Современника» (1855, № 3, 1860, № 12; см. также «Свисток» № 7 в № 1 за 1861).

...«Отповедь «Отечественным запискам», В. К. Ржевского»...— Ответ Ржевского на анонимную статью «Нескромный вопрос г. Ржевскому» («Отечественные записки», 1860, кн. 3) действительно был напечатан в первой майской книжке «Русского вестника» за 1860 г. под заглавием:

«Ответ на нескромный вопрос неизвестного по случаю статьи Ржевского о пролетариате».

...и прочие, не менее замечательные статьи общезанимательного содержания.— В черновых вариантах перечень продолжен: «повесть г. Булкина; «Надежды русского глазомера на простодушие русского мужика», В. А. Кокорева; «Почему в Тверской губернии либеральные начала пустили более прочные корни, нежели в других местах России?», Тверского помещика; и, наконец, «Можно ли издавать журнал с подобными сотрудниками?», статья редакции». Название статьи В. А. Кокорева (см. прим. к стр. 198) пародировало слог его статей и речей. Об оппозиции тверского дворянства см. прим. к стр. 293. Булкин — псевдоним посредственного беллетриста С. А. Ладыженского, автора повестей «Век нынешний и век минувший» («Русский вестник», 1860, март, апрель), «Барышня и барыня» (там же, октябрь).

Остался один Юпитер — но как хорош!! — Вероятно, речь идет о соредакторе Каткова П. М. Леонтьеве.

В 1857 году... «Русский вестник» открыл Англию.— «Русский вестник», основанный Катковым в 1857 г., пропагандировал английское социально-политическое устройство как образец для настоящих и будущих преобразований России — при сохранении самодержавия.

«Не открыть ли нам Америку?» — шепнул А. А. Краевский г. Дудышкину... Америка доселе остается неоткрытою.— По-видимому, намек на зависть Краевского к коммерческому успеху катковского журнала, «открывшего Англию». Разговор Краевского с Дудышкиным имеет второй, иронический план — обличение нерешительности и половинчатости программы «Отечественных записок».

И. Перейра и А. А. Краевский — оба были взволнованы... один и тот же огонь согревает их.— Салтыков сопоставляет эволюцию редактора «Отечественных записок» с политической биографией известного французского публициста и банкира Исаака Перейры, в молодости примыкавшего к сен-симонистам. Сравнение Перейры с Краевским было навеяно, очевидно, чтением «Искры», где последний осмеивался как автор, обиженный отказом «Искры» поместить его стихотворение «Чувства русского журналиста с капиталом, при взгляде на банкира Исаака Перейру...» («Письмо в редакцию».— «Искра», 1860, № 22 от 10 июня). Настоящую салтыковскую заметку Достоевский назвал «известной эпиграммой в прозе на г. Краевского», иронически добавив: «Совершенно неправдоподобная эпиграмма!» («Время», 1861, № 1. Ср. Ф. М. Достоевский. Собр. соч., т. 13, стр. 169).

...как написал он статью о Борисе Годунове...— Речь идет о статье Краевского «Царь Борис Федорович Годунов» (1836), в которой он поддержал точку зрения реакционного историка М. П. Погодина.

...как изобрел он новые русские слова «Дойен д'Аге» и «Великий раздаватель милостынь»...— Ходячими анекдотами своего времени были ошибки в «Отечественных записках»: французское «doyen d'age», то есть

«старший по возрасту», было принято за название должности («дуайен доуге»), а слово «partageux» (ироническое название сторонников утопического коммунизма) было переведено как «раздаватель милостыни».

...как колебался между Белинским и Межевичем...— В «Воспоминании о Белинском», напечатанном в № 1 «Современника» за 1860 г., И. И. Панаев рассказывал, как Краевский, при начале издания «Отечественных записок» в 1839 г., отказался от услуг Белинского, предпочтя ему бездарного Межевича.

...как в 1848 г. прибегал к сотрудничеству К. Полевого.— В рукописи: «нанимал К. Полевого». К. А. Полевой — к тому времени журналист реакционного направления.

В надежде славы и добра // Иду вперед я без оглядки...— Перефразировка двух первых строк «Стансов» Пушкина. У Пушкина: «В надежде славы и добра // Гляжу вперед я без боязни».

Стр. 201. *...надобно справиться у Чернышевского...*— Учение Сен-Симона Чернышевский популяризировал в статье «Июльская монархия», напечатанной в «Современнике», 1860, № 1.

Гарибальди пишет к другу своему Н. В. Бергу...— В корреспонденциях из Италии сотрудник «Русского вестника» Н. В. Берг афишировал расположение к нему Гарибальди (см. «Поездка в отряд Гарибальди», «Вторая поездка к Гарибальди».— «Русский вестник», 1859, июнь, август). Весной 1860 г. Гарибальди с большим отрядом добровольцев отправился на помощь восставшей против австрийского ига Сицилии.

Да! аристократия и притом историческая... вот последнее слово школы, восходящей из поклонения Зевсу! — Характеризуя содержание программы «Русского вестника», Салтыков имеет в виду цикл статей В. П. Безобразова «Аристократия и интересы дворянства» («Русский вестник», 1859, январь, кн. 1; июнь, кн. 1; сентябрь, кн. 1; ноябрь, кн. 1). В. П. Безобразов настаивал на «деятельном участии» в будущем самоуправлении аристократии как единственной исторической силы, способной «гарантировать свободу в силу независимости своего общественного положения» (октябрь, кн. 1, стр. 50—51). «Из поклонения Зевсу» — намек на П. М. Леонтьева, ближайшего сотрудника и единомышленника Каткова, защитившего в 1850 г. диссертацию «О поклонении Зевсу».

...согласен ли Катков принять на себя бремя министерства финансов в Сицилии? — По-видимому, сатирик вышучивает политические обозрения Каткова с его пристальным интересом к внутренней жизни и особенно финансово-кредитной системе европейских государств. В таком духе Катков информировал и об Италии, охваченной национально-освободительным движением (см., например, «Русский вестник», 1859, ноябрь, кн. 2, стр. 177—183).

Слухи носятся, что г-жа Евгения Тур будет с 1861 года издавать в Москве «Журнал амазонок». В числе амазонок будут гг. Вызинский и Феоктистов.— И. И. Панаев, сообщая об издании Евгенией Тур журнала «Русская речь», также именовал его «Журналом амазонок» со ссылкой

на подражателя Лябрюйеру («Современник», 1860, № 8, отд. «Петербургская жизнь», стр. 326). Это ироническое наименование — намек на феминистские идеи Евгении Тур, которая считала «самым верным термометром общества» — «степень развития женщины» («Парижские письма».— «Русский вестник», 1858, сентябрь, кн. 1, стр. 21). О Вызинском и Феоктистове см. выше. В «Русской речи» собирался сотрудничать и сам Салтыков. См. письмо его к гр. Е. В. Салиас де Турнемир от 28 октября 1860 г. («Литературное наследство», т. 67, стр. 463—464).

ГЛУПОВ И ГЛУПОВЦЫ

Общее обозрение

(Стр. 202)

При жизни Салтыкова напечатано не было.

Впервые — в журнале «Красная новь», 1926, № 5, стр. 112—120 (публикация Н. В. Яковлева).

Сохранились: 1) полный черновой автограф на бланках «советника Вятского губернского правления», озаглавленный: «1. Глупов и глуповцы. Общее обозрение». По этому тексту очерк печатался в «Красной нови» и в т. 4 изд. 1933—1941 гг.; 2) корректура в гранках журнала «Современник» в составе подборки из трех очерков под общим заглавием: «Глупов и глуповцы. I. Общее обозрение. II. Деревенская тишь. III. Каплуны». Как видно из помет на гранках, это была вторая корректура, датированная 28 декабря <1862 г.> и посланная А. Н. Пыпину, в бумагах которого она и сохранилась.

В настоящем издании впервые очерк печатается по тексту корректурных гранок.

По сравнению с черновым автографом, текст в корректуре выправлен стилистически. Исключены некоторые повторения (например, перебранка Сидорычей, именовавших друг друга «курицыными сынами») и усилена сатирическая характеристика Сидорычей. Добавлено несколько слов о невежестве Сидорычей, «не знакомых ни с какими науками, кроме «Правил игры в преферанс», и о семейных «добродетелях» их: «они верны женам своим до тех пор, покуда им подвезут из деревень нового запаса «канареек»...»

Исходная дата написания «Глупова и глуповцев» определяется упоминанием в тексте этого очерка постановки пьесы И. С. Тургенева «Нахлебник», первое представление которой состоялось в Москве 30 января 1862 г. Дата окончания работы фиксируется, как можно думать, письмом Салтыкова к Некрасову от 21 февраля 1862 г. «Посылаю Вам, многоуважаемый Николай Алексеевич,— писал Салтыков,— еще две статьи, которые я просил бы Вас напечатать в мартовской книжке...» Принимая во внимание, что очерк «Глупов и глуповцы» был задуман как вступление к

циклу «глуповских» рассказов, над которым Салтыков тогда работал (он хотел печатать этот очерк «первым номером» — см. письмо к Чернышевскому от 29 апреля 1862 г.), следует предполагать, что слова «еще две статьи» относились к очеркам «Глуповское распутство» и «Каплуны», посланным вдогонку к ранее написанному и отправленному «Глупову и глуповцам». На основании этих соображений работу над очерком можно довольно точно датировать первой половиной февраля 1862 г.

О дальнейшей судьбе посланных в «Современник» трех очерков «глуповского цикла» известно из письма Салтыкова к Чернышевскому от 29 апреля и из цензурных документов (сводку их см. в публикации В. Э. Боград а «Неизвестная редакция очерка «Каплуны».— «Литературное наследство», т. 67, М. 1959, стр. 315 и след.). Два очерка, а именно «Глуповское распутство» и «Каплуны», были набраны и гранки набора представлены около 20 апреля в цензуру и тогда же запрещены. Рукопись же очерка «Глупов и глуповцы» затерялась в редакции и по этой причине в цензуру не попала. В связи с восьмимесячной приостановкой «Современника» в мае 1862 г., решение цензуры относительно запрета «Глуповского распутства» и «Каплунов», по-видимому, не было своевременно сообщено редакции журнала. Рукопись же «Глупова и глуповцев» тем временем нашлась, и Салтыков включил ее в новую подборку из трех очерков «глуповского цикла», которая должна была появиться в первой после возобновления «Современника» январско-февральской книжке журнала и была набрана. Вторым номером в этой подборке был рассказ «Деревенская тишь» (вошел в «Невинные рассказы» — см. т. 3 наст. изд.). Им Салтыков заменил статью «Глуповское распутство», о которой думал, что она все еще в цензуре «киснет» (письмо к Некрасову от 29 декабря 1862 г.). Третьим номером были «Каплуны», но в новой редакции, переработанной и сокращенной Салтыковым вследствие замечаний Чернышевского, сделанных в апреле 1862 г. О том, что «Каплуны», как и «Глуповское распутство», были запрещены, ни Салтыков, ни редакция «Современника» в декабре 1862 г. по-прежнему еще не знали. Нужно думать, однако, что вскоре же, в связи с возобновлением «Современника», редакция узнала наконец о состоявшемся почти год назад запрещении «Глуповского распутства» и «Каплунов», что и решило судьбу подготовленной Салтыковым новой подборки из трех «глуповских» очерков.

В дальнейшем Салтыков не предпринимал больше попыток к напечатанию «Глупова и глуповцев» целиком. Но частично текст этого очерка, а именно описание глуповцев «вне их родного логовища», он включил в статью «Русские гулящие люди за границей», напечатанную вначале в составе майской хроники «Наша общественная жизнь» (1863), а потом вошедшую в сборник «Признаки времени» (1869).

Очерк «Глупов и глуповцы» с подзаголовком «Общее обозрение», по замыслу писателя, должен был служить вступлением к «глуповскому циклу» (историю последнего см. в т. 3 наст. изд., стр. 583—584). В соответствии с этим Салтыков расширил обобщающий смысл образа города

Глупова, по сравнению с ранее написанными очерками — «Литераторы-обыватели», «Клевета» и «Наши глуповские дела». В «Общем обозрении» Глупов стал сатирическим обозначением всей русской самодержавно-помещичьей действительности, а «топография» и «география» его приобрели черты, предвещающие «Историю одного города».

Определяя главную задачу очерка как общей экспозиции темы «глуповского возрождения», Салтыков писал, что он стремится «выяснить себе те материалы, которые должны послужить основанием» для возрождения «собственно глуповского». Однако материалов этих, как показали «изыскания» сатирика, «или совсем не оказывается, или оказываются только отрицательные». К такому выводу подводит весь строй сатирической аргументации Салтыкова, исследовавшего общественную психологию и философию «Сидорычей», как «расы, существующей политически», то есть дворянства, обладавшего в России политической властью и по-прежнему претендовавшего на ведущую роль в общественном процессе. Как и в предыдущих очерках (например, «Скрежет зубовный» — см. т. 3 наст. изд.), Сидорычам противопоставлены бесправные Иванушки — крестьянство, которое не является здесь предметом сатирической критики. «Глупов и глуповцы» — одна из самых ядовитых сатир на русское дворянство в его отношениях с историей и народом.

Корректируя скептический взгляд Чаадаева — «истории у нас нет»,— Чернышевский писал в 1861 г., что история у нас была, но вся она — «сонм азиатских идей и фактов»: «основным нашим понятием, упорнейшим преданием» является «идея произвола»[1]. Именно это свойство глуповской цивилизации отмечает и Салтыков, заявляя, что «истории у Глупова нет», что в истории Глупова «от первой страницы до последней все слышится „По улице мостовой“».

Отмена крепостного права, ознаменовавшая падение феодальной системы,— основы социальной и политической силы дворянства,— вызвала глубокий кризис во всех формах дворянской идеологии, дворянского корпоративного сознания. И в консервативной и в либеральной публицистике остро обсуждались вопросы об исторической роли и будущих судьбах российского дворянства. Помещичьи идеологи стремились доказать, что в «дворянском классе много сил еще живых и мощных, которые могут и должны действовать с пользой в современной жизни общества и государства»[2].

Противоположную позицию занимали в развернувшейся дискуссии крестьянские демократы. Чернышевский, например, в статьях 1859—1861 гг. выступил против «пошлого тщеславия» дворянства считать себя «избранниками судьбы», призванными историей «вести человечество к новым судьбам». У дворянского сословия, иронически указывал он, доля «элементов,

[1] Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. VII («Апология сумасшедшего»), стр. 614—617. См. также «О причинах падения Рима»

[2] В. П. Безобразов. Аристократия и интересы дворянства.— «Русский вестник», 1859, № 1, стр. 69.

содействовавших развитию нашего единства», по сравнению с народом,— «совершенно ничтожна, ничтожней мухи перед слоном»[1]. «Совершенное отсутствие корпоративных связей» отмечал и Салтыков, рисуя непримиримую «вражду» между Сидорычами, готовыми «отдать друг друга на съедение» и предать любой принцип не только ради корысти или наживы, но и ввиду отсутствия у них всяких исторических традиций, гражданских чувств и даже сословной общности. В этом отношении Салтыков был близок и к мнениям «Колокола», перекликаясь с характеристикой дворянства в программной статье Огарева «Ход судеб»[2]. Мрачная картина глуповского «веселья» с взаимным «плеваньем» и «оглоухами» была ответом сатирика на обострение внутренней борьбы между представителями разных направлений в дворянской идеологии. Особенно знаменательным в этом смысле было выступление славянофильской газеты «День», клеймившей «все образованные классы» в «невежестве», «равнодушии», «бессилии перед ложью», отсутствии «исторического сознания»[3].

За крайними формами словесного ожесточения, подчеркивал сатирик, скрывалось, однако, единство интересов, когда дело касалось управления народом. Исследование «патриархального характера отношений к Иванушкам» Салтыков направлял против славянофилов, обнажая истинное лицо «патриархальности». Философия «битья», то есть насилия и произвола, объединяет все партии дворянства: то, что у Сидорычей было проявлением патриархально-крепостнического инстинкта, «сыны» их, воспользовавшись европейским опытом, стремятся оправдать теорией. Ирония в адрес «юных доктринеров розги и кулака» метила, очевидно, в адрес либерально-западнической исторической школы, которую зло высмеивал в это время «Свисток». Реакционно-охранительный смысл доктрины «юных глуповцев» сатирик стремился, по-видимому, прояснить и упоминанием о глуповском Гегеле, имея в виду консервативный характер гегелевской системы. Эту сторону дела отмечал тогда и Чернышевский, именуя основателя школы Б. Н. Чичерина «мертвым схоластиком», доказывавшим «философскими построениями» историческую необходимость каждого предписания земской полиции... Потом историческая необходимость может обратиться у него и в разумность»[4].

Таким образом, Салтыков показал полную несостоятельность претензий «Сидорычей» на руководящее положение в общественно-политической жизни страны. В очерке «Глупов и глуповцы» Салтыков отказывается от тех иллюзий относительно дворянства, которые присутствовали еще в его газетных выступлениях 1861 г. (например, в статье «Где истинные интересы дворянства?», см. т. 5 наст. изд.). К вопросу о русском дворянстве

---

[1] Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. VII, стр. 948.
[2] «Колокол», л. 122—123 от 15 февраля 1862 г.
[3] См. передовую К. Аксакова в № 1 «Дня» от 15 октября 1861 г.
[4] «Опыты открытий и изобретений».— «Современник», 1862, № 1, отд. «Свисток». Ср. Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. X, стр. 62.

Салтыков обращался неоднократно и впоследствии, в частности в рецензии 1870 г. на книгу А. Романовича-Славатинского «Дворянство в России от начала XVIII века до отмены крепостного права» (см. т. 9 наст. изд.). Рецензия эта может служить своего рода комментарием к ряду положений очерка «Глупов и глуповцы», изложенных «эзоповским» языком.

Стр. 202. *Удар-Ерыгин.*— Образ этот персонифицирует в щедринской сатире грубый насильнический «аппарат» самодержавной власти (см. т. 3 наст. изд., стр. 540—541).

Стр. 203. *...на Сидорычей, которые происходят от коллежских асессоров...*— Петровская «табель о рангах» открыла широкий доступ в ряды дворянства выходцам из других сословий, получавшим дворянское звание в результате продвижения по государственной службе. Чиновникам XIV—IX классов давалось личное дворянство, с VIII класса (коллежские асессоры) — потомственное.

Подобную же трактовку происхождения дворянства дал в «Колоколе» Н. П. Огарев: «Какая честь в том, что вас назвали дворянами, то есть царскими дворовыми людьми, иначе опричниками, а попросту сказать, чиновниками... Чем бы вас ни жаловали, жалованьем или поместьями, всё равно вы чиновники» («Ход судеб».— «Колокол», № 122—123 от 15 февраля 1862 г.).

Стр. 204. *Отличительные свойства сидорычевской политики заключаются... в совершенном отсутствии корпоративной связи...*— В упомянутой выше рецензии на книгу А. Романовича-Славатинского Салтыков яснее выразил свою мысль о корпоративной, а тем самым и политической слабости русского дворянства. Он писал здесь: «Если процесс развития нашего дворянства нельзя признать процессом органическим, а скорее идущим *применительно к пользам правительства,* то это, конечно, не свидетельствует в пользу его корпоративной самостоятельности, но зато оставляет неприкосновенными пользы правительства...»

См. комедию «Нахлебник» И. С. Тургенева.— Запрещенная цензурой в 1848 г. комедия Тургенева была напечатана только в 1857 г. в № 3 «Современника» под названием «Чужой хлеб». Премьера состоялась в Москве 30 января 1862 г. Тропачев — помещик, «по природе грубоват и даже подловат». Карпачев (у Щедрина ошибочно «Кропачев») — его приживальщик, «очень глупый человек». Салтыков использует тургеневские образы, наделяя их новым общественным содержанием для иллюстрации политического пресмыкательства дворянства перед самодержавной властью.

Стр. 207. *...все полезли в историю, все подыскивают что-нибудь доблестное, но крестовых походов найти не могут.*— Имеются в виду исторические разыскания помещичьих идеологов, санкционированные специальным правительственным указом, предписывавшим дворянству «сохранять преемственную память о своих подвигах на поле войны и на поприще гражданских заслуг». «А какие же это были заслуги... где они?» — спра-

шивал в связи с этим Огарев, указывая на действительные заслуги перед Россией, принадлежащие выходцам «из народа» («Ход судеб».— «Колокол», л. 122—123 от 15 февраля 1862 г.).

Сампантрé! — шуточное название дешевых сортов табака (от украинского «сам пан тре»). Впоследствии Салтыков использовал это наименование как сатирическую фамилию. См. «Письма к тетеньке» («письмо третье») и «Мелочи жизни» («Ангелочек»).

Стр. 208. *И долго потом качал головой Обер-Сидорыч, взирая на потехи своих собратий, и долго повторял он унылым голосом: «А как было хорошо пошло поначалу!»* — За этим эзоповским иносказанием скрывается, возможно, намек на Александра II в его отношениях с дворянством во время обсуждения проекта реформы. В высочайших рескриптах 1857 г. дворянство объявлялось главной опорой предстоящих преобразований; однако именно среди дворян, особенно в высших кругах, составилась оппозиция «рассвирепевших крепостников» (граф М. Н. Муравьев, кн. М. Д. Горчаков, кн. В. А. Долгоруков, кн. П. П. Гагарин и др.). О «борьбе» царя с этой «хищной» «толпой закоснелых негодяев» систематически сообщал в начале 1861 г. герценовский «Колокол», публикуя отчеты прений Главного крестьянского комитета и Государственного совета (см. А. И. Герцен. Собр. соч., т. XV, стр. 48, 50—53, 249—252 и др.).

Поговорив о бесцеремонности сидорычевской, перейдем к сидорычевской же патриархальности.— Дворянские идеологи, особенно славянофилы, уделяли много внимания поискам в историческом прошлом страны патриархальных форм взаимоотношений между помещиками и крестьянами, когда первые выступали будто бы в роли «отцов», «добрых наставников народа». Славянофильские публицисты призывали к восстановлению этих «патриархальных отношений», расценивая их не только как «историческую заслугу» дворянства, но и как «залог» успешных преобразований крестьянского и помещичьего быта.

Стр. 209. *...если бы между ними явился своего рода Гегель, который взялся бы все эти сидорычевские воззрения привести в систему...*— О появлении у глуповцев «своих Гегелей», написавших книжку «Философия города Глупова», Салтыков говорит подробно в сокращенной редакции очерка «Каплуны» (см. раздел «Из других редакций»).

...я сам видел, как бледнели и терялись Иванушки при одном взгляде этих доктринеров розги и кулака.— Допустимо предположение, что одно из личных впечатлений Салтыкова, послуживших толчком для этой обобщенной характеристики «цивилизованных глуповцев», было связано с поступком Н. Ф. Павлова. Либеральный публицист, сторонник крестьянской реформы, одним из первых приветствовавший ее 27 декабря 1857 г. в обращении к правительству от имени московского дворянства, Н. Ф. Павлов присутствовал (в июне 1858 г.) при усмирении крестьян, принадлежавших его жене, «всех больше настаивал, чтобы строже секли и заставил высечь 75-летнего старика» (см. письмо Салтыкова из Рязани к В. П. Безобразову от 29 июня 1858 г.).

Законы осуждают... — Первая строфа из песни незнакомца в повести Карамзина «Остров Борнгольм» (1794).

Стр. 210. *С этой точки зрения, насилие, дикость и произвол — не страшны, а тупоумие даже утешительно.* — Эти размышления Салтыкова, связанные с его уверенностью тех лет в неизбежной гибели Глупова, нашли отражение и в одновременно создававшемся проекте программы журнала «Русская правда» (см. в т. 18 наст. изд.).

ГЛУПОВСКОЕ РАСПУТСТВО

(Стр. 211)

При жизни Салтыкова напечатано не было. Впервые — в журнале «Нива», 1910, № 9, стр. 162—174.

Сохранилось два автографа очерка: полный текст первоначальной редакции 1862 г. и начало поздней редакции, не ранее 1865 г., на бланке председателя Пензенской казенной палаты. Оба автографа — беловые рукописи, переходящие в черновые.

Сохранились также две корректуры: 1) полный текст очерка в гранках «Современника», 1862, № 5, с цензорскими исправлениями и вычерками и с резолюцией: «Запрещается печатать. Ст<атс> секр<етарь> Головнин, 27 апр<еля> 1862 г.»; 2) сокращенная редакция под измененным заглавием «Впереди» — в гранках «Современника», 1864, № 11—12.

В настоящем издании очерк печатается по тексту гранок «Современника», 1862, № 5, без учета цензурных изменений и сокращений.

«Глуповское распутство» Салтыков написал, по-видимому, сразу по окончании очерка «Глупов и глуповцы», в феврале 1862 г. Во всяком случае, 21 февраля очерк уже был завершен и выслан в редакцию «Современника» вместе с очерком «Каплуны» (см. об этом в письме Салтыкова к Некрасову от 21 февраля 1862 г.; см. также прим. к очеркам «Глупов и глуповцы» и «Каплуны»).

В рукописи первоначальной редакции, впервые изученной В. В. Гиппиусом, изложение истории «доброй барыни» Любови Александровны (именовавшейся прежде Марьей Александровной) начато было от лица Петрушки (Петра Иванова), который «оканчивал свою карьеру на каторге». После «историю своей юности» (стр. 212, строка 11 сверху) в указанной рукописи вычеркнуто:

Эта история напоминает мне другую, рассказанную мне другим приятелем, бывшим дворовым человеком госпожи Ухоловой, Петром Ивановым, ныне благополучно оканчивающим свою карьеру на каторге.

— Молодой-то я, сударь,— рассказывал он мне,— такую в лице своем приятность имел, что наши бабы и девки от единого взгляда моего без остачи дурели. Полюбился я и барыне нашей, Марье Александровне. Кушает, бывало, за столом, а исподлобья все на меня взирает. И навалит она этого кушанья на тарелку стог стогом, немножко вилкой поворошит и

сдает мне почти нетронутое. А иногда в коридоре встретится или и в комнате, как никого нет, беспременно «Пьер!» скажет, и сама словно растеряется. Очень я эти ласки ее помню.

Вот только собралась она однажды в дорогу и меня с собой взяла.

Однако в изложении Петрушки трудно было дать психологическую характеристику барыни и сохранить авторскую иронию. Поэтому рассказ, начатый от первого лица, был зачеркнут с первых же строк и продолжался уже от имени автора.

В первоначальной редакции иначе излагалась развязка отношений Любови Александровны и Петрушки. Вместо «Любовь Александровна слушает... в солдаты Петрушеньку» (стр. 216, строка 6 сверху — стр. 216, строка 11 снизу) в рукописи было:

А начнет ему Любовь Александровна реприманд делать,— он на нее: много уж очень вы разговаривать стали. Однажды вышел на двор и для собственной своей забавы барынину кошечку велел собаками затравить: так ее, голубушку, и разорвали на части. Любовь Александровна даже в лице изменилась.

— Подать подлеца Петрушку! — кричит.

Явился.

— Кто Машку собаками затравил?

— Я затравил.

— Как же ты смел, мерзавец ты этакий, барынину любимую кошечку затравить?

— Мерзавец-то кто-нибудь другой, а не я — это отдумать надо! А коли вы чем недовольны, пожалуйте пачпорт!

Так и присела на месте Любовь Александровна, услышав такие грубые слова. Сидит да только в окошечко поглядывает. И чего-чего она тем временем не передумала: и «подлец-то Петрушка!» и «ах! как бы он опять к этому пьянице, Доробинскому управляющему не уехал!» Словом сказать, все такое, что только может придумать чувствительная и расстроенная вдова.

И что дальше, то хуже и хуже. Попал он, наконец, в воровскую шайку, да и барыню туда же впутал. Он на большую дорогу с шайкой грабить выезжал,— ну, и она с ним. И грабили они таким манером лет шесть и капиталу пропасть нажили: у нас это в Глуповском уезде и дело было. И никак-таки не могли изловить их, потому наши глуповские ребята очень насчет этого просты. Соберут, это, облаву, загогочут, загагайкают, и все-то друг друга вперед поощряют. «А ну-ко, Иван! а ну-ко, Микита! чего дрожишь, дядя Ахрем!» — ну, ничего из этого и не выйдет! Потому, вор человек отчаянный: пожалуй, и из пистоли выпалит — это мы очень твердо помним!

Однако выискался такой дошлый исправник: изловил. Добрую барыню Любовь Александровну так-таки со всеми накраденными вещами и накрыл. Однако что ж бы вы думали — ведь оправила-таки она своего Петрушку! Все ведь мы, глуповцы, знаем, что он, то есть Петрушка-то, главный тут вор и есть, а сделать ничего не можем: так, подержали-подержали в остроге, да и пустили на все четыре стороны — не что поделаешь! А ее, нашу матушку, по городу на эшафоте возили: ничего... ехала!

Петрушка же здравствует и доднесь. Воровать перестал и записался в купцы...

Другой значительный вариант этой рукописи относится к сопоставлению психологии Любови Александровны с психологией глуповцев.

В этом варианте дается характеристика глуповского отношения к «утопиям» и к «постепенному историческому ходу». Здесь же едва ли не впервые формулируется салтыковская тема о власти над человеком «мелочей жизни».

Вместо: «была вдова расстроенная... всегда под руками» (стр. 216, строка 6 снизу — стр. 217, строка 23 сверху) в рукописи читаем:

была вдова чувствительная и даже несколько расстроенная, организмы же такого рода, как известно, бывают особенно чутки к восприятию впечатлений. С другой стороны, Любови Александровне наскучила ее ежедневная будничная жизнь, да и не могла не наскучить, потому что сплошь представляла собой повторение одних и тех же мелочных и сереньких явлений. Сплетни горничных и Надежды Ивановны, взаимные друг на друга доносы старосты и ключницы, еда и сон, и потом опять еда и опять сон — вот обычное, обязательное содержание этой жизни.

Раз исчерпавшись, раз опротивевши, оно уже не могло вызвать в душе ничего, кроме ожесточения, ничего, кроме упорного и непременного желания выйти из обычной колеи. Утверждают, будто мелочные и серенькие явления жизни обладают именно таким качеством, что охватывают душу человека всецело и безвозвратно, и что затем, как ни вертись, как ни выбивайся человек, чтоб выйти из очарованного круга,— не выйдет. Но это справедливо только отчасти. Мелочи жизни действительно очень цепки, но они только ограничивают горизонт мысли и желаний человеческих, а не убивают их. Мысль все-таки теплится, желания все-таки шевелятся, все-таки разжигают в организме вожделение, только средства выйти из очарованного круга представляются слишком бедные, только виды впереди мелькают какие-то всё туманные да сомнительные. Человек, погрязший в мелочах жизни, делается скуп на изобретательность, робок и ленив на подъем, и вот почему иногда кажется, что он вполне удовлетворился и ничего не хочет. Но он не удовлетворился; он так мало удовлетворился, что нередко с судорожною алчностью хватается за первый попадающийся ему на глаза предмет. «Господи! какая скука!» — думает, например, глуповский гражданин, который и вчера и третьего дня проводил время за картами и которому то же занятие предстоит и сегодня и завтра. Но не думайте, чтоб в нем не было вожделения идти дальше того положения, которое создано ему обстоятельствами. Нет; в то самое время, когда он жалуется на скуку, воображение рисует ему иную жизнь, иные образы... Конечно, он еще стоит на глуповской почве, конечно, и образы рисуются перед ним всё глуповские же, но в этом он уже не виноват, потому что освободиться от исторического гнета вообще не легко, а для глуповца и совсем невозможно. Бывали, разумеется, люди, которые и освобождались: взял да и наплевал на историю (французы, например), но эти люди у нас в Глупове, называются фертами и служат предметом смеха и сожаления... Итак, глуповец не то чтобы не желал вовсе или не искал лучшего в жизни; нет, он и желает и ищет, но только больше около себя, не вдаваясь, так сказать, в утопии и крепко держась постепенного исторического хода.

Тем же самым глуповским законом руководилась и Любовь Александровна. Наскучивши сплетнями, спаньем и едою, она искала себе выхода из этого однообразия, и искала его под руками, с таким расчетом, чтоб выход был всегда готовый и не затруднительный. Притом же, она чувствовала, что здоровье ее с каждым днем упадает от этого совершенного жизненного затишья, что ей делается тяжко, что организм требует обновления.

Следующий вариант рукописи интересен колебаниями Салтыкова в определении процессов, происходящих в Глупове, при сравнении его судьбы с судьбой Рима. Вместо: «Боже! ужели та же участь предстоит и Глупову?» (стр. 223, строки 12—13 сверху) в рукописи читаем:

То же или почти то же явление совершается на наших глазах и с Глуповым. Говорю «почти то же», потому что Глупов, собственно, не падает, а скорее выворачивается наизнанку [или, лучше сказать, разлагается][1]. Проследить историю этого выворачиванья очень любопытно.

Последний вариант, который нужно привести, относится к заключению очерка. Вместо последнего абзаца окончательного текста: «А главное... не с посрамлением» (стр. 244, строки 1—3 снизу) в рукописи было:

Достославные сограждане! не пора ли нам перестать сбиваться в кучу для более удобного шарахания, не пора ли сказать себе, что для каждого из нас наступило время своего собственного личного труда.

Это напоминание дворянам-помещикам о «личном труде» Салтыков вычеркнул, очевидно, по тем же мотивам идейно-творческого порядка, которые заставили его убрать рассуждения об «утопиях» и «примере французов» (см. об этом ниже).

«Глуповское распутство» поступило в цензуру вместе с очерком «Каплуны» — в гранках набора — около 20 апреля 1862 г. (см. прим. к очеркам «Глупов и глуповцы» и «Каплуны»). Перед сдачей в набор текст «Глуповского распутства» был значительно переработан (характеристику этой переработки см. в комментарии В. В. Гиппиуса к т. 4 изд. 1933—1941 гг., стр. 498). Ознакомившись с содержанием очерков, цензор Ф. П. Еленев отметил в тексте красными чернилами места, которые предполагал исключить, а красным карандашом — «места сомнительные». Однако окончательное решение вопроса о привлекших его внимание местах текста Еленев предоставил на усмотрение председателя Петербургского цензурного комитета В. А. Цеэ.

В свою очередь, Цеэ обратился за советом к министру народного просвещения А. В. Головнину. Министр прочитал посланные ему цензорские гранки и 24 апреля дал Цеэ следующее указание: «Статьи г. Щедрина: «Глуповское распутство» и «Каплуны» следует непременно пропустить, но из первой должно исключить все, что говорится о Зубатове». Однако вокруг статей Щедрина в Цензурном комитете возникли споры, в связи с чем Цеэ не дал хода разрешению Головнина, а запросил у него новых указаний. Встревоженный министр послал гранки салтыковских очерков влиятельному придворному, воспитателю наследника и члену Государственного совета графу С. Г. Строганову, сопроводив их письмом, из которого явствует, что Головнин не понял истинного смысла салтыковской сатиры. Он усмотрел «основную мысль» «Глуповского распутства» в призыве автора к помещикам «держать себя с достоинством» во взаимоотношениях с бывшими крепостными. Салтыков же обнажал в своем

[1] Слова в квадратных скобках сразу после написания были зачеркнуты.

очерке непримиримость классового антагонизма между помещиками и крестьянами и осмеивал как «глуповское распутство» попытки пореформенных Сидорычей и Трифонычей привлечь к себе внимание Иванушек.

Граф Строганов оказался проницательнее Головнина и категорически запретил публикацию очерков: «Глуповское распутство господ дворян вызывает нас на генерала Зубатова,— писал он Головнину,— при Иване Васильевиче Грозном это было бы и смело и извинительно — теперь это безнравственно и несвоевременно!» Получив ответ Строганова, датированный 27 апреля, Головнин запретил печатание обоих очерков [1].

В 1864 г. Салтыков предпринял новую попытку напечатать «Глуповское распутство» под измененным названием «Впереди» в «Современнике» № 11—12. Корректура этой сокращенной редакции очерка свидетельствует, что автор, перерабатывая очерк, приспосабливал его к цензурным условиям. Самое большое число сокращений было сделано за счет характеристики Зубатова в его отношениях с Сидорычами. Изъяты были и пророчества о надвигающейся гибели «старого Глупова». Но и в таком виде очерк был запрещен Петербургским цензурным комитетом 30 декабря 1864 г. [2].

Спустя год, уже находясь в Пензе, писатель еще раз, последний, вернулся к «Глуповскому распутству». Он положил в основу предпринятой переработки текст «Впереди». Однако начатая работа осталась незавершенной. Сохранившееся же начало рукописи показывает, что пензенская редакция 1865 г. отличается от текста «Впереди» только именем барыни, названной Анной Павловной, и очень небольшими стилистическими исправлениями (опубликовано в т. 4 изд. 1933—1941 гг., стр 499—502).

«Глуповское распутство» — одно из тех произведений Салтыкова, в которых непосредственно отразились острота и напряжение классовой борьбы в стране периода революционной ситуации конца 50-х — начала 60-х годов. Главный предмет сатиры определен в ее заглавии. «Глуповским распутством» Салтыков называет политику «заигрывания» дворян-помещиков с крестьянством, едва выходящим из крепостной неволи, классово-своекорыстные и потому лицемерные поиски «общности интересов» между ними, циничные восхваления «заслуг» помещиков перед крестьянами. В качестве исторических realia к одному из объектов салтыковской сатиры в «Глуповском распутстве» можно сослаться, например, на одно из выступлений М. П. Погодина по поводу крестьянской реформы, в котором этот идеолог официальной или, по выражению Н. Г. Чернышевского, казенной народности писал: «Крестьяне потянутся длинной вереницей к своим помещикам, поднесут им хлеб-соль и, низко кланяясь, скажут: спасибо вашей чести на том добре, что мы, наши отцы и наши

---

[1] Цензурная история «Глуповского распутства» и «Каплунов» излагается по цит. выше публикации В. Э. Боград в «Литературном наследстве», т. 67, стр. 315 и след.

[2] Там же, стр. 320.

деды от вас пользовались, не оставьте нас и напредки вашей милостью, а мы ваши слуги и работники»[1]. В разных формах те же мысли варьировались на страницах «Санкт-Петербургских ведомостей», «Русского вестника», «Отечественных записок», «Домашней беседы» и др. «Вся эта невеликодушная болтовня, оскорбительная для народа и для здравого смысла<...>,— негодовал Герцен, обозревая журналы 1861 г.,— скрывает свое *внутрь взошедшее плантаторство* под либеральной патокой и прогрессивным суслом»[2].

«Глуповское распутство» — одна из самых эзоповских сатир Салтыкова. Острейшее политическое содержание и глубокий социально-философский смысл замаскированы здесь внешне нейтральными бытовыми эпизодами. Попытки исторически умирающего дворянско-помещичьего мира поправить свое положение путем политики «сближения сословий» персонифицируются Салтыковым в истории неудачного сожительства стареющей барыни Любови Александровны и молодого крестьянского парня Петрушки[3].

От рассказа о Любови Александровне, не устоявшей перед соблазном увлечения Петрушкой и бессильной обуздать претензии своего фаворита, Салтыков переходит к истории Глупова, поясняя смысл этого сближения аналогией с историей Древнего Рима, павшего от рук «пастуховых детей». Варианты рукописи свидетельствуют, что при сравнении Глупова с Римом писатель старался найти наиболее точный образ для выражения своей концепции гибели старого мира. Рим пал, но Глупов, «собственно, не падает, а скорее выворачивается наизнанку». После этого зачеркнуто: «или, лучше сказать, разлагается». В окончательном тексте Салтыков устранил эту фразу, но мысль о «разложении» «издыхающего» Глупова стала одним из главных идейных мотивов очерка.

Параллель между Глуповым и Римом, перешедшая потом в «Историю одного города», возможно, была навеяна полемикой «Современника» с «Колоколом» 1861—1862 гг. об исторических судьбах России и Европы (см. статью Чернышевского «О причинах падения Рима» и ответ Герцена «Repetitio est mater studiorum»). Автор «Глуповского распутства» воспользовался историей падения Рима в целях сатирического обличения самодержавно-помещичьего строя и доказательства неизбежного его краха под действием двух причин: натиска Иванушек и «ветхости» собственных устоев.

По сравнению с очерком «Глупов и глуповцы», Салтыков углубил и художественно конкретизировал характеристику отношений между пра-

---

[1] М. П. Погодин. По поводу крестьянского дела.— «Северная пчела» от 28 февраля 1861 г., № 48. Ср. «Красное яичко для крестьян от М. П. Погодина», 1861.

[2] «Шляхетные статьи и письма в русских журналах».— «Колокол», л. 110 от 1 ноября 1861 г. Ср. А. И. Герцен. Собр. соч., т. XV, стр. 177.

[3] Анализ политического содержания «Глуповского распутства» см.: Е. И. Покусаев. Салтыков-Щедрин в шестидесятые годы, Саратов, 1958, стр. 146—153.

вительством («генералом Зубатовым») и дворянством («Сидорычами и Трифонычами»). Одним из поводов, обративших писателя к этим вопросам, были попытки консервативной и либеральной журналистики противопоставить дворянство как «земскую», «народную» силу чиновничеству, централизованной «бюрократии». В начале 1862 г. о «независимой» позиции дворянства неоднократно писал «Русский вестник» и, маскируя помещичье содержание реформы, обличал «излишества централизации административной»[1]. Выступление такого рода Салтыков иронически обыграл в дебатах Сидорычей, взявших в обычай «подсмеиваться над Зубатовым и отрекаться от родства с ним». С другой стороны, Салтыков показал несостоятельность попыток самодержавия отмежеваться от реакционного дворянства. Салтыков писал о Зубатове-реформаторе: «Как ни рядись, как ни кумись с Иванушками, все-таки от него будет нести сидоровщиной да трифоновщиной — и ничем больше». В этом смысле «Глуповское распутство» является сатирическим комментарием к первому пореформенному году, перекликаясь во многом с критикой правительственных «мероприятий» в «Письмах без адреса» Чернышевского.

Образно-бытовые сценки, передающие историю Глупова, пронизаны страхом Зубатова и Сидорычей, инстинктивно или сознательно ощущающих, что «обойти Иванушек невозможно», и заигрывающих с ними. По внутренней логике развития сюжета Иванушки становятся главным предметом повествования.

Крестьянство, в толковании автора «Глуповского распутства», уже настолько начало сознавать себя, что не пойдет на компромисс ни с помещиками, ни с правительством. Как бы ни заискивали перед ними Сидорычи и Зубатов,— Иванушки слишком хорошо помнят свое прошлое, чтобы поверить в благожелательность своих угнетателей. Это горькое прошлое Иванушек, обреченных столетиями на голод, побои, рекрутчину, освобождает их от всяких обязательств по отношению к судьбам дворянски-бюрократического Глупова. Факт «непричастности» Иванушек к собственно дворянской «глу́повской истории» и «миросозерцанию» был в 1862 г. одним из источников оптимизма Салтыкова. В этом смысле сатирик сближался с Чернышевским и Герценом. Последний писал, что «полтораста лет бесчеловечнейших истязаний, унижений» избавили русский народ от «уважения» к своим «историческим воспоминаниям», и видел в этом обстоятельстве — «задаток самобытного будущего развития»[2].

По сравнению со статьями о Кольцове (1856) и «Сказании» инока

---

[1] «К какой принадлежим мы партии?».— «Русский вестник», 1862, № 2, стр. 840—842. См. также «Несколько слов по поводу одного иронического слова».— Там же, № 3.

[2] «Repetitio est mater studiorum».— «Колокол», л. 107 от 15 сентября 1861 г.; «Mortuos plango».— Там же, л. 118 от 1 января 1862 г. Ср. А. И. Герцен. Собр. соч., т. XV, стр. 147; т. XVI, стр. 12—14. Об этом же неоднократно говорил и Чернышевский. См., например, «О причинах падения Рима».— «Современник», 1861, № 5.

Парфения (1857) и даже очерком «Скрежет зубовный» (1860), где творчество народа рисовалось еще в тонах предположительных и гадательных, в «Глуповском распутстве» изображено начавшееся пробуждение исторического сознания народа. «Мнение» Иванушек заставило Зубатова взяться за реформу, вынудило Сидорычей политически изощряться, заигрывая с народом, и держать наготове цикл «мероприятий» — на случай бунта.

Способность народа к активным формам борьбы и завуалированные исторические примеры революционного протеста крестьян иронически обозначены в очерке понятием «неосновательности» и «неразумия» Иванушек, извлеченным из охранительной публицистики и иронически переосмысленным. Публицисты «Русского вестника», «Нашего времени», «Дня» стремились доказать «случайный» характер этих «общественных потрясений», «не основанных» на «разумных» «зиждительных элементах» истории [1].

Но, изображая растущее влияние Иванушек, писатель не закрывал глаза на их слабость и недостатки. Революционность народных масс расценивалась им еще очень невысоко, и в этом смысле в «Глуповском распутстве» наметились уже тенденции, нашедшие свое завершение в «Истории одного города». Характеристика Иванушек, не лишенная иронии и намеренного огрубления, будила мысль о необходимости одухотворения действий народа (см. очерк «Каплуны» и прим. к нему).

Первоначально Салтыков намеревался поставить вопрос об отношении глуповцев к «утопиям» и революции. В черновых вариантах основной рукописи содержится приведенный выше отрывок (см. стр. 555), позволяющий судить о точке зрения Салтыкова на эти коренные остродискуссионные вопросы времени. Вычеркивая эти страницы, писатель, вероятно, руководствовался тем, что указание на глуповскую мысль, которая «все-таки теплится», а желания — «все-таки шевелятся», вступало в противоречие с картиной совершенного «растления» Глупова. Рассуждения об «утопиях» (обозначение социалистических идеалов), да еще со ссылкой на пример французов, «наплевавших на историю», то есть совершивших революцию, нарушали общий строй повествования о Сидорычах с их заботами о «сладком куске» и «экспедициями насчет клубнички». Характеристика философии «глуповских граждан» могла быть устранена и потому, что она требовала дополнительных разъяснений, уводящих от основной темы — изображения «глуповского распутства» перед угрозой непокорности Иванушек, которые «как-то все лезут да лезут вперед».

Очерк заканчивается апелляцией автора к искренности старого Глупова, призывом к нему сознать конец былого «величия» и добровольно расстаться со своей «тысячелетней цивилизацией». Но просветительское обращение к совести Сидорычей противостоит всему смыслу очерка, рисующему непримиримость противоречий между Сидорычами и Иванушками, показывающему невозможность взаимных уступок и соглашений между ними.

---

[1] «Русский вестник», 1862, № 2, стр. 839—840.

Стр. 212. *Митрофан Простаков.*— Образ Митрофана из комедии Фонвизина «Недоросль» (1782) не раз использовался в позднейших произведениях Салтыкова. Собирательная сатирическая характеристика этого типа дана во введении к «Господам ташкентцам» (1869—1872). См. также «Помпадуры и помпадурши» («Помпадур борьбы, или Проказы будущего», 1873), «Круглый год» (1880), «Пошехонские рассказы» (1883—1884).

Если верить «Истории» Кайданова, нечто подобное... случилось некогда с Западной Римской империей.— В «Руководстве к познанию всеобщей политической истории» (ч. 1, Древняя история) И. К. Кайданов, автор популярных в 20—30-х годах учебников истории,— по ним учился и Салтыков,— объяснял падение Рима «всеобщим развращением нравов», называя среди прочих причин «вторжение северных и других народов».

Стр. 214. *А ветер... прорываясь сквозь пазы ветхих мужичьих избенок, так-то жалостливо ноет... спи, Иван! ж-ж-ж-и-и-и! сирота!* — Причитания ветра явственно перекликаются с «Песней убогого странника» из поэмы Некрасова «Коробейники» (1861). Настроения, отразившиеся в этих стихах Некрасова, Чернышевский, борясь за воспитание в крестьянстве революционной решимости и энергии, назвал «жалкими» («Не начало ли перемены?».— «Современник», 1861, № 11. Ср. Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. VII, стр. 874). Возражая Чернышевскому, к «Песне» Некрасова обратился и Герцен, дав ей совершенно иную оценку в соответствии со своим представлением о народе, «голодном» и «нагом» («Мясо освобождения».— «Колокол», л. 121 от 1 февраля 1862 г. Ср. А. И. Герцен. Собр. соч., т. XVI, стр. 28).

Стр. 220. *Аксиос* — достоин *(греч.);* здесь в смысле: туда ему и дорога. Ср. т. 3, стр. 567.

Стр. 221. *...Петрушка в красном жилете и голубых штанах...*— Это костюм санкюлотов в годы Великой французской революции.

Стр. 225. *Но если в тебе самом нет средств настроить жизнь на иной лад... быть может, она найдется в «непочатых рудниках»...*— Имеются в виду самопризнания правящих сословий. И. С. Аксаков, например, сетуя на «бессилие образованных классов», неспособных «устоять на собственных ногах», призывал их к «слиянию» с «народными началами», которые крепки «своим бытом» и «ясным сознанием» («День», № 1 от 15 октября 1861 г.). Для лексики славянофилов характерен и термин «непочатые рудники» — обозначение народной стихии. В 1861—1862 гг. «Русский вестник» также предлагал помещикам и государственным чиновникам «стать живыми членами народа», «черпая из него новые силы» («Кое-что о прогрессе».— «Русский вестник», 1861, № 10, стр. 109—112. См. также редакционные статьи в № 2, стр. 839—842, и № 3, стр. 452 за 1862 г.).

Стр. 226. *Убеждаясь... в совершенной неспособности старых глуповцев, приглашаем их очистить место для Иванушек...*— По-видимому, пародийное изложение мнений либерального дворянства, нашедших выражение в адресах на имя Александра II в конце 1861 — начале 1862 г. В этом отношении наибольшим радикализмом отличался адрес дворян Тверской гу-

бернии (2 февраля 1862 г.), где служил тогда Салтыков. Требуя политических свобод для «всех сословий», тверские помещики отказывались от «позорных преимуществ», которые поставили дворянство в «положение тунеядцев, совершенно бесполезных родине». См. след. прим.

Стр. 227. *«Не обижаться, ибо тут штука».*— Ироническим наименованием «штука» сатирик стремился, очевидно, намекнуть на безвредность либеральных деклараций и «примирительных попыток» дворянства для сохранения его корпоративной организации и господствующего положения в управлении страной, что, по мысли Салтыкова, понимали и наиболее проницательные Сидорычи, рекомендуя собратьям «не обижаться».

Стр. 228. *...водевиль есть вещь, а прочее все гиль...*— Из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (действие IV, явл. 6).

Стр. 229. *...изыскать средства.*— Речь идет о средствах государственного насилия для подавления активных форм народного недовольства.

Ваньки встречались во всякое время; бывали случаи, когда они даже очень достаточно пакостили... Еще недавно Большая Глуповица была позорищем беспорядочности ванькинских чувств...— Сатирик имеет в виду крестьянские войны прошлого, проясняя смысл этих исторических примеров напоминанием о «недавнем» для того времени эпизоде народной борьбы — волнениях поволжских крестьян, в том числе о восстании в Бездне, закончившемся массовым расстрелом (12 апреля 1861 г.).

Стр. 230. *Прошедшее успокоивает нас, будущее тревожит — устроим так, чтоб это будущее было результатом прошедшего...*— Салтыков обличает распространенные в то время дворянские теории «прогресса». Так, например, М. Н. Катков, развивая свой взгляд на «истинно прогрессивное направление», подчеркивал, что оно «должно быть в сущности консервативным»: «Народная жизнь тем прогрессивнее и тем богаче, чем менее совершается в ней успешных насилий», «чем менее забывала она свое прошедшее» — во имя «будущего» («Кое-что о прогрессе».— «Русский вестник», 1861, № 10, стр. 109—113; 1862, № 2, стр. 839).

...когда я служил в Белобородовском гусарском полку, мы знатные трепки этим Ванькам задавали! — В Белобородовском полку служил и другой герой Салтыкова — Живновский (см. стр. 99 и 180 наст. тома).

Стр. 233. *...потрепали по щечке... определили в рабочий дом... поставили в ряды защитников отечества...*— то есть, в переводе с эзоповского языка,— избили... заключили в тюрьму... сдали в рекруты.

Стр. 234. *...нашим старым знакомым, господином Зубатовым.*— Сатирический портрет Зубатова как воплощения бюрократических принципов самодержавной власти в губернском ее варианте см. в очерке «Зубатов», т 3 наст. изд. См. там же «К читателю», «Погоня за счастьем», «Литераторы-обыватели», «Наши глуповские дела», где сатирик, возвращаясь к Зубатову, заставлял его все более искусно лавировать между откровенными репрессиями и показным либерализмом.

Войду ли я в гостиную... он там...— Пародическое использование псалма 138 («Войду ли на небо — ты там» и т. д.).

...от Зубатова, этого, так сказать, первого глуповского гражданина? — «Первым гражданином России» в многочисленных адресах и речах по случаю «высочайших рескриптов» о подготовке и проведении реформы именовался Александр II, который назвал себя в обращении к московскому дворянству «первым дворянином в государстве» (см. об этом: Н. Огарев. Ход судеб.— «Колокол», л. 122—123 от 15 февраля 1862 г.).

Стр. 235. *«А кто тебе помог сплутовать... Я помог тебе, козлиная борода!»* — реплика городничего из пятого действия комедии Гоголя «Ревизор» (явл. II).

Что имя? звук пустой... — строка из стихотворения Лермонтова «Ребенку» (1840).

А отдувались за все... какие-нибудь унтер-офицерши да слесарши Пошлепкины...— Речь идет о сцене Хлестакова с просителями из четвертого действия «Ревизора», явл. XI.

Стр. 236. *Сидорычи обвиняют Зубатова в том, будто он первый открыл Иванушек... но справедливость требует сказать, что заприметил тогда, когда уже и нельзя было не заприметить их...* — «Лучше начать уничтожать крепостное право сверху,— говорил Александр II московскому дворянству 30 марта 1856 г.,— нежели дождаться того времени, когда оно начнет само собой уничтожаться снизу». Об этом же напоминал царь в Государственном совете и 28 января 1861 г., предупреждая противников крестьянской реформы, что «всякое дальнейшее промедление может быть пагубно для государства» (см. «Освобождение крестьян».— «Колокол», л 93 от 1 марта 1861 г.).

...когда Иванушки упали к нему, как снег на голову, он вздохнул... и вздохнул об вас, Сидорычи! — Собственная служебная практика Салтыкова убеждала его в том, что при осуществлении реформы правительство заботилось прежде всего об охране дворянско-помещичьих интересов: «Я люблю дворянство, считаю его первой опорой престола»,— говорил Александр II, заверяя, что «интересы дворян всегда близки его сердцу» (из обращений к московскому и псковскому дворянству 31 августа 1858 г. и 11 ноября 1859 г.).

Стр 238. *Соника* — сразу же, с первой ставки (термин карточной игры).

Стр. 239. *Сидор Сидорыч.*— В характеристике Сидора Сидорыча угадываются отдельные черты будущего Иудушки Головлева.

...Зубатов циркулярно и наистрожайше запретил употреблять что бы то ни было, кроме кротости...— Ирония в адрес «Манифеста 19 февраля», где царь призывал дворянство «исполнять новые положения в добром порядке, в духе мира и доброжелательства» и неоднократно напоминал об «уважении к достоинству человека и христианской любви к ближнему».

Стр. 240—241. *Так ли поступили древние римские сенаторы... А Глупов?!* — Сатирически осмеивая позицию русского дворянства, Салтыков противопоставляет трусливой разобщенности Сидорычей единство римских сенаторов, павших от мечей воинов Бренна, но не оставивших Се-

ната. В этой же связи писатель упоминает о последнем наместнике Римской Галлии Сиагрии, который оставался верен империи, продолжая войну с франками в течение целого десятилетия после низвержения западноримского императора Ромула Августула германским военачальником Одоакром (476 г.).

КАПЛУНЫ

(Стр. 245)

При жизни Салтыкова напечатано не было. Первоначальная редакция (начало 1862 г.) впервые — в журнале «Нива», 1910, № 13, стр. 250—254;[1] позднейшая редакция (конец 1862 г.) впервые в «Литературном наследстве», т. 67, М. 1959, стр. 321—326.

Сохранились: 1) черновой автограф первоначальной редакции очерка с заголовком «Каплуны»; на полях листа 3-го рукою Салтыкова помета карандашом: «О том, что самое воздержание от жизни нужно подготовить»; 2) цензурный экземпляр корректурных гранок первоначальной редакции (предназначалось для «Современника», 1862, № 5), с заголовком: «II. Каплуны. Последнее сказание», эпиграфом из Гейне, многочисленными вычерками и подчеркиваниями цензора Ф. П. Еленева и с запретительной резолюцией министра просвещения А. В. Головнина, такой же, как на гранках «Глуповского распутства». Текст гранок восходит к неизвестной нам беловой рукописи. От чернового автографа текст гранок отличается большим количеством авторских изменений и дополнений; 3) корректурные гранки позднейшей редакции очерка в цикле-подборке «Глупов и глуповцы. I. Общее обозрение. II. Деревенская тишь. III. Каплуны» (для «Современника», 1863, № 1—2); 4) корректурные гранки январской хроники «Наша общественная жизнь» за 1863 г. с ненапечатанным в «Современнике» окончанием, представляющим собою переработанную часть очерка «Каплуны».

В настоящем издании печатается по цензурному экземпляру корректурных гранок майской книжки «Современника» за 1862 г. без учета цензорской правки, с проверкой по автографу. Переработанная и сокращенная редакция, предназначавшаяся для январско-февральского номера «Современника» за 1863 г., печатается по корректурным гранкам в разделе «Из других редакций» (стр. 505—512). Редакцию, которая вошла в состав «Нашей общественной жизни», см. в т. 6 наст. изд. («Из других редакций»).

Приводим важнейшие варианты черновой рукописи:

Стр. 245, строка 15 сверху. После: «в наше тревожное и тяжелое время» — в рукописи было:

---

[1] Более исправно и с приведением важнейших вариантов черновой рукописи первоначальная редакция напечатана В. В. Гиппиусом в изд. 1933—1941 гг., т. 4, стр. 279—292, 502—503.

И сытость и довольство собой (эти два, несомненно, главнейшие условия действительно счастливой жизни) так удачно сочетались в нем, что оба находятся в постоянном равновесии и служат как бы необходимым друг к другу дополнением. Сытость благоприятно действует на расположение духа, сообщая ему ту ясность и благодушие, которыми никогда не могут обладать птицы голодные или оборванные, а довольство душевное, с своей стороны, помогает его организму отчетливее переработывать всякую предлагаемую снедь и покрываться слоями жира с тою неторопливою, но прочною постепенностью, которая составляет предмет неистощимых утех для истинных знатоков и любителей каплуньей породы. Понятно, что после этого каплуны, по всей справедливости, считают себя вправе претендовать на всеобщее уважение.

Стр. 247, строки 1—2 сверху. После: «вера в непогрешимость булавочной головки» — в рукописи зачеркнуто:

Каплуны либо безусловно верят текучей, будничной жизни, либо считают ее не больше как шуткой, не больше как случайным и даже досадным эпизодом, ставшим поперек сочиненным ими идеалам. Первые — каплуны настоящего, вторые — каплуны будущего, но со временем также сделаются каплунами настоящего. При недостатке действительных жизненных интересов каплунство становится заразой, легко проникающей во все слои общественного организма; оно приобретает права гражданственности, оно делается силой почти всемогущею.

Стр. 251, строки 10—13 сверху. Вместо: «Очевидно... результатом соединенных усилий» — в рукописи было:

Как бы ни прекрасно было будущее, сулимое идеалами, но не сделается же оно само собой, но оно тоже должно быть результатом соединенных частных усилий; не будет этих усилий, не будет и будущего, просто ничего не будет.

Стр. 254, строка 18 сверху. После: «чтоб увлечь толпу сразу» — в рукописи зачеркнуто:

надобно иметь гений толпы, надобно носить в груди сердце ее. Как ни общеизвестны, как ни истасканы эти истины, но для каплунов они новы. Каплуны зарядились своим курлыканьем, каплуны жиреют, благословляют судьбу, посадившую их на пенсионное положение, а от нечего делать надзирают за поведением людей, у которых все органы в целости. Каплуны не понимают, что мысль, как бы она ни была велика сама по себе, но покуда сосредоточена в кабинете, покуда обращается в тесном кругу знакомых каплунов и не пущена в толпу, до тех пор это не мысль, а одинокое любострастное самоуслаждение, что мысль хороша на улице, хороша в поле, а не в душной и затхлой атмосфере четырех стен.

Стр. 254, строка 5 снизу. После: «и по штату совсем не положено» — в рукописи зачеркнуто:

Как ни стары, как ни истасканы эти истины, но для каплунов они новы. Зарядившись курлыканьем и благословляя судьбу, посадившую их на пенсионное положение, они благополучно жиреют и, от нечего делать, надзирают за поведением людей, у которых все органы целы.

И тут-то пускается в ход система бездельнического подглядыванья и подслушиванья, система отвратительного судачения, которая еще в древнейшие времена составляла славу и гордость Глупова. «Глуповцам хлеба не надо, глуповцы сами себя едят», — сказал когда-то некоторый мудрец,

и сказал, сам того не зная, великую истину[1]. Глуповцы чутьем слышат, что где-то около них имеется повод к скандалу, и, поднюхав его, выказывают плотоядность примерную. Целая человеческая жизнь призывается к суду, выворачивается наизнанку, распарывается по швам и разглядывается с тою мелочною кропотливостью, на которую способно лишь усердное и продолжительное упражнение в праздности.

Но каплунам весело, каплуны лакомы и, по мере насыщения, приходят все в большую и большую плотоядность: им мало человеческой жизни, они требуют к ответу папеньку и маменьку и призывают в свидетели братцев.

— Я еще его маленьким знавал,— говорит один каплун,— и до сих пор очень помню, как он на меня однажды гувернеру сфискалил!

— А помните, как он однажды на станции писаря по щекам прибил... ведь как хотите, а это неуважение к человеческой личности! — говорит другой.

— А тетка-то, тетка-то его! вы у меня спросите, кто его тетка! — восклицает третий.

Каплуний синедрион свирепеет и, подобно бульону, кипящему на огне, выражает свою спелость разнообразнейшими брызгами и волдырями.

Мы не располагаем точными данными о времени возникновения замысла «Каплунов». Впервые в печати более или менее подробно тема очерка — что и как должна делать в новых пореформенных условиях демократическая интеллигенция? — освещена писателем в очерке «К читателю», написанном в конце 1861 г. («Современник», февраль 1862 г., см. т. 3 наст. изд.), затем она обстоятельно излагается в программе предполагавшегося к изданию и запрещенного властями журнала «Русская правда» (март — апрель 1862 г., см. т. 18 наст. изд.). Примыкая к ним идейно и тематически, «Каплуны» сосредоточены на теоретическом и историческом уяснении конкретных форм и средств борьбы с царизмом и помещичьей реакцией. Активно вторгаться в жизнь, действовать на всех поприщах, не останавливаясь и перед компромиссами, объединять усилия всех «партий прогресса» на почве достижения ближайших целей и таким образом *практически* расчищать путь, который ведет к «отдаленному» (социалистическому) идеалу,— в этом Салтыков усматривал диктуемые эпохой основы тактики общественных сил нации.

Энергия и страсть, с какими защищает автор «Каплунов» свою программу, помимо всего прочего, возбуждались и определенными личными мотивами, проникшими в текст очерка и придавшими всему повествованию большую эмоциональную напряженность. Салтыков был причастен к тактике «практикования либерализма в самом капище антилиберализма», он сам незадолго до написания очерка оставил пост тверского вице-губернатора[2]. Слывшему по службе «красным», даже «вице-Робеспьером», Сал-

[1] *Первоначально:* «Русским хлеба не надо, русские сами себя едят!» — сказал некогда Волынский, и изречение это доныне как нельзя успешнее прилагается к глуповцам.

[2] До этого во второй половине 1861 г. он часто и на длительные сроки замещал тверского губернатора. Между 2—9 февраля 1862 г. Александр II утвердил прошение Салтыкова об отставке.

тыкову вместе с тем довелось услышать немало задевающих его честь передового мыслителя и художника несправедливых упреков, оскорбительных обвинений. Так, в истории с арестом В. А. Обручева, нелегально распространявшего прокламации «Великорусс», Салтыкову приписывали неблаговидную роль чуть ли не доносчика [1].

Как можно думать, непосредственным откликом писателя на обвинение в «ретроградстве» являются те страницы очерка, где резко и гневно говорится о страсти «угрюмых каплунов» к «подглядыванию» и «судачению». В черновой рукописи были вычеркнуты строки, в которых содержался прозрачный намек на распространившиеся тогда сплетни и инсинуации по адресу сатирика (см. выше, стр. 566).

Исходная дата выработки не дошедшей до нас беловой рукописи «Каплунов», с которой делался набор, фиксируется появлением в этой рукописи эпиграфа из Гейне, в переводе Добролюбова (в черновом автографе эпиграфа еще нет). Перевод Добролюбова датируется 7 апреля 1858 г., но напечатан он был только по смерти критика в январской книжке «Современника» за 1862 г., вышедшей в свет 8 февраля. Очевидно, февралем — мартом и следует определять время завершения автором работы над беловой рукописью и доставления ее в редакцию «Современника». Во всяком случае, в письме к Н. Г. Чернышевскому от 14 апреля 1862 г. из Твери Салтыков сообщает о «Каплунах» как о произведении, которое уже в течение какого-то времени находится в редакции и с содержанием которого успел познакомиться Н. А. Некрасов. «Каплуны» поступили в цензуру вместе с очерком «Глуповское распутство» — уже в гранках набора — около 20 апреля 1862 г. и были запрещены 27 апреля на основании мнения гр. С. Г. Строганова, писавшего министру просвещения А. В. Головнину по поводу «Каплунов»:

«„Каплуны" пахнут кровью! Если кровь нужна для утучнения почвы, не правительству же под формой цензуры указывать, как свободно может течь эта жидкость». (Строганов имел в виду слова Салтыкова о жертве, кровь которой «утучнила почву» — см. стр. 254 наст. тома.) [2]

Одновременно с представлением «Каплунов» в цензуру другой экземпляр корректуры с критическими замечаниями Чернышевского был направлен Салтыкову. Об их содержании можно судить, при отсутствии других документальных данных, лишь на основании ответного письма Салтыкова от 29 апреля 1862 г. «Мне кажется,— писал он Чернышевскому,— что вы придаете «Каплунам» смысл, которого они не имеют. Тут дело совсем не об уступках, а тем менее об уступках в сфере убеждений, а о необходимости действовать всеми возможными средствами, действовать настолько,

---

[1] Непричастность Салтыкова к делу В. А. Обручева документально установлена (см. комментарии С. А. Макашина в книге «Щедрин в воспоминаниях современников...», стр. 726—729).

[2] Более подробное изложение цензурой истории очерка см. в упомянутой выше статье В. Э. Бограда в т. 67 «Литературного наследства». См. также прим. к «Глуповскому распутству», стр. 556—557 наст. тома.

насколько каждому отдельному лицу позволяют его силы и средства. Эту же самую мысль я провел в имеющейся у вас программе предполагаемого нами журнала. По моему мнению, главное теперь — единство действия и дисциплина. Если будет существовать эта последняя, то, само собой разумеется, устранится возможность множества ошибок.

Впрочем, я желаемые исправления сделал».

Чернышевский не мог, конечно, возражать как против самой постановки в очерке Салтыкова «жгучего вопроса эпохи» — «Куда же идти? как действовать? что предпринять?»,— так и против оценки переживаемого русским обществом трудного исторического момента, когда еще «насилие» и «гнет прежнего» (крепостничества) не упразднены и способны задушить новое, когда «подтачивающая сила» (освободительное движение, особенно революционный его авангард), еще слаба и разрозненна, пролагает себе дорогу «подземной работой» (подпольными, нелегальными средствами), не имеет организующего и руководящего центра. В статье «Не начало ли перемены?» («Современник», 1861, ноябрь)[1] сам Чернышевский, прибегая к такой же примерно, как и автор «Каплунов», эзоповской форме, признавал, что русскому освободительному движению очень недостает дисциплинированной, энергичной и зоркой революционной организации. Чернышевский, незадолго до этого опубликовавший свои знаменитые «Полемические красоты», мог бы полностью присоединиться к уничтожающей, ядовитой щедринской характеристике «веселых каплунов», то есть либералов.

Как и Чернышевский, автор «Каплунов» придавал огромное значение роли народных масс в историческом прогрессе. Наконец, содержащийся в очерке страстный призыв к личному деятельному участию в жизни не мог не встретить сочувствия и понимания Чернышевского, который считал, что никакое положение не оправдывает «бездействия». В «Письмах без адреса» (1862) он сам обращался к «партии просвещенных людей» с призывом не ограничиваться одним словесным протестом, а серьезно взяться за практические дела, всеми средствами повести борьбу против «основных привычек власти», заключающихся в «бюрократическом характере» ее деятельности и в «пристрастии к дворянству».

Но в таком случае, что же в очерке могло вызвать серьезные возражения Чернышевского? Критические замечания Чернышевского распространялись, по-видимому, на следующие утверждения автора очерка.

Первое. Так как передовому общественному деятелю приходится работать в условиях все еще устойчивых, хотя и прогнивших насквозь «глуповских» порядков, он имеет право на компромисс, имеет право выбора «просто мерзкой мерзости предпочтительно перед мерзейшею», несмотря на то что и та и другая несостоятельны перед судом «безотносительной

---

[1] Ноябрьская книжка «Современника» за этот год выпущена в свет 14 декабря (см. В. Э. Боград. Журнал «Современник» 1847—1866, М.— Л 1953, стр. 405).

истины». Честный деятель вынужден идти на сделку с «установившимися формами жизни», чтобы в конце концов сломать их, пусть и «варварским образом», «исподтишка», пусть даже ценой ошибок и падений. Но такое понимание практической деятельности невольно вело к своего рода уравнению революционных и нереволюционных методов преобразования жизни, к мысли о неких «ближних идеалах». Больше того,— конечный социалистический идеал, в силу нечеткости некоторых формулировок, как бы утрачивал черты безусловной исторической обязательности.

Второе. Сомнения Чернышевского вызвал, по-видимому, самый образ «каплунов будущего». Судя по всему, этот образ воплощает комплекс идей, чувств и настроений, свойственных людям передовых демократических убеждений, социалистических взглядов. В ряде мест очерка автор открыто солидаризируется с ними («стремления ваши нам сочувственны», «мы охотно пойдем туда, куда вы нас поведете», «вы искренно и горячо сочувствуете массам» и т. д.). Однако жизненное поведение «угрюмых каплунов», их нежелание лично участвовать в делах глуповской действительности, поскольку это неизбежно потребует с их стороны «уступок» и «сделок» с нею, подвергается гневному осуждению. По мнению «угрюмых каплунов», следует уединиться в кружке единомышленников, хранить здесь чистоту идеалов, жить будущим. Салтыков квалифицирует подобный образ поведения как «нравственное и политическое самоубийство».

Какие группы тогдашней русской демократической общественности мог иметь в виду Салтыков, рисуя «угрюмых каплунов»? Ответить определенно на этот вопрос весьма затруднительно. Выше указано, что даже в кругах «Современника», в среде близких Чернышевскому лиц, существовало предубеждение против вице-губернаторства Салтыкова. Легко возникающее здесь недоумение: как может он считать себя человеком передовым и служить? да еще высказанное с оттенком превосходства убеждений и безупречности своей собственной «чистой» позиции,— Салтыков парировал недвусмысленным заявлением: «Какая польза от того, что я уступлю свое место Сеньке Бирюкову, а сам брезгливо стану в сторонке от деятельной жизни». Через два года у Салтыкова возникнут прямые разногласия с соредакторами «Современника» (Антоновичем, Жуковским, Пыпиным и др.), и как раз по поводу произведений, в которых сатирик развивал и варьировал центральные идеи «Каплунов» (последние статьи из хроники «Наша общественная жизнь» за 1864 г.).

Можно думать, что образом «угрюмых каплунов» Салтыков задевал также круг «Русского слова». В спорах с Писаревым, Зайцевым и Благосветловым в 1863—1864 гг. он опять-таки затронет все те же «жгучие вопросы эпохи», какие обсуждаются в «Каплунах». Но еще до открытой полемики, известной в истории 60-х годов как «раскол в нигилистах», в «Каплунах» высказывались идеи, противоположные едва ли не основным тезисам статьи Писарева «Базаров». Салтыковские «угрюмые каплуны» удивительно напоминают Базаровых в писаревской их интерпретации, как это явствует, например, из следующих сопоставлений.

«Каплуны»	«Базаров»
«...Махни рукой на жизнь, потому что она не стоит того, чтоб с нею связываться; прикосновение к ней может только замарать честного человека; обратись к идеалам и живи в будущем».	«Я не могу действовать теперь,— думает про себя каждый из этих новых людей,— не стану и пробовать. Я презираю всё, и не стану скрывать этого презренья. В борьбу со злом я пойду тогда, когда почувствую себя сильным. До тех пор буду жить сам по себе».
«Каплунов <угрюмых> губит себялюбивая брезгливость мысли. Ставши на высоту отдаленных идеалов, они забывают, что у масс на первом плане стоит требование насущного хлеба, что массы мало заботятся о том, умрут ли они праведниками или грешниками... Презрение к массам слышится в этом высокомерном отношении к жизни».	«Они <Базаровы> сознают свое несходство с массой... Пойдет ли за ними общество — до этого им нет дела. Они полны собою, своею внутреннею жизнью... Здесь личность достигает полного самоосвобождения, полной особности и самостоятельности».

Правда, мы не располагаем документальными свидетельствами о знакомстве Салтыкова со статьей Писарева до написания очерка, хотя это и не исключено. Но что статья стала известна ему сразу же по выходе мартовской книжки «Русского слова», где она была напечатана (ценз. разр.— 8 апреля), это несомненно. В письме к Чернышевскому от 14 апреля Салтыков убедительно просил редакцию напечатать его три рассказа (среди них и «Каплуны») в апрельской книжке журнала. «Это для меня необходимо,— заявил Салтыков,— по многим соображениям». Возможно, одно из них заключалось в желании тотчас же откликнуться на статью, в которой с необычной энергией и горячностью защищался столь энергично и горячо опровергаемый им «каплуний» строй мыслей.

Во всяком случае, автор «Каплунов» чутко улавливал начинавшие складываться среди части демократической интеллигенции доктринерские умонастроения, затем усилившиеся в связи с наступлением правительственной и общественной реакции. Ведь до статьи об «Отцах и детях», например в статье «Схоластика XIX века», Писарев сам высмеивал настроения, образно запечатленные потом щедринскими «каплунами будущего». Писаревская апология базаровского типа впервые резко обозначила новое направление «Русского слова». Ближайший сотрудник журнала Н. В. Шелгунов определял его так: областью «Русского слова» было «выяснение личности, ее положения, ее развития, ее общественного сознания и вообще ее внутреннего значения и отношения к обществу и к общему прогрессу»[1]. Вспоминая об этом времени, Н. К. Михайловский писал: «Писарев и другие изыскивали программу чистой, святой жизни, уединен-

[1] Н. В. Шелгунов. Воспоминания, М.—П. 1923, стр. 181.

ной от всякой общественной скверны, а мы, чуть ли не большинство тогдашней молодежи, старались проводить эту программу в жизнь»[1].

Как явствует из цитированного выше письма Салтыкова к Чернышевскому, последний не был против опубликования «Каплунов», ограничившись рекомендацией исправить в корректуре некоторые места очерка («Я,— сообщал Салтыков,— желаемые исправления сделал»). Однако и в этой редакции, по-видимому принципиально не отличавшейся от первой, очерк не был напечатан. Это обстоятельство, казалось бы, легко объясняется цензурным запретом, который, как известно, и последовал вскоре после переписки Салтыкова и Чернышевского. Но еще до того, как об этом запрещении узнала редакция «Современника» (в самом начале 1863 г.), в редакции журнала возникли, по-видимому, сомнения в целесообразности публикации «Каплунов». Упомянув о вспомнившихся Пыпину слухах, что «некоторые даже очень умные люди были поставлены в недоумение» недостаточной ясностью его сатиры, Салтыков писал 6 апреля 1871 года: «Ежели тут дело идет о «Каплунах», то вряд ли идея этого очерка могла представлять неясность. Идею эту я развил впоследствии неоднократно, и заключается она в том, что следует из тесных рамок сектаторства выйти на почву практической деятельности. Может быть, идея эта спорная, но, во всяком случае, в ней нет ничего недостойного. Н<иколай> Г<аврилович>, который тогда же писал ко мне по этому случаю, оспаривал меня и убедил взять очерк назад. Но он ни одним словом не обвинял меня, и я счел, что тут скорее идет речь о несвоевременности, нежели о внутреннем достоинстве идеи». Чернышевский умел, конечно, должным образом оценить демократизм автора «Каплунов», его искреннее стремление повысить практическую действенность освободительной борьбы шестидесятников. Но Чернышевский и его товарищи по редакции полагали, что выпады Салтыкова против «своих» таят в себе опасность раскола в лагере демократов, могут быть превратно истолкованы.

Взяв очерк назад в первоначальной, полной его редакции, Салтыков, однако, не отказался от мысли так или иначе его напечатать. Для январско-февральской книжки «Современника» Салтыков приготовил новую, сокращенную редакцию очерка. Здесь оказались исключенными почти все места, относящиеся к характеристике «угрюмых каплунов», в особенности все то, что приближало этот образ к демократическим кругам, и напротив, получили развитие мотивы, разработанные автором в образе «веселых каплунов». В сокращенной редакции последние предстают как вариант «юных сынов Глупова». При этом оказывается, что если в очерке «Глупов и глуповцы» об этих «доктринерах розги и кулака» сказано лишь как о собирающихся систематизировать и разъяснить «истинные начала глуповской цивилизации», то каплуны аттестуются своего рода доморощенными Гегелями, уже сочинившими назидательную книжку «Философия города Глупова».

Одновременно Салтыков, не сомневаясь, очевидно, во «внутреннем

[1] «Отечественные записки», 1876, № 5, стр 156.

достоинстве идеи» и той части произведения, в которой шла речь о сектаторских настроениях и доктринерстве «угрюмых каплунов», включил ее в несколько измененном виде в состав хроники «Наша общественная жизнь». Но и «отколовшаяся» часть «Каплунов», ставшая окончанием январской хроники за 1863 г., в печати также не появилась. Произошло ли это в результате цензурных вмешательств, или же изъятие было произведено самой редакцией журнала, остается невыясненным. Очень может быть, что судьбу салтыковского очерка решила редакция «Современника». Возобновление издания журнала после шестимесячного перерыва обязывало ее к сугубой осторожности. Не утратили, вероятно, своего значения и соображения «несвоевременности» обнародования материала, который мог послужить поводом для открытой полемики с «Русским словом» (см. т. 6 наст. изд.).

Салтыков очень дорожил идеями, высказанными и развитыми в «Каплунах» — одном из самых сложных произведений писателя[1]. Эти идеи получат дальнейшее развитие в «Тихом пристанище» (см. далее, стр. 579). И позже, в 1863—1864 гг., когда крах первой революционной ситуации в России выявится во всем своем трагическом очертании и тяжелых исторических последствиях, Салтыков — автор «Нашей общественной жизни» — с новой силой и вниманием сосредоточится на проблеме «практических действий», обогатив главную мысль «Каплунов» новыми аргументами и концепциями.

Стр. 245. *Кастраты всё бранили...* — из «Книги песен» Генриха Гейне («Возвращение на Родину») в переводе Н. А. Добролюбова.

...доктора Панглосса, утверждавшего, что все идет к лучшему в наилучшем из миров. — Панглосс — герой романа Вольтера «Кандид».

---

[1] В посвященной очерку научной литературе высказаны весьма различные точки зрения на его проблематику, предложены (и предлагаются до сих пор) далеко не единодушные толкования социально-исторического смысла сложно зашифрованного писателем образа «угрюмых каплунов». Специалисты-исследователи находят отражение в этом образе общественных качеств, свойственных и «консерваторам» (Р. В. Иванов-Разумник. М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество, М. 1930, стр. 235), и либеральным утопистам, «лишним людям» (В. Я. Кирпотин. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, М. 1955, стр. 147), и представителям определенных (сказано, впрочем, неопределенно) кругов демократической интеллигенции (Я. Е. Эльсберг. Салтыков-Щедрин, М. 1953, стр. 129), и шестидесятникам, близким к кругу «Современника», «Русского слова» (С. С. Борщевский. Раскол в нигилистах.— «Литературный критик», 1940, № 11—12, стр. 85—92; В. В. Гиппиус. Салтыков и журнальная полемика 1864 года.— «Литературное наследство», 1933, № 11—12; Л. Плоткин. Д. И. Писарев и общественно-литературное движение шестидесятых годов, Л. 1945, стр. 241—272; Е. И. Покусаев. Салтыков-Щедрин в шестидесятые годы, Саратов, 1957, стр. 117—123; В. Э. Боград. Неизвестная редакция очерка «Каплуны».— «Литературное наследство», т. 67, М. 1959, стр. 315—320; С. А. Макашин. В борьбе с реакцией.— Там же, стр. 327—338, Ф. Кузнецов. Журнал «Русское слово», М. 1965, стр. 276—321 и др.).

Стр. 247. *...весь гнет вчерашнего (а отчего же и не сегодняшнего?) пленения вавилонского.*— В 136 псалме говорится о тоске и плаче иудеев, находившихся в плену вавилонском — библейское отражение событий из истории Иудеи (VII—VI вв. до н. э.). Под «пленением вавилонским» Салтыков, видимо, подразумевал крепостное право, или, как он его называл, «двухвековое иго», которое фактически не было ликвидировано «Положением 19 февраля».

Стр. 251. *...на нравственное и политическое самоубийство...*— В гранках первоначальной редакции «Каплунов» «самоубийство» определялось лишь одним эпитетом «нравственное». Однако в черновом автографе имеется определение «и политическое». Вводим это дополнение в основной текст, считая, вслед за В. В. Гиппиусом, что оно было снято писателем по цензурным соображениям.

Стр. 254. *Ваал* — древнее семитское божество (второе — первое тысячелетие до н. э.), в культе которого видное место занимало человеческое жертвоприношение.

Стр. 255. *...«мечом картонным».*— Из стихотворения Лермонтова «Не верь себе» (1839).

Юсов — персонаж комедии А. Н. Островского «Доходное место» (1857).

Стр. 256. *Не вчера ли... честные бойцы падали в борьбе...*— В этом заявлении можно усмотреть намек на расправу царского правительства с М. Л. Михайловым (гражданская казнь была совершена 14 декабря 1861 г.) и В. А. Обручевым (арестован 4 октября 1861 г.).

Сенька Бирюков.— Этот образ — молодого беспринципного чиновника-карьериста — впервые появился в очерке «Наши глуповские дела» (1861), затем — в «Погоне за счастьем» и «К читателю» (1862). Получил дальнейшую разработку в «Помпадурах и помпадуршах», «Дневнике провинциала в Петербурге» и др.

Стр. 257. *...знаменитые открыватели истоков Нигера...*— Нигер — третья (после Нила и Конго) по величине река в Африке. Первым из европейцев побывал на ней в 1796 г. шотландский врач Мунго Парк. Вторичное его путешествие по этой реке в начале XIX в. окончилось гибелью.

ТИХОЕ ПРИСТАНИЩЕ

(Стр. 260)

Повесть не закончена и при жизни Салтыкова напечатана не была, за исключением главы I — «Город», появившейся в качестве самостоятельного этюда в издании: «Складчина. Литературный сборник, составленный из трудов русских литераторов в пользу пострадавших от голода в Самарской губернии», СПб. 1874, стр. 129—138. Подпись: Н. Щедрин.

Впервые — в журнале «Вестник Европы», 1910, №№ 3 и 4 (с публикацией основных вариантов черновых рукописей и первой редакции — «Мастерица» — в изд. 1933—1941 гг., т. 4, стр. 463—473, 507—509).

Известны две редакции повести — первоначальная, краткая, называвшаяся «Мастерица», и вторая, распространенная, получившая название «Тихое пристанище». Сохранились следующие рукописи «Мастерицы»: 1) черновой автограф главы I, без окончания; 2) перебеленный текст предыдущей рукописи с исправлениями и черновой автограф окончания главы I и начала II. Сохранились следующие рукописи «Тихого пристанища»: 1) черновые автографы глав II («Веригин»), VI («Услуга») и VII («Обыск») ранней редакции (название отсутствует); 2) копия I—VII глав поздней редакции (почерками Е. А. Салтыковой и неустановленного лица) — первые пять глав с правкой Салтыкова-Щедрина и со значительными авторскими вставками на полях; 3) «Город». Наборная рукопись главы I рукой Е. А. Салтыковой, с правкой автора и его пометой: «Прошу корректуру прислать мне».

В настоящем издании главы I—V «Тихого пристанища» печатаются по авторизованной копии (с учетом правки, осуществленной Салтыковым, по-видимому, при подготовке главы I для публикации в «Складчине»), главы VI—VII — по черновому автографу. «Мастерица» печатается в разделе «Из других редакций» по черновому автографу первой редакции, так как текст второй редакции близок к тексту «Тихого пристанища».

История писания «Тихого пристанища» известна лишь в самых общих чертах. Возникновение замысла повести, время работы над нею, причины, побудившие автора оставить незавершенным уже объявленное к опубликованию произведение — эти и другие важные моменты творческой истории произведения все еще остаются мало проясненными.

В письме к С. Т. Аксакову от конца марта 1858 г. Салтыков сообщал, что «начал большой роман, который <...> уже обещан <...> „Русскому вестнику“». В бумагах писателя этой поры не сохранилось рукописных материалов какого-либо другого «романа», кроме фрагментов «Мастерицы».

Основная тема «Мастерицы», как свидетельствует и самое название задуманной повести,— драматическая судьба девушки-«расколки», которая готовится стать «мастерицей», «посвятить себя богу», то есть обречь на безбрачие и обучать грамоте по старопечатным книгам детей одноверцев. Идейно-тематически «Мастерица» близка к раскольничьим рассказам «Губернских очерков» (см. т. 2 наст. изд., стр. 367—445). Характеристики раскола воспринимаются иной раз как прямые реминисценции и даже перифразы из «Старца» и «Матушки Мавры Кузьмовны». В черновом автографе главы I (после слов: «хладнокровное ожесточение» — стр. 516 наст. тома) давалась, например, чрезвычайно резкая, позднее вычеркнутая, квалификация старообрядчества:

Но здесь я должен оговориться.

Для многих обнажение так называемых тайн расколов может показаться неприличным и несвоевременным по многим причинам. На это я отвечу: для меня важна не религиозная и политическая, но гражданская сторона этого темного вопроса. Религиозная сторона бессмысленна и потому

ничтожна; стоит только обойти ее, и она падет сама собою; политическая так слаба и так мало заключает в себе залогов жизненности, что также не может внушать серьезных опасений; там, где нет единства, где, по самому существу догматов, все так неопределенно, что на каждом шагу разлезается врозь, там, где в одной деревне можно иногда встретить столько толков, сколько существует семейств, и где каждый видит в своем соседе непримиримого злодея, готового во всякую минуту продать его, там, в этом хаосе, в этой неурядице, смешно было искать даже признаков какого-либо единства действия, без которого никакое политическое движение не мыслимо. Совсем другое дело — гражданская сторона вопроса. Здесь встает перед вами гордая, черствая, замкнутая и, следовательно, в своем роде безобразно аристократическая каста, которая с невозмутимым хладнокровием отлучает от права на жизнь всех своих братьев по крови, почему-либо не желающих подчинить себя самому нелепому из всех деспотизмов — деспотизму опечатки и невежества, с одной стороны, и деспотизму своекорыстия и преднамеренной и грубой эксплуатации в пользу наших доморощенных доктóров франсиа — с другой. «Ты не должен иметь общения ни в пище, ни в питии, ни в любви, ни в молитве ни с кем из отверженцев, стоящих вне круга твоей секты; все эти люди, которых ты видишь, должны быть в понятии твоем хуже собак, хуже татар; с татарином ты можешь по нужде есть; с церковником — никогда». Вот слова, которыми проникнута вся жизнь, весь нравственный и гражданский кодекс этой касты, кодекс, очевидно столь же далекий от духа любви и общения, лежащего в основе христианского учения, как и нравственный кодекс фанатического последователя корана, готового во всякое время и хладнокровно погрузить нож в сердце человека, нееднномысленного с ним по вере. Такого рода понятия, высказываемые и применяемые со всею невозмутимостью полного убеждения в правоте своего дела, очевидно, заслуживают полнейшего омерзения.

Исключение этого отрывка объясняется, вероятнее всего, распространенным тогда мнением, что выступать против преследуемого властями старообрядчества «неприлично», «несвоевременно». Такой взгляд передал А. И. Артемьев — сослуживец Салтыкова по министерству внутренних дел — в дневниковой записи от 10/22 мая 1857 г.: «...статью Мельникова «Дядя Поликарп» «<Русский> вестник» не печатает не по причине цензурных затруднений, а потому, что статья направлена против раскола... А статьи Щедрина «Старец», «Мавра Кузьмовна» — разве не такие же? Конечно, если судить совершенно либерально, то ни одной статьи подобной поместить нельзя: мы пишем против раскольников, а им не позволяется возражать...» [1]

Во второй редакции «Мастерицы» текст значительно переработан (особенно во второй его половине, позднейшая глава «Клочьевы») и использован в этом переработанном виде в тексте «Тихого пристанища».

---

[1] «Щедрин в воспоминаниях современников...», стр. 436. Как можно предположить, подобного взгляда придерживался и Тургенев, который однажды в связи с «Губернскими очерками» высказал, по словам Салтыкова, «предубеждение против нравственных» его «качеств». «Уж не думает ли он,— писал Салтыков П. В. Анненкову 2 апреля 1859 г.,— что я в «Очерках» описываю собственные мои похождения? <...> он напрасно смешивает меня с Павлом Ивановичем Чичи-Мельниковым». Упоминание имени П. И. Мельникова, который слыл тогда выслуживающимся перед правительством жестоким гонителем раскола, в какой-то мере, по-видимому, раскрывает характер сделанного Салтыкову упрека.

В черновом автографе, по-видимому продолжающем текст второй редакции, имеется следующее окончание первой главы:

Если вам случайно придется иметь дело с одним из молодых членов этой семьи и вы спросите, что заставляет его так упорно оставаться при обычных мертвенных формах жизни и преследовать какие-то искусственные и полуфантастические цели, то услышите один неизменный ответ: «Родители у нас живы». И в воображении вашем мгновенно восстанет или псевдовеличавый, в сущности же только суровый и жесткий образ старика, или же сгорбленная и дрожащая, но вместе с тем бестолково непреклонная фигура старухи, которые, как вампиры, высасывают счастье и радость целой семьи. Но вот старик-отец умер; старуха-мать, охая и всхлипывая, также последовала за ним; остается сын... Вы ожидаете, что он с беспокойным и столь понятным нетерпением устремится разорвать железные путы, так долго не дававшие ему дышать; вы ждете, что вот-вот прольется вольная струя воздуха в эту затхлую атмосферу и освежит ее, вы опасаетесь даже, чтобы место прежнего холодного формализма не заступил слишком дикий и беспорядочный разгул... Напрасные ожидания, напрасные опасения! Еще не успело оцепенеть дряблое тело отца, как в сыне уже совершился тот резкий на взгляд, но в сущности подготовлявшийся издалека переворот, который внезапно ставит его, так сказать, в меру отца. Ограниченным, но в самой этой ограниченности прозорливым рассудком своим, он разом постигнет и взвесит все выгоды, которые может ему дать его новое положение, на которое он, еще при жизни отца, мало-помалу привык смотреть не столько нетерпеливым, сколько завистливым оком, и на основании этого холодного и безнравственного расчета усвоивает себе взгляды и обычаи стариков. Положение семьи, в сущности, нисколько не изменяется; она меняет только господина, но внутренний распорядок и строй жизни остается тот же. И горе той личности, которая вздумала бы предъявить свои права на какую-либо самостоятельность, горе тому или той, которые захотели бы идти наперекор тому, что самодовольно стало толстой и непробиваемой стеной на зыбкой и болотистой почве предрассудков, горе тем, которые не признают безмолвного подчинения слепому и ветхому обычаю за непреложный закон всей своей жизни! Их ждут тысячи мелких преследований, тысячи ежемгновенных истязаний, которые рано или поздно согнут их волю или же истерзают и изорвут душу под муками ее собственного бессилия...

Читатель извинит меня за то, что я, быть может, с излишеством распространился в разъяснении общих черт, характеризующих город и общество, в которое я намерен ввести его. Характеристика эта казалась мне необходимою для более ясного уразумения событий, рассказываемых в настоящей повести.

Далее следует позднее зачеркнутое начало II главы «Мастерицы», объясняющее обет Клочьева «посвятить свою дочь богу»:

Вечером, в конце марта, Иван Михеев Клочьев возвращался домой с соседней ярмонки. Погода стояла тепловатая и сырая, то есть такая именно, которая положительно дает знать о скором вскрытии рек, о предстоящем таянье снегов и о наступлении в природе того временного беспорядка, который предшествует ее обновленью. С запада тянул теплый, но все-таки сильный и порывистый ветер; сверху валил крупными хлопьями тот мокрый снег, про который сложена на Руси поговорка: «сын за отцом пришел»; по узенькой и исковерканной ухабами дороге нередко попадались зажоры и если не совершенно прекращали дальнейшее следование по ней, то, во всяком случае, затрудняли его, потому что по бокам дороги снег еще не до-

вольно оселся, чтобы можно было пуститься в объезд, не рискуя задушить лошадей в снежных сугробах. Темнота ночи и царствовавшая в воздухе сумятица еще более увеличивали эти затруднения; пара маленьких лошадок, которыми была запряжена легкая кибиточка Клочьева, не только проступалась на каждом шагу, но нередко и вовсе отказывалась идти вперед; в таких случаях ямщик проворно соскакивал с облучка, забегал вперед и, потыкав кнутовищем в дорогу, обыкновенно нащупывал им зажору. И тут начиналась для ямщика та тяжкая обычная работа, которая подчас делает этот промысел нестерпимым. Сначала он останавливался в раздумье, разводя руками и полегоньку припоминая каких-то «чертей», потом начинал метаться и ожесточенно тыкать кнутовищем во все стороны, и наконец, окончательно убедившись в невозможности определить глубину зажоры или приискать брод этим способом, решался на последнее средство, а именно: благословясь, спускался в нее сам и, окунувшись в густую морозную воду, нередко до пояса, переходил на другую сторону и, помахавши там руками, снова переправлялся и потом уже переправлял и лошадей И за все это полагалась ямщику плата не малая, но и не большая: копейки по три, редко по четыре на версту с пары лошадей.

— Сказывал тебе, гони, пока светло! — говорил Клочьев, после одной из таких ванн, обращаясь к ямщику.— Как теперь через реку переедешь!

Ямщик ничего не отвечал и только озлобленно вздрогнул и взмахнул кнутом над лошадьми. Но Иван Михеич был прав, выражая свои опасения насчет переправы. Через полчаса аллеи, окаймляющие большую дорогу, прервались, и путешественники въехали в ту ровную, кое-где покрытую редко растущим тальником местность, которая образует обыкновенно луговую сторону реки, и могли уже различить, сквозь облака снега, неясные очертания стоящего на горном берегу города с его темными группами домов и мелькающими по местам огоньками. Наконец повозка подъехала к реке и остановилась, хотя лед, оковывавший ее, был еще довольно крепок, но лежавший на поверхности его снег был уже рыхл и, видимо, с каждою минутой исчезал; во многих местах, как на дороге, так и в стороне от нее, образовались огромные полыньи воды.

— Ехать ли, хозяин? — спросил ямщик, который уже сбегал на реку и даже сразу угодил в полынью.

Время возникновения замысла «Тихого пристанища» точно не документируется. По некоторым косвенным данным рукописных и печатных источников можно заключить, что это 1862 г., возможно его начало В главе II повести действие ее отнесено к 1857 г., когда в город Срывный прибывает Веригин как «предвестник обширного промышленного предприятия». «Известно,— сказано далее,— что у нас лет пять тому назад промышленным предприятиям всякого рода особенно посчастливилось» (в черновой рукописи указан 1858 г., и соответственно датировка давности промышленного оживления обозначается: «года три или четыре тому назад»). Ряд материалов главы II указывает на то, что Салтыков учел журнальную полемику 1860—1861 гг., в частности, выступление Чернышевского в «Полемических красотах» против философа-идеалиста П. Д. Юркевича (см. прим. к стр. 276). В этой же главе II говорится о «скандальном обвинении» «современного молодого поколения» в «казачестве». Такое обвинение действительно бросил Б. Н. Чичерин в своей статье в «Новом времени» (1862, № 39, 22 февраля, стр. 153). Уточняет датировку работы писателя над «Тихим пристанищем» эпизод посещения ге-

роем повести Веригиным оперы Мейербера «Гугеноты», первая постановка которой в Мариинском театре была осуществлена 2 февраля 1862 г. (см. А. И. Вольф. Хроника Петербургских театров, ч. II, СПб. 1884, стр. 116). В повести обнаруживаются почти текстуальные совпадения с теми произведениями, над которыми Салтыков работал в начале 1862 г. (см. об этом ниже, стр. 579—580).

Первая глава «Тихого пристанища» была лишь незначительно доработана по сравнению с началом второй редакции «Мастерицы». К картине города Срывного добавлены были следующие автобиографические строки о службе в провинции, позднее вычеркнутые и не вошедшие в печатный текст «Города»:

В молодости, когда прихотливая судьба носила меня из края в край России, я долго жил в Срывном и полюбил его. Да, я любил тебя, угрюмый, но живописный городок. Я любил и шумную деятельность твоего дня и суровое безмолвие твоих ночей Мне нравилось тогда в тебе всё: и городничий, который вечно куда-то скакал и вечно кого-то ловил, и стряпчий, который лукаво посмеивался, взирая на деятельность городничего, как будто говорил: «Погоди, брат! еще успеешь попасть под суд!» — и даже исправник, который с омерзительным цинизмом рассказывал всем и каждому сокровеннейшие подробности своих интимных отношений к жене почтмейстера...

Уже в черновом автографе главы II («Веригин») была вычеркнута следующая ироническая характеристика двух типов промышленного меценатства, замененная ранней редакцией текста «Промышленные замыслы... из общего избиения» (стр. 268, строка 13 снизу — стр. 269, строка 5 сверху):

Промышленное меценатство имеет двоякий характер. Некоторые меценаты занимаются этим ремеслом, нисколько не веря в него, собственно ради того, чтобы множеством разнообразнейших сведений и цифр пустить пыль в глаза обычным жертвам акционерных предприятий; другие, напротив того, веруют в свое призвание искренно и искренно же надеются, что скромные их усилия прольют новый и плодотворный свет на экономическое положение любезного отечества. Как бы то ни было, акционерам от этого не легче, ибо в обоих случаях результат бывает совершенно одинаков.

Текст главы V «Тихого пристанища» отличается от соответствующего текста «Мастерицы» в основном лишь сокращениями: так, сильно сжаты эпизоды чиновничьих притеснений, по предположению В. В. Гиппиуса,— либо из опасений цензуры, либо с целью сосредоточить все внимание на самой раскольничьей среде.

Автографы глав VI и VII не сохранили сколько-нибудь значительных следов работы над их текстом.

Большая часть глав «Тихого пристанища» или же все главы повести в том составе, в каком она нам известна сейчас, были подготовлены к началу 1863 г. В пользу этого предположения свидетельствует следующее извещение на обложке двойной январско-февральской книжки «Современника» за 1863 г.:

«Для «Современника», между прочим, имеется:

«Что делать?», роман Н. Г. Чернышевского (начнется печатанием с следующей книжки).

«Брат и сестра», роман Н. Г. Помяловского.

«Тихое пристанище», роман М. Е. Салтыкова.

«Пучина», комедия А. Н. Островского».

Литературная родословная центрального образа «Тихого пристанища» восходит к ранним повестям Салтыкова. Веригина сближает с героями «Противоречий», «Запутанного дела» и «Брусина» остро ощущаемый разлад между «идеальными формами жизни» (социалистическими) и современной действительностью России. Так же как и его литературные предшественники, Веригин ищет пути и средства практического осуществления идеала «социальной гармонии».

Однако громадный опыт общественного движения периода подготовки крестьянской реформы, а затем революционной ситуации 1859—1861 гг, столь обогативший писателя идейно и политически, существенно изменяет и самую постановку этой проблемы, и ее образное решение.

Теперь сознание Салтыкова занимают не бесплодно мятущиеся книжные протестанты Нагибины, не трагически подшибленные жизнью Мичулины и запоздало немощные романтики Брусины, не бескрылые практицисты Николаи Ивановичи. Писателя глубоко волнует вопрос о новом типе общественного деятеля, связанного с революционными идеями и борьбой эпохи 60-х годов. Свои представления об этом типе Салтыков и обозначил в повести образами Веригина и Крестникова.

Проблематика «Тихого пристанища» многими своими сторонами тесно примыкает к тем вопросам, которые активно обсуждались Салтыковым в целом ряде произведений начала 60-х годов — «К читателю» (1861), «Каплуны» (1862), в программе несостоявшегося журнала «Русская правда» (1861—1862), хронике «Наша общественная жизнь» (1863—1864).

Главная идея, занимавшая писателя в начале этого десятилетия, формулирована им самим в письме к А. Н. Пыпину от 6 апреля 1871 г.: «..заключается она в том, что следует из тесных рамок сектаторства выйти на почву практической деятельности». Разработанная в начале 1862 г. при активном участии Салтыкова программа журнала «Русская правда» наиболее отчетливо аргументировала это положение, призывая направить все усилия русской общественности на подготовку «почвы» таким образом, чтоб в ней можно было «свободно и без оговорок заявлять о дорогих нам принципах». (Подробнее о программе журнала см. в т. 18 наст. изд.)

Нетрудно заметить, что в повести — и в том, что в ней сообщается от автора в виде философских отступлений, и в том, как передаются мысли, изображаются чувства и поступки Веригина и Крестникова,— Салтыков повторяет (и притом почти дословно) некоторые из важных установок журнальной программы.

В повести, так же как в «Каплунах» и в очерке «К читателю», подробно обсуждается проблема «сектаторства». Автор показывает своего Веригина как бы вылечившимся от тех болезненных «сектаторских» уклонений, носителями которых были выставлены «каплуны будущего». Сообщая о том, что воспитанные суровой школой жизни демократические убеждения героя укрепились идейными исканиями университетского кружка, Салтыков выделяет в нем — как характерный признак новой эпохи — стремление преодолеть свойственные прежнему молодому поколению мечтательность, замкнутость в «сфере идеалов». Говоря о том, что в среде Веригиных складывалось на первых порах несколько даже «фанатическое» увлечение идеалами и, как следствие этого,— «брезгливое», безоговорочное отрицание не отвечающей идеалам будничной действительности, автор вводит новый мотив. Он объясняет такие умонастроения в кружковой революционной среде Веригиных молодостью, с ее энтузиазмом, с ее широкими и пылкими притязаниями к жизни. «И каковы бы ни были заблуждения и увлечения молодости,— восклицает он,— будь благословенно вовек ты, время светлых верований и бескорыстных, теплых упований!»

Раздумья Салтыкова — автора «Каплунов» и других произведений этой поры — о трагическом положении народных масс, о низком уровне их общественного сознания, вследствие чего крайне ограниченна возможность их революционных выступлений в защиту своих собственных интересов,— нашли специфическую образную трансформацию в главах III—VII повести. Именно тут Веригин показывается в действии, в делах, в той жизненной роли, которая раскрывает его характер революционера-практика (в салтыковском понимании).

Связь Веригина с раскольниками — одна из главных сюжетных линий повести. Русская крестьянская демократия рассматривала раскол как резерв и источник оппозиционных сил. Идея эта была широко распространена в революционных кругах[1]. Ее популяризировал историк русского раскола А. Щапов[2]. Известно, что В. И. Кельсиев, тогда еще сподвижник Герцена и Огарева, «пробрался из-за границы по турецкому паспорту в Москву и Петербург для устройства прочных связей с раскольниками и старообрядцами»[3].

Щедринский Веригин ищет связей с массами в глубине старинной Руси («не подавленной и не развращенной крепостным правом»), где раскольники — сила весьма влиятельная. Автор повести по-прежнему убежден, что в расколе «земское» начало почти выветрилось, уступив место владычеству обряда и деспотизма, что «старой верой» здесь удобно маскируется эксплуатация народа. Но со времени «Губернских очерков» и «Мастерицы» в салтыковской характеристике раскола появились новые мотивы,

---

[1] См. «Литературное наследство», т. 62, 1955, стр. 159—218.

[2] А. П. Щапов. Русский раскол старообрядчества, Казань, 1859. Его же. Земство и раскол, вып. I, СПб. 1862.

[3] См. об этом в кн.: Н. Л. Бродский и Н. И. Сидоров. Комментарий к роману Н. Г. Чернышевского «Что делать?», М. 1933, стр. 147.

созвучные представлениям революционеров-шестидесятников. В начале 1864 г. в не увидевшей света апрельской хронике «Нашей общественной жизни» Салтыков писал: «...большинство так называемых расколов свидетельствуют о замечательных организаторских способностях русского человека и о далеко не заурядной его силе в деле пропаганды» (см. т. 6 наст. изд.). В эпизоде посещения Веригиным дома Клочьевых и предупреждения главы раскольничьей фамилии о предстоящем чиновничьем вторжении (главы VI—VII), а также в сцене самого обыска отчасти уже заявлена мысль цитированного выше высказывания Салтыкова. Делая услугу Клочьевым, Веригин надеялся потом в своих целях использовать расположение богатых раскольников, являющихся «коноводами», «руководителями».

Впрочем, раскольники как резерв противоправительственной оппозиции расценены в повести сдержанно. Картина обыска выполняет здесь ту же идейную функцию, что и сцена паромной переправы в очерке «К читателю» (см. т. 3 наст. изд., стр. 286). Несмотря на «страшное насилие», совершенное в доме Клочьевых, никто из обывателей Срывного и пальцем не пошевельнул, чтобы защитить сограждан от административного произвола, и сам Клочьев не протестовал, потому что знал — жители проснутся на его крик, но будут только «протирать глаза и креститься».

В напряженных, даже мучительных, ночных раздумьях Веригина о том, «какими способами и через кого действовать» для достижения диктуемых историческим развитием России свобод и «отдаленного» (социалистического) идеала, в его скептических словах о «робком», «малоподвижном», неспособном на открытое революционное выступление «большинстве», о «тайном обществе», результаты деятельности которого в практическом смысле «ничтожны», затронуты в новых вариациях острейшие проблемы современности, которые затем образуют идейно-политическое ядро салтыковской публицистики ближайших лет («Наша общественная жизнь»).

Стр. 261. *«В поте лица снискивай хлеб свой...»* — из Библии (Первая книга Моисеева, Бытие, гл. 3).

Стр. 262. *Лоно Авраамово* — в Евангелии (Луки, 16, 22) — место вечного блаженства и успокоения душ праведников.

На этом городе мы с вами остановимся, читатель. Имя ему Срывный.— Географическая и экономическая характеристика Срывного указывает на Сарапул, уездный город Вятской губернии на реке Каме. Сарапул был расположен на границе трех губерний — Вятской, Пермской и Уфимской. В середине прошлого века город славился кустарными промыслами, здесь велась большая торговля хлебом и лесом. Значительную часть жителей Сарапула составляли раскольники-старообрядцы. Город этот был хорошо знаком Салтыкову по его подневольной службе в Вятке.

Стр. 265. *Бечевник* — береговая полоса вдоль рек и озер для бечевой тяги судов и плотов.

...это какой-то выстраданный, надорванный крик... в этом вздохе уже чуется будущая трагедия.— Сознавая, что народ забит и пассивен, Салтыков верил, однако, в его силы и революционные возможности, надеялся, что «выстраданный» крик-вздох выльется, наконец, в открытое выступление против угнетателей. О заострении социальной характеристики бурлацкого «крика» свидетельствует замена одних эпитетов другими в процессе работы над повестью «Мастерица». Первоначально автор писал о крике, «вылетающем» из груди с «томительным» усилием. Позже этот эпитет заменен более резким, социально значимым и определенным: «мучительным, почти злобным», «как вздох, вылетающий из груди человека, которого смертельно и глубоко оскорбили»

Выражение «будущая трагедия» следует понимать как «народная революция», в которой Салтыков по-просветительски усматривал не проявление исторической закономерности, а печальную необходимость. К этой мысли впоследствии он возвращался неоднократно, например, в «Современных призраках» (т. 6 наст. изд.), где дана просветительская трактовка революции как такой формы общественно-политического развития, которая «захлестывает на пути своем и правого и виноватого» и оставляет после себя «голое поле», в хронике «Итак, история утешает...» (там же), где революция именуется «войной», которую передовые люди эпохи вынуждены вести «непреодолимою силою обстоятельств». Представление об этом «гневном движении истории» связывалось у Салтыкова с катаклическим взрывом, с кратковременной, но «великой минутой» в жизни общества (см. «Письма о провинции», т. 7 наст. изд.).

Стр. 266. *...из сознания вашего мигом изгоняется всякое сомнение в возможности будущей гармонии.*— «Будущая гармония» — в данном случае подцензурное, восходящее к учениям утопистов, определение социалистического идеала. Органический демократизм Салтыкова привел его к убеждению, что именно в здоровых, цельных началах народной массы — источник веры в возможность будущего социалистического устройства общества.

Стр. 267. *Известно, что у нас, лет пять тому назад, промышленным проектам и предприятиям всякого рода особенно посчастливилось.*— Речь идет о кратковременном, но весьма интенсивном промышленном оживлении, наступившем после Крымской войны. Салтыков крайне скептически отнесся к этой «промышленной вакханалии», полагая, что она принесет лишь разочарование, экономический спад, а вовсе не «обновление России». Одним из проявлений общего подъема, в том числе и технического, была организация пароходного сообщения на главнейших реках России. Однако лишь значительно позднее были вытеснены такие отсталые и тяжелые формы судоходства, о которых говорится в повести, как сплав на барках, бурлачество.

Стр. 268. *...подобно мужикам, двигавшимся на Сыр-Дарью из внутренних губерний России...*— Крестьянские переселения в России, известные с давних времен, особенно усилились к концу 50-х годов, в связи с раз-

витием капитализма и классовым расслоением деревни. Крестьяне бежали от помещичьего гнета, надеясь найти «свободные» земли в Сибири, на Кавказе, в Средней Азии.

...свидетельствовали о том трем братьям Варягам достославные сподвижники старца Гостомысла.— Легенду о призвании варягов Салтыков сатирически переосмыслил в очерке «Гегемониев» (см. т. 3 наст. изд., стр. 7—14, 559, 561).

...опекунский совет угрюмо затворил свои гостеприимные двери.— Опекунский совет — сословное учреждение, управлявшее приютами, воспитательными домами, большинством женских учебных заведений. Имел в своем распоряжении суммы, часть которых предоставлялась в кредит (отменен 16 апреля 1859 г.).

Стр. 269. *...но вместе с тем народ бедный... опрометчивостью не необъяснимою.*— Вместо этих слов в черновой рукописи главы II было:

Не имея возможности обходиться без личного труда для обеспечения своего существования, эти люди терпеливо сносят всякого рода лишения, но навсегда или, по крайней мере, на долгое время остаются верными правилу, в силу которого частную деятельность предпочитают всякой другой. Конечно, в этом убеждении есть огромная недомолвка (да не подумает, однако ж, читатель, что в наших словах скрывается затаенная мысль в оправдание так называемой «другой» деятельности; нет, мы просто желаем высказать только то, что бывают в жизни обществ такие моменты, когда «независимость» есть нечто недостижимое во всех вообще сферах деятельности, какие бы мы ни вообразили себе), но во всяком случае недомолвка не необъяснимая.

Стр. 270. *Старое ехидство* — эзоповский термин для обозначения «темных сил» насилия, крепостнической реакции.

...опытом общественных отношений...— Принципиально важны авторские колебания в определении конечных результатов тех порывов к тесному общению с народом, к которому стремятся «молодые люди». Так, после отмеченных слов в черновом автографе сначала было:

молодые люди научаются распознавать истинную меру народа, научаются относиться к нему сочувственно и приобретают для действий своих достаточно твердую точку опоры, сообщающую их деятельности такой практический смысл, который при более благоприятных обстоятельствах мог бы сразу поставить их в ряду замечательных политических деятелей.

Вместо этого после «сочувственно» написано:

Одного этого достаточно, чтобы произвести в нем целый нравственный переворот, чтобы дать ему ту твердую точку опоры, которая в будущем сообщит его деятельности ясный практический смысл. При помощи этого смысла желания, казавшиеся неосуществимыми, возведутся на степень неотразимых требований, мысль станет делом, идеал действительностью.

В последней редакции первая фраза цитированного отрывка была изменена, вторая же отброшена. Мысль, выраженная в опущенном предложении, лишь отчасти развивается в главе, повествующей о жизни и

делах Веригина в Срывном. Видимо, Салтыков сам почувствовал неумеренность столь высокой оценки роли «практической деятельности».

Это стоило старику много хлопот... в оскорбленном сердце.— Эти строки на первой стадии работы над «Тихим пристанищем» отсутствовали, и вместо них было:

Это обстоятельство имело значительное влияние как на характер Веригина, так и на дальнейшую судьбу его. С детства он почувствовал себя одиноким и бездомным, почувствовал себя, так сказать, ответственным лицом за все свои поступки и действия, так как отец его, не имея никаких средств помогать ему, вынужден был совершенно предоставить его самому себе.

Стр. 272. *Материальные средства, обеспечивающие существование... студентов, в последнее время обратили на себя всеобщее внимание...*— В начале 1862 г. при Литературном фонде было образовано так называемое II отделение для пособия учащейся молодежи, в одном из постановлений которого, в частности, говорилось: «Обратить особенное старание на доставление нуждающимся молодым людям возможности самим зарабатывать себе средства к существованию и потому публиковать в газетах, что нуждающиеся в учителях и учительницах, гувернерах и гувернантках <...> могут обращаться в комитет». «Уже во втором заседании,— вспоминал Пантелеев,— комитет <...> пришел к заключению, что одним из существеннейших средств к выполнению назначения отделения было бы доставление молодым людям дешевых квартир и стола» (Л. Ф. Пантелеев. Воспоминания, М. 1958, стр. 271—273, 741). С подобным же предложением выступил еще в 1858 г. в «Русском вестнике» Н. Х. Бунге (т. 14, апрель, кн. I, стр. 315).

Стр. 273. *Нельзя не сознаться, что между направлением нынешнего молодого поколения и того, которое жило, надеялось и мечтало лет двадцать тому назад, есть весьма существенное различие.*— Салтыков сопоставляет жизнь и духовные устремления молодого поколения 30—40-х годов, с одной стороны, и 50-х — начала 60-х — с другой. Кружки Станкевича, Герцена и Огарева, а также кружок петрашевцев, участником которого был и сам Салтыков (см. о нем подробнее в т. 1 наст. изд.), не выходили, по его мнению, из «сферы идеалов», в них «было дано слишком много места фразе и слишком мало — делу». Напротив того, молодые, демократически настроенные люди конца 50-х — начала 60-х годов объединялись в кружки с ярко выраженными «деловыми», «практическими» требованиями к действительности и с враждой к «фразе». Таковы, по-видимому, известные Салтыкову «Петербургская коммуна» Ф. С. Судакевича и М. Н. Островского, кружки П. Н. Рыбникова в Петрозаводске, П. Э. Аргиропуло и П. Г. Зайчневского в Москве. По воспоминаниям Л. Ф. Пантелеева, Зайчневский не раз повторял, что «прошло время слов, настала пора настоящего дела» (Л. Ф. Пантелеев. Воспоминания, стр. 301).

Стр. 276. *Все эти перекоры идеалистов с материалистами, которых мы были свидетелями в недавнее время...*— Речь идет о философских спорах

начала 60-х годов. Непосредственным поводом их послужили лекции П. Л. Лаврова «Очерки вопросов практической философии» (1860), ответом на которые явилась статья Чернышевского «Антропологический принцип в философии» («Современник», 1860, кн. 4 и 5), содержащая критику идеалистических, позитивистских взглядов Лаврова. Богослову-идеалисту П. Д. Юркевичу, выступившему со статьей «Из науки о человеческом духе» («Труды Киевской духовной академии», 1860) в опровержение взглядов материалиста Чернышевского, последний отвечал в «Полемических красотах. Коллекция II» («Современник», 1861, кн. 7). В философскую борьбу включились М. А. Антонович («Два типа современных философов».— «Современник», 1861, № 4), подвергший критическому разбору «Три беседы о современном значении философии» (1860) Лаврова, и Д. И. Писарев («Московские мыслители».— «Русское слово», 1862, январь — февраль), прямо поддержавший Чернышевского в его полемике с Юркевичем.

...все скандальные обвинения в самонадеянности, мальчишестве, казачестве, неуважении к науке... — В «самонадеянности», «мальчишестве» и «казачестве» обвиняли революционных демократов московские публицисты, в частности М. Катков и Б. Чичерин. «Бедная молодежь! — писал Б. Чичерин в статье «Что такое охранительные начала?»,— зачем твоим привлекательным именем окрестили это беспутное казачество, которое называется современным или передовым направлением в России?» («Наше время», 1862, № 39, 22 февраля, стр. 153). В книге «Несколько современных вопросов» (М. 1862) он же негодовал на молодое поколение за «неуважение к науке». Касаясь этого обвинения, М. Антонович на страницах «Современника» заявлял, что молодежь «не уважает мертвую, безжизненную ученость», ту науку, которая «отрекается от мира», от «новых идей» («Неуважение к науке».— «Современник», 1863, № 3, стр. 86, 88).

Мы слишком скоро забываем свое прошлое, то дорогое прошлое, когда и нас обзывали мальчишками... мы пускаемся в огульный донос.— Салтыков имеет в виду тех из современников, которые в молодости сами были причастны к прогрессивным идеям века, вращались в кругах, близких к Белинскому и Грановскому, а в годы революционной ситуации завершили эволюцию в сторону реакции, как, например, Б. Чичерин, М. Катков, Н. Павлов и другие. О «мальчишестве», то есть демократической молодежи 60-х годов, Салтыков специально писал в январско-февральской хронике цикла «Наша общественная жизнь» (см. т. 6 наст. изд.). Говоря об «огульном доносе», Салтыков, по-видимому, намекал на полемические приемы Каткова, который занимался инсинуациями на страницах редактируемых им органов печати и даже обращался с прямыми доносами на революционную демократию к правительству Александра II.

Стр. 280. *Однажды, в особенно горьком настроении духа, Веригин отправился в театр. Давали «Гугенотов»...*— «Гугеноты» — опера Д. Мейербера. В основу сюжета, по мотивам «Хроники времен Карла IX» Мериме, положены события кровавой Варфоломеевской ночи 1572 г.: избиение про-

тестантов (гугенотов) католиками, сторонниками королевской власти. Рауль — гугенот, влюбленный в Валентину, дочь католика, графа Сен-Бри. Искусно развернутая в повести иносказательная характеристика оперного действия обращала внимание на энтузиазм толпы, на музыку и на «сценическую обстановку» массового народного движения, на сочувственную реакцию русской публики, которая «сегодня выказывает... похвальные чувства», а завтра «может выказать» «похвальную практику». Все это — своего рода сигнальные знаки для обозначения революционной борьбы. Ср. аналогичный прием, использованный Салтыковым в повести «Запутанное дело» (т. 1 наст. изд., стр. 253—255).

Стр. 281. *...в селениях райских* — то есть в райке.

...споют там какой-нибудь хор из «Нормы» — «Guerra!», что ли... сердце в ней закипает... — «Норма» — опера итальянского композитора В. Беллини, впервые поставленная в Милане в 1831 г.; в Петербурге шла с 1837 г. Одна из сюжетных линий оперы — восстание народа Галлии против Рима. Мощные и величественные звуки хора «Guerra!» («Война!»), раздающиеся в ответ на весть об объявлении войны римским поработителям, воспринимались и в Италии и в России как выражение социального протеста, рождали «жажду дела».

«То кровь кипит, то сил избыток» — строка из стихотворения Лермонтова «Не верь себе» (1839).

Стр. 282. *...все-таки аплодирует Раулю — согласитесь, что это замечательно!* — В сочувствии публики Раулю, который предпочел героическую смерть «безмятежной и сладкой» жизни с возлюбленной, Крестников усматривает возможность массового народного протеста.

Стр. 283. *Моя фамилия Крестников... слушал курс в К — м университете, но во время бывших там беспорядков из оного исключен.* — Крестников — это, по-видимому, один из Крестовниковых, членов известной в Казани купеческой фамилии, владельцев знаменитых по всей России мыловаренных заводов и меховых фабрик. Крестников говорит, несомненно, о Казанском университете и, вероятно, о выступлениях студентов против городского и университетского начальства осенью 1856 г., в результате чего несколько человек было исключено из университета, а один отдан в солдаты (см. С. Ашевский. Русское студенчество в эпоху 60-х годов.— «Современный мир», 1907, сентябрь, стр. 49; С. Гессен. Студенческое движение в начале 60-х годов, 1932, стр. 110, 111). Упоминая о «беспорядках», происходивших в Казанском университете, Салтыков мог иметь в виду и протест студентов в октябре 1859 г. против предписания министра просвещения не выражать публично одобрения или порицания лекторам, не устраивать «всякого рода сборища и демонстрации» (см. Г. Н. Вульфсон, Е. Г. Бушканец Общественно-политическая борьба в Казанском университете в 1859—1861 годах, Казань, 1955, стр. 50), и организованную студентами грандиозную панихиду по жертвам кровавой расправы над крестьянами села Бездны (апрель 1861 г.).

Стр. 284. *...погода, подобная той, какою мы наслаждаемся... должна*

в значительной мере содействовать развитию политической жизни... Вот щегольской экипаж мчится... а вот магазин Смурова... как хотите, ведь и на это чувство нельзя не рассчитывать! — Крестников говорит о контрасте нищеты и богатства, о «чувстве зависти» и классовой ненависти, возникающих в душе самого «равнодушного» человека как реакция на благополучие и роскошное безделье меньшинства. Магазин Смурова — гастрономический магазин в Петербурге, доступный лишь для богатых людей.

...мы своего рода опричники... — Опричнина — организованная в 1565 г. Иваном Грозным администрация и войско для разгрома княжеско-боярской оппозиции царскому правительству. Здесь употреблено в смысле организованных, преданных, до конца идущих приверженцев определенного «дела» (в данном случае освободительной борьбы), жертвующих ему всеми житейскими интересами.

Стр. 285. *...настоящее дело не здесь, а там, в глубине... там необходимо иметь людей.* — «Настоящее дело» — подцензурное обозначение освободительного движения, организации сил для революционного подполья. Очень показательно, что землеволец Л. Ф. Пантелеев называет «настоящим делом» деятельность по вербовке новых членов тайного общества, по расширению его связей с теми районами страны, где издавна сложились революционно-освободительные традиции (Л. Ф. Пантелеев. Воспоминания, М. 1958, стр. 297). По убеждению Крестникова, именно в глубине России необходимо отыскивать людей, на которых можно было бы положиться в организации тайного общества. Поездке Веригина в провинцию можно найти конкретное жизненное подтверждение. Тот же Пантелеев подробно излагает историю своей поездки в Вологду и другие города для установления широких связей с местными революционными кружками. На вопрос Пантелеева: «Имеете вы связи в провинции?» — руководитель Московского кружка Зайчневский отвечал: «Провинция, батюшка, не Петербург и даже не Москва; только в провинции и можно найти людей дела» (там же, стр. 301). Мысли о развертывании революционной пропаганды в провинции высказывались и на страницах «Колокола», например, Герценом в статье «Исполин просыпается» (1861). В планах создания тайной революционной организации Герцен и Огарев видное место отводили федеративному началу. «...тайные общества,— заявлял Огарев в «Ответе на „Ответ Великоруссу"» (1861),— <...> естественно, возникнут по областям» (Н. П. Огарев. Избранные социально-политические и философские произведения, т. I, М. 1952, стр. 538). Он же полагал, что в провинциальных городах России необходимо иметь, в качестве корреспондента и организатора оппозиционных сил, «нарочного агента» (см. «Литературное наследство», т. 61, М. 1953, стр. 502—511).

...лет пять тому назад возможны ли были такие сближения? — Знакомство Веригина с Крестниковым состоялось осенью 1856 г. «Лет пять тому назад» — это 1851—1852 гг., время жестокой реакции и репрессий со стороны правительства Николая I, преследовавшего передовую мысль.

Они кончают или самоубийством, или... — Салтыков не договаривает здесь по цензурным соображениям. Этим эзоповским приемом «умолчания» он намекает на другие драматические судьбы революционера, среди которых могли быть и тюрьма, и ссылка, и каторга, и даже виселица.

Стр. 287. *Смерть! где твое жало? Ад! где твоя победа?* — Цитата из Библии (Книга пророка Осии, гл. XIII, 14).

Акцизно-откупные комиссионерства — см. т. 2 наст. изд., стр. 525.

Стр. 289. *...публика... так жаждет употребить свои капиталы, до сих пор спокойно лежавшие... в опекунском совете да в приказах общественного призрения!* — Об опекунском совете см. прим. к стр. 268. Приказы общественного призрения ведали народными школами, сиротскими и работными домами, больницами и т. п., а также принимали вклады на хранение и выдавали ссуды. В конце 50-х годов «капиталы», «лежавшие» в приказах и опекунских советах, поспешно использовались их владельцами на покупку акций. «Давно ли было время,— писал «Экономический указатель» в 1861 г.,— когда в России капиталы не имели почти никакого движения. Говоря вообще, им не было другой дороги, как в банк, где... они скорее обременяли банк, нежели приносили ему пользу. Но все изменилось: как будто по какому-то волшебству капиталы зашевелились» («Экономический указатель», 1861, № 47, стр. 1106).

Стр. 290. *...хвала вам, молодым людям! Вы первые глазомером наблюдательности подметили эту повсюдную уступаемость и, проведя ее сквозь ростила прозорливости, предъявили на всеобщее позорище!* — В Мурове, произносящем напыщенные либеральные речи с их особой лексикой и неожиданными словообразованиями, можно распознать известного откупщика В. А. Кокорева. В рассуждениях Мурова содержится явный и, несомненно, иронический намек на статью В. А. Кокорева «Взгляд русского на европейскую торговлю». Салтыков пародирует кокоревские заявления об «отвычке действовать вдумчиво», о том, что «свободная торговля» — семя, которое дает свои плоды в «ростилах общедумия», что «внутренний голос», пропущенный через «одиночную... мыслительность», есть «недодумка» («Русский вестник», 1858, т. 14, март, кн. I, стр. 44, 51). В сетованиях салтыковского предпринимателя, что «воду мы не умеем закупоривать, хмель не умеем прессовать, каменным углем просто преступно небрежем», в его мечтах «преобразовать и обновить промышленность», наладить разумную торговлю с Англией слышен голос Кокорева. «Почему,— спрашивал, например, он,— не обратить внимания на хмель?.. Все дело в том, что у нас не умеют собирать, сушить и прессовать, и оттого русский хмель утрачивает свою силу... Почему малороссийское сало, стоящее на месте рубль за пуд, не отправлять в Англию, где оно в десять раз дороже?» (стр. 57—58).

Стр. 291. *...он был один из самых неистовых адептов школы laissez passer, laissez faire.* — Распространенная на Западе и нашедшая приверженцев в России буржуазная теория свободы торговли и «полного невмешательства» правительства в частную экономическую деятельность, извест-

ная под названием фритредерства (возникла в Англии в последней трети XVIII в.). На страницах «Русского вестника» это направление экономической политики пропагандировал М. Катков.

Стр. 293. *Предводитель дворянства... с благоговением, хотя и не без робости, отозвался о тверском благородном дворянстве (увы, это было в ту пору, когда и т. д.).*— Тверское дворянство — либерально-оппозиционная группировка, заявившая о себе рядом выступлений по крестьянскому и административно-судебному вопросам как в дореформенный, так и в пореформенный период. Созданный в 1858 г. Тверской губернский комитет «настаивал на необходимости полного освобождения крестьян с землей... предлагал стройную систему местных административных и судебных учреждений, основанных на принципе всесословного самоуправления» (Гр. Джаншиев. Эпоха великих реформ, 1900, стр. 131). В 1859 г. либеральные депутаты во главе с А. М. Унковским и А. И. Европеусом высказали эти идеи в специально поданном правительству адресе, за что подписавшим его был объявлен выговор, Унковский отдан под надзор полиции, а в 1860 г. на несколько месяцев сослан в Вятку. Зимой 1861—1862 г., в связи с ростом крестьянских волнений, губернский съезд мировых посредников, а затем губернское дворянское собрание в Твери официально заявило о своем недовольстве крестьянской реформой и предложило провести выкуп крепостных при содействии государства («Колокол», 1862, л. 126 от 22 марта). Тринадцать мировых посредников, высказавших свою солидарность с адресом тверского дворянства, поданным в феврале 1862 г., были арестованы и посажены в крепость. О тверской оппозиции сочувственно отзывался «Колокол» (см. «Колокол», л. 39 от 1 апреля 1859 г.; л. 61 от 15 января 1860 г.; л. 65—66 от 15 марта 1860 г.; л. 141 от 15 августа 1862 г. и др.). Характеризуя обстоятельства, из которых складывалась чреватая революционным взрывом политическая обстановка «начала 60-х годов», Ленин упомянул также и «коллективные отказы дворян — мировых посредников применять» «Положение» 19 февраля, «обдирающее» крестьян, «как липку» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 5, стр. 29). Таким образом, Салтыков допустил хронологическое смещение: как явствует из текста, визиты Веригина к властям относятся к середине 1857 г., когда тверская группировка еще ничем себя не проявила.

Стр. 296. *Ферязь* — старинная русская верхняя одежда с длинными рукавами и без воротника.

Стр. 300. *...то внезапная и неслыханная дороговизна на предметы самой первой необходимости, то вдруг таинственное исчезновение звонкой монеты.*— Финансовые неурядицы, о которых упоминает Салтыков, были следствием неудовлетворительного состояния всей кредитно-финансовой системы царской России накануне реформ 60-х годов. Постоянное, вплоть до 1862 г., превышение расходов над доходами создавало тяжелый финансовый кризис, выход из которого правительство искало в дополнительном выпуске бумажных денег. Это приводило к росту находящихся в обращении кредитных билетов, что, в свою очередь, значительно поднимало

цены на товары. Одновременно происходил процесс снижения процентного отношения металлического фонда к выпущенным кредитным билетам, и к 1861 г. оно составило 13%. Отсюда впечатление «исчезновения» «звонкой монеты» (ср. Н. Г. Чернышевский. Кредитные дела.— «Современник», 1861, № 1, отд. I, стр. 254).

Стр. 304. *...бежали из Москвы еще в то время, когда только что началось преследование раскольников...*— Преследование раскольников началось во второй половине XVII в., в правление царевны Софьи (см. Н. Субботин. История так называемого австрийского, или белокриницкого, священства, в. I, 1895, стр. 76).

...«Златой бисер» и «Чудо св. Николы о Синагрипи цари».— «Златой бисер» (или «Луцидариус») — популярная в России, переведенная с немецкого средневековая энциклопедия, нелепые сведения которой по вопросам географии, естественноисторическим наукам, астрономии вызвали еще в XVI в. суровую критику историка и публициста Максима Грека. «Чудо св. Николы» — повесть-легенда византийского происхождения. Оба эти рукописные произведения имели особую популярность в раскольничьей среде, не принимавшей «никонианскую» печатную литературу, считавшуюся еретической.

Стр. 305. *...«старый обычай» представлял собою элемент земский, едва прикрываемый религиозными мотивами...*— Здесь и выше Салтыков ведет речь об истоках формирования раскола, полагая, так же как известный историк раскола А. Щапов, что при своем зарождении он был не столько религиозным, сколько социальным явлением, оппозицией, возникшей «снизу», в «земско-народном» сознании.

Стр. 307. *Синедрион* — верховный суд в древней Иудее (I в. до н. э.— I в. н. э.), разрешавший все дела, связанные с верой, и отличавшийся суровостью наказания.

Стр. 310. *...шли слухи... о каком-то иргизском старце Ионе...*— На реке Иргизе, в бывшей Самарской губернии, находились раскольничьи монастыри, являвшиеся центром старообрядчества. Монастыри были основаны раскольниками, возвратившимися, после обнародования Екатериной II манифеста «14 декабря 1762 г.», из-за границы, куда они бежали от преследования правительства в XVII—XVIII вв. Уничтожены в 40-х годах XIX в.

Это было именно в половине сороковых годов, то есть в то самое время, когда прошла первая молва об австрийском священстве...— В связи с тем, что на сторону раскольников не перешел ни один из епископов, а приобретение и содержание беглых попов уже к 20-м годам XIX в. запрещалось правительством, поиски архиерея составили первоочередную задачу. В 1846 г. греческий митрополит Амвросий, в соответствии с разрешением, данным еще в 1844 г. австрийским императором, рукоположил в Белой Кринице, в Австрии, архиерея для русских старообрядцев. Связи с заграничными старообрядцами преследовались властями (Н. Субботин. История так называемого австрийского, или белокриницкого, священства,

в. I, изд. I, 1895, стр. 143; П. Г. Р ы н д з ю н с к и й. В. И. Кельсиев — Герцену и Огареву.— «Литературное наследство», т. 62, ч. II, М. 1955, стр. 160—162, 169).

Стр. 316. *...церковь... единоверческую... выстроил...*— В 1800 г. для борьбы с независимым от синода старообрядчеством была установлена единоверческая церковь, в которой служба проходила по старообрядческим правилам, но служители находились в подчинении синода. В 30—40-е годы имелись случаи насильственного насаждения единоверия в старообрядческих поселениях.

Стр. 317. *Теперь вот, кажется, и полегчило малость, так и тут как вспомнишь, что годков с десяток тому поменьше бывало, так все нутро-то у тебя словно огнем выжжет!* — Начиная с 20-х годов XIX в. царское правительство постоянно преследовало раскольничьи монастыри, общины, скиты и отдельных представителей раскола. С конца 40-х годов, о которых и говорит Михей Клочьев, раскольники «особенно вредных сект не были избираемы ни к каким должностям», не имели права ни на какие общественные отличья, в том числе и на «почетное гражданство», раскольникам запрещалась пропаганда своих идей, «совращение в раскол». С 1853 г. министру внутренних дел было представлено право постепенно упразднять «противозаконные раскольнические сборища», у раскольников отбирались старопечатные книги (П. С. С о к о л о в. История русского раскола старообрядства, СПб. 1895, стр. 219—223). Со второй половины 50-х годов преследования раскольников были значительно ослаблены (выражением этого была ликвидация особого секретного комитета по делам раскольников).

...по консисториям таскать.— Консистория — церковный орган в царской России, осуществлявший управление и духовный суд в епархии (церковно-административном округе).

Стр. 318. *Исстари она Русской земле прежестокая лиходейница была...*— В представлении Клочьева, Москва — средоточие официальной церковной и светской государственной власти, которая жестоко преследовала раскол.

Стр. 324. *...накануне Николина дня...*— Николин день — церковный праздник, в весеннее время отмечаемый 9 мая старого стиля.

...сопровождаемый стряпчим, ратманом...— Уездный стряпчий — помощник или советчик губернского прокурора. С 1864 г. должность эта упразднена. Ратман — член городского управления и ратуши. Должность упразднена в период реформ 60-х годов.

Стр. 329. *Догадки и предположения* в черновой рукописи главы VII были названы «основой» «для идеалов отдаленного будущего», исправлено: для «идеальных форм жизни».

Стр. 332. *...геройство есть явление ненормальное, свидетельствующее о запутанном настроении общества.*— Тезис о геройстве как синониме революционной деятельности, революционного подвига в черновой рукописи главы VII первоначально был редактирован так: «...свидетельствующее о

неправильном настроении общества». Мысль эта развита в ноябрьской хронике «Наша общественная жизнь» за 1863 г.: необходимость геройства связывается с «ненормальным» «состоянием общества», с ненормальностью «самой общественной комбинации» (см. т. 6 наст. изд.).

ТЕНИ

(Стр. 334)

При жизни Салтыкова пьеса напечатана не была. Впервые по копии с автографа (снятой не вполне исправно) — в журнале «Заветы» (1914, № 4, стр. 11—91 первой пагинации), по автографу — в изд. 1933—1941 гг., т. 4, стр. 363—433.

Сохранились следующие рукописи: 1) черновой автограф всех четырех действий, кончающийся ремаркой: «Ольга Дмитриевна, Софья Александровна и князь Тараканов уходят»; 2) беловой автограф четвертого действия, начинающийся с двойного листа под номером 18 (очевидно, были переписаны набело и первые три действия). Рукопись обрывается на ремарке: «Сцена V. Те же и Софья Александровна».

Остается до конца не выясненным вопрос о том, оканчивается ли пьеса последними словами чернового автографа, поскольку в его подзаголовке число действий не обозначено [1].

В настоящем издании текст трех первых действий и сцен V—VII четвертого действия печатается по черновой рукописи, которая для этих частей пьесы является единственным источником. Сцены I—V действия четвертого воспроизводятся по беловому автографу.

Точная дата начала работы Салтыкова над пьесой неизвестна. Есть основания полагать, что к написанию ее он приступил не ранее лета 1862 г. В сцене V первого акта приводятся слова «старца» Тараканова: «Чего ж другого и ожидать можно, когда мы каждый день вынуждены быть в одном обществе с зажигателями». В отброшенном варианте было: «Когда мы каждый день вынуждены сидеть рядом с поджигателями, принимать у себя зажигателей и даже ухаживать за зажигателями». Известно, что после петербургских пожаров конца мая 1862 г. реакционная печать называла революционеров-демократов «поджигателями». Во втором действии упоминается балет Цезаря Пуни «Дочь фараона», впервые поставленный в Петербурге 18 января 1862 г. В третьем действии говорится о газете «Северная почта», которая начала выходить также в 1862 г., с января. Характерны две реплики Клаверова в сцене IV первого акта. В одной из них так говорится о возросшем влиянии Шалимовых (образ, вопло-

---

[1] Аргументацию в пользу предположения, что пьеса завершена, см. в статье Л. Я. Лившица «Закончены ли «Тени» М. Е. Салтыкова-Щедрина».— «Научные доклады высшей школы, филологические науки», 1960, № 4, стр. 142—145.

щающий передовые демократические силы России): «Я года три тому назад не понял бы, а теперь, к несчастью, понимаю». Как известно, арестами Чернышевского и Писарева, приостановкой издания «Современника» и «Русского слова» летом 1862 г. правительство стремилось обезглавить демократическое движение, получившее внушительный размах в период революционной ситуации — «три года назад» (1859—1861). В той же сцене в словах Клаверова: «Года три тому назад кто бы мог сказать, что мы будем иметь вес, будем занимать видные места в администрации» — очевидный намек на годы усиленной подготовки крестьянской реформы (1859—1861), когда в правительственных сферах видную роль стали играть крупные бюрократы либеральной ориентации — П. А. Валуев, Н. А. Милютин и другие.

Уточняет хронологические рамки писания пьесы замечание Софьи Бобыревой в IV сцене третьего акта: «Я совсем не революционерка, и даже не понимаю, чего хотят эти студентки...» Доступ женщин в университет был разрешен в 1859 г., а перестали они допускаться туда с 1863 г.[1].

Время действия пьесы отнесено к кануну реформы 1861 г., о чем свидетельствует реплика одного из персонажей: «Мы накануне революции: ведь мне мои мужики совсем оброка не платят!» В пьесе говорится также о некоем бароне Клаузе, подавшем «какую-то записку, которою взывал к милосердию и просил ни более ни менее, как чтобы ничего этого не было...». Об отмене крепостного права идет речь в одной из реплик молодого князя Тараканова: «За обедом зашел разговор об этой эмансипации, ну, и дядя, по обыкновению, начал проповедовать, что все это затеяли красные».

Примечательно, однако, что в пьесе, время действия которой приурочено к предреформенной поре, персонажи упоминают факты, относящиеся к пореформенному общественному быту. По-видимому, Салтыков намеренно ввел в текст пьесы детали 1862 г., добиваясь расширения хронологических рамок, более обобщенного изображения эпохи.

Черновой автограф показывает, что первоначально пьеса была задумана как комедия о коррупции государственного аппарата, процветающем здесь карьеризме, чинопочитании, угодничестве. Возможно, сюжет комедии Салтыков предполагал сначала строить на том, как супруги Бобыревы добиваются «места» в столице. Были опущены, например, следующие реплики Клаверова и Набойкина после «...с своей стороны, что могу» (стр. 346, строка 18 сверху):

(Стремительно). А знаешь ли что, дружище,— напрасно ты хочешь оставить Пензу. Поверь, что в наше время неизвестность — это единственное убежище, в котором можно сохранить и душевное спокойствие, и чистую совесть!

Набойкин. Все это так, Клаверов, но дело в том, что он не ищет ни душевного спокойствия, ни чистой совести, а ищет места. Клаверов, надобно помочь ему.

---

[1] См. Д. Золотницкий. Щедрин-драматург. М.—Л. 1961, стр. 152.

Отброшенный вариант свидетельствует и о том, что у Клаверова еще не возникает мысль использовать Софью Александровну для собственной карьеры. Начиная со второго акта Салтыков заменил откупщиком Обтяжновым Нарукавникова-отца. В связи с этим в несколько ином плане подаются далее сцены устройства на службу молодого Нарукавникова, ослабляется интрига вокруг борьбы за «место».

Завязкой «Теней» служит история с обогащением на строительных подрядах. В аферах князя Тараканова и его любовницы Клары Федоровны, откупщика Обтяжнова и других, возможно, отражены некоторые штрихи реальных событий и лиц (например, известны были взяточнические проделки министра двора графа В. Ф. Адлерберга, его фаворитки Вильгельмины Ивановны Бурковой, купца Тарасова и т. д.). Однако эта тема стала в сюжете пьесы лишь введением, фоном для ее основной проблематики — разоблачения идеологии и морали правящих реакционных групп. Стремлением углубить обобщающий смысл сатирического повествования объясняется, по-видимому, и замена названия города, из которого приезжает Бобырев,— реальной Пензы условным Семиозерском.

Рукопись обнаруживает значительную работу автора над текстом. Так, в некоторых случаях изменены имена действующих лиц. Например, Бобырев вначале назван не Николаем, а Михаилом, Апрянин и Камаржинцев назывались просто «первый молодой человек» и «второй молодой человек» и т. д. В ремарках вначале определялись некоторые черты героев, например, Софья Александровна — «развязная», Ольга Дмитриевна — «богомольная», затем эти эпитеты были зачеркнуты.

Салтыков строит конфликт пьесы, имея в виду проявления антагонизма современных ему общественных сил — лагеря либерально-крепостнического и демократического. Карьера Клаверова, служебные и семейные дела Бобыревых, другие бытовые коллизии находятся в зависимости от этого главного конфликта эпохи. Это подчеркнуто и такой особенностью строения пьесы, как введение «внесценических» образов Шалимова и старого князя Тараканова, которые воплощают враждебные друг другу системы миропонимания, политических взглядов и действий, морали. Непримиримо осуждена в пьесе царская бюрократия («святилище старчества»). Бесконечно далекие от понимания подлинных интересов и нужд страны, народа, сановные Таракановы используют власть в целях обогащения, защиты привилегий имущих; они деградируют социально и нравственно сами, калечат и губят все подлинно человеческое, что соприкасается с их миром корысти, разврата, бездушия (драматическая судьба Софьи Александровны). Название пьесы соотнесено с этой группой персонажей: Таракановы, вольные и невольные проводники их политики, их принципов,— это «тени человеческие», они обречены на историческое исчезновение, у них нет никаких «залогов будущего».

Напротив, Шалимовы — враги крепостничества и самодержавного произвола, общественные деятели, вдохновляющиеся демократическими идеалами, способны взять в свои руки историческую судьбу страны.

Не случайно в пьесе либеральный политикан Клаверов, усматривающий житейскую мудрость в интригах, лавировании, в отыскивании силы, к которой выгодно «прилепиться», приноровиться, говорит о том, что Шалимовы вскоре станут хозяевами положения («Вся штука в том, что Шалимовы пошли несколько дальше и что в пользу их уже не старцы, а мы должны будем расчистить ряды свои»).

С другой стороны, Бобырев, порвавший с кружком Шалимова, надеющийся служить правде и добру в рамках «системы», где правят Таракановы и Клаверовы, становится жертвой крайней беспринципности, предает и жену, и себя самого, и свои либеральные идеалы.

Салтыков заменил первоначальное жанровое определение пьесы «комедия» подзаголовком «драматическая сатира». Возможно, это было сделано с той целью, чтобы подчеркнуть отличие «Теней», характеризующихся широтой и остротой политического содержания, от распространенного типа комедии как социально-бытового произведения. Подчеркивалось такой заменой, по-видимому, и то обстоятельство, что «Тени» предназначались и для постановки на сцене, и для обычного чтения.

Первая постановка «Теней» (текст пьесы по цензурным соображениям подвергся значительным изменениям) была осуществлена в 1914 г.— к двадцатипятилетию со дня смерти сатирика.

Наиболее значительным сценическим воплощением пьесы в советское время является ее постановка Н. П. Акимовым в декабре 1952 г. в ленинградском Новом театре (им. Ленсовета), удачно раскрывшая пьесу как «социальную сатиру широких типических обобщений»[1]. Этот спектакль был экранизирован на студии «Ленфильм» в 1953 г.

Стр. 334. *Генерал.*— Клаверов имел чин действительного статского советника, приравненный (по «табели о рангах» — закону о порядке прохождения государственной службы) к военному чину генерал-майора.

Стр. 337. *Откуда ты, эфира житель?* — первая строка стихотворения В. А. Жуковского «Узник к мотыльку, залетевшему в его темницу (Из Местра)» (1813).

Стр. 339. *В наше время, друг, необходима дисциплина, а не мнения...*— Пародируется высказывание «либерального консерватора» Б. Н. Чичерина, который утверждал, что без «дисциплины» наступит «свобода анархическая» («Несколько современных вопросов», М. 1862, стр. 34).

Секунд-майор — младший штаб-офицерский чин в войсках до установления чина подполковника, которому в гражданской службе соответствовал надворный советник. Здесь употреблено как ироническое обозначение дореформенной бюрократии.

Стр. 342. *Жэмсá* — здесь: рад стараться (от *франц.* j'aime ça).

---

[1] «Правда», 1953, 24 января.

Стр. 344. *«Сегодня бог, а завтра где ты, человек?»* — произвольно соединенные строки из стихотворения Г. Р. Державина «На смерть князя Мещерского» (1779).

«Тень от чела, с посвиста пыль» — строка из стихотворения Г. Р. Державина «На взятие Варшавы» (1794).

Шалимов.— Этот персонаж встречается также в очерках «Наш дружеский хлам», «Клевета», «Наши глуповские дела» (см. т. 3 наст. изд).

Стр. 347. *...подал какую-то записку... и просил... чтобы ничего этого не было...*— Речь идет о характерном явлении периода подготовки крестьянской реформы в России. Вскоре после того как был учрежден секретный комитет «для обсуждения мер по устройству быта помещичьих крестьян» под председательством Александра II, а затем создана (28 февраля 1857 г.) специальная «Приуготовительная комиссия для пересмотра постановлений и предположений о крепостном состоянии», в правительственные учреждения поступило множество «Записок» помещиков с проектами реформы. Большинство «Записок» содержало мысль о том, что «даровать полную свободу двум миллионам крепостных людей обоего пола не должно и невозможно» и что к освобождению крестьян следует приступить «не вдруг, а постепенно».

Стр. 348. *...у Демута* — гостиница в Петербурге (помещалась на Мойке, д. № 40).

Стр. 350. *Брение* — тина, грязь *(церковнославянск.)*.

Стр. 353. *...вот-вот нахлынет какая-то чертова волна...*— Образы: море, океан — народ; волна, прилив — революция,— были популярны в 60-е годы, в частности, в публицистике Герцена.

Manon, chevalier des Grieux — герои романа французского писателя аббата Прево (1697—1763) — «История кавалера де Грие и Манон Леско» (1731).

Стр. 356. *Геркулес у ног Омфалы...*— Имеется в виду древнегреческий миф о пребывании Геркулеса у индийской царицы Омфалы, которая одевает его женщиной и заставляет прясть.

Стр. 360. *...надобно думать, что их в младенчестве не волчица, а ослица молоком выпоила!* — Сатирическая перифраза античной легенды об основателях Рима Ромуле и Реме, вскормленных волчицей.

Стр. 368. *...рассуждают о каких-то азбуках...* — см. т. 3 наст. изд., прим. к стр. 354.

Стр. 370. *...из вашего прекрасного далека!* — выражение Гоголя.

Стр. 371. *Лавры Геродота не давали спать Фукидиду...*— Здесь подразумевается выражение, которое принадлежит афинскому государственному деятелю Фемистоклу: «Лавры Мильтиада (т. е. победа афинского военачальника Мильтиада при Марафоне) не дают мне спать».

Стр. 384. *...Венера — это та, которая Вулкану...*— Использование здесь и далее в репликах сюжетов из античной мифологии содержит намеки на интимные отношения Софьи Александровны к Клаверову.

Стр. 392. *Камелия* — нарицательное название женщины легкого пове-

дения, вошедшее в употребление после появления романа А. Дюма «Дама с камелиями» (1847).

Стр. 401. *Сенакль* — сообщество, политическое или литературное (*франц.* cenacle).

Стр. 405. *Сатисфакция* — в дворянском быту — удовлетворение, даваемое подвергнувшемуся оскорблению, в форме дуэли, поединка.

ИЗ ДРУГИХ РЕДАКЦИЙ

Стр. 424. *Цветнички* — распространенные в среде старообрядцев письменные сборники изречений, назидательных примеров, религиозных легенд и т. п. См. также т. 2 наст. изд., прим. к стр. 28.

Стр. 427. *Выходец* — переселившийся из Царства Польского.

Стр. 432. *Глядит на всех и на царей...* — строка из стихотворения Г. Р. Державина «На смерть князя Мещерского» (1779).

УКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНЫХ ИМЕН И НАЗВАНИЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ[1]

---

[1] В указатель входят личные имена и названия периодических изданий, имеющиеся как в текстах Салтыкова, так и в примечаниях. В первом случае цифры, указывающие страницы, набраны прямым шрифтом, во втором — курсивом. Имена и названия, упоминаемые только в библиографическом аппарате, в указатель не введены.

Составила указатель А. М. Малахова.

Поправки к Указателю личных имен и названий периодической печати в т. 3-м настоящего Собрания сочинений

На стр. 645, стбл. 2, строку 10 св. следует читать:

Мейербер Джакомо (1791—1864), франц.

На стр. 647, стбл. 2, строку 5 св. следует читать:

1860 гг. (1856—1858 гг. — по 4 кн. в год, с 1859 — по 6 кн.) в Москве — *549, 603, 605*.

Строки 8—9 св. там же следует читать:

в Москве — *630*.

СОДЕРЖАНИЕ

ИЗ ДРУГИХ РЕДАКЦИЙ

Михаил Евграфович
САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

Собрание сочинений, т. 4

Редактор *К. Тюнькин*
Художественный редактор
С. Данилов
Технический редактор
Ф. Артемьева
Корректор *М. Доценко*

Сдано в набор 14/XII 1965 г. Подписано к печати 10/III 1966 г. Бумага типогр. № 1, 60 X 92[1]/[16]. 38,25 печ. л. уч.-изд. л. 36,74 + 1 вкл. = 36,8 л.

Тираж 60 000. Заказ № 3724.
Цена 1 р. 35 к.

Издательство
«Художественная литература».
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

Типография «Красный пролетарий»
Политиздата.
Москва, Краснопролетарская, 16.